



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ПРОТОИЕРЕЯ ВАЛЕНТИНА
СВЕНЦИЦКОГО



протоиерей
В. П. СВЕНЦИЦКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ВТОРОЕ РАСПЯТИЕ ХРИСТА
АНТИХРИСТ
ПЬЕСЫ И РАССКАЗЫ
1901–1917



Москва
2008

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ
*Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси*
АЛЕКСИЯ II

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:

*Интернет-портал
«Православная книга России»
www.pravkniga.ru*

Составление, подготовка текста, комментарии
С. В. Черткова

*Издание осуществлено при духовной поддержке
прот. Николая Кречетова и прот. Леонида Калинина*

Свенцицкий В. П.

Собрание сочинений. Т. 1. Второе распятие Христа. Антихрист. Пьесы и рассказы (1901–1917) / Сост., послесл., коммент. С. В. Черткова. — М.: Даръ, 2008. — 800 с.

Собрание сочинений великого христианского проповедника XX в. прот. Валентина Павловича Свенцицкого (1881–1931) открывают ранее не переиздававшиеся художественные произведения. Боговдохновенная «Фантазия» повествует о приходе в Москву Иисуса Христа и обнажает причины гибели Российской империи; продолжающий линию духовного реализма Ф. М. Достоевского роман-исповедь «Антихрист» с шокирующей откровенностью рассказывает о порабощении человека инородным существом, главный герой олицетворяет образ серебряного века; пьесы охватывают жанры от мистической трагедии до бытовой драмы; для рассказов характерны острые сюжеты и психологическая напряжённость.

ISBN 978-5-485-00206-0

ББК

© Чертков С. В., составление, послесловие, комментарии, 2008.

© Издательство «Даръ», макет и оформление, 2008.

ОТ РЕДАКЦИИ

Собрание сочинений протоиерея Валентина Павловича Свенцицкого подготовлено на основе критического изучения всех известных нам художественных, публицистических и эпистолярных его произведений. Задача издания — в максимальном объёме представить читателю литературное наследие великого христианского проповедника XX века.

В 1901—1919 вышли в свет два десятка его книг, около 400 статей и рассказов. В период владычества коммунистической партии работы о. Валентина распространялись в самиздате¹ и выходили за рубежом², а на родине впервые были напечатаны сразу после крушения богоборческого режима³; ныне совокупный тираж отдельных изданий⁴ превысил 200 тыс. экз. Но всякий раз публикации были лишены примечаний, а уровень подготовки текста часто не выдерживал критики; подавляющее же большинство творений до сих пор оставалось под спудом.

¹ «Полное собрание сочинений прот. Валентина Свенцицкого в 9-ти томах»; «Проповеди» (Казань: рукопись); «Шесть чтений о Таинстве покаяния и его истории» (машинопись).

² Надежда. Франкфурт н/М. 1979. Вып. 2; 1981. Вып. 5.

³ Слово. 1991. № 10.

⁴ *Диалоги*. М.: Бр-во во имя Всемиловейшего Спаса, 1993; К.: Киево-Печерская Лавра, 1994; М.: ПСТБИ, 1995; М., Саратов: Благовестник, 1999; Дивеево: Скит, 1999; М.: Даръ, 2005, 2007. *Граждане неба*. СПб.: Сатисъ, 1994; Дивеево: Скит, 1999; М.: Артос-Медиа, 2007; М.: Паломник, 2007. *Монастырь в миру*. Т. 1–2. М.: ПСТБИ, 1995–1996; М.: Лествица, 1999, 2003; М.: Артос-Медиа, 2008.

Настоящее собрание сочинений ставит целью восполнить эти пробелы. Все тексты выверены по первым публикациям или рукописям, устранены явные типографские опечатки, орфография и пунктуация приведены в соответствие с современными нормами русского литературного языка при сохранении особенностей авторского стиля. Справочный аппарат состоит из вводной части (сведений о печатных и прочих источниках, цензурных мытарствах, сценических постановках, отзывах критиков, мнении автора) и постраничного комментария, помогающего должным образом понять исторический, смысловой и биографический подтексты.

Издание построено по жанрово-хронологическому принципу, в 1-й том входят художественные произведения, ни одно из них полностью не переиздавалось. Тексты, подписанные псевдонимами, заново атрибутированы⁵. Пока не найдены рукописи ненапечатанных при жизни автора: рассказа «Мать» из цикла «Убийцы» (предложен в 1911 В. Я. Брюсову для публикации в журнале «Русская мысль»), повести «Христос (Записки юродивого)», драмы в четырёх действиях «Чернец», пьесы «Пророк» и «Проповедей пастора Реллинга» (о них известно лишь по анонсам в повременных изданиях). Работа по выявлению принадлежащих Свенцицкому текстов и сбор биографических материалов продолжаются, редакция будет благодарна за содействие в этих исследованиях. Просим всех заинтересованных лиц, готовых помочь словом и делом, обращаться по адресу nemanser@mail.ru.

⁵ В частности, рассказ «Ноябрьской ночью» (Русская мысль. 1903. № 5) ошибочно приписан Свенцицкому В. И. Кейданом (ВГ. Прим. к письму № 6).

ВТОРОЕ РАСПЯТИЕ ХРИСТА

Фантазия

I

Это произошло во время пасхальной заутрени.

Толстый священник о. Иоанн Воздвиженский кадил на все четыре стороны. Хор под управлением всегда выпившего регента Пугвицина пел: «Христос воскрес из мертвых».

Кухарки крестились, клали низкие поклоны, искоса поглядывая, не украли ли куличи и пасхи, принесённые для освящения. Наряженные барыни и кавалеры христосовались друг с другом.

Словом, было то, что каждый год повторяется в тысячах православных храмов во время пасхальной заутрени. И никто не подозревал, что в ту ночь свершилось великое чудо.

Иоанн Воздвиженский, стоя в алтаре, думал о том, не перекисло ли тесто на куличи у жены его, так как она сегодня проспала. Пугвицин, стоя на клиросе, придумывал, как бы ему потихоньку от жены, после ранней обедни, пробраться к Терехову, у которого предполагалась вечеринка холостяков. Кухарка Андроновых думала о том, чтобы с заутрени успеть отнести маленький

куличик пожарному. Зизи краснела при одной мысли, что ей сегодня предстоит христосоваться с Коко. Гимназист Ника блестящими глазами смотрел на кухню Зою и предвкушал, как он на улице, когда не будет видеть m-ше Куанон, поцелует её. Маленький Ваня обкапал себе рукав воском и старался оттереть пятно, покуда не заметила тётя Вера...

В ту же самую ночь, в далёкой заглохшей монастырской ограде, на том самом месте, где почти две тысячи лет тому назад Мария Магдалина, найдя гроб пустым, в испуге бросилась рассказать ученикам, что тело Господа унесли, на том месте, где впервые смерть была побеждена Богочеловеком, свершилось великое чудо: Христос, после своего воскресения, по доносу Синедриона и предписанию кесаря снова положенный во гроб, опять воскрес.

Была тихая весенняя ночь. Горели яркие звёзды. Душистый туман подымался от молодой зелёной травы. Не было вокруг могилы стражи, не было учеников. Светлый ангел тихо отвалил тяжёлый камень, умыл ноги Иисуса, принёс Ему новые одежды и улетел к далёким небесам.

Христос остался один.

Скользя, как тень, блистая радостным победным светом, Он вышел со старого монастырского кладбища и пошёл по дороге.

По обе стороны ровные поля. Пахнет сырой весенней землёй. Невысокие озими тенями сереют в темноте. Радостно, торжественно горят звёзды, словно ниже спустившиеся над землёй.

Вдали показался храм. Колокольня вся была украшена цветными лампочками. Изредка сбоку взлетали ракеты. Окна горели, словно внутри храма был пожар.

А в храме о. Иоанн Воздвиженский всё кадил, всё кланялся; хор под управлением Пугвицина всё пел: «Христос воскрес из мертвых...»

Христос подошёл к храму. Две-три старушки-нищие, должно быть, узнав Его, поклонились Ему до земли. Он благословил их и взошёл в церковь.

Заутреня подходила к концу. Кухарки уже начинали разбирать куличи. Гимназист Ника дёргал кузину за рукав и шептал ей:

— Идём... m-lle нас догонит... мне нужно сказать вам...

В последний раз запели:

Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ,
И сущим во гробех живот даровав!

На несколько мгновений в церкви наступила какая-то странная тишина. О. Иоанн не мог сделать своего привычного возгласа; отец дьякон не мог подтолкнуть о. Иоанна; Пугвицин не мог кашлянуть, чтобы дать понять батюшке его оплошность.

И вдруг раздался странный, словно откуда-то с неба идущий голос:

— Воистину воскрес!

Взоры всех устремились сначала кверху, потом стали искать по сторонам и наконец обратились к входу и с ожиданием, ужасом и недоумением уставились на странного человека в белых одеждах, стоявшего недалеко от старосты.

Несколько минут в церкви было полное замешательство. Незнакомый с радостным и в то же время скорбным лицом смотрел на народ. И каждому казалось, что глубокие, лучистые глаза неизвестного устремлены именно на него.

Быстрее всех пришёл в себя староста, купец Бардыгин.

— Послушай, любезный, — сказал он негромко, но внушительно, — пойди-ка сюда...

Христос подошёл. Плотной стеной вокруг них столпился народ.

— Что тебе нужно? Зачем нарушаешь благочиние в храме? Откуда ты взялся тут?

— Я воскрес из мёртвых.

По толпе прошёл сдержанный ропот.

— Уйдём, — сказала Зизи, — они его ещё бить начнут.

— Ты пьян, любезный! — строго сказал староста.

Христос молчал.

— Как тебя звать?

— Иисус.

— Иисус?..

— Да.

— Ты жид?

— Да, я — иудей...

В это время подошёл сторож Трофимыч, строгий коренастый старичок, не любивший никаких беспорядков. Его прислал из алтаря о. Иоанн. Ни слова не говоря, он взял незнакомца за руку и потащил к выходу.

— Убирайся-ка подобру-поздорову, пока в шею не наклали, — говорил он ему, подталкивая в спину.

— У, жидорва! — бросил вслед уходившему полицейский чин.

Две нищие старушки снова упали на колени перед Христом. Он вышел из церкви и тихо пошёл к невысокому холму, откуда доносился шум берёзовой рощи. Молодые клейкие листочки нежно говорили друг с другом, и тихая ночь таинственно прислушивалась к ихговору.

II

Настало утро. Христос всё сидел на холме под ласковой тенью молодых берёзок. Задумчиво смотрел он на громадный каменный город, расстилавшийся перед ним. Церковь, из которой вчера выгнали его, была на самой окраине: белая, новенькая.

Мимо Христа шли фабричные, крестьяне, железнодорожные служащие.

Его стали замечать. Необычайный лик Христа приковывал к себе внимание. Останавливались, спрашивали друг друга: «Кто это?» К полдню у подножья холма уже стояла целая толпа.

Наконец Христос, углублённый в свои думы, заметил народ.

Он поднялся и обвёл всех тихим, ласкающим взглядом.

И от одного этого взгляда слёзы покаяния подступили к горлу; вспоминалась вся тёмная, пьяная, развратная жизнь; в груди таял лёд чёрствости, жестокости, злобы; тяжёлые камни, теснившие сердце, сползали сами собой, как пыль, уносимая ветром. Радостная надежда начинала трепетать в душе. Надежда на то, что и рабы труда, нищеты, голода — все дети одного Отца, что кончится когда-нибудь эта каторжная земная жизнь с невыносимыми муками своими и Отец призовет в обитель несчастных, измученных Своих детей. Детство раннее вспоминалось, когда чистые, кроткие, радостные, как все дети, бегали по берегу речки Малеевки, собирали раковины, и так дышалось легко, такое голубое, светлое было небо, такие ласковые, родные были деревья; плакать хотелось оттого, что прошло оно, и смеяться от счастья, от радостной веры, что вернётся снова; что это тело состарилось, а душа станет чистой, прекрасной, божественной, как её Создатель.

Христос поднял прозрачную руку Свою, свет небесный озарил Его лицо, и Он, благословив народ, разверз уста Свои.

Нет, это не голос человеческий. Это хоры ангелов незримые поют. И звуки голосов их не улетают в бездушное пространство, а падают глубоко-глубоко в человеческие сердца.

«Блаженны нищие духом, — говорил Христос, — ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими».

Народ оцепенел. Новые, неслыханные слова! Из какой дивной книги взял Он их?

И снова поднял Христос руку Свою, и снова благословил народ.

Как один человек все тихо опустились на колени, и только несколько детей робко подошли к Нему.

Старушка Макаровна, торговка семянками, рыдала, прижимаясь морщинистой головой к сырой земле.

— Батюшка... родименький... — шептала она, — пришёл Утешитель, Спаситель наш.

Уже больше никто не спрашивал: «Кто это?» Сердце узнало — Кто. Долгие годы оно ждало этих слов, этого голоса. Теперь оно рвалось навстречу Ему.

— Говори, говори, Учитель!..

А Он стоял, и светлый лик Его становился задумчив, тень скорби ложилась на нём.

Расталкивая народ локтями, городской кричал:

— Это что за толпа? Что тут такое?.. Где? Кто тут?.. — Он искал глазами. — Расходитесь, расходитесь... Вам говорят! Добром просят...

Толпа медленно стала расходиться.

А с холма снова раздался таинственный голос:

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное».

Толпа снова замерла. Городской с удивлением посмотрел на холм:

— Ты что орёшь?! По какому праву народ собрал? Проходи, а то в участок отправлю. Ну, слышишь!.. И вы, братцы, расходитесь... а не то...

Он стал расталкивать народ в разные стороны.

— Дай послушать-то доброго человека, — сказал старичок.

— В церковь ступай, там и слушай. А не то — в участок.

— Нехристь ты...

— Ну, не разговаривать!

И снова с холма, словно радостный звон, прозвучал тот же голос:

«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня...»

— Да что я, шучу, что ли! — закричал городской. — Марш с холма! Что за беспорядок!

Толпа нерешительно потянулась к городу. Христос, опустив голову, пошёл за ней.

— Обязательное постановление читал? — строго спросил его городской.

Христос молча покачал головой.

— Не велено сборищ делать. В участок вашего брата надо. Там покажут...

— Я хотел учить народ, — сказал Христос.

Городской поднёс к его лицу громадный кулак:

— Видал?.. То-то же!..

Христос вошёл в город. Несколько женщин и стариков из толпы в отдалении шли за Ним.

Всюду чувствовался «праздник». Гул стоял от красного звона. Магазины были заперты. На лихачах в белых перчатках мчались визитёры.

Зизи встретила подругу и закричала через улицу:

— Машенька, Христос воскрес!

— Воистину, воистину... Я к Курочкиным!

— А вечером придёшь?

— Не знаю...

Пугвицин шёл, обнявшись с Тереховым, и бормотал:

— Смертию смерть поправ... Это, брат... это, брат, тебе не шутка...

Ника в новых перчатках шёл под руку с Зоей.

— Я ни за что не буду с ним христосоваться.

— Это вы так говорите, а потом возьмёте и похристосуетесь.

— Вот ещё!

— Ну, дайте мне слово, что не будете.

— Да вам-то что?

— Вот странно.

Ника покраснел.

О. Иоанн Воздвиженский только что сел за стол и очищал красное яйцо.

- А кулич-то перекис, матушка...
- Полно тебе, ничего не перекис... Это от изюму.
- Перекис.
- Всегда ты мне назло выдумашь.
- Не назло, а только — что надо вовремя вставать.

Дрыхнешь, а куличи перекисли...

- Это изюм, а не перекисли...
- Уж какой там изюм... Ну-ка, колбаски дай...

Ваня вырвался-таки от гувернантки и, стоя посреди улицы, орал во всё горло:

- Христос воскрес из мертвых...
- Лошади в испуге шарахались в сторону.
- Ma tante, — говорил Коко, — Христос воскрес!
- Воистину...
- А поцелуй?..
- Я не христосуюсь.
- Но я же племянник.
- Мало ли что, но вы мой ровесник.
- Но, ma tante, ведь Христос же воскрес!
- Знаю, знаю! Но о поцелуе и думать нечего!..
- Вы после этого не христианка.

Всё ликовало, всё радовалось. Звон рос с каждым часом. Лихачи мчались всё быстрее. Генералы, офицеры, студенты, лицеисты, гимназисты, штатские, на парах, на рысаках — всё двигалось, торопилось, несло, как ураган.

Христос, никем не замеченный, прошёл через весь город. По-прежнему за ним в отдалении шло несколько человек.

Выйдя за город, Христос остановился. Старый-старый старичок, не решаясь подойти к Нему, встал на колени и прошептал:

- Воистину, воистину воскрес!..

III

Макаровну попутал нечистый. У соседки был чулан, замок на нём висел полусломанный, а в чулане хранились пустые бутылки, которыми соседка торговала.

Пришла Макаровна вечером уставшая, голодная: никто не купил её семян. Ни денег, ни хлеба... И приди ей на ум забраться в чулан и украсть пустые бутылки. Старуха она старая, забрала бутылок много, пошла и упала на дворе. Соседка её, у которой она украла, с бутылками этими и подняла. Пришёл дворник, составили протокол. Макаровну отдали под суд.

Макаровна просидела в тюрьме недолго: боялись, что не доживёт до суда. Во имя правосудия дело ускорили. На первый день Фоминой недели под конвоем доставили в суд.

Макаровна покорно дожидалась своей очереди. Только глупые слёзы сами собой бежали по её морщинистому лицу.

«Украла, согрешила, — думала Макаровна, — по делом мне. Суд царский! Заботится он об нас!»

Дошла очередь до Макаровны. Ввели её в залу суда.

Перекрестилась она на образ и поклонилась на все четыре стороны.

— Как вас зовут? — спросил председатель.

— Макаровна.

— Это отчество, а имя ваше?

— Марья Данилова.

— Сколько вам лет?

— На Казанскую семьдесят три было...

— Господин судебный пристав, — сказал председатель, — нельзя ли закрыть в коридор дверь и попросить не шуметь.

Пристав пошёл исполнять приказание.

А в коридоре в это время происходило нечто странное. Какой-то человек в белой одежде, напоминающей рясу, не слушаясь сторожей, шёл к зале заседаний. И там, где Он проходил, люди останавливались, словно прикованные к своему месту.

— Ваш билет? — спросил сторож неизвестного.

Но Он тихо взял его руку, отстранил и прошёл далее. И сторож также остался неподвижно прикованным к своему месту.

Христос взошёл в суд.

В непонятном смятении, словно застигнутые на месте преступления, присяжные встали со своих мест. Публика отшатнулась от решётки, через которую смотрела. Члены суда, прокурор быстро подошли друг к другу. Один председатель, не двигаясь, сидел на своём месте.

— Прошу вас удалиться из залы заседаний! — с трудом выговаривая слова, сказал он.

— «Не судите, да не судимы будете, — раздался голос Христа, — ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такую и вам будут мерить».

Макаровна, услышав знакомый голос, упала на колени и, вся просиявшая, словно молодость вернулась к ней, проговорила:

— Батюшка, Спаситель наш, прости меня грешную... украла... с голоду...

— Господин пристав, — строго сказал председатель, — распорядитесь убрать отсюда этого сумасшедшего.

Но старичок пристав не мог сдвинуться с места.

Христос повернулся к присяжным и сказал:

— «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревно в твоём глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: “дай, я выну сучок из глаза твоего”, а вот, в твоём глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего».

— Позвольте вас предупредить, — возвысил голос председатель, — что виновный в оскорблении суда подлежит строгой ответственности!

— Помяни меня, родименький, во Царствии Твоём! — прошептала Макаровна и упала на пол.

Жандарм попробовал было поднять её, но она грузно опустилась снова.

— Померла, ваше-ство!

— Объявляю перерыв на полчаса, — сказал председатель. — Уберите этого!..

Но Христос стал невидим.

Медленно прошли в свою комнату присяжные. Молча стала расходиться публика.

Макаровну унесли.

IV

Был храмовый праздник в церкви Вознесения. Народу набралась такая масса, что даже оба клироса были переполнены. Перед иконой праздника, словно горящий сноп соломы, ярко пылали свечи.

О. Никодим в лучших светлых ризах чинно совершал литургию. Он был человек простой, набожный. Любил свой храм, любил хороших певчих и особенно кафельный дым. Эта любовь осталась у него с детства; бывало, отец приходил от всеобщей благословлять его на сон грядущий, от него так славно пахло ладаном.

Староста у входа едва успевал продавать свечи и просфоры. Деньги звонко звякали на всю церковь, смешиваясь с тихим пением церковных гимнов.

— Не задерживайте; проходите, проходите, — мягко, но внушительно говорил староста тем, которые оставались у конторки проверять сдачу.

Христос вошёл в этот храм и вместе с прочими подошёл к конторке, где продавали свечи.

— «Возьмите это отсюда, — властно сказал он, — и дома Отца Моего не делайте домом торговли».

— Что такое! Грабят!.. Батюшки!.. — понеслось по церкви.

— Что вам угодно? — спросил староста.

— Уйдите отсюда. Не делайте дом Отца Моего домом торговли! — снова повторил Христос, и в голосе Его была сила и власть.

— Я попрошу вас не нарушать тишины в церкви, иначе придётся позвать сторожа и городского.

Гневом вспыхнуло лицо Христа. Голос зазвенел на всю церковь, словно глас трубный. Он опрокинул стол, на котором лежали свечи и просфоры, рассыпал деньги:

— Идите прочь отсюда! Здесь дом Отца Моего.

И слова Его жгли как огонь. Трепет и смятение ужаса пронесли по церкви.

— Не стыдно скандалничать? — обратился к нему сторож. — Ведь здесь тебе не базар — храм Божий.

Богослужение прекратилось. Народ обступил Христа и старосту.

Христос говорил:

— «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе».

О. Никодим подошёл к толпе и, вслушиваясь в слова Христа, строго сказал ему:

— Неподобающее говоришь. Храм православный бесчестишь.

— «Бог не в рукотворённых храмах живёт! Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».

В это время расслабленный, который всё время на грязной циновке лежал у входа, подполз к ногам Христа.

— «Дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои», — обратился к нему Христос.

— Богохульствуешь! — гневно воскликнул о. Никодим. — Кто дал тебе власть грехи прощать?

Христос повернулся к нему:

— «Что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», говорю ему: встань и иди домой!

И на глазах у изумлённой толпы расслабленный, как здоровый, поднялся с полу, в ноги поклонился Христу и благоговейно поцеловал край Его одежды.

Тихо, опустив голову, о. Никодим пошёл в алтарь.

V

Была ночь. Старичок Сила, ночной сторож, приютил Христа у себя на ночлег.

— Всё равно каморка пустая ночью, спи себе на здоровье.

Христос не спал, сидел у открытого окна.

В дверь постучали.

— Это ты, Сила? — окликнул Христос.

— Можно? — произнёс за дверью дрожащий голос. Дверь отворилась. В темноте нельзя было разобрать лица вошедшего.

— Кто это?

— Это я, о. Никодим... Я пришёл к Тебе поговорить. Ты сегодня свершил чудо. Я знаю, что ты учитель, посланный от Бога... Но в то же время слова твои так странны...

— О каких словах говоришь ты?

— О нерукотворённом храме. О Боге, которому нужно поклоняться в духе и истине.

— «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия».

— Да, но не учил ли Христос две тысячи лет тому назад, что Он созиждет церковь, и врата адовы не одолеют её.

— Не про вашу церковь сказаны эти слова.

— Но про какую? Где же другая церковь?

— «Дух дышит, где хочет».

— Послушай, кто бы ты ни был, я вижу, что тебе открыто многое. Скажи, ведь церковь должна была развиваться, крепнуть, изменяться. Не могли же при Христе так же молиться, как в наше время. Не могло быть архиереев, митр, таких облачений, колоколов. Не могло быть всего того, чем богата православная церковь. Но пойми, это доказывает рост церкви. Церковь создается воистину. Её изменения есть переход юности в возраст мужа. Церковь не отменяет Евангелие, но она толкует

его. Её толкование есть раскрытие, уразумение тех истин, которые заключены в Евангелии.

— Так говорили книжники и фарисеи две тысячи лет назад, — тихо сказал Христос. — Они извратили закон Моисеев. Они завесили уши народа, и он перестал слушать глас Божий; заповеди Его они умертвили толкованиями своими. И всё это во имя торжества Божьего дела на земле. Рост не в колокольнях, не в архиереях, не в клиросе, не в ваших торгашах свечами — рост Церкви в духе и истине сынов Божиих. Когда Мои апостолы шли на проповедь без серебра и золота, ужели это было ниже, чем выезды ваших архипастырей! Ужели рост Церкви — золото и серебро храмов ваших, когда братья ваши умирают от голода и нищеты!

— Но если так, если ты прав, учитель, то тогда Церкви нет. Церковь от Христа отеклась; не сбылись пророчества Христовы. А тогда Христос не Бог, и мир неискуплённый лежит во зле. Пойми, что кроме Евангелия есть ещё предания. По ним из поколения в поколение жила Церковь, и когда теперь она дошла до своего могущества и торжества, ты хочешь отречься от неё и всё вернуть к первобытному христианству.

Да знаешь ли, если бы сейчас пришёл Сам Христос и потребовал бы, чтобы Церковь восстановила старое учение Его апостолов, ещё неизвестно, послушалась бы Его Церковь или нет! Скорей, не послушалась бы — и была бы права. Христос ниже Церкви.

— Да, потому что люди более возлюбили тьму, нежели свет; потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы! И книжники и фарисеи поставили свой человеческий закон, обычай, предания выше голоса Божия; и храмы их стали мертвы, а дух Божий дышал не среди их роскошных храмов, а среди Моих учеников, простых рыбаков.

Ты спрашиваешь: где Церковь? Церковь там, где двое или трое собираются во имя Моё. А собираются во

имя Моё там, где любовь, где правда, где таинственное благодатное общение. Церковь и в ваших храмах, но не в золоте их, не в ризах ваших, не в блеске ваших владык. Церковь ваша на паперти, где стоят нищие и убогие — дети мои. Если Церковь не в любви была бы, то в чём же? Не сама ли Церковь ваша на соборах своих устанавливала правила отлучать епископов, если их поставит светская власть, если они переменяют кафедры свои, если не будут собирать соборов; священнослужителей — за взимание денег за требы, мирян — за то, что не всегда пребывают в молитве. Где же хоть один верующий в Церкви, который бы не был отлучён от неё на основании собственных постановлений Церкви?

— Учитель, ты не прав. Изменяются времена, изменяется строгость в исполнении правил. Ты забыл, что кроме жизни в Боге существует ещё быт. Христианству евангельскому надо считаться с бытовым, примирить его с собой, уступить ему.

— Нет, кто хочет быть учеником Моим, тот должен отвергнуться себя, всех привязанностей житейских, всех привычных условий жизни, взять крест Мой и идти. И при апостолах Моих тоже существовал быт, но они не учение Моё искажали ради этого быта, а перевёртывали всю жизнь, все понятия. «Кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня».

— Странно говоришь ты... Но Христос пришёл к слабым, а ты требуешь силы.

— Что невозможно человеку, то возможно Богу!

— Но почему же Церковь наша так велика, так могущественна?

Христос поник головой Своей.

— Ты молчишь?

Христос молча поднялся со своего места. Лицо его светилось во тьме, и глаза сияли.

О. Никодим тоже встал.

— Учитель... кто ты?

— Христос воскресший!..

— Я ослышался... Ты богохульствуешь! — в ужасе отстраняясь от Него, воскликнул о. Никодим.

Но в это время свет окружил голову Спасителя, и образ Его, знакомый по нерукотворённой иконе о. Никодиму, ясно выступил из темноты.

Звёзды сияли на небе. Стены комнаты, казалось, раздвинулись, и весь мир сливался со своим воскресшим Искупителем.

О. Никодиму послышался торжественный победный гимн, который пели где-то в глубине его собственного сердца.

Он упал перед Христом на колени, и из уст его вырвался крик радости:

— Воистину воскрес!

А Христос поднял его и сказал:

— Слушай, что значит величие вашей Церкви. Уже две тысячи лет Я открыл это людям, но они не послушали Меня. Я открыл им, что праведники всегда будут гонимы, а гонители никогда не будут правы. А где нет правды — нет Церкви.

Я открыл им, что гонения, муки, всяческая несправедливость — вот что ожидает мир перед Моим пришествием во славе. И от этих жестокостей «по причине умножения беззакония во многих охладееет любовь».

Евангелие Моё будет проповедано по всей земле; с виду Церковь будет могущественна. Имя Моё будет владычествовать над всеми народами, но это и будет означать «мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте».

Так не радуйтесь же господству вашей Церкви, оно знак скорой гибели её. Ищите Церковь в душах живых и бойтесь тех, кто приходит под именем Моим...

VI

Светало. Город ещё спал. Глухими переулками под конвоем гнали за город шестерых солдат, приговорённых к расстрелу.

В казармах был бунт. Убили офицера. Те, кто попрорней, разбежались. Шестерых арестовали. Покорные, сосредоточенные шли они к месту своей казни. Молодые лица — простые, мужицкие — были спокойны, словно люди шли по самому обыкновенному, привычному делу. Пригнали их в город на службу из деревни Вахрамеевки. А теперь велят расстреливать. Ничего не поделаешь — служба. Вышли за город, пошли по пыльной просёлочной дороге. Лес показался. Уж там ждёт кто-то. Это священник для последнего напутствия.

Пришли.

Покорные, беззащитные, они стояли в куче и ожидали своей участи.

Закрутили им назад руки. Батюшка сказал напутствие, дал приложиться ко кресту. Выстроили в ряд. Против них поставили взвод солдат с заряженными ружьями.

Офицер вынул белый платок.

— Раз!..

— Два!

— Три!

Но... никто не выстрелил.

Офицер с изумлением смотрел на них.

— Идёт кто-то, — тихо сказал коренастый солдатик.

Офицер обернулся и посмотрел на дорогу. Через поле быстро шла какая-то странная белая фигура.

Офицер пришёл в себя и крикнул:

— Эй, убирайся отсюда прочь, куда цел!

Но фигура шла по-прежнему быстро, не останавливаясь. И по мере её приближения солдаты, приговорённые к смерти, чувствовали, что верёвки, которыми они были связаны, сами собой слабнут и сползают с рук.

Вот Он подошёл совсем близко. Лицо Его полно страданием, глаза горят гневом.

— Прочь отсюда! — кричит офицер. — Или я прикажу...

Но слова его замирают на губах.

— Не убий! Не убий! — как гром гремят слова Христа.

— Именем закона...

— Не убий! — властно произнёс снова Христос.

Солдаты опустили ружья, угрюмо уставились в землю.

— Послушайте... я не позволю... — бормотал офицер.

— «Вы слышали, что сказано древним: не убивай; кто же убьёт, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, подлежит суду».

Слова Христа что-то живое задели в душе молодого офицера. Он нерешительно посмотрел сначала на солдат, приговорённых к смерти, потом на священника, потом на Христа...

— Но тогда меня расстреляют... — потупясь, сказал он.

— Не бойся убивающих тело, бойся тех, кто убивает душу!

— Все так делают, — нерешительно проговорил офицер.

Подошёл священник.

— Послушай, чадо, — сказал он, обращаясь ко Христу, — это ты бунт проповедуешь. Нигде не сказано, что убивать нельзя. Это, действительно, в мирное время и по своему собственному желанию. А на войне или по приговору законного суда... дело совсем другое. Ты, я вижу, начётчик, словами Писания говоришь. Но не всякий, тоже, слова эти разумеет. Надо церковь спросить, как она толкует.

— Отойди, сатана, — грозно проговорил Христос, — горе соблазнившему единого от малых сих. Лучше бы ему не родиться вовсе!

— Это бунт! Ты революционер, вот ты кто! — злобно прошипел священник. — Много вашего брата развелось.

Но Христос отвернулся от него и обратился к офицеру.

— «Сберёгший душу свою, — сказал он ему, — потеряет её, а потерявший душу свою ради Меня сбережёт её!

Возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим».

Молча, подчиняясь какому-то властному голосу внутри себя, офицер стал снимать вооружение, срывать погоны и, обернувшись к арестованному, сказал:

— Идите!..

Несколько солдат тоже бросили ружья на землю и подошли ко Христу; среди них был коренастый солдатик, первый заметивший Иисуса:

— Мы тоже пойдём... с вами, ваше благородие...

— Дмитрий Николаевич! — крикнул священник, молча наблюдавший всё происходившее. — Я батюшке вашему всё расскажу. Огорчите старика... Не побожьему это. Против присяги пошли. Батюшка ваш, генерал, не перенесут такого срама.

— «Я пришёл разделить человека с отцом его, — сказал Христос, — и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её. И враги человеку — домашние его!»

— Ври, ври! — выходил из себя священник, грозя ему кулаком, в котором был крепко зажат крест. — Я вот тебе покажу, сейчас к генералу поеду. Забыл, сектант поганый, что сказано: «Почитай отца твоего и мать твою». Штунда безбожная!

— «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня, — торжественно сказал Христос. — И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня».

И Христос пошёл к городу. Офицер и несколько солдат пошли за Ним.

Оставшиеся, не зная, что делать, с недоумением смотрели им вслед.

— Вернитесь, Дмитрий Николаевич! — крикнул священник вслед уходящим.

Но офицер даже не оглянулся.

— Ушёл, — проворчал священник и прибавил, обращаясь к солдатам: — Этакий чудак. Отец генерал. Дом — полная чаша. Невеста, говорили, есть. Охота на рожон лезть. Ну куда теперь уйдёт? Придёт в город, там арестуют. Эх, молодость! Ни за что погиб человек.

Ну, братики, а вы берите ружья и марш в казармы. Будет вам по стакану водки за верность от командира.

Белые одежды Христа скрылись в утреннем тумане. Выходило солнце, и мягкие красноватые лучи его осеняли землю теплом и радостью.

VII

Христос со своими спутниками подошёл к городу как раз в том месте, где стояла белая новенькая церковь о. Иоанна Воздвиженского.

О. Иоанн был в это время в церкви и надевал облачение. Ему предстояло хоронить своего доброго друга Лазаря, совсем ещё молодого человека, скоропостижно скончавшегося.

О. Воздвиженский по натуре был человек мягкий и от души жалел бедного друга.

Конечно, бывали и у них ссоры, без этого нельзя, дело житейское.

Недавно ещё Лазарь посмеялся над о. Воздвиженским за его толщину при старосте Бардыгине, и очень это обидело о. Иоанна. Он даже не вытерпел и, выйдя провожать Лазаря в приходскую, сказал ему укоризненно:

— Нехорошо надсмехаться над природным свойством.

— Какое же это природное свойство, о. Иоанн, — засмеялся Лазарь, — разве вы родились на свет таким толстым! Просто это от пирогов с ливером.

О. Воздвиженский ничего не сказал на это и, не пощавшись, ушёл в столовую.

После этого он два дня не был у Лазаря.

«Бедный Лазарь, — думал о. Воздвиженский, по-матривая из алтаря на белый гроб, стоявший посреди церкви, — жить бы да жить. Семья хорошая, средства имеются. Вот кому есть нечего, живут, а люди с достатком умирают».

О. Воздвиженский вздохнул.

Церковь наполнялась народом. Сестра Лазаря, Марфа, не будучи в силах смотреть на гроб, вышла из церкви, отошла к ограде и рыдала, закрыв лицо своё руками.

Христос заметил её и подошёл к ней.

— Что с тобой? — тихо спросил Он, прикасаясь рукой к её плечу.

Марфа подняла на Него свои глаза и сказала, сразу заметно успокоившись:

— Умер брат мой Лазарь. Мы жили так дружно, он был добрый такой, ласковый, всегда помогал ближним. За что Бог наказал нас?

Снова слёзы хлынули из её глаз, и она горько плакала.

Христу стало жаль её, и слёзы потекли по Его щекам.

И сказал Он Марфе:

— «Если будешь веровать, увидишь славу Божию». Пойдём в храм за Мной.

В голосе Христа была такая спокойная твёрдость, что Марфа, не понимая, что Он собирается делать, пошла покорно за Ним. Взошли и спутники Христа.

Трудно было пройти к гробу, но перед сестрой умершего все расступались.

Бардыгин сразу заметил Христа. Он подозвал к себе Трофимыча и, указывая глазами, сказал шёпотом:

— Опять этот сумасшедший жид пришёл. Ты бы того...

— Слушаю...

Трофимыч, деловито расталкивая молящихся, пошёл за Христом.

Но в это время свершилось нечто неслыханное: Христос остановился у гроба, поднял глаза Свои к небу и сказал громко на всю церковь, так что все услышали Его слова:

— «Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего!»

Жутко стало всем от этих загадочных слов, от этого победного голоса.

Марфа упала на колени пред гробом и, рыдая, повторяла:

— Брат, брат!..

Трофимыч подошёл к Христу и хотел взять Его за руку. Но рука Трофимыча стала тяжёлая как свинец, и он не мог пошевелинуть ею.

А Христос голосом, подобным грому небесному, произнёс:

— Лазарь, встань!..

И всё затихло в церкви. В ужасе жались друг к другу богомольцы, боясь верить и в то же время предчувствуя, что должно свершиться что-то.

И вот среди общего безмолвия поднялся в своём гробу усопший...

Словно искра пробежала по толпе. Многие в паническом страхе бросились к выходу, давя друг друга, как дикие звери, увидавшие пожар.

— Осанна, осанна! — в исступлении выкрикивала больная юродивая. Неизъяснимый восторг охватил учеников Иисуса. Они громко славословили Христа, и слова сами лились из их уст.

Марфа, рыдая, обнимала Лазаря, который безмолвный, тихий, светлый, как дитя, гладил своею рукою по волосам её.

Бардыгин, совершенно смешавшись, зачем-то спешно прятал деньги в конторку.

Дети внесли в церковь свежие, молодые ветви берёзы и бросали их под ноги Иисуса.

Храм расцвёл...

Восковые свечи потухли сами собой, но ещё никогда не было так светло в храме, никогда так ярко не сиял он. Где-то слышалось пение чистое, радостное, как могут петь только дети.

— Ангелы, ангелы поют! — кричала юродивая. — Осанна Сыну Давидову!

Церковь ликовала, рыдала, верила, надеялась. Церковь жила. Церковь стала необъятной, как мир, как вселенная, как сердце человеческое.

И вышел Лазарь из гроба, пал к ногам Иисуса и облобызал ноги Его.

Из алтаря в полном облачении показался о. Воздвиженский. Вид его был необычен; гневом пылало его лицо.

— Уходи, уходи отсюда! — задыхаясь, крикнул он Иисусу. — Лазарь — мой друг. Я рад, что он жив... Но нельзя в церкви делать этого. Никогда никто не воскрешал мёртвых... Это колдовство... Это выдумки медиумические... Симон Волхв ты... колдун!.. Прочь отсюда!..

Христос не произнёс ни слова и пошёл к выходу; за Ним пошли почти все находившиеся в церкви.

У Бардыгина тряслись руки, и он никак не мог попасть в замок ключом, чтобы запереть конторку с деньгами. К нему подошёл взволнованный до последней степени о. Воздвиженский:

— Я этого так не оставлю... Сегодня же пойду к митрополиту. Это из рук вон. Вот повадился к нам в церковь! То деньги все по полу развалил; то, изволите видеть, мёртвых воскрешает!

— Беспорядок, больше ничего, — едва сдерживая своё волнение, произнёс Бардыгин. От испугу у него не попадал зуб на зуб. — Распустили народ. Вешают мало, вот они и шлятся. А ты б того... — обратился он к стоявшему неподалёку околоточному, — узнал бы, что это за субъект...

В ограде между тем народ плотной стеной окружил Христа и с благоговением слушал Его слова.

Христос говорил:

— «Во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними...

Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?

Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые...

Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь...

Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного...»

— Виноват, виноват; позвольте, господа! — это околоточный пробирался ко Христу. — Во-первых, я попрошу вас без разрешения градоначальника не произносить публичных речей, — строго, но вполне корректно проговорил он, добравшись наконец до Христа, — иначе вы будете оштрафованы за устройство незаконного собрания до трёх тысяч рублей. А затем я бы попросил сообщить ваше имя, отчество и фамилию.

— Я — Иисус, из рода Давидова.

Околоточный вынул записную книжку и записал.

— Вы прописаны где-нибудь?

Христос молча отрицательно покачал головой.

— Но где-нибудь вы живёте?

— Лисицы имеют норы, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову.

— Паспорт у вас есть?

Снова Христос молча покачал головой.

— Какого вы вероисповедания?

— Я — иудей...

— В таком случае вы здесь не имеете права жительства! — почти с радостью воскликнул околоточный. — Вы можете жить только в черте еврейской оседлости. И вообще... вы мне кажетесь крайне подозрительны... Я должен вас препроводить в участок!

Толпа угрожающе заволновалась. Околоточного быстро отгеснили за ограду.

— Он — сын Божий! — кричала юродивая.

— Он воскресил Лазаря! — слышались голоса.

Из церкви вышел о. Воздвиженский и, взявши околоточного за рукав, отвёл в сторону.

— Оставь, брат, — сказал он, — хуже — скандал будет. Пошумят и разойдутся. Приходи сегодня на пирог лучше. Потолкуем!..

Прятели пожали друг другу руки и разошлись...

VIII

Митрополит созвал экстренное собрание столичного духовенства.

К девяти часам вечера громадная приёмная митрополита была переполнена.

Полукругом сидели викарные епископы, за ними архимандриты, а дальше протоиереи, священники, несколько диаконов. Сбоку поместились именитые церковные старосты.

О. Воздвиженский, о. Никодим и Бардыгин сидели за особым столом в качестве докладчиков.

Ровно в девять часов отворилась дверь из внутренних покоев, и вышел митрополит.

Все встали при его появлении и в пояс поклонились владыке.

Анания был сухой, высокий старик, с жёлтым нездоровым лицом, круглыми, серыми пронизывающими глазами.

Быстро прошёл он к своему председательскому месту.

Затем все повернулись к иконе, где было изображено распятие Христа, и хором запели: «Днесь благодать Святаго Духа нас собра, и вси, взявше крест свой, глаголем: Приидите, примите вси Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия, являшагося Христа».

Снова в пояс поклонились владыке и чинно сели на свои места.

— Досточтимые отцы и возлюбленные братья, — начал митрополит, когда полная тишина воцарилась в зале. Он отчеканивал каждое слово; голос его был металлически-резкий. — Я пригласил вас сюда ввиду чрезвычайного события. В городе появился зловредный еретик, по имени Иисус, смущающий умы народа! В наше лихолетье не новость появление и безбожных речей, и безбожных дел. Но в появившемся бунтовщике есть нечто особенное. И это-то именно и заставило меня беспокоить вас.

Конечно, как большинство крамольников, он жид. Как все наши современные анархисты, коммунисты, социалисты и прочие предтечи врага Христова, он полон разрушительных замыслов. Учит он солдат не повиноваться присяге, нарушать долг христианский, учит сопротивляться законному начальству и не исполнять смертной казни, произнесённой законным царским судом. И многое другое.

Всё это не ново. «Вкрались некоторые люди, — говорит апостол, — издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа».

Новое другое здесь. Народ волнуется не от слов его, но от дел. Силою князя бесовского человек этот творит соблазнительные для ума народного деяния, именуя их чудесами. Даже осмеливается вторгаться во святые храмы и воскрешать мёртвых. Сейчас о. Иоанн, о. Никодим, глубокоуважаемый Никанор Никифорович Бардыгин расскажут нам о виденном. И нам сообща предстоит решить со всей серьёзностью, что предпринять на защиту святынь православной церкви. Ибо здесь грозит беда и церкви, и государству.

«Если оставим его так, то все уверуют в него»; и придут англичане, японцы или жидаы «и овладеют и местом нашим и народом»...

Владыка смолк. Слушали его с напряжённым вниманием, и теперь сразу всё пришло в движение.

Слышались голоса:

— Вешают мало!..

— Это просто переодетый экспроприатор...

— Он, говорят, бежал из тюрьмы...

— Колдун какой-то!..

— Сослать на Валаам, и баста!

Мало-помалу стали стихать.

— Досточтимые отцы и возлюбленные братья, — снова сказал митрополит, — выслушаем очевидцев. О. Иоанн, слово принадлежит вам.

О. Воздвиженский поднялся со своего места, видимо крайне смущённый. Никогда ему не приходилось говорить пред такой большой и, главное, именитой аудиторией.

И в церкви своей, где, кроме Бардыгина, не было ни одного сколько-нибудь значительного человека, и то, когда он говорил проповеди, дрожали его руки. А тут сам высокопреосвященный, епископы, почти всё духовенство...

Несколько мгновений о. Воздвиженский не мог выговорить слова. Наконец мысленно произнёс: «Э, была не была, помилуй, Господи!» и начал:

— Ваши высокопреосвященства, досточтимые отцы и возлюбленные братья! Человек, о котором вы изволите спрашивать, о котором я должен, так сказать, дать показания очевидца и служителя храма, был у нас два раза. Первый раз — как раз у заутрени на Пасхе. Произвёл, конечно, беспорядок. Не к месту, и даже совсем где не подобает, возгласил «Воистину воскрес!». Но тут ничего особенного не произошло. Сторож его моментально вывел. На этом дело и кончилось.

Второй раз пришёл на похороны... Ну, и тут... действительно... сие произошло... я ничего объяснить здесь не могу. Человек я простой, ваше высокопреосвященство; а только что действительно говорит другу моему,

это покойнику то есть: Лазарь, говорит, встань! Ну, и тут действительно...

О. Воздвиженский замялся, не зная, как выразиться. Сказать «Лазарь воскрес» ему представлялось неудобным.

— Ну, — нетерпеливо торопил его владыка...

— Лазарь... послушался... встал.

Ропот изумления и негодования прошёл по зале. Епископы крестились. Архимандриты покачивали головами. Священники вздыхали...

— Воистину последние времена, — шептал старичок протоиерей.

— Ну, и что же последовало затем? — спросил он.

— А затем я, ваше высокопреосвященство, велел ему удалиться. Он покорно без всяких сопротивлений ушёл.

— Больше вы ничего не можете сказать, о. Иоанн?

— Более того ничего-с...

— Слово вам принадлежит, Никанор Никифорович.

— Я, ваше высокопреосвященство, к сказанному о. Иоанном могу прибавить весьма немного. Как вышел этот самый субъект из церкви, я послал околоточного Судейкина навести справку, кто он и вообще насчёт благонадёжности.

Результаты, как и следовало полагать, оказались самые очевидные. Веры назвался жидовской, нигде не прописан, и ко всему — живёт без всякого паспорта... Вот всё, что я могу прибавить, ваше высокопреосвященство...

Он сел.

Все с видимым удовольствием слушали речь миллионера Бардыгина. Теперь хоть что-нибудь разъяснилось.

— Ну, понятно, беглый, — слышались удовлетворённые голоса, — ни паспорта, ни вида...

— Ну что за подлый народ эти жида! Ведь отвели им место: живи! Нас не трогай, и мы тебя не будем трогать. Так нет, так и лезут, пархатые...

— Ну, теперь всё ясно, — говорил толстый архимандрит старичку епископу.

— Теперь слово за вами, о. Никодим, — сказал митрополит.

О. Никодим встал. Вид у него был испуганный, съёженный. Ни на кого не поднимая глаза, тихим, прерывающимся голосом и даже забыв сказать обычное обращение, он сказал следующее:

— Ко мне в церковь он пришёл утром. Разбросал деньги по полу. Кричал, что нельзя здесь торговать, что здесь дом Отца... Потом подполз к нему расслабленный. Он повернулся к нему: прощаю, говорит, тебе грехи! Кошунствуешь, говорю. Он ко мне: хорошо, говорит, я ему по-другому скажу. Возьми, говорит, постель и иди. И тот сейчас же, как словно здоровый, встал...

О. Никодим не прибавил больше ни слова и, бледный, взволнованный почти до обморока, сел на своё место.

В зале было тихо. Владыка что-то писал. Отцы задумались.

— Прошу высказаться, — резко прозвенел голос...

Встал толстый архимандрит.

— Я, ваше высокопреосвященство, человек простой. По-моему, на Валаам.

Сел.

Встал седой как лунь епископ Агафангел.

— Ваше высокопреосвященство! По-моему, дело опасное. Народ суеверен. Лжечудеса этого богохульника могут иметь страшные последствия для всего православного мира... Я предлагаю ходатайствовать перед администрацией о немедленном запрещении этому человеку как устной проповеди, так и литературной деятельности; если возможно, кроме того, по этапу отправить на место жительства...

Предложение Агафангела было встречено с большим сочувствием.

Но вдруг на задних рядах поднялся молодой дьякон.

— Ваше высокопреосвященство, — сказал он, — я хотел бы сказать вот что. Нельзя судить, не выслушав обвиняемого. Я верю всем свидетелям, конечно; но

свидетели описывали факты. Нам важно знать, как их объясняет сам обвиняемый. Я предложил бы послать немедленно за ним. О. Никодим говорил, что он ночует у одного сторожа в его приходе. Времени на всё это потребуется полчаса.

Предложение приняли единогласно. Решено было отправить о. Никодима за Иисусом, а покуда сделать перерыв на полчаса.

В десять часов вернулся о. Никодим.

— Привёл, ваше высокопреосвященство, — доложил он.

С видимым любопытством стали рассаживаться отцы по своим местам.

Анания занял своё место и, обратившись к келейнику, сказал:

— Впустите его.

Взошёл Христос. Белые, чистые одежды Его были как снег среди чёрных ряс духовенства, среди чёрных монашеских клобуков. Ровным, неслышным шагом вышел он на средину комнаты и остановился перед Ананией...

Благоухание наполнило комнату, словно дыхание весенних полей.

— Отцы собрались здесь, — начал Анания...

— «Отцом себе не называйте никого на земле, — сказал Христос, — ибо один у вас Отец, Который на небесах!»

— Прошу вас не перебивать, — резко остановил Его Анания, — отцы собрались здесь, чтобы решить, как поступить с вами. Нам известно, что вы ходите по городу и сеете смуту; что вы врываетесь в православные храмы и производите там беспорядок. Мы хотели бы, чтобы вы нам дали свои разъяснения.

— На седалище Моём сели книжники и фарисеи... — тихо проговорил Христос.

— Я прошу вас отвечать на вопрос, — снова прервал Его Анания...

И вдруг, словно огнём, осветилось лицо Христа. В испуге отшатнулись от него епископы и протоиереи, Анания сгорбился и припал к столу.

Послышался голос Христа, голос гнева, безжалостный, как бич, справедливый, как может быть справедлива только одна любовь Божия:

— «Горе вам! книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и желающих войти не допускаете!

Горе вам! книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение!

Горе вам! книжники и фарисеи, лицемеры, что исполняете с точностью внешнее благочестие, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру.

Вожди слепые, оцезивающие комара, а верблюда поглощающие!

Горе вам! книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды.

Горе вам! книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония.

Горе вам! книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророков и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков». Но если бы к вам пришёл пророк, вы избili бы и замучили ещё более жестоко, чем отцы ваши.

«Дополняйте же меру отцов ваших.

Вы — змеи! Вас породила ехидна! Как убежите вы от осуждения в геенну?

Вот поэтому Я пошлю к вам пророков, и мудрых, и праведных; и вы иных убьёте и распнёте, а иных будете бить даже в церквах ваших и гнать из города в город.

Да придёт на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови тех, которых вы убиваете в наши дни!»

И повернувшись к именитым старостам, Христос продолжал:

— «Горе вам, богатые! ибо вы уже получили своё утешение. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете».

И умолкнув, повернулся и быстро вышел вон.

Изумление и ужас сменились яростью, бешенством! Оскорбить всё собрание, на котором иным заслуженным архиереям было уже по восьмидесяти лет! Вместо оправдания наговорить кучу дерзостей, и перед кем: перед лицом всего столичного духовенства в присутствии самого митрополита! Это было слишком. Совещаться больше было не о чем. Все понимали, что теперь остаётся одно.

— Досточтимые отцы, возлюбленные братья, — прерывающимся голосом начал Анания. — Завтра я буду у генерал-губернатора, а теперь объявляю заседание закрытым.

Снова все поднялись, снова обратились к Распятию и стройно запели: «Днесь благодать Святаго Духа нас собра, и вси, взявше крест свой, глаголем: Приидите, примите вси Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия, явльшагося Христа»...

IX

У Бардыгина был сын, нисколько на него не похожий. Худой, болезненный, задумчивый; он целыми днями сидел за книгами. Звали его Колей.

Отец не очень любил своего сына и часто с тревогой посматривал на него. «На кого только фабрику оставлю,

как умру? — думал он. — Всё бы ему книги, всё бы философия разная».

Пробовал Бардыгин приучать его к «делу», но ничего не вышло. Тогда он решил вышибить из головы его дурь другим путём. «Только бы его от книг этих проклятых избавить, а там как по маслу пойдёт всё. Малыш не дурак!»

Стал возить его в театры и в разные увеселительные места. Нет, ничего не выходит. Посоветовался с о. Иоанном.

— Женить надо, — с уверенностью сказал тот.

Стали искать ему невесту. Но когда нашли, Коля сказал очень твёрдо, так что отец даже удивился, откуда у него такая прыть взялась, что, мол, жениться не хочу ни на этой невесте, ни на какой другой. Бардыгин тогда махнул рукой:

— Авось вырастет, поумнеет.

Этот самый Коля присутствовал на заседании у митрополита. Его взял с собой отец. Он слышал всё от первого до последнего слова и, когда Христос пошёл к выходу, никем не замеченный вышел с Ним.

Долго он шёл за Христом, не решаясь подойти к Нему.

Ночь тёмная, улицы пустые, жутко было. Христос в белой одежде своей не был похож на человека здешнего мира; потом, эти странные рассказы про чудеса...

Наконец он решился и робко окликнул Христа:

— Учитель благий!

Христос остановился и повернулся к нему. Лицо Христа было бледное, измученное, крупные капли слёз дрожали в Его глазах.

— Что сделать мне доброго, — нерешительно проговорил юноша, — чтобы иметь жизнь вечную?

— «Что ты называешь Меня благим? — ласково сказал Христос. — Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди»...

— Какие?

— «Не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лже-свидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя».

— Всё это сохранил я от юности моей, — горячо ответил юноша. — Чего ещё недостаёт мне?

Христос пристально посмотрел ему в глаза. Коле показалось, что вся душа его осветилась от этого взгляда.

Лицо Христа стало строгим, и Он сказал:

— «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твоё и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною».

Тень печали прошла по лицу юноши. У него было столько планов! Он хотел по окончании учёныя поехать за границу, объездить весь свет, всё увидеть, всему научиться; а вернувшись, посвятить себя общественной деятельности.

Коля безмолвно стоял, поникнув головой.

Христос сделал движение продолжать свой путь дальше.

— Послушай, — остановил Его Коля, — неужели иначе нельзя? Неужели это необходимо?

— «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие», — отвечал Христос.

— Почему же о. Иоанн учит в церкви, что это от Бога, что так и должно быть, чтобы одни были богатые, а другие бедные? Одним для спасенья души нужна нищета, другим, напротив, богатство, чтобы они могли творить дела милосердия.

— Разве ты не знаешь, что, когда ближний просит рубашку, нужно отдать ему и верхнюю одежду?

— Знаю.

— Разве ты не знаешь, что нужно любить ближнего, как самого себя?

— Знаю, Учитель!

— Но, если ты будешь любить ближнего, как самого себя, можешь ли ты быть богат, когда есть нищие? И много

ли останется от богатства твоего, если ты всякому будешь отдавать не только рубашку, но и верхнюю одежду?..

Коля не знал, что ответить, но и отказаться от всех своих грёз, от всего, о чём он мечтал с таким жаром, о чём долгие вечера разговаривали они с другом Мишей, не хватало духа.

И опустив голову, он пошёл прочь от Иисуса.

Х

Молва о необычайном проповеднике в белых одеждах разнеслась далеко за пределы столицы.

Народ вереницей сопровождал Иисуса, и там, где останавливался Он и начинал учить, быстро собиралась громадная толпа народа. Покуда наряд полиции успевал явиться к месту соборща, Иисус уже учил в другом месте, и другая толпа с напряжённым вниманием слушала такие новые для неё слова.

Но далеко не все одинаково сочувствовали тому, что говорил Христос.

Случалось, что кто-нибудь из толпы резко прерывал Его, задавал вопросы с явным намерением обличить Христа или в сектанстве, или в политической неблагонадёжности. Но Христос, к радостному изумлению большинства, всегда несколькими словами, простыми и ясными, без труда разбивал козни врагов. Это приводило их буквально в ярость; и тогда они начинали грозить Ему тюрьмой и виселицей.

На другой день после заседания у митрополита Христос рано утром вышел на площадь. Его уже ждал народ, потому что Он часто приходил туда.

Христос чувствовал, что недолго Ему остаётся учить, и потому с какой-то особенной тихой лаской смотрел на окружавшую Его толпу. Это были по преимуществу простые люди: приказчики, дворники, прислуга. В отдалении стояло несколько священников, несколько дам, какой-то офицер в николаевской шинели.

Христос говорил:

— «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо

алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был наг, и вы одели Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.

Кто любит Меня, тот соблюдёт слово Моё. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих.

Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом».

Вы должны или последовать за мной, или не называться моими учениками, но открыто признать себя язычниками.

«Никакой слуга не может служить двум господам. Нельзя служить Богу и мамоне». Что высоким считается у людей — богатство, чины, роскошь, слава, — то мерзость пред Богом!

«Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится!

Приидите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас!»

В это время из толпы ко Христу подошёл высокий седой старик, сборщик на построение храма, в каком-то полумонашеском одеянии.

— Сладко поёшь, — насмешливо сказал он, — где-то сядешь? Откуда такой взялся?

— Я — Иисус из Назарета, — проговорил Христос.

— Ну, этого я там не знаю, а, только что, на улицах народ мутить нельзя... вот что. Про каких это ты тут двух господ толкуешь... Тоже, небось, понимаем вашего брата; небось, оба кармана прокламациями набиты. Недаром балахон-то надел.

— А ты не мешай ему! Дай послушать... — вмешался какой-то молодой парень.

— Много ты понимаешь, — презрительно бросил ему старик, — тут против Царя и церкви православной средь бела дня митинг устроили, а ты: «Дай послушать».

— Да что ты сам-то смыслишь! Ничего тут против Царя сказано не было. Говорят тебе: Богу, так Богу, а хочешь мамоне, валяй мамоне.

— А вот я сейчас тебе покажу!

И обратясь ко Христу, старик сказал:

— Ну-ка, любезный: позволительно ли Царю подати платить?

Он подмигнул толпе и остановился в ожидании.

Всех заинтересовал этот вопрос. С ожиданием следовала толпа за бледным лицом Христа.

Христос поднял Свои задумчивые глаза и спросил:

— Есть у тебя какая-нибудь монета?

Старик недоумевающе уставился на Христа:

— Да ты что?! Экспроприатор, что ли?

— Давай, давай, уж он знает! — нетерпеливо понукали его со всех сторон.

Старик достал рубль:

— Вот, на! Рубль даю.

Христос не взял монету в руки, а только спросил:

— Кто изображён здесь?

— Ну что ты разыгрываешь-то, — с неудовольствием проворчал старик, — знаешь, кто: Государь Император.

— Так вот и отдавай Царю то, что ему принадлежит. Ну а Божье Царю отдавать нельзя.

Купец молча спрятал рубль и отошёл.

А по толпе пронёсся гул восторга. Но это был не легкомысленный восторг от внешней красоты ответа Христа. Видно было, что простые сердца поняли, что хотел сказать Он, и поняли, сколько скорби, сколько жестокостей влечёт за собой проведение этого ответа в жизнь.

Христос поднялся, чтобы идти в другое место, ибо опасно было оставаться на одной площади слишком долго.

— Ты теперь куда пойдёшь, Учитель? — спросил Его один человек из толпы. — Мне бы хотелось после догнать Тебя.

— А ты для чего хочешь уйти? — спросил его, в свою очередь, Христос.

— Сегодня похороны моего отца.

— «Иди за Мною, — повелительно сказал Христос, — и предоставь мёртвым погребать своих мертвецов».

И человек из толпы, ни слова не говоря, пошёл за Иисусом.

— Ах ты, безбожник, — укоризненно говорила им вслед какая-то старуха, — ни жалости, ни стыда, а ещё на слово Божие ссылается...

Когда Христос прошёл несколько улиц, к Нему приблизился очень юный молодой человек, видимо взволнованный и опечаленный.

Христос узнал в нём одного из Своих учеников.

— Что с тобой? — спросил Христос.

— Учитель, — чуть не плача, проговорил юноша, — ты велел нам посещать заключённых в темницах. Я пошёл, но меня они не пустили, требовали пропуск, спрашивали, к кому и по какому делу. А когда я сказал, что хочу в темницу не к родственнику и не к знакомому, а потому, что Иисус велел посещать заключённых, они стали смеяться надо мной, а потом чуть не избili меня.

— Утешься, — сказал ему Христос, — так поступали и с пророками, бывшими прежде вас...

XI

Ровно в двенадцать часов карета митрополита остановилась у дома генерал-губернатора.

Анания, в праздничной шёлковой рясе, в белом клобуке, по парадной мраморной лестнице взошёл в приёмную.

Низко кланялись ему лакеи, низко кланялись какие-то генералы и штатские в приёмной. Анания привычным жестом благословлял их, но лицо его было озабоченно и строго.

Генерал-губернатор сейчас же принял владыку.

— Я к вам, ваше превосходительство, — начал митрополит, усаживаясь в глубокое бархатное кресло, — по весьма важному делу.

— Чем могу служить вашему высокопреосвященству?

— Извините меня, ваше превосходительство; конечно, я не осмелился бы вторгаться в вашу, так сказать, гражданскую область, но есть нечто, что слишком соприкасается единовременно и с церковью, и, так сказать, с администрацией. Так вот, не изволили ли вы слышать, ваше превосходительство, о некоем человеке в странном одеянии, который расхаживает без паспорта по улицам столицы и учит народ не повиноваться Государю и Православной Церкви?

— Да, до меня доходило что-то такое, ваше высокопреосвященство, но нечто весьма туманное, так что я даже не мог понять, в чём дело, и полагал, что это или душевнобольной, или сектант.

— Вы отдали какое-нибудь распоряжение, ваше превосходительство?

— Да, я приказал наблюдать... и в случае чего донести мне.

— Ваше поручение, осмелюсь заметить, ваше превосходительство, — нервно передёргиваясь, проговорил владыка, — исполняется в высшей степени халатно.

— Вы меня тревожите, ваше высокопреосвященство.

— Это не сектант и не сумасшедший, это нечто похуже анархиста!

— Не может быть... Что же, и бомбы... и вообще...

— Он открыто призывает войска к возмущению, он врывается в зал заседания суда, он разгуливает, как ни в чём не бывало, по всем улицам, устраивает за городом массовки. И кроме того, творит срам и гнусность в православных храмах.

— То есть... что же, собственно, экспроприации... или... вообще...

— Лжечудеса, ваше превосходительство!

Генерал-губернатор несколько секунд с изумлением смотрел на владыку.

— Чу-де-са!.. — отдельно проговорил он.

— Лжечудеса, ваше превосходительство.

Генерал-губернатор поёжился на своём кресле:

— Но, ваше высокопреосвященство... это уж касается, так сказать, духовной администрации.

— Я полагаю, ваше превосходительство, что здесь затронуты оба ведомства.

— Да, конечно, косвенно это касается и нас. Но, однако, какие же это чудеса творит этот негодяй?

— Воскрешает мёртвых.

Генерал-губернатор чуть не упал со своего кресла. На минуту он был в уверенности, что владыка спятил. «Впрочем, может быть, я сплю, — бормотал генерал, — я читал где-то, что бывает что-то в таком роде». И незаметно для владыки ущипнул себя за ногу: «Нет, ничего, чувствую... Странно...»

— Да-с, ваше превосходительство, осмеливается врываться в православные храмы и там воскрешать мёртвых!

— Изумительно, — проговорил генерал-губернатор, с трудом приходя в себя.

С минуту молча смотрели друг на друга два администратора. Вдруг генерал-губернатор просиял:

— Теперь я всё понимаю! Очень, очень вам благодарен, ваше высокопреосвященство. Это, безусловно, относится к министерству внутренних дел. Не говорите более ни слова. Я сейчас скажу по телефону, и всё будет сделано.

— Уж будьте так добры, ваше превосходительство.

— Можете быть покойны, ваше высокопреосвященство. Ещё раз очень, очень вам благодарен.

И он с чувством поцеловал руку, которая благословляла его.

ХИ

О Христе говорил весь город. Рассказ о воскрешении Лазаря переходил из уст в уста. Многие не верили, но все интересовались.

Известный врач Рыбников сделал очень научное предположение, что тут мы имеем дело со своеобразным видом гипноза, действующего на летаргию.

Другой учёный выразил предположение, что, скорей, мы здесь имеем дело с сомнамбулическим явлением.

Зоя призналась Нике, что вот уже три ночи не может заснуть, всё ей мерещится воскресший Лазарь.

Матушка Анна Петровна, жена о. Воздвиженского, на всякий случай велела окропить квартиру святой водой.

Появилось новое обязательное постановление, запрещающее хоронить усопших в открытых гробах.

Все чего-то ждали. Какое-то новое выражение появилось на всех лицах: что, мол, не слышали ничего... такого?..

И вдруг по городу разнёсся слух. Слух самый обыкновенный, но как-то всех необычайно ошеломивший.

Проповедника в белой одежде арестовали!..

Конечно, это было так естественно, но всё же это так не гармонировало со всеобщими ожиданиями, в которых не все признавались, но которые все носили где-то глубоко в своей душе.

Чудо... воскрешает мёртвых... новый пророк...

И вдруг всё так просто, повседневно. Пришли полицейские и преспокойно посадили в кутузку чудотворца!

Все считали себя даже несколько как бы обиженными.

Нечего было и народ смущать, и подавать поводы к разным надеждам. И лучше бы лежал этот Лазарь, как подобает покойнику, в могиле, а то шум, разговоры, а из-за чего, спрашивается?

Немногие жалели Христа.

— Я сегодня назло ему не пошла в гимназию и встала в двенадцать часов дня, — сказала Зоя Нике.

— Испеки-ка, мать, пирог с вязигой по этому случаю, — добродушно сказал о. Воздвиженский своей супруге.

— А нашего-то чудотворца забрали! — весело сказал один учёный другому учёному, встретившись с ним в университете.

Христа арестовали за городом, поздно вечером.

С немногими учениками Своими, по обыкновению, пошёл Он за город в любимую берёзовую рощу.

Когда стемнело, рошу окружили солдатами, и наряд полиции человек в двадцать явился арестовать Христа.

Ждали сопротивления, и потому все были вооружены с головы до ног.

— Как будто на разбойника, вышли вы на Меня в полном вооружении, — сказал им Христос. — Разве не каждый день учил Я открыто на улицах города?

Полицейские смутились от этих простых слов Христа, сказанных без всякого гнева: не такого преступника ждали они найти.

Словно агнец непорочный, шёл Христос в Своих белых одеждах, окружённый толпой вооружённых солдат и городских.

А в это время митрополит Анания стоял у телефона и звонил к генерал-губернатору:

— Это вы, ваше превосходительство?

— Я, ваше высокопреосвященство!

— У меня к вам большая просьба, да я только не знаю, не явится ли это, так сказать, нарушением законов Империи?

— Помилуйте, ваше высокопреосвященство, всё, что в моей власти, я готов для вас сделать.

— Я всё насчёт того бунтовщика... Помните?..

— Ну разумеется. Он уже взят, ваше высокопреосвященство. И, представьте, без всякого сопротивления. Сейчас сообщил мне по телефону пристав. Не извольте больше беспокоиться. Можете спокойно предаваться служению Всевышнему.

— Нет, я не о том. Мне уже сообщили, что он взят. Я бы хотел иметь с ним свидание.

— Очень хорошо.

— Но, вы понимаете, ваше превосходительство, в моём сане неудобно посещать тюрьмы, особенно в такое лихолетье... это может возбудить толки.

— Ну разумеется, я понимаю, ваше высокопреосвященство. Сегодня же арестованный будет доставлен в ваши покои.

- Глубоко благодарен вам, ваше превосходительство.
— Помилуйте, ваше высокопреосвященство!

ХІІІ

— Я призвал тебя, чтобы говорить с тобой как пастырь с заблудившейся овцой, — сказал Анания, когда келейник ввёл Иисуса в низкий, тёмный кабинет митрополита.

Христос молчал.

Круглые, острые глаза Анании внимательно всматривались в лицо Иисуса.

— Ты должен быть со мной откровенен. В моих руках твоя участь.

Христос по-прежнему не произносил ни слова и прямо смотрел в лицо Анании.

Владыке стало жутко, и он, чтобы скрыть своё смущение, сказал:

— Что же ты ничего не отвечаешь?

— Зачем ты звал меня? — спросил Христос.

— Я звал тебя для того, чтобы всё обошлось без суда, чтобы ты раскаялся во всех своих делах. Ты молод, ты мог их совершить по неопытности, по увлечению...

— В чём хочешь ты заставить раскаяться меня?

— Ты не признаёшь Церковь, — сурово сказал Анания.

— Какую?

— Церковь одна. Святая православная Церковь.

— Да, Церковь одна, — сказал Христос, — единая Церковь Христова.

— Ты играешь словами. Я не для шуток позвал тебя.

Анания нахмурился. Руки его быстро перебирали чётки.

— Ты знаешь, что Христос оставил Евангелие, а не Церковь. Церковь строилась долгие века. Церковь — это сонмы святых, от мучеников первых веков до затворников наших.

— Да, — сказал Христос, — среди мучеников первых веков было много святых, были и среди затворников. Но почему ты говоришь о них? Они — Церковь Христова.

— Но тогда ты, значит, хочешь сказать, что ты не признаёшь всего того учения, которое создано веками, зиждется на предании отцов наших?

— Вы, оставив заповедь Божию, как фарисеи две тысячи лет назад, держитесь предания человеческого, омоления кружек и чаш, и делаете многое подобное этому.

Анания едва сдержался, чтобы не прогнать от себя узника. Но что-то властно притягивало его к Нему.

Анания снова пристально посмотрел на Христа.

Комната была почти тёмная, свет из-под абажура падал лишь на стол.

И лицо Христа, бледное, с глубокими, необычайным светом сиявшими глазами, словно в чёрной раме выступало из темноты.

Анания впервые заметил необычайное сходство узника с нерукотворённым образом Христа.

Страх и желчная ненависть сжали его сердце.

И вот, приподнимаясь со своего места и в упор глядя в глаза Иисуса, он тихо, но твёрдо спросил Его:

— Кто ты?

Христос молчал.

— Заклинаю тебя Богом живым, — возвысил голос владыка, — скажи мне, кто же ты, наконец?

— Христос воскресший.

Владыка отшатнулся от Иисуса и, прижимая чётки к груди своей, прошептал:

— Богохульствуешь...

Христос безмолвно смотрел на него из чёрной рамы как образ нерукотворённый.

— Постой, нас никто не слышит. Тебе не для чего лгать. Я слишком стар, чтобы поверить твоей сказке... Чем ты можешь подтвердить слова свои?

— Слова Мои и дела Мои свидетельствуют обо Мне.

— Дела? Да, конечно, ты воскресил Лазаря. Но читал, что писали в газетах: это могла быть простая латаргия... Да и потом, я не видал этого.

— Послушай! — и Анания почти в упор подошёл к Иисусу. В глазах его вспыхивали огоньки. — Послушай. Сделай что-нибудь здесь... Хотя какое-нибудь знамение. Ну, пусть передвинется эта лампа... Понимаешь, я уверую в тебя сейчас же... Если можешь, ты должен это сделать. Должен для спасения людей. Ибо, если уверует митрополит, уверует и вся Церковь, если ты...

— «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, — гневно перебил его Христос, — и знамение не дастся ему».

— Ага... Я знал, что ты мне ответишь так, — почти крикнул владыка в лицо Христу, весь передёргиваясь от бешенства. — Ты бессилён это сделать с глазу на глаз, когда нет толпы. Для твоих фокусов нужна обстановка!.. Христос воскресший! Ну, посмотрим, воскреснешь ли ты, когда тебя вздёрнут по приговору военного суда!

И вытянув руку, в которой дрожали чётки, митрополит проговорил:

— Ступай!

XIV

На улицах перед зданием суда, во дворе, по коридорам — всюду были усиленные наряды полиции.

По городу прошёл слух, что черносотенцы хотят захватить Христа и расправиться с ним самосудом.

Генерал-губернатор отдал распоряжение, в случае если Христа оправдают, немедленно арестовать Его в административном порядке.

Публику пускали в зал суда по билетам. Было много высокопоставленных дам, которые в лорнет с любопытством осматривали подсудимого.

Христос сидел на скамье подсудимых, погружённый в Свои думы. Два жандарма с шашками наголо стояли за ним.

В одиннадцать часов пристав громко произнёс:

— Прошу встать. Суд идёт!

Медленно вошёл председатель судебной палаты, предводитель дворянства в камергерском мундире и другие сословные представители. За ними с портфелем в руках и озабоченной физиономией вошёл прокурор, очень худой, высокий господин средних лет, лысый, в пенсне.

Начались обычные вопросы.

— Как ваше имя и фамилия?

— Иисус из рода Давидова.

— Откуда родом?

— Из Назарета.

— Как? — переспросил председатель.

— Из Назарета, — спокойно повторил Христос.

— Но вы русский подданный?

— Один Владыка мой и Отец, Господь Бог!..

— А!.. — не без иронии протянул председатель. —

Вероисповедания?

— Я — иудей.

— Сколько вам лет?

— Тридцать три.

— Звание ваше?

— Сын плотника.

Затем председатель спросил Христа, признаёт ли Он себя виновным в том, что учил народ не убивать, не судить, слушаться Бога больше, чем Царя, хулил православную церковь и, наконец, творил ложные чудеса и сеял суеверие, говоря, что он Христос воскресший.

Христос выслушал всё молча и, не ответив ни слова, сел на Своё место.

Председатель пожал плечами и велел ввести свидетелей.

Вошло несколько человек, часто ходивших вместе с Иисусом. Кроме того, Бардыгин, о. Воздвиженский и о. Никодим.

— Свидетели, — обратился к ним председатель, — вам, за исключением священнослужителей, предстоит

принять присягу. Помните, что вы должны показывать одну только правду, как перед Богом; за всякую ложь вы будете отвечать перед законом.

Свидетели подошли к аналою, около которого ждал их старичок-батюшка.

Вдруг в зале раздался голос Христа:

— «А я говорю вам, не клянитесь вовсе: ни небом, потому что оно Престол Божий; ни землёю, потому что она подножие ног Его... Но да будет слово ваше: “да, да”; “нет, нет”; а что сверх этого, то от лукавого».

— Господин подсудимый, — строго остановил Его председатель, — прошу вас говорить, только когда вас спрашивают.

Приняли присягу. Начались свидетельские показания.

Свидетели подтвердили всё сказанное в обвинительном акте.

Да, Христос действительно ходил по улицам и учил, что не надо убивать, судить, клясться; что Божие нужно отдавать Богу, а Царю Божие отдавать нельзя; воскресил Лазаря, силой ворвавшись в церковь.

Наконец слово было предоставлено прокурору.

Высокий, лысый человек встал и начал говорить. Говорил он красиво, убедительно, с искренним воодушевлением. Это был человек набожный и горячий патриот.

— Господа судьи и сословные представители! — говорил он. — Мне нечего доказывать вам виновность подсудимого. Она уже доказана единогласными свидетельскими показаниями. Я хочу лишь разъяснить суду всю важность настоящего дела, чтобы потребовать самого строгого наказания. Подсудимый, господа судьи, в своих преступлениях не останавливается ни перед чем. Не только он учит народ не убивать, когда этого убийства требует безопасность родины; не убивать, когда этого требует коронный суд; не только свершается кощунственное воскрешение мёртвого — он идёт

дальше, рассчитывая на невежество масс: он выдаёт Себя за воскресшего Христа.

Господа! Мы все любим нашу великую Россию, и все хотим ей одного только блага; а если так, то нам должно строго карать всех, кто осмеливается потрясать её священные основы.

Христос учил быть покорным всякому человеческому начальству; Христос создал церковь православную; Христос через апостолов благословил смертную казнь, поразив Ананию и Сапфиру; Христос благословил христоролюбивое воинство и праведный суд.

Разрушающий эти святые заветы под прикрытием слова Божия — не только преступник, но и безбожник.

Господа, я требую для подсудимого высшей меры наказания.

Речь прокурора произвела глубокое впечатление. Председатель, чтобы скрыть слёзы умиления, стал сморкаться.

Несколько дам усиленно из флакончиков нюхали нашатырный спирт: они боялись, что им сделается дурно.

Но когда зал несколько успокоился, председатель обратился к обвиняемому:

— Слово принадлежит вам.

Все с любопытством обернулись к Иисусу. Что мог сказать этот загадочный человек, не боявшийся называть себя Христом и какой-то тёмной силой, почти колдовством, воскресивший Лазаря.

Но Христос не произнёс ни одного слова.

В зале было полное разочарование. Молодые помощники присяжных поверенных были уверены, что обвиняемый отделает прокурора.

Едва суд поднялся, чтобы удалиться для совещания, как грозные крики понеслись из коридора. В публике началась паника.

Оказалось, что разъярённая толпа, не будучи в силах дождаться конца судебного заседания, оттеснила полицию и ворвалась в суд.

Напрасно сторожа пытались остановить. В ярости бросились озверевшие люди в зал, почти смяли пристава, публику и завывли, увидав Христа:

— Вот он! Вот безбожник! Распятъ его! Пусть издохнет жид жидовскою смертью. Хочешь Христом называться — так на крест его!

В несколько минут сломана была решётка; несколько грубых рук схватили Иисуса, и разъярённая толпа почти на руках понесла Его к выходу.

У входа в суд, на дворе и на улице стояло несколько тысяч человек.

Дикими криками встретили они Христа. Казалось, все сейчас готовы были броситься на Него и растерзать Его в клочья.

— Слушайте, народ! Слушайте! — напрягая шею, кричал какой-то человек в поддёрвке.

Когда несколько стихло, он, громко выкрикивая каждое слово, сказал:

— Обманщик-жид в наших руках. Он назвал себя Христом...

Буря негодования снова охватила толпу, снова яростные крики смешивались с площадною бранью, и десятки рук потянулись к Иисусу.

Ещё с большим трудом удалось успокоить толпу.

— Собаке собачья смерть! — снова стал выкрикивать тот же голос. — Пусть же он будет распят. Выведем его за город и повесим на крест, как подлую собаку...

Хохот, ругань, ликующие неистовые крики были ответом на это предложение.

— Распнём! Распнём его! — гремела толпа.

Иисуса схватили и повлекли за собой.

Полиция даже не пыталась вмешиваться: жида бьют, значит, можно.

А народ со свистом, гамом и руганью вёл Христа за город. Какой-то шутник сделал из крапивы венки и надел его на голову Иисуса. Гул одобрения приветствовал

эту шутку. Многие плевали Ему в лицо и говорили: «Радуйся, Христос воскресший!»

Какой-то господин в бобрах несколько раз с ожесточением ударил Христа по голове тростью.

— Христос идёт! Христос идёт! — визжали мальчишки и дёргали Христа за одежду, бросали в Него грязью.

Недалеко от той площади, где чаще всего учил Иисус, навстречу толпе шёл крестный ход с хоругвями, с иконами, крестами, с целой вереницей духовенства.

Узнав, кого это ведут, многие отстали от крестного хода и пошли с толпой за город распинать Христа.

И чем дальше шла толпа, тем всё увеличивалась она, тем сильнее ярость опьяняла её. И они били Христа по лицу и спрашивали: «Ну-ка, узнай, кто Тебя ударил?»

Пришли за город; откуда-то принесли досок, сделали крест и под вой неистового восторга начали приколачивать Христа ко кресту.

— Знай наших, жидорва! — в исступлении орал человек в поддёвке. — Вот тебе казнь православная. Мало вам Кишинёва, пархатые, сюда прилезли!..

— Распни! Распни его!.. — неистово неслоь отовсюду.

Кровь лилась из рук и ног Иисуса, но измученное лицо было светло и спокойно.

Подняли крест. Народ увидал распятого. На одно мгновение что-то, похожее на колебание, почувствовалось в толпе.

Но человек в поддёвке заорал:

— Ура! Да здравствует жидорва!..

И, как внезапная буря, ярость с удвоенной силой охватила народ.

Столб врыли в землю. Отошли от него и стали бросать в распятого чем ни попало.

— Ну-ка, воскресни, воскресни! — совсем опьянев, орала поддёвка.

И вдруг из чистого, голубого неба пронёсся грозный раскат грома.

Толпа стихла.

Новый удар, ещё грозней и ужаснее. И наступила тьма.

И был слышен чей-то голос с неба:

«Да, Он воскреснет. Но Он больше уж не придёт учить вас. Он придёт судить. Судить тиранов, жестоких поработителей народа, всех гонителей, обагривших землю святой человеческой кровью. Судить больших и малых инквизиторов, которые именем Его жгли, творили неслыханные злодеяния, грабили, обманывали, казнили, мучили, пытали, гноили в тюрьмах.

Он скажет им, что напрасно думали они, что чаша гнева Господня не переполнится никогда. Нет, беззакония можно творить до срока. Через всю историю земли прошёл Иисус и на протяжении всей истории били Его, плевали в Его лицо, надевали на Него терновый венец, распинали Его на кресте.

Сколько раз приходил Он, сколько раз не узнавали Его и возводили на лобное место.

Больше Он не придёт учить.

Ждите Его страшного суда, все вы, пресыщенные богачи, оскверняющие жизнь похотью; земные владыки, превратившие свободных детей Божиих в рабов и подданных; пастыри, продавшие Церковь князю мира сего!

Ждите! Явится знамя Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою!..»

ЭПИЛОГ

Книга эта написана не великим апостолом. Автор её самый обыкновенный смертный, имевший наивную привычку с любовью читать Священное Писание и от природы не лишённый живого отношения к окружающему.

Она написана не по вдохновению свыше; а потому, согласно действующим законам страны, в которой она написана, была представлена в цензурный комитет.

На заседании цензурного комитета старший цензор, человек очень желчный и решительный, сказал:

— Ну, об этой книге не может быть двух мнений: книгу следует конфисковать, и как можно скорее! Книга более чем вредная...

— Но... собственно, — нерешительно заметил молодой цензор, — какие же статьи закона нарушены в ней? Ведь, кажется...

— Все статьи! — перебил его старший цензор. — Призыв к бунтовщическим деяниям, оскорбление суда, оскорбление Величества, хула на православную церковь... Это не Христос — это анархист... Это Бакунин!.. Это чорт знает что такое!.. За одно название в Сибирь мало... на виселицу мало...

Цензор выпил воды. Никто более не произнёс ни слова.

И цензурный комитет единогласно постановил: «Книгу Вал. Свенцицкого “Второе распятие Христа” конфисковать и возбудить против автора судебное преследование по возможности по всем статьям Уголовного уложения».

Молодой цензор внёс тогда новое предложение.

Ввиду того, что почти всё, что говорит Христос в этой книге, представляет из себя сплошной плагиат из другой книги, называемой Евангелием, то не сочтёт ли цензурный комитет нужным возбудить ходатайство пред соответствующим учреждением об изъятии Евангелия из продажи...

— Нет... это излишне, — подумав, сказал старший цензор, — к Евангелию... так сказать, привыкли... Нет, Евангелие ничего!..

АНТИХРИСТ

Записки странного человека

И поклонятся Ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира.

Отк. 13, 8

В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх; потому что в страхе есть мучение.

1 Ин. 4, 18

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Я хочу написать свою исповедь. Но кто верит публичной исповеди? Да и какое имею я право публично исповедываться? Для этого нужно быть Августином, Руссо или Толстым. А я — только странный человек. Кому нужна моя исповедь? Между тем, я чувствую, что исповедаться мне необходимо, и именно публично. Почему?.. Но может быть, это станет ясным из дальнейшего. Покуда поверьте на слово, что это необходимо.

С одной стороны — необходимо, с другой — невозможно. Как выйти из этих противоречий?

Я решился на очень рискованный, но единственный пришедший мне в голову выход: я решил свою исповедь озаглавить «Записки странного человека».

С первого взгляда может показаться непонятным, в чём тут выход. Разве что-нибудь меняется от заглавия? Уверяю вас, очень даже меняется. И я уверен, что при таком заглавии мне никто не поверит, что я исповедуюсь.

В самом деле, что бы ни написал я, какую интимнейшую сторону, фактическую ли, психологическую ли, ни затронул, с какою бы точностью она ни соответствовала действительности, я знаю наперёд, что всякий читатель подумает: это он нарочно от своего имени пишет, это так себе, литературная форма, для живости, так сказать, рассказа.

Если же я, раз в жизни с действительной откровенностью, в этих «Записках» выложу всю грязь, всю путаницу, всю тьму своей души, мне никто не скажет, что ты, мол, мерзавец, а подумает: автор, должно быть, хороший человек, коли такого мерзавца сумел описать.

Если же, наоборот, я вздумаю рассказать о чём-нибудь хорошем в себе, я уверен, что этому хорошему все порадуются от души. Да и почему не порадоваться, когда в *литературном* типе найдутся положительные стороны? О герое «Записок» не подумают, как об авторе «Исповеди»: прекраснодушничает, рисуется — говорит, хочу каяться, а сам хвастается.

Итак, что невозможно для «Исповеди», то возможно для «Записок».

Одно только меня пугает, и так пугает, что я чуть-чуть даже из-за этого вовсе не отказался писать «Записки». Дело в том, что я как странный человек буду писать, конечно, странные вещи; но так как они в большинстве случаев будут далеко для меня не лестны, то, несомненно, пиши я «Исповедь», меня могли бы назвать каким угодно ругательным словом, но, во всяком случае, *приняли бы всё за чистую монету*.

Теперь же, в «Записках», все эти странности будут отнесены за счёт неумелости автора, усмотрят «стремление к эффектам», нарушение художественной правды и массу других преступлений — словом, *не поверят*. Боюсь, что скажут: в действительности это невозможно, это выдумка. Не в самолюбии тут дело. Но каково это слушать человеку, который знает, что всё написанное им безусловная правда, и который готов ручаться за каждое написанное им слово...

Но другого выхода нет, и приходится пренебречь этим неудобством.

Дабы с первых же страниц у меня с читателями не возникало недоумений, я должен ответить ещё на один вопрос, который предвижу: «Если вы так хотите, чтобы ваши записки не приняли за “Исповедь”, то зачем вы изо всех сил хотите доказать, что это есть именно “Исповедь”?.. Ведь если читатель поверит всему тому, что сейчас здесь написано, он отнесётся, очевидно, к “Запискам” не как к литературному явлению, а как к “Исповеди”, и тогда никакого “выхода” не получится...»

Вот в том-то и дело, что это «очевидно», а потому всякий читатель будет рассуждать так: знаем мы вашего брата, всё это литературные выкрутасы, будь это действительно «Исповедь», разве бы он всё это так откровенно написал бы. И даже те, которые без всяких предисловий ещё склонны были бы подумать: не о себе ли, мол, автор пишет, — теперь, после этого предисловия, как бы я ни божился, всё равно мне не поверят.

Больше того. Признайтесь, прочтя это предисловие, вы подумали: автор разводит такую канитель, потому что считает это характерным для своего героя... способ старый, скучный и неудобный. Готов спорить, что самая эта приписка, которую я сделал, самое это угадывание вашей мысли опять-таки будет объяснено как «художественный приём». Да ещё приём-то «заимствованный у Достоевского». И так без конца. И следы окончательно заметены. «Странное рассуждение», — скажете вы? Воз-

можно. Но только условимся наперёд: не удивляйтесь ничему в «Записках» и помните, что пишет их *странный* человек.

Говорят, личность больше всего выражается в любви. Достаточно прослушать историю любви какого-нибудь человека, чтобы узнать его лучше и полнее, чем за целую жизнь знакомства. Я согласен с этим. И потому, так сказать, канвой для «Исповеди» выбираю свой «роман». Но я сомневаюсь, что роман сам по себе, во всех своих сокровенных уголках, мог быть *понят*. Чтобы понять его и, таким путём, спуститься на самое дно души, необходимо знать хотя бы одну, основную черту характера человека. Вот потому я, прежде чем рассказывать о своём романе, порасскажу просто о себе. Вы думаете, будет скучно? Не бойтесь. Конечно, я не беллетрист и очень хорошо сознаю это, но если вы хоть раз по-человечески отнесётесь к искреннему страданию — вы и скучные вещи прочтёте со слезами. Вы, пожалуй, скажете: хватит ли у вас ещё таланта заставить нас плакать? Но, Боже мой, неужели, чтобы рассказать правду, чтобы рассказать нестерпимые свои муки, нужен талант, и неужели плакать над страданиями другого нужно заставлять?!..

Итак, что же прежде всего я мог бы сказать о самом себе?

I

О САМОМ СЕБЕ

Больше всего и чаще всего я думаю о смерти. Она вызывает во мне ужас и отвращение. Как это ни странно, но, может быть, одна только *смерть* вызывает во мне действительно живое чувство. Часто гляжу я на свои руки и думаю: через несколько десятков лет, может быть, через год, может быть, через день, я стану трупом, это мясо начнёт гнить, отвратительным удушливым запахом наполнит комнату... При этой мысли я начинаю дрожать, чувствую, как холодеют руки, ноги.

И нестерпимо тоскливо, и нестерпимо мучительно становится на душе...

Когда я думаю о смерти, — может быть, потому так много и думаю о ней, — мне словно хочется в чём-то себя уверить, словно это ещё не так, не наверно, что нужно ещё что-то узнать... Но в результате всегда одно и то же: умереть неизбежно. И новые приступы мучительного ужаса, до слёз, до иступления, до кусания подушки и нелепого крика... а затем опять что-то не то и не то...

Я не могу встретить на улице гроб, чтобы не пойти провожать его до кладбища. Мне противно смотреть на застывшее, пожелтевшее мёртвое лицо, на холодные, словно из воску сделанные руки; у меня кружится голова от смеси приторного земляного запаха разлагающегося трупа с запахом воска и ладана — но во мне исчезает всякая воля, как автомат смотрю я на чужое, когда-то смеявшееся лицо, как автомат иду до могилы.

На кладбище я всегда стараюсь встать поближе к краю и ловлю каждый момент, каждое движение гроба. Когда бросают первую лопату земли — напряжение достигает высшей точки. Этот стук, словно в пустую грудь, эти в пыль разбивающиеся комья земли — буквально физической болью отдаются в моём сердце.

Я возвращаюсь с кладбища разбитый и больной. В каждом встречном вижу я мертвеца. Мне как-то странно, что они двигаются. Я почти не замечаю их платья, их усов, их бороды, ихнего тела — но почти до галлюцинации ясно вижу их скелет, их кости, череп, глазные впадины, страшный чёрный оскаленный, смеющийся рот. Чем здоровее и жизнерадостнее лицо, тем яснее представляю я себе его лежащим в гробу, с венцом на голове, с посиневшими щеками, готовыми разложиться.

Внутри себя я чувствую такую безжизненную пустоту, такое спокойствие, какое, мне думается, обыкновенно наступает только после смерти: ни страха, ни отвращения, скорей даже, едва уловимое чувство удовлетворения, пожалуй, даже торжества, как будто бы я

знаю что-то важное и неизбежное — и между тем, никому, кроме меня, неизвестное...

Я начал думать о смерти очень рано. Можно сказать, как помню себя. Когда мне было лет семь, я часто в непонятном испуге просыпался ночью, боязливо крестился, мне почему-то казалось, что я умираю; но сейчас же радостно вспоминал, что мне ещё только семь лет, жизнь вся впереди, смерть ещё далеко-далеко, и засыпал успокоенный...

Но мысль о смерти овладела всецело существом моим со смерти бабушки.

Как сейчас вижу я себя в маленькой полутёмной комнате. Окна занавешены, сквозь них просвечивает серое, мутное утро.

Я сижу в углу, на диване, усталый и измученный бессонной ночью. Чувство напряжённого ожидания притупилось; глаза устали смотреть на низкую закрытую дверь, за которой давно уже не слышно ни разговоров, ни стонов, ни кашля с какой-то особенной булькающей хрипотой...

— Анята, а Анята, что это, звонят? — говорит за дверью глухой, до неузнаваемости изменившийся голос.

— Нет, бабушка, ничего, так это вам.

«Неужели умрёт, неужели умрёт?» — начинаю повторять я, зачем-то крестя вокруг себя тёмное пространство. И я чувствую, как вздрагивают мои губы, давит горло, и тупой ужас охватывает со всех сторон. «И я умру? — беспомощно носится в моей голове. — Да, да, обязательно умру, ничего против этого нельзя сделать, по телу пройдёт судорога, сердце остановится, положат на стол...»

— Анята, а Анята...

— Что, бабушка?

— Опять звонят...

— Бог с вами, спите себе, никакого звона нет.

— Так это, верно, гроб заколачивают, услышишь завтра.

Бабушка вздыхает и шепчет:

— О Господи, о-охо-хо...

Помню, как, придя на следующий день из гимназии, я подошёл к бабушкиной комнате, но против её двери стояло кресло...

Я понял, что это значило.

И мне это показалось таким странным, как будто я в первый раз узнавал, что люди умирают.

— Когда? — зачем-то спросил я проходившую Аннушку.

— В девять часов.

— Туда можно?

— Можно.

Я взошёл. Мне бросился в глаза край длинного белого стола, кривые подсвечники, монахиня, какие-то пустые бутылки на окне.

Но взглянуть в лицо умершей я решился только в церкви. Она лежала в белом чепце; морщины её разгладились, нос опустился, губы посинели и были полуоткрыты... Всю дорогу до кладбища я ничего не замечал перед собой...

И только когда гроб опустили в могилу и засыпали землёю, предо мной в первый раз промелькнуло не жёлтое безжизненное лицо, а другое, с мелкими, маленькими морщинками, доброй улыбкой, ласковыми близорукими глазами, повязанное чёрной косынкой, из-под которой выбились такие мягкие, седые волосы.

И мне стало жалко всех: и её, и себя, и священника, и всех-всех людей; и деревьев, которые стояли такие белые, блестящие, покрытые мягким, пушистым снегом, в недвижимом, морозном воздухе...

Я почти убежал с кладбища. Мне необходимо было остаться одному.

«Я не могу, не могу больше, — как вихрь несло в моей голове. — Или пусть сейчас, сию минуту, тело моё станет таким же восковым, начнёт так же отвратительно пахнуть, или жить, жить после смерти, вечно, всегда, и

пусть тогда впереди гроб и яма — они не страшны. О, почему я не могу поверить в бессмертие — ведь верят же десятки тысяч... На чём основана их вера, кроме страха смерти?.. Есть же у них что-нибудь?.. Бессмертие должно быть, должно быть... Боже мой, спаси меня, дай мне веру...»

Я долго не возвращался домой. Там уже начинали беспокоиться. Когда я пришёл, все сидели в столовой. Было несколько человек близких знакомых. О чём-то громко разговаривали. Один из моих братьев хохотал с полным ртом.

Я сел за стол и тут только понял, что мне стоил этот день...

— Люди не смеют жить и не верить в бессмертие... — неожиданно для себя выкрикнул я и подумал: «Я это говорю или нет? Я чувствую своё бессмертие, как вижу дерево, как небо, как землю...»

— Бессмертие — не мечта, жизнь — мечта, если нет бессмертия, — продолжал я.

И я видел, что все как-то странно смотрят на меня. Голова у меня кружилась, и всего меня непроизвольно покачивало из стороны в сторону. Я долго говорил о бессмертии, почти не сознавая, что я делаю... Впечатление, видимо, было огромное. Когда я кончил и осмотрелся, все сидели серьёзные и бледные. Никто не шевелился, только мать моя быстро сказала:

— Счастлив, кто может верить, как ты, но не всем это дано. — И совсем шёпотом прибавила: — Я не знала, что ты такой.

Говорю по совести, я должен отдать себе эту справедливость: от этих слов моей матери мне стало стыдно, где-то глубоко сжалось сердце тяжёлой тоской, мне хотелось броситься к ней и сказать ей всю правду: что я обманываю себя и их, что я не верю в вечную жизнь, но что я не в силах жить, не в силах, не в силах идти медленным, но неизбежным шагом в эту проклятую яму; умолять, чтобы она спасла меня, спрятала, унесла от этого дикого конца...

На один миг, правда, только на один миг, но всё-таки это было... А затем, сейчас же, я увидал, что братья и знакомые смотрят на меня по-новому. Я почувствовал себя выше их, особенным... я потянулся за хлебом, и мне казалось, что теперь все обращают внимание на каждое моё движение, и сам я обратил необычное внимание на то, как я это делаю...

С этого дня вся моя жизнь приняла новый оборот: я объявил себя верующим христианином, я уверил всех, кого мог, в своём твёрдом намерении сделаться миссионером. В этом пункте я сам не в силах разобраться в себе. Было ли это сплошь сознательной ложью, или здесь заключалась всё-таки и некоторая правда? А главное, если это была ложь, то для чего? Безусловно могу сказать следующее. Ни одной минуты я *не верил* в то, что стану миссионером, ни одной минуты я не считал себя христианином — но я не мог не лгать. Я не мог не лгать потому, что эта ложь была необходима для моей жизни.

Моё мнимое христианство было оружием, которым я боролся против призрака смерти, накладывавшего свою лапу на всю мою жизнь. Не будь христианства, смерть довела бы меня до самоубийства. Страх перед неизбежностью смерти, невозможность медленно ожидать её заставили бы силой приблизить конец. И хотя я не верил в Христа ни одной минуты, но лишь только обычными рассуждениями о грядущем уничтожении я доводил себя до знакомого нестерпимого, леденящего ужаса — я в отчаянии и смятении хватался за религию.

Тут есть одна чрезвычайно странная вещь, я совершенно не в силах себе её объяснить — пускай уж этим занимаются психологи, — но я готов поклясться в правдивости своей «исповеди». Дело в том, что религия при полном отсутствии веры имела, как я уже сказал, такое целительное действие только при одном необходимом условии: *окружающие люди должны были искренно считать меня верующим*. Повторяю, я не знаю, почему это было необходимо, но это так. Только при этом условии

идея бессмертия и всеобщего воскресения, в которые сам я не верил, могла спасти меня. Отсюда получалась такая, например, нелепость. Мелкая, но страшно характерная. Я тщательно соблюдал посты. Ни при ком из знакомых, как бы ни был я голоден, не решился бы я в постный день съесть хотя бы кусочек скоромной пищи. Меня все считают постником и аскетом, и такая репутация действительно необходима для меня. Но в те же постные дни я заходил в какой-нибудь ресторан и без малейшей борьбы съедал скоромный обед. И вполне понятно, почему без малейшей борьбы. Я вовсе не верил в посты — мне необходимо было считаться христианином до мельчайших, даже внешних подробностей, ибо таким путём я мог, по крайней мере, настолько освободиться от власти смерти, чтобы иметь силы жить.

Вот в чём лежит главная причина моей лжи, моего систематического обмана, непроходимой стеной отделившего от людей мою *действительную* внутреннюю жизнь. Ибо то, что было относительно постов, было и относительно всего, касающегося христианства. Везде, где только возможно, я проповедовал христианские добродетели, но источник всех этих проповедей был всегда один — *страх смерти*.

И вот всё это создало мне совершенно исключительное положение к тому времени, к которому относятся эти записки, то есть когда я уже не гимназист, робко сидящий у двери умирающей бабушки, а окончивший университет и оставленный по кафедре истории философии и даже не лишённый некоторой популярности молодой «писатель-проповедник», как меня называют.

Такое положение и такую репутацию мне не трудно было создать, ни разу не подав повод заподозрить меня в фальши, ввиду одной, чрезвычайно важной, стороны моей личности.

Я должен признаться в том, в чём я никогда, никому в *жизни* не признавался и не признаюсь.

Да если бы я вздумал кому-нибудь сказать об этом, разве мне поверили бы? Разве *факты* всей моей жизни не противоречат этому? Да, по внешности противоречат. Впрочем, может быть, противоречат не только *по внешности*. Я опять-таки бессилён разобраться в этом. Признание моё заключается вот в чём: моё внутреннее отношение к пороку, ко злу абсолютно безразлично. Не думайте, что это теоретическое отрицание морали, добра и зла и т. п. Не в этикетке тут дело, чтобы одно *называть* добром, а другое злом, нет. Во мне отсутствует нравственное чувство. Во мне не хватает какого-то нерва, который реагировал бы на зло так, а на добро иначе. Мне самому страшно писать это, но несомненно, что чувства, так сказать, *переживания*, у меня абсолютно безразличны относительно грабежа и милостыни, храбрости и трусости, самопожертвования и изнасилования... Зло, порок как таковой, не вызывает во мне ни малейшего протеста. О, как мне передать эту муку почувствовать себя ко всему одинаково мёртвым, ко всему одинаковым ничто?! Внутри меня какая-то пустота, смерть и тьма. Страх смерти сковал душу, и мысль о смерти опустошила всё. Я долго сам не знал этого. Жизнь и факты противоречили этому: ведь я чувствовал и чувствую искреннее отвращение, видя, как *совершается* какая-нибудь гнусность. Я считал себя благородным. Я думал, что порок так действует на меня. Все так думают обо мне и до сих пор.

Но это ложь.

Хоть на бумаге, хоть раз в жизни признаться в этой лжи и вздохнуть свободно.

Я сделал неожиданное открытие. Я заметил, что какую бы гнусность я ни думал, какую бы зверскую роль в своём воображении я ни играл, никогда ни малейшего протеста не шевелилось в моей душе. Больше того. Как бы скверно или несправедливо я ни поступил, сам поступок, как таковой, не вызывал во мне ни малейшего раскаяния. Умом я знал, что это называется дурным, безнравственным, но напрасно напрягал все усилия, чтобы

почувствовать грех. И тут я понял, что во мне душа трупа. Я почувствовал тогда в первый раз, что во мне атрофировано нравственное чувство, что я урод. И это открытие привело меня в ужас не меньший, чем когда-то смерть бабушки.

Помню очень ясно, помню как сейчас, что в тот же самый момент, в который я раз навсегда признался себе в этом уродстве, как бы в ответ на это признание, где-то глубоко-глубоко во мне шевельнулось злоеущее чувство *страха*, но не знакомое мне чувство страха смерти, а совсем другое, *как будто бы живое, во мне появившееся существо...* И я вздрогнул, почувствовав в себе присутствие этой чужой жизни...

О, теперь я хорошо знаю, что это за птица тогда во мне шевельнулась.

Но об этом после, не буду разбрасываться.

Итак, я сделал своё открытие. Оно повергло меня на первых порах в непреоборимое противоречие. Видя порок, видя, как совершается какая-нибудь несправедливость, я чувствую, как возмущается всё существо моё. Откуда же берётся это, если для меня стёрлось отличие добра и зла? Но скоро и это противоречие мне разъяснилось.

Я скоро заметил, что порок только тогда и возмущает меня, когда вижу, как он совершается, то есть *когда он в ком-нибудь другом*. И совершенно то же самое, что я безо всякого внутреннего протеста позволял самому себе, совершённое кем-нибудь другим, приводило меня в бешенство. Обличать благородно, с пламенным негодованием — моя стихия. Ну кому могло бы придти в голову, что такой моралист, с такими страстными порывами к добру, — нравственный урод!

Откуда же этот гнев? Вот откуда: я не могу допустить, чтобы кто-нибудь безбоязненно, с наслаждением, не смущаясь мыслью о смерти, о грядущих муках, совершал злодеяние. Опять эта вечная мысль о смерти питает мой гнев. Как они смеют за миг порочных наслаждений

пренебрегать нравственными требованиями, как они смеют не думать о смерти и тем самым не отравлять себе греховных радостей? Но может быть, вы меня спросите: почему я сам, постоянно думающий о смерти и постоянно боящийся её, почему я не боюсь вечных мучений и не испытываю раскаяния, поступая дурно? В том-то и дело, что я не боюсь вечных мук, потому что не верю в вечную жизнь. Но я другое дело. Я не верю в вечную жизнь, и потому, конечно, мои наслаждения не могут быть отравлены боязнью ада, но зато они отравлены вечной боязнью смерти. А они, отрицающие и бессмертие, и не знающие этого ужаса перед смертью, какое они имеют право на самодовольный грех? Если они не боятся смерти, то они *должны* бояться вечной жизни. Если их не пугает вечная жизнь, они *должны* бояться смерти!

Я не могу простить грешнику не его грех, а его безразличное отношение и к смерти, и к вечным мукам. А потому у меня нет к нему ни любви, ни сострадания, ни желания исправить его для увеличения, так сказать, суммы добра. Во мне горит злоба к этому лицу. Мне хочется сделать ему больно; пробудить в нём раскаяние мне хочется для того, чтобы он был наказан муками своего раскаяния.

Но даже и в те немногие минуты, когда у меня появляется если не вера, то, во всяком случае, тревога за будущее, даже и тогда ни о каких муках совести не может быть речи. Я умом знаю, что *называется* грехом, и *умом* же стараюсь не грешить — но это совсем, совсем не то, что раскаяние, чувство своего греха. Повторяю, весь ужас в том, что я не чувствую никакого нравственного, живого отношения ни к добру, ни к злу.

Но как, скажите, ради Бога, как всё это можно обнаружить по внешнему виду? Ну может ли человек, с таким страданием в голосе, с таким огнём в глазах обличающий неправду, не быть полусвятым? Так чего же удивительного, что все эти странности сделали меня в глазах общества непорочным моралистом...

Теперь, прежде чем перейти собственно к роману, мне остаётся сказать ещё несколько слов о самой тёмной, самой грязной области моей души — о моём отношении к женщинам.

Мысль о женщинах играет в моей жизни едва ли не такую же роль, как мысль о смерти. Возможно, что то и другое имеет какую-то внутреннюю связь. Разве сладострастие не есть гниение души? И разве страх смерти, мертвящий душу, не обуславливает собой её гниение?

Писать об этом мне труднее всего. Не потому, что совестно, нет. «Угрызений» я и в этой области не чувствую, а потому совесть тут не при чём. Мне трудно писать об этом из самолюбивого страха. А вдруг, мол, кто-нибудь и в самом деле поймёт, что здесь пахнет не простыми «Записками»! Как не бояться мне этого, когда всего выше, всего восторженней во мне почитают именно эту мою чистоту. Даже недоброжелатели мои с уважением говорят о моём чистом отношении к женщине. Но авось это маленькое предисловие, да ещё вот эта оговорка о предисловии заметут и на этот раз следы.

Моя репутация, а в детстве внешние условия поставили меня вдалеке от женщин, и потому вся грязь моей души обратилась на воображение. Я стал теоретик разврата. Я собрал целую коллекцию рукописей и книг. Это моё царство. Фантазия моя в этой области беспредельна, и я смело говорю — гениальна. Целые длинные вереницы лиц, событий, сцен таких утончённых, таких упоительных создало моё воображение.

О, если б я мог рассказать всё, что совершил я над женщинами. С каким паническим ужасом отвернулись бы от меня все мои почитатели. Посмотрели бы люди мне в душу, когда я читаю о каких-нибудь насилиях, положим, над армянскими женщинами в Турции. Эти стоны, эта кровь, эта беспомощная невозможность сопротивляться приводят меня в какое-то восторженное бешенство. И алчное воображение моё рисует всё новые

и новые подробности. Я представляю себе каждую черту, каждый трепет тела и, боясь дышать, слежу за вихрем своих фантазий...

В театрах, на улицах, в учёных собраниях я жадно ищу красивых женщин и, найдя, сейчас же делаю их героинями своих чудовищно-грязных мечтаний. И так ясно, с такими подробностями рисую себе всё, что, право, не знаю, прибавилось ли бы что-нибудь от того, что это произошло бы в действительности.

Я думаю, скорей, наоборот: действительность была бы менее ярка и менее соблазнительна.

Я знаю, что скажут про меня некоторые господа, особенно же склонные к «научному» взгляду на жизнь: больной человек — маньяк. Но, милостивые государи, я позволю себе заявить, что таких или тому подобных маньяков среди мужчин 99%.

Не думайте, что в моих интересах сгущать краски. Наоборот: вы сейчас увидите, что я готов был бы отдать пол своей жизни, лишь бы это была неправда. Не потому, конечно, что мне дорога добродетель, а совсем из других побуждений. Но в том-то и дело, что после тщательного изучения и наблюдения над жизнью я с горечью и со злобой должен признаться, что не один я так думаю о женщинах и не у одного меня половина жизни проходит в сладострастных мечтаниях, а почти у всех. Вы не смотрите на него, что он учёный или видный общественный деятель, — вы спросите его жену, какой он пакостник и развратник, а ещё лучше его любовницу. Разврат — как еда. Одни едят для утоления голода, другие — для наслаждения. Между тем и другим целая пропасть. Мужик изо дня в день ест щи да кашу, и она никогда не надоест ему; а попробуй-ка вам месяц изо дня в день подавать бульон и котлеты?..

99% интеллигенции такие «гастрономы». Я, так сказать, теоретически убеждён, что все мужчины развратны. И я не верю всем этим почтенным господам, пишу-

щим и говорящим с дрожью в голосе о том, что в женщине нужно видеть «человека». Посмотрите, как эти моралисты заглядывают на улицах под шляпки проходящим дамам и какими глазами смотрят они им вслед. Я всё это вижу — и в этом одна из главных мук моей жизни!

Ибо в этом-то пункте всего ярче сказалось и моё мертво-индифферентное отношение ко злу, и моё неистово-злобное отношение к совершающим зло.

Какое угодно, самое бесчеловечное, насилие готов я в своём воображении совершить над женщиной без малейшего внутреннего колебания. Я чувствую, что и в действительности готов сделать то же самое; что если меня от этого что-либо удерживает, то, во всяком случае, не мотивы морального свойства. Но мысль, что другие думают то же, что и я, и не только думают, но и поступают так, заставляет меня буквально плакать от злобы. Я ревную всех женщин: и знакомых, и незнакомых. Я хотел бы, чтобы мне одному принадлежало право грешить и наслаждаться женщинами. Я не могу без отвращения видеть свадьбы. Я не могу помириться с мыслью, что она, эта неведомая мне девушка, которую я никогда не узнаю, да и не хочу узнать, будет принадлежать какому-то мужчине.

Я не могу слышать, как рассказывают о своих победах, о своих похождениях. Меня трясёт всего от ревности, от злобы, от зависти. Мужчина мне становится отвратителен, поступок его кажется чудовищным...

Вот поэтому-то проповедь целомудрия, обличение сладострастия — мой конёк. Здесь я превосхожу самого себя. Никогда моё красноречие не производит такого потрясающего впечатления, как в эти минуты. С каким восторгом и благоговением смотрят тогда на меня женщины. Но если бы они знали, что делает с ними этот аскет, какой неистовой оргии предаётся он в своём воображении, придя домой и сидя за своим письменным столом!

Мой гнев, моё стремление обличать и клеймить достигает своего апогея, когда я разврат вижу своими глазами. Для иллюстрации приведу следующее.

Это произошло в Благородном собрании, после одного симфонического концерта. Концерт кончился. Публика сплошной стеной спускалась вниз по лестнице.

Немного впереди себя, около самых перил, я заметил высокую, красивую девушку, в необыкновенно простом и скромном чёрном платье. За ней шёл маленький, худенький господин, лысый, с небольшой седенькой бородкой. Народу была масса, теснота и давка была страшная. Я следил за дамой и за господином. И вдруг заметил, что худенький господин, пользуясь теснотой, позволил себе нечто совершенно непристойно-оскорбительное. Мне это было видно через перила. Я видел, как вспыхнуло лицо девушки, как она повернула к нему своё испуганное и гневное лицо, видел, как она хотела крикнуть, но, видимо, сробела и, растерянная, не знала, что ей делать. Кровь хлынула мне в лицо. Я рванулся вперёд и, не помня себя, что было сил ударил лысого господина кулаком по лицу...

Я не спал всю ночь. Я думал о ней, об этой незнакомке, и эти испуганные глаза, этот румянец от стыда и гнева наполнял всё существо моё таким мучительным, таким захватывающим сладострастием... Каким пустяком была выходка этого господина в сравнении с моими грёзами. И какую подлость казался мне его поступок, и как бесконечно ненавидел я его...

Вот я и закончил все предварительные сведения о своей личности. И хотя все перипетии, все страдания моей жизни ещё впереди, хотя я, можно сказать, только заикнулся о них, а и то уж чувствую, как нестерпимый гнёт сползает с плеч.

Помните, вначале я просил на слово поверить мне, что исповедь для меня необходима. Может быть, теперь вы уже и догадались, зачем это? Может быть, и без объ-

яснения вам это ясно? Но лучше уж я объяснюсь. Хотя «объясниться» и «объяснить» далеко не всегда одно и то же. Боюсь, что и на этот раз я только запутаю дело.

Вы помните, что я писал об одном необходимом условии, которое одно спасает меня от страха смерти: мне необходимо, чтобы окружающие считали меня христианином. Так вот, видите ли, нечто подобное происходило и тут. Двойственность моей жизни, невозможность никому открыть душу, по правде, по совести, невозможность нигде и никогда побыть самим собой так измучили, утомили мою душу, что после трагического конца моего «романа» мне стало невмочь; захотелось хоть на бумаге, хоть в форме «Записок», сбросить с себя «добродетельного» двойника, который в действительности нисколько на меня не похож и с которым исключительно и имеют дело мои знакомые... Хоть на бумаге сказать то, о чём боишься даже подумать, точно могут подслушать эти думы; нарушить эту проклятую комедию, которую я играю, чтобы спастись от ужасного призрака смерти.

Но знаете ли, почему я не могу никому в действительности открыть свою душу? Да потому, что тогда будет нарушена та иллюзия моего христианства, без которой я не могу жить. Собственно, мне нужно было бы такого собеседника, который бы выслушал меня и... сейчас же всё забыл. Но где же возможно достать такого собеседника? Таким образом, мне предстояло решить, казалось, неразрешимую задачу: придумать что-нибудь такое, что, с одной стороны, было бы «исповедью», с другой — не разрушало бы моей репутации христианина.

Я с радостью, как утопающий, схватился за мысль написать «Записки». Это был действительно блестящий выход! Ведь всякий, прочтя эти «Записки», отнесётся к ним как к некоторой *возможной* исповеди, хотя, быть может, никем и не пережитой в действительности. Но, с другой стороны, не припишет всё это автору «Записок», и, таким образом, нужная мне репутация не пострадает. Другими словами, меня выслушают, на миг забудут, что

это выдумка, отнесутся к написанному как к «Исповеди», но потом придут в себя, увидят, что это «роман», не больше, — и успокоятся.

Вот потому-то единственно, что меня смущало, это то, что, если я озаглавлю свою «Исповедь» «Записками», мне могут не поверить, что всё написанное в них — правда, то есть сразу отнесутся к ним как к «литературе».

Но неужели мне не удастся этот единственный способ, чтобы хоть на миг вздохнуть по-человечески, хоть на несколько часов побыть самим собой — и получить в виде этой бумаги и этого пера наконец того молчаливого собеседника, который всё выслушивает и всё забудет?!

Бумага, конечно, не собеседник, но всё-таки, всё-таки, хоть что-нибудь.

II

НАЧАЛО КОНЦА

Знакомство с Николаем Эдуардовичем и сестрой его Верочкой имело для всей моей жизни, можно сказать, решающее значение. До сих пор не могу понять, почему, после первой же беглой и случайной встречи, я сразу так и решил, что судьба нас свела даром.

К людям вообще я отношусь с недоверием. Никакие внешние признаки искренности для меня неубедительны. Я знаю по личному, постоянному опыту, что искренность — вещь неопределимая. И твёрдо держусь мнения, что человеческая душа — потёмки. О, и какие ещё потёмки! И потому всегда и ко всем отношусь с оговоркой: а может быть, он и мерзавец. Тяжело это, конечно, но как же может быть иначе? Кто сможет меня убедить, что не все такие, как я, — что не у всех в душе есть такой же двойник, что не все носят этот мучительный костюм, прикрывающий душу? И вот первого из людей, Николая Эдуардовича, я встретил, которому *поверил*, поверил сразу. И когда почувствовал в этом что-то непривычное и

хотел нарочно убедить себя, что и он такой же, как все, — то оказалось, что вера моя идёт вразрез со всеми моими соображениями и я просто, без всяких оговорок и запятых, верю ему безусловно.

Давно ли я познакомился с ним. И как бесконечно далёким кажется мне это время... И немудрено: я, можно сказать, прожил в эти два года всю свою жизнь и дошёл до публичной исповеди, которую наивными оговорками прикрываю в этих «Записках».

С обычной тяжестью на душе сидел я на берегу моря в будочке и пил нарзан.

Я моря не люблю. Оно возбуждает во мне безотчётную душевную тревогу, синяя даль мучительно притягивает к себе, и из морских глубин встают, как призраки, вопросы: о вечности, о жизни, о смерти...

В будочку вбежала девочка лет пятнадцати, бледная, едва переводя дух. В дрожащих руках её дребезжало маленькое ведёрко.

— Льду, ради Бога, — почти прокричала она и задохнулась совсем, — кровь горлом... умирает...

Приказчик, вытиравший бутылки, исподлобья посмотрел на неё, побагровел и угрюмо отрезал:

— Нет льду.

Девочка не двигалась, несколько моментов стояла молча и вдруг, прижавши худенькие ручки к своему лицу, бросилась прочь, направо по тропинке...

Внезапно, и не знаю почему, мне стало нестерпимо жалко её. Особенно помню, почему-то жалкими были её коротенькие рукава, из которых высовывалась тоненькая, дрожащая, совсем детская рука. Это бывает со мной. Может быть, тут есть какое-нибудь противоречие, но я подвержен приступам неудержимой, всю мою душу размягчающей жалости... И обыкновенно какой-нибудь пустяк так потрясает меня. Иной раз даже в мыслях, даже в воображении, совершая жестокость и насилие, вдруг представишь себе какую-нибудь такую

подробность, от которой всё сердце затрепещет внезапной жалостью. Впрочем, говорят, даже преступники бывают сантиментальны.

— Дайте ей льду, — быстро сказал я приказчику, — я вам заплачу, сколько хотите.

Он согласился, насыпал мне целую шапку льду, и я бросился догонять девочку.

Так началось моё знакомство. Девочка эта была сестра Николая Эдуардовича. Испуг её оказался напрасен: когда мы пришли, Николай Эдуардович уже ходил по комнате.

Увидав его, я невольно остановился и даже забыл подать руку.

Передо мной стоял не человек, а *образ*. Да, где-то, когда-то, может быть, в раннем детстве, я видел именно такую икону, такой лик Христа.

Худой, бледный, почти прозрачный, он светился весь тихим, радостным, убаюкивающим светом. Мягкие чёрные кудри падали на плечи, а задумчивые, но ясные глаза, такие лучистые, прямые, так и ласкали, так и притягивали к себе.

Да, да, именно Христос должен был быть таким: и сильный, и любящий, и радостный, и прекрасный.

Верочка быстро, не договаривая фраз, спрашивала о том, как он себя чувствует, рассказывала о нашем знакомстве, перебивала сама себя, смеялась, кричала, обнимала брата.

Я молча, с беспокойным, совершенно необычным для меня чувством всматривался в прекрасное, загадочное лицо своего нового знакомого.

Помню, одна странная мысль тогда же пришла мне в голову.

«Так же вот и Иуду, — подумал я, — должно было притягивать ко Христу то, что в присутствии Христа он не чувствовал своего неверия».

Но самое важное, самое необычайное, что имело свои роковые последствия, заключалось вот в чём.

С первого же раза в его присутствии я не мог отделаться от какой-то двойственности. Будто не только я смотрел, я слушал, я наблюдал, а ещё кто-то, *во мне же заключённый*. Я смотрел на Николая Эдуардовича с чувством радостным, тёплым, а тот, *другой* — я не нахожу другого слова, как сказать, — с любопытством. Но это не было обыкновенное любопытство. В нём было что-то тяжёлое и мучительное. Когда я думал об этом чувстве, опять мысль об Иуде пришла мне в голову.

«А что, — подумал я, — на Тайной Вечере, когда Иисус Христос сказал: “Один из вас предаст меня”, и ученики в ужасе спрашивали один за другим: “Не я ли? Не я ли?”, Иуда, задавая этот вопрос в числе прочих учеников, не испытывал ли того же гнетущего, холодного любопытства: узнает ли, мол, или нет?.. Может быть, даже там, этот поцелуй в Гефсиманском саду, это “Здравствуй, равви” исходило из той же тёмной, таинственной бездны души?..»

Недолго просидел я у них. Впечатления были слишком сильны и новы. Лёжа в постели, уже совсем в полусне, я вспомнил Верочку и подумал: она не в моём вкусе... такая худенькая, слабенькая, чуть обидишь, уж расплечется, и наверно, напряжённо, всеми нервами... а интересно, часто она о смерти думает или нет... сухенькая, смешная старушка из неё выйдет...

Зачем, зачем тогда я пошёл на этот концерт?.. Бежать бы, бежать, не оглядываясь, — от этого знакомства, от этого любопытства, и жить изо дня в день, вечно мучаясь, вечно одиноким, безотчётно чувствуя причины и ужаса, и смерти своей души. Никогда бы не узнавать — что я, зачем я, откуда я... к чему всё это?

Музыка, Бетховен, чёрная ночь — к чему они связали мою изломанную душу с той, с другой жизнью, и к чему я узнал свою? Тысячи раз спрашиваю я себя: к чему? Ужели к тому, чтобы теперь дойти до этого состояния,

когда иной раз не на шутку с тоской спрашиваешь себя: жив ты или уже умер?..

Впрочем, может быть, и в этом есть какой-нибудь «высший» смысл, непреходящий даже с моей смертью!!

О, памятный вечер, окончательно и бесповоротно решивший мою жизнь! Вечер, который бросил меня туда, где я во всей глубине узнал самого себя. И как тогда я не понимал, что решается судьба моя, что произносится приговор мой...

На следующий день после первого знакомства я был с ними в концерте.

Я сейчас слышу эти дьявольские звуки бетховенской сонаты. Вы, может быть, подумаете, что любовь пробудили они, как оно и полагается для завязки «романа»... О нет, не бойтесь — *такой* пошлости не случилось. Может быть, в ком-нибудь другом, но во мне никакая музыка не может пробудить любовь... а музыка Бетховена особенно. До любви ли, когда из-за каждой ноты, из-за каждой дрожащей струны на вас смотрит это загадочное, почти нечеловеческое лицо, этот нестерпимый взгляд, больше похожий на какой-то таинственный просвет в нездешний, сокровенный мир...

— Вам нравится? — говорила Верочка, а я не мог разжать губ, чтобы ответить ей... Это кто-то мне говорит там...

Я понял смерть. Я вижу её, она кругом меня, я чувствую её. Огни потухли. Чёрный зал. Никого — ни души. И в даль, к тёмному небу, к пустому небу, где ни звезды, ни облака, убегает, теряется бесконечная вереница мёртвых человеческих тел... И в ответ им пустое *ничто*. О, в этом ничто схоронились все надежды, все радости, все восторги, всё горе, все страдания и слёзы...

Робкий лепет розовеньких детских губок и ласковое прикосновение шёлковых, нежных кудрей. Боже, как весело. Боже, как счастливо. Да ведь это смех чей-то, серебристый, задорный смех — так бы и смеяться, смеяться без конца... Всё кругом ожило, заблестело, заси-

яло. Хлынул воздух, раскрылось небо, и песня летит туда, в голубую, вечную даль...

Нет, нет. Не может быть... Ещё хоть один аккорд, хоть один звук... Молчание... Почему так вдруг, до боли заняла грудь? Где я слышал эти стоны, эти зловещие грубые звуки? Несут... я вижу... Что это, галлюцинация?..

«Боже мой, ведь я на концерте», — хочу я крикнуть на ухо Верочке, но они уж здесь. Они принесли... Белый, газетовый, с кружевами, с тяжёлыми ручками... Я видел его, видел... но почему я не могу вспомнить, где видел его? Как мучительно, когда не можешь вспомнить... Гроб всё ниже, всё ниже...

Чёрный зал, никого ни души, ни живых, ни мёртвых. Пусто, тоскливо — мучительно.

«Боже мой, ведь это вся жизнь пролетела. Хоть что-нибудь ещё бы. Нельзя же, чтобы *так* всё это кончилось...»

И вот из темноты что-то смутно веет на меня с вопросом и ужасом, словно плывёт откуда-то. Я холодею. Я не понимаю, что это, откуда это, мне жутко, мне хочется кричать... Бледный лоб, бледные щеки. Да это Он!.. Судорога схватывает мне горло. Я весь дрожу и в исступлении хочу кричать, сам не зная почему, трепеща от ужаса: не надо! Лучше конец... не надо, это обман. Лицо близко, сейчас увижу его из темноты, ясно, совсем ясно перед собой...

— Нет, нет Его! — с тоскою кричу я...

Гром аплодисментов. Соната кончена. Измученный, я озираюсь кругом. В глазах рябит, всё сливается и плывёт куда-то. Только совсем близко, около плеча, оживлённое, детское личико Верочки.

Мы вышли и пошли гулять по берегу моря. Молчали. Верочка нагибалась, подымала камни, бросала их, и они с коротким, глухим звуком падали в море.

Я не мог придти в себя. Он тяжёлым кошмаром ещё стоял в памяти, и страшное, ненавистное чувство продолжало щемить сердце. Это чувство было нелепо,

непонятно и неожиданно для меня. Словно какая-то бездна тайн разверзлась предо мной, и я знал, что, заглянув, узнаю *всё*, и не мог, боялся, трусил, как щенок, хотя уже предчувствовал, *что* там жило и шевелилось.

Не помню, долго ли мы гуляли. Как сон теперь передо мной эта далёкая крымская ночь, с которой начались мои первые откровения о самом себе. Как сон было и тогда, когда я шёл с этими двумя, такими новыми для меня людьми в чёрную даль, по берегу моря, которое набегало и пенилось у наших ног. Мне чудилось, что я умер и новый мир, вечный мир, открывается предо мной, и меня ведут туда люди не мира сего.

«А я сомневался, будет ли вечная жизнь? Не надо теперь бояться смерти, не надо каждый миг думать о ней, уж эта жизнь не кончится никогда...» И хотя я сознавал, что думаю какую-то несообразность, что предо мною Чёрное море, что я на южном берегу Крыма, со своими новыми знакомыми, но от этих несообразных мыслей непривычная живая радость едва внятно начинала трепетать во мне.

III

ИДИЛЛИЯ

Скоро мои новые знакомые уехали в деревню. Я обещал приехать к ним; и в конце июля, после беспокойной крымской жизни, полной самых сложных вопросов и сомнений, словно чудом попал в маленький, старенький домик, обвитый тёмно-зелёным густым виноградом, со старинными полутёмными комнатами, с тенистым задумчивым парком, в атмосферу тихую, радостную, где, казалось, никогда не было никаких тревог, никто не собирался умирать, и старенький домик, и старенькая старушка тётя, и почти ребёнок Верочка даже и не думали о смерти.

Я прожил там месяц. Это время занимает совершенно особое место в моей жизни. И я долго колебался,

говорить или нет о нём в этих «Записках». Весьма возможно, что ничего важного, что помогло бы вникнуть в дальнейшую мою жизнь, там и не произошло. Но уж очень мне трудно теперь ничего не сказать об этих хороших и, уж конечно, безвозвратно ушедших днях — теперь, когда всё для меня в жизни кончено и впереди ничего, кроме подневольного, полуживого прозябания...

Этот месяц клином врезается во всю мою жизнь. Всё там было для меня необычно, и сам я в этот месяц как-то не совсем походил на самого себя. Ведь я тогда и не подозревал ещё всех предстоящих мне мучений. Наоборот, во мне, я очень хорошо это помню, начинала тогда пробуждаться смутная надежда на то, что наконец с меня спадёт этот нестерпимый гнёт страха смерти, я воскресну внутренне и почувствую наконец, что значит *жить*.

И даже теперь, когда я, кажется, перестал вообще чувствовать что-нибудь, я всё же не могу без сердечной боли вспомнить свою жизнь в полутёмном виноградном домике, а потому не могу хотя бы несколько слов не сказать о ней, тем более что, кто знает, может быть, всё-таки там впервые заговорили во мне — конечно, бессознательно — те чувства, которые потом дали толчок и направление моему «роману».

В Крыму я, можно сказать, не замечал Верочки, Николай Эдуардович поглощал всё моё внимание, но здесь его не было (он уехал за границу учиться), и на фоне затихшей старосветской жизни Верочку нельзя было не заметить. Она в высочайшей степени обладала основным свойством жизни — *изменяемостью*.

И перемены её были так резки, так внезапны и всегда так новы, что в её присутствии я с первых же дней потерял способность думать о смерти. Глядя на людей, я уже привык наблюдать их покойниками, я привык копать в этом чувстве, как жук-могильщик. Но с Верочкой я справиться не мог. Мысль об её смерти не могла сгладить впечатление от её полудетских розовых губ, блестящих,

ласковых и насмешливых глаз, чёрных мягких кудрей, которыми она очень походила на брата. Меня необыкновенно беспокоило это чувство, но было в нём ещё что-то и другое. Мне казалось, что я сам как будто начинаю оживать от соприкосновения с ней. Теперь я знаю, что это только казалось, что это было какое-то дьявольское наваждение, теперь я очень хорошо знаю, что даже самые оживлённые лица кончат всё тем же. Но тогда я все силы напрягал, чтобы поддаться этому новому чувству.

Ещё бы, мне и тогда так хотелось отдохнуть, хотелось «новой жизни»!

В виноградном домике всё, начиная от Верочкиной тётки, Александры Егоровны, кончая любой мелочью, заключало в себе какое-то необъяснимое внутреннее сходство. Всё было старенькое, тихенькое, привычное, но всё, можно сказать, насквозь пропитано жизнью.

Александра Егоровна была совсем такой же старушкой, какою, мне представлялось, будет Верочка, но и эта сухенькая старушка посматривала такими блестящими глазами, так звонко смеялась, как будто в её дряхлом тельце была спрятана такая же тоненькая девочка Верочка. Каждый предмет словно впитал в себя многолетнюю тихую, но радостную жизнь своей владелицы — каждый из них состарился, но жил без малейшей тревоги, и казалось, будет жить вечно. Пускай мы становимся старомодными, нам-то, мол, что за дело!

Единственный знакомый Александры Егоровны был давнишний её друг, чрезвычайно маленький старичок Трофим Трофимович Веточкин.

И в нём было всё то же необъяснимое сходство и с Александрой Егоровной, и с Верочкой, и со всем виноградным домиком.

Несмотря на свои шестьдесят лет, морщинистое почерневшее личико, совершенно голую голову, кое-где лишь покрытую седым пухом, он, подобно Верочке, можно сказать, трепетал от жизни.

Бегал с ней вперегонки и не очень-то уступал ей в этом, играл на гитаре и пел чувствительные романсы...

Верочку он любил, как дочь. Полюбил он и меня как-то сразу. Всё это было у него просто, без всяких мучений. Да вообще в этом домике жили просто, не было ни борьбы, ни страха, ничего болезненно-сложного.

Я поддавался этой простоте и отдельными моментами чувствовал себя так, как будто бы в жизни всё было очень просто и мило. Но, должно быть, я слишком привык за всякой обыденщиной видеть истинную страшную сторону внутренней человеческой жизни, а потому вполне не мог отделаться от своих прежних, наболевших, но на время замолкших дум. И тогда привычная жуткая грусть разливалась в груди, и во мне пробуждалось желание разрушить незаконный безмятежный покой, заставить всех бояться смерти, задуматься, страдать. В эти минуты я с досадой и почти завистью смотрел на Верочку.

Помню, как однажды мы поехали с ней кататься. Прежде я редко любовался природой. Она слишком пугала меня, я старался не замечать её. Должно быть, вместе с жизнью пробуждается и любовь к природе. С новым, почти детским чувством смотрел я на зеленоватое вечернее небо, на серебристое поле овса, на синеватый горизонт.

— Посмотрите, как низко ласточки летят, — сказала Верочка, — как это они за землю не заденут?

Я не люблю вопросов, даже самых пусяшных.

Каждый вопрос по ассоциации связывается у меня с десятком других и спускается до вопроса о смысле жизни, в который, хочешь не хочешь, в конце концов упираешься, как в глухую стену.

Я мельком взглянул на быстро скользивших ласточек, и вдруг, безо всякой видимой причины, и поля, и небо, и убегающая полоска дороги показались

такими лишними, ненужными, как не нужна и вся наша жизнь.

Глупо раздражаясь, я сказал:

— А чего, спрашивается, летят они?

— Наверно, у них детки есть.

— А детки зачем? — раздражался я ещё более.

Верочка покосилась на меня и сказала:

— Как зачем? Затем, чтобы вырасти, летать. Разве без ласточек лучше было бы?

— Совершенно безразлично. Радоваться всякой твари имеем право только мы, верующие, — а вы ведь в Бога не веруете, значит, для вас нет ответа на вопрос «зачем они живут?».

— Ах ты, Господи, — нетерпеливо проговорила Верочка, — для чего живут. Для того же, для чего и все.

— То есть для того, чтобы умереть, — отрывисто сказал я.

— Совсем нет, умирают потому, что это необходимо, а живут для того, чтобы быть счастливыми.

— Да, но какое вы имеете право быть счастливой, когда всё уничтожится и вы не можете иметь ни к чему никаких привязанностей. Неверующие люди живут в номерах — со смертью для них конец всему: уехали из номеров и никогда не вернуться. Но разве можно любить то, что дано на два дня?

— Вот и неправда, — воскликнула Верочка. — Если жить в номерах один день, тогда, конечно, ни к чему привыкнуть нельзя, а если всю жизнь, так отлично можно, всё равно как на своей квартире. Вот вы здесь месяц живёте, и то уже к нам привыкли.

— Я другое дело. Я человек верующий. Но вы не имеете права ко мне привыкнуть.

— Но почему же?

— Потому что, по-вашему, вы сгниёте, я сгнию — и всему конец.

— А может быть, я не сгнию, — сказала она, и я не видел, но чувствовал, что у неё смеются глаза.

Я пожал плечами.

— И вы тоже сгниёте? — спросила она.

— Сгнию...

— И скоро?

— Скоро, — резко сказал я и отвернулся.

Она замолчала, задумалась, и всю дорогу мы проехали молча.

Я ничего не мог поделать с Верочкой. Она говорила очень смешно, совершенно по-детски, и всё-таки её выходки действовали на меня лучше всяких глубокомысленных аргументаций. В ней всё было жизненно, радостно, безбоязненно, и под влиянием этого тоска переходила в грусть, страх — в неясную тревогу, и бессмысленная надежда на какое-то «воскресение» шевелилась за всеми, казалось, навсегда выстрадавшими и решёнными мыслями!.. Я тогда не понимал, что все люди такие же, как я, но не все называют вещи своими именами.

За эти два месяца одна сторона моей личности, в благоприятных условиях, развилась до чудовищных размеров — это сентиментальность. Я ведь очень сентиментален. Но, как я уже говорил, моя сентиментальность обыкновенно выражалась в жалости, и то в редких случаях. Теперь вся размягчённая, успокоенная душа моя предалась мечтательности. Прежде я плакал от злобы и отчаяния — теперь стал плакать от смутных, почти безотчётных грустных, но сладких чувств.

Я даже завёл себе особое место, куда уходил специально для своих мечтаний. Это был маленький балкончик в мезонине.

Вас, может быть, удивят мои мечты. Может быть, вы подумаете: так не может мечтать грубый, развратный, жестокий и безнравственный человек. Но, Бога ради, не судите так поспешно.

Всякий человек способен на всё! Может, на костер пойдёт, а может, ограбит.

Я не знаю, хороша или нет слащавая сентиментальность.

Не знаю и не чувствую, что лучше: насиловать женщин или плакать и целовать засохшие цветы.

Но исповедь должна быть полной. И если вы знаете, что я в своём воображении могу быть зверем, то знайте, что я могу быть и вздыхателем!

Перед маленьким балкончиком, внизу, зеленела недавно посаженная липовая аллея. Её посадила Верочка. Часто я приходил туда. Деревья в моём воображении выростали, аллея становилась тенистой, почти тёмной. Сад превращался в столетний запущенный парк, клумбы почти теряли свою форму, они зарастали дикой мальвой и полынью, обвитой плющом.

Дом почти разрушен, крыша провалилась. Ставни отлетели. Я, старенький-старенький старичок, Бог весть какими судьбами занесённый в эти края, сижу на скамейке, смотрю на балкон, и тёплые слёзы о невозвратном прошлом бессильно текут по моим щекам. И чудится мне, что вот-вот появится милое весёлое личико, раздастся детский весёлый смех, мелькнёт розовенькое нежное платье и она, Верочка, бросится ко мне, поцелует, оглядываясь, как бы кто не увидал, и, увлекая меня в тёмный сад, скажет:

— Ну, монах... пойдёте, там никто не увидит.

А с балкона незаметно сойдёт маленький Трофим Трофимович со своею всегдашней улыбкой, поцелует меня в щёку, погрозит пальцем Верочке.

— Ты у меня, стрекоза, — скажет он...

А мы, смеясь, убежим от него в прохладу парка.

Но всё это мечты. Они не придут. Передо мной полу-сгнивший балкон, оборванный виноград стелется по земле... Верочки давно уже нет здесь — она умерла. И не прежняя Верочка, а сморщенная старушка глеет теперь в земле. Трофим Трофимович тоже умер, и сам я чувствую, что скоро и мой конец.

И снова, ещё обильнее, текут по моим щекам слёзы. Робко, тоже загрузившись, шелестит надо мной разросшаяся липа. Прилетел шмель, стукнулся о моё плечо и закружился над стволом липы. Несколько уцелевших роз тихо покачиваются из стороны в сторону. Какая-то серенькая птичка села на дорогу, но, увидав меня, снова вспорхнула. И снова, день за днём, встаёт передо мною прошлое, и снова я плачу от жгучей жалости к самому себе...

Так я мечтаю и прихожу в себя только потому, что действительно чувствую, как по щекам моим текут слёзы.

Сантиментально всё это, не правда ли? Но если бы вы знали, сколько горечи выливается из души, как выматывается один нерв за другим, когда черта за чертой, со всеми подробностями — и чем ничтожнее подробность, тем ужаснее, — начнёшь этак рисовать себе жизнь свою через много-много лет и посмотришь на себя с точки зрения «воспоминаний».

Не знаю, очевидно, такая сантиментальность для меня почему-то опасна, ибо я инстинктивно после таких слащавых грёз всегда начинаю фантазировать в диаметрально противоположном направлении, и в этом переходе от туманной грусти к жестокости и насилию для меня есть нечто большее, чем наслаждение.

Признаюсь во всём этом без раскаяния, но с болью... потому что всё это были признаки моего внутреннего разложения. Но всё-таки, чем дольше жил я, тем всё это происходило реже, а в присутствии Верочки никогда. Да и вообще знакомая женщина для меня почти перестаёт быть женщиной. А Верочка как-то сразу стала не только знакомой, но почти родной. Поскольку, конечно, я способен на такое чувство.

К сожалению, вам теперь непонятно — и я не могу забегать вперёд и разъяснять вам, — только, право же, во мне буквально сердце разрывается от нестерпимой

боли при воспоминании, как она, моя бедная, моя маленькая девочка, должно быть, инстинктом чувствуя, с кем имеет дело, напрягала все усилия, чтобы спасти меня. Да может быть, тут был и не один инстинкт. Недаром однажды она, глубоко задумавшись, сказала:

— Вот Коля тоже религиозный, а совсем другой... Он не похож на вас.

— В чём меж нами разница? — не без робости спросил я.

Ей, видимо, трудно было выразиться:

— Вы бываете иногда... какой-то страшный, — запинаясь, ответила она и, испугавшись, не обидела ли меня, прибавила: — Это очень, очень редко бывает. И мне даже это нравится. Мне так же бывает страшно, когда я слушаю сказки.

Как гипноз подействовала на меня тихая, простая жизнь, старенький дом и задумчивый парк. Не в таком ли же гипнозе от окружающих мелочей живут все те, кто погружается во всевозможные житейские интересы и, невзирая на смерть, могут жить «со вкусом»? Кто знает, может быть, и я, поживи подольше в виноградном домике, забыл бы о могильной яме и с горячностью принял бы за какую-нибудь, неизвестно для чего нужную, работу. Но весь ужас жизни в одном элементарном правиле: всему бывает конец. Наступил конец и моей жизни в деревне. Надо было ехать.

Александра Егоровна, Верочка и Трофим Трофимович плакали навзрыд, прощаясь со мной... И мне было мучительно тяжело. Всякий отъезд действует на меня так, потому что всякий отъезд, не знаю почему, напоминает мне похороны...

Полон самых тяжёлых дум и неясных предчувствий уезжал я из маленького виноградного домика; день был хмурый, осенний.

Всё изменяется, всему конец!..

IV

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВОПРОС

Я никогда не интересовался общественными вопросами. До того ли мне. Я не знаю и не хочу знать, кто прав: революционеры ли, консерваторы ли, либералы ли. Я знаю одно: есть неверующие люди, и революционеры, и консерваторы, которые не ради своих личных выгод умирают за других. Да и как можно умирать за других из-за личных выгод!

Пусть они ошибаются, пусть нельзя теми средствами, которые они предлагают, достигнуть всеобщего счастья. Мне это не важно. Мне важно одно: они не боятся смерти. Они убеждены, что с концом ихней жизни для них кончается всё, и несмотря на это чьё-то чужое счастье, которое они никогда не увидят, для них так дорого, что они ради него отдают свою жизнь.

Для меня закрыта эта психология. Но я всегда смутно чувствовал в ней что-то для себя роковое и потому никогда не мог отбросить её окончательно, не думать о ней. Факт оставался налицо. И то чаще, то реже, я вновь к нему обращался и тысячи раз спрашивал себя: что нужно чувствовать, чтобы, не веря в бессмертие, отдать свою жизнь, по своей воле, для чужого благополучия?

Не бояться смерти? Тайно от всех верить в своё бессмертие? Так любить свой народ, чтобы страдания его отравляли жизнь, и смерть становилась желанной? Нет, я чувствовал, что всё это не то, и неразгаданный факт по-прежнему шёл вразрез с моими обычными представлениями о людях, по-прежнему вызывал во мне тревогу.

Вот этим только и ограничивалась, кажется, моя «общественность».

И чем больше вокруг меня шумели и хорохорились, тем твёрже, как железом налитый, стоял я на своём месте. Да и куда бежать? Я слишком хорошо знал, что, сколько ни беги, убежать некуда. Разве смерть не будет

так же пожирать всех рождающихся людей, когда в России наступит другой политический строй? Всё останется по-прежнему. По-прежнему все эти красноречивые «деятели» застывшие будут лежать на столе, по-прежнему будут бросаться в мокрую яму, где они посинеют, разбухнут и начнут разлагаться.

Я слишком знаю смерть, слишком чувствую её неизбежность, я слишком много страдал за неё, чтобы закружиться в ребяческом вихре «освободительного движения». Какой иронией звучат для меня эти слова! «Освободительное движение»! Освободительное от чего? От цензуры? От Кесаря? От казаков и произвола? Но что значит это «освобождение» без освобождения от смерти? А кто освободит от неё? Не постановление ли парламента?!

Как можно увлекаться до головокружения этим бутфорским освобождением, когда за окном чуешь дыхание смерти? Не похоже ли это на освобождение жалкой загнанной крысы, когда её «освобождают» из ловушки, чтобы бросить в кипяток? И как бы смешна была крыса, если бы она вздумала радоваться, что ей пришлось издохнуть не в ловушке, а уже «освобождённой» от «проводочного режима»!

Мне так же смешны и гадки эти неверующие бородастые «деятели», кричащие об освобождении и не думающие о смерти, со всей ихней крысиной психологией. Как они смеют радоваться, как они смеют не отравлять себе всех предстоящих освободительных побед мыслью о своём уничтожении?

И я твёрдо решил, что вся освободительная горячка есть не что иное, как дурман, которым хотят одурманить себя люди, в диком испуге бегущие от грозного призрака смерти.

Но опять, как же добровольная смерть? Если они бегут от смерти, то как они могут идти на добровольное уничтожение? А между тем факты таких самопожертвований становились почти ежедневны. Покончить с

ними было необходимо. И во мне подымались неотступные тревожные вопросы: полно, прав ли я — ужели только два выхода: *во всём* смерть — или *во всём* бессмертие...

Меня пугали эти вопросы, и я старался не думать о них. Но ещё более пугали меня люди, которые, я это знал, несмотря на свой атеизм, готовы без малейших колебаний, каждую минуту умереть за свои идеи. Я избегал их. А когда всё-таки по необходимости сталкивался с ними, то они приводили меня в такое волнение, что я почти не владел собой. Они вызывали во мне и любопытство — подобно Николаю Эдуардовичу, и ужас — подобно образу Распятого, и злобу, и зависть, и уважение.

И я замыкался в себе и сторонился ото всех. Окружающие мне прощали это. Они соглашались со мной, что истинный христианин не должен заниматься «политикой». Но я чувствовал, что жизнь меня выбрасывает за борт, что я не могу найти своего места, что все мимо меня мчатся вперёд, что все, кто меня знал и любил, далеко впереди меня горячо делают свою работу: и неверующие, и готовые на смерть...

И он пришёл. Опять так же неожиданно, так же внезапно. Как призрак стремительный, с дивными волнами чёрных волос, ночью он вошёл в мою комнату. Только ещё более бледный и потому ещё более похожий на Распятого.

Он приехал в Россию, не в силах выносить за границей всех ужасов здешней жизни, в бездействии, не принимая в ней никакого участия. Он едва доехал до Москвы, как в бреду, тоскуя в вагоне три дня, и только приехал, сейчас же бросился ко мне...

— Надо спасти Церковь, — как в бреду бормотал Николай Эдуардович, сжимая мои руки, — спасти мир... идёт... я чувствую... скоро... Боже мой, помоги. О, хоть бы один святой, подобный Филиппу... Хоть бы кто-нибудь...

Я прошу одного, одного, — и нестерпимая горечь слышалась в его голосе, — чтобы епископы, апостолы поднялись хотя бы до той ступени силы духа, на которой теперь стоит любой мало-мальски порядочный атеист.

Я сидел на постели наполовину раздетый и как в полусне видел его измученное лицо, слышал его истерический голос...

— Церковь, Святая, Апостольская, как может она идти рука об руку с теми... — с тоской выкрикивал Николай Эдуардович. — Ужели Христос оставил Церковь свою, ужели времена близки, и Церковь по пророческому слову отдалась в руки... зверя Антихриста.

А в моём мозгу как молотом стучала одна мысль: «С ним Христос! С ним Христос!»

И я почувствовал жажду говорить много, громко, с увлечением, волнуясь и так же почти плача от горя и гнева, как Николай Эдуардович.

— Ужели они не понимают, — заговорил я, почти задыхаясь, подражая ему по внешности, но ещё более холодея внутри, — что народ, начавший свою революцию с хоругвями и пением «Отче наш», если Церковь не остановит своим авторитетом, способен дойти до такого зверства, которого не видало ещё человечество и от которого содрогнётся мир?

Слова эти, видимо, страшно поразили его. Он затрепетал весь, точно подстреленная птица, подался ко мне и посмотрел на меня таким взглядом, которого я не мог вынести. Как он походил тогда на Христа-младенца на старинных иконах. Перед ним, как и перед Христом, видимо раскрылась тогда картина будущих страданий, слёз, крови, насилий и жертв.

О, какая безумная зависть тогда вспыхнула во мне! Хотя бы на миг почувствовать такую же любовь к людям, хотя бы на миг чужие страдания заставили от ужаса сжаться сердце. Но я представил себе картину всех грядущих зверств — и на сердце не было ничего, кроме проклятой, томительной пустоты.

«А всё равно, — с бешенством, заглушая в себе приступы страха и зависти, решил я, — пусть все дохнут, наплевать мне... Пусть режут друг друга и сосут кровь жертв своих неистовств. Что мне за дело до их мучений! Кто велел любить и страдать за других? Я не хочу и не буду, и нет надо мной господина — всё сгниёт, всё пойдёт прахом... И кровь, и слёзы, и земля, и солнце — всё застынет. Ничего нет: всё прах! Делаю, что хочу... думаю, что хочу...»

И была какая-то особенная сладость в том, что никто не знает моих тайных дум.

Но прав ли я был? Действительно ли он ничего не чувствовал, или, может быть, что-то смутное, бессознательное проникало уже тогда в его душу...

— Иногда я чувствую приближение Антихриста, — тихо сказал он, — это самые мучительные минуты моей жизни... вот и теперь то же... Тогда мне кажется, скоро всему конец.

При последних словах он остановился предо мной и в упор посмотрел на меня глубокими, потемневшими глазами. Я не выдержал этого взгляда. Я опустил глаза и неожиданно для самого себя сказал:

— Да, Антихрист придёт очень скоро.

Кажется, ничего никогда не говорил я с такою твёрдостью. Я ясно почувствовал, что это была не *моя* искренность, а *настоящая*, такая же, как искренность Николая Эдуардовича.

«Что это значит?» — бессильно мелькнул вопрос, но в ответ не было никакой мысли, только вдруг стало жутко смотреть в чёрные окна, за которыми серели снежные силуэты.

— Может быть, — по-прежнему тихо сказал Николай Эдуардович, — может быть, скоро... иногда приближение его чувствуется. Вам знакомо это?..

Я почему-то густо покраснел, словно он меня уличил в чём-то.

— Да, иногда, — ответил я.

Я сказал правду, но никогда самая наглая ложь не заставила бы меня так смутиться, как смутился я от своего ответа.

Мы молчали. Уже светало, и бледный свет лампы безжизненно расплывался в утренних сумерках. Мы оба были как больные; нервы ослабли; томительно ползла минута за минутой.

Вдруг Николай Эдуардович поднял голову и спросил (я никогда не забуду его голоса):

— Знаете ли вы жажду мученичества?

Я молчал и, не сводя глаз, смотрел на него, мне жутко было смотреть на него, а губы мои судорога кривила в улыбку.

Но он, видимо, не замечал меня и говорил сам с собой:

— Мученичества, чтобы за Христа, за вечную правду взяли бы тебя, привязали к позорному столбу, грубо, безбожно — и били бы кнутом, истерзали бы всю кожу, чтобы мясо кусками летело и кровь ручьём лилась... И издевались бы, и хохотали бы. Чтобы всё, как на Голгофе... Христу бы с трепетом благоговейнейшим отдать всё это. На себя бы Его вечные муки, на себя бы принять, хоть самую маленькую частицу... О, я так часто жажду этих страданий...

И с внезапным порывом он сказал:

— Дорогой мой... друг мой... пойдёмте ко всем епископам, будем умолять их, на коленях именем Христа будем требовать от них написать окружное послание, обличить... Христос будет с нами... Они послушают нас... Спасём Церковь и народ наш, который терзают...

И он сел рядом со мной и заглядывал мне в лицо.

— Ну, что ж, это хорошо, — с трудом выговаривал я, — напишем обращение к епископам... Только пишите вы, я не могу...

Я чувствовал, что в глазах у меня темнеет, в голове растёт что-то громадное. Вот-вот я охвачу мир...

«Не с ума ли я схожу?» Слабость овладевала всем моим телом. Я почти лишился сознания.

У ЕВЛАМПИЯ

Епископ Евлампий очень любил принимать у себя молодёжь. Не проходило ни одного вечера, чтобы у него не собралась целая компания.

Не знаю, может быть, в силу моей обычной мнительности, но я не верил в искренность его любви ко всем этим, часто необыкновенно бестолковым, посетителям. Не верил также и в его простоту, доходящую до совершенно товарищеской фамильярности, с которой он обращался ко всем без исключения. Мне всегда казалось, что он ищет популярности, что он играет комедию и упирается ролью отца-архипастыря. Он имел необыкновенно эффектную внешность. Страшно высокий, стройный, с открытым русским, совсем ещё молодым лицом, всегда в белой шёлковой рясе, он одним своим видом мог внушить почтительное благоговение. Голос у него был громкий и ласковый. При встрече он горячо обнимал гостей; и вообще во время разговора любил брать за руки, привлекать себе на грудь и целовать в лоб.

Но на меня и наружность его, и все его манеры производили отталкивающее впечатление. Я не верил ему ни на йоту. Ласки его были холодны и театральны. И мне было не по себе, когда он обхватывал мои плечи своими огромными красивыми руками.

В блестящих, почти масляных глазах его, которые никогда не смотрели в упор, я читал большую любовь к еде, к вину, к женщинам и ту циничную плутоватость, которая часто бывает у избалованных слуг.

Евлампий очень не любил разговоров, которые по своим практическим выводам могли к чему-либо обязывать.

Он тогда спешил переменить тему и делал это чрезвычайно искусно, с обворожительной простотой и задушевностью, начиная рассказывать какой-нибудь случай из своей жизни, который всегда кончался одинаковой

моралью: не нужно очень зарываться высоко — это гордость, а со смирением делать маленькую работу — и всё будет добро.

Но, по неестественной улыбке, по мелким, каким-то брезгливым складочкам около губ, я прекрасно видел, что он всех обманывает, что ему никакие дела — ни большие, ни малые — неинтересны, да и все мы вообще надоели, и что он с гораздо большим удовольствием поговорил бы теперь на двусмысленные темы в какой-нибудь «тёплой» компании.

Мне всегда казалось, что он чувствует, что я его понимаю, и поэтому обращается ко мне с особенным игривым лукавством.

Я инстинктом чувствовал, что от такого соединения, как Евлампий, я и Николай Эдуардович, по такому страшному вопросу, должно произойти что-нибудь необычайное.

И я не ошибся.

Евлампий встретил нас, по обыкновению, в своей приёмной, узкой длинной комнате, со сводами, расписанными картинами на библейские сюжеты. Она освещалась тёмно-синим матовым фонарём; в ней было душно, жарко и пахло розовым маслом.

Евлампий в своей белой, мягко шуршащей шёлковой рясе быстро подошёл к нам, благословил, обнял, поцеловал, выразил радостное изумление по поводу нашего прихода; усадил за стол, за которым сейчас же появились канделябры, сушёные фрукты, конфеты, виноград, и, посматривая то на меня, то на Николая Эдуардовича, уже начал было свою обычную ласковую фамильярную речь.

— Владыка, мы к вам по очень важному делу, — тихо, но твёрдо сказал Николай Эдуардович.

— Очень, очень рад, — поспешно проговорил Евлампий, нервно задёргав бахромку у бархатной скатерти.

— По поводу текущих событий, — продолжал Николай Эдуардович, — мы написали «Воззвание к епис-

копам», в котором призываем написать обличительное окружное послание. Мы бы хотели прочесть вам его.

— Очень, очень рад, — снова повторил он и, опустив глаза, приготовился слушать.

Он немного побледнел; лицо у него стало жёстким и неприятным, на губах застыла неловкая, деланная улыбка.

Николай Эдуардович начал читать торопливо, с трудом сдерживая своё внутреннее волнение. Я уже прочёл это «Воззвание», но теперь в приёмной епископа, с тёмным сводчатым потолком, за столом с сушёными фруктами, в жаркой комнате, пропитанной запахом розового масла, мне показалось, что я тоже в первый раз слышу этот вопль Сына Божия к Отцу, оставившему Церковь Свою.

И я не мог отделаться от мысли, что Николай Эдуардович судья, а мы с Евлампием преступники и что он читает нам обвинительный акт.

«Что за вздор, — говорил я себе, — это воззвание к епископам, это мы требуем от них и судим их». Но голос его становился громче и грознее, и я всё больше отодвигался от него и становился так странно близок к Евлампиему. Мне чудилось, что комната начинает двигаться, вытягиваться и стол со свечой плывут в тёмную глубь комнаты, а мы с Евлампием жмёмся друг к другу и становимся всё дальше и дальше от Николая Эдуардовича.

«Ужели теперь, — читал он, — в минуту почти открытого дьявольского искушения, ни в ком из русских епископов не найдётся дерзновение древних святителей, и вновь над страдающей землёй пронесётся отзвук поцелуя Иуды Предателя, а вавилонская блудница вновь воссядет на престоле, до срока творить мерзости, переполняя чашу гнева Господня?»

«Неужели?» — как эхо отдавалось в моём мозгу. Но в этом вопросе не было для меня ни страдания, ни ужаса,

которые звучали в голосе Николая Эдуардовича, а лишь знакомое мучительное холодное любопытство: неужели, мол, Церковь погибла, неужели остались в ней одни предатели...

А он читал:

«Духовенство пред Богом обязано принять определённое решительное участие в начавшемся движении и стараться направить его туда, куда велит им их пастырский долг.

Над всей Россией нависла грозная туча, слышатся приближающиеся раскаты грома и наступает мучительное молчание. И вот, в это время пусть раздастся безбоязненный голос истинных служителей Христа. Пусть появится окружное послание епископов из святынь, чтимых народом.

Пусть раскатятся по всей земле святыя призывы, и всё доброе в народе, почуя Христа, шевельнётся, стряхнёт с себя путы Зверя, освободится от давящей петли, и тогда народ, уже церковный народ, начнёт новое великое дело на спасение всего мира, которое будет указано Духом Святым»...

Чем дальше читал Николай Эдуардович, чем яснее становилось, сколько глубокого, религиозного чувства было вложено им в это «Воззвание», тем враждебнее и нетерпеливее становилось у меня к нему отношение. Я не делал попыток прогнать эти чувства. Может быть, извращённое, может быть, патологическое — уж это как хотите там называйте, — но что-то жуткое и завлекательное было в этом ощущении ненависти к необыкновенному сходству Николая Эдуардовича с Христом. Меня одурманивало то, что я чувствовал в себе власть с насмешкой, доходящей до презрения, смотреть на бледное лицо его, слушать его мольбы и обличения, словно этим ни во что ставился и тот загадочный Назорей, который две тысячи лет назад будто бы воскрес из мёртвых.

«Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» — хотелось выкрикнуть мне слова евангельского бесноватого.

«Может быть, и во мне бес сидит», — усмехнулся я, чувствуя, что мне хотелось бы, чтобы Николай Эдуардович видел эту усмешку и понял бы, как я ненавижу его, этого Христосика с прозрачным лицом и глазами, полными слёз.

С каким бы испугом посмотрел он на меня, как бы задрожали его губы, какой бы весь он был пришибленный и жалкий...

«Ненавижу, ненавижу...» Мне хотелось тысячи раз в упоении повторять это слово: ненавижу за то, что он смеет знать какого-то Христа, не бояться смерти и может так любить людей и так страдать за судьбу Церкви...

О, как я понимал в эти минуты воинов, бичевавших Христа, плевавших на Него, ударявших Его по лицу с вопросом: «Пророки нам, Христос, кто ударил Тебя?» Какое высочайшее наслаждение, утончённейшее, невыразимое, ударить самого Христа, называющегося «Сыном Божиим». Разве в этом нет вызова тем, кто осмеливается кричать, что не всё позволено? Всё позволено. Он лжёт, что мы воскреснем; мы все сгниём, нас всех в страшных ямах съедят черви, а коли так, то всё позволено: и искровянить это нежное лицо, и выколоть эти тихие очи.

И во мне всё подымалось и трепетало. Что-то тёмное и тяжёлое подступало к горлу. Я готов был изуродовать, издеваясь и глумясь, это чудное лицо, от которого, казалось, вот-вот разольётся таинственный свет и растает в жаркой комнате, пропитанной сладким запахом розового масла...

Воззвание заканчивалось почти молитвой:

«О Господи Христе, — читал Николай Эдуардович, — отыми робость из сердца служителей Твоих и дай нам смелость и дерзновение возлюбить Тебя делом и

исповедать Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Он кончил. На один момент наступило тягостное молчание.

— Пламенные словеса, Иеремия! — проговорил наконец Евлампий, и в голосе его было что-то трусливое, насмешливое и злобное. — Я был бы очень рад, — прибавил он, — увидеть это где-нибудь напечатанным... только вряд ли удастся это... цензура у нас...

И, перебегая взглядом то на меня, то на Николая Эдуардовича, стал рассказывать о своих столкновениях с цензурой. В это время пришёл какой-то студент духовной академии, с лицом красным, угрюмым и тупым (между прочим, угри ужасно противны на мёртвых лицах). Евлампий страшно ему обрадовался — на этот раз, думаю, искренно, — стал целовать его и потчевать финиками. Разговор об окружном послании готов был этим закончиться. Николай Эдуардович сидел совершенно растерянный.

Меня взорвало такое отношение Евлампия.

Я — другое дело. Я ничтожество, заеденный смертью, полуживой человек. Я выстрадал себе право так относиться к призывам Николая Эдуардовича. Всего себя я принёс в жертву за это право. А он? Весёлый, самодовольный, ничего не боящийся, живущий в своё удовольствие, как он, будучи епископом, может не страдать, подобно Николаю Эдуардовичу, не гореть жаждой подвига и мученичества за Христа? Как он смеет так улыбаться, есть, пить, спать, не зная ужаса ни перед смертью, ни перед адом?

Всё, что было тёмного, злобного и тяжёлого во мне против Николая Эдуардовича, обратилось против Евлампия, мне захотелось обличить его, заставить его страдать, показать ему, как на его месте должен был бы поступить действительный епископ действительной Церкви Христовой.

И я, чувствуя, что лечу в пропасть, но уже не в силах владеть собой, грубо перебил Евлампия:

— Владыка, если вы искренно сравниваете наше воззвание с пророчеством Иеремии, и это не фраза, то, значит, вы согласны с тем, что в нём говорится. А если вы согласны, то, как епископ Церкви Христовой, не можете отказать написать окружное послание. Такой отказ равносильен отречению от Христа.

— Видите ли, друзья мои, — мягко проговорил Евлампий, но глаза его были злы и лицо холодно. — Видите ли. О всяком деле наперёд нужно подумать, к чему оно приведёт. Вы молоды, вам трудно понять это. Ну, положим, напишу я — меня, разумеется, не послушают, возьмут и засадят в монастырь, а на моё место назначат какую-нибудь, простите, дубину. — И он засмеялся. — Разве ж это хорошо будет? Вот сейчас ко мне вы приходите, другие — как к другу, отцу, говорим мы по душам. Совершаю я тем Господню работу? Воистину совершаю. А как в монастырь-то запрут, где там пользу принесёшь? Вот и недавно юноша ко мне один пришёл — такой прекрасный юноша. Деньги потерял. Я дал ему — помог. Другой прогнал бы. Разве это хорошо? Так бы вот все, как я, потихоньку делали, тогда, поверьте, — снова засмеялся он, — никаких бы посланий окружных не понадобилось. Плохо у нас в России, что говорить, только Божие домостроительство требует терпения и смирения. Воистину так... Я ценю вашу, как бы сказать, апостольскую ревность, но наипаче оценил бы ваше смирение. «Кто хочет между вами быть большим, да будет слугою». Будьте слугами всем, сказал Христос, и всё будет хорошо. Так-то, дети мои. А теперь — аминь и будем чай пить.

— Нет, владыка, разговор на этом кончиться не может, — резко сказал я, ещё больше раздражаясь от его виляний, — мы не гости, а вы не хозяин. Вы архипастырь, а мы христиане. Мы не хотим полуязыческих-полужидейских рассуждений, мы ставим вопрос прямо:

веруете вы в Христа или нет? Если *нет*, нам не о чем с вами говорить, если *да*, вы обязаны написать окружное послание. Потому что всякий раз, когда вы открыто не протестуете против поругания Церкви, вы отрекаетесь от Христа. Вы говорите, что выйдет из вашего подвига? Вас засадят в монастырь. Вы не будете приносить пользы. Владыка, вспомните мучеников христианских. Разве они так рассуждали? Разве они отрекались от Христа, чтобы потом «приносить пользу»?

И теперь вопрос стоит перед вами ребром: или со Христом — тогда на муки, на подвиг, или против Христа — тогда жизнь в хоромах, почёт, уважение, но тогда уже не смейте заикаться о «работе Господней»!

Всё время, пока я говорил, Евлампий сидел не подымая глаз. Николай Эдуардович с вопросом и надеждой смотрел на него.

Когда я кончил, угрюмый академик, краснея и взглядывая то на меня, то на Евлампия, сказал:

— Всё это так, но мне кажется, что вопросы эти далеко ещё не выяснены в богословской литературе...

Ему никто ничего не ответил.

Я был уверен, что Евлампий не выдержит своей роли, и ждал от него какой-нибудь грубой выходки.

Но Евлампий поднял своё лицо, ещё более побледневшее, но уже с новым, мягким, как бы пристыженным, выражением, и, обратившись почему-то не ко мне, а к Николаю Эдуардовичу, тихо спросил:

— Если все молчат, то, значит, все отрекаются, где же тогда Церковь, про которую сказано, что «врата адовы не одолеют её»?

В вопросе Евлампия мне почудилось то же холодное безжизненное любопытство, которое так хорошо было знакомо мне, и я готов был расхохотаться ему в лицо. Я боюсь смеха. В смехе есть что-то страшное. Человек — труп; но что может быть ужаснее смеющегося трупа?..

И при мысли о том, какой хохот наполнит внезапно эту душную, жаркую комнату, я весь задрожал холодной дрожью и, отдаваясь чему-то, что было сильнее меня, заговорил неестественно громко и с такою властью, которая мне совершенно не свойственна...

— Церкви нет... Церкви Христовой нет. Приближаются последние дни. По пророческому слову мерзость и запустение станут на святом месте. Церковь предастся во власть Антихриста... Антихрист победил земную Церковь!

Я почти кричал. Как вихрь что-то несло во мне. И не ужас, но радость тяжёлая и тёмная душила меня от этих слов о торжестве Антихриста.

— И сейчас я чувствую, — продолжал я, холодея, — что меж нами... собравшимися во Имя Христово, не Христос, а Антихрист... Я чувствую его близость... Он пятый между нас... Он страх... Он входит во всех нас...

Но силы сразу оставили меня, и я замолчал.

Стало так тихо, так тихо, как в истлевшей могиле. Я ничего не видал перед собой, только глубокие, полные любви и тоски глаза Николая Эдуардовича стояли передо мной, как два глаза Распятого...

— Видно, надо говорить всю правду, — тяжело начал Евлампий, — ведь Бог-то видит; не по незнанию, а по слабости молчим... Подлинно, подлинно от Христа отрекаемся... Сил нет... Дерзновения нет... О, как тяжело-то иной раз бывает, если б вы знали.

Он, сгорбившись и держась рукой за голову, наклонился над столом.

— Владыка, — тихо, но страстно, мучительно проговорил Николай Эдуардович, — Христос поможет вам, Христос даст силы вам. Мы будем молиться... Христос не оставит Церковь свою... О, если в вас есть хоть капля любви, вы пойдёте на этот святой подвиг... Мы умоляем вас, мы все будем с вами. Сделайте это. Верьте, тысячи сердец отзовутся на ваш святой призыв, и силы ваши

умножатся. Только начать... Дерзайте, владыко. Правда сильнее силы... Антихриста победит Христос...

«Всё это он мне говорит, — как в бреду неслось в моём мозгу, — мне или тому, что во мне... И почему так давят его слова?.. Почему так страшно, так темно, так душно?.. Он говорит о Христе, но это неправда... Почему же слова его так связывают меня?.. Ужели Он победит?!..»

Евламий ещё ниже нагнулся над столом и почти шёпотом говорил:

— Дайте подумать... дайте подумать недельку. Я не отказываюсь... Может быть... Сил только нет; робость какая-то, словно связан чем... Господи, прости согрешения наши.

— Это пути зверя — Антихриста, — едва выговорил я. Моё горло давила судорога. Как в тумане, всё двигалось и расширялось передо мной.

Я видел, что Николай Эдуардович прощается с Евлампием, тот крестит, целует его, и лицо у него не прежнее холодное и фальшивое, а умилённое и заплаканное.

— Если вы пойдёте к другим епископам, — говорил он, и на губах его улыбка добрая, даже детская, — будьте осторожны, а то можете на такого напасть, что и за полицией пошлёт.

Мы уходим...

Как в тумане всё было, как в бреду или в тяжёлом сне... Весь мир действительный исчез для меня, и другое открылось, и другое, окончательное, должно было начаться...

VI

АНТИХРИСТ. МОЯ ТЕОРИЯ

Так это не могло кончиться. Я не знал, что именно должно произойти, но отчётливо сознавал одно: теперь это неизбежно — бежать некуда...

Дойдут ли до вас эти нечеловеческие муки, пережитые мной? Мне не нужно ваших сожалений. Мне

нужно лишь, чтобы вы поняли меня, чтобы исповедь моя, хоть на один миг, была для вас *действительной* исповедью, во всей ужасающей сложности раскрывающей, что я за «типик». Об одном я готов умолять вас: не заподозривайте меня в выдумке. Вам легко будет сделать это. Но клянусь вам, всё это, до мельчайшей подробности, пережито мной — да кто знает, может быть, и не мною одним, — и лишь разница в том, что я откровенно (согласен, что даже до непозволительности откровенно) обнажаю перед вами свою душу.

А попробуйте-ка заговорите о том, о чём *никогда* не говорят, но что *всегда* переживают, — вам это обязательно покажется фальшью.

Но верьте, не часто вам придётся услышать в действительной жизни такие искренние признания, какие вы слышали от меня.

Пусть эта ночь была ночь бреда, может быть, припадка безумия, — но она была, она раскрыла мне всё, и я помню её с такой мучительной ясностью.

И как мне не говорить об этой ночи, когда в ней ключ ко всему.

Мне чудится, что я даже сейчас вижу своё искажённое лицо, свои безумные глаза, вижу себя как двойника своего, пришедшего рассказать мне все тайны моих постоянных мучений.

Как клочки разорванных облаков, неслись во мне дикие, бессвязные клочки мыслей, и я всё торопился, торопился догнать самую из них важную, самую нужную.

В природе масса отвратительного. Красива она издали, а приглядитесь-ка к ней. В ней всё смерть, разложение и пожирание одними других. Но я ничего не знаю отвратительнее насекомых под названием «наездники». Они кладут свои яйца в живых гусениц других насекомых, гусеница не умирает, она продолжает жить, но внутри неё уже живёт другая личинка, питается, растёт и наконец выводится вместо настоящей. Ну можно ли придумать что-нибудь более утончённое, более

извращённо-жестокое, чем придумала это природа! Вдумайтесь только. Ведь это что-то прямо невероятное, какой-то кошмар, галлюцинация. Один прокалывает другого, живёт там, ест, растёт, а тот по виду всё прежний и лишь с отвращением чувствует, как внутри его что-то шевелится совсем другое, безобразное, чужое. Воистину только Божеская премудрость могла додуматься до такого фокуса! Но позвольте вас спросить, как это ни невероятно, как это ни похоже на сказку, осмелитесь ли вы отрицать это? Попробуйте, я ткну в природу пальцем. Да вы, конечно, и не станете отрицать этого. Вы скажете: это факт; мы можем ощупать его нашими руками и увидеть собственными глазами своими. Но позвольте спросить вас: многое ли, самое даже важное, самое для всех драгоценнейшее, что совершается в душе вашей, можете вы осязать или видеть?.. И всё-таки это — факт. Вы скажете, что мы это чувствуем и сознание привыкло верить нашему чувству — таким образом, и чувство есть факт. Прекрасно. Так позвольте вам заявить следующее: я *чувствую*, что я именно такая гусеница с лицом человеческим и что меня проколол *другой*, и живёт во мне, и ест душу мою. Воображаю, как вам весело станет от этого признания. Разве не смешно, в самом деле, человек настоящий, говорит, ходит, улыбается и плачет — а под кожей-то у него «наездник». Те, что глубококомысленнее, разумеется, уже спешат ответить мне: вы сумасшедший. У глубокомысленных господ всё просто делается: обругаются, и всё тут.

Но буду продолжать.

Там, на постели, после посещения Евлампия, я впервые сознал себя проколотой гусеницей, там впервые понял, что за птица тогда в первый раз во мне шевельнулась, почему таким страхом тогда сжалось моё сердце. Я понял, кто из меня с мучительным любопытством поглядывал на Николая Эдуардовича и кто с такой мукой и торжеством говорил Евлампию о грядущем Антихристе...

Да, я понял всё. Была такая минута — нет, неуловимая часть времени, — когда вдруг вспыхнула во мне какая-то светлая точка и разом озарила всё...

Разом исчезли стены, раздвинулся потолок и страх ворвался отовсюду, пополз со всех сторон, холодными иглами вонзаясь в мою душу.

О, это был не тот игрушечный страх смерти, который всю жизнь, как зайца, травил меня. Это был настоящий мировой страх.

Я не видал ничего. Но *они*, все *они* были здесь. Я не видал острых глаз, мокрых тянущих губ, но я знал их.

Я центр мира, и всё медленно, до муки медленно, ползло и пронизывало меня.

Ужас и безумие сливалось в одно...

Я Царь! Я Бог!

Я не двигался; я ждал. Я ещё ждал «призванья», окончательного, бесповоротного. Слово ещё не было произнесено.

Я уже всё знал и ждал...

Точно миллионы длинных, цепких рук, таких неотступных, таких мертвенно-бледных, тянутся ко мне.

И всё я видел, и всё принимал, как единый властелин вселенной...

Тысячи голосов шептали мне в уши... И страх рос от этого шёпота. Хотя в нём не было ни слов, ни смысла...

Я себя увидал.

Маленьким-маленьким, ещё в белой чистенькой рубашечке. Я всё вспомнил. Точка светлая всё озарила мне, и в один миг, быстрее вихря, быстрее сознания человеческого, всю жизнь свою снова принял в себя.

Я шёл в гимназию... Экзамены. Первый урок... Говели на страстной неделе... Заутреня... пихтой пахнет. Огни... Христос воскрес, Христос воскрес... Бабушка в гробу... Крымская ночь...

Всё, всё, чувства, мысли, каждое движение, каждое слово...

И так всю жизнь. И прошлое, и будущее. Один, только я один. Всё знаю, всё могу, всё принял...

Растёт, ширится. Шёпот совсем близко, почти в голове... Руки длинные, холодные, всё тянутся, почти хватают за горло.

Скоро, скоро. Я знаю, что скоро. Он близко.

Где-то далеко в тумане, как тени страшные и кривые, мелькнул ряд чёрных крестов...

Всё кругом оживает, шевелится. Страшные тени бегут одна за другой.

Огонь свечи становится красен, как кровь...

Я слышу шаги... Ещё!..

.....

...Свершилось!..

В безумном ужасе, согнувшись, я бросаюсь в тёмный угол комнаты, прижимаюсь к холодной стене и, как сквозь сон, слышу свой нечеловеческий крик:

— Антихрист!.. Антихрист!..

Придя в себя, я с поразительной ясностью сознал, что у меня откуда-то явилась стройная и законченная «теория Антихриста». Откуда она взялась, было совершенно непонятно, так как я никогда не думал об этом вопросе отвлечённо.

Эту теорию необходимо передать здесь.

«Ты ли Царь Иудейский?» — спрашивал Пилат. «Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?» — спрашивал первосвященник. И эти два вопроса не могут оставаться без ответа. В этих двух вопросах жизнь или смерть.

Кто же был Христос? Царь, Сын Божий, искупивший мир, спасший его от зла, страдания и смерти, источник вечной жизни, восставший из гроба, грядущий судить живых и мёртвых? Или и Его создал всё тот же страх смерти, и Он не Сын Божий, а сын Смерти, не спасший, а обманувший мир, не воскресший, а сгнивший, не гря-

дущий судить — долженствующий быть судимым грядущим Антихристом?

Для меня решён этот вопрос. Христос не Сын Божий. Христос не воскрес. Христос не победил смерть.

Всё тот же безумный, нестерпимый, отвратительный страх смерти создал Христа. С того самого момента, когда не отдельного человека, а всё человечество — там, в отдалённой глубине истории, — охватил животный ужас перед грядущей смертью, зародилась в нём слабенькая, уродливая и до смешного наивная грёза о том, что кто-то, когда-то победит мир. Этот зародыш был очень живуч. Его не могли победить самые очевиднейшие доказательства смерти. И все умирали, и все передавали друг другу свою несбывшуюся надежду. И даже чем больше умирали люди, чем глубже в сознание человечества проникал весь ужас, вся неизбежность рано или поздно сгнить в земле и чем сильнее разгоралась жажда вечной жизни, тем мечта о грядущем победителе становилась упорнее и неотразимее. Он должен был придти во что бы то ни стало. Без него вся культура, все хлопоты людские, все их радости, весь пыл их воображения — ничто. Смерть стоит поперёк дороги. Неужели же никто не уберёт её? Ну конечно, уберёт! Обязательно уберёт: о нём даже известно, где он родится, где умрёт, кто будут его родители. Если известны такие подробности, так уж, конечно, значит, это правда... И надежда, мечта, грёза облекалась в плоть и кровь, переходила в веру. Народ, наиболее любивший жизнь, ибо научился ценить её в рабстве, явился носителем этой веры. Отдельные люди, в которых страх смерти доходил до высочайшей точки, которые должны были во что бы то ни стало, чтобы жить, верить в Мессию и которые всё-таки чувствовали, что вера ускользала от них, по преимуществу склонны были создавать все подробности его грядущей жизни, чтобы этими подробностями загнипнотизировать себя, заставить поверить, что он на самом деле придёт, и таким образом спасти себе жизнь. Так создались пророки.

Ожидаемый избавитель должен был обладать всеми совершенствами и явиться полной противоположностью смерти, с её страхом, безобразием и разрушением. Но что может быть более противоположно этому, как не любовь, красота и творчество? Чтобы бороться со смертью, он должен был обладать высочайшей любовью, божественной красотой и абсолютной истиной. Он должен был победить смерть. Но как можно победить смерть, самому не умирая? И он должен был умереть. И умереть не своей смертью, а смертью насильственной во цвете лет, чтобы ярче была выражена всепобеждающая власть смерти. Но как можно победить смерть, самому сгнивши в земле? И он должен был воскреснуть...

Всё человечество до Христа жило этой верой в грядущего. Мировая история до Христа есть прогресс во имя Христа. Ведь Он, этот грядущий избавитель, должен был явиться олицетворением любви, красоты и истины. Как же было не стремиться к ним, как же было не провозгласить их своим идеалом. Это было необходимо сделать, чтобы возвыситься до Него, и тем ускорить, приблизить Его время. И действительно, человечество сознательно или бессознательно жило стремлением к этому идеалу, ожидая его воплощения. Христос — это высочайшая точка, это результат напряжённейших сил, веками направлявшихся в одну сторону. И Христос действительно пришёл, родился, жил, действительно воплотил в Себе высшую человеческую любовь, красоту и истину.

Человечество, очевидно, должно было поверить и тому, что Он воскрес. Да и Сам Он мог ли не верить, что Ему предстоит воскреснуть? Разве Сам Он не чувствовал, что Его воскресение — последняя надежда мира, что или Он должен воскреснуть, или мир погиб.

Но Он не воскрес. Его воскресение — это ложь. Смерть победила Христа. Человечество не могло бы жить дальше, сознай оно это, — и оно вымучило в себе веру, истерическую, болезненную, с надрывом, в то, что Христос победил смерть.

Но и этого было мало. Разве воскресения одного Христа было достаточно, чтобы спасти всё человечество от ужаса перед смертью? Если Христос мог воскреснуть, разве это значит, что воскреснут все?..

И вот из страха смерти и мечты о Христе создаётся *факт* Его воскресения, и из факта воскресения измученное человечество создаёт грёзу о всеобщем воскресении. А чтобы смерть, по-прежнему истребляющая всех, как до Христа, так и после Него, не смущала слабых душ, новое усыпляющее средство создаёт человечество, новую мечту, что смерть — это последний враг, которого победит Христос.

Создаётся пророчество: «Последний враг истребится — Смерть».

Но Смерть, победившая Христа, медленно берёт свои права; медленно, но неуклонно разрушает она иллюзию воскресения. Смерть — чудовищный факт, но из этого не следует, что его нужно выбросить вон, придумывая различные сказки. Нужно уметь прямо в глаза смотреть правде.

И вся история человечества после Христа есть медленное приготовление к окончательному обнаружению лжи воскресения Христа. И точно так же, как прежде человечество жаждало победителя, верило в его пришествие, — теперь оно жаждет *другого*, кто бы обнаружил обман и восстановил истинное значение смерти. Сознательно или бессознательно человечество до Христа стремилось с величайшим напряжением к тому, кто бы явился носителем, воплощением в лице человеческом любви, красоты и истины, — стремилось и достигло. Христос пришёл. Точно так же теперь, сознательно или бессознательно, после Христа, с тем же напряжением человечество ждёт того, кто бы явился носителем, воплощением в лице человеческом страха, безобразия и разрушения. И оно должно достигнуть своего. Должен явиться Антихрист.

Христа жаждали. Эта жажда давала направление истории. Любовь, красота и истина были идеалами, которые

двигали и определяли прогресс. Теперь жаждут Антихриста — и идеалами становятся противоположности любви, красоты и истины: страх, безобразие и разрушение. Прежде прогрессом было движение ко Христу, теперь — движение к Антихристу. Смерть, высший владыка мира, входит в свои права.

Чтобы верить в Антихриста, так понимаю, не нужно верить в Бога, бессмертие и даже в душу. Нужно просто иметь здравый смысл. И сами что ни на есть заядлые атеисты, нигилисты и что вам угодно (даже атеисты и нигилисты по преимуществу) должны ждать Антихриста, и они ждут его. Да и понятно. Разве кому-нибудь другому может быть так ненавистен христианский Христос, как он ненавистен атеисту? А потому разве кто-нибудь другой может так жадно искать того, кто наконец раз навсегда покончил бы с Христом, так хотеть обнаружения вековой лжи и так пламенно верить в грядущего Антихриста?

Когда пришёл Христос, ожидание победителя Смерти достигло высочайшего напряжения, и потому Христа сразу приняли. Да можно ли назвать это победой. Ещё до Его пришествия все уже сами были побеждены своим страхом смерти и верой в избавителя, родившейся от отчаяния. Христос победил побеждённых. Они без сопротивления пали ниц. Точно так же, когда придёт время Антихриста, человечество достигнет напряжённейшей жажды, чтобы наконец ложь была обнаружена и Смерть, всё равно неизбежная, скорее бы, не мучая своим медленным подползанием, разом и навсегда покорила бы мир. А потому Антихрист так же разом покорит мир.

Каждый человек до Христа, в своём чаянии Его пришествия, был носителем духа Христова, был носителем частицы того, кто в целом должен был явиться.

А всё человечество, состоявшее из этих отдельных лиц, было как бы коллективным Христом. Христос уже был, но был в человечестве и должен был вылиться в одно целое.

После Христа точно так же каждый отдельный человек является носителем духа Антихриста, точно так же коллективный Антихрист живёт во всём человечестве и должен вылиться в одно целое. Отдельные люди могут в большей и меньшей степени явиться носителями духа его.

Прежде лучшими были те, в ком полнее воплощался Христос, потому что они по преимуществу приближали время Его пришествия, — теперь лучше тот, кто полнее воплощает в себе Антихриста...

Последняя мысль ошеломила меня.

Святой от Антихриста! До такого дерзновения не доходил никто.

Обман слаще — но действительности надо смотреть в глаза прямо. Покой даёт вера в Пришедшего — отчаянье и ужас охватывает при мысли о грядущем. И наступит день, когда оставшиеся носители духа Христова, жалкие, обманутые служители «воскресшего» Христа, в иступлённом напряжении чающие всеобщего воскресения, столкнутся с грозной, непобедимой силой Антихриста. Эта сила выстрадана веками, создана напряжением миллионов людей, как некогда создан был Христос.

Вся сила веры в Христа, вся любовь к добру, вся безграничная жажда вечной жизни, достигнув напряжения, равного по силе временам первого пришествия Христова, соберётся в один центр, в загнанную ничтожную кучку людей, которая обратится против Антихриста.

Придёт Антихрист и раздавит эту кучку непокорных властью Смерти. И ужасная драма, всемирная трагедия пустых, ненужных надежд, страданий и страха, — закончится.

И всё кончится, и всё смолкнет, и «солнце померкнет, и луна не даст света своего», и дух Смерти, не имея жертв, в вечном молчании будет носиться над вселенной.

VII

У ВЕРОЧКИ

Я — Антихрист. Эта мысль приводила меня почти в восторг! Смысл жизни был найден. Теперь я знал, что жизнь моя нужна — даже очень нужна. Во мне жил дух Антихриста, воплощаясь, быть может, более полно, чем в ком-нибудь другом; через меня как бы приближалось время его грозного пришествия — таким образом, я являлся несомненным носителем прогресса. Уж я не мог сказать теперь, что живу только для того, чтобы сгнить. Жизнь моя приобретала мировое значение.

Я не могу сказать, что вполне освободился тогда от своего страха и гнетущей тяжести, но в то время, о котором я говорю, мои прежние настроения как бы ушли на задний план. Вы увидите из дальнейшего, что всё это было ненадолго. Но в первое время неожиданное, словно с неба свалившееся открытие, — что в моей жизни есть несомненный смысл, — действовало на меня ошеломляюще, поглощало всё моё внимание и наполняло чувством, похожим на гордость.

На следующее же утро я решил, что обязательно должен пройтись по всем наиболее знакомым мне улицам и таким образом «начать новую жизнь». Мысль, конечно, до смешного ребяческая и даже, согласен, немножко странная наряду с грандиозными мыслями о пришествии Антихриста, финале мировой истории и т. д. Но кто же из людей, если честно пороется в своей памяти, не отыщет там таких же ребяческих фантазий наряду с самыми трагическими переживаниями? Уж такова психика наша; поверьте, что человек и за крокетной игрой может решиться на самоубийство. Поройтесь-ка в своей душе, и вы со мной согласитесь — конечно, если только вы раньше привыкли обращать внимание на то, что делается внутри вас. Хотя я заранее готов согласиться, что едва ли не большая половина людей совершенно не знает, чем живёт и болеет их душа.

Что касается моей ребяческой мысли, то я могу признаться, что привёл её даже в исполнение.

Идя по улицам, я волновался, как мальчик, которого в первый раз одного пустили гулять. Всё производило на меня совершенно новое впечатление. И это так радовало меня, словно и в самом деле в новизне этих впечатлений были задатки новой, начинающейся жизни. Меня не раздражали и не злили, как это было обыкновенно, мелькавшие навстречу чужие лица прохожих. Что-то смутно для меня знакомое было во всех них. И мне хотелось подойти к каждому и сказать: «Я тоже знаю, зачем я живу... Только, конечно, самой сущности, ради чего я на свете живу, я вам не открою».

Я и этой мысли чуть было не привёл в исполнение.

На какой-то площади мне попался толстый, весёлый, бритый господин в бобровой шапке. Он так вызывающе весело посмотрел на меня — мне даже показалось, что он едва уловимо улыбнулся краешками своих толстых губ, вся фигура его выражала такое, что, мол, «я тоже». Но вдруг меня внезапно, как громом, поразила мысль, которая — я решительно не умею сказать почему — мне раньше не приходила в голову и которая так ошеломила меня, что я в глупой позе пропустил мимо себя бритого господина, который не без любопытства на меня покосился. Я это тоже заметил.

Признаюсь, теперь я даже рад, что эта внезапная мысль помешала мне. Воображаю, какая нелепая сцена могла бы разыграться. Но тогда меня, может быть, и тянуло сделать эту выходку то, что она должна была бы кончиться бессмысленнейшим скандалом, скандалом настолько нелепым, что даже на действительную жизнь не походило бы. Кошмар! Кошмар! Это ли ещё не начало «новой жизни»?

Мысль, так ошеломившая меня, была такова: «Почему бы не пойти мне к Верочке».

Согласитесь, в этой мысли было много кое-чего ошеломляющего. Признаюсь, о Николае Эдуардовиче я тогда

не подумал: во встрече с ним было слишком много трудностей. Вся суть была в Верочке.

Она была такая ещё маленькая, хрупкая, ей и в голову не могло придти ничего подобного, она ещё и понять-то была бы не в силах, на какие утончённости душа человеческая способна, — и вдруг перед такой-то девочкой взять да и распахнуть всю свою подноготную, вывернуть всего себя наизнанку, показать свою самую что ни на есть грязную «святая святых». Ведь тут столько завлекательного, такой соблазн, особенно если принять во внимание, что я не видал её с деревни и мы расстались с ней такими «простыми» друзьями.

Ну, я и не устоял. В тот же вечер пошёл к ним и, к величайшему своему счастью, застал Верочку одну. Странный произошёл между нами разговор — и более чем странно было его окончание. Конца такого, разумеется, я предвидеть не мог, но что касается самого разговора, то как же могло быть иначе. Ведь о самом-то главном, о том, чем душа живёт, у нас ни иносказательно, ни прямо говорить не принято. У нас язык-то к этому не приноровлен. Вы послушайте, о чём у нас разговаривают: или о пустяках, о самой что ни на есть серенькой повседневности, или уж глубокомысленные споры ведутся, так называемые «принципиальные разговоры». А всё, чем, собственно, и живёт-то человек: все его самые глубочайшие падения душевные, его радости, сомнения, всё развитие духа его, все болезни — это каждый человек сам по себе пережить и пережить должен. Ведь так, как в романах пишут, люди в действительной жизни никогда не говорят. Теперь это явление радует меня (из дальнейших «Записок» вы узнаете, почему), но тогда ещё я всеми нервами своими чувствовал ужас такого положения. Муку разговоров о пустяках особенно поймут натуры посложнее. Муку в полном смысле безысходную. В самом деле, сталкиваетесь вы с людьми? Должны ли вы разговаривать с ними? Должны — нельзя же молча сидеть. Душа ваша полна глубочайшими процессами духа, а вы говорите о чае. Не могут же все только

и делать, что друг с другом исповедываться. «Уединяйтесь в такие минуты», — скажете вы. Но, во-первых, вся суть в том, что вы не знаете, когда и в каком месте заговорит в вас душа, — нельзя же бежать из-за стола, не допив стакана, а во-вторых, и это самое главное, в уединении не совершается самая острая сторона внутренней работы, она совершается среди людей, в связи с внешними впечатлениями. И вот такой сложный человек мало-помалу вытягивается в эту роль смеющегося страдальца и мало-помалу доходит до того, что вы ни за что на свете по внешнему виду не определите, что делается в его душе. Больше того: человек вытягивается в своеобразную прелесть перешагивать через самые глубокие, самые головокружительные пропасти незаметно и невидимо ни для кого, в моменты балагурства и зубоскальства самого непростительного.

Такого мнения я держусь о других людях. Ну, а обо мне и говорить нечего. Я никогда и заикнуться не мог о том, что во мне делается. Как заколдованный актёр, по внушению чьей-то проклятой силы, залез я в костюм, замазался гримом и, изнемогая от усталости, изо дня в день, из года в год, не видя конца перед собой, должен играть одну и ту же ненавистную роль...

В этот вечер Верочка, как нарочно, была оживлена и весела чрезвычайно. Болтала она без умолку. Рассказывала о Трофиме Трофимовиче, о поездке на мельницу после моего отъезда из деревни, о какой-то пресмешной девочке, которая говорила: «Привези мне куклу, чтобы ётик был маленький, как ноготок там, где тейненький».

Мне она слова не давала сказать. Её оживление и навивная весёлость только ещё более подзадоривали меня. Смеясь, она нагибалась вперёд всем туловищем, и, глядя на неё, я думал: «Вот, постой, я тебя огорошу». И при мысли, как она побледнеет, как потемнеют глаза её и тоненькие ручки бессильно упадут на колени, сердце моё тревожно замирало и судорога кривила рот.

Вообще в моей внешности, очевидно, появилось что-то странное.

По крайней мере, Верочка внезапно переменяла тон и, не по-детски серьёзно посмотрев мне прямо в глаза, тихо спросила:

— Что с вами?

Я так ждал этого момента, так ждал, что разговор как-нибудь случайно приблизится к нужной для меня черте, что вдруг заволновался весь; ничего не мог ответить и только улыбался, чувствуя, что улыбка выходит глупая, неуместная, и краснея за свою улыбку.

— Вы расстроены чем-то, — участливо продолжала Верочка, со вниманием осматривая меня. — Вы, может быть, нездоровы.

— Это вы так потому говорите, — запинаясь, начал я, — что вы ещё очень маленькая, совсем ещё девочка... Если бы вы побольше были, вы бы знали, что порядочные люди здоровыми никогда не бывают.

Верочка молча, с недоумением смотрела на меня. А мне только этого и нужно было.

— Да, да, — с жаром продолжал я, — что-нибудь надо одно выбирать — здоровье или порядочность. Нервы человеку для чего, вы думаете, даны? Для счастья, да, для счастья? Нервы даны, чтобы с ними жить при нормальных условиях, чтобы одну радость да безмерную благодать Божию ощущать. Чтобы с улыбкой встать, за день одно райское блаженство пережить, а вечером с той же улыбкой лечь спать. Вот для чего нервы даны. А вдруг вместо того, вместо райского-то блаженства, по ним с утра до вечера что есть силы палкой бьют. Какое же тут здоровье. Здоровыми могут быть или дети, или мерзавцы — потому что и те и другие ничего не видят дальше самих себя.

— Опять, опять вы за старое, — всплеснула Верочка руками и заговорила так же порывисто, с тем же увлечением, с которым она вообще всё делала. — Разве же мало на свете счастья? Разве мало на свете благодати Божией, как вы выразились? Нужно уметь видеть хорошее. Злое видеть гораздо легче, потому его и кажется больше в жизни. Вы говорите: «дети или мерзавцы». Разве можно

так говорить? Вы не имеете права так говорить. Вы в Христа верите, а Христос о детях так не говорил... Просто вы капризничаете, вот что я вам скажу.

Но Верочка теперь для меня была не тем, что в деревне. Её упорство лишь ожесточило меня.

— Где это вы счастье увидали? — с ненавистью сказал я. — Вы ещё жизни не знаете. Всюду разврат, нищета, голод. Всюду люди страдают, до иступления страдают, до скрежета зубовного, а вы — «благодать Божия»! Позвольте-ка вас спросить, что, если бы человек от сырости, от голода, от разврата на глазах ваших умер, могли бы вы с улыбкой спать пойти? А что изменится оттого, что не на глазах? Для порядочного человека ничего не изменится. Порядочный человек одинаково людей любит, и когда они перед глазами страдают, и когда за версту страдают. А если так, то позвольте вам заявить, что не один человек, сотни людей мрут в подпольях. И раз вы это знаете, вы должны так же страдать, как если бы они умирали на ваших глазах. Порядочный человек ни одной минуты не проживает на свете без слёз...

— Неправда, неправда, — махала руками Верочка, вскакивая и от волнения бегая по комнате. — Прекрасно даже можно и улыбаться, и смеяться, и всё что хотите... Конечно, на свете много зла, я это тоже прекрасно знаю, не думайте, пожалуйста, только позвольте и вас тоже спросить: разве не существует нравственного удовлетворения? Как, по-вашему, неужели человек, который целый день с утра до вечера работает, приносит пользу, всего себя отдаёт на служение людям, на борьбу со злом и страданием, ужели такой человек не может, как вы выражаетесь, «с улыбкой спать пойти». Не может, не может? — наступала на меня Верочка.

— Не может, — с каким-то злорадством, тоже встав с своего места, сказал я. — Вы только представьте такого человека. Не словесно, не отвлечённо, а плотью и кровью представьте, живым, в пальто, шляпе... Вот приносил приносил этот ваш человек пользу, и захотелось ему чаю

напиться. Зашёл он в трактир; а в трактире такой гвалт, что голова кругом идёт. (Этот случай действительно был со мной, и теперь, говоря с Верочкой, я, не знаю почему, его вспомнил.) Вот взошёл он и видит: за одним столом сидит жирный-прежирный господин, красный, потный, и орёт во всё горло:

— Ползи, на коленях ползи... Не прощу...

Перед ним на коленях валяется женщина, больная, истерзанная.

— Ползи, — орёт толстый мужчина. — Дальше встань, больше ползи...

И женщина трясётся вся и ползёт по грязному полу. Но лишь только подползает она, он тычет ей в лицо ногой.

— Ещё раз ползи... снова ползи...

И снова та же история.

Так вот, как вы думаете, ночью, придя к себе в комнату, закутавшись одеялом, не станет страшно этому добродетельному человеку за всё безобразие жизни, за весь ужас её? И как вы думаете, улыбнётся он от сознания «исполненного долга» или разрыдается, в подушку уткнувшись, вспомнив всю эту отвратительную сцену?

Верочка молчала, как пришибленная.

— Вы ещё жизни совсем не знаете, — мягко сказал я, чувствуя, что над нею имею власть. — Потому не знаете и того, сколько в ней самой беспросветной тьмы, самой непроходимой грязи. По внешнему виду в жизни всё весьма благополучно. Идёте вы по улице, люди попадают всё такие приличные: толкнут — извинятся, это ли ещё не культура?

На лбу ведь ни у кого не написано, что, мол, сей благообразный господин — подлец, развратник, что в душе у него ни одного живого места нет. Да что на улице. Другого вы несколько лет знать будете, всё такие слова хорошие говорить будет, а в душе-то у него на самом деле одна гнусность. И никогда этой гнусности вы не узнаете, никогда, никогда.

— Что вы говорите, — как рыдание вырвалось из груди Верочки.

— Правду говорю, по опыту говорю. Я тоже не сразу христианином стал, бывали страшные падения во мне, и никто не замечал этого... Больше того.

— Но разве же искреннего человека сразу не видно? — наивно, но с глубокой тоской перебила меня Верочка. — Я понимаю, что хорошие слова можно по заказу говорить, но глаза, жесты, голос, интонация...

— Так вы действительно убеждены, что искреннего человека всегда можно узнать?

— Всегда, — твёрдо сказала она.

— Ну, а как вы думаете, искренний я человек или нет? — неожиданно для самого себя спросил я. Как паук, с жадностью я смотрел на Верочку, задыхаясь от притягательнотомительного чувства, подобного тому, какое испытываешь, заглядывая в чёрно-синюю глубину пропасти.

Верочка с удивлением посмотрела на меня: видимо, она тоже не ожидала этого вопроса. Наконец сказала:

— Искренний.

Я ждал этого ответа, но, может быть, именно потому, что так ждал его, почти до обморока был потрясён им. «Антихрист я, развратник, мертвец полусгнивший!» — хотелось крикнуть мне. Всего меня так и подмывало.

Но вместо этого я заговорил таким проникновенным, таким вкрадчивым голосом, в то время, когда в душе моей всё было в движении, всё рвалось наружу, что даже я сам поддался впечатлению искренности своих слов и почувствовал, как задрожал на лице моём каждый мускул и губы от волнения стали насилу выговаривать слова.

— Друг вы мой, — сказал я, — вы правы, я человек искренний, поверьте, я мог бы по внешнему виду оставаться совершенно таким же в то время, как душа моя иссохла бы от сладострастия, фантазия вконец была бы испорчена и воображение, кроме утончённейшей извращённости, другой бы не знало пищи. И вы, повторяю, никогда, слышите — никогда, не узнали бы, что творится в душе этого человека. Вы думали бы, что он человек горячий, пламенный, а он был бы холоден, как труп. Вы

воображали бы, что он верит в Бога, почти святой, а он просто бы боялся смерти.

Верочка, бледная, уничтоженная вконец, слушала с инстинктивным страхом мою вкрадчивую речь. Видимо, она смутно угадывала какую-то бездну, в которую, может быть, лучше и не заглядывать. Я видел, что нервы её взвинчены до последней степени и что незаметно для неё самой всё её нежное, полудетское тельце дрожит мелкою дрожью...

И тут-то произошло нечто странное. Тот неожиданный конец разговора, о котором говорил я.

Мне неудержимо захотелось взять её за руку. Клянусь вам, в *тот* момент во мне не было ни малейшего грязного чувства. Просто она стала для меня почему-то так невообразимо близка. Во мне, может быть, на один миг, проснулись все заглушенные чувства и к людям, и к себе, и к семье своей. Может быть, только мать, у которой всё в жизни погибло, всё в жизни потеряно, в минуты полного отчаянья глядя на дочь свою, способна на такое жгучее, нежное и всё существо, до мозга костей, потрясающее чувство.

Верочка сначала не отняла руки, но потом осторожно хотела её освободить. Я не пустил её.

И тут быстрее, чем молния, быстрее, чем может заметить сознание человеческое, во мне всё до самого основания приняло другой вид.

Достаточно было Верочке сделать это маленькое движеньице, едва заметно потянуть к себе руку, а мне тоже неуловимым пожатием *насилъно* оставить её в своей руке, чтобы Верочка, и чувства мои к ней, и вся нежная, материнская прелесть их — всё пошло прахом.

Ведь я в первый раз, не в фантазии, а в действительной жизни, насильно заставлял женщину, или, вернее, девочку (может быть, даже именно потому, что девочку), в первый раз заставлял сделать по-своему, физически заставлял, насильно.

И всё, что когда-либо было пережито мной, весь яд моих фантазий — всё разом с непередаваемой, невообразимой быстротой вспыхнуло во мне. И такую внезапную

бешеною страстью загорелось моё сердце, что я воистину готов был на преступление. Несправедливейшее, возмутительнейшее, гнуснейшее насилие готов был совершить я... Мне не нужно было её взаимности. Мне нужно было, чтобы она кричала от ужаса, рыдала и билась всем существом своим от отвращения и от отчаяния.

Верочка со страшной силой выдернула свои руки и бросилась вон из комнаты...

VIII

ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ?

Всю ночь проходил я по пустынным, безлюдным улицам.

Одно чувство покрывало во мне все остальные: чувство мучительного, жгучего, самолюбивого стыда.

Что теперь она обо мне думает? Каким отвратительным, ничтожным существом я ей кажусь; какими глазами буду смотреть на неё при встрече.

И каждая мельчайшая чёрточка только что пережитой дикой сцены вставала в моей памяти с такой яркостью, словно я ещё видел перед собой лицо Верочки, её глаза, ощущал в руке своей трепетавшую руку, которую она выдернула с таким отвращением и ужасом.

Можно сказать, что в памяти моей вся сцена осталась даже в большей подробности, чем я сознательно видел, когда она разыгрывалась. Раскаяния в нравственном смысле я не испытывал, разумеется, никакого, но только теперь, кажется, вполне ощущал, как нелепо, необузданно, и главное, унижительно было моё поведение.

Моментами такой горячий стыд, такая острая боль уязвлённого самолюбия теснила мне сердце, что я невольно останавливался на месте и морщился, как от внезапной физической боли.

В сравнении с этим чувством самолюбивого стыда и непоправимого, как мне казалось, унижения даже все мои страхи и ужасы побледнели. Я был раздавлен и жалок.

В самом деле, чем я мог восстановить себя в глазах Верочки. Разве была какая-нибудь возможность вырвать из её памяти мои слова, мой животный, отвратительный порыв. Я не в силах был сделать этого. Одно могло спасти меня — смерть. Мёртвым всё прощается.

Под влиянием этих чувств и мыслей фантазия моя приняла совершенно особое направление.

Я стал мечтать самым непростительным, самым ребяческим образом.

Я скоропостижно умираю. На длинном узком столе лежит моё беспомощное похолодевшее тело. Примирённый, таинственный, со сложенными на груди руками, я точно сплю. Губы мои загадочно-горько улыбаются, ресницы не плотно закрывают глаза.

Верочка рыдает, прижимаясь к ногам моим. Неправимое, неотступное горе безнадёжной тоской сжимает её грудь.

Я не понят. Меня не оценили. Она не почувствовала всей глубины моей страсти. И я, потерянный, не в силах был жить, не в силах было моё сердце выносить этих оскорблённых мук, и оно разорвалось... Я погиб. Она теперь только поняла всё это. О, зачем так поздно... Зачем я оттолкнула его, измученного, страдающего... Я убийца его. Это благодаря мне он лежит на столе беззащитный, ненужный. А я буду жить... И ничем, ничем, никогда не вернёшь прошлого.

И у меня у самого начинало щемить в горле от нестерпимой жалости к самому себе. Я всё простил себе, я со всем примирился и, как над покойником, безвозвратно ушедшим куда-то, готов был плакать навзрыд.

Конечно, здесь было много сантиментальности. Но эта сантиментальность была особенная: от неё, если позволено будет так выразиться, пахивало трупом.

В этом-то пункте мой острый стыд, моё вконец потрясённое самолюбие каким-то фантастическим образом соединилось с моей постоянной мукой, с моим культом смерти. И самым неожиданным образом вылилось в не-

вообразимо уродливую форму. Вылилось почти в невероятную ложь.

Два слова о лжи. Мне иногда приходит в голову, что ложь у нас определяется слишком формально. Достаточно, чтобы утверждение фактически, внешне не соответствовало действительности, как уже оно сейчас клеймится словом *ложь*. «Что же тогда, по-вашему, ложь?» — скажете вы. Не знаю. Может быть, тут недостаток языка человеческого, и нужно было бы изобрести какое-нибудь новое слово, только я положительно уверен, что могут существовать такие случаи, когда, несмотря на явное несоответствие утверждения с фактом, лжи всё-таки не будет.

Ну вот, скажите, была ложь в том, что я сделал дальше, или нет?

В таком «сентиментальном» настроении проходил я до самого утра. Чего-чего не нафантазировал я за эту ночь. От бессонницы и внутренней нервной работы я ослаб совершенно. Кажется, никогда я так реально не ощущал, что будет, когда я умру. Как по-прежнему будут сиять звёзды, плыть облака, шуметь лес, всходить солнце. Я чувствовал себя таким оставленным, лишним, сиротливым, каким может быть только покойник, забытый и людьми, и землёй, и небом. Я был живой покойник. Мне казалось, что я действительно умер и это кто-то другой, близкий, как лучший друг, и жалеет меня, и плачет надо мной.

Могло ли быть иначе? Ужели человеческая фантазия способна создавать такие иллюзии, и воображение, мечта, нечто несуществующее — вызывать такие настоящие, подлинные человеческие слёзы, которые неудержимо текли по моему лицу, а я, ослабший, не в силах был ни расплакаться как следует, ни удержать их.

Я не мог, не должен был жить, ведь это значило, не решив ничего, вновь вернуться к мукам стыда и к самым жестоким мукам — мукам самолюбия. На это у меня не было сил. Скоропостижно я не умер. Оставалось одно — самоубийство, но я думаю, вы и сами понимаете, что на самоубийство я не способен. Господи, вся действительность,

все факты были против меня! О, если бы можно было умереть и потом снова начать жить, хоть недолго, хоть несколько дней. За смерть мне всё бы простили, главное, я сам бы простил себя, и проклятая память не жгла бы меня этими подлыми укусами уязвлённого самолюбия.

И вот не знаю, как уж это пришло мне в голову, — может быть, сила нечистая шепнула, если таковая существует, — только я так ясно, так ясно, как не всегда даже видишь в действительности, увидел такую картину. Вечерком получает телеграмму, распечатывает её и читает: «Скоропостижно скончался...»

Я не мог идти от волнения. Я видел так близко, так отчётливо её лицо, бледное, пристыженное... Она торопится, надевает шляпу, руки её дрожат. Она идёт ко мне, ей нужно увидеть меня своими глазами и тогда уже выплакать слёзы свои, вымолить прощение своё...

Эта картина решила всё. Бегом бросился я по улице, боясь признаться самому себе в том, на что я решился. Я чувствовал, что если хоть одну секунду подумаю об этом, то, может быть, и не сделаю. Между тем сделать это необходимо во что бы то ни стало. И я бежал, умышленно заставляя себя думать о другом, притворяясь перед самим собой, что случайно иду именно по тем улицам и переулкам, куда мне нужно. Но вот конец. Задыхаясь, вхожу я на телеграф и, едва владея пером, начинаю писать. Буквы прыгают в глазах моих, я делаю страшное напряжение и с трудом дописываю до конца.

В телеграмме, которую я послал, значился адрес Николая Эдуардовича и было написано следующее: «Такой-то (стояла моя фамилия) скоропостижно скончался у меня на квартире». И подпись одного нашего общего знакомого.

Я едва стоял на ногах, когда вышел с телеграфа. Всё было кончено. Жребий был брошен, и сразу отлетели все мысли, вопросы, сомненья.

Так вот, солгал я или нет?

«Воистину “странный человек”, — скажете вы, — да чего же тут спрашивать! Не то что “солгал”, а соврал са-

мым что ни на есть пакостным образом: пишет сам про себя, что скоропостижно скончался, это ли ещё не улика, это ли ещё не враньё!»

Может быть, я и странный человек. Даже наверно странный человек, потому что сам себя так называю, только всё же я глубоко убеждён, что, посылая эту телеграмму, — не лгал. Я, конечно, не знаю, каким это словом назвать, только тут было нечто совсем не то, что должно называться ложью.

Видите ли, психологически, для самого себя, по всем чувствам своим, я как бы *действительно умер*. Если бы я умер и в то же время я же мог остаться жить (чувствую, что нелепость выходит, и очень хорошо знаю, что в одно и то же время не может человек и умереть, и жить, а так это говорю, для пояснения), так вот, если бы другой-то я остался бы жив, то он, оставшийся, именно то же самое испытал бы, что и я в эту ночь.

Теперь я не умер, но разве от этого *факта* мои внутренние переживания меняются? Фальшь в том, что эти чувства не соответствуют действительности. Так что действительность лгала, не смейтесь, пожалуйста, именно действительность. В душе моей всё до каждой точки так, как будто бы я умер, а я всё-таки фактически жив. Вот где ложь. И я, заявив, что я скоропостижно скончался, если уж на то пошло, правду восстанавливал, внутреннюю правду между душой моей и действительностью.

Впрочем, всё это, конечно, малоубедительно, но всё-таки я остаюсь при своём мнении, и вы, во всяком случае, должны признать, что вопросы о лжи, о неискренности — вопросы чрезвычайно сложные, и часто человек сам не в силах ответить по совести: лжёт он или нет...

По моим расчётам, Николай Эдуардович должен был получить телеграмму часа через три.

С замиранием сердца представлял я себе всю суматоху, которая там поднимется. Николай Эдуардович, наверно, сейчас же даст знать некоторым общим друзьям. Сколько передумано, перечувствовано будет за те несколько

десятков минут, покуда они будут считать меня умершим. И какая радость, какой восторг охватит всех, когда обнаружится, что это чья-то злая, возмутительная шутка. И при одной мысли, что это окажется шуткой и что я на самом деле преспокойно жив, я чувствовал, как и меня захватывает тоже волна общей радости.

Дерзкая, но до невероятности соблазнительная мысль пришла тут мне в голову. Почему бы мне самому приблизительно к тому же часу не зайти к ним? Ведь всё равно меня разыщут. Зайти как будто бы по делу. Не застал, мол, вчера Николая Эдуардовича, и теперь, хоть это мне и неприятно после вчерашнего объяснения, но общественное дело прежде всего. Лицо у меня будет холодное и серьёзное, как у человека оскорблённого и непонятого.

Я согласен, что здесь дерзость доходила до цинизма. Не только обмануть, одурачить, но ещё придти и собственными глазами своими посмотреть, как всё это именно произойдёт. Но один ли цинизм был тут? Может быть, мне необходимо было для спасения своего окунуться в животворящий поток той общей радости, которую я предчувствовал?

Как бы то ни было, ровно в двенадцать часов я отправился.

Я был возбуждён, но в общем чувствовал себя прекрасно. Что-то молодое, почти незнакомое, а может быть, забытое звенело во мне и заставляло ускорять и ускорять шаг.

«Скорей бы, скорей!.. А вдруг не получили ещё и получают при мне или после меня? Тогда всё пропадёт. Ведь необходима хоть минута полной уверенности в моей смерти. Не лучше ли походить, покараулить на улице... Как только телеграмма будет получена, разумеется, он немедленно поедет *туда*...»

Но вдруг... Нет, я не в силах передать этой силы внезапного впечатления!.. Горячая кровь хлынула к вискам... Сердце дрогнуло и с болью остановилось в груди... ноги похолодели и стали чужими...

На лихаче, прямо мне навстречу мчался Николай Эдуардович.

Мне бросилась в глаза его сторбленная, сжатая фигура, страшное напряжение бледного и, казалось, ещё больше похудевшего лица, и главное, то, что он судорожно курил папиросу. Я знал, что он не курит.

По какому-то непонятному, инстинктивному чувству я отвернулся в сторону и с самым равнодушным видом продолжал свой путь. Даже сейчас я удивляюсь, каким образом я смог тогда разыграть свою роль! Без малейшего усилия, без малейшей выдумки я сделал именно то, что было нужно.

Но я как-то сразу почувствовал, что он меня заметил. Я услышал, как извозчик останавливал лошадь и быстрые шаги Николая Эдуардовича. Я не оглядывался и ещё свободнее, ещё естественнее делал вид, что заглядываю в витрины магазинов.

— Пойдите... слушайте... неужели... — и Николай Эдуардович крепко схватил меня за руку.

Я оглянулся и — верьте не верьте — улыбнулся ему, да, улыбнулся самым простым, приветливым образом, протянул свою руку и хотел было начать самую обыденную, спокойную фразу, которая как-то автоматически появилась в моём мозгу. Лучшее самого гениальнейшего актёра, уверяю вас... Но нервы Николая Эдуардовича не выдержали, он как-то неестественно зажал себе рот рукой и тянул меня за рукав сестры вместе с ним на извозчика.

— Расскажу... домой... — задыхаясь, говорил он.

И он рассказал мне, как получили они телеграмму, как сейчас же дали знать всем, кого только успели вспомнить, а Николай Эдуардович полетел *туда* «совершенно без памяти».

— Верочка теперь там разливается, — говорил Николай Эдуардович, весь сияя от радости и нервно пожимая мои руки.

— Но кто мог это сделать? — возмущённо-недоумевающе говорил я. — Или это непростительная глупость, или чудовищная подлость!..

И опять-таки, смейтесь сколько хотите, но клянусь вам, я действительно был возмущён и самым искреннейшим образом негодовал на кого-то. Разве не подлость, в самом деле, написать, что я умер, я!..

Но Николай Эдуардович, видимо, ещё не мог думать об этом: он слишком был потрясён метаморфозой своих чувств.

— Я думал, привидение вижу, — весь сияя, говорил он. — Верить не хотел, смотрю: живой, настоящий вы. А знаете, какая смешная мысль пришла мне в голову, когда я только что прочитал телеграмму, что, мол, это вас Бог наказал за Антихриста, помните, тогда, у Евлампия?..

Я слушал его, и чувство радости всё сильнее и неотразимее захватывало меня. Я был жив. Я воскресал из мёртвых. И мне рассказывали то, что действительно было, когда я действительно лежал в гробу. Даже последние слова Николая Эдуардовича о Евлампии тогда как-то скользнули мимо, не задев меня. Я вспомнил их только недавно.

Мы возвратились назад к Николаю Эдуардовичу. Я просидел там с час. Но за этот час я пережил такую полноту жизни, какой я не пережил бы во всю остальную свою жизнь.

Приехали все, кому только дано было знать о моей смерти. Нервно, беспорядочно рассказывали они о своих чувствах, и все сияли так, как могут сиять люди, в буквальном смысле пережившие воскресение из мёртвых своего друга, ибо некоторое время они относились ко мне абсолютно как к мёртвому.

Но, кажется, больше всех сияла Верочка. Я не ошибся в своих предположениях. За несколько минут полной уверенности в моей смерти она действительно пережила сознание своей вины, действительно поставила в связь вчерашнее объяснение с моей скоропостижной смертью. Я оказался жив, но впечатления были так сильны, что она продолжала относиться ко мне так, как будто бы я действительно умер от нравственного потрясения. Я это видел по той застенчивой нежности, с которой она ко мне отно-

силась, по тому, как вспыхивало лицо её, когда глаза наши встречались, и, наконец, по тому виноватому выражению, с которым она смотрела на меня. Всё возбуждённо-нервно радовалось вокруг меня. Я был мёртв, несомненно мёртв — и вдруг стал жив. Я буквально задыхался от прилива такой ликующей животной радости, в которой, казалось, слилась вся привязанность моя к жизни и весь ужас потерять её. Ведь я мог бы быть мёртв и телеграмма такая могла бы быть, и даже в газетах напечатали бы... Но ничего этого не случилось, потому что я жив, жив, и ещё не известно, когда всё это произойдёт. Возможность смерти была так близка, что в сравнении с ней когда-то грядущая смерть казалась вовсе не существующей. И едва ли это был не единственный момент в моей жизни, когда я абсолютно не боялся смерти.

Умилённый, растроганный, потрясённый вконец ушёл я от них.

Но, должно быть, этому дню суждено было быть счастливейшим в моей жизни.

Придя домой, я застал письмо от Верочки. Из него мне стало ясно, что весь мой стыд и муки моего самолюбия были напрасны, ибо письмо она написала, разумеется, до телеграммы о моей смерти. Форма его, может быть, и не совсем литературная, но не буду исправлять и приведу его целиком, в том же виде, как и в подлиннике:

«Дорогой друг! Прежде всего я очень прошу вас, чтобы вы на меня не сердились и не думали, что я на вас за что-нибудь сержусь. Теперь я постараюсь вам объяснить то, что чувствовала вчера. Первое и, пожалуй, самое сильное чувство — это была боязнь. Я боялась того чего-то нового и мне совершенно незнакомого, что может встать между нами и разрушить то хорошее, что было прежде. Я не вас боялась, а того, что было в вас. Несмотря на то, что я так много и читала, и слыхала о любви, то, что было в вас, показалось мне таким непонятным и таким страшным. Может быть, это глупо, но это так. Я сама как следует не могу в себе разобраться, но мне кажется, что я

более или менее верно определяю свои чувства. Потом мне пришла в голову мысль, что, может быть, это уже было раньше, в деревне; подумав, я решила, что если вы меня и прежде любили, то почему бы считать мне это дурным. Если между нами будут прежние отношения, то я чисто-сердечно признаюсь, мне совершенно всё равно, как они называются. И если ваши ко мне чувства будут выражаться так же, как прежде, так чего же нам ещё нужно? Я знаю, я могу казаться очень наивной, но я и на самом деле совсем маленькая и с этим ничего не могу поделать.

Но если к нашим отношениям примешается что-нибудь другое, то тут я вам ничего не могу сказать, ни в чём не могу разобраться, ничего не понимаю и ничем не могу помочь. Вы можете на меня сердиться, можете относиться к этому как хотите, но я, право же, ничего не могу сделать.

Я иногда бываю ужасно эгоистична, я как-то сразу забываю о том, что существуют другие люди, которые мучаются и которым я немного нужна; я тогда впадаю в какое-то легкомысленное настроение и делаю всякие глупости. Это очень скверно. Я думаю, что это пройдёт, когда я буду побольше. Но ради Бога, поверьте, что к вам я отношусь совсем не легкомысленно и страшно жалею вас и страдаю за вас. Только одно прошу: не думайте, что я могу сердиться на вас, и сами не сердитесь на вашу

Веру».

IX

НОВОЕ ОТКРЫТИЕ

Моя душевная радость была более чем кратковременна. Прежний страх и прежняя тяжесть вступали в свои права.

Больше того. Начинались новые муки, и может быть, горчайшие, которые раньше были невозможны. Найденный мною смысл жизни не спасал меня от прежних страданий. Правда, я знал теперь, что живу не для того, чтобы сгнить, но всё же я жил и не для вечности. И если моя

жизнь была нужна, то в конце концов опять-таки для той же смерти, чтобы приготовить приход её, приблизить окончательную победу в лице образа Антихриста. Моя радость на первых порах слишком была похожа на злорадство.

Таким образом, всё оставалось по-прежнему: моё открытие не спасало меня, а лишь временно одурманило своей преступностью. Отчётливое же сознание, какие именно силы владеют мной, повело к совершенно новым, неожиданным и ещё более мучительным последствиям.

Я не мог понять, что со мной делается. Жизнь становилась похожей на картину волшебного фонаря. Внесли яркий свет, и тени растаяли, нужные контуры исчезли — остались грубые, резкие черты, и хоть картина всё та же, но значение её становилось другим. Жизнь уплывала с поля моего зрения. Что-то уродливое, но знакомое и странное всё яснее и яснее выступало взамен неё. И наконец я понял всё: за обычной бестолковой стремительностью жизни я чувствовал и видел *того*, кому невидимо служат и наука, и искусство, и вся жизнь, кто с каждым часом растёт, как чудовищная личинка в теле человечества, готовая явить себя миру и беспощадно раздавить весь этот муравейник, именуемый народами и государствами.

Мне стало ясно, что во всём, что было вокруг меня, я воспринимаю лишь тот же дух грядущего Антихриста, который жил во мне.

Мне очень трудно передать вам, в чём заключалась разница и мука тех новых восприятий жизни, которые открылись мне в идее Антихриста. Для этого вы ясно должны представить себе, как смотрел я на жизнь до своей веры в Антихриста.

Я не знаю, может быть, для тех безумцев, которые верят в Христа, жизнь кажется очень странной, научная деятельность для чего-то нужной, а искусство прекрасным и великим. Но для человека трезвого тут всё представляется иначе.

Я уверен, что вы готовы воскликнуть: «Это вы-то трезвый человек?! Со всякими страхами, с манией преследования и манией величия, несчастный больной,

вообразивший себя Антихристом! Да вы или в самом деле больной, или мистик отчаяннейший!»

Но вы жестоко ошибаетесь — я именно не мистик. И в этом, может быть, самое моё большое несчастье. Я материалист до мозга костей и самый крайний эмпирик, судящий всегда по себе и признающий лишь одну истину — истину, которую даёт опыт, да ещё не всякий опыт, а именно мой собственный.

Под словом *трезвый* я разумею именно такого человека, который наконец освободился от суеверия, что деятельность человеческая зачем-то нужна, и очнулся от гипноза, во время которого какие-то сумасшедшие внушали всё время человеку, что силы в нём необъятные, что кого-то он победит, что-то сокрушит, вообще сотворит что-то необычайное. Всё это вздор. От всего этого надо отрешиться и сознать, что вся кипучая деятельность, вся лихорадка, вся изобретательность XIX века и всё тому подобное, принимаемое за прогресс в каком-то туманно-идеальном смысле, есть не что иное, как стихийное, стремительное бегство баранов к пропасти, чтобы скорее, как можно скорее, самым передовым образом упасть в пропасть и разбиться вдребезги.

Вот вы теперь и отбросьте Антихриста и рассмотрите жизнь, подобно большинству людей, как нечто самостоятельное, чем можно и должно гордиться, тогда вы сразу увидите, что изменяет вера в Антихриста.

Только вы хоть на один момент напрягитесь всеми силами своими и сбросьте с себя предрассудки, впитанные с молоком матери и вбитые всем укладом нашей жизни.

Как же, в самом деле, не поморщиться вам от нетерпения, если я заявлю: ни наука, ни философия, ни искусство за все тысячелетия ровно ничего не дали человечеству. Не думайте, что я разумею тут что-нибудь «иносказательное», какую-нибудь толстовскую мысль, что, мол, всё это не способствовало личному самоусовершенствованию. Нет, может быть, и способствовало, я уж этого сам не знаю, только что, по-моему, наука, философия и

искусство и все иные области деятельности человеческой ничего людям не дали, в самом прямом и подлинном смысле этих слов. А уж если хотите говорить про самосовершенствование, то и оно тоже ничего человечеству не дало.

Ещё раз имейте в виду, что мы рассуждаем с вами покуда как трезвые материалисты, *неверующие* в Антихриста.

Так позвольте вас спросить, что дала человечеству наука? Сначала без прикладной своей части. Наука для науки. Ну, узнали вы, что формула куриного белка $C_{204}H_{322}N_{52}O_6S_2$, а белка собачьего гемоглобина $C_{726}H_{1171}N_{194}O_{214}S_3$; что порода лакколитов относится к концу третичного периода, а зеленоватый хлоритовый гнейс и гнейсовый сланец можно считать представителем силурийских образований. Что капиталом называется: «результат предыдущего труда, направленный к дальнейшему производству», а труд «есть мерило всех ценностей, но сам он не имеет никакой цены»...

Согласен — всё это вещи, может быть, и любопытные, но какой в них толк трезвому человеку?

Так вот вы и ответьте, зачем вам знать формулу куриного белка? На этот вопрос, кроме ответа чисто женского, что, мол, «так!», я уверен, вы ничего не сможете сказать. Особенно если вы «учёный»; «учёные» на вопрос, ребром поставленный, никогда ничего не отвечают. Я не могу считать за ответ напыщенные фразы о величии науки: мой ум этим не удовлетворяется.

«Ну положим, — скажете вы, — наука для науки может *казаться* бесплодной, но практического её применения, после блестящих открытий XIX века, уж конечно, не будете вы отрицать!»

Буду, уверяю вас. И если вы действительно от гипноза очнулись, вы и спорить со мною не станете. Я просто приведу вам маленькую аналогию.

Случалось ли вам когда-нибудь видеть похороны военных генералов? Несут в роскошном гробе разлагающееся мясо его превосходительства, а впереди на

подушках ордена... Если вы видели когда-нибудь такую сцену, то неужели, глядя на побрякушки, которые, словно в насмешку над жизнью человеческой, несут *вперед* гроба; неужели, глядя на это, вы никогда не думали: всё, что даётся жизнью для тридцатилетнего нашего существования, в отношении гроба нашего есть не что иное, как такие же жалкие регалии.

Так вот, как бы вы ни называли все ваши машины «блестящими завоеваниями XIX века», я утверждаю, что всё это не больше, как блестящие ордена на подушке, которые несут с комической важностью «учёные» впереди разлагающегося тела человечества.

«Но позвольте, — раздражённо скажете вы, — не станете вы отрицать, по крайней мере, того, что наука обосновала социализм! И таким образом на *научных* основаниях воздвигнут тот идеал человеческой жизни, к которому все должны стремиться».

Признаюсь, к социализму я отношусь с отвращением по преимуществу. Ибо ваши машины, ваши научные открытия — всё это обман, обман грубый и явный, не трудно увидеть, что всё это «суета сует»; ну, а социализм — это обман ловкий, со всеми внешними признаками правды. Вера в машины покупается на деньги *эгоизма*: верь, мол, что в машинах великий мировой смысл, а мы за это тебя по железным дорогам возить будем. Здесь не то — здесь говорят: верь в то, что социалистический строй наступит и что он действительно зачем-то нужен, а пока что... заплати нам же самопожертвованием.

Помните известную карикатуру, изображающую социалистический строй: ряд одинаковых стоек, в каждом стойле стоит одинаковая свинья и ест одинаковую порцию? Очень, очень злая и очень меткая карикатура: кушайте, мол, поровну! Это ли ещё не всемирное счастье, не блестящий апофеоз блестящей человеческой истории; так сказать, корона на главу царя природы!

Я могу казаться несправедливым. Ведь, в самом деле, разве социализмом не руководят добрые чувства? Разве

не страдание и слёзы миллионов людей направляют социалистическое движение? И наконец, разве только затем должен наступить социалистический строй, чтобы всем поровну кушать было? Для социализма это первая необходимая ступень, чтобы миллионы полуживотных обратились в людей, и тогда-то начнётся самое настоящее, все будут наслаждаться искусством, все будут развивать свои духовные потребности — словом, теперь живут для хлеба, тогда начнут жить для человека.

Очень хорошо. Но моё отношение к этой «первой» ступени от таких заманчивых перспектив несколько не меняется. Мне говорят: тогда получают возможность делать всё то, что сейчас доступно немногим счастливым. Я на это отвечаю: то, что делают эти немногие счастливые, так же бессмысленно и ненужно, как бессмысленно и ненужно то, что делают миллионы несчастных. А потому, если и все начнут делать то же ненужное дело, которое теперь делают некоторые (я разумею развитие духовных богатств), то от этого ничего не изменится. Потому и ступень эту *первую*, которая ведёт *всех* к той же глупости, которой уже достигли некоторые, я считаю непростительным, гнуснейшим обманом.

Но может быть, философия была счастливее и за многие тысячи лет своего существования сделала больше?

Ведь вы тоже материалист, хотя и неверующий в Антихриста, а потому разговор о философии у нас будет краток, и вы вряд ли станете защищать её.

Что, в самом деле, может быть нелепее философии, которая несколько тысяч лет «разрабатывает» самые что ни на есть жгучие вопросы: вопросы о смысле жизни и о том, что такое человек, — и за все тысячелетия ничего умнее не выдумала, кроме того, что «бытие не есть бытие чего-нибудь, а потому бытие есть ничто»!.. Вот белиберда, в которой вся сущность философии, изобрести которую были призваны так называемые гении: Платон, Аристотель, Декарт, Кант, Гегель и т. д.

Об искусстве распространяться нечего. Вы как материалист понимаете, что оно есть не что иное, как отражение жизни, — но очевидно, если не нужна наша жизнь, то тем более ни на что не нужно её отражение.

Вот-с как должен рассуждать неверующий трезвый человек. Я именно так и рассуждал прежде. Жизнь для меня была сплошным мучительным хаосом без всякого назначения и смысла; культура, созданная такими усилиями и жертвами, — жалкою и смешной, а люди, спешащие в течение несчастных двадцати пяти-тридцати лет, которые им бросила природа, натворить как можно больше всяческой пользы, неизвестно зачем и для кого нужной, всегда вызывали во мне презрение и злость.

Мой Антихрист раскрыл мне глаза. Я знал теперь, зачем всё это нужно. Я понял великий смысл и науки, и философии, и искусства. Оставаясь материалистом, но узнав Антихриста, я уже понимал, что ребяческое упорство идти против очевидности и объяснять великое значение жизни фразёрством недостойно трезвого человека.

Значение науки страшно важно. Нужно скорее, как можно скорее, всю природу осмотреть в микроскоп; всё взвесить, всё измерить, всю её ощупать и отпрепарировать. Философствовать ещё более того необходимо, чтобы до мельчайших чёрточек узнать силы, способности нашего разума, чтобы всё, что только доступно нам о нас самих, всё это документальнейшим образом обосновать, в систему возвести. Искусство тоже важно, чтобы человеческая жизнь вся, как на ладошке, была для всех ясна.

И всё это нужно, и всё это страшно важно, всё это действительно имеет громадное, мировое значение, и человечество действительно уже многое на пути этом сделало — и всё это для того, чтобы, извините за выражение, стукнуться об стену лбом.

Вы недоумеваете? Да, я благоговею перед наукой за то, что она ощупает всё до конца и скажет: всё это очень просто, всё это «комбинация атомов». Я обожаю философию за то, что она причудливейшими изворотами ума

наконец всё испробует и скажет: ум наш — самая несовершенная машина из всех существующих. А перед искусством я благоговею потому, что оно отразит всё это в громадной, душу потрясающей картине и всем сразу передаст то отчаяние, которое переживут немногие.

И тогда... тогда весь мир упрётся в стену. Уж никаких вопросов не останется, и для последнего ребёночка станет ясно, что дальше стена.

Вот то новое — то, что с небывалой силой начинало меня мучить и заключалось в ощущении этой стены. Всюду, в каждом ничтожном явлении, я чувствовал её близость. Первое время, я должен признаться, меня занимало это новое чувство. Мне доставляло какое-то ребяческое удовольствие видеть, как двое каких-нибудь прохожих спорили, горячась и жестикулируя. Мне казалось: вот, вот сейчас они обязательно упрутся в стену и, растерянные, жалкие, опустив руки, будут смотреть друг другу в глаза, не в силах выговорить слова...

На публичных лекциях, когда какой-нибудь учёный муж, с взъерошенными волосами и развязными движениями, говорил с нахальной смелостью: «Господа, в этом явлении нет ничего необычайного — это *просто* гипно-тизм...», я чувствовал, что он вот-вот упрётся в стену и вместо того, чтобы продолжать лекцию, жалко улыбнётся и как виноватый скажет: «Господа, как же это?..»

Когда я получал толстые журналы и начинал читать озабоченно-деловитые статьи о том, сколько масла было вывезено в Англию за 19** год, для меня не подлежало никакому сомнению, что насчёт масла — это «так себе», а самое важное, что даже неприлично в журнале писать, да и чего автор, может быть, сам ещё не сознаёт, самое важное — это то, что ещё немного, ещё маленькое усилие, и он достанет наконец лбом так долго желанную стену...

И я был доволен. Меня занимало, что за пёстрым калейдоскопом жизни я вижу неподвижную, мрачную стену, к которой все так стремительно несутся.

Но очень быстро эта постоянная стена перед глазами, каждое движение собой сопровождающая, начала мучить и самого давить своей тяжестью. Хотелось хоть на миг освободиться от неё. Но напрасно: стена выплывала, как привидение, решительно из каждой мелочи, и от неё веяло на меня духом Антихриста.

По ночам я внезапно просыпался, и воображение моё быстро-быстро начинало работать, картины одна за другой как вихрь неслись передо мной, хотя я делал невероятные усилия остановиться, чтобы размышлять, не торопясь и не волнуясь.

Всё, что делается на земле, мне хотелось представить и охватить разом, со всеми мельчайшими, неуловимейшими подробностями — во всех странах, у всех народов, и в диких лесах, и в знойных пустынях. Напряжение становилось выше физических сил. Холодный, больной пот выступал на лбу. И я чувствовал, что вся жизнь, каждое дыхание человеческое, начиная с якута, в полузабытьи спящего у костра, кончая сладким шёпотом влюблённых где-нибудь на берегу южного моря, — всё каким-то чудесным образом действительно начинает отражаться в моём сердце и что я принимаю в душу свою всю силу живущего в мире Антихриста, и, почти теряя сознание от сотрясения, впадал в полусон, с тем, чтобы через час снова проснуться от какого-то внезапного толчка и снова до изнеможения думать, думать и думать...

С каждым днём, можно сказать, с каждым часом, я всё сильнее ощущал, что *вне* меня невидимо разлита во вселенной та же тяжесть, та же мучительная тоска, то же дыхание смерти, что и во мне самом.

А внутри меня всё торопливее и торопливее шла какая-то работа.

Не только мысли мои, моё воображение болезненно ускоряли свою деятельность, до мучительной торопливости, с которой я не в силах был справиться, — эта же торопливость переходила в действие. Я не мог просидеть двух минут на одном месте, не двигаясь и не торо-

пясь куда-то. Меня тянуло всё вперёд... и вперёд. Я до изнеможения ходил по улицам без всякой видимой цели, обессиленная, с тоской необычайной, с нервами вконец натянутыми, но лишённый воли не идти, не торопиться, отдохнуть, задержать волей своей ту чудовищную стремительность, которая толкала меня вперёд.

«Вот ещё до той только витринки дойду, посмотрю, что там, и тогда уже домой пойду», — говорил я себе. Я доходил до витрины какого-нибудь чулочного магазина, а спех мой от этого только разжигался. Я делал вид, что совсем не о той витрине говорил, и стремительно ускорял свой шаг.

Приходя домой в тихую комнату, я, казалось, успокаивался; слабость разливалась по всем членам, сладкая истома туманила глаза, хотелось спать... Но всё это разом, по мановению исчезало — я судорожно хватался за шляпу, насилие удерживался, чтобы снова не бежать на улицу, и, несмотря на усталость и совершенное нежелание своё двигаться, начинал, всё ускоряя и ускоряя шаг, ходить из угла в угол своей маленькой комнаты, пока головокружение не сваливало на кровать. Но даже в самом головокружении моём проклятая торопливость не оставляла меня, и, как в полусне, в мозгу моём неслись клочки пережитых впечатлений, и я, изнемогая совершенно, чувствуя себя больным и разбитым, беспомощно отдавался их власти.

Ночи проводил я как в лихорадке, теряя грань между сном и действительностью, а утром, притворяясь, что иду за хлебом, спешно надевал пальто, и на целый день начиналось то же.

Каждый раз мне казалось, что дальше так нельзя, что ещё хоть на йоту усилится во мне это чувство, и я сойду с ума. Но торопливость ещё ускорялась, я это ощущал ясно, и всё-таки с ума не сходил, только руки мои начинали неприятно трястись и на голову словно кто-то паутину накладывал.

Я не знаю, чем бы это наконец кончилось, но одно незначительное происшествие придало всему совершенно неожиданный оборот.

Х

АНТИХРИСТ В РОЛИ СПАСИТЕЛЯ ОТЕЧЕСТВА

Рядом с моей комнатой, за стенкой, жила какая-то прачка с маленькой худенькой девочкой Катей.

Я не люблю детей, меня раздражает их тупая, животная беззаботность. Меня нисколько не умиляет, когда какой-нибудь пятилетний малыш преспокойно расправляет у мертвеца пальцы и смеётся, что они не двигаются.

Терпеть не мог я и Катю. Она, должно быть, инстинктом чуя, тоже меня боялась.

В моей комнате было слышно всё, что делалось за стеной. Меня это не раздражало. Я не мог равнодушно слышать только Катин смех. Но она, правду сказать, смеялась редко.

Однажды вечером, измученный до последней степени своей проклятой нервной беготнёй по улицам, я лежал на постели, казалось, неспособный ни на какое чувство.

За стенкой происходило что-то необыкновенное.

— Папка, дай карандаш, — плачущим голосом говорила Катя.

— Дура, — запинаясь, хрипел в ответ мужской голос, — так разве просят, спроси как следует: папочка, мол, скажите, пожалуйста, вы не знаете, где мой карандашик?

Катя заплакала.

Облокотившись на локоть, я стал вслушиваться. В слезах есть большой соблазн. Подмывает этак поприбавить ещё обиды, чтобы всё тело, каждая жилка бы трепетала от неудержимого горя. Меня разжигало тяжёлое, непре-

одолимое чувство, убийственное, как яд. Мне и жалко было её, уверяю, жалко было до слёз за такое издевательство над ней, но вместе с тем жадно хотелось, чтобы за стеной совершилось что-нибудь ещё грязнее, ещё бесчеловечнее.

— Скажи, скажи, переломи себя, — раздражённо приставал отец.

— Ну скажи, Катя, — проговорил слабый женский голос.

— Разве она скажет... Три года жили одни, делали, что хотели... У проклятая! — крикнул он, сразу приходя в ярость. — Дьяволы, переломи, говорю, себя!.. Не хочешь, не хочешь!..

Судорога теснила мне грудь. Зуб на зуб не попадал от лихорадочной дрожи. Я почти не владел собой.

— Ещё!.. Ещё!.. — обезумев, шептал я, чувствуя, что ещё одно слово, одно движение за стеной, и я упаду в обморок.

— Не хочешь, — уже с каким-то злорадством хрипел за стеной голос.

— Папка... я... я не буду... папка, — торопливо залепетала девочка.

— Нет, врётся теперь...

Раз, два... раз, два... Едва внятные удары по голому телу долетели до моего сознания. В исступлении рванулся я с постели и вбежал туда...

Высокий рыжий мужчина держал трепетавшую от страха и слёз Катю, зажав коленями, и со всего размаха бил то по одной, то по другой щеке.

— Не смейте, слышите... Я вас задушю!.. — в бешенстве крикнул я, выхватив девочку за руку.

Высокий мужчина встал, улыбнулся и заморгал глазами.

— Я, собственно, для её же пользы, — пробормотал он, — потому, три года...

Но я уже не слышал его... Я бросился вон на улицу. Без памяти перебежал несколько раз с одной стороны

на другую. Черта была уничтожена. Всё во мне было само по себе. Я сознавал одно: надо уйти! Куда-нибудь, как-нибудь, неизвестно зачем, но уйти, уйти, во что бы то ни стало! В совершенном исступлении, задыхаясь от нервных спазм, сам не зная куда, летел я по тусклым туманным улицам. Мерещилась холодная, бесстрастная река, с суровыми полузастывшими волнами; вечное безмолвие, страшное упокоение. Бесстрашный образ с дьявольской силой притягивал к себе и предчувствием покоя наполнял мою грудь...

Вдруг почти лицом к лицу я столкнулся с Родионовым — это был мой товарищ по университету, болгарин.

— Здравствуйте, — сказал он, крепко стиснув мою руку.

— Да-да, здравствуйте, — пробормотал я, рванувшись дальше.

Но он удержал меня.

Почему я его встретил? Именно его и при таких обстоятельствах?

Глупый вопрос, скажете вы: случайность и больше ничего. А что такое случайность? Видите ли, я не то что фаталист, но иногда, когда что-нибудь совершается очень неожиданное, совсем что ни на есть случайное, мне начинает казаться, что это не случайность какая-то там, а именно то самое, что должно было случиться, что я даже знал, что это случится, и что всё, что я затем делаю, уж не я делаю, а так, как тому положено быть.

— Странная встреча, — нервно усмехаясь, сказал я.

Встреча действительно была какая-то необычайная. У меня даже мелькнула мысль: не галлюцинация ли это?

— Странная встреча, — снова повторил я, пугаясь своего голоса и чувствуя, что на глазах моих выступают холодные слёзы.

— На вас лица нет, — шёпотом сказал Родионов, не выпуская мою руку.

— Я не здоров, но и вы... вас узнать нельзя.

К величайшему моему изумлению, нижняя челюсть его начала вздрагивать, глаза стали странно-узкими, и звук, похожий на сдавленный смех, шипя вырвался из его груди.

— Позвольте, вы расстроены... может быть, хотите пройтись, — забормотал я.

Но он, не двигаясь с места и, видимо, делая страшные усилия овладеть собой, совершенно чужим голосом сказал:

— Я сейчас получил письмо... мой брат, помните, Георгий, убит в Македонии турками.

Ни один нерв не дрогнул во мне. Словно всё это было именно так, как я ожидал. И совершенно для себя неожиданно, как заводная кукла, я проговорил:

— На днях я тоже еду в Македонию.

Родионов вскинул на меня глаза, схватил за плечи и что-то хотел сказать, но не мог.

— Знаете, заходите завтра ко мне, — сказал я.

Его присутствие тяготило меня. Мне нужно было остаться одному.

— Хорошо.

Он тиснул мою руку и исчез так же быстро, как и появился.

Встреча с Родионовым совершенно потрясла меня. Георгий, задумчивый, нежный, с лучистым взглядом, убит! Сколько невыносимого, безобразного содержания в этом слове. Схватили за горло. Прижали коленкой в живот и всунули, как в рыхлую землю, нож в живое мясо. И ужас, и боль, и отчаяние! А в последнюю секунду, в последнюю терцию чего-то такого, что называется «жизнь», мелькнула, наверное, мысль о родной семье, о тёплой знакомой комнате, письменном столе с полуразбитой чернильницей, которую подарил брат Коля... и турок ничего этого не чувствует, не знает... темно и... смерть!

О, это проклятое, гнусное слово; всякий раз, когда оно мелькает в моём мозгу, мне кажется, что я и сотой доли не

выразил того, как боюсь и ненавижу его. И вдруг я еду в Македонию, бороться за чью-то чужую свободу! Я, отдающий свою жизнь за счастье других, я в роли спасителя отечества — что может быть смешнее и нелепее этого?

Если вы спросите меня, с чего я выдумал эту новую ложь, я не отвечу вам. Мне, при всей моей откровенности, часто невысказанно бывает ответить на вопрос. Не думайте, что тут какая-нибудь бессознательная психология или что-нибудь в этом роде. Просто, можно сказать, никакой нет психологии. Сплошь и рядом я выпаливаю совершенно неожиданные вещи буквально как автомат и только потом соображаю настоящий их смысл и значение.

Не раз со мной бывали такие случаи: идёшь по улице, вдруг кто-нибудь спросит: «Скажите, пожалуйста, как пройти на такую-то улицу?» — «Это вам налево», — предупредительно и неожиданно для себя говорю я; и в то же время чувствую, что делаю какую-то нелепость, потому что улица, о которой меня спрашивают, совершенно мне неизвестна.

Нечто подобное случилось и с Македонией. Клянусь, у меня не было никаких, ни злых, ни добрых, намерений сказать эту ложь. Сказал, а зачем, почему — не знаю!

И всё-таки... всё-таки в Македонию я поехал!

Выдумка, фантазия, литературные эффекты! О, господа, я вместе с вами в безумном веселье стал бы хохотать над собой, если бы это было так. Но я странный, очень странный, необычайно странный человек, и это со мной случилось. Я сам спешу согласиться, что это почти неправдоподобный случай, почти гнусная выдумка, но всё проклятие-то и заключается в этом маленьком словечке «почти». Оно невидимо, как паразит, прилепляется к каждому человеческому слову.

«А кто нам поручится, — скажете вы, — что всё сейчас здесь написанное правда? Если вы такой странный человек, вы, может быть, и в самом деле всё это врёте, так себе, сами не знаете зачем?»

Если бы вы сейчас видели моё лицо, то вы знали бы, что я тоже смеюсь вместе с вами, потому что такая мысль очень, очень смешна и совсем даже не обидна...

Но буду рассказывать по порядку.

Не прошло и получасу, как я совершенно незаметно для себя очутился в Македонии, с отрядом инсургентов. Чудеса храбрости совершает наш отряд, а я всюду первый, у всех на виду, пули свищут вокруг меня, но я неустрашимо мчусь вперёд, и турки бросаются врассыпную...

Человеческая душа представляет из себя самый возмутительный сумбур. Я тут же умудрялся воображать себя и турком, который врывается в болгарскую деревню, загоняет всех женщин в церковь, и начинается потеха. Говорю это между прочим, для курьёза.

А главное — возвращение в Москву: разговоры, распросы и то высшее уважение, которое всегда чувствуется само собой в тоне голоса, которым говорят, в выражении глаз, которыми на тебя смотрят.

— Странное впечатление производит свистящий звук пули, — буду рассказывать я, — впечатление какой-то тоски, не то это в тебе, не то около тебя, и так жалко-жалко делается чего-то.

И я задумаюсь, точно вспоминая, и все задумаются.

— Теперь я только узнал окончательно, — тихо скажу я, — что христианство действительно спасает от страха смерти. Раньше я был уверен в этом без опыта, но теперь, положив руку на сердце, могу сказать, что ни малейшего страха не испытал я, несмотря на полное сознание того, что достаточно на вершок взять вправо, и пуля попадёт в сердце.

И снова все задумаются, и жутко станет за прошлое, и радостно, что ничего такого не случилось, и я, герой, так просто говорящий о своих подвигах, снова среди своих друзей.

Мечты были так соблазнительны, так реальны, что невольно вставал вопрос: почему бы не поехать?

Я сейчас же предвижу ваше недоверчивое замечание: каким же образом, при вашей боязни смерти, вам

могло придти в голову, не в мечтах, а в действительности, ехать туда, где свищут пули?

Ваше замечание совершенно справедливо, и, как всегда, моё единственное оправдание в том, что я странный человек.

Видите ли, мечтая сначала как о чём-то совершенно несбыточном, а потом задав себе вопрос, почему бы этому и не быть, я *ни одной минуты* не сомневался в том, что *ни малейшей* опасности себя не подвергну. Я не знал, как именно всё это сделаю, как я умудрюсь съездить в Македонию и вернуться оттуда героем, ни разу не подвергнувшись опасности, но я внутренне уже решил, что это как-то возможно, что я всё это сделаю. Мне даже думать не хотелось, как именно всё это я устрою. Даже больше: такие мелочи способны были лишь расхолодить меня.

Таким образом, опасность меня не пугала нисколько. Но что, кроме этого, могло удерживать меня дома? Ничего. Даже больше, такая поездка меня выбрасывала из колеи, а это опять-таки для меня было одно из необходимых условий, чтобы выйти из того ужасного психического состояния, в котором я находился последние дни.

Я знал, что через Родионова дня в три все мои знакомые узнают о моём отъезде. Мысленно я не говорил себе «я еду», но очень хорошо чувствовал, что вопрос решён и что всё сделается само собой.

Когда теперь я вспоминаю то время и всю эту странную до нелепости поездку, мне страшно хочется узнать, случалось ли и с другими что-нибудь подобное? Во мне многое есть такое, что, я уверен, не есть моё исключительное достояние. Но вот насчёт этого я не знаю.

Не думайте, что это праздное любопытство. Знаете, я уверен, что в таких фактах больше всего выражалась моя «трупная» психология: нужно совершенно потерять всякую жизнь, чтобы какие-то силы могли так качать из стороны в сторону человеческую личность. Вот я и хотел бы знать — ведёт ли трезвость взглядов к такому без-

умному качанью всякого? Если да, то, Боже, какой хаос ожидает жизнь в недалёком будущем, даже думать смешно!

XI

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?

Я очень хорошо помню лицо Верочки, когда она отворила дверь и почти шёпотом сказала, не глядя на меня:

— Здравствуйте.

Она уже слышала о моём отъезде. Я это знал и пришёл с ней попрощаться.

Я расскажу вам, как умею, о том, что произошло в этот памятный вечер, но сумею ли передать самое важное, вскрыть самую главную черту того, что произошло, этого я не знаю. Вообще, чем глубже я вникаю в самого себя, тем яснее чувствую всю неуловимость самых основных начал психической жизни. Остаётся говорить о фактах жизни, а чуть захочешь заговорить об их источниках, сейчас же упираешься в загадочнейшее слово «индивидуальность».

Это альфа и омега всего.

С первого же взгляда на Верочку я заметил в ней что-то особенное.

Теперь, когда я вспоминаю её глаза, сиявшие какой-то скрытой радостью, непривычно сдвинутые чёрные брови и нежно-розовые полудетские губы, мне хочется безумно рыдать, не знаю от чего — от нестерпимой жалости или от ужаса перед всем случившимся много спустя после того далёкого вечера. Но тогда, о, тогда я не был так сентиментален, и хотя я не понял причин её перемены, но инстинктивно чувствовал неприязнь к ней.

Она молча провела меня в свою комнату, так похожую на детскую, маленькую, уютную, тихую, усадила на диван, с какой-то новой для меня заботливостью и с необычайной неловкостью движений.

— Вы едете... я слышала, — отрывисто сказала она.

— Да, еду.

Мы помолчали.

Опять начиналась ложь — явная, несообразная ни с чем и, вместе с тем, верьте мне, так бесконечно похожая на правду! Судите меня, как хотите, но опять я буду клясться вам, что, сидя в «детской» Верочки, зная, что она видит во мне героя, едущего в Македонию умирать, и не только не разубеждая её в этом, а наоборот, разыгрывая комедию, рисуясь, если хотите, своим несуществующим благородством, — я искренно трепетал весь от тех чувств, которые были бы совершенно такими же, поезжай я в Македонию на самом деле.

— Я не понимаю вас, — каким-то бессильным шёпотом говорила Верочка, — зачем... почему в Македонию, разве здесь нельзя?.. разве здесь мало дела?..

— Если бы вы знали, что делается в Македонии, вы не сказали бы этого, — с искренним упреком сказал я.

— По-моему, вам ехать умирать в чужую страну — это... это подлость!

Слова её вырвались с внезапной неудержимой силой, и столько было в них напряжённой жгучей ненависти, что я совершенно растерялся.

Секунду, одну только секунду, мы в упор смотрели друг другу в глаза и, как по уговору, оба встали со своих мест.

Я не узнавал Верочку. Бледная, суровая, со сжатыми плотно губами, она была так нова, взрослая, сильная. Мне стало жутко; между нами начиналось нечто такое сложное, роковое, чему я, слабый, растерянный, помешать был не в силах.

— Вы не понимаете меня... вам очень стыдно говорить так, — начал я, чувствуя, что медленно, мучительно краснею.

— Вы едете туда напоказ! — в каком-то исступлении, задыхаясь, кричала она мне прямо в лицо. — Напоказ! из самолюбия, тщеславия — вы жалкий, ничтожный

урод... помните, как тогда... Это тогда вы о себе говорили, я отлично понимаю теперь... Это у вас в душе такая грязь, такая мерзость...

— Послушайте... замолчите... это ложь!..

— Ложь, ложь? — сверкая глазами, с истерической усмешкой спрашивала она меня в упор.

— Ложь! — почти кричал я.

— Так зачем же вы едете? — неожиданно мягко дрогнувшим голосом сказала она. — Ну зачем, что вам Македония? Нет, у меня голова кругом идёт.

Я ничего не понимал. Смутно, по-прежнему с неприязнью, я не то чтобы догадывался, а как-то предчувствовал глубоко скрытую причину совершенно неожиданных выходов Верочки.

— Я не могу жить здесь, когда эти зверства, эти нечеловеческие зверства там, в горах — за несколько сотен вёрст...

— Что же вы, спасать пойдёте?

— Да...

— Хотела бы я вас посмотреть в полном вооружении, — с коротким злобным смехом сказала она.

Я молчал.

— Что же вы молчите... Говорите, что вы меня любите, что вы умираете от отчаяния, покидая меня, что вы обо мне будете думать всю дорогу, и когда вас будут мучить турки, вы будете думать обо мне, обо мне одной. Ну говорите же, говорите!..

— Верочка, что с вами, успокойтесь, — бормотал я, в изумлении смотря на неё.

— Отвечайте мне, понимаете ли вы, как вы смешны, худой, узкогрудый, с больным лицом, усталыми глазами, в воинских доспехах с саблей, револьвером, винтовкой? Вы карикатура... вы...

Послушайте, вы способны оскорбить, — внезапно приходя в прежнее почти истеричное состояние, прокричала она. — Или вы Христосик всепрощающий... Так знайте же, что я ненавижу, ненавижу вас всеми силами души!

— В таком случае мне остаётся... — Я повернулся, чтоб идти.

— Постойте... Ради Бога, скажите мне, только так, чтобы я поняла вас, почему вы решили ехать?

Я остановился.

— Я не знаю, сумею ли я объяснить. Ведь Македония... Балканский полуостров... Болгары... турки... всё это такие далёкие безжизненные слова... Но представьте себе всех этих болгар такими же живыми людьми, как мы с вами... Лица у них открытые, добрые, чисто славянские. Ребятишки бойкие, весёлые... Так вот, видите ли, пусть это не Болгария, не Македония, а Тверская и Московская губернии. Только представьте себе это ясно, отчётливо. Пусть обещана девушка не какая-то там болгарка, а ваша сестра, пусть по деревням на копьях носят не каких-то македонцев, а ваших братьев, Николая Эдуардовича. Не думайте, ведь и у них бывают братья, сёстры, невесты. Заполните, Бога ради, эти мёртвые картины живыми образами, представьте себе несчастную страну, сжатую со всех сторон грубой варварской силой, терзаемую до издевательства; обиженных, обещенных людей, которым не к кому обратиться за правдой, — и вы поймёте, что нельзя жить, когда всё это творится на земле, жить, не бросившись туда, хотя бы затем, смейтесь сколько хотите, чтобы целовать ноги так страдающих людей...

Я замолчал. Я был уверен, что, как тогда, перед нашим объяснением, она поддастся моей власти. Я ждал, что она в раскаянии, со стыдом будет молить меня о прощении.

— Я вам не верю, — едва внятно произнесла она.

Я молча повернулся и пошёл прочь.

Но Верочка быстро встала между мной и дверью.

— Уходите? — как в ознобе, дрожа всем телом, совершенно чужим голосом сказала она.

— Вам будет стыдно...

— Хорошо, идите. — Она отворила передо мной дверь. — Только знайте... — И наклонившись ко мне, так что лицо её скользнуло по моей щеке, неслышно, одними губами она прошептала какое-то слово

Я не расслышал, но понял его.

Я нелепый, дикий, а не «странный» человек! Любовь выражает человеческую личность! Ну, а что такое любовь-то! Поцелуи, объятия, сладкие улыбки. Или, может быть, любовь — это мучительство, это потребность бить, терзать, издеваться? Я не знаю, что такое любовь, и думаю, что люди выражаются не столько в любви, сколько в том, что они *называют* любовью. Для одного любовь — это полнолуние с соловьём, для другого — слёзы, кровь, неистовое безумие, а для третьего любовь — *от-вращение*. Не верите, думаете, автор на фальшивые психологические тонкости пускается? О, я насквозь вижу всю суть «обыденных» рассуждений, которые так же далеки от жизни, как египетские пирамиды. Но если вы до сих пор верили мне и хоть сколько-нибудь понимали мои странности, то поверьте и этому.

Неожиданный, застенчивый, почти детский шёпот Верочки о любви меня, странного человека, не наполнил ни блаженством, ни страстью. Испугом и холодом вошли слова её в моё сердце. Но я, автомат, мёртвая форма мёртвой жизни, мог ли я, как на каких-то пружинах, не обнять её, не прижать к своей груди, словом, не поступить как влюблённый? И я всё это сделал порывисто, страстно, как полагается, сделал механически, не думая, если хотите, не притворяясь, а как-то само собой — в то время как на душе, кроме тяжёлого непонятного испуга, ничего не было.

Я прижимал её к себе и чувствовал, какое худенькое у неё плечо, как вздрагивает её тело. Она в полузабытьи говорила что-то, пряча от меня своё лицо, которое я с холодом на душе и страстью в движениях искал своими губами.

Она быстро откинулась от меня, обвила мою шею руками и крепко поцеловала. Чувство, похожее на физическое отвращение, внезапно кольнуло меня, ведь это лицо — обтянутый череп, тело это — мясо, говядина. Целовать, любить, ласкать труп: что может быть противнее, страшнее этого? Мне почудилось, что сквозь платье я ощущаю её холодное от волнения тело, противное, мягкое.

И в бешеном порыве я обнял её за плечи и стал целовать без конца её мёртвое лицо, её чёрные глазные впадины, её холодные восковые руки! Что это было? Любовь? Ненависть? Отвращение? Или и в самом деле безумие «странного человека»? О, говорите скорее — безумие, ведь это так удобно, так разом решит всё.

Как хотите называйте, но таких мук, такого, всё существо потрясающего, исступленья — я не хотел бы здоровым людям...

Мёртвый человек и мёртвая любовь. Так мне и нужно. Я ушёл измученный, ушёл и, как тогда, после первого объяснения, проходил по улицам целую ночь.

Угадайте, о чём я думал? О смерти? Нет, на этот раз ошибаетесь. Понимайте как знаете, только всю ночь, изнемогая от волненья, я купался в сладостных грёзах и, вспоминая каждую черту своего любовного объяснения с Верочкой, её фигуру, её глаза, мягкие волосы, худенькие плечи, я мысленно предавался разнузданнейшим, преступнейшим наслаждениям.

Литературный эффект, не правда ли?

ХII

ПРОВОДЫ

Почти все знакомые съехались на вокзал провожать меня. Настроение было торжественное, благоговейное. Видимо, у всех была одна мысль: он герой, он едет умирать за других, насколько же он лучше нас.

Над всеми высоко возвышалась сутуловатая фигура Николая Эдуардовича, который, кажется, один сиял тихой радостью и смотрел на меня без всякого особенного почтения, но с нежной любовной лаской. Впереди всех, у самого вагона, в упор глядя себе под ноги, стояла Верочка. Говорили вполголоса, и как-то странно было видеть тихую, задумчивую толпу людей, когда кругом торопились, бегали, шумели.

Я чувствовал себя необыкновенно мягким, растроганным, но на душе всё-таки было не легко. Я ничего не стыдился. Но что-то ненормальное во всём этом странном отъезде безотчётно тревожило меня.

Минутами, как искорки, вспыхивали во мне странные до дерзости мысли: а что, мол, если сказать: «Надул я вас всех и вовсе в Македонию не собираюсь»... Взять да у всех на глазах и сказать Верочке какую-нибудь циничность...

Я рассеянно смотрел на стоявших передо мною людей и воображал, как уйдёт поезд и они медленно, с тяжёлыми думами будут расходиться по домам.

После второго звонка я стал прощаться. Я заранее, ещё дома, решил поцеловаться с Верочкой последней. Я не знаю, почему так решил. Весьма возможно, что в этом опять-таки сказалась моя любовь разыгрывать чувствительные комедии. Разве не трогательно, в самом деле: он, герой, с задумчивым взором, едет умирать за свободу, бросает привычную жизнь, друзей, любимую девушку, и вот она приехала на вокзал, никто не знает об их любви. Скрывая волнение, он целует её последнюю, чтобы ярче сохранить в памяти последнюю ласку, которую, быть может, никогда больше не суждено повторить.

Я поцеловал Верочку с невольным волнением. Губы её дрогнули, и холодная маленькая ручка до боли сжала мою руку.

Я встал на площадку вагона. Поезд вздрогнул и нехотя пополз мимо платформы. Глубоким, задумчивым взглядом

обвёл я всех провожавших меня, медленно снял шляпу и низко-низко поклонился. Всё это я уже раньше придумал, заранее решил до малейшей черты, как всё это будет, и теперь воспринимал происходящее как третье лицо.

Торжественная, хорошая была минута!

Я стоял на площадке, покуда не скрылся из глаз последний электрический фонарь. Не хотелось идти в вагон — это бывает так: ещё тяжёлое настроение не охватило душу, а уже есть какое-то предчувствие, что когда сделаешь то-то и то-то, ну, хоть ногу на ногу положишь, то обязательно начнётся, а покуда не шевелишься — ничего.

Но становилось холодно, и я вошёл в вагон, тёмный, душный, почти пустой. Я сел на диван и внезапно почувствовал себя слабым, разбитым, маленьким и, главное, совсем-совсем ненужным. Изо всех углов вагона, словно пользуясь моей беспомощностью, стали выползать далёкие воспоминания, забытые чувства, а главное — вопросы и вопросы без конца; я даже не признавал их вполне отчётливо, а так, всем существом чувствовал, что нужно на что-то обязательно, неотложно ответить...

У меня сохранилось из раннего детства одно чрезвычайно трогательное воспоминание. Мне было тогда, должно быть, лет пять. У соседей умер мальчик, такой же маленький, как и я. Помню, это было весной, цвёл жасмин. Маленький гробик весь убрали цветами. Когда его несли, я всё время придерживал за металлическую ручку, она была холодная, и мне почему-то казалось, что она тоже мёртвая. Долго после этого у меня была странная потребность играть в похороны. Я сделал себе куклу, положил её в ящичек, убрал жасмином и ходил далеко по дорожке в парк зарывать её под густой, тенистой липой. Я не любил, когда это видели другие, и всегда неудержимо плакал над своей игрушечной могилой. Весьма возможно, что тут и тогда уже было не столько любви к покойному, сколько жалости к самому себе.

Я не знаю, почему мне вспомнился в вагоне этот факт, но никогда, кажется, воспоминания о нём так больно не ударяли по моим нервам. Чтобы скрыть своё волнение, я встал и прижался головой к чёрному окну и сейчас же по какому-то инстинкту, должно быть, самосохранения, заставил своё воображение обратиться на македонских женщин. Уж я лучше не стану писать, до каких фокусов я доходил в своих мечтах, что делал я с ними и что заставлял делать их, и хотя я убеждён, что и вы тоже падки до таких картинок, но всё-таки к чему же «оскорблять» ваше «нравственное чувство»? Я мечтал, волновался, плакал — а поезд нёс меня всё дальше и дальше. Куда? О, теперь я уже знал, куда.

Дней через пять после своего отъезда я сидел в маленьком грязном номере «Русской» гостиницы в Софии и писал Верочке следующее письмо:

«Завтра я отправляюсь с отрядом инсургентов к сербской границе. Турки задерживают всех подозрительных людей, и потому мы перейдём границу пешком. В начале декабря здесь устанавливается очень суровая зима, и тогда всякая деятельность временно прекращается, таким образом, если до февраля я не возвращусь, значит, я не вернусь вовсе. Я знаю, вы поверите, что смерть меня не страшит, ибо смерть — не страшное, а великое слово. Я не хочу умирать, но дело тут не в боязни. Я не хочу умирать, потому что чувствую свой жизненный путь непройденным, силы — ещё неразвившимися, задачи — неосуществлёнными, а между тем иной раз такое страстное желание охватывает душу поднять жизнь на должную высоту. Не хочу я умирать ещё и потому, что у меня не погасла надежда и на личное, эгоистическое счастье, которым я не избалован, — и когда я думаю о том, что через две-три недели, быть может, меня и не будет, мне самому хочется плакать над собой.

Что же сказать бы вам на прощание? Просить помнить обо мне, если со мной что случится? Но разве это нужно? Ведь есть вещи, которые не забываются, а потом — пусть уж лучше мертвецы хоронят своих мертвецов. Если в моей жизни что-нибудь было достойно подражания и какая-нибудь идея достойна памяти — пусть они не умирают в вашей памяти, ну, а сам я — пустая форма.

А сказать на память что-нибудь хотелось бы. Есть одна идея, избитая до того, что потеряла свой жизненный смысл. Но я постоянно твержу её и себе и другим. Нужно любить людей. Только любить нужно конкретно и пламенно. Нужно помнить, что они мучаются и страдают так же, как мы с вами, все они нуждаются в участии, и потому личная жизнь должна определяться стремлением не к личному счастью, а к общественному благу. Это моё credo.

Прощайте. Не мучайтесь очень, если что случится. Умрём — увидимся — я верю в это. Знайте только — как бы ни мучили, как бы ни терзали меня турки, я умру, думая только о вас. Это я пишу не фразу. Заочно целую вас, моя родная, моя сестрёночка, моя дочка, моя бесценная, моя чудная девушка. Обнимаю и крещу вас: будьте счастливы, желаю тебе этого так, как вряд ли кто-нибудь когда-нибудь пожелает».

Я писал, и слёзы медленно и тяжело капали на исписанный листок. Когда я написал слово тебе, они хлынули из глаз. Я плакал, но я отлично знал, что никакой границы переходить не собираюсь, а преспокойно проживу в гостинице месяц или полтора, а потом вернусь домой.

Но я страдал, страдал искренно и глубоко. Пусть это своего рода тоже сантиментальность, не знаю там, я не мастер на термины, но жутко и беспросветно-темно было на сердце. «Чего вы разнюмились, — брезгливо скажете вы, — будто и в самом деле на смерть шли?» Эх, господи, да может быть, весь и ужас-то в том, что у

страданий нет никакого смысла. Позвольте мне уж пофилософствовать. Может быть, и у жизни смысл был бы, будь хоть какой-нибудь смысл в страдании. Возьмите людей до Христа. Они страдали, и им казалось, что в их страданиях смысл есть, а потому и жизнь для них имела смысл: приблизить Христа грядущего. Ну, а теперь? Ну, я, например, за что, скажите, Бога ради, за что мои муки? Чтобы Антихрист пришёл? Но ведь он придёт, чтобы истребить окончательно жизнь. Где же тут справедливость?

О, если бы вы только могли заглянуть в мою грудь, увидеть и почувствовать, как тяжело, как безумно тяжело жить, жить поневоле, во что бы то ни стало и неизвестно зачем.

Может быть, это грубое сравнение, но, право же, жизнь похожа на бойню: стоит покорное животное и ждёт, когда его хватят обухом по голове.

Если есть кто-нибудь, кто создал жизнь, то я ненавижу его всеми помыслами, всеми силами своей души!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

МАРФА

Не думайте, пожалуйста, что «Марфа» — это какой-нибудь «символ», что-нибудь «евангельское», вообще нечто «иносказательное».

Ничего подобного! Это просто деревенская девка.

Правда ли, что уж это так «просто»?..

Впрочем, поменьше буду «рассуждать». Во-первых, скучно. Читатель любит рассказы занимательные, хотя бы в них скрыта была «исповедь». А во-вторых, после всего мною уже сказанного дальнейшие факты, право же, говорят сами за себя, без всяких «рассуждений».

Я увидел её зимой, на Рождестве, у Александры Егоровны. «Тётушка» устраивала для деревенских ребятишек ёлку. Народу набралось со всех окружных деревень. Ребятишки что-то пели, плясали в масках под хохот, визг и гармони.

Теснота, духота.

Меня давили и толкали со всех сторон. Подлое это состояние, когда в тесноте всё превращается в громадное, многоголовое тело. Меня просто тошнит в толпе от такого обилия мяса. И потом, толпа, где есть женщины, всегда похотлива и развратна. Ну, одним словом, гадость!

Я не уходил по какой-то странной безвольности: надо было двигаться, проталкиваться, *решительно* захотеть

уйти — я не мог этого и тупо скучал, бессмысленно раздражался.

И вот, вдруг, почти против себя, увидел её лицо... Замечательное, беспристрастно говорю. Я думаю, только в России бывают такие лица. Роскошный цвет лица, открытый белый лоб, и главное, эти грустные доверчивые глаза, в которых столько скрытой нежности, звонкого веселья, глубокой тоски, жгучей страсти. Казалось, все огни ёлки отразились в её глазах — так радостно, возбуждённо сияли они!

Но почему-то больше всего поразили меня её крупные, тёмно-красные губы и ровный ряд белых как снег зубов.

Я смотрел на неё только несколько секунд — и, грубо расталкивая стоящих вокруг себя, бросился из комнаты.

Я не мог, просто *не мог* перенести такого лица — этой улыбки, этого полуоткрытого рта!

Не страсть поднялась во мне, не какая-нибудь там животная похоть — нет, это было что-то поглубже и позначительнее.

Мне больно было, физически больно от её красоты, от её вызывающей молодости. И стыд, и злость — точно какую-то обиду нанесли, оскорбили. Но всё же главное чувство, самого меня поразившее как стороннего наблюдателя, было чувство *разрушения*: уничтожить её, измять, стереть дотла её губы, её проклятые глаза, розовые матовые щёки, белый лоб, молодость её, нежность её, всю, всю, совсем, дотла!..

Всё это произошло больше чем через год после моего возвращения из Македонии. К этому времени Верочка была уже моей невестой!

Зачем только я смеяться разучился! Губы безжизненны стали, не заставишь их, а то бы я с ума сошёл от этого слова. «Невеста!» Самка, которую после всяческих

комедий вручают счастливому самцу. Ещё бы! Ну, а для очищения совести сводничество можно назвать «браком».

Да-с, и я был тоже жених. То есть самец, обычная роль которого терпеливо ожидать, когда его самка совсем будет «готова». Моя-то роль, положим, в действительности была несколько иной, но по внешности и я всё проделывал, как «настоящий», разыгрывал, как по нотам, откуда что бралось: и вид томный, и взгляд счастливый.

Бедная Верочка, милая Верочка!..

Впрочем, спокойствие, спокойствие, буду придерживаться «эпоса».

Итак, я был жених. Повторяю, это со стороны внешней, что же касается стороны внутренней, то вряд ли можно с точностью сказать, кем, собственно, я был.

Я любил Верочку — по-своему, конечно. Я знаю, что любил её; теперь мне не для чего и не перед кем лгать. Любовником, положим, в отношении её я себя не чувствовал, но зато жалость, размягчающую душу, сентиментальную и слезливую, испытывал всем существом.

Я ласкал её — и мне плакать хотелось. Я в ней и себя как-то жалел, уродство своё, мертвечину свою. Чем ей бывало веселее, чем звонче раскатывался её смех, тем острее щемило мне сердце и жалостнее была моя ласковость.

— Ну, будет, ну пойдём, родной мой, — говорила она, близко-близко наклоняясь к моему лицу, и тащила меня куда-нибудь гулять или кататься.

И я нежно ласкал её руку, такую хрупкую, такую маленькую, совсем без мяса.

Но всё же я не столько любил её, сколько привык к ней. А ведь привычка для меня, может быть, опаснее любви!

Привычка как ватой всего обёртывает. Перестают колотить тебя всякие так называемые «впечатления» — засыпаешь, успокаиваешься...

Я привык к её лицу, оно меньше других подымало во мне надоедливых вопросов. Привык к смеху — он меньше, чем смех нового человека, раздражал и озлоблял меня. Наконец, привычка к ней успокаивала, по крайней мере отчасти, мой страх смерти: всё вдвоём как-то храбришься, а ведь с чужим человеком никогда «вдвоём» себя не почувствуешь.

Я заговорил о встрече с Марфой, потому что она имела самые роковые последствия для дальнейшего развития моего «романа».

Марфу в деревне я всего только один раз, тогда на ёлке, и видел. Образ её до странности быстро исчез из моей памяти. Первое время по приезде из деревни я совершенно не вспоминал о ней, точно и не видал никогда.

Но это продолжалось недолго!

Скоро началось нечто нелепое, я бы сказал, дьявольское, если бы верил в дьявола. Наваждение, если хотите.

Красный рот её, матовые щёки, блестящие белые зубы стали положительно преследовать меня.

Началось это так же внезапно, как внезапно исчезла она из моей памяти в деревне.

Ни о чём другом, кроме лица и тела её, я не мог думать. Не хочется мне долго останавливаться на этом. Я уж каялся в своей извращённости. Ну, одним словом, крепкое тело, здоровое, стихийное, некультурное, где-то там, в захолустной деревне, которое при «свободе нравов» всякий может трогать, — а она только, небось, смеётся весело, зубы свои показывает, — дурманило меня, наполняло меня злобной ревностью, доводило до истерики. На всех и на всём я готов был выместить свою безумную злобность. Всё стало мне противным, досадным. Ну и прежде всего, конечно, Верочка.

Мне легко было над ней измываться. Ещё бы! Она — маленькая, тоненькая Верочка — полюбила меня по-настоящему.

Я часто с боязливым любопытством смотрел, как она ласкалась ко мне всем существом своим, нежным, хрупким, как стебелёк. «Неужели меня можно так полюбить?» — вертелось тогда в мозгу. Очевидно, можно было!

Вообще, я должен сказать, что Верочка страшно изменилась за это время. По приезде из Македонии я буквально не узнал её, хотя по внешности она почти не изменилась.

Словно вся она, менявшаяся постоянно в разные цвета, настроения, вдруг застыла, увидав перед собой что-то глубокое, новое, неожиданное. Притихла вся, стала такая кроткая, послушная, нежная. Вся сила жизни её сосредоточилась в одном напряжённом порыве, и потому неподвижность эта не была тяжёлой, бездушной, она вся полна была трепетной углублённой жизни. Я звал её часто «маленькой героиней». Именно «героиня»! Без всякой позы, просто, серьёзно, она способна была на подлинное геройство, на какое угодно самопожертвование.

И такой ребёнок — святой, беззащитный — попал в лапы мертвецу!

Ну, и началась потеха!

Я не стану рассказывать *всех* безобразных сцен, которые начались под влиянием «наваждения» и стали повторяться всё чаще и чаще по мере того, как образ Марфы поработал моё воображение, сковывал всю мою жизнь.

Расскажу только об одном вечере для «образчика».

Осень была в разгаре. Слякотная, чёрная, с бесконечными дождями, холодным ветром. Отвратительное время года, кажется, созданное для того, чтобы петь торжествующую песнь смерти.

Осенью я редко бываю на кладбище. Слишком даже для меня! Покойника кладут почти в воду, холодную, жёлтую от глины. Говорят, тело так разбухает, что доски гроба лопаются!

Я, как Иуда, не могу найти себе место в это подлое время.

Вот мне и пришла счастливая мысль: самую смерть себе служанкой сделать. Утилитарная натура! Я хотел воспользоваться осенью и прогнать от себя Марфу.

Разве не отвратительны все женщины, там, в земле, в сырой, жёлтой глине! И её «крепкое» тело не исключение! А как раздуются и посинеют её толстые губы. Всё лицо превратится в безобразный пузырь.

Но нет, видимо, наваждение было сильнее смерти! Отвратительной была какая-то другая чужая женщина, а она, проклятая красавица, только скалила свои снежные зубы и хохотала грубым визгливым деревенским смехом, который возбуждал меня своей грубостью и дикостью.

К Верочке я заходил по несколько раз на дню. Куда же деваться? Холодно, сыро, ветер свистит. Всё-таки там не так одиноко.

Так вот пришёл я к ней в один из таких сырых, мерзких вечеров в каком-то особенно тупом, деревянном и тягостно-зловонном состоянии.

Вошёл молча и сел на диван.

Верочка что-то читала за своим письменным столом.

Она взглянула на меня через плечо, улыбнулась и сказала:

— Сейчас кончу.

Я молчал.

Она снова взглянула на меня, и, должно быть, заметив расстроенное моё лицо, быстро встала и села рядом со мной.

Мне противна была её близость, и так тоскливо ныло в груди. Жалко было её и злобно-досадно на эту жалость.

Верочка, сразу подчиняясь мне, — я это всегда так прекрасно чувствовал — робко взяла меня за руку.

Она не знала, что сказать, и только тихо прижала мою руку к своему лицу.

— Оставь, — весь передергиваясь, проговорил я как автомат.

Она виновато пустила мою руку и, совсем растерявшись, заглядывала в мои глаза.

Что-то тяжёлое, тупое нарастало в моей душе, как брошенный с горы ком снега. Мне было и стыдно, что она так терпеливо сносит грубость, и нестерпимо раздражало, что она с таким выражением глаз смотрит на меня: точно понять что-то силится, войти в душу, успокоить. А и понимать-то нечего! В душе пустота — окончательная пустота; нечего и в глаза заглядывать, нечего понимать.

Чепуха, гадость всё!

— Оставь, пожалуйста, меня! — как по дереву отчеканил я.

— Что с тобой? — прошептала она и, должно быть, желая прогнать мрачность мою, улыбнулась. Но сейчас же спохватилась, что я могу не понять её, и улыбка застыла, и вся она стала такая жалкая-жалкая.

Я не смотрел на неё, но видел и улыбку её, и всю игру лица её.

Клянусь честью, ещё бы одна секунда, ещё что-то должно было шевельнуться во мне, и я упал бы к ней на грудь, стал бы в отчаянии просить прощенья, стал бы целовать худенькие, прозрачные руки её.

Но мало ли что должно — да вот не шевельнулось!

— Что же ты молчишь? — окончательно деревенея и для большего эффекта ещё поворачивая к ней своё лицо, спросил я.

Ей, видимо, стало вдруг так обидно, так незаслуженно больно, что она, даже если бы хотела, если бы знала, что ответить на мой идиотский вопрос, просто физически не смогла бы: скажи она слово — она разрыдалась бы.

Я видел это, о, я прекрасно это видел! Но ком снега всё катился, всё катился...

— Прекрасно, — не меняя тона, продолжал я, — ты будешь молчать, и я тоже.

Верочка глазами, полными слёз, смотрела в пол и одной рукой нервно перебирала скатерть. Я заметил, как дрожали её пальцы.

Она молчала.

Молчал и я.

Сколько прошло? Не знаю. Может быть, секунда, может быть, час, вечность... Не знаю! Я застыл, похолодел. Ком снега превратился в свинец. Я ничего не думал, ничего не хотел, ничего не чувствовал. Да и меня-то совсем не было — одна бесформенная проклятая тяжесть.

Тяжесть моя придавила и Верочку. Она, так же как и я, не могла выговорить слова и только ниже опустила дрожащие веки.

Молчание.

Я с трудом дышу. Дикие, нелепые, безобразные мысли врезаются в моё сознание. Я больше не владею собой.

— Ты должна сказать что-нибудь, — почти одним движением губ говорю я.

Верочка совсем съёживается, делается такая маленькая. Голова совсем опускается на руки.

Мы молчим ещё несколько мгновений.

Я делаю резкое движение. Верочка, сразу меняя лицо, вскидывает на меня глаза.

Она всё сделать готова. Она всё скажет. Она любит, любит меня.

Но поздно уж.

— Молчишь, молчишь! — кричу я. — Ты хочешь с ума свести!.. Не смей, не смей молчать! Или... Я не знаю, что это... Не смей молчать!..

Верочка с ужасом прижимает руки к своему лицу, что-то хочет сказать мне, но я уже не слушаю. Не могу слушать. Я бегу вон из комнаты и только издали слышу, как Верочка бессильно, безутешно начинает рыдать...

Вот вам «образчик». Последнее время так или почти так кончался каждый вечер.

Без Марфы дольше я жить не мог. У Верочки терялись последние силы в такой жизни со мной. Но всё равно, всё равно! Не знаю зачем, не знаю как, но Марфа должна была быть со мной!..

Наконец я решился на чрезвычайно смелое предприятие.

II ОПЯТЬ ОН

Однако, чтобы придерживаться хронологического порядка, я должен рассказать о том, что к моим «сердечным делам» не имеет никакого отношения.

В моём «религиозном» развитии произошла одна значительная перемена. Об этом необходимо сказать несколько слов.

Верующим я не стал, конечно. Живого отношения к Добру тоже не получил. Я просто со многим стал «соглашаться». Не всегда, но в иные минуты, как-то помимо своей воли, я начинал «допускать», что *там* всё правда написана. И Бог есть, и Сын приходил, и распяли, и воскрес. Убеждений и чувств своих я не изменил. А это так, в виде какого-то шестого чувства, наперекор и логике, и здравому смыслу!

И в то же самое время, с полной твёрдостью и ясностью, я понял, что, останься у меня это навсегда, то есть перейди «допущение» моё в уверенность, — *во мне* ничего по существу не изменится. Ну, есть Бог, ну, распяли, ну, воскрес. А мне-то что за дело! Это меня не касается.

Я очень настаиваю на этом чувстве. Именно: *это меня не касается*.

Признаюсь, меня мало поразило новое открытие. Оно было, пожалуй, мне на руку; избавляло от лишних мучений вопросами веры. Всё, мол, равно — есть, и отлично!

Я совершенно не помню, когда и как появилась эта новая черта во мне. Сильно подозреваю, что она всегда во мне была.

Тут, с первого взгляда, как будто бы и есть какое-то противоречие: разве не казалось мне, что все муки мои происходят оттого, что я уверовать не могу? Но это так, только с первого взгляда.

Может быть, немножко я и фантазирую, психологическими парадоксами занимаюсь, но мне положительно начинает казаться, что настойчивое, до отчаяния доходившее желание уверовать, то есть признать, что всё там действительно было, проистекало не из сознания того, что уверую я, так сейчас же и осчастливлюсь, а как раз наоборот. Уверуешь, мол, и ничего не изменится. Всё на своём месте останется. Значит, всё, что в тебе творится, — не от безверия. И разница между тобой и Николаем Эдуардовичем не в этом.

Впрочем, может быть, всё это и вправду парадокс... Как бы ни было, есть тут противоречие с прошлым или нет, только что я стал из неверующего «согласившимся».

Как раз в это время приехал ко мне Николай Эдуардович.

Всё лето и часть осени он жил недалеко от Александры Егоровны в лесной сторожке, в полном одиночестве, и писал какую-то работу. «Спасался», как про него полусхотуя и в то же время почти с благоговением говорила тётушка.

Я обрадовался ему искренно.

Мы поцеловались с ним и внимательно посмотрели друг на друга. Я — с любопытством; он — с нежной серьёзностью.

В Николае Эдуардовиче тоже произошла какая-то перемена. Я сразу это почувствовал. Впрочем, в отношении его все мои восприятия становились до неуловимости смутными. Я не мог его отчётливо представить себе никогда: он расплывался в какое-то загадочное, туманное пятно...

Николай Эдуардович никогда не «начинал разговора», он всегда сразу приступал к тому, зачем пришёл, а приходил всегда зачем-нибудь.

— Я к тебе, — мы с ним уж на «ты» были, — с разными проектами практическими, но важными и неотложными.

Он говорил спокойно, как всегда серьёзно, без всякой дружески-фамильярной игривости!

Да, он был очень спокоен, как-то по-новому. Не было в нём никакой дёрганности, нервной растерянности, которую так часто люди выдают за глубину душевную.

«Он *настоящий*», — с удовольствием подумал я.

Смешно, но я почти гордился им!

— Какие же дела? — невольно подчиняясь его тону, спросил я.

— А вот слушай — по порядку! Только одна оговорка. О внутренней стороне сейчас мы говорить совершенно не будем. Мы так одинаково чувствуем и воспринимаем, что это покуда не нужно.

Так вот. Я пришёл к заключению, что нам пора выходить на активную общественную работу. Само собой, работу религиозную. Смутно это сознавалось, конечно, и раньше, ну, а теперь определилось окончательно.

Главное несчастье христианского дела в том, что все силы разбиты. Никто не может найти друг друга, все врозь. Очевидно, необходимо создать нечто вроде христианской организации. Как же это сделать? Я думал над этим всё лето и пришёл к таким выводам. Я, конечно, в общих чертах говорю, одну только суть. Пришёл я к выводам, что нам необходимо воспользоваться в этом смысле опытом других партий: опытом их организационной работы.

Мы заведём по всей России связь с сочувствующими нам людьми. Эти люди на местах образуют комитеты, которые откроют кружковую работу.

Все комитеты будут объединяться центральным комитетом. Он может находиться здесь у нас. Теперь дальше. Такая организация может осуществиться только в том случае, если у нас будет своя политическая и экономическая программа и своя литература. А потому самое

первое, что я хочу предложить: это собраться всем нам (тут Николай Эдуардович назвал несколько наших общих знакомых) и выработать программы, опять-таки пользуясь существующими в других партиях, но, так сказать, с религиозной основой.

Я знаю, — поспешно сказал он, приняв моё случайное движение за желание возразить, — я знаю, что тут надо быть страшно осторожным в религиозном смысле. Так легко незаметно для самого себя продать душу за чечевичную похлёбку; превратиться в каких-нибудь пошлейших немецких «христианских социалистов». Я очень хорошо понимаю. Но ведь в этом люди виноваты, а не самое дело. Для нас «программы» — внешние условия, так они внешними и останутся.

Так вот, что ты обо всём этом думаешь?

Что я должен был ответить на этот вопрос, если бы вздумал отвечать совсем искренно? Что я действительно обо всём этом думал?

А думал, как всегда, в одно и то же время вещи самые противоречивые, даже, пожалуй, взаимно друг друга исключают. Словом, как всегда в такие моменты, путаница у меня поднялась невообразимая.

Но всё же преобладающими были не «мысли» какие-нибудь, а *вопрос*: насколько это полезно для христианского дела?

Вопрос этот вертелся в моём мозгу всё время, пока говорил Николай Эдуардович. Я, разумеется, совершенно не имел склонности к тому, чтобы решить его в положительном смысле. Чувство такое было: я, замаскированный неприятель, попадаю во вражеский стан и там узнаю от вождя, какой ход намеревается он предпринять.

Чтобы не отвечать прямо на вопрос Николая Эдуардовича, я на вопрос его ответил вопросом:

— Другими словами, ты хочешь организовать христианскую политическую партию?

— Нет, не совсем. Я хочу создать «Союз христиан» с религиозными целями. Выработать церковную программу

и её положить во главу угла, но так как в настоящее время жизнь требует от христиан участия в политической и социальной жизни, то выработать политическую и экономическую программу. Христиане тогда будут знать, что им делать в этом направлении согласно своей христианской совести.

— Ну да, я понимаю. Всё же, поскольку здесь будет политика, это будет христианская политическая партия.

— Да, пожалуй.

— Что же, по-моему, всё, что ты говоришь, страшно важно и может иметь прямо грандиозные последствия; это может подготовить реформацию, в смысле настоящего церковного возрождения, конечно.

Я проговорил это довольно горячо. Я уже вполне определённо почувствовал, что *ничему* не грозит опасность от этого «религиозного» предприятия.

Это не страшно! Я боюсь другого. Никакие практические начинания меня не пугают.

Николай Эдуардович стал «развивать» свои мысли. И чем ясней становилось для меня, что для «Христова» дела «Союз христиан» ничего не прибавит, тем с большей горячностью, даже, пожалуй, с радостью, с *искренней* радостью, поддакивал я этому плану.

Николай Эдуардович, разумеется, понял мою радость по-своему и, так как очень высоко ценил меня как «проповедника», был, видимо, страшно доволен.

Мы проговорили с ним целый вечер.

Что-то детское, чистое, почти трогательное было в той наивности, с которой он брал бумагу, записывал темы для брошюр, вспоминал разных лиц, с которыми можно было бы вступить в связь.

— Знаешь, — совсем оживляясь, сказал он, — я тут в одной булочной постоянно покупаю хлеб, меня очень хорошо знают приказчики. Я вполне могу завести с ними разговор. Устроим нечто вроде «христианского профессионального союза»?

Скажу прямо: эта детская наивность, голубиная какая-то, без тени рисовки, *настоящая*, от сердца, — она внутренне страшила меня гораздо больше, чем вся эта знаменитая его «организация»!

О, как я хотел тогда хоть на одну секунду, на одну тысячную секунды, проникнуть в его душу и там посмотреть, что это значит: жить религиозною жизнью, чувствовать Христа, любить людей, как это можно — не зная страха!

Какое дивное лицо у него было! Тонкое, прозрачное, и эти мягкие чёрные волны волос. Да, голова пророка! Знаешь ведь уж, что он прекрасен, и всё-таки каждый раз снова хочется сказать об этом.

И человек с таким лицом, с такими глазами, которым, казалось, всё открыто, вдруг, как ребёнок, говорит о каких-то булочниках, о каком-то «христианском» профессиональном союзе.

И всё-таки, ей Богу, это как-то шло к нему! Самое несоответствие это шло.

К концу вечера мы уже окончательно «постановили» организовать «христианский союз» и с этой целью устроить маленький учредительный съезд.

Николай Эдуардович взялся приготовить программы, я — написать несколько воззваний.

На этом первое «заседание» кончилось.

III

МАРФА И ВЕРОЧКА

Я таки добился своего: Марфа была у меня!

Подробностей рассказывать не стану. Одним словом, нашёлся предлог, чтобы съездить к «тётушке», там я наговорил что-то насчёт необходимости иметь в столице надёжную прислугу. Ну и в конце концов, при живейшем участии Александры Егоровны, уговорил Марфу ехать со мной.

Куда девался её «задорный» вид, когда она садилась со мной на ямщика! Что это — предчувствие или обычная

девичья пугливость? Как она была бледна, как стыдливо улыбалась, и как беспросветно-подло смотрел я на неё!

Я-то знал, на что она едет. Я-то знал, что не уйти ей от меня «так себе». Пусть преступление сделаю, а уж так не выпущу, это я твёрдо тогда решил. Да и к чему преступление! Она железных дорог никогда не видала, а тут завезти за тысячу вёрст — ну, значит, и делай что хочешь. Куда она пойдёт? Небось, согласится на всё.

О, как она была беззащитна, и как разжигала до боли, до безумия меня эта беззащитность!

Всю дорогу я держал себя как будущий «строгий барин». Я не позволял с ней ни малейшей вольности, ни малейшей шутки. Я играл в дьявольскую игру. Она начинала приходить в себя, приободрилась. Я видел это.

«А вот постой, — даже холодею весь от волнения, повторял я про себя, — постой, дай только привезти тебя!»

И я исполнил то, что хотел!

Послушайте, господа. Мне двадцать пять лет. Всю свою жизнь — вы знаете теперь это — я безудержно разнузданно, извращённо мечтал о женщинах. И вот только в первый раз в руки мои попала женщина, которая из страха выносила всё, что я хотел. И главное, которая не стала трупом для меня, после первого же прикосновения и как это всегда бывало с прочими. Господа, поймите и... нет, не простите, какое там прощение, а признайтесь, вы-то на моём месте как бы себя чувствовали, а?

Все таковы, все таковы — никому не верю!

Почему она не стала противна мне с первой ночи? Потому что была красавица? Вздор! Я видел красавиц и раньше. Я не могу дотрагиваться без отвращения ни до чьей «говядины». Почему же она, почему?

Может быть, перед тем, как окончательно и навсегда погрузиться в ту бездну, в которой я теперь доживаю свою жизнь, мне нужно было выбросить вон ту каплю жизни, пустой, животной, но всё же жизни, которая таилась во мне.

Не знаю! Знаю только одно, что этот один месяц, который я прожил с Марфой, был сплошным кошмаром, безумием, каким-то вихрем дьявольским. Все двадцать пять лет жизни я взял от этого месяца!

«А взамен отдал последнюю жизнь свою», — скажет какой-нибудь чистенький моралист.

Э, наплевать! кому и на что она нужна; разве *такая* жизнь могла спасти меня?

Итак, она была со мной, она была у меня! О будущем я не думал и не мог думать.

Со дня приезда ко мне Марфы я не выходил из дому. Ни разу не был я и у Верочки. Можно сказать, что я ни разу даже не вспомнил о ней.

Я не испытывал никаких «угрызений», никакой жалости, никаких вообще «сантиментальных» чувств. В простонародьи про меня сказали бы, что я «осатанел». Именно осатанел! Если бы кто-нибудь мне тогда сказал про Верочку, очень возможно, что я сразу даже не сообразил бы: о ком, собственно, речь. Не преувеличивая говорю.

И вдруг Верочка сама пришла ко мне.

Видимо, она ничего не знала, она так радостно улыбнулась мне, снимая свою маленькую круглую шляпку.

Я стоял посреди комнаты.

Верьте, о, верьте, что я пишу здесь сущую правду! Пусть уж всякие там специалисты да «рецензенты» копаются и выискивают «литературные» промахи, а пошлые трусливые люди, бездушное ничтожество, спешат скорее назвать меня дегенератом и успокоиться, забиться глубже в свою конуру!

Вы-то, вы, живые люди, живые души — если такие есть, — вы-то поверьте мне, поверьте всему, что я расскажу вам, и прокляните меня серьёзно, твёрдо, вдумчиво, как я этого заслуживаю.

О, если бы в душе моей осталась хоть одна искра живой жизни, она сейчас разгорелась бы во мне и я бы вместе с вами проклял самого себя.

Верочка не хотела видеть, что во мне что-то недоброе; она соскучилась обо мне. Две недели не видалась. Ей улыбаться хотелось, ей ласки хотелось.

Она быстро сделала ко мне несколько шагов. Но я так же быстро отступил назад и проговорил голосом, которого сам никогда не забуду.

По совести говорю, я не уверен теперь, что тогда я это сказал. Это *он* сказал:

— Постой... любишь ли ты меня?

Она остановилась и умоляюще-детски смотрела на меня. Ей тяжело было, ей хотелось, чтобы всё было хорошо. Не надо опять этой мучительной тяжести. Она так рада, что видит меня наконец.

— Ну, люблю же...

— Нет, не «ну», а просто скажи, любишь ли ты?

— Люблю, — шёпотом сказала она; она всегда шёпотом начинала говорить, как только слёзы подступали к ней.

— Если любишь, так всё для меня сделаешь?

Я сам не знал ещё, зачем задаю этот вопрос. Так, от злости, от мёртвой пустоты своей задал его.

— Да, — прошептала Верочка.

— Всё?

— Всё...

— Марфа! — неожиданно для себя и тоже почему-то шёпотом окликнул я.

Марфа нерешительно взошла в комнату.

— Расскажи, как мы провели сегодняшнюю ночь... Она хочет...

Марфа молчала и растерянно-глупо смотрела на меня... Верочка слабо вскрикнула, точно её ударил кто, и подняла худенькую ручку, загораживаясь, как от удара.

— Постой, постой, — шипел я, не сходя со своего места, — любишь, ну послушай... Марфа, я приказываю тебе.

Но тут произошло нечто безобразное.

Верочка бросилась вон из комнаты, а я вдогонку ей стал кричать:

— Ты думаешь, я любил тебя, дохлую! Уходи прочь, не надо мне тебя, уходи!

Через месяц Марфа ушла от меня.

Рано утром она пошла в лавку и больше не возвращалась. Я до сих пор не знаю, куда она делась и добралась ли до своей деревни.

Не выдержала. Слишком было даже для неё!

Ещё бы! Если бы вы только знали, до какого разврата доходил я!

Хочется, небось, узнать? Я знаю, что хочется.

Я нисколько не уважаю вас, «благосклонные читатели» моей исповеди. Может быть, даже презираю вас.

Стану я расписывать вам, чтобы вы тут, от нечего делать, смаковали мою грязь. Я-то грязь свою пропитал чёрною кровью сердца своего, а вы? Так, на даровщинку хотите? А есть что описывать! Но одна мысль, что вы станете «со вкусом» читать это, вызывает во мне злость и тошноту.

Да зачем «описывать»?

Довольно сказать, что Марфа, покорная, забитая, напуганная, как собака, — не выдержала и ушла. Ушла без копейки денег на все четыре стороны.

С вас этого достаточно!

И вот я остался один. Один совершенно и, как мне казалось, окончательно.

Я обессилел. Он безраздельно воцарился во мне

Нет слов, нет сил передать всю муку тягостной пустоты, безнадежной, безысходной, окончательной, которая придавила во мне каждый нерв.

Не дай Бог вам! — искренно говорю!

О ком же было о другом вспоминать мне в это время, как не о Верочке?

Она одна любит меня по-настоящему, она одна всё может простить. Я знаю это.

И вот я, запершись в своей квартире, можно сказать, не сходя со своего стула, не раздеваясь, не ложась спать, сидел и ждал тупо, бессмысленно, не имея душевных сил заставить себя даже написать ей.

Я мечтал о ней. Моя сентиментальная фантазия опять расцвела пышным цветком.

Верочка приходила ко мне такая нежная, ласковая, она целовала мой лоб и говорила: «Забудем всё. Я люблю тебя. Я прощаю тебя. Будем жить счастливо, радостно. Ты перестанешь мучиться. Я знаю, что перестанешь! Ты найдёшь наконец покой своей измученной душе. Мы будем с тобой такие счастливые-счастливые, как дети, как те ласточки, которые, помнишь, вызвали такой гнев в тебе».

Она, тихо смеясь, прижмётся своим лицом к моему лицу.

— Милая, родная моя Верочка, приди ко мне, спаси меня, прости меня, моя девочка...

Я говорил это вслух, и слова мои жутко звучали в пустой тёмной комнате.

IV

КАТАКОМБЫ

В таком состоянии застал меня Николай Эдуардович.

Одного его появления было достаточно, чтобы сразу меня отрезвить.

Приход Николая Эдуардовича касался не меня, а господина моего, «Наездника» моего. Ну, он, разумеется, сейчас же и приободрился, и я, вымуштрованный актёр, заговорил под суфлёра.

Да, все мои восприятия от этого «Христосика» были всегда туманны и неопределённы. Но зато ничьё присутствие не заставляло меня с такой определённой чувствованием *самого себя*, с таким напряжением прислушиваться к легиону голосов, которые окружали господина моего!

Вот, должно быть, почему, только увидав Николая Эдуардовича, я понял, что история с Марфой прошла для меня не даром.

Если в ту далёкую ночь, после Евлампия, я *сознал себя*, то теперь, после Марфы, я окончательно внутренне *определился*.

Уж ничто не двоилось теперь во мне. Всюду он был, я почтительно дал ему дорогу, и хотя ещё мог, как видно будет из дальнейших моих походов, делать попытки что-то отвоевать у него, но это были последние судороги проколотого существа; в общем же я покорно наблюдал из ничтожного уголочка, куда он загнал меня.

И наблюдал с гордостью за силой, уверенностью и цельностью господина своего.

Какой я был жалкий, ничтожный, мокрый какой-то, там, на стуле, в пустой комнате, что-то хныкающий о Верочке, и как могуч и блистателен был теперь он! С какой убийственной снисходительностью смотрел он на Николая Эдуардовича. Он чувствовал себя совершенно неуязвимым и не прочь был даже пожалеть бедного основателя «Союза христиан». Ему улыбаться хотелось.

Помню, именно так, в *третьем* лице, я и думал тогда.

— Я к тебе прямо с вокзала, — сказал Николай Эдуардович, — поговорить нужно. Через неделю учредительное собрание. Люди, конечно, мы с тобой близкие, взгляды у нас во многом сходятся, но всё-таки перед съездом хотелось бы, по крайней мере, общими настроениями поделиться. Ведь об общественных вопросах мы с тобой почти никогда не говорили.

— Нам с тобой легко это сделать, — улыбнулся я, — мы понимаем друг друга без слов, а ведь в таких вопросах большая половина в слова не укладывается.

— Это верно, конечно. Да, так вот, о настроениях. Здесь я очень много тебе сказать должен. И всё о таких трудных вещах. Видишь ли, мне кажется, нельзя по-христиански

говорить об общественных настроениях и не говорить об Антихристе.

— Да, я тоже думаю, — задумчивым ровным голосом сказал я, — общественные вопросы для всякого христианина тесно связаны с этим именем.

Поразительно я разыграл роль свою! Внутренне я ликовал. Право, не лгу! Я нисколько не боялся. Повторяю, я сверху вниз на него смотрел. Ничего, кроме острого чувства задорного любопытства, не было у меня в первую минуту. «Ну-ка посмотрим, что Христосик обо мне скажет», — грубо отчеканивая каждое слово, подумал я.

Николай Эдуардович сидел несколько секунд молча, потом встал и медленно стал ходить по комнате. Он был бледнее обыкновенного, хотя по-видимому спокоен.

— Видишь ли, я хочу сказать тебе об очень интимных чувствах. Много я совершенно передать не в силах. Но это не важно. Ты поймёшь.

Начну вот с чего — с катакомб.

Когда я думаю о современном христианском движении, оно представляется мне в виде катакомб. В первые века христиан гнали, запрещали служить истине, поклоняться Добру. И вот христиане ушли в землю. Они создали «подземный Рим». Грубая сила врывалась туда, мучила, жгла, резала, бросала в тюрьмы, но подземная христианская сила, сила Любви, покорила грубую физическую силу. Катакомбы не только изрыли землю, они подрывали основание язычества.

Наше время кажется мне поразительно похожим на ту эпоху. Так же западная цивилизация изжила самой себя, так же носится в воздухе предчувствие новых великих переворотов, так же ожесточённые гонения начинаются на христиан.

И вот рисуется мне, что христиане воздвигнут себе новые современные катакомбы. Понимаешь, может быть, не в виде подземных ходов, но с тем главным сходством, что, как в древних подземных катакомбах, в них будет

воплощаться Христианская Церковь, Вселенская, Соборная и Апостольская.

Теперь вот я и подошёл к той интимной стороне, о которой хотел сказать.

Видишь ли, такое предчувствие близости новых катакомб странно связывается у меня с предчувствием Антихриста...

Он остановился на минуту.

Я жадно слушал его. Точно он должен был раскрыть мне тайну, которая во мне же самом заключается.

— Это, знаешь, странное и мучительное чувство, — продолжал он. — Не то чтобы я это в себе чувствовал — нет, но всюду вокруг. Словно где-то там, глубоко под всей землёй, под всей жизнью, что-то тёмное зреет и готово выйти из бездны... Понимаешь ли, в природе, в людях, в литературе, в толпе, в Церкви даже, да-да, и в Церкви... Я, как бы это тебе сказать, улавливаю какие-то незримые нити... понимаешь?.. Нити, которые медленно, монотонно делают какую-то страшную свою работу. Плетут что-то!.. Голубчик, я сам лично не знаю страха. Я чувствую, что Христос со мной, меня никто не тронет, мне хорошо, радостно, уютно! Но я этот страх воспринимаю как-то объективно — точно он, как яд, разлит по всему миру...

Вот тут и есть какая-то точка, где сходятся предчувствие Антихриста с предчувствием катакомб.

Создадутся катакомбы. Будет с кем сражаться. И вся эта неопределённая сила, неуловимая, всё что-то плетущая, как будто бы незначай, разом явит себя миру. Во всём своём мишурном блеске, во всей своей поддельной красоте. Для всех это будет образ человеческий, и только для горсточки укрывшихся в катакомбах будут видны подлинные, страшные черты колдуна!..

Он опять остановился и задумчиво поднял свои потемневшие глубокие глаза на большой чёрный крест, который стоял в углу моей комнаты.

Я ждал.

Не слова его поразили меня, а другое. Поразило меня то, что, хотя я в таких выражениях, в таких образах никогда этого не думал, всё же для меня здесь было знакомо каждое слово, точно я наизусть знал всё, что говорил Николай Эдуардович. Больше того — точно это говорилось не о будущем, а о том, что уже было, и было именно так до мельчайшей черты.

Я не выдержал и сказал, сказал без всякой злобы, без всякого задора:

— Я и думаю, и чувствую буквально то же!.. — И неожиданно для самого себя прибавил: — Я даже думаю, что и сейчас есть носители духа Антихриста.

Николай Эдуардович молча кивнул головой.

Меня подмывало спросить: кто победит? Я знал, что ответит Николай Эдуардович, но мне хотелось слышать это сказанным вслух, любопытно было узнать: *что* я в это время почувствую. Пожалуй, даже было какое-то предчувствие, что это как-то *особенно* повлияет на меня.

И я спросил:

— С тобой, конечно, никогда не бывает, чтобы ты сомневался, кто одержит победу?

От волнения я с трудом договорил фразу.

А он даже улыбнулся едва заметно, краешками губ, но всё же улыбнулся, несомненно. И, видимо, думая совсем о другом, не удостаивая даже остановиться мыслью на вопросе моём, с какой-то дьявольской простотой сказал:

— Да, конечно, не бывает... Христос победит Антихриста...

«Скажите пожалуйста!..» — про себя воскликнул я, нарочно придумывая самый вульгарный, самый пошлый тон.

Да, предчувствие не обмануло меня. Эти три слова — «Христос победит Антихриста» — всколыхнули всё во мне до самой глубины душевной! Началось нечто до того мучительно-извращённое, о чём я и теперь не могу вспоминать без тупой, нестерпимой боли.

О, если бы я мог уморить, выбросить вон чудовище, которое живёт и властвует во мне. Если бы я мог передать людям, как оно отвратительно!

Я не знаю, есть ли Бог, но я нисколько не сомневаюсь в Антихристе и ненавижу его всеми силами своей души. Настолько же, насколько сначала любил за то, что он открыл мне «смысл жизни», настолько же потом возненавидел за то, что он обманул меня, поработил меня, съел всё во мне!

Я — Антихрист, или, вернее, маленькая тепличка, где вскармливается одна миллионная доля страшной личинки, из которой родится он, — и вдруг я ненавижу его! Я ненавижу самого себя!

Каламбур!

Глядя прямо на Николая Эдуардовича и стараясь даже улыбнуться, я сказал:

— Если ты чувствуешь такую близость Антихриста, то я в такой же степени чувствую близость Христа. Что-то победоносное, торжествующее, светлое пронизывает мир. Мне кажется иногда, что вот-вот свершится чудо и всё засмеётся. Я чаще чувствую Христа и потому в его победе не сомневаюсь никогда. Мне почти всегда хочется говорить: «Христос воскрес!»

Если бы вы слышали, как радостно-восторженно говорил я эти слова, и если бы вы знали, как издевался я в душе над Николаем Эдуардовичем, как кощунствовал над верой его: «А вот попробуй, узнай; посмотрю я, откроет ли тебе твой Христос, что сейчас со мной происходит...»

И глядя прямо в его глаза, которыми он с особенной любовью и лаской смотрел на меня, я стал мысленно говорить циничные, безобразные вещи. В них почти не было никакого смысла. Да мне и не надо было его. Мне нужно было выдумать только как можно поглубже, как можно поотвратительнее. «Ну, узнай, узнай», — твердил я и снова нелепо и дико говорил ругательные слова, старался представить женщин в самом неистово-развратном виде

и, смакуя каждое слово, всё переплетал бессмысленно-грязными фразами.

О, как было жутко и в то же время как было сладостно чувствовать себя всесильным, свободным, признающим только одного себя. Пусть попробует какой-то там Бог сказать, что я сейчас мысленно делаю с той, которую встретил тогда на улице, ещё обернулся и вслед ей смотрел... «Ну-ка, запрети, ну-ка, узнай?.. Прозорливец! Узнай, что я сейчас плюю на тебя. Ну, что же ты!..»

— Это верно. Христос чувствуется сильнее и ярче, — говорил Николай Эдуардович, — настолько же, насколько сильнее и ярче жизнь по сравнению со смертью. Смерть и жизнь — вот чем всего лучше подчёркивается разница существа Христа и Антихриста.

Я вздрогнул при этих словах от неожиданно-ревнивого чувства. Он — и вдруг произносит слово «смерть».

— Да, это поразительно верно, — быстро подхватил я, подделываясь под его тон, — именно жизнь и смерть. Смерть — это самая суть, самый основной корень Антихриста. В пророчестве о победе Христа над смертью уже содержится пророчество и о победе над Антихристом...

Мы оба замолчали и задумались. Впрочем, я ни о чём не думал, так только, мину сделал. Я наблюдал Николая Эдуардовича. Так, должно быть, звери наблюдают людей.

В нём что-то происходило, я видел это.

— Да, — словно решив что-то, проговорил он, — это так.

И вот, при мысли о катакомбах и об их роли в борьбе с Антихристом, — снова начал он, — все наши мысли об организации принимают совершенно особый оборот. Организация будет чисто внешним условием, посредством которого христиане будут узнавать друг друга. Но при этом постепенно будет образовываться религиозный центр внутри организации, который создаст новые катакомбы.

Вот по этому поводу мне тоже хотелось бы поговорить очень серьёзно.

Видишь ли, к Церкви, к реформе её нужно подходить с чистыми руками. Понимаешь, что я хочу сказать? Не то чтобы там теоретически признать себя грешным, признать необходимость покаяния. Нет, нужно действительно сознать грех, действительно покаяться. Понимаешь, смиренно покаяться, до конца. И уж всё тогда по-новому!

У меня иногда бывает ужасное, прямо ужасное — я не преувеличиваю — чувство греховности. Такое жгучее, особенное совсем чувство. Тебе это, наверно, знакомо. Не своей только греховности, нет — греховности вообще. И тогда всем существом своим понимаешь, как ещё сильно зло, и чувствуешь, что всё оно увеличивается в своей силе.

Он помолчал и шёпотом повторил:

— Мы страшно греховны...

И я заметил, что на глазах его блеснули слёзы.

Я начинал испытывать растерянность и беспокойство. Мне хотелось презрительно, даже злобно оттолкнуть в душе всё, что он говорил. Но вместо этого я чувствовал, что выслушиваю всё, как уличённый школьник.

Мне было противно и жутко.

— Ведь, в конце концов, различие Добра и Зла устанавливается не философией, — продолжал Николай Эдуардович. — Может быть, ум человеческий никогда ничего окончательного здесь не найдёт. Но кто хоть раз почувствует разницу между сладким и горьким, тому никаких «теоретических» доказательств не надо, что это не одно и то же.

Кто хоть раз сознает грех, не как отвлечённое нарушение заповеди, а как нечто органически недопустимое, другой природы, тому никто никогда не докажет, что Добро и Зло выдумали люди. Вот почему так поверхностны и бесплодны все эти «сомнения», пока они в области теоретических препирательств. Тут на половину фразёрства. Уж коли сомневаться, коли уж такой трудный путь предназначен, так сомневайся самым страшным сомнением: потеряй *чувство* этого различия, усумнись *душой!*

Здесь я не выдержал своей роли. Я почти выдал себя. Будь на его месте кто-нибудь другой, может быть, он понял бы всё.

Последние слова Николая Эдуардовича были так неожиданны, так касались меня, были почти вызовом мне, что я потерял самообладание.

Как! потерять чувство Добра и Зла, какой-то там путь! Не к Христу ли уж!

Это было слишком.

Я быстро встал с дивана и, очутившись почти лицом к лицу с Николаем Эдуардовичем, грозно смотря ему в глаза, проговорил:

— Это неправда... это никакой не путь... здесь власть Антихриста!..

На лице моём дрожал каждый мускул. Я резко повернулся, подошёл к окну и, прижавшись лбом к стеклу, стал смотреть на мокрые тротуары.

— Ты прости меня... лучше не будем об этом, — проговорил я сквозь зубы.

Николай Эдуардович подошёл ко мне сзади, взял за плечи и, повёртывая меня к себе, ласково поцеловал в лоб.

Я уж остыл, не сопротивлялся. Мне как-то сразу стало «всё равно».

Ясно было, что он опять всё понял по-своему и, уж конечно, в хорошую для меня сторону.

Да, воистину дана будет ему власть вести войну со святыми и победить их!

И вот я опять один. В комнате почти темно. Только с улицы мутный свет фонаря падает туманным пятном на стену. Угол, где стоит высокий деревянный крест, кажется таким чёрным-чёрным.

Снова та же пустота, одиночество, ненужность.

«Господи, что же такое “я”? Слабый, полумёртвый уродец? К чему же я в этой вселенной, для кого я?»

«Катакомбы... Антихрист... возрождение... Добро и Зло...» Я бессвязно, одно за другим, повторял эти слова. Но и они были так же пусты, не нужны, как и всё в моей душе.

Я машинально подошёл к кресту и взялся за него одной рукою.

Прямо перед моими глазами был лик Христа, бледный и в темноте так похожий на покойника...

— Мертвец! Ведь и Ты мертвец?..

И вдруг, не сознавая, что это такое происходит, я встал на колени перед крестом и поцеловал подножие его. Снова встал и стал медленно один за другим класть земные поклоны.

Не подумайте, ради Бога, что во мне в это время шла какая-нибудь «борьба», какие-нибудь сложные «религиозные процессы». Ничего подобного. Наоборот, я в этом как-то совсем не участвовал и с какой-то поразительной объективностью смотрел на самого себя. Сознание моё ухватывало всё до мельчайшей подробности.

...Я в углу... Зачем-то встаю на колени... пол такой холодный... башмак один неприятно скрипит... Как всё нелепо! И зачем я это проделываю? Ведь это же игра — для кого она?

Но я не мог удержаться и всё крестился, всё целовал крест и прижимался лбом к холодному полу.

Снова я посмотрел на образ. Какое-то странное чувство пробежало во мне. Что это?.. Не то воспоминание какое-то, не то просто так жутко стало.

Я остановился на минуту и, почти касаясь губами своими образа, сказал вслух:

— Господи, я знаю, что не верю, не могу поверить. Ты знаешь, какой я. Спаси меня, спаси меня. Ты всё можешь простить. Не могу быть другим, а всё-таки прости: ведь Ты один у меня, куда я пойду...

Холодно было, тихо кругом. Усталый, брошенный, никому не нужный, я сел на постель и стал думать.

Впрочем, я не столько думал, сколько бессвязно вспоминал.

И вдруг одно далёкое воспоминание особенно ярко и неотступно встало предо мною.

Мне было лет шесть. Я спал с бабушкой. Комната была низенькая и всегда жарко-жарко натопленная.

Я проснулся среди ночи. В углу висело много икон. Лампадка особенно ярко освещала икону Воскресения Христова. Икона была старинная и очень уродливая, особенно один воин. Он стоял на коленях, странно дугой изогнув спину и схватившись обеими руками за шею.

Бабушка спала крепко. Я долго, внимательно смотрел на воина. Вдруг внезапный острый страх пронизал меня. Я боялся дышать. И вот мне стало казаться, что сейчас откуда-то с потолка спустится большой чёрный паук и укусит бабушку. Ошеломлённый этою мыслью, на несколько мгновений я застыл без движения, но не выдержал и со страшным криком бросился обнимать бабушку.

Воспоминанье это словно толкнуло меня. Я быстро встал с постели и снова подошёл к кресту.

Мне молиться хотелось. Да, да, молиться Тому, Кому не верил, Кого я не знал.

Нелепо — но это так!

Зрелище, должно быть, было! Антихрист на молитве!

Я так жалок был себе, так хотелось мне плакать, рассказать кому-нибудь всё-всё, до самого дна души; помощи просить, прощенья просить. И вот, я упал пред крестом, жалкий Антихрист, мертвец, урод, развраник, обманщик, сумасшедший, дегенерат... ну ещё что там? Да, я упал и, валяясь на полу, целуя и пол, и крест, бессвязно говорил Ему, распятому мертвецу, говорил о всех грехах своих!

— Господи Боже мой, помилуй мя грешного, помилуй мя... Да, да, развратил Марфу, издевался над Верочкой, всех надувал, как подлец, как мошенник, ходячий труп. Антихрист. Но Ты Христос мой, Бог мой, прости меня, спаси меня! Не могу я людей любить... не могу...

Всё это я говорил искренно, по-настоящему плача, клянусь в этом. И в то же время, откуда-то из беспросветной глубины, всё же продолжая наблюдать за самим собою. Как я дико трусил тогда, что вдруг и в самом деле Христос что-нибудь скажет мне!

Напрасная боязнь! Христос молчал и преблагополучно висел на кресте.

Я тихо отошёл прочь и, повернувшись к Нему, как к живому, внятно проговорил:

— Аминь!..

V ВИДЕНИЕ

Что я, собственно, хотел сказать словом «аминь»? Не знаю, право. Во всяком случае, здесь было желание выразить что-то *окончательное*.

Но, увы, этим диким вечером мои молитвенные «приступы» не кончились.

Весь следующий день я находился в странном и довольно неожиданном для меня возбуждённом состоянии. Я чего-то ждал. В этом ожидании не было ничего определённого, но какая-то глубокая и твёрдая уверенность, что ждать есть чего.

Вечером, первый раз за целый месяц, я вышел на улицу. Я чувствовал себя, как после тяжёлой болезни. Свежий осенний воздух дурманил меня. Уличный шум казался особенно резким и вызывающим.

Мертвецы, под именем «прохожих», по обыкновению, куда-то спешили.

Как это они могли остаться совсем такими после всего того, что со мной случилось!

Меня сразу поразило одно обстоятельство: церкви возбуждали во мне совершенно особенное внимание. Раньше я никогда *так* не смотрел на них — должно быть, поэтому и не замечал, что их такая масса. Я гулял не больше получаса и уже заметил пять-шесть церквей и часовен.

Шла какая-то служба. Через решётчатые окна я видел красные огоньки восковых свечей. Молились.

Больше всего, кажется, поражали меня не самые церкви, а прохожие, которые останавливались перед ними и тут же, на уличной трескотне, крестились и клали поклоны.

Нелепо, но должен признаться, что около одной церкви я также снял шляпу и перекрестился. Зачем? Просто так, посмотреть, как это выйдет. Я оглянулся на прохожих. Они ничего, как будто бы так и быть должно: шёл человек мимо церкви и перекрестился. Набожный, мол, должно быть, из купцов или из духовных!..

Мертвецы, мертвецы! Так, прикидываетесь только живыми, на тридцать лет прикидываетесь, а потом разом бух в яму, и сразу обнаружится истинная «природа» каждого.

И тут почему-то я вспомнил о мощах.

Я раньше никогда как-то о них не думал. Мощи! Что это такое? Просто грубый обман или какой-нибудь «закон природы»: тело не разрушается от каких-нибудь своеобразных физических условий?

Нет, я хотел бы сгнить! Уж лучше один конец! А то лежит мертвецом долгие-долгие века, сначала в земле в гробу, потом где-нибудь в церкви. Страшно это. Всё высохнет, окаменеет, застынет... Особенно должны быть безобразны волосы на почерневшей, как земля, коже.

Я не могу бороться ни с чем! Что придёт в голову, то и сделаю: лишь бы для жизни опасности не было.

И вот на этот раз мне пришлось в голову нечто совершенно неожиданное и, пожалуй, даже кощунственное: увидеть мощи.

Не соображая, не взвешивая, даже не отдавая отчёта себе, как это я сделаю, я быстро пошёл по направлению монастыря, в котором знал, что есть мощи.

Я шёл и положительно с изумлением спрашивал себя: как это до сих пор у меня не явилось такое желание? Как это можно было прожить столько лет, видеть столько

мёртвых лиц и ни разу не посмотреть на мертвеца, оставшегося нетленным?

Монастырь был открыт. Я вошёл в пустую холодную церковь. Богомольцы бесшумно, точно тени какие-то, ходили в разных направлениях. А вот возвышение, где покоится святитель. Целые пучки ярко горящих свечей. Запах воска и ладана, а за маленькой конторкой седенький маленький монах.

Я встал и стал осматриваться. Тело святого было покрыто тяжёлой парчой, и только около рук виднелось чёрное отверстие. Подошли две старушки, поцеловали это отверстие звонко, так что раздалось по всей церкви. Послушник с лестницей прошёл из алтаря к выходу.

Я стоял и ждал, с любопытством и нетерпением рассматривая тяжёлую парчу. Пришла ещё молодая барыня, красивая и хорошо одетая, с мальчиком. Барыня крестилась, а мальчик косился на меня.

Я перевёл свои глаза с парчи святого на молодую женщину и посмотрел на неё несколько не лучше, чем всегда смотрю на красивых женщин. Мне показалось, что и она посмотрела на меня так же. Я оглянулся на монаха: и он тоже смотрел на неё и, я уверен, тоже мысленно раздел её, как и я. Мы оба следили за движениями её, за тем, как она вставала на колени, грациозно, не забывая ни одной секунды, что она женщина.

Она купила свечку и, пахнув на меня хорошими заграничными духами, подошла к святому. Приложилась, подняла и приложила мальчика и, мягко, красиво ступая, пошла к выходу.

Темнело всё больше и больше. Чтобы не обращать на себя вниманья, я отошёл в угол церкви. Богомольцы не приходили. Вот последняя старушка вышла. Я видел сквозь стеклянную дверь, что послушник стоит на дворе и с кем-то разговаривает. Я снова подошёл к возвышению. Свечи пылали уж не так ярко, расплавленный воск тяжело капал вниз. Старичок-монах сидел на стуле и, прислонившись к стене, дремал.

Я стал креститься и класть поклоны, а сам искоса наблюдал. Тонкая жилистая шея его склонилась набок, старческий рот полуоткрылся, и я услышал спокойное, ровное, негромкое дыхание.

Старик заснул.

Я быстро оглядел всю церковь. Никого. Подхожу к возвышению. Я не узнавал себя, так проворны, легки, и главное, *уверенны* были мои движения. Менее чем в секунду я поднял покров. Ещё что-то, ещё что-то и увидел тонкую чёрную сухую руку, больше похожую на палочку; ещё что-то снял я и на один момент увидел лицо. Да, это было несомненно человеческое лицо. Я не мог разглядеть его черты, но тонкий нос бросался мне в глаза...

Так же быстро я всё положил назад и сошёл вниз.

Монах спал. На дворе послушник всё говорил ещё. Никого не было.

Это было последнее, что я запомнил. А потом... потом произошло нечто поистине мистическое.

Называйте это как хотите: галлюцинацией, видением, бредом. Объясняйте тоже как хотите — наказанием за кощунство или следствием нервного потрясения, — не всё ли равно, какими словами называть это!..

...Я увидел большой роскошный храм. Народа масса. Всё блестит золотом, горит тысячами огней.

Я стоял в уголке, но как-то так, что предо мной растянулось всё.

Тихо-тихо... Пения не слышно. Все как-то странно быстро крестятся.

Медленно растворяются Царские врата. И маленький седенький священник неподвижно стоит у алтаря, и две чёрные сухенькие ручки его подняты к небу...

И вот из Царских врат вышел он.

Я сразу узнал его: это был Дьявол.

Страшно высокий, серый, худой, с приподнятыми, сутулыми плечами, измученным, усталым лицом.

Я хотел кричать и не мог. Ужас сковал меня. Медленно, с усилием передвигая большие костистые ноги,

он вышел на амвон и равнодушным усталым взглядом обвёл всех молившихся.

Несколько секунд он стоял неподвижно, глядя куда-то поверх толпы, и потом так же медленно пошёл по церкви.

Он поразительно легко проходил между всеми, хотя теснота была страшная. Громадная, серая, худая фигура его точно плыла над морем человеческих голов.

Вот он всё ближе, ближе... Подходит ко мне. Кругом молятся как ни в чём не бывало. Снова приступ нестерпимого ужаса охватывает меня, но что-то душит горло, и я снова не могу кричать...

Вот он.

Тусклый, мёртвый взгляд. Трясущаяся усталая голова. Весь тяжёлый, опустившийся, страшно худой...

Не глядя на меня, он проходит мимо. Я вижу перед собой его мохнатую сутулую спину, и главное, это жалкое, усталое, почти человеческое лицо.

Он обошёл церковь и так же медленно снова взошёл в алтарь.

И я увидел, как он подошёл сбоку престола. Увидел, как нагнулась его сутулая худая спина... что это?.. Он наклоняется над Святой чашей... И я, едва сдерживая рыдания, вижу, как из глаз его, по старческим, измученным щекам, текут слёзы и капают в Святую чашу...

Я очнулся на дворе. Вокруг меня несколько монахов. Старичок, который продавал свечи, поливал голову мою холодной водой.

Да, это было видение! По крайней мере, в первую минуту я был убеждён в этом. Но в чём его смысл? Почему явился дьявол мне, и в таком страшном, человеческом образе? Зачем он шёл по церкви, о чём плакал над Чашей, и главное, зачем показано всё это мне? Я ничего не понимал тогда и ничего не понимаю до сих пор.

Вы, может быть, спросите: повлияло ли «видение» на веру мою? Ведь некоторое время я безусловно не допускал

галлюцинации, значит, Дьявол был для меня, во всяком случае, живым свидетельством о потустороннем мире. Да — и всё-таки это не совсем так. Должно быть, *верой* что-то другое зовётся. По крайней мере, видение это, хотя я действительно Дьявола так и считал за Дьявола, всё-таки никакого «переворота» не произвело во мне. Должно быть, всё разбивалось об тогдашний мой индифферентизм. «Это меня не касается», должно быть, парализовало то, что по логике действительно, казалось бы, должно было иметь роковые для меня последствия.

Повторяю, в вопросе *веры* видение никакого значения не имело. Но зато оно оказало другое, и несколько неожиданное, действие.

VI

ПОЗНАНИЕ ДОБРА И ЗЛА

Да, очевидно, увидеть Дьявола и не захотеть плодов древа познания Добра и Зла невозможно.

И я захотел. Захотел с жадностью совершенно исключительной. Это была какая-то предсмертная тоска по различию Добра и Зла.

От солёного пить хочется. А мне вот так же от «видения» захотелось, жгучей жаждой захотелось, хоть на одну секунду почувствовать нутром, сущностью своей, разницу между Добром и Злом.

«Может, и впрямь я “душой усумнился”, и это “путь” своего рода!» — без злобы, скорее, с оттенком иронии подумал я.

А жажда всё разгоралась с каждым шагом моим.

И почему серый, усталый, сутулый призрак так пробудил во мне эту тоску по неведомому мне знанию? Я и тогда старался вникнуть в это, и теперь много передумал. Но мысли мои, как всегда, не столько утверждение, сколько вопрос.

Может быть, там, в церкви, я находился, что называется, у кормила Зла, за которым дальше сейчас же начи-

наются благовонные поля Добра и «вечной гармонии». Ещё оставалась «последняя точка», и вот, шагни я через неё, я разом, как утренними лучами солнца, был ослеплён бы сиянием Добра и тут разом же понял бы, какое отличие света от тьмы. Если так, то и жажда от этого видения не более как бессознательное предчувствие изнурённого путника, что там, за последним песчаным бугром пустыни, расстилается-таки прекрасное озеро прозрачной, холодной воды...

Из этих полудогадок, полуфантазий, полуявных несообразностей в мозгу моём родилась безумная мысль. Называю её безумной не по греховной смелости её (не диво быть греховно-смелым человеку, который и грехам никакого не чувствует). Безумной она была по той скрытой надежде что-то воистину познать, которая за мыслью этой всерьёз тогда шевельнулась во мне.

Мысль была такая.

Может быть, путь греха, которым иду я, приводит к Добру только тогда, когда путь этот проходится *до конца*. Может быть, для моего спасения, для «святости» нужно, чтобы я сделал *самое греховное*, что только есть, и тогда наконец в ужасе от греха своего я отвернусь, и глазам моим представится Божественная гармония.

Не смейтесь, я искренно и серьёзно так думал. Даже почти теми же словами.

Мысль моя с такой же быстротой, как пришла в форме вопроса, с такой же и превратилась в положительную уверенность. И я, по обыкновению своему, сейчас же заторопился весь и решил немедленно, сию же минуту, привести в исполнение.

Мне опять казалось каким-то нелепым и ни с чем несообразным, что я до сих пор не додумался до этого. Ну как же, в самом деле? Ясно же, я окружён грехом, я весь в грехе, весь во зле; куда ни двинься, всюду, прежде чем дойти до Добра, надо прорваться сквозь толщу Зла, до *последней точки* его пройти. Надо, не трусая, не останавливаясь ни перед чем, без всяких нелепых колебаний,

идти вглубь того Зла, идти, и чем яснее будешь чувствовать, что углубляешься в зло своё, тем идти смелей и безостановочнее.

Мне начинало казаться, что уже какие-то проблески Добра зашевелились внутри меня. Я почти торжествовал! Согрешить, согрешить, во что бы то ни стало самым страшным, самым тёмным грехом.

Мог ли я думать о том, какой это будет грех! Он должен превосходить всякое разумение человеческое, всякую злую человеческую волю. Такой грех вдруг, сам является. И я ждал, что мне сделается ясно, что именно нужно сделать, чтобы переступить последнюю точку.

Но куда же идти? Где *это* свершится?

Домой? Опять в полное одиночество, в эту опротивевшую комнату, где я столько хныкал и причитал? Или так и стоять на улице, стоять и ждать. Или уж в питомник грязи и безобразия, в какой-нибудь притон, в какой-нибудь «сад» с увеселениями...

Я нанял извозчика и поехал.

Сезон почти уже кончался, и народа в «саду» было мало. Я прошёл через сырые аллеи, освещённые холодным электрическим светом, в «закрытый театр». Там народа было больше.

Представление уже началось.

Чувствуя неловкость во всём теле и невольно меняя походку, прошёл я вдоль длинного партера, показавшегося мне бесконечным, к своему месту в первом ряду.

На сцене полуголая шансонетка что-то пела по-французски.

Я сел и, деревенея всё больше и больше, впадая в своё обычное мертвенно-автоматическое состояние, стал развязно оглядываться по сторонам. Даже посвистал немножко в тон оркестру.

В первом ряду я был один, и, почему-то долго не решаясь глядеть на сцену, я должен был сидеть вполоборота, чтобы нелепо не уставляться в пустые стулья.

Шансонетка кончила. Несколько хлопков. Чей-то хриплый голос сверху крикнул «браво!». Вышла другая.

Я повернулся и стал рассматривать её гораздо циничнее, чем мне этого хотелось.

Она была совершенно раздета, короткое красное трико туго обтягивало её и позволяло видеть всё. Она была красива и сложена в «моём вкусе». Впрочем, у всех мужчин одинаковый вкус. Влюбляются, разумеется, в разных, но женщин «вообще» все любят одинаковых.

И пусть мне не возражают — всё равно не поверю. Все, как воры, прячутся, комедию разыгрывают, а на уме у всех одно: и у моралистов, и у проповедников, и у студентов, и у офицеров, и у учёных, и у общественных деятелей.

Она плясала, показывая то, что, она прекрасно знала, любят все без исключения. Когда она наклонялась, трико почти лопалось на ней, и мужчины стучали палками в знак своего одобрения.

Я невольно осмотрел зал, и сразу мне стала противна, злобно-противна эта скотская похоть, эта голая продажная девка, которая *всем, всем* без исключения, позволяет смотреть на себя.

Мечты, как искры, вспыхнули во мне.

О, какой эффект — встать и сказать громовую речь о том, как осквернили они красоту, как забрызгали грязью женщину, затоптали чистоту и целомудрие! Наполнить ужасом и смятением сердца всех этих самодовольных, развратных, пошлых самцов, которые осмеливаются такими подлыми глазами смотреть на её танцы.

Сказать, что они не смеют, не достойны видеть её прекрасной наготы, её святого роскошного тела.

О, как струсили бы они все, когда я заговорил бы о близости смерти каждого из них, как восторженно смотрели бы на меня эти несчастные рабыни, которые за деньги отдают себя на позор.

А она, роскошная, голая танцовщица, остановилась бы с недоумением на эстраде и, закрыв лицо руками

своими, устыдившись своей наготы, бросилась бы в уборную, чтобы прикрыть себя.

— Браво, браво! — кричали со всех сторон.

Она улыбалась, кланялась низко, неестественно — только чтобы показать получше публике свою грудь.

Ну где же, где *настоящий* грех?

Я всё это знаю, всё, в тысячу раз худшее, чем они. Всё делал. Где же окончательная, последняя точка греха? Ну, хорошо, пойду в отдельный кабинет, напьюсь пьян; ну, разврат, грязь, бесстыдство! А Марфа? Что после тех ночей здешние игрушки? Может ли быть в разврате «последняя» точка? Разве ещё не весь его прошёл я? Разве не всё равно — здесь или дома? Не одна, а десять? Крестьянская девка или блестящая кокотка? Так что же, что же, наконец, сделать мне? Убийство? Я мысленно представил себе и подумал: могу, да, могу и убить. Только противно: кровь, мёртвое тело. Значит, не здесь. Ну, обида, несправедливость, оскорбление? Что же, о Господи, что же, наконец?

Я вышел в сад. С открытой сцены доносился резкий дребезжащий голос клоуна.

Вдруг распахнулась боковая дверь, и из неё вышла танцовщица, которую я только что видел. Высокая шляпа и узкое кисейное платье изменило её, но всё же это была, несомненно, она.

Я пристально посмотрел на неё, она и не думала отворачиваться и даже, как мне показалось, улыбнулась мне.

Я машинально сделал несколько шагов к ней. И, глядя в упор, отрывисто сказал:

— Хотите ужинать?

Она приостановилась, быстро осмотрела меня смеющимся опытным взглядом и, сильно картавя, певучим голосом проговорила:

— С удовольствием, я устала, а вы положительно недурны и... *comme il faut*... в вашем лице что-то есть...

— Однако вы философ не хуже меня, — неловко улыбаясь, сказал я.

Она засмеялась и, продолжая грубо рассматривать моё лицо, говорила:

— Вот странно, глаза у вас такие серьёзные, точно вы учёный или правда философ, а как будто бы не похоже...

— Почему?

— А губы-то у вас какие!.. — захохотала она и взяла меня под руку.

Точно холодный ток пошёл по моему телу от этого прикосновения. Я торопливо, даже резко высвободил руку и, растерянно глядя по сторонам, сказал скороговоркой:

— Одну минуточку... подождите, я сейчас найду своего знакомого и скажу ему, чтобы он меня не ждал.

Не дожидаясь ответа, я круто повернул в сторону и пошёл в глубь сада.

Жёлтые блестящие листья кружились в воздухе и медленно ложились по дорожке; несколько гимназистов в высоких воротничках, с хлыстиками прохаживались по скучным пустым аллеям.

Я почти бегом повернул к выходу. Да, без преувеличения могу сказать — последняя точка была близка от меня! Но, увы, не последняя точка греха, а умоисступленья!

А что, если бы и в самом деле с ума сойти, только окончательно, и там, в безумии, перенестись в какой-нибудь райский сад, где нет «ни печали, ни воздыхания»?

Да нет, вот кому следовало бы сойти, всё переносит в трезвом уме!

Но всё же до последней точки дошёл я. Ещё бы! Ведь, можно сказать, разом рухнули мои последние надежды!

Никакой последней точки греха вовсе нет, потому что и греха вовсе нет — вздор всё! И мог бы пойти поужинать, и «десяток» бы повёл с собой. И убил бы, и изнасиловал бы, и оскорбление нанёс — всё можно, всё! И нет никакой точки, нигде нет, ни в чём нет. А коли нет, так и добра никакого не существует.

«Так неужели же я ещё жить буду? И куда идти теперь? Только не домой, только не домой», — с ужасом подумал я.

Господи, и опять будет тянуться время, тихо, час за часом, тоскливо и неизбежно. Заснуть бы, одервенеть бы как-нибудь, в истукана какого-нибудь превратиться.

Дребезжат пролётки, и каждый звук как игла вонзается в мозг.

«Ну что ж теперь? — и я даже остановился. — Но нельзя стоять! Надо идти, надо жить, надо мучиться, зачем-то надо, надо и надо!»

Я дошёл до какого-то бульвара, сел на первую попавшуюся скамейку и решил сидеть, покуда не прогонит сторож.

Вот тебе и познание Добра и Зла! Мразь какая-то...

VII МОЛИТВА

Должно быть, я заснул. По крайней мере, очнувшись, я увидел около себя сторожа, который смотрел на меня положительно с любовью и говорил:

— Ну, барин, теперь на службу пора.

Я встал и поплёлся «на службу». Поплёлся бессмысленно «жить».

Рано было. Часов, самое большее, семь. В церквах звонили.

«А что, — подумал я, — пойти в церковь, так, хоть для разнообразия».

Я вспомнил про святого, мощи и сразу решил пойти в тот монастырь. Ни за чем! — так просто пойти. Оказалось, что я был от монастыря совсем близко. По мере того, как я подходил, меня начинало разбирать любопытство: не случится ли там ещё со мной что-нибудь «необыкновенное». Говоря по правде, необыкновенного на этот раз ничего не случилось. Если не считать таким самое это хождение Антихриста «ко святым мощам».

Шла служба, народа было довольно много. Церковь имела совсем другой вид, чем вечером. Она, скорее, по-

хожа была на ту, которую я «видел». Мне даже на минутку показалось, что и в самом деле это та самая церковь. Я так был настроен, что в ту минуту ничему не удивился бы. Ну, та — и прекрасно!

Я протискался к знакомому возвышению, к знакомому тяжёлому покрывалу из парчи с вырезанным чёрным отверстием. Свечи целыми снопами пылали со всех сторон. Даже мне почудилось что-то радостное в этих ярких огненных языках.

Пели Херувимскую. Многие, по преимуществу женщины, стояли на коленях. Священник в алтаре приподнимал руки, и сзади риза так странно оттопыривалась горбом: мне почему-то это с детства чрезвычайно нравилось.

Мне хорошо было.

За ночь я страшно озяб, а тут так тепло. Немного клонило ко сну, от ладана приятно кружилась голова, и всё точно покачивалось вокруг.

Хор был небольшой, но пел складно и, как мне показалось, даже с некоторым чувством.

«А вдруг из алтаря опять выйдет он? — без всякого страха подумал я и как-то бессильно прибавил: — Ну и пусть, и Господь с ним».

— Всякое ныне житейское отложим попечение! — донеслось до меня сквозь синий дым ладана.

«Так бы всегда, так бы всю жизнь... “Всякое ныне житейское отложим попечение”...»

И твёрдо смотря на чёрное отверстие в парче святого, я торопливо стал про себя читать молитвы, не останавливаясь и быстро-быстро крестясь.

«Господи, разучился я молиться, но Ты научи меня, научи. Господи! Хочу я воскреснуть душою... Господи, видишь, что хочу... Хочу чистым быть, хочу как мальчик быть... чтобы стыдно стало... Женщин не знать... Тебе, Господи, служить хочу...»

...Дай мне веру, дай мне силы... Спаси меня. Призови меня к покаянию, научи Добру. Я устал, Господи,

я чувствую, что разлагается душа моя. Ты один можешь спасти меня, знаю, что только Один Ты!»

«Кому это ты молишься? Уж не этому ли чёрному трупу», — кощунственно-дико врезался откуда-то вопрос.

«Нет, нет, это грех, грех так думать... Господи, спаси меня. Господи, спаси меня, — ещё настойчивее твердил я. — Это враг Твой искушает меня... Спаси меня. Ты можешь. Ты спасёшь... Ты всё можешь! Больше не буду я лгать... Господи, спаси меня от развратных помыслов, от всего спаси. Господи мой, Господи!»

«Что это за чепуху я бормочу. Нелепость какую-то... спать хочется...»

«Господи, прости... Ты видишь, что не я это... Господи, я мучаюсь, Ты видишь. Успокой меня, дай веру!..»

И снова так хорошо, тепло стало мне, снова заколебалось всё вокруг, и из глубины синего душистого ладана ласково-ласково пели: «Всякое ныне житейское отложим попечение»...

...Я маленький-маленький был, в синей рубашечке; бабушка утром одёрнет её и скажет:

— Ну, Ленточек, — она почему-то меня звала так, — теперь молись Богу.

— Я вместе хочу!

— Ну, хорошо, вместе давай.

— Нет, ты постой, ты меня на руки себе возьми.

— Будет шалить-то, видишь, ты какой тяжёлый.

— Ну, милая, ну, бабушечка, возьми, так лучше.

«Всякое ныне житейское отложим попечение»...

«Господи, плакать хочется... Хорошо мне, Господи. Спаси меня. Пусть так всегда... всегда имели бы, всегда бы ладан, всю бы жизнь так. Господи, о, как устал я, возьми меня к Себе, как бабушка, на руки хочу...»

...Она в Вятку ездила. Как мы ждали её каждый день, с утра на лавочке за воротами. Поле широкое, дорогу видно за несколько вёрст. Едет, едет! Бабунчик едет. Я впереди всех. Маленький, худенький, шапка в траву слетела. Вот и она. Милая, добрая, бабунчик мой! Уж и целует, и целует волосы, глаза...

— Что же ты плачешь, глупый, ну, на тебе грушу!

Я не слушаю, мне так жалко, так жалко чего-то.

— Бабунчик, ты навсегда теперь к нам, навсегда! — сквозь слёзы шепчу я ей на ухо.

— Ах ты милый мой, ненаглядный внучек мой, Господь с тобою, полно. Ну конечно, навсегда...

«Господи, Боже мой, не хочу я больше быть Антихристом, не надо, возьми меня к Себе, возьми, Господи. Господи, разве я не маленький, не худенький внучек Твой? Приди же ко мне, приди же ко мне, приди навсегда, не оставляй меня. Больше не в силах я быть один...»

Кончили. Священник резко задёрнул занавеску. По церкви прошло движение.

«Точно войску “вольно” скомандовали», — подумал я.

«Так и останешься один, — грубо прервал я себя, — некому приходиться к тебе. Не Христос ли уж в самом деле: Бог в человеческом теле! Вот разнюнился! Никто не придёт, никто! Пустое место там, вот такая же чёрная дыра, как в парче святого, — сушённый труп там, и ничего больше. Бог твой ел, пил, спал, все “функции” совершал — ну, значит, по всем правилам искусства и разложился. Никого и ничего нет. Будет дурака-то ломать».

«Господи, отгони от меня, это враг...»

«Э, будет: враг, враг, отгони, отгони! Кого отгони? Разве не сам я всё это говорю? И то сам, и это сам. Там сам разнюнившийся, а тут в здравом уме и трезвой памяти. Больше ничего».

«Господи!..»

«А то, пожалуй, помолись, помолись. Посмотрю я, как Он придёт к тебе. Пусть придёт — я первый осанна запою. Нет, брат, кабы действительно пришёл, все бы уверовали, да и как не уверовать. Себя возьми. Разве не уверовал бы? А коли все веру потеряли, значит, ни к кому не приходит! Понаделали деревяшек и молятся. Ишь какая — толстая на колени встала... Раздеть бы...»

«Спаси, Господи... хочу...»

«Довольно, ведь уж и сам видишь, что никто не придёт. Подумай только, из-за чего разнюнился: дым этот — обыкновенный ладан, в лавочке куплен, угли из печки. Хор не ангельский, а из послушников, которые на женщин с клироса посматривают и под Херувимскую раздевают их за милую душу. Священник тоже, простой поп, придёт и попадью свою станет щупать. А всё твоё хныканье ещё того проще объясняется: не спал ночь, иззяб на бульваре... Эх, дурак, зачем вчера из сада убежал. Как бы ночь-то провёл. Небось, танцовщица — мастерица своего дела.

Уходи-ка отсюда поскорей. Предоставь уж толстым бабам перед пустой чёрной дырой на земле валяться. А тебе не к лицу. Ты понял истинный смысл жизни. Тяжело это: ну, а ты неси — за всех неси!»

Я окончательно пришёл в себя и тупо-холодно осматривал церковь.

Крестились набожно, по-прежнему многие стояли на коленях. Но лица показались мне нерадостными, утомлёнными, скучающими, никакого «попечения» не отложившими.

И зло меня взяло на себя, что я так по-мальчишески глупо чуть не разревелся и в какого-то Бога уверовал, вообще «взмолился».

«Ну, уж это было последний раз», — оправдывался я перед собой. «Аминь» — теперь по-настоящему, навсегда, до гроба...

А всё-таки приложусь «на прощанье». Нарочно, на зло. Не верю, не люблю, в грязи весь, и вот подойду, как все, глупую рожу скорчу и «благоговейно» приложусь.

Я всё это проделал и пошёл вон из церкви.

VIII

НЕОЖИДАННЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ

Дома меня ждал сюрприз.

— Вас какой-то незнакомый барин дожидаются, — сказал мне швейцар.

Вот ещё напасть!

Незнакомый барин оказался неким Глебовым, товарищем моим по гимназии.

С первого класса мы молча и упорно ненавидели друг друга. Он был очень ограниченный и испорченный мальчик, с третьего класса таскавшийся по всевозможным притонам. Между нами не было ничего общего. Я презирал его за «безнравственность», он — за моё «христианство». После гимназии я ни разу не встречался с ним.

И вдруг Глебов, напомаженный, в пенсне, сидит и дожидается меня.

С полным недоумением я подал ему руку.

— Я к тебе по одному странному делу, — гадко улыбаясь и выставляя ряд чёрных гнилых зубов, начал он. — Если хочешь, разумеется, можешь со мной об этом не говорить, хотя, конечно, как христианин, вряд ли ты прогонишь, в некотором роде, своего ближнего!

— Я слушаю и, если могу чем-нибудь помочь...

— Нет, какая там помощь, — хихикнул он. — Я к тебе с вопросом.

— Всё равно. Если могу ответить, разумеется, отвечу.

— Предупреждаю, что вопрос интимный и, так сказать, тебя лично касающийся. Но прежде я должен объяснить, почему, собственно, решил с этим вопросом придти.

Видишь ли, скрывать мне нечего, я, как тебе известно, терпеть не могу христиан. Проще говоря, никакому христианству я не верю. И твоему, в частности. Ты всегда гордился своей чистотой и презирал нашу компанию, помнишь, ещё которую «санкюлотной» прозвал. Конечно, ты имел право, христианин всё может. Я, в некотором роде, спился теперь, а ты, как истинный христианин, чуть не профессор... И вот сделай кто-нибудь какую-нибудь мерзость, я бы плюнул, и всё тут. Ну, мерзость и мерзость. Сам таковский...

— Я очень хорошо понимаю тебя. Спрашивай, пожалуйста, о чём хочешь.

Он широко улыбнулся своим чёрным ртом и просиял весь, только в самой глубине глаз его вспыхивали и гасли злобные огоньки.

— Я же уверен был, что ты как христианин не оттолкнёшь моего искреннего недоуменного вопроса!

Итак, дело в следующем. Вчера вечером я, так сказать, в силу чистой случайности, был свидетелем твоих походов... Ты — и вдруг в таком «заведении»! От неожиданности я не поклонился. Растерялся, в некотором роде. Ну, а потом, — подмигнул он мне, — как ты заговорил с m-lle Фанни, я уже не решился подойти. Ведь с нами такие не разговаривают. Эти Фанни меньше чем сотню за сеанс не берут... Так вот, взяло меня сомнение. Пойду, думаю, спрошу, как это христианский проповедник, и вдруг очутился под ручку с Фанни? Может быть, по поручению какой-нибудь «армии спасения» или так, по своей надобности, — снова сияя и подмигивая и почти шёпотом выговорил он.

Несколько секунд мы сидели молча. Признаюсь, первое движение моё было схватить и вышвырнуть вон эту гадину. Но я не очень-то способен на такие «благородные» порывы, а потому намерения своего в исполнение не привёл, а вместо этого почти ласковым тоном сказал:

— Я не совсем понимаю, что тебе хочется знать: с какими намерениями я разговаривал с Фанни, или вообще, как может христианин ходить по таким местам?

На первое я тебе не отвечу, потому что это касается не одного меня, — солгал я. — Могу только успокоить тебя, что ничего дурного не было, в чём ты можешь удостовериться хотя бы из того, что я ушёл от неё. Ну, а на второй вопрос готов ответить...

— Великолепно! — воскликнул Глебов. — Ты уж меня в некотором роде успокоил, а ведь я, грешным делом, когда ты отошёл-то от неё вчера, подумал, что вы в цене не сошлись. Уж очень вид у тебя пришибленный был, — сиял Глебов. — Уж будь отец родной, не оставь и насчёт «вообще» христиан, то есть как это они в кафешантаны попадают.

Успокой грешную душу. Ведь мы, окаянные, вашей праведностью только и живём. И вдруг соблазн такой!

Я встал. Во мне не было ни малейшего сомнения, что Глебов просто издевается надо мной. Но по какой-то странной причине Глебов для меня разом превратился в символ, точно за ним стояло что-то действительно важное и неотступное, что-то такое, чему я обязан был дать отпор. Вопрос оскорбил меня так, как он не мог бы оскорбить, будь Глебов для меня просто Глебовым... Ну, пусть, я христианин и пошёл в кафешантан, взял себе певичку... отрёкся от всех своих святителей. Пусть так. Я заплачу за это гибелью своей, страданием своим. Сам дам ответ Богу в грехах своих, а не какому-то там Глебову!

И забывая, кто сидит предо мной, не глядя в пьяное, напомаженное, злобной весёлостью сиявшее лицо, с трудом владея собой, я сказал:

— Ты хочешь знать, как христиане попадают в кафешантаны? Я знаю, зачем ты спрашиваешь и что ты спрашиваешь. Ты хочешь облить их грязью и сказать, что и они как все!

Да, бывает, что и христиане предаются разнузданному разврату, может быть, такому, который не снился другим людям. Но знаешь ли ты, сколько страдания несут они туда? Можешь ли ты, самодовольный прожигатель жизни, понять, сколько мук, кровавых слёз пролито ими?..

Я знаю, зачем ты пришёл. Ты хочешь сказать, что я грешник? Что ж — я принимаю твой вызов и прямо, не отпираясь, заявляю: да, да, грешник, падал хуже всякого из вас, как разбойник, падал, но и, как разбойник, воскресал.

Я входил в роль. Я лгал. Я никогда не воскресал. Но какая-то правда была же в моих словах. Какую-то завесу приподнимал же я со своей души! Я вдохновенно говорил, властно. Даже Глебов притих. Я видел это.

— Я раз навсегда скажу тебе и всем обличителям своим, — грозно продолжал я. — Вы — ничтожные, жалкие моралистики, с аршином копающиеся у моих ног и вымеривающие, подхожу ли я к христианству, вы — подлые

паразиты, питающиеся моими муками, которые я несу за вас и за многих.

Да, вы не знаете греха! Вам легко мерить аршинами и вершками, потому что вы никогда, слышите, никогда не подымались из грязи. Вы не падали низко, потому что неоткуда падать вам — вы вечно копаетесь в грязи. А если бы вы хоть раз поднялись к небесам, вы поняли бы, что с высоты паденье бывает глубоким!

Разврат! Да смеете ли вы употреблять это слово! Не разврат ли уж эти ваши мелкие трусливые похождения, в которых неизвестно чего больше — подлого самолюбия или зловонной слякоти. Вы не знаете всей великой тайны разврата. Вы оскверняете своим поганым прикосновением великое слово «грех».

Ты хочешь знать, грешил ли я? Да, да, грешил — но я за свой грех заплатил всей своей жизнью... Я мученик!.. Знаешь ты это... Мучеником рос с детства, мучеником лягу в гроб.

Я начинал говорить правду. Слезы давили мне горло.

— Терновый венец! — почти кричал я. — Да знаешь ли ты, что не венец, а всё тело, все ноги, вся грудь — всё исколото у меня терниями.

Не вам судить меня, тянуть меня к ответу. Это вправе сделать только тот, кто так же, как я, горел всю жизнь, кто ночами с безумными воплями валялся у подножия креста Господня, кто выстрадал всю жгучую, огненную боль религиозных сомнений...

Я душой усумнился!.. Понимаешь ты, душой усумнился!.. Суди же меня, если хочешь... если смеешь...

Задыхаясь, я почти упал на диван.

Глебов быстро встал и, положительно растроганный, потянулся ко мне. Не то он поцеловать меня хотел, не то просто руку пожать. Но я не двинулся с места навстречу ему. И он, неловко кланяясь и пятясь к двери, произнёс скороговоркой:

— Ты уж слишком, голубчик, я этого не хотел. Простите, недоразумение!.. До свидания...

Он ушёл.

По обыкновению, возбуждение моё разом схлынуло. И от нелепой сцены, только что разыгравшейся, остался лишь какой-то осадок досадной, ненужной пошлости.

Итак, всему конец.

Кажется, никогда с такой осязательностью не чувствовала я всю безысходность и беспросветность своей жизни. Казалось, жизнь не может двигаться дальше. Должен же кто-то понять, что больше нельзя так.

«Верочка бы!» — промелькнуло в усталом мозгу. Ничего ей не нужно рассказывать, она не станет «обличать»... Просто бы отдохнуть около неё. За руку бы взять. Нельзя же дальше так...

Я быстро схватил лист почтовой бумаги и написал: «Верочка, приходи, если можешь»...

IX

ОПЯТЬ НОВАЯ ЖИЗНЬ!

Ну конечно, она пришла! Разве она могла не придти! Моя святая, маленькая, худенькая девочка! Она только и думала обо мне всё это время, несколько раз сама хотела придти, да боялась, что «ещё хуже будет», она не только придти готова, она всё готова сделать, только бы этого «никогда, никогда больше не было».

Бедная девочка моя! Знала ли, знала она, когда всё это говорила, что произойдёт на следующий день!

Она обняла меня, прижалась всем слабеньким нежным тельцем своим и молча целовала лицо моё, плечи, глаза, лоб, волосы.

Усталый, растроганный, я тихо плакал и целовал её руки не как любовник, а как внучек, ненаглядный Ленточек в синей шёлковой рубашечке, целовал когда-то сморщенные ласковые руки бабунчика.

— Устал я, Верочка... — тихо сказал я.

Вот уж мы на диване. Она положила под мою голову подушку, а сама села близко-близко ко мне, вся сияя, вся любящая, добрая, прозрачная.

— Начнём новую жизнь, — тихо сказала она, ласково смеясь своими ясными, почти детскими глазами.

— Новую жизнь, — тоже улыбаясь, повторил я за ней. Сон, сон! Сладкий последний сон моей жизни!

Всё, что только было когда-нибудь радостного, светлого в душе моей, всё разом воскресло и заговорило, зародовалось во мне.

Я почувствовал какую-то трепетную нить, которая протянулась и к виноградному домику, и к недавней иллюзии «новой жизни» в нём, и дальше, в глубь первых детских воспоминаний. Бывали уже, бывали тогда дивные, радостные дни. Или и они тоже не больше, как «иллюзии»? О, конечно, иллюзии, коль скоро их съело подлое время, съело, безжалостно глотая кусок за куском, минутой за минутой.

Но в тот вечер «новой жизни» я не хотел думать об иллюзиях.

Я смотрел в глубь сияющих глаз Верочки, и ласковые лучи их, казалось, воскрешали во мне всё прошлое, безвозвратное, сообщали ему какую-то нетленную радость вечной жизни.

Волнуясь, как маленький мальчик, я рассказывал ей, какой у нас был пруд в деревне, как в самый сад заливала вода за забор, и мы, завернув штанишки, потихоньку от старших бегали по воде и ловили тритонов. Вода тёплая, ноги приятно колет трава, солнце так и парит, так и блестит. Синие стрекозы нежно порхают над самой водой, пахнет тёплым илом и душистыми яблоками.

Я почти плачу от радостной неожиданности этих воспоминаний. Так бы и сорвался с дивана и побежал вместе с Верочкой в сад, в лес, наскоро забежал бы в клубнику, и так на целый день.

Старая жизнь, как казалось тогда мне, воскресла в душе моей и слилась невидимо с новой, возрождающейся жизнью.

Да, это, несомненно, был сон!

Только во сне могут так блаженствовать люди, так терять голову, так отдаваться иллюзиям.

Я всё забыл на этот час: и смерть, и зло, и добро, и святого, и дьявола. Я помнил только одно: радость детских лет и радость грядущей жизни. Прошрое и будущее таинственно сливалось в торжествующую радость жизни.

Я не устал больше. Я не могу лежать. Мне нужно двигаться, говорить, смеяться.

Мы начинаем вспоминать Трофима Трофимыча, тётушку и хохочем, хохочем, как сумасшедшие.

Верочка преобразилась вся. И она тоже — вся как в прошлом. Только два года назад так неудержимо весело звучал её голос, так сияло нежное, хрупкое лицо её.

Отворили окно. Холодная осенняя ночь пахнула на нас, ворвался уличный шум. О, как хорошо! Всё хорошо: и шум, и холод, и осень.

Я любил Верочку. Любил, любил — несмотря ни на что!

Милая, жизнь моя! Я не мог больше выдержать этой ликующей радости, этого внезапного безумного счастья. Я обнял её, как родную, как чистую, ненаглядную сестру свою.

— Прости, прости, прости... — шептал я, почти теряя сознание.

Господи, да разве можно говорить «прости», разве она уже давно не простила? Всё простила, всё забыла и слушать не хочет. Ничего этого не надо. Любит она, любит. Всё отдаст за меня, жизнь отдаст, всё.

Святая моя, маленькая моя Верочка!

Ей домой нужно. Завтра она опять придёт, обязательно придёт. Она больше никогда меня одного не оставит.

Мы вышли в прихожую.

Уходит... значит, так надо... А завтра опять... это новая жизнь.

Уже совсем прощаясь, она сказала:

— Ты слышал, завтра предполагаются беспорядки.

Я ничего не слышал. Но, должно быть, моё воскресение было неполным! Во всяком случае, прежняя неожиданная

для самого меня лживость и внезапность ответов осталась.

— Слышал, — сказал я серьёзно и прибавил: — Я тоже иду.

Верочка посмотрела на меня хорошим, «честным» взглядом и по-мужски пожала руку.

Ушла... Прощай, Верочка!

X КОНЕЦ

Я сидел и ждал её. Резкий звонок — верно, она. Я сделал вид, что занимаюсь, хотя целый день сидел, ничего не делая.

Вдруг с шумом распахнулась дверь, и я увидел Николая Эдуардовича. Он был без пальто, мокрый от дождя, со сбившейся на сторону шляпой.

Не здороваясь, крепко схватив меня за плечи, он проговорил с какой-то странной отчётливостью:

— Верочку убили...

Я встал и безжизненно, как труп, уставился на край стола.

Ни жалости, ни горя, ни испуга, ни удивления... Да, да, я знал это, опять точно заранее до мельчайшей черты всё предчувствовал: и как он войдёт, и как он скажет

Мы ехали молча. Николай Эдуардович успел только сказать:

— Я убеждал её утром не ходить, она сказала, что ты там будешь и ей необходимо.

Я вошёл в её комнату один...

Слушайте, вы, читатели, от нечего делать читающие романы! Вам хочется наслаждаться эстетическими эмоциями. Уходите прочь отсюда, здесь моё царство, я не хочу, чтобы вы были здесь!

Я не хочу, чтобы вы видели её на столе. Руки, сложенные на груди, на узенькой детской груди, простреленной глупым кусочком свинца! Она лежит, как и все

мертвецы, никому ненужная, падаль, гнилой мусор... А ведь лицо её, она вся как живая, те же длинные ресницы, та же полуулыбка, те же мягкие нежные волосы.

Я зарыдал, завыл, прижимаясь к её твёрдому холодному тельцу:

— Верочка, Верочка... ты, ты!.. девочка моя!..

Не помня себя, я схватил её за руку, как живую. И в ужасе отшатнулся: восковая рука с растопыренными пальцами, как выточенная, холодная, неподвижная, — рука какого-то мертвеца была в моей!

Нет тут Верочки! Нет никого! падаль, одна падаль!..

Всё падаль, всему конец. Все издохнут, всё гниль!

— Ура Антихристу! — дико закричал я и без шапки выбежал вон.

— Извозчик, извозчик!.. — Я бросился в пролётку: — К девкам, в публичный дом!

Прошло полгода с тех пор, как произошло только что описанное событие.

Жизнь моя кончена. Я не выхожу из дома и, как сознавшее себя животное, покорно дожидаясь, когда моя «очередь». Не живу — догниваю!

Вот и вся моя исповедь!

Но на прощанье мне хочется задать вам два вопроса. Один серьёзный, а другой — так себе, пустяки, почти что для шутки.

Видите ли, когда я уже совсем кончал свои записки, мне пришёл в голову странный вопрос:

Можно ли узнать Христа, не пережив Антихриста?

Я знаю, что в этом вопросе есть какая-то несообразность, но, с другой стороны, и какая-то смутная надежда. Впрочем, об этом сейчас мне как-то страшно думать. Устал я.

А другой вопрос, пожалуй, можно было бы и не задавать.

— Мне хотелось спросить, как же вы в конце концов думаете: исповедь это или роман?..

ПОСЛЕСЛОВИЕ

По поводу «Антихриста» мне был предложен целый ряд вопросов. В конечном счёте все они сводятся к трём основным:

Во-первых, являются ли «Записки» исповедью?

Во-вторых, в каком смысле автор записок назван «Антихристом»?

И в-третьих, действительно ли я думаю, что узнать Христа можно, только пережив Антихриста?

Я считаю нужным печатно ответить на эти вопросы потому, что ответ на них может уяснить многие неясности в моей книге. А раз я выпускал её в свет, то есть по совести признавал зачем-то нужной и важной для людей, я не могу не считать столь же нужными и важными свои разъяснения. Тут дело не в каких-нибудь необычайных достоинствах книги, наоборот: недостатки художественного произведения скорее могут оправдать появление этого послесловия, ибо, коль скоро мне не удалось выразить с достаточной определённой в художественных образах то, что пережито душой, единственное средство хоть сколько-нибудь восполнить невысказанное — это написать послесловие. Во всяком случае, как бы ни было ничтожно значение книги, я полагаю, всякий поймёт желание автора быть понятым вполне.

Первый вопрос, едва ли не самый важный для разъяснения «Записок», в то же время и самый трудный. Он

настолько интимен, что ответ на него граничит с исповедью.

Однако по двум причинам я считаю для себя возможным, несмотря на всю трудность его, ответить и на первый вопрос. Первая причина заключается в некоторых личных обстоятельствах, о которых говорить здесь неуместно и которые в ближайшем будущем поставят меня в исключительное отношение к жизни, облегчающее возможность безусловной правдивости публичных признаний; вторая причина в глубоком убеждении моём, что наступает время, когда на религиозных людей возлагаются громадные исторические задачи, связанные с не менее громадным личным подвигом. В такое время каждый должен помогать друг другу и нести свой религиозный опыт другим людям, как бы слаб, немощен, недостойн ни был сам.

Итак, первый вопрос почти дословно повторяет последний вопрос «Записок»: «Исповедь это или роман?»

По совести говорю, мне немислимо было бы односложно ответить на этот вопрос — да или нет. Мне пришлось бы сказать: да, исповедь, да, роман.

Чтобы действительно ответить на вопрос, чтобы действительно разъяснить, в каком смысле это исповедь и в каком смысле роман, я должен, хотя бы в общих чертах, сказать о самом мучительном периоде моего религиозного развития.

Несколько лет тому назад во мне закончился переход от юношеского «гимназического» отрицания к положительной религии.

В отрочестве я отдал дань, как и большинство нашей интеллигенции, и теоретическому отрицанию, и увлечению Писаревым, Михайловским, а в более позднем возрасте увлечению Шопенгауэром и Ницше. Под словами «закончился переход» я вовсе не разумею прекращение всякого рода теоретических сомнений и хотя бы временное приближение к безусловной правде в сфере личной жизни. Нет. Но в смысле теоретическом для меня

уже с несомненностью определилось, что в христианстве заключена полнота истины, а в смысле нового отношения к жизни для меня столь же определённо христианство встало уже как задача и смысл моего существования.

Я начинал с радостным восторгом, который поймут все верующие люди, ощущать в себе робкие проблески зарождающейся религиозной жизни, меня начинала волновать таинственная сладостная надежда; хотелось всех полюбить, всем простить, ношу всю взять на свои плечи, хотелось подвига, новой «преображённой» жизни!

И вот в это время, сначала почти бессознательно, в виде какого-то тяжёлого, грязного, мёртвого осадка на душе, а потом уже с полной отчётливостью, я с ужасом заметил в себе какого-то *двойника*.

Это был мой образ, плод моей фантазии, если хотите, вышедший незаметно, но властно из каких-то тайников духа. Он был совершенно такой же, как я, по своему виду, по своей жизни и в то же время *диаметрально* мне противоположен.

Определившись, этот «образ» занял совершенно исключительное положение в моей жизни; точно это было не моё воображение, а *живое*, вполне реальное, хотя и никому не видимое существо.

Он сопровождал каждый шаг моей жизни. Что бы я ни говорил, что бы я ни делал, он диаметрально противоположно по существу, но с безусловной тождественностью по внешности повторял и мои слова, и мои действия. Даже в редкие минуты, когда я уже мог молиться, и он вставал на молитву в моём воображении и молился вместе со мной, как-то рядом в моём сознании, хотя и диаметрально мне противоположно.

Я совершенно не в силах был объяснить себе, почему, но для меня стало ясно, что я должен победить в себе что-то, чтобы освободиться от этого кошмарного образа, что этот образ не так себе, не какое-нибудь нервное расстройство или простое случайное явление. Что это *враг* мой, что между нами идёт борьба не на жизнь, а на

смерть, что здесь таится возможность моей окончательной духовной гибели.

Чем дальше шло время, тем он становился отчётливее и, делая то же, что и я, как-то *ближе* подходил ко мне.

Наконец, была такая одна минута, описать которую я даже приблизительно не в силах, когда я и он встретились лицом к лицу, когда кто-то во мне должен был выбрать или *меня*, или *его*.

Теперь, когда уже всё это стало прошлым, я во всей ясности сознаю, что тогда решалось.

И вот «Записки странного человека» есть *исповедь* моего двойника. Вот почему «Антихрист» в одно и то же время *и роман, и исповедь*. Роман, потому что всё же этот образ есть плод моего воображения, есть моё творческое создание. Исповедь — потому что это не простой продукт воображения, не просто художественный образ, а нечто имеющее более органическую связь с моей душой.

Ответ на второй вопрос — «В каком смысле автор “Записок” назван Антихристом?» — тесно соприкасается с некоторыми основными проблемами христианской философии, излагать которые здесь нет никакой возможности, а потому для тех читателей, которые никогда не интересовались сферой религиозных идей, я боюсь, что он останется не вполне ясным.

Среднее нерелигиозное интеллигентное сознание воспринимает слово «Антихрист» как туманный фантастический образ, созданный в древности и удержавшийся в настоящее время лишь в верованиях тёмных масс, наряду с верой в домовых, русалок, леших и т. д. Вера в Антихриста светских мыслителей, как, например, покойные Вл. Соловьёв или князь С. Н. Трубецкой, либо вовсе игнорируется, либо объясняется теми отвлечёнными чудачествами, которые простительны мистикам-философам, ни к чему не обязывают и вообще дело их личное, нечто вроде какой-нибудь дурной привычки.

В отношении духовных писателей дело решается ещё проще: их вера — заведомая ложь, грубая фальсификация, подобна вере в чудотворные иконы и заздравные молебны.

Никому из представителей нашей средней интеллигенции, которая обычно не берёт на себя труда, по крайней мере, узнать то, что она отрицает, вероятно, и в голову не приходит, что идея Антихриста есть величайшая, можно сказать, мировая идея, придающая всей религиозной концепции и законченность, и красоту, и силу.

Впрочем, если даже откинуть религиозный смысл Антихриста, то и тогда, с чисто исторической точки зрения, чаяние его пришествия вряд ли может быть названо безусловной нелепостью и невежественной, дикой грёзой. Разумеется, лишённое религиозной почвы, оно становится ни на чём не основанным, и потому ненаучным, — но всё же остаётся вполне правдоподобным.

Ведь несомненно, что до пришествия Христа в еврейском народе жила идея Мессии, какого-то лица, с которым связывалась мысль о мировом перевороте; жила смутная надежда, «фантастическая» грёза о каком-то новом Царе нового Царства. И как бы мы ни относились ко Христу — всякий признаёт, что в известном смысле всё же сбылись эти смутные исторические предчувствия.

Почему же Христос, лицо, открывшее собой новую эру христианской европейской истории, мог быть и был, а Антихрист, лицо, которое выступит на окончательную борьбу с Христом, во имя новых откровений, которые также могут оказаться новой эрой, кажется столь же неправдоподобным, как леший или водяной дедушка?

Повторяю, такого рода рассуждение о *допустимости* вполне возможно с какой угодно, самой что ни на есть научной, точки зрения. В лучшем случае здесь можно говорить не о том, что это нелепость, абсурд, а о том, что ожидание такое ни на чём не основано.

Разумеется, совершенно иное отношение к Антихристу с точки зрения религиозного сознания. В идее Антихриста получают своё разрешение, свою законченность самые жгучие вопросы, самые глубокие религиозные переживания: смысл мировой истории, идея прогресса, смысл жизни, вообще отношение к судьбам человечества и вселенной — всё это без Антихриста не получило бы своего разрешения в христианстве, и гигантская по глубине и захвату концепция христианская была бы без вершины, без последнего слова, и всё бы в ней распалось, разрознилось. Христианство не какую-нибудь отдельную полосу жизни, один ряд проблем приводит в стройную систему, оно *всё* разрешает, *всё* включает в себя, всё охватывает, всему даёт смысл, значение, оправдание.

Великое и таинственное слово, *свобода* как творческая беспричинность положена христианством в основу понимания мира.

Свободным актом мир отпал от Божества, раскололся, разрознился, отдельные части самоутвердились, обособились и породили борьбу; длинным мучительным путём мир свободно восстанавливается в своём единстве!

Вся жизнь вселенной, от ничтожной жизни инфузории до сложной жизни человеческого гения, давно вымершие дикие племена и новые народы, ещё не вышедшие на историческую сцену, — всё в идее *богочеловечества* получает свою стройную законченность. Человек уже не теряется в безграничном море отдельно живущих организмов, земля не бледнеет под яркими лучами бесчисленных звёзд, бесчисленных солнечных систем.

Всё начинает жить как стройный, единый организм, разрозненное становится стройным, хаос приходит в порядок. Каждая индивидуальность, каждый атом — всё в идее *богочеловечества* находит и своё место, и свой смысл.

Страшное, беспорядочное чудовище, зачем-то, куда-то несущееся, именуемое жизнью, в христианстве

становится великим, радостным общим деланием. Духовным очам открываются великие судьбы и человечества, и мира. Туманное слово «прогресс» из бесцветного учения о каком-то всеобщем благополучии, которое воздвигнется на «унавоженной» трупами, слезами и кровью почве, получает свой настоящий смысл, который всё же бессознательно, наперекор своим логическим определениям, вкладывали в него всегда лучшие люди.

История мира встаёт как цельный, полный глубочайшего смысла *путь* к окончательной гармонии, к преобразению тленного мира, путь к новой земле и новым небесам, к вечной радостной жизни в Боге.

История мира для христиан — медленное, *свободное* разделение Добра и Зла. Разделение, на одну сторону которого встанет всё готовое к воссоединению с Творцом своим, — на другую всё стремящееся к окончательному самоутверждению.

Всё мировое зло соберётся в один сгусток крови, все детища самоутверждения: страдания, смерть, тление, злоба — всё соберётся в одно место, в одну беспросветную, пустую бездну, и из бездны той выйдет Зверь, страшный образ последнего самоутверждения — Антихрист.

В окончательной борьбе Христа и Антихриста, в победе Добра над Злом и в преобразении материи и всей жизни, как следствие этой победы, получают свой ответ, своё успокоение все вопросы, которыми изболелось человечество и от которых без Христа не излечится никогда! Вопросы о смысле жизни, о смысле страдания, о судьбе мира...

Итак, почему же герой моих «Записок» назван Антихристом? В связи с только что сказанным, на вопрос этот могу ответить так.

Если бы наше зрение было чисто, если бы могли видеть, что всё виденное нами «только отблеск, только тени от незримого очами», если бы мы могли прорвать тленную кору мира, через которую люди прорываются

только ценою смерти, — то мы увидали и поняли бы, что внешний прогресс, внешнее изменение мира обуславливается внутренними процессами, внутренними его изменениями. Мы увидали бы, что состояние Зла не одинаковое в эпоху великого переселения народов и в наше время. Зло «возрастает», оно питается, множится, подымает голову. Зверь ещё не может встать на ноги и выйти из бездны, но уже явственно чувствуется дыхание его.

И если бы мы могли заглянуть в бездну, если бы мы были *над* ней, то опять-таки очам нашим иное бы открылось в эпоху первых веков христианства, иное в эпоху нашу.

Я назвал автора «Записок» Антихристом потому, что, по моему глубокому убеждению, если бы в *настоящее* время мог воплотиться Антихрист, если бы личинка чудовища могла *сейчас* принять человеческий образ — и человек этот написал бы свою исповедь, он написал бы именно то, что написано в «Записках странного человека». Я не говорю, что я *всё* выразил, что я *всё* исчерпал. Но главные черты, мне думается, переданы верно.

Я пришёл к заключению, что мой двойник, мой кошмар, мучивший меня образ, был точное изображение того, что в *настоящее* время «подползает» к миру.

Я теперь осмыслил своё тогдашнее религиозное состояние и с полной ясностью вижу, что та погань в душе моей, которая впервые почувствовала *настоящую* опасность для себя в зарождавшейся во мне религиозной жизни, имела органическую связь с мировым Злом, с коллективным Антихристом, и потому я, восстав, хотя и очень робко, на эту погань и грязь, встретился лицом к лицу с тем, кто был её носителем. Победив в себе этот образ, я, разумеется, не делался безгрешным, но я уже, как *христианин*, выбирал себе Господина. Я окончательно выбирал себе путь.

Таким образом, исповедь моего двойника, исповедь того, кто встал в моей душе защищать свои права, права

на Зло, — есть исповедь *Антихриста* в данный момент его мирового развития.

Ответ на третий вопрос — «Действительно ли я думаю, что узнать Христа можно, только пережив Антихриста?» — в значительной степени вытекает из всего мною уже сказанного.

Да, я действительно думаю, что на пути ко Христу обязательна для всякого в том или ином виде встреча с Антихристом.

Характер этой встречи, время её, вся психология борьбы — всё это зависит от склада душевного, от обстановки, среды и тысячи других внутренних и внешних причин, но встреча всё же будет, и борьба не на жизнь, а на смерть неизбежна.

Без боли, без страшного внутреннего разрыва с «прошлым», «ветхим», «мёртвым» человеком не может родиться новый человек; без мучений Добро не отделяется от Зла. Зло слишком когтисто, чтобы с лёгкостью отдать свою добычу, оно слишком впилося в неё, чтобы можно было вырвать её без крови.

При малейшей попытке жить по-настоящему, при первом, самом робком шаге ко Христу дорогу преграждают чьи-то страшные руки, и без бою, без пытки, не «пережив Антихриста», ко Христу не приблизиться никогда.

Но немногим людям приходится переживать и видеть образ *всего* Зверя, ибо каждый борется и видит перед собой только то, на что Антихрист имеет право, видит отражение только того, что в душе принадлежит Злу. Вот почему, считая «странного человека» за тип, воплощающий *основные* черты, религиозную сущность Антихриста в данную эпоху, я убеждён, что в большей или меньшей степени, в том или ином отношении, но «странного человека», безобразного двойника моего, всякий, хоть краешком одним, но пережил.

В заключение позволю себе сказать следующее.

Я признаю вполне искренно, что книга моя имеет много литературных погрешностей. Всё же я считал и считаю опубликование её необходимым делом своей религиозной совести. Религиозный опыт мой не мог и не должен принадлежать одному мне.

Да, конечно, с Антихристом боролись, борются и будут бороться многие люди, бесконечно меня достойнейшие. Несомненно, что и Гаршин, вырвавший из сердца своего красный цветок, и Глеб Успенский, великий страдалец за народ, не говоря уже о «полубесноватом-полусвятом» Достоевском или великом философе земли русской Вл. Соловьёве, — все они боролись ни с чем иным и в себе, и в жизни, как всё с тем же зверем — Антихристом.

И я был бы безумцем, если бы осмелился думать, что хоть тысячную долю сделал в этой борьбе того, что сделали они.

И всё же пережитое мной *индивидуально*, впервые, не как литературные перепевы, а плотью и кровью своей, я обязан был передать другим.

Если написал без достаточного таланта — пусть простят: я выполнил свой долг, насколько хватило сил.

СМЕРТЬ

Драма в трёх действиях

Посвящается моей матери

Тот, кто видел лицо смерти,
не мог не видеть при свете
молнии и лица истины.

Габриеле д'Аннунцио
«Джиоконда»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Эдгар Гедин, знаменитый композитор.

Ванда, его жена.

Арнольд Реллинг, молодой человек, 22 года.

Карл Виндиг, композитор.

Фанни Виндиг, его жена.

Садовник.

Девочка с фиалками.

Два мальчика.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Большая, со вкусом обставленная комната на даче Эдгара Гедина. Несколько бюстов, картины, мягкая мебель. Стеклопанная дверь на балкон отворена. По обе стороны двери окна. Они тоже отворены. Видны цветущие яблони. Яркий, солнечный день. Ванда стоит против окна, вся залитая солнцем. Ей не более двадцати трёх лет. Черты лица строгие, почти классические; фигура стройная, гибкая, сильная. Движения то слишком сдержанны, то преувеличенно развязны, точно она стыдится своей молодости, красоты, своего тела и постоянно силится преодолеть свою стыдливость. Одета с большим вкусом. В дверях Эдгар Гедин, высокий, сухой, без бороды и усов, с сильной проседью. Он в изящном летнем костюме, в руках мягкая шляпа с широкими полями.

Гедин. Я пойду к морю.

Ванда *(продолжая смотреть в сад)*. Ты что-то хотел сказать?

Гедин. Да-да! Надо велеть садовнику обрезать яблоню, которая у моего окна.

Ванда. Хорошо.

Гедин. Цветы обсыпаются прямо на стол.

Ванда. Хорошо. Я скажу.

Гедин уходит. Тишина. Слышно, как в саду поют птицы.

(Кричит в сад). Эдгар! Ты забыл ключ. Подожди, я сейчас... *(Берёт со стола ключ, бежит в сад.)* Как же вы прошли? Разве калитка не заперта?

Арнольд *(из сада)*. Вы думаете, я не умею лазить через заборы?

Звонкий смех.

Это сломало ветром. Надо сделать подпорку, она не погибнет.

Ванда (*из сада*). Какое солнце!

Арнольд (*на балконе*). Профессор, по обыкновению, пошёл гулять?

Ванда. Да. Он всегда гуляет перед вечерними занятиями.

Арнольд (*входя в комнату*). А экскурсия наша опять не состоялась.

Ванда. Это какой-то миф.

Арнольд. Наоборот, всё чрезвычайно просто, если бы я только мог решить. Я никогда ничего не могу решить.

Ванда. Вам нужно брать пример с Эдгара.

Арнольд. Да... Я ему так завидую.

Ванда. Тому, что он аккуратно, каждый день, ходит гулять?

Арнольд (*серьёзно*). Всеми... У профессора есть определённое призвание — это всё.

Ванда. О, когда вам будет пятьдесят лет...

Арнольд (*перебивая*). Напротив, старость только увеличивает сомнение.

Ванда (*задумчиво*). Да, в Эдгаре есть что-то страшно определённое.

Пауза.

Арнольд. Хорошо здесь работается профессору?

Ванда. Он кончает последнюю часть своей симфонии.

Арнольд (*с энтузиазмом*). Это будет его величайшее творение. Он говорит о своей симфонии, как пророк.

Ванда. Последние дни Эдгар работает по ночам.

Арнольд. Какое счастье работать ночью! Творить новую, свободную жизнь, когда всё погружается в сон. Один на вершине горы. И кругом море звуков. Волшебный мир звуков. Незримая, таинственная жизнь.

Ванда (*тихо*). От симфонии Эдгара веет ужасом смерти.

Арнольд. А разве выразить в звуках весь ужас смерти — это не значит поднять жизнь на новую высоту?

Ванда (*встаёт*). Я совсем забыла. (*Подходит к балкону и кричит в сад.*) Садовник!.. Ах, ты здесь. Надо подрезать яблоню у окна профессора.

Садовник (*из сада*). Срубить совсем?

Ванда. Нет — чтобы цветы не падали на его стол.

Садовник. Хорошо, хорошо. Сейчас можно будет сделать.

Арнольд (*подходит к окну*). Какая роскошь!

Ванда молча смотрит в сад.

Кажется, никогда ещё так не цвели яблони.

Ванда. Начали обсыпаться. (*Пауза. Делает движение, как бы купаясь в солнечных лучах.*) Какое солнце! Только весной бывает такое солнце.

Арнольд. Профессору следовало бы гулять в саду. В цветах столько музыки. Если уметь прислушаться к этому саду, можно было бы услышать не одну симфонию.

Ванда (*идёт на прежнее место*). Эдгар ходит гулять к морю.

Арнольд. Вы удобно устроились. От вас до моря, я думаю, можно дойти минут в десять.

Ванда. Летом я каждый день буду ходить купаться. Пойдите, однако. Я сегодня всё забываю. Вы, может быть, голодны?

Арнольд. Говоря откровенно, да. Дома пообедать не успел.

Ванда (*быстро встаёт*). Вы бы сказали.

Арнольд. Я тоже забыл.

Ванда уходит. Слышно пение птиц. Кричит кукушка.

Сколько я проживу лет... (*Считает.*) Раз, два, три, четыре... (*небольшая пауза*) пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать... (*Пауза.*) Ах ты, глупая...

Ванда входит с подносом.

Почему вы сами?

Ванда. Эдгар опять прогнал горничную.

Арнольд (*ест очень быстро*). Весной у меня развивается какой-то безумный аппетит.

Ванда (*ласково смотрит на него*). Молодость.
Арнольд (*улыбается*). Мы с вами почти ровесники.
Девочка (*из сада, в окно*). Фиалок не возьмёте ли?
Ванда. Фиалки! (*Быстро идёт к окну.*) Совсем распустились! (*Берёт букет. Прижимает его к лицу.*)

Пауза.

Арнольд. Вы не заметили... сегодня какой-то особенный день...

Ванда (*тихо, не отрываясь от букета*). Заметила...

Арнольд. Что это?

Ванда. Не знаю... Как будто бы всё оживает. Всюду цветы и солнце!

Пауза.

Вы никогда не учились музыке?

Арнольд. Нет. Но иногда мне кажется, что я создан быть композитором.

Ванда (*шутливо*). Вы слышите симфонии?

Арнольд. Нет, не симфонии. Но какие-то ликующие, стремительные мелодии.

Ванда. Фиалки совсем живые...

Арнольд (*внезапно*). Вот смотрю я на вас... Нет, я, кажется, с ума сошёл.

Ванда (*смеётся*). Ну?

Арнольд. Вы не рассердитесь?

Ванда. Нет.

Арнольд. Как вы могли выйти замуж за профессора?

Ванда (*покраснев и смешавшись*). То есть, почему... Я не совсем понимаю...

Арнольд (*сконфузившись*). Простите, Бога ради... Это, может быть, ужасно глупо.

Ванда. Нет, право. Почему вы так сказали?

Арнольд (*восторженно*). Вы сегодня точно цветущая яблоня!

Ванда (*спокойно*). Эдгар был моим учителем.

Арнольд. Да-да, знаю... Как можно около вас писать такую симфонию и около профессора... так расцвести...

Ванда (*снова краснея*). У Эдгара есть какая-то великая идея, к которой он стремится всю свою жизнь с железной непреклонностью.

Арнольд (*задумчиво*). Он достигнет её в своей симфонии.

Ванда. Он стал рассеян. Говорит точно сам с собой. Кругом никого не замечает.

Арнольд. Великий художник и не может никого замечать. Он вечно на ледниках, где свистит ветер... Блестит молния... Поёт хор таинственных голосов... На земле люди такие незаметные...

Ванда. Вы про другое... У Эдгара совсем не то...

Арнольд (*с живостью*). Это грубейшая ошибка, что наша жизнь не очень разнообразна. Жизнь должна быть разнообразной, должна искриться миллионами огней. Но у нас всего-навсего какой-то семисвечник.

Ванда. Как вы не похожи на Эдгара!

Арнольд (*не слушая*). Вот я о себе вам скажу. Кто такой я вот здесь, в нашей теперешней жизни? Никто. Мне нет места. Вы скажете — молодость. Нет, нет! Это совсем не то. Я художник. Я чувствую в себе все силы художника. Моё воображение создаёт волшебные грёзы. Я вижу красоту в каждой былинке. Она вливается в мою душу, как солнечный луч в распускающийся цветок. Мои уши слышат неведомые простым людям мелодии. Творческие силы поднимают меня, как лёгкую птицу — широкие белые крылья... Я живу не одну свою жизнь — я изживаю десятки воображаемых жизней... Но я не писатель, я не музыкант, я не живописец, не зодчий. И не потому, что я не учился. Нет. Я мог бы учиться — и был бы плохим музыкантом, плохим поэтом, посредственным живописцем. Я чувствую, что мои силы могут найти своё приложение в какой-то совсем другой жизни; что здесь, у нас, где всего семь свечей, моему огню нет места. Это я, мужчина. Формы, в которые может вылиться моя деятельность, всё же разнообразнее. А женщина?

Ванда. Да, да... Я сама часто думала совсем так же. Эдгар говорит, что всё в жизни надо понимать через смерть.

Арнольд. Может быть. Может быть, для того, чтобы понять, какой жизнь должна быть. Но нашу семи-свечную жизнь и понимать нечего. Учительница, кассирша, фельдшерица, музыкантша, жена, прислуга, артистка, швея... ну ещё пять, шесть, десять этикеток... Вот и всё. Но где же, в чём же выразится вся душа женщины, со всеми безграничными своими силами? Нет, нужно всю жизнь перестроить сверху донизу. Я не о политических и социальных побрякушках говорю. Всю, всю! Там, внутри, чувствуешь, как горит, переливается самоцветными камнями какая-то скрытая жизнь. А здесь — учительница, переводчица, жена, кассирша... Где же те силы, которые дадут возможность наконец прорваться на свет Божий великой симфонии, разрывающей на части человеческую душу? Если бы только когда-нибудь это случилось, какое бы безграничное счастье ожидало человечество. Земля бы наконец примирилась с небом. Симфония понеслась бы от земли к небесам. И воочию чудо свершилось бы: и земля и небо стали единым, великим целым!..

Ванда (*возбуждённо смеясь*). Я сделала открытие.

Арнольд (*серьёзно*). Открытие?

Ванда. Могу указать вам ваше призвание.

Арнольд. А именно?

Ванда. Вы — проповедник.

Арнольд (*меняя тон*). У меня одно время была мечта поступить на сцену.

Ванда. Вы, на сцену?

Арнольд. Да. Мне казалось, что это моё призвание. Я часто мысленно сочинял драмы и сам же разыгрывал главного героя. (*Улыбается.*) Мать всегда замечала во мне перемену и говорила: «Ты, кажется, сегодня в новой роли». И до сих пор иногда я чувствую себя в жизни, как на сцене.

В а н д а. Теперь я вижу, что вы художник, значит, настоящей жизни не знаете.

А р н о л ь д. Что вы! Да я уверен, что профессор знает жизнь как никто другой.

В а н д а. Вы думаете?

А р н о л ь д. Уверен. Только великие художники знают настоящую жизнь.

В а н д а. Он о жизни говорит с ненавистью.

А р н о л ь д. Это не ненависть, а ревность.

В а н д а *(с чувством боли)*. Ужели Эдгару жизнь пропела симфонию смерти? Вы слышали вторую часть?

А р н о л ь д. Нет.

В а н д а. Это песнь самой смерти! *(Тихо.)* Иногда мне кажется, что нельзя жить. Там, на горе. Если ветер поёт всегда такую песнь.

А р н о л ь д. Жизнь всякого художника — загадка.

В а н д а. Которую он способен разгадать менее, чем кто-нибудь другой.

А р н о л ь д. Во всяком случае, он гибнет, чтобы разгадать её.

С а д о в н и к *(из сада)*. Спил. Только не знаю, довольно ли.

В а н д а *(подходит к окну)*. Там две большие ветви в цвету. Ты обе спилил?

С а д о в н и к. Нет, одну. Та, которая повыше, до окна не достаёт.

В а н д а. Ну, хорошо. Если понадобится, другую можно потом.

А р н о л ь д *(подходя к окну)*. Нынешний год вам придётся нанимать караульщика.

В а н д а. Вы думаете, так много будет яблок?

А р н о л ь д. Ещё бы! Весь сад в цвету. Деревья совсем без листьев, все белые.

В а н д а. Половина пустоцвет. *(Наклоняется в окно, срывает ветку яблони.)*

А р н о л ь д. Видите — завязь.

В а н д а *(нюхает)*. Почти не пахнут.

Арнольд наклоняется и тоже нюхает. Пауза. Они стоят молча, оба залитые солнечными лучами.

Если бы можно было поверить, что новая жизнь действительно будет...

Арнольд. Будет.

Ванда. И мы доживём? При нас?

Арнольд. Как хочется сказать — да!

Ванда (*грустно*). И не можете?

Арнольд. Себе говорю. Твержу каждый день.

Ванда. А других не хотите обманывать?

Арнольд. Всё равно не поверят.

Ванда. Смотрите: это пустоцвет. (*Обрывает цветок и рассыпает лепестки на подоконник.*)

Арнольд. Надо в себе услышать жизнь, которая рвётся наружу.

Ванда. И тогда?..

Арнольд. Тогда нельзя не поверить в её торжество.

Ванда. А смерть?

Арнольд. Что смерть?

Ванда. Смотрите, они обсыпаются — дня через два сад отцветёт.

Арнольд. Надо прислушаться к своей душе.

Ванда. Там не только жизнь, но и смерть.

Арнольд. Я смерти не слышу.

Ванда. Никогда?

Арнольд. Когда слышу жизнь... А вы?

Ванда молча стряхивает лепестки на пол. Пауза.

Ванда (*сама с собой*). Вы совсем непохожи на Эдгара.

Пауза.

Арнольд (*решительно*). Я хотел вам задать вопрос.

Ванда (*возбуждённо смеётся*). Опять. О том же?

Арнольд (*волнуясь*). Не смейтесь. Это совсем не любопытство. Я должен знать. Только вы не сердитесь.

Ванда (*смеясь*). Если нельзя ответить, я не отвечу. Вот и всё... (*Быстро идёт к балкону.*) Фанни Виндиг... ах, оба!..

Входят Карл Виндиг с женой. Совершенно одинакового роста, оба низенькие, довольно полные. Он в очках, с седыми бакенбардами, без усов. Она в чёрном чепце. Похожи друг на друга. Оба улыбаются доброй, радостной улыбкой.

Фанни. Вот и мы, госпожа профессорша!.. (Целует её.)

Карл. А где же маэстро?.. (Пожимает руку Арнольду.)

Вы, кажется, доктор?

Арнольд. Нет. Я без определённых занятий.

Ванда. Художник.

Карл. А... Это тоже хорошо! Очень, очень рад...

Фанни (оживлённо и несколько восторженно). Ну что у вас за сад, что за сад! Прямо очарование! Весь в цвету. Я даже такого цвета и не видала.

Карл. Масса птичек. Целый концерт.

Фанни. Мы с Карлом не удержались и прошлись по саду.

Карл. Вы по воскресеньям пускаете гулять детей из колонии?

Ванда. Да, здесь такой хороший воздух. И они очень бывают довольны.

Фанни. Воображаю восторг детей!

Карл. А солнце печёт, как летом.

Ванда. Не хотите ли выпить воды с сиропом?

Фанни и Карл смотрят друг на друга

Карл (улыбаясь). Я бы не отказался.

Ванда. Ну конечно. Ведь так жарко.

Ванда уходит. Молчание. Карл продолжает улыбаться.

Карл (к Арнольду). Вы... вы... молодой человек... простите, я не знаю, как ваше имя.

Арнольд (просто). Арнольд.

Карл. Постоянный житель здешний?

Арнольд. Нет, я живу в городе.

Карл (улыбаясь). Музыкант?

Арнольд (тоже улыбается). В душе.

Карл *(смеётся)*.

Фанни. Все молодые люди — музыканты в душе.

Карл. А все музыканты — в душе юноши.

Оба смеются. Ванда приносит поднос с водой, стаканами, сиропом и ставит его на стол.

Ванда. Я к вам вчера собиралась. Да всё как-то некогда.

Карл. Всё ухаживаете за профессором.

Смеётся и пьёт воду. Наливает стакан и подаёт Фанни.

Фанни *(берёт стакан)*. Молодые люди и должны ухаживать за стариками.

Ванда. В таком случае я отказываюсь от молодости.

Карл *(сияя)*. Скоро ли маэстро подарит нас новым творением своего гения?

Фанни. Я благоговею и боюсь его музыки. Это так глубоко, так глубоко, что я почти не могу!..

Ванда. Эдгар через неделю кончит.

Карл *(с умилением)*. Эдгар — великий композитор.

Фанни. Карл посвятил ему свой новый вальс.

Карл *(конфузясь)*. Как же, как же... Наднях занесу вам.

Ванда. И сыграете.

Фанни. Очень миленький вальс. «Белые цветочки». Уж признаюсь: мы пробовали с Карлом танцевать под него. *(Смеётся)* Карл насвистывал, а я аккомпанировала.

Карл *(совсем сконфузившись)*. Ну, не совсем так...

Смеются.

Арнольд. Вы давно знаете профессора?

Карл *(живо)*. Вместе учились. Как же. В одной консерватории.

Фанни. Как сейчас помню его молодым. Мы боялись его до смерти. И все были влюблены. *(Смеётся)*

Ванда *(серьёзно)*. А он?

Карл. Он был тогда влюблён в первую свою жену.

Фанни. Бедная, бедная Беата.

Ванда *(к Арнольду)*. Вы знаете, что первая жена Эдгара отравилась?

А р н о л ь д (*поражённый*). Нет. Давно он овдовел?

К а р л. Через год после свадьбы.

Ф а н н и. У неё должен был родиться маленький.

И представьте, она отравилась за несколько дней!

В а н д а (*в сильном волнении*). Я никогда не слыхала этого!

К а р л. Эдгар не любит вспоминать...

В а н д а. Вы говорите, она отравилась за несколько дней?

К а р л. Да. Уехала из города. У них была другая дача на самом берегу моря. И там отравилась.

Ф а н н и. Говорят, она была ненормальная.

В а н д а. Эдгар никогда мне этого не рассказывал.

К а р л. Как же. Мы потом долго не оставляли Эдгара одного, боялись катастрофы. Он сделался точно безумный. И ночью и днём мы охраняли его. Слава Богу, всё кончилось благополучно. (*Улыбается.*) Мы сохранили миру гения.

Пьёт. Наливает стакан и подаёт Фанни.

В а н д а (*в раздумьи*). Вы слышали вторую часть его симфонии?

К а р л. Нет. Маэстро держит от нас, композиторов, своё творение в тайне. Бойтся, что мы перехватим. (*Смеётся.*)

Ф а н н и. Нам тоже принесли фиалки.

В а н д а. Через несколько дней симфония будет кончена.

Ф а н н и. Ну что за аромат из сада! Прямо очарование!

Пауза. Поют птицы.

К а р л (*улыбается*). Концерт.

Пауза.

А, сам профессор. (*Смотрит в окно.*) Идёт, по обыкновению, без шляпы. Ничего перед собой не видит. Витает за облаками. Ну вот, споткнулся... (*Смеётся.*)

Входит Г е д и н. Рассеянно кладёт шляпу на стул. Несколько мгновений как будто бы никого не узнаёт.

Г е д и н. А, Карл, здравствуй... здравствуйте... Ты давно, да?..

К а р л (*с нежностью*). Только что пришли. Ты, однако, устал. (*С тревогой смотрит на него.*) Бледный какой.

Г е д и н. Море сегодня шумит, как перед бурей... Совсем свинцовое.

К а р л. Тебе надо развлечься: хочешь, я принесу свой новый вальс?

Г е д и н. Спасибо... друг мой... спасибо... Сегодня море изумительное...

Ф а н н и. От такого сада можно и к морю не ходить.

Г е д и н (*смотрит, как бы не понимая*). Да-да, конечно...

К а р л. Ты бы отдохнул.

Г е д и н. Ещё два дня... (*Восторженно.*) Ещё два дня, Карл, и труд моей жизни завершён!

К а р л (*полушутя*). Ну да, все композиторы так думают: у них всякая новая вещь — последняя.

Г е д и н (*строго*). Я не напишу больше ни одной ноты.

А р н о л ь д (*подходит к профессору*). Вы кончите симфонию через два дня?

Г е д и н (*как будто бы сам с собой*). Да-да... Ещё две ночи.

А р н о л ь д. Вы назовёте её симфонией смерти?

Г е д и н (*не слушая*). Остался заключительный гимн...

В а н д а (*тихо*). Я слышала вторую часть.

А р н о л ь д (*с чувством*). Вы создали великое произведение, профессор.

Г е д и н. После этой симфонии можно сжечь всё, что я писал до сих пор.

К а р л (*улыбаясь*). Ну, весь ты в этих словах!

Г е д и н (*сурово*). Да, да, сжечь... Всё до последнего лоскутка.

К а р л. Беда с этими героями.

Г е д и н (*торжественно*). Только теперь я понял всё!

Арнольд (*с энтузиазмом*). Это будет первое открытие новой жизни.

Кричит кукушка.

Ванда (*у окна*). Сколько я проживу лет? (*Считает.*)
Раз, два, три...

Гедин. Мне осталось, может быть, самое трудное, но оно уже звучит в моей душе.

Ванда. Я проживу три года. (*Нервно смеётся.*)

Арнольд. А я одиннадцать.

Карл (*к Эдгару*). Ты задумал нечто колоссальное.

Гедин (*говорит, как бы не видя никого перед собой*). Я хочу показать миру смерть. Во всём безумном её величии. Я хочу пропеть гимн вечной смерти. Её никто не знает, как я. Я слышу её страстные поцелуи. Они обжигают, как лёд. Смерть звучит во всём. Прислушайся. Листья шелестят... жужжат пчёлы... Детский смех... Везде она. В небесной синеве, в цветах, в людях, в море... Во всём, что дышит и радуется. Бездонный, безбрежный океан звуков. Прислушайся... Всё поёт вокруг нас... Каждый атом дрожит как струна. Миллионы голосов. Подымись над миром. Ты услышишь: эти голоса сольются в великую симфонию смерти. Вселенная — грандиозный оркестр, восставший из хаоса с единою вечною целью — сыграть симфонию смерти.

Карл хочет что-то сказать, Арнольд удерживает его.

(*Совершенно забыв окружающих.*) Раньше я слышал лишь отдельные смутные звуки. Ловил их. Искал их. Писал бессильные подделки. Вся симфония ускользала. Дразнила, манила. Звучала где-то совсем близко. Я ждал терпеливо. Ждал, изнывая от нетерпения. Когда же?! Когда же?! И вот внезапно в моей душе прозвучала Вечность. Я узнал. Я боялся верить тому, что слышу. Не разрозненные голоса, не чудовищный хаос — гармонию, законченную, как мир, услышал я... Это пели белые яблони, ночные звёзды, морской прибой... И земля и

небо... Всё растворилось и стало песнью, и эта победная песнь прозвучала в моей душе. *(Тихо.)* Я слышал, и чудилось мне, что там, в беспредельных пространствах, эти звуки застывают неподвижно; становятся видимы для глаз... образ вечной смерти встаёт... *(Приходя в себя.)* Карл... Да, ты принёс свой вальс, спасибо, друг... Я действительно устал...

Карл *(машет рукой)*. Ну, что там вальс... Эдгар, Эдгар!.. Ты гений... но не понимаю я... Вот сад цветёт. Птички поют. Где же тут симфония смерти? *(В сильном волнении, не находя слов.)* Благоухание... Сам говорит — детский смех... Живёт всё... ликует... Я не понимаю... Я не понимаю...

Гедин. Да-да, Карл... я знаю... знаю...

Карл *(от волнения совершенно не зная, что сказать)*. А птички, птички, я тебя спрашиваю...

Арнольд *(подходит к профессору)*. А потом?

Гедин *(пристально смотрит на него)*. Это всё.

Арнольд. Человечество услышит симфонию, а потом?..

Гедин *(медленно)*. Когда прозвучит последний гимн смерти... Она воцарится безраздельно... Она будет — всё!

Арнольд *(тихо)*. Я понимаю.

Пауза.

Девочка *(из-за окна)*. Фиалок не надо ли?

Ванда *(нервно)*. Давай, давай.

Подходит к окну и берёт большой букет фиалок. Все смотрят на неё.

Гедин. Как твоё здоровье, Ванда?

Ванда. Здоровье?.. Да я и забыла... Давно всё прошло.

Гедин. У тебя цветущий вид. *(Пристально смотрит на неё.)*

Ванда. Ты что?

Гедин. Мне показалось, у тебя румянец.

Ванда *(с нервным смехом)*. Не полагается?

Арнольд. Госпожа профессорша не хочет стариться.

Г е д и н. В самом деле?

В а н д а *(смеётся)*. Да, я ещё хочу пожить.

Г е д и н. Ты, может быть, по крайней мере, не откажешься поухаживать за стариком?

В а н д а *(молча рассматривает букет)*.

Г е д и н. Простите... я пойду работать...

Идёт к двери.

В а н д а *(смеётся)*. Эдгар, Эдгар!..

Г е д и н *(останавливается и с удивлением смотрит на неё)*.

В а н д а *(продолжая смеяться)*. Держи! *(Бросает ему букет.)*

Букет ударяется о плечо Гедина и падает на пол.

В а н д а *(серьёзно)*. Не поймал...

Г е д и н молча уходит. Неловкое молчание.

К а р л. Вы согласны, господин Реллинг, с профессором?

А р н о л ь д. Ни с одним словом... Но профессор имеет право так говорить.

К а р л *(быстро приходя в волнение)*. Как это возможно?! Всюду симфония смерти. Ну, а птички, я вас спрашиваю? *(Махнув рукой.)* Нет, он и сам слышит жизнь. Просто это капризы, или как там...

А р н о л ь д *(подходит к окну)*. Для профессора этот сад — венок живых цветов над чьей-то великой могилой...

Пауза.

Ф а н н и. Я не могу слышать без улыбки детский смех.

Слышатся звуки рояля. Длинная пауза. Музыка обрывается.

К а р л. Ну, нам пора.

Ф а н н и. Мы ещё пройдемся по вашему очаровательному саду. *(Целует Ванду.)*

К а р л *(гружески Арнольду)*. Заходите к нам. Мы с Фанни поиграем в четыре руки. Наша дача на верхнем шоссе.

А р н о л ь д. Я зайду. С удовольствием.

Все идут к двери. Снова слышатся звуки рояля.

Фанни (*прощаясь у двери, смотрит на Арнольда и на Ванду улыбаясь*). Ну совершенно жених и невеста!

Фанни и Карл смеются.

Оба. Прощайте. (*Уходят.*)

Ванда и Арнольд стоят молча. Звуки рояля слышнее.

Арнольд. Пойдёмте в сад.

Оба медленно проходят в дверь. Музыка обрывается. Сцена некоторое время пуста.

Гедин (*из дальней комнаты*). Ванда!.. Ванда!.. (*Ближе.*) Ванда! Ты где?.. (*Быстро входит, крайне взволнован. С ужасом оглядывается назад, смотрит по сторонам. Кричит в сад.*) Ванда!.. Где же ты!..

Ванда (*из сада*). Сейчас иду. (*Торопливо входит в комнату. С беспокойством.*) Что ты?

Гедин (*с трудом подавляя волнение*). Ничего... Я не мог найти папку... (*Быстро берёт её за обе руки.*) Ванда... когда я работаю... ты должна сидеть в моей комнате!.. Слышишь!..

Ванда (*отступая, тихо, но твёрдо*). Я не могу...

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Рабочий кабинет профессора. В глубине комнаты рояль. Около него кресло с высокой спинкой. Небольшой стол, заваленный нотной бумагой и рукописями. У окна большой письменный стол. На стене старинные часы с маятником. Г е д и н задумчиво ходит по комнате.

В а н д а *(входит в кабинет)*. Я не помешала?

Г е д и н *(продолжая ходить)*. Нет-нет, нисколько... Я не написал со вчерашнего вечера ни одной ноты.

В а н д а. Ты устал, потому и не работается.

Г е д и н. Я похож на безумного скупца над грудой золота. *(Возбуждённо.)* Ты не находишь?..

В а н д а *(неохотно)*. Нет, не нахожу.

Г е д и н. Мне жалко расстаться со своим сокровищем. То, что написано, — то не моё.

В а н д а. Ты говоришь только о своей симфонии.

Г е д и н *(не слушая)*. Ещё несколько дней.

В а н д а. Может быть, затворить окно? Сыро из сада.

Г е д и н *(не отвечая)*. Это последняя отсрочка... Я не заметил, как прошла ночь.

В а н д а. Эдгар, мне надо поговорить с тобой.

Г е д и н *(останавливаясь)*. В чём дело, мой друг?

В а н д а. Серьёзно поговорить.

Г е д и н. Ну, да... я понимаю...

В а н д а. Я хотела дождаться, когда ты кончишь свою работу.

Г е д и н. Дождаться, когда я кончу...

В а н д а. Да, потому что мне не хотелось расстраивать тебя.

Г е д и н *(резко)*. Что-нибудь о любви?

В а н д а *(холодно)*. Да. О любви.

Г е д и н *(раздражаясь)*. Неужели не всё ясно: я люблю тебя. Ты знаешь. Не могу же я клясться, как какой-нибудь школьник...

В а н д а *(с иронией)*. Нет, лучше говори о симфонии. Ты только тогда похож на самого себя.

Г е д и н. Ну, постой. Давай о любви. Ты хочешь знать, люблю ли я тебя? Да, люблю. Ты замечаешь во мне холодность? Но я не мальчишка, чтобы изливаться с утра до ночи.

В а н д а. Если ты будешь говорить в таком тоне — лучше не говорить вовсе.

Г е д и н. Но, дорогая Ванда, я же не отказываюсь. Если ты находишь нужным...

В а н д а. Ты ошибаешься. Я вовсе не хотела спрашивать тебя, любишь ты меня или нет.

Г е д и н. Но тогда я не понимаю...

В а н д а. Я тебя достаточно спрашивала об этом. Но ты, Эдгар, ни разу не поинтересовался узнать, люблю ли я тебя по-прежнему.

Г е д и н *(останавливается против Ванды)*. Я никогда не сомневался...

В а н д а. Мы должны объясниться. Вчера я почувствовала, что нельзя откладывать.

Г е д и н. Говори. Я слушаю. *(Ходит.)*

В а н д а. Я много думала о нашей жизни с тобой. С первого дня свадьбы. Ты работал. Уносился на вершины гор. А я всё думала. Ты не замечал меня, а я с тебя не спускала глаз. Всё, что я хочу сказать, пережито мной за эти три года нашей совместной жизни. Но ещё несколько дней тому назад я не сумела бы сказать тебе ясно и просто о своём решении.

Г е д и н. Что же произошло за эти несколько дней? Впрочем, я знаю.

В а н д а *(холодно)*. Что?

Г е д и н *(желчно)*. Ты — молодая женщина. Я тебя ни в чём не виню. Это так понятно. Все делают то же самое.

В а н д а. Выражайся яснее.

Г е д и н. С удовольствием. Тебе нужен молодой муж. Я старик. Я ещё жив. Остаётся завести молодого любовника.

В а н д а *(с холодной брезгливостью)*. Ты почти прав.

Г е д и н. И прекрасно. Я-то тут при чём? Пожалуйста!

В а н д а *(с изумлением)*. Это говорит гениальный художник...

Г е д и н *(резко)*. Это говорит старый муж.

В а н д а. Да, да... старый, обыкновенный слабый, злой старик.

Пауза.

Г е д и н *(нетерпеливо)*. Но в чём же дело, однако?

В а н д а. Когда я выходила замуж, я не обманывала тебя, Эдгар. Я жила твоим творчеством. Мне так хотелось быть около тебя. Служить тебе. Ты творил сказочную жизнь... Жизнь! вот что тянуло к тебе. Быть источником вдохновения для великого художника — может ли быть большее счастье, можно ли жить более полной, более яркой жизнью. *(Грустно.)* Ведь ты говорил мне, Эдгар, что я твоя муза...

Г е д и н *(тихо)*. Я тоже тебя не обманывал. Ты была и есть источник моего вдохновения.

В а н д а. Теперь?

Г е д и н *(взволнованно)*. Да. Теперь. Я не могу и не хочу объяснять тебе этого. Я не видал, чтобы в ком-нибудь так трепетала жизнь, как в тебе. Ты часто опускаешь ресницы, потому что боишься блеска собственных глаз. На твоих щеках не бывает румянца, но твоя кровь жжёт тебя самоё... Ну да, да... теперь...

В а н д а *(с изумлением)*. Ты так говоришь... И я, я была музой твоей последней симфонии?..

Г е д и н *(резко)*. Да.

В а н д а. Я отказываюсь понимать тебя.

Г е д и н. Это совсем и не нужно. Ты хотела со мной говорить о деле.

В а н д а. Ты думаешь, мне легко было жить эти три года? С каждым годом чувствовать себя всё больше и больше ненужной для тебя. Отрываться от жизни. Терять под ногами почву. Падать в какую-то старую ненужную бездну... Я умирала, задыхалась на твоих глазах — я гибла... А ты...

Г е д и н *(в сильном волнении)*. Да, да, это так!

В а н д а. Ты жил на пустынном острове. Среди моря звуков, слышных одному тебе. Я перестала их слышать... Меня окружила безмолвная пустота...

Г е д и н. Но что ты хочешь? Это так. Это должно было быть так.

В а н д а *(пристально смотрит на него)*. Ты никогда мне не говорил, что Беата отравилась за несколько дней перед тем, как у неё должен был родиться ребёнок.

Г е д и н *(поражённый)*. Вот что произошло за эти дни...

В а н д а. Ты никогда мне не говорил об этом.

Г е д и н *(с силой)*. Она отравилась... слышишь!.. *(Меня тон.)* Я всё ещё не могу понять, какое у тебя ко мне дело.

В а н д а. Я слышала вторую часть твоей симфонии. Вчера ты говорил о ней. Пусть ты гений. Я ничего не понимаю. Во мне всё содрогалось от твоих слов. Пойми. Пойми... Вот ты говоришь, во мне скрытая жизнь. Она рвётся наружу. Она тянулась к тебе, Эдгар. Теперь... теперь нет у меня врага более ненавистного, чем ты. Когда ты играл, ты казался мне безобразным трупом, который протянул ко мне застывшую руку. Я едва не лишилась сознания.

Г е д и н *(злобно)*. Симфония написана.

В а н д а. Пусть... Но я больше не могу жить с тобой, я уйду... я буду жить...

Г е д и н. Живи... где хочешь... Через три дня зазвучит моя песнь...

В а н д а *(с ужасом смотрит на Эдгара)*. Я понимаю, почему Беата отравилась.

Г е д и н *(со смехом)*. Наконец-то ты поняла!..

Пауза.

(Прислушиваясь). Ты не слышишь?.. Они не хотят ждать. Они зазвучат вопреки моей воле. Ещё три дня. Я хочу иметь отсрочку на три дня.

В а н д а. Я завтра же уезжаю отсюда.

Г е д и н. Это и есть твоё дело?

В а н д а *(его тоном)*. Наконец-то ты понял.

Г е д и н *(раздражённо)*. Ты хочешь устроить мне скандал.

В а н д а. Всё равно.

Г е д и н. Но это можно было бы обставить более или менее прилично.

В а н д а. Это твоё дело.

Г е д и н. Да, но это зависит от тебя.

В а н д а. Что ты хочешь?

Г е д и н. Я хочу, чтобы твой отъезд не имел вида какого-то бегства.

В а н д а. Ну, пусть бегство.

Г е д и н. Ты могла бы уехать путешествовать. К родным. Чтобы не было никаких сплетен.

В а н д а. Мне всё равно.

Г е д и н *(грубо)*. Мне это не всё равно. Не хватало бы ещё, чтобы ты уехала с этим молокососом... как его... Арнольд Реллинг... или как там. Я вправе требовать. Ты можешь заводить себе любовников после.

В а н д а *(с презрительной иронией)*. Великий композитор!

Г е д и н. Старый муж, от которого бежит молодая жена.

В а н д а. Который через три дня окончит величайшее произведение.

Пауза.

Г е д и н *(тихо, устало)*. Можешь ехать... как тебе угодно.

Ванда хочет уходить. Дверь открывается, входят Карл, Фанни и Арнольд.

К а р л. Наконец-то мы вас разыскали.

Фанни (*подаёт Ванде букет фиалок*). Принесли, когда уж мы собрались идти к вам.

Ванда (*целуется*). Спасибо. Это мои любимые цветы.

Карл (*подаёт свёрток Гедину*). Прими, великий друг, от моей вечно юной музыки.

Гедин. Благодарю. Ты должен сыграть.

Ванда. Непременно.

Фанни. А молодёжь потанцует.

Карл. Эти звуки навеяны вашим садом. Белыми цветочками. Весенним щебетаньем птичек.

Арнольд (*к Ванде*). Вы были правы: сад почти отцвёл.

Ванда. Даже скорей, чем я думала.

Фанни. А вы всё расцветаете и расцветаете. Ну положительно на глазах.

Карл. Морской воздух! Мы с Эдгаром и то молодеем.

Хочет убрать со стула папку с нотами.

Ванда. Я уберу. (*Берёт и перекладывает её на диван*.) Ну, господин Виндиг, теперь извольте сыграть ваш вальс.

Карл (*улыбаясь*). С условием.

Ванда (*смеётся*). Нет, нет!

Фанни. С условием, с условием.

Ванда. Не могу же я одна.

Арнольд. Я плохо танцую.

Карл. Эх вы, молодёжь! А мы-то в ваши годы как жили! (*Садится за рояль*.)

Карл (*несколько смущаясь*). Вечер. Весь сад в цвету. По аллее задумчиво идёт молодая девушка. В белом. Рядом с ней юноша. Они без слов понимают друг друга. Им кажется, что всё поёт вокруг них.

Пауза. Гедин сидит в кресле у окна. Ванда на диване. Фанни около мужа. Арнольд стоит в противоположном конце комнаты.

Карл играет вальс.

Арнольд (*подходит к Ванде*). Вы сегодня обещали...

Ванда. Я знаю.

Арнольд. Я должен сказать вам...

Ванда *(смеётся)*.

Арнольд. Вы смеётесь...

Ванда *(продолжая смеяться)*. Говорите, говорите... Я так счастлива. Как никогда. Это первый день моей молодости.

Смотрят друг на друга.

Арнольд. Вы сегодня особенная...

Ванда. «Как цветущая яблоня»? *(Смеётся)*

Арнольд. Нет. Яблоня неподвижна. Вы, как гордая птица, взмахнули крыльями...

Ванда. И не лечу...

Арнольд. Но вот-вот и взовьётся навстречу ветру.

Ванда *(смеётся)*.

Арнольд. Почему вы смеётесь?

Ванда. Говорите. Не обращайтесь на это внимания. Я не могу сдержаться. В меня вселился бес.

Арнольд. Какие у вас глаза. Я не знаю, какого цвета ваши глаза... Они переливаются... горят и гаснут...

Ванда *(смеётся)*.

Арнольд. Вы фея жизни... В вас воплотилась вся роскошь и земли и неба...

Ванда *(смеётся)*.

Арнольд. Смейтесь... смейтесь... Я люблю ваш смех. Ваши губы вздрагивают, как цветы от поцелуев горячего ветра... Вы торжествующая жизнь... Вы задыхаетесь здесь. Кровь ваша и жжёт, и томит вас... Вы улетите на волю.

Ванда *(смеётся громче)*. Ещё. Я хочу вас слушать.

Арнольд. Я люблю вас. Давно. С первого дня. Люблю как мечту, как безумную грёзу о новой жизни. Я слышу трепет вашего тела. Тяжёлые косы сейчас упадут с вашей головы и рассыплются по плечам. Я хочу рыдать у ваших ног... Всё перед вами падёт ниц, как перед властной царицей. Ваша красота победит всё.

Ванда. Говорите... Я должна слышать.

Арнольд. Я смутно чувствовал всю красоту жизни. Она, как сон, носилась передо мной туманным

призраком. Вы воплотили мечту. Пришли из другого мира. С радостной вестью о новой жизни...

Ванда. Скрытая жизнь... да, да?.. (Смеётся.)

Арнольд. Красавица... Ну, смейся... Что же ты не смеёшься? Твои губы вздрагивают, как цветок... Ты вззовёшься, как вольная птица... Я поднимусь за тобой... к новой, победной жизни!..

Ванда. И нас не коснутся там звуки страшной симфонии.

Арнольд. Мы будем слышать одну симфонию жизни. (Пауза.) Ты сегодня в белом...

Ванда (смеётся).

Арнольд. Как вчера... Но за этот день пролетела вечность...

Ванда. Начнётся ли когда-нибудь новая жизнь?

Арнольд. Она началась.

Ванда (смеётся). Теперь ты знаешь.

Арнольд (хочет взять её за руку).

Ванда. Подожди. Потом.

Арнольд. Мне больно смотреть на тебя, как на ясное, голубое небо. Слышу, как кровь струится в твоём теле... Оно моё... Я знаю...

Ванда (смеётся).

Арнольд. От твоего смеха кружится голова... Я перестаю владеть собой...

Ванда. Хочешь танцевать?..

Арнольд (в полузабыты). Я унесу тебя на высочайшую гору...

Ванда смеётся всё громче и громче. Они встают. Арнольд обнимает её за талию и ждёт, чтобы начать танцевать в такт. Фанни хлопает в ладоши. Карл улыбается и повторяет вальс со середины. Они делают несколько туров вальса. Арнольд бережно опускает Ванду на прежнее место. Она тяжело дышит и держится рукою за сердце.

Ванда. Устала... Всё кругом движется... Так странно...

Арнольд. Давно не танцевали. (Восторженно смотрит на неё. Быстро поворачивается, идёт к Фанни и приглашает её.)

Фанни. Ах, что вы, что вы!..

Арнольд (*возбуждённо*). Один тур, госпожа Виндиг, один тур.

Фанни. Нет, нет... Ну вот, что вы...

Арнольд. Ради всего святого, один тур! Я не отойду от вас.

Фанни (*с видимым удовольствием*). Ну, только один тур. Умоляю, не больше.

Ванда смеётся громко, не сдерживаясь. Карл сияет от удовольствия. Гедин погружён в свои мысли. Арнольд и Фанни делают один тур.

Арнольд (*опускает её на кресло*). Вы танцуете, как молодая девушка.

Фанни. О, в наше время умели танцевать.

Музыка обрывается. Карл встаёт и, сияющий, оглядывает всех.

Ванда (*подходит к Карлу*). Вы поэт... настоящий поэт...

Арнольд. Вы назвали вальс «Белыми цветочками»... Это очень хорошее название: звуки носят, точно хоровод белых цветов.

Карл (*сияя*). Молодость, молодость — вот что главное. Мы умели веселиться.

Гедин. Мне вспомнился твой «Вечерний романс». Помнишь?

Карл (*с умилением*). Да, да... Разве можно забыть это. (*К Ванде*.) Мне было тогда двадцать три года, дорогая госпожа Гедин, — двадцать три года! Может быть, вы поверите, что мне было когда-нибудь двадцать три года? (*Смеётся*.)

Ванда тоже смеётся. Берёт его под руку. Оба идут по комнате. Я был влюблён тогда во всех вообще и ни в кого в частности. Только что начинал писать романсы. Они звучали в моих ушах, как влюблённые голоса. И днём и ночью. Вот однажды поехали мы всей компанией на лодках по морю. Пели, хохотали как сумасшедшие. Перевлюблились, разумеется. Так что разобрать даже нельзя было,

кто в кого. Эдгара с нами не было. Он сидел у себя на пятом этаже в маленькой комнатке и замышлял свои великие создания.

Высадились мы на берег и почему-то все разом о нём вспомнили. Притихли на минуту: Эдгар и тогда был нашей гордостью. Вдруг кто-то предложил: пойдёмте к нему. Веселье поднялось, шум. К нему! К нему! Прибежали как угорелые. Человек пятнадцать. Насилу втиснулись в комнату. Я и говорю Эдгару: «Хочешь, расскажу про нашу поездку?» Расскажи, говорит. Сел я за рояль и сыграл экспромтом свой «Вечерний романс»... Это было ровно тридцать лет тому назад. *(Смеётся.)*

Г е д и н *(задушевым тоном)*. Тогда был и Освальд...

К а р л. Да. Милый, бедный Освальд, где-то он теперь?!

Г е д и н. Мне говорили, он умер.

Ф а н н и. Он разошёлся с женой.

К а р л. Да. И она тогда была с нами. Ты помнишь её, Эдгар?

Г е д и н. Помню. Она почему-то без смеха не могла меня видеть.

К а р л *(улыбаясь)*. Да-да. Но она тебя боялась, вот что удивительно. Едва-едва войти решится. А войдёт — хохочет. Красавица была. Весёлая. Чего-чего, бывало, не придумает. Один раз она всё же и тебя заставила потанцевать.

Г е д и н *(со слабой улыбкой)*. Да. На твоей свадьбе. Это был единственный случай в моей жизни.

Ф а н н и. Карл сыграл им вальс.

К а р л *(к Ванге)*. Все встали со своих мест. Окружили их кольцом. И они при общих аплодисментах прошлись несколько туров. Эдгар так разошёлся, что даже поцеловал у неё руку. *(Смеётся.)*

Г е д и н. Это было двадцать семь лет тому назад.

Пауза.

Фанни. Смотрите вы на нас, молодые люди, и не верите, что это когда-нибудь было. *(Смеётся.)* Было. Всё было. И Карл под моими окнами однажды серенаду пел.

Карл *(смеётся)*. Меня собака чуть не укусила тогда.

Фанни. Ая была тоненькая, стройная барышня. И носила длинную-длинную косу. Пройдёт тридцать лет, и вам тоже не поверят, как вы сегодня танцевали вальс. *(Смеётся.)*

Арнольд *(серьёзно)*. Поверят.

Карл. Молодость, молодость, друг мой. Это хорошо, что вы верите в молодость. Изживайте её. Пейте до дна. Она больше не повторится.

Ванда. Вы сегодня должны ещё раз сыграть вальс. Непременно.

Карл. С тем, чтобы вы танцевали.

Ванда. Я буду. Сколько хотите.

Гедин *(встаёт)*. Мне пора гулять.

Карл. Ты аккуратен, как солнце.

Фанни. Это необходимо для великих людей.

Гедин *(ласково к Карлу и Фанни)*. Хотите пройтись со мною к морю?

Карл. Великолепно. Мы давно уж не были у большого камня.

Фанни. Будем вспоминать нашу молодость. *(К Арнольду и Ванде.)* А вы?

Арнольд. Нам остаётся мечтать о старости.

Смеются.

Карл. Придём и устроим бал.

Уходят. Пауза. Арнольд подходит к Ванде, молча берёт её руки и целует. Ванда тихо смеётся. Быстрым движением подымает ему голову и целует в губы.

Ванда *(освобождаясь от него)*. Ну, постой... Арнольд...

Арнольд. Это не сон!.. Ванда... это не сон...

Ванда. Постой... Как это всё случилось... *(Смеётся.)* Какие мы с тобой сумасшедшие...

Арнольд. Мне кажется... я слышу какие-то звуки.

Ванда. Постой. У нас так мало времени. Мы должны всё решить. Я сказала Эдгару, что уезжаю. Мы должны уехать как можно скорей.

Арнольд. Ты и дня больше не должна прожить в этом проклятом доме.

Ванда. Милый, милый!.. Как я тебе верю...

Арнольд. Ванда, до нас никто не знал такого счастья. Мы первые вступили с тобой в обетованную землю.

Ванда. Навсегда... Арнольд, навсегда!.. Должна же когда-нибудь победить жизнь...

Арнольд. В обетованной земле счастье должно быть вечным.

Ванда. Ну, скажи мне...

Арнольд. Наша любовь восстала перед страшным лицом смерти. Она вырвалась из холодных рук чудовищной музыки Эдгара. Теперь никто никогда не сможет задушить её.

Ванда. Посмотри на меня. *(Смеётся.)* Веришь?

Арнольд. Верю... Больше — я знаю.

Ванда. У тебя лицо проповедника.

Арнольд. Проповедника?

Ванда *(серьёзно)*. Да. В твоём лице есть что-то... что напоминает лицо отшельника, аскета... Только это где-то очень глубоко... Ты не думай. Я часто внимательно тебя рассматривала.

Арнольд *(тихо целует ей руку)*. И что же ты видала?

Ванда. Иногда на твоё лицо набегают тень. И ты делаешься совсем другой человек. Глаза потухают. Делаются такие тёмные. Щёки бледнеют. Вваливаются. *(Меня тон.)* У тебя больше никогда не должно быть другого лица.

Арнольд. Да... я понимаю, о чём ты говоришь...

Пауза.

Ванда. Как всё быстро... быстро... Дух захватывает. Обними меня... Возьми к себе... Когда я сказала Эдгару, что уйду... Я не думала о тебе — и всё-таки знала, что это будет так...

Арнольд. Я шёл сюда, как в заколдованный замок. Мне казалось, что я рыцарь, а ты похищенная принцесса.

Ванда. Меня давят наши комнаты.

Арнольд. Они давят тебя, как стены тюрьмы.

Ванда. Если бы ты видел, какое у Эдгара иногда за работой бывает лицо. Он точно к чему-то прислушивается. И вдруг улыбнётся. Я не могу без дрожи видеть его улыбку.

Арнольд *(обнимает её)*. Смерть уносит только мёртвых. Она не осмелится приблизиться к нам.

Ванда. Я не боюсь смерти. Сейчас я готова на смерть.

Арнольд. Победа сияет в глазах твоих.

Ванда *(с внезапной силой)*. Если бы умереть сейчас.

Арнольд. Жизнь бессмертна, Ванда. А ты — сама жизнь.

Ванда *(серьёзно)*. Любишь?

Арнольд *(целует её руки, лицо, глаза, волосы)*.

Ванда. Любишь... скажи... скажи...

Арнольд. Я всегда любил тебя. И когда не знал, всегда любил.

Ванда. Каждому слову в ответ что-то звучит в моей душе.

Арнольд. Я тосковал о тебе. Звал во сне тебя. Я знал, что ты придёшь...

Ванда. Постой. Нам надо всё решить. Мы забыли.

Арнольд. Я унесу тебя на неведомый миру остров. Мы выстроим с тобой высокий, неприступный замок. Мы увидим жизнь такую, как она есть. Мы увидим её вечное стремление в беспредельную высь. Мы увидим её усыпанной драгоценными камнями. Пусть Эдгар поёт свой страшный гимн. Ванда, мы победим. Наш замок гордо возвысится до небес. Солнце засияет над нами новыми лучами. Мы услышим симфонию вечной жизни. Она звучит в наших сердцах, рвётся на вольный простор. Не хочет ждать ни минуты... Пойди ко мне... сюда... ближе. Я хочу слышать, как бьётся твоё сердце.

Ванда (*прижимаясь к нему*). Как во сне... Стены упали... Ты видишь... Жизнь подымает и несёт нас...

Арнольд. Огнём загорается голубая даль...

Ванда. Вечной победой сияет...

Арнольд. Ты фея жизни... Красота победит... Опять слышатся звуки...

Ванда (*восторженно*). Я знала, я знала!..

Отворяется дверь, входят Карл и Фанни.

Карл. Вот и мы... изгнанники.

Ванда. Где же Эдгар?

Фанни. Он велел нам идти домой.

Карл. Беда с этими великими людьми.

Фанни. Всю дорогу вспоминали прошлое. Он был такой разговорчивый. Я давно его таким не видала.

Карл. А как пришли к морю, встал и задумался. Я, чтобы развлечь его, говорю: «Давай, Эдгар, как в старые годы, кидать в море камни. Кто дальше забросит». Да, говорит, хорошо — это он всегда так начинает; только, говорит, лучше иди домой: мне надо побыть одному. (*Смеётся.*) Беда с этими гениями, ей-богу! Вот и пришлось идти восвояси.

Ванда (*возбуждённо*). Давайте веселиться, коли так.

Карл (*сияя*). Вот это я понимаю.

Арнольд. Вальс! Вальс!

Карл. Эх, кавалера одного не хватает.

Фанни. Ну, ну, играй.

Карл. Ты бы хоть со стулом.

Ванда. Только, голубчик, пожалуйста, скорей, как можно скорей.

Арнольд. Чтобы закружиться, как вихрь! (*Убирает стулья.*) Долой все препятствия.

Карл. Ну уж постоит! Накажу я вас: всё поскорей да поскорей...

Садится и начинает играть очень быстро.

Ванда (*смеётся*). Нет, это слишком.

Карл. Вот она, молодость-то!

Играет вальс обыкновенным темпом. Ванда и Арнольд танцуют. Стук в дверь. Они не слышат и продолжают танцевать. Стук сильнее. Слышен голос: «Можно войти?» Карл перестаёт играть, Арнольд и Ванда останавливаются в позе танцующих.

В а н д а. Кто там?

Дверь отворяется, входят два мальчика в летних костюмах.

М а л ь ч и к *(взволнованно)*. Мы ловили рыбу... Около большого камня... Профессор стоял. И потом вдруг пошатнулся и упал... Ему дурно сделалось...

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Комната первого действия. Карл и Фанни собираются уходить. Он держит в руках шляпу и тросточку, она — зонт. Прощаются с Вандой. День пасмурный. Около пяти часов.

Фанни. Счастливого пути вам. Весело провести время в путешествии. И, главное, поскорей вернуться.

Ванда. Спасибо, господин Виндиг. Я к вам так привыкла. Не забывайте меня.

Карл. Это вы нас не забывайте. Молодость изменчива. А мы, старики, друзей своих никогда не забываем.

Ванда. Я вам так благодарна. За всё, за всё... И никогда вас не забуду.

Карл. Вы обещались через тридцать лет вспомнить мои «Белые цветочки» и весь тот вечер.

Ванда (*взволнованно*). Да. Я вспомню, наверное. И буду всегда вспоминать его.

Фанни (*растроганно*). У вас, может быть, будут дети... вырастут большие... вот такие, как вы теперь.

Карл. Ну, прощайте. Что там грустить. Нельзя же всегда молодым оставаться. Каждый возраст имеет свои радости. Так помните: возвращайтесь скорей.

Ванда (*рассеянно*). Да, да... я скоро вернусь.
Фанни горячо целует Ванду, Карл крепко жмёт ей руку. Оба растроганные идут к двери.

Карл. Я буду каждый день навещать Эдгара, чтобы он не очень скучал без вас.

Ванда (*рассеянно*). Да. Это очень хорошо. Спасибо вам за всё.

Ф а н н и. Ну, прощайте. Счастливым путь.

Карл пропускает вперёд жену и сам останавливается.

К а р л *(с трудом сдерживая слёзы)*. Милая вы моя... Я старик. Многого не понимаю. Но сердце у меня, сердце... одним словом... если когда-нибудь вам понадобится... друг... Ну, одним словом, вы понимаете...

В а н д а *(быстро обнимает его и целует)*.

К а р л. Прощайте... прощайте... *(Уходит.)*

Ванда медленно идёт к дивану и беспомощно опускается на него. Смотрит в окно. Вздрагивает, хочет встать, но снова беспомощно опускается на прежнее место. Через балконную дверь входит

А р н о л ь д. Лицо его светится радостью.

А р н о л ь д. Я прямо с паровой пристани.

В а н д а. Ты не получил...

А р н о л ь д. Ты должна быть готова к семи часам.

В а н д а. Арнольд, я послала тебе письмо... с девочкой.

А р н о л ь д. Письмо? Я не получал. Меня с утра не было дома. Но что с тобой? Ты нездорова?

В а н д а. Да... Там в письме...

А р н о л ь д *(с тревогой)*. Что случилось, ты больна, Ванда?

В а н д а. Случилось... *(Совершенно упавшим голосом.)* Я еду одна, Арнольд... Здесь я не могу... Я уеду одна.

А р н о л ь д. Ради Бога... Ванда!.. Но что же случилось?

Пауза.

В а н д а. У меня... ребёнок...

А р н о л ь д *(несколько мгновений стоит поражённый, но быстро приходит в себя и говорит с твёрдой силой)*. Это ребёнок твой. Я буду любить его, как тебя.

В а н д а *(безнадёжно качает головой)*. Арнольд... начинать новую жизнь... когда я чувствую себя... матерью его ребёнка. Арнольд... может быть, после. Через несколько лет. Я буду ждать тебя.

А р н о л ь д *(целует её с благоговением)*. Это будет наш ребёнок, Ванда.

В а н д а. Подожди... Не вынуждай меня. Сейчас это невозможно. Я уеду одна.

А р н о л ь д. Я буду носить тебя на своих руках. Твой ребёнок будет участником нашего счастья.

В а н д а. Арнольд... Тут не то... Тут что-то страшное, Арнольд... *(Испуганно прижимается к нему.)*

А р н о л ь д. Я никогда не отпущу тебя одну.

В а н д а. Беата не выходит у меня из головы.

А р н о л ь д *(бережно обнимает её)*. Ты расстроена, тебя пугают мрачные образы, Ванда.

В а н д а. Она отравилась за несколько дней... за несколько дней...

А р н о л ь д. Я увезу тебя сегодня же. Навсегда. Нас ждёт неведомое людям счастье.

В а н д а *(в сильном волнении, почти с ужасом)*. Я узнала об этом вчера вечером. И всю ночь мне казалось... Арнольд... обними меня... Это совсем как кошмар...

А р н о л ь д. Полно... Тебе нужен покой. Я окружу тебя любовью, заботой и лаской...

В а н д а. Я чувствовала, что ребёнок во мне... мёртвый... Постой, постой, Арнольд. Я это так ясно чувствовала. Всем своим существом. Ужас охватил меня. Я хотела ночью бежать прочь из этого дома... куда глаза глядят... Но разве могу я убежать от того, что во мне... Арнольд! Арнольд!..

А р н о л ь д. Страшная симфония слишком глубоко потрясла твою душу. Ты сегодня же оставишь этот дом. Я буду с тобой.

В а н д а. Я не могу передать тебе весь безумный ужас своих ощущений!

А р н о л ь д. Не вспоминай их, Ванда. Всё прошло. Ты больше не проведёшь здесь ни одной ночи.

В а н д а. Наступит ночь... И я знаю, знаю... опять это вернётся...

А р н о л ь д. Я буду без сна проводить ночи около тебя.

В а н д а. Я чувствовала, что он мёртвый и в то же время... Это так непонятно, Арнольд... Что он будет... расти.

Понимаешь. И мёртвый, и как-то живой. Я с ума сойду, Арнольд... Если ещё хоть одна ночь...

Арнольд *(с силой)*. Она больше не повторится, Ванда. Ты уйдёшь из этого проклятого дома навсегда.

Ванда *(внезапно утихнув)*. Ты поедешь со мной? Ты никогда, никогда меня не оставишь?..

Арнольд. Твоя жизнь прикоснулась к моей душе... Мы созданы свершить великое чудо: показать людям... бессмертную жизнь...

Ванда *(с тоской)*. Он мёртвый, Арнольд!..

Арнольд. Он будет жить. Это бессильная злоба смерти, Ванда. Поверь мне. Поверь, как раньше. Призывы к новой жизни звучат во мне даже с большею силой...

Ванда. Я верю. Я хочу верить...

Арнольд. Сегодня в семь часов ты должна быть у меня. В восемь отходит пароход.

Ванда. Я ещё не сказала Эдгару...

Арнольд. Ты могла бы и не говорить ему.

Ванда. Нет. Должна.

Арнольд. Он знает, что ты едешь со мной?

Ванда. Нет. Но, я думаю, догадывается.

Арнольд. Я его встретил, когда шёл сюда. Мне показалось, что он обрадовался. Это меня удивило, последнее время он был со мной очень холоден.

Ванда. Скорее прочь из этого дома.

Арнольд. Даже меня, и то подавляют эти стены.

Ванда. Долго мы будем ехать морем?

Арнольд. Две ночи. *(Смотрит на часы.)* Мне пора. Шесть часов. Через час ты должна быть у меня.

Ванда. Иногда вдруг как-то грустно делается.

Арнольд *(встаёт)*. Будь спокойна, Ванда. Я с тобой. Через два часа этот берег навсегда исчезнет из наших глаз. А с ним и ужас, и тоска, и смерть.

Ванда. Я решила не брать отсюда никаких вещей.

Арнольд. Бегство?

Ванда. Полёт навстречу ветру.

Смеётся сначала тихо, потом всё громче и громче, с истерическими нотами, не в силах сдержаться.

Арнольд *(с беспокойством)*. Что с тобой, Ванда?

Ванда *(сквозь смех)*. Я не могу... не могу смеяться свободно...

Входит Гедин.

Гедин *(с необычным возбуждением)*. Сегодня будет первая гроза.

Арнольд. Вы слышали гром?

Гедин. С моря идут чёрные тучи. Я давно не видал такого неба. Грома ещё не слышно. Но молния на горизонте вспыхивает.

Ванда *(овладевая собой)*. На море будет качка.

Гедин. Гроза — хорошее предзнаменование для твоего путешествия.

Арнольд. Прощайте. Я до дождя хочу добраться домой.

Гедин. Вы вполне успеете. Грозовые тучи идут очень медленно.

Арнольд уходит. Гедин делает движение к боковой двери.

Ванда. Эдгар, я через час еду...

Гедин *(перебивая)*. Знаю.

Ванда. Мне нужно сказать тебе...

Гедин *(сквозь зубы)*. Ещё!..

Ванда. Я тебя не задержу.

Гедин. Говори.

Ванда. Я сегодня еду. От своего решения не откажусь никогда. Но я хочу, чтобы ты знал...

Гедин *(перебивая)*. Мне решительно всё равно, с кем ты едешь.

Ванда. Не о том. Я должна тебе сказать... у меня... будет ребёнок.

Гедин *(в страшном волнении)*. Ребёнок!.. Ванда, ты ошиблась. Этого не может быть. Не должно быть!..

Ванда *(с изумлением смотрит на него)*. Это не влияет на моё решение нисколько. Я сегодня еду.

Г е д и н. Да-да. Твоё решение. Нет, постой. Ты уверена? Ты это знаешь наверное? Ты могла ошибиться.

В а н д а. Нет, я знаю. Наверное.

Г е д и н. Ванда... Скажи, что я брежу... Ребёнок... Мой ребёнок!..

В а н д а (*заражаясь его волнением*). Я сама не хотела верить. Всю ночь меня мучили страшные кошмары. Мне казалось, что ребёнок во мне... неживой.

Г е д и н (*поражённый*). Это смерть, Ванда...

Темнеет. Слышится первый глухой удар грома.

В а н д а. Через полчаса я уезжаю. Уезжаю навсегда. Я должна была сказать тебе это.

Г е д и н. Ты уедешь навсегда...

В а н д а. Мы больше никогда не увидимся.

Г е д и н. И ты увезёшь его с собой. Он будет смеяться. Играть с морскими волнами. Это выше сил моих... Чудовищный призрак... Красный комок мяса...

В а н д а (*с отворачиванием*). Ты бредишь... Ты сумасшедший...

Г е д и н (*в исступлении*). Кто же, кто, как дьявол, смеётся надо мной? В последний час вырывает из рук моих мечту всей моей жизни.

В а н д а. Это всё, что я хотела сказать тебе. Мне пора.

Г е д и н. Нет, постой. Ты не можешь уехать так. Слушай. Сегодня конец. Я должен был написать последние строки... Ванда, должна же ты понять когда-нибудь! Смерть — царица моя. Моя мечта, моя любовь, гордая, неприступная, упоительная до безумия... Она сегодня будет моей... Ванда... ты должна понять... всё. Я мог овладеть ею давно... Но я втянулся в игру. Она отдавалась, я медлил. Упивался любовной игрой... Сегодня она должна стать моей!

В а н д а (*в страхе*). Это безумный бред, Эдгар.

Г е д и н. Нет, бред — твой ребёнок. Это дикая, безумная насмешка. Он будет жить! Мой ребёнок будет жить. Не весь, не весь я отдамся своей любви... Он не может жить, Ванда!..

В а н д а. Эдгар, довольно.

Темнеет больше. Гром усиливается. Дождь и сильный ветер.

Г е д и н. Призрак жизни. Маленький бесформенный красный комок... Он угрожает мне. Часть моего я... ускользает... падает в вечность... Где-то затеплилась моя новая жизнь... (*Грозно.*) Что же теперь?.. Или и он должен быть принесён в жертву?

В а н д а. Молчи...

Г е д и н. Слушай... Беата отравилась сама. Я знаю, что она отравилась сама. Ты должна мне верить. Слышишь? Сама. Это была добровольная жертва.

В а н д а (*цепenea от ужаса*). Она отравилась за несколько дней...

Г е д и н. Ты не веришь. Я знаю, что теперь ты не веришь.

В а н д а (*поражённая внезапной мыслью*). Ты... ты отравил Беату!.. Вторая часть симфонии... Ты, ты!..

Сильный удар грома. Молния освещает комнату. На несколько мгновений наступает тишина. Ветер и дождь усиливаются.
Длинная пауза.

Г е д и н (*тихо, как безумный*). Ванда, отдай мне его. Отдай. Ты должна... Если он будет жить, труд моей жизни погиб. Величайшее творение моего гения останется незавершённым... Ванда... я жертвы прошу... Я буду ползать у твоих ног. Всё, что хочешь. Мир должен услышать симфонию смерти... Отдай мне... Если ты не отдашь...

В а н д а (*в смятении*). Ты безумный...

Г е д и н. Пусть... Он должен быть мой...

В а н д а. Молчи... Молчи...

Г е д и н (*загораживая ей дверь*). Я требую... Ты не уйдёшь... Ванда...

В а н д а. Прочь!

Г е д и н. Я заставлю тебя!

Хватает Ванду за обе руки. В а н д а с криком вырывается, бежит к двери и исчезает в саду. Сильный порыв ветра, гром.

Г е д и н (*стоит ошеломлённый*). Отмщение... Я знал... Я знал.

Страшный удар грома. Молния ослепительно ярко вспыхивает, как будто бы в самой комнате. Гедин стоит прижимаясь к косяку двери. Длинная пауза. Слышен свист ветра. В окно хлещет дождь.

Дверь с шумом отворяется. Входит Арнольд.

Арнольд. Профессор!

Гедин (*не двигаясь, совсем тихо*). Да, да... Я знал...

Арнольд. Я пришёл сказать госпоже Ванде Гедин, что пароход придёт завтра утром. Его задержала буря.

Гедин. Она ушла.

Арнольд. Говорят, давно не было такой бури.

Гедин. Постойте... Постойте... (*С восторженной улыбкой.*) Слышите?.. Оять её голос! Что это значит... Победный гимн... Слышите... Беата! Беата!..

Арнольд (*всматриваясь в Гедина*). Вы больны... Вы едва держитесь на ногах. Может быть, вы бы легли на диван, профессор.

Гедин (*пристально смотрит на него*). На самоубийство надо иметь право.

Арнольд. Самоубийство — величайшее преступление.

Гедин. Преступление?

Арнольд. Перед жизнью.

Гедин. Я спокоен как никогда. Может быть, и безумные бывают спокойны.

Арнольд. Ваше лицо побелело как снег. Вам надо лечь.

Гедин. Это спокойствие конца. Но разве может быть конец теперь?

Арнольд. Самоубийство — преступное бессилие перед смертью. Капитуляция без генерального сражения. Отдача себя в позорный плен слабейшему противнику.

Слышны удаляющиеся раскаты грома. Изредка вспыхивает молния. Становится светлей.

Гедин. Вы не знаете, что такое смерть!

Арнольд. Я знаю жизнь.

Гедин. Не зная смерти, нельзя знать жизнь.

Арнольд. Смерть — бессильное пугало. Пугает воробьёв и детей. Деревянные колья, наряженные в страшные лохмотья.

Гедин (*торжественно*). Какое странное спокойствие, Арнольд Реллинг. Я никогда не испытывал такого спокойствия. Как будто бы после победы.

Арнольд. Это, может быть, от грозы...

Гедин (*тихо*). Ванда сейчас вернётся. Она должна вернуться.

Арнольд. Смотрите — зарево!

Гедин. Я чувствовал, что где-то близко упала молния.

Арнольд. По-моему, горит лес: зарево красное.

Гедин (*в сильном волнении*). Огненный меч её... Она подняла свой огненный меч!..

Арнольд (*холодно*). Ветер стих, пожар скоро прекратится.

Гедин. Слышите?

Пауза.

Арнольд. Большая мечта не даёт вам покоя...

Гедин. Вы мечтой называете подножье трона. И боитесь поднять глаза. Боитесь увидеть ту, которая на троне. (*Торжественно*.) Но если когда-нибудь осмелитесь. Не в силах будете оторваться. Кто хоть раз увидит лицо смерти — навек становится её рабом.

Арнольд (*невольно*). И тогда?

Гедин. Тогда будет мечтать о ней одной, будет служить ей, таинственной любовью к ней загорится сердце.

Арнольд (*тихо*). Я никогда не увижу лица смерти.

Гедин (*с пророческой уверенностью*). Увидите.

Входят Карл и Фанни. В руках у него палка, плед и разные мелкие вещи. У неё большой узел, завёрнутый в белое. Оба страшно взволнованы.

Карл. Погорели. Представьте себе. Насилу спаслись.

Фанни. Молния ударила в кухню.

Карл (*раскладывает вещи*). Это такой ад! Насилу спаслись. В пять минут. Всё.

Фанни. И рояль, и мебель, ну всё, всё решительно...

Карл. Рукописи. Скрипка. Дотла...

Гедин. Я слышал страшный удар грома. Мне показалось, что молния упала в саду.

Карл. Мы к тебе решили перебраться.

Гедин. Ну конечно, конечно.

Фанни. А как же профессорша?

Гедин. Она сейчас придёт.

Карл. Но, я тебе скажу, такое зрелище! Такая красота!

Фанни. Ах, какой ужас! Я до сих пор прийти в себя не могу.

Карл. Свинцовое небо. Грохочет гром. Молния. И, понимаешь, клубы красного дыма. Багровая тень на море. Нет, изумительное зрелище!

Арнольд. Вам никто не помог спасти вещи?

Фанни. Да и спасти нельзя было. Всё в пять минут. Мы едва выскочили.

Карл (*ходит, потирая руки от холода*). Ну, что же делать, что же делать... Поживём на новой даче. Вот скорей бы приходила сама профессорша. Мы бы порадовали её новыми жильцами.

Арнольд. Я позову её.

Гедин. Она сейчас придёт. (*С особым ударением.*) Я знаю наверно.

Карл. Вот она, и первая гроза. Весенняя буря. Вы бы посмотрели, что на море делалось. От нас видно было.

Арнольд. Я попал как раз под проливной дождь.

Карл. Да-да. Вот теперь чувствуешь, что живёшь.

Вдали слышен неясный гул голосов.

Фанни. Народу сбежалось. Откуда набралось столько? И на дождь не смотрят.

Карл. Зрелище, зрелище...

Фанни. Никак в себя прийти не могу.

Карл. Да-да... Чувствуешь, что живёшь!..

Фанни. Уж я о даче и не думаю, сами-то уцелели!

Карл. Ну, подожди... начнёшь вспоминать, что там погорело, так ещё поплачешь. (*Смеётся.*) А шарф? (*К Арнольду.*) Вы знаете, она вам шарф начала вязать.

Фанни. Ну, вечно ты с глупостями — люди вырвались из когтей смерти, а ты про шарф. Ах, это такой ужас, ну просто я не могу себе представить...

Арнольд. Я думал, горит лес.

Карл (*останавливаясь*). А ведь, действительно, счастье!

Фанни. Я же говорю — мы были на волосок от смерти.

Карл. А за что такая напасть на нас? А? Пусть все философы думают — ничего не придумают.

Гедин. Говорят, после смеха всегда бывают слёзы.

Арнольд (*с иронией*). Это наказание за «Белые цветочки».

Карл. А кто виноват? Профессорша.

Фанни. Да где ж она?

Гедин (*очень серьёзно*). Нет, белые цветочки.

Карл (*шутливо*). Но ведь они тоже погорели!

Фанни. Первое мгновение мне показалось, что я ослепла. Потом оглушительный грохот. Карл тянет меня за руку, я бегу... хватаю первые попавшиеся вещи... Ну буквально в пять минут весь дом. Почти невероятно.

Карл. А вы бы посмотрели, как мы неслись сюда. Я уж признаюсь: выронил что-то по дороге.

Фанни. Я же говорила, что упала корзиночка. Это моя маленькая корзиночка с комода.

Карл (*махнув рукой*). Ну, всё равно — где уж там!

Фанни. Нет, никогда в жизни, кажется, я не испытывала ничего подобного.

Карл. А я таки промок.

Фанни. Но где же, наконец, профессорша?

Арнольд. Я позову...

Гедин. Ванду?

Арнольд. Да. Она, вероятно, в кабинете.

Фанни. Ну, конечно, надо позвать.

Гул толпы приближается.

Гедин (*тихо*). Она ушла.

Арнольд. Ушла?

Гедин. Она сейчас должна вернуться.

Арнольд *(с тревогой)*. Она уж давно не возвращается.

Карл. Ну, мы подождём.

Фанни. Не случилось ли что?

Карл *(весело)*. Что же могло случиться!

Арнольд. Она давно ушла? Куда она ушла?

Гедин *(со странным волнением)*. Она придёт. Я же говорю, она сейчас будет здесь.

Тревожный гул толпы приближается всё ближе и ближе. Как будто бы какое-то кольцо всё тесней и тесней окружает дом.

Пауза. Все прислушиваются.

Карл *(смотрит в окно, прижимаясь к стеклу, чтобы лучше рассмотреть)*. Это, вероятно, с пожара.

Фанни. Ну зачем им идти сюда?

Арнольд *(с безотчётным волнением)*. Я пойду... *(Ищет шляпу.)*

Гедин стоит неподвижно, прислушиваясь к шуму; лицо его загорается вдохновением. Отдельные голоса слышатся почти под самыми окнами.

Карл. Да что это, в самом деле?

Выходит на балкон. Слышатся отдельные слова и общий гул: «Профессорша...», «Где, где?..». Всё разом стихает... Пауза. Гедин стоит неподвижно. Арнольд в ужасе смотрит на дверь балкона. Фанни старается рассмотреть в окно. Дверь отворяется, медленно входит Карл и грузно опускается на первый попавшийся стул.

Карл. Убита... молнией...

Арнольд. Ванда?!.. Ванда?!..

Карл *(молча кивает головой)*.

Пауза. Где-то вдали слышится пение хора.

Гедин *(вдохновенно)*. Слышите... слышите... победный гимн... Она идёт... Слышите...

ПАСТОР РЕЛЛИНГ

Драма в трёх действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Пастор Арнольд Реллинг, 35 лет.

Тора, его жена.

Лия, 26 лет.

Молодая прихожанка.

Терезита, горничная, пожилая.

Вильтон.

Два молодых человека.

Представители Комитета чествований.

Гинг, дурачок.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Вечер. Уютный кабинет пастора. За круглым столом сидит Тора, маленькая, худенькая блондинка, с круглым детским лицом, большими голубыми глазами, и Лия, тоже блондинка, но высокая, стройная, очень красивая. Тора шьёт детскую рубашечку; Лия сидит в качалке.

Тора *(не переставая шить)*. Маленький Торик — удивительный ребёнок. Право. Не думайте, что во мне говорит чувство матери. Прямо необыкновенный. Няня тоже говорит, что никогда таких не видала.

Лия. Ваша няня!.. Терпеть я её не могу: такая подхалима...

Тора. Да, это правда. Немножко.

Пауза.

Торик совсем не плачет. А ей всего десять месяцев. И такая кроткая-кроткая. Даже совестно перед ней как-то... *(Смеётся.)* Право. Такая послушная. И главное, всё понимает: вчера взяла со стола апельсиновую корку, поднесла к носу и понюхала. Ну совершенно, совершенно как большая. Мы прямо умерли со смеху.

Часы бьют восемь.

Терезита! Терезита!..

Терезита *(из другой комнаты)*. Сейчас.

Тора. Приготовь пастору ужинать, он скоро должен прийти.

Пауза.

Л и я. Какая тишина у вас.

Т о р а. За садом — шум не долетает.

Пауза.

Л и я. Пастор сегодня говорил.

Т о р а (*оживляясь*). Да, я знаю. И такая досада, не могла быть в церкви.

Л и я. Удивительное у него лицо. Восковое, светится всё. А глаза тёмные-тёмные... Знаете, я почти никогда не помню, что он говорит. Сегодня помню: он говорил про высокую гору.

Тора перестаёт шить.

...Бог обитает на высокой горе... Выше чёрных скал... Выше синих снегов... Застывшего льда.

Нет, я всё путаю... Только, право, он никогда не говорил ещё с такой силой. Вы заметили, что на кафедре он всегда с опущенными глазами? Заметили?

Т о р а (*тихо улыбается*). Да... Он говорит, что всё равно ничего не видит перед собой.

Л и я. У пастора нечиста совесть.

Т о р а (*смеётся*). Скажите ему об этом.

Л и я. Вам не кажется странным, что я так говорю о вашем муже?

Т о р а. Нет... нисколько.

Л и я. И вообще... что я легкомысленная барыня... львица... ну, и что я вожусь с вашим пастором?

Т о р а. Я вас очень люблю. Право.

Л и я (*подходит и целует её щеку*). Вы совсем маленькая девочка.

Т о р а (*радостно*). Это Арнольд делает меня такой. Я совершенно беспомощная. Без него ничего не могу. Он всё за меня думает, думает... И живёт за меня. Право. Я так только... Даже говорить совсем разучилась: он понимает меня с одного слова.

Лия подходит к окну и долго смотрит в него. Пауза.

У Торочки лоб и нос совсем как у Арнольда. Он говорит, что Торик будет «академиком». (*Смеётся*)

Л и я (*оборачиваясь*). Я была на Альпах. Горы давят меня. Я чувствую себя счастливой только на берегу моря.

Т о р а. Моя мечта — съездить на Альпы. Когда Торик подрастёт, мы обязательно поедem.

Л и я. Втроем?

Т о р а. Да. Только не знаю, поедет ли Торик с Арнольдом: у них очень натянутые отношения.

Л и я (*быстро*). Пастор не любит Торочку?

Т о р а. Нет, Торик его не признаёт. Она решительно не может смотреть ему в глаза.

Л и я (*с повышенным интересом*). Она пугается глаз пастора?

Т о р а. Да. Торик вообще не любит, когда на неё пристально смотрят. Вот уж несколько дней я нарочно приучаю её к Арнольду.

Л и я. Приучили?

Т о р а. Да... не совсем. Торик смотрит на Арнольда не мигая и не сводя глаз, как прикованная. Право. Даже странно. И потом вдруг начинает плакать... плакать... Насилу её успокоишь.

Л и я (*усмехаясь*). У пастора нечиста совесть.

Т о р а (*смеётся*). Он и сам вчера то же сказал: «Торик видит меня насквозь и приходит в ужас от того, что видит в моей душе: детские глаза — ангельские глаза».

Л и я. Да... у пастора тяжёлый взгляд. Я уверена, что он всякого может загипнотизировать. Впрочем, всё это неважно... А вы сами никогда не боитесь своего мужа?

Т о р а. Что вы, Лия!..

Л и я. Вы ему совсем-совсем верите? Вы убеждены, что у него всё благополучно в душе?.. Я говорю глупости. Простите меня, ради Бога. У меня сегодня лихорадка. Даже озноб, кажется.

Т о р а. Почему же вы раньше не сказали?! Возьмите мой тёплый платок. (*Снимает и подаёт ей.*)

Л и я. Нет-нет. Это пройдёт. Я сейчас уйду.

Т о р а. Мне же совсем тепло. Право.

Л и я (*возбуждённо*). Всё это пустяки. (*Подходит к Торе, страстно целует её.*) Милая, милая, милая...

Т о р а. Ну возьмите же платок. Дайте, я на вас надену.

Л и я (*быстро отстраняясь*). Нет-нет. Я сама. Благодарю вас.

Т о р а (*ласково*). Посидите у нас. Затопим камин. Право. Вы согреетесь. Сейчас придёт Арнольд. Он, наверное, совсем измучился. Ушёл в восемь часов утра. Мы будем за ним ухаживать, как за больным. Право. На улице сейчас так сыро.

Л и я. У меня есть билет в оперу.

Т о р а. Что вы, больной нельзя в театр. Вам нужно выпить чего-нибудь горячего. (*Лия, слушая, ходит по комнате.*) Останетесь?

Л и я (*машинально*). Да... хорошо...

Т о р а. Сейчас я велю затопить камин.

Уходит и скоро возвращается.

Л и я. Хорошо у вас. Просто, тихо, уютно... Пастор всё-таки странный человек... Станный.

Т о р а. Вы говорите — странный?

Л и я. Я не понимаю его проповедей. Я никогда не слушала умных. Но ведь это же совсем неважно. А вы всё понимаете, что он говорит?

Т о р а. Да... всё. Душой понимаю. Право.

Л и я. Да. Это так... Можно мне что-нибудь пошить?

Т о р а. Пошить?

Л и я (*быстро*). Вы думаете, я не умею? Вы думаете, я всегда была такая белоручка?

Т о р а. Нет. Это я так.

Л и я. Дайте мне рубашечку. Я дошью.

Т о р а. Вот Арнольд будет удивлён!

Л и я. Он никогда ничему не удивляется, я заметила это.

Т о р а (*смеётся*). Да-да, он действительно никогда ничему не удивляется.

Л и я. Мне кажется, он всегда ждёт самого невозможного.

Т о р а (*серьёзно*). Он говорит, что ждёт чуда.

Л и я (*возбуждённо*). Да, а если оно свершится, он нисколько не будет поражён.

Входит Терезита. Затапливает камин. Пауза.

Т о р а. Года три тому назад был такой случай. Горел дом, угловой, против церкви. Ночью. Жильцы выбежали на улицу, даже не успев одеться. Дом деревянный. Понимаете, загорелось в нижнем этаже. Минут через десять в огне был весь дом. Вдруг страшный крик: мать ребёнка забыла. В кроватке. Кинулась к огню, исступлённая, насилу её оттащили. Не успели опомниться, к дому бросился Арнольд. Через минуту вынес на руках мальчика. Живого. Весь сюртук, все волосы себе опалил. Право. Ужасно был смешной.

Л и я. Это чудо.

Т о р а. Что он не погиб? Да. Это было совершенно необыкновенно. И вот когда пожар кончился, на следующий день мы с Арнольдом пошли посмотреть на сгоревший дом. Так странно: не сгорела почему-то лестница, по которой шёл Арнольд, и часть стены. Один из пожарных узнал пастора и говорит: лестница должна была упасть, и вам бы не выбраться. Тогда Арнольд спокойно толкнул её рукой, и она действительно обвалилась.

Л и я. Да... У него такое лицо, что, я думаю, он и дьявола не испугался бы.

Т о р а (*смеётся*).

Л и я. Серьёзно, не испугался бы. А смотрел бы на него... с любопытством.

Т о р а. И ждал бы, что будет.

Л и я. И потом бы сказал: ничего особенного.

Пауза.

Т о р а. Как долго. Уж девятый час.

Л и я *(закинув руки за голову, смотрит вверх)*. Вам, наверное, никогда не хочется чего-нибудь самого дикого. Самого невозможного.

Т о р а *(смеётся)*. Никогда.

Л и я. Да... Всё это я не о том... Вы верите, что я вас люблю?

Т о р а. Какая вы, право.

Л и я. Я вас очень, очень люблю. И никогда не сделаю вам зла. Слышите: никогда. *(Подгаёт ей платок.)* Я согрелась. Спасибо.

Т о р а. Мне совсем тепло.

Л и я. Нет, спасибо. Я пойду. Мне надо лечь.

Т о р а. Ложитесь у меня в спальней. Право. Ночуйте у нас.

Л и я. Нет-нет.

Т о р а. Смотрите, как темно. Дождь, наверное.

Л и я. Пусть. Всё равно.

Поворачивается, чтобы идти. В боковой двери показывается пастор. Лия останавливается. Тора быстро идёт ему навстречу.

Т о р а. Как же ты без звонка?

П а с т о р. Я прошёл чёрным ходом. Здравствуйте.

Л и я. Я вас видела сегодня в церкви.

П а с т о р. Да... я вас тоже видел.

Л и я *(удивлённо)*. Видели?

П а с т о р. На улице такое ненастье. Вы могли бы остаться ночевать у нас в доме.

Т о р а. Я предлагала ей уступить свою спальню. Она упрямится. Уговори её. Право. Главное — больна.

Л и я. Нет, я иду. Прощайте. *(Целует Тору и идёт к двери.)*

П а с т о р *(идёт за ней)*. Остались бы.

Л и я. Мне недалеко. Я привыкла: на Альпах была.

П а с т о р. На Альпах?

Л и я. Да. На высоких-высоких горах. Прощайте. *(Уходит.)*

Тора. Ты будешь ужинать?

Пастор. Нет... Я очень устал, не хочется. Что делал сегодня мой маленький дружок?

Обнимает её, и вместе идут по комнате.

Тора *(смеётся)*. Шила.

Пастор. Ну, рассказывай.

Тора. Кончила Торику рубашку. Завтра новую начну. Синенькую, с белой каёмочкой. Стригла ей ногти. Она хохотала всё время. Страшно любит. Право.

Садятся на диван.

Пастор. Гуляли?

Тора. Нет: очень плохая погода.

Пастор. Долго у тебя сидела Лия?

Тора. Да. Она пришла часов в шесть. Ей очень нездоровится. Я боюсь, что она сляжет.

Пастор. Ну, маленькая, ещё что случилось?

Тора. Привезли кровать. Только очень низкую сетку сделали. Придётся, пожалуй, отдать переделать.

Пастор. Может быть, обойдётся?

Тора. Сейчас-то, конечно, ничего; да я боюсь, когда Торик научится стоять — вывалиться может.

Пастор. Какая ты у меня умная!

Тора. Не смейся.

Пастор. Право, умная.

Тора *(подвигается ближе к пастору)*. Приласкай.

Пастор *(глядя её по голове)*. Маленькая моя... девочка... *(Улыбается)*. Будет?

Тора. Ещё немножко.

Пастор *(снова гладит по голове)*. Бедный мой... беззащитный мой...

Тора *(ласкаясь)*. Вот ты говоришь так, и я в самом деле становлюсь совсем маленькой. Жалеть себя начинаю. Хочется прижаться к тебе и плакать, плакать.

Пастор. Ну, полно, голубчик. О чём же плакать?

Тора. Не знаю. Так, хорошо уж очень. Ты такой милый-милый... знаешь, что?

П а с т о р. Ну?

Т о р а. Я не понимаю, почему тебя многие ужасно боятся.

П а с т о р. То есть как, боятся?

Т о р а. Так. Боятся к тебе подойти. Заговорить с тобой. Считают тебя каким-то необыкновенным. Вот даже Лия.

П а с т о р. Она считает меня необыкновенным?

Т о р а. Да. Ведь ты такой простой-простой. Совсем милый. Ты не сердишься?

П а с т о р. Что ты, родная. На что же сердиться?

Т о р а. Да вот, что я так говорю. Ты не думай, что я не признаю твоих талантов. Я знаю, ты у меня гений! Но я тебя больше люблю дома. Ты там делаешься такой большой... на кафедре. Как-то голова кружится. Жутко смотреть на тебя бывает. А здесь... я могу ласкать тебя. Брать тебя за руки, за лицо. Тут ты мой. Весь мой. Ну, приласкай!

П а с т о р. Ах ты, избалованная девочка. Вот возьму и выдеру тебя за уши.

Т о р а (*смеётся*). И я уверена, что никто из твоих поклонников не знает, какой ты дома. Какой ты милый. Какой простой. Как умеешь смеяться, ласкать. Ты для них пророк. Ты их в храм приводишь. Нет, право, почему ты так меняешься?

П а с т о р. Не знаю.

Т о р а. У тебя даже фигура другая делается. Лицо, глаза, голос. Всё-всё. Совсем другое. Я часто смотрю на тебя в церкви и не могу представить тебя дома, за ужином или в детской. Точно ты — не ты. Каких-то два совсем разных человека.

П а с т о р. Страшные вещи ты говоришь.

Т о р а. Совсем нет. Ведь ты же милый, самый-самый хороший.

П а с т о р (*серьёзно*). Люби меня вот таким, каким я бываю дома. Хорошо?

Т о р а. Хорошо. Потом, ты часто сидишь целыми часами молча. На этом кресле. Я совершенно не знаю, о чём ты

думаешь. (Смеется.) А если б и знала, ничего, наверное, не поняла бы. Но мне так хорошо бывает. Точно и я с тобой думаю. Только ведь я знаю, что я совсем-совсем перед тобой маленькая.

П а с т о р (с чувством). Ты бесконечно больше меня.

Т о р а. Что ты нашёл во мне хорошего: я просто пылинка какая-то по сравнению с тобой.

П а с т о р. Без тебя я погибну. Ты никогда не должна меня бросать. Слышишь?

Т о р а. Что ты! Молчи... (Зажимает ему рукой рот.) Ты с ума сошёл. Я без тебя не проживу дня. Ну, возьми меня к себе. Расскажи что-нибудь.

П а с т о р. Сказку?

Т о р а. Ну, сказку. Ты знаешь, Лия правда была на Альпах. Когда Торик подрастёт, мы поедем. Хорошо?

П а с т о р. Поедем.

Т о р а. Как хорошо будет!

П а с т о р. Я очень устаю на горах.

Т о р а. Я совсем-совсем не видала гор. Торик не будет нам мешать. У неё удивительный характер.

П а с т о р. Она в тебя. Ты самая-самая кроткая девушка.

Т о р а. Ты меня хвалишь. Я зазнаюсь.

П а с т о р. Самая-самая кроткая. И самая правдивая. В тебе нет никакой лжи.

Т о р а. Сказку расскажи.

П а с т о р. Какую сказку?

Т о р а. Какую хочешь. Только не очень страшную.

Пауза.

П а с т о р. Ну, слушай...

В глухом-глухом лесу, на берегу глубокого, холодного озера живёт Горбун...

Т о р а. Не страшная?

П а с т о р. А вот слушай... Живёт Горбун. Руки у него длинные, как лапки у паука. Целые дни ходит Горбун по берегу, плетёт паутину. Всё плетёт. Всё плетёт.

Ночью прячется в нору глубоко, под землю. Никто не приходит к озеру: крепкой стеной сплелась лесная чаща. Вот однажды на утренней заре ветер принёс радостную весть: маленькая Гаяне нашла тропинку к холодному озеру. Затрясся от радости хитрый Горбун. Сложил длинные лапки на груди. Бросился в воду, поплыл белым лебедем. Охорашивается, машет пушистыми крыльями. Только смотрит: стоит на берегу маленькая Гаяне, боится шевельнуться. Не знает, куда ей идти. Подплывает к ней Лебедь-Горбун: «Садись ко мне на спину, я переплыву с тобой озеро». — «А там?» — спрашивает Гаяне. — «Там снова будет тропа. Ты пойдёшь дальше». — «Одна?» — «Я полечу над тобой». Улыбнулась маленькая Гаяне: «С тобой я ничего не боюсь, чистый Лебедь». И встала на пушистые белые перья. Обняла рукой лебединую шею. Плывёт Горбун, ластится, на небо хитрыми глазами поглядывает. Доплыли до середины. Зашумели волны. Чёрные, злые — бьют, хлещут со всех сторон. Раздвинулись далеко волшебные берега. Тёмный лес лентой едва виднеется. Прижалась маленькая Гаяне к Лебедю и говорит: «Не бойся... уж немного...» И вдруг взмахнул Горбун-Лебедь широкими крыльями. Поднялся над чёрными волнами и стряхнул Гаяне в воду. Упала маленькая Гаяне в холодное озеро. Белой пеной покрылась и вынырнула белою лебедью. Бросилась назад к берегу. Хлопает по воде испуганными крыльями. Приплыла. Берег навис отвесной скалой. Бьётся бедная у берега. Стонет жалобно. Подняться не может. «Ты превратишься в туман, — говорит Горбун, — и тяжёлыми каплями упадёшь в озеро. Ночью белою тенью будешь носиться над холодной водой». И поднялась Лебедь-Гаяне белым туманом и тяжёлыми каплями упала в тёмную воду. Снова пошёл по берегу Горбун. Снова плетёт паутину длинными лапами. И думает Горбун: «Вот ещё три таких лебеда, и я буду бессмертен».

Тора (*тихо*). Почему ещё три лебеди — и будет бессмертен?

Пастор (*задумчиво*). Не знаю... Так сказка сказывается.

Тора. Знаешь... Это очень страшная сказка.

Пастор. Разве?

Тора. Очень... Приласкай меня!

Пастор. Ах ты, маленькая трусишка.

Тора. Закрой мне ноги платком.

Пастор. Чтобы не было страшно?

Тора. Да... Мне всегда больше всего ногам страшно.

Пастор. Какая же ты маленькая. Совсем-совсем девочка.

Тора. Мне ещё потому так страшно, что я сегодня сон видела. Вспомнился. Про тебя. Хочешь, расскажу?

Пастор (*серьёзно*). Обязательно расскажи.

Тора. Вот слушай... Звонок!..

Пастор. Кто это... так поздно...

Тора. Это, должно быть, от Комитета... Я тебе вчера говорила.

Пастор (*волнуясь*). Ты думаешь?

Тора. Я им вчера сказала, что тебя можно застать после девяти.

Терезита. Пастора желают видеть двое, вчера которые были.

Пастор. Попроси их сюда. Ну, ты лучше уйди, милая.

Тора. Прощай. (*Целует его и уходит.*)

Входят два представителя Комитета чествования, первый — маленький старичок в золотых очках, второй — плотный господин средних лет. Оба в чёрных сюртуках. Робко подходят к пастору. Пастор совершенно меняется. Приподнимает плечи. Делается сутулым. Лицо принимает утомлённое, страдальческое выражение. Голос тихий, напряжённый.

Пастор. Садитесь, господа.

Первый представитель. Мы к вам с очень большой просьбой, пастор...

Пастор. Садитесь же, пожалуйста.

Садятся.

Первый представитель. Вы, вероятно, знаете, что в субботу предполагается народный праздник по случаю столетия со дня рождения Геринга?

Пастор. Да. Я немного слышал об этом.

Первый представитель. Комитет поручил нам просить вас принять участие в этом чествовании.

Пастор. Признаюсь, я принимаю это приглашение с большой радостью. У меня есть душевная потребность отдать Герингу дань уважения.

Второй представитель. А мы так боялись получить отказ. На вашей речи сосредоточивается главный интерес праздника. Мы уже получили запросы из других городов, будете ли вы участвовать.

Пастор. Обо мне знают в других городах? Я не думал этого.

Второй представитель. Мы не знаем, как и благодарить вас.

Первый представитель. Простите, пастор, но мы должны побеспокоить вас ещё одной просьбой. Видите ли, в празднике примут участие и профессора, и писатели, всего человек до десяти. Чтобы не было совпадения в темах, желательно заранее знать...

Второй представитель. Конечно, в самых общих чертах...

Первый представитель. Содержание предполагаемых речей. Может быть, вы не отказались бы передать нам...

Второй представитель. В нескольких словах...

Первый представитель. Программу вашей речи.

Пастор. Мне это очень трудно. Я никогда заранее не обдумываю плана.

Первый представитель *(почтительно)*. Хотя бы тему. Ведь Геринг был столь разносторонен. О нём можно говорить и как о мыслителе, и как о художнике, богослове, публицисте, наконец, человеке...

Пастор встаёт. Молча проходит по комнате. Пауза.

П а с т о р (*останавливаясь*). Я буду говорить о нём как о пророке свободной правды и обличителе всякой лжи. (*Говорит стоя. Голос постепенно меняется: из тихого, напряжённого переходит в металлический, властный.*) В Геринге больше всего меня поражает сила его правдивости. Преклониться перед этой силой мне прежде всего хотелось бы.

Видите ли, о нём говорить труднее и легче, чем о ком-либо другом. Труднее потому, что чем человек выше, тем труднее лгать перед ним. А публичная речь всегда наполовину ложь. Мы все изолгались. Лжёт наш голос, наши жесты, наши слёзы. Лгут ораторы, слушатели. Лжёт всё и внутри нас, и вокруг нас. Я знаю: многие задыхаются от этой лжи. Готовы кричать в исступлении, чтобы прорвать это мёртвое кольцо лживости. Но сил нет. Не может одинокая душа преодолеть лживость, накопившуюся веками. И вот перед лицом выразителя мировой совести, каким я считаю Геринга, мучительно думать, что в похвалах и восторгах, которые будут расточаться в честь его памяти, эта подлая ложь будет осквернять наши уста. И хочется прежде всего призвать людей к правдивости. Именем великого человека, мирового гения, страдальца и праведника. Сказать им, что пора сбросить маски; пора показать лицо своё. Быть простыми, правдивыми. Не стыдиться того, что все мы грешные, маленькие, слабые. Все мы братья — нужно наконец понять это. Должен же прийти конец притворству, обману, лицемерию. Пусть перестанут стыдиться своих страданий, своих слёз, своего смеха. Мне хочется громко сказать — на кафедре разрыдаться не стыдно. (*В волнении проходит по комнате. Тихим и утомлённым голосом.*)

Но, с другой стороны, о Геринге говорить легко, потому что он слишком вдохновляет на правдивость. Он поднимает в душе всё самое светлое. Не нужно быть святым, чтобы правдиво говорить о нём.

Моя тема — обличение лжи. Из всех пороков ложь — самый ненавистный. Мёртвою рукою душист она человека. Начинает с мелочей, с повседневных пустяков, незаметно впивается в самую глубь души. Всюду несёт опустошение. Всюду смрадным дыханием отравляет жизнь...

Геринг, как сказочный богатырь, сорвал подлую маску с изолгавшихся людей.

Нищие духом, они попрытались в пятиэтажные дома. Спасаются от призрака совести на автомобилях, на экспрессах. Непроглядный мрак своих до основания прогнивших душ хотят рассеять электрическим блеском. Оглушить, одурманить мозг — грохотом машин. И он сказал им: вы лжёте. Вы нищие. Ваша культура бессильная, гнилая... Вы жалкие рабы бессмысленных страстей. Опомнитесь! Перестаньте лгать.

Люди зарылись от истины в груды печатной бумаги. Глупость, невежество своё хотят скрыть учёною пылью. Не зная самого главного: зачем жить и как жить, хотят притвориться знающими какие-то великие научные истины. И он сказал им: лжёте! Вы ничего не знаете. Как не знали и много тысяч лет назад. Ваша наука ни на шаг не приблизила человека к истинному знанию. Груда фактов — не истина. А вы, кроме факта, ничего не знаете. Перестаньте обманывать. Себя и других. Не делайте важных физиономий, оставьте самодовольный, научный тон. Будьте простыми, как дети. Они ближе к истине, потому что они правдивы.

Вы воспели любовь. Усыпали цветами брачное ложе. Не лгите, не лгите, не лгите! Ваш брак — тот же разврат. Ваша любовь — гнусная похоть. Вы не видите в женщине человека. Вы втоптали в грязь её душу. И жена для вас — та же самка, та же любовница. Не усыпляйте вашу совесть поэзией. Не называйте утоление чувственности браком. Не говорите о равноправии, покуда не перестали как звери смотреть на женщину.

И что бы он ни говорил, что бы ни писал, хотя это было десятки лет тому назад, из его могилы, как властный

удар колокола, несётся один великий завет: не лгите, не лгите, не лгите... (*Садится в изнеможении на диван. Пауза. Приходя в себя.*)

Вот в нескольких словах... Это, конечно, не программа... Но сейчас я больше не могу.

Первый представитель (*почти шёпотом*). Мы не смеем больше задерживать пастора.

Пастор. Посидите, я устал, но это ничего. У меня сегодня очень много дел было. А скажите, где будет происходить праздник?

Второй представитель. В городском доме.

Пастор. Я не хотел бы говорить первым, но не хотел бы и в конце: я слишком устаю. У меня от усталости пропадает голос.

Первый представитель. Как только программа праздника определится, мы вам пришлём её. Не смеем задерживать. Там вас кто-то ещё дожидается.

Пастор. Где?

Второй представитель. В прихожей.

Пастор провожает их до дверей и смотрит в прихожую. Оттуда выходит Гинг, грязный, в лохмотьях, безобразной наружности.

Пастор. Ты опять здесь!

Гинг. Я уже несколько часов дожидаюсь пастора. Мок на дожде. Обо мне забыли.

Пастор. Ты всегда приходишь перед несчастьем. Как чёрный ворон.

Гинг (*тихо смеётся*). Я пришёл видеть пастора. Пастор меня не любит.

Пастор (*холодно*). Я тебе не верю.

Гинг. Я дурачок.

Пастор. Что тебе нужно?

Гинг. У меня важное дело.

Пастор. Какое дело?

Гинг. Я что-то знаю про пастора.

Пастор. Это меня не касается. Можешь идти.

Гинг. За что меня не любит пастор?

П а с т о р. Говори, наконец, прямо. Что тебе от меня нужно?

Г и н г. Пастор спасает человеческие души...

П а с т о р. Сейчас же уходи из моего дома.

Г и н г. Я хочу, чтобы он спас старуху Берту.

П а с т о р *(с отвращением)*. Что ты бормочешь?

Г и н г. Старуха Берта умирает. Умирает. У неё все лицо сгнило. Я давно уже заметил. Нос отвалился. Губа отвалилась. Нижняя. Ухо отгнило. Я был у старухи Берты. Она велела пойти к пастору. Заживо гнить никому не приятно.

П а с т о р *(хватает его за плечо)*. Зачем ты ходишь ко мне, зачем ты ходишь ко мне?! Отвечай сию же минуту!

Г и н г. Я уйду... что я, ворон, что ли... уйду. Мне что...

П а с т о р *(почти шёпотом)*. А что, если я тебя свяжу и буду бить тебя? По лицу. Чтобы всё в кровавую массу... И глаза, и рот. Всё в мокрый комок... Будешь ходить тогда... будешь... *(Спокойно и холодно.)* К старухе Берте я сейчас пошлю. Ступай.

Г и н г низко кланяется. Уходит.

Т о р а *(отворяет дверь)*. Ушли?

П а с т о р. Ушли, слава Богу.

Т о р а. Но тебе, кажется, приятно было их приглашение.

П а с т о р. Да... Приятно... Только меня бесконечно утомляют всякие эти разговоры. Ну, пойді ко мне сюда.

Т о р а. Сядем опять на диван. У тебя ещё кто-то был?

Садятся.

П а с т о р. Да. По делу. Знаешь, о чём я иногда думаю?

Т о р а. О чём?

П а с т о р. Взять бы, бросить всё и всех... Купить где-нибудь маленькое именьеце. Не говорить никаких проповедей. Не видеть разных глупых поклонников, вроде только что ушедших. Если бы ты видела, с какими

физиономиями они меня слушали. Я чуть не расхохотался как бешеный... И жить совсем-совсем просто.

Тора. Так взял бы и сделал. Право.

Пастор. И главное, чтобы никто каждую минуту не ждал от тебя чего-то сверхъестественного. Будем солить грибы... делать на зиму разные маринады. Заведём кур, гусей, индюшек. Вечерами мы будем читать. В уютном деревенском домике. Торик заснёт на диване. Ты закроешь его тёплым платком. Тихо, спокойно.

Тора. Я буду заботливой хозяйкой. Буду печь пироги, варить варенье. Шить Торику платьица. Домик у нас будет как игрушка. Право.

Пастор. Я даже план дома обдумывал.

Тора. Правда?! Ну, расскажи.

Пастор. Дом в четыре комнаты. Из передней ход в кабинет. Кабинет окнами в сад. Он отделяется аркой от маленькой спальни. Тут мы повесим вместо дверей занавеску. Из спальни ход в детскую. Эти три комнаты отделяются коридором от кухни и столовой.

Тора. Кругом дома обязательно должен быть сад.

Пастор. Да. Густой фруктовый сад. Чтобы яблони цвели под самыми окнами.

Тора. Милый, уедем.

Пастор. А ты меня не разлюбишь тогда?

Тора. Почему разлюблю?

Пастор. За измену своему призванию.

Тора. Милый, я тебя люблю не за что-нибудь, а просто люблю. Уедем.

Пастор. Что ты, голубчик. Разве это возможно? Так хорошо помечтать. Как в сказке. А жить я так не могу.

Тора. Почему?

Пастор. Я — пастор.

Тора. Ты милый, простой и маленький.

Пастор. Я, как Горбун, хочу получить бессмертие.

Тора. И превращаешь людей в белый туман...

Пастор. И плету паутину.

Тора. Чтобы белый туман упал в холодную воду?

П а с т о р. Да. И чтобы ночью над озером носились белые тени.

Т о р а. Опять мне делается страшно.

П а с т о р. Да, а про сон ты и забыла.

Т о р а. Рассказать?

П а с т о р. Обязательно расскажи.

Т о р а. Тяжёлый сон! Целый день у меня на душе какой-то осадок от него. Право. Видела я тебя в большой-большой зале. Будто бы ты сидишь в кресле, закрыл лицо руками и страшно рыдаешь. Вокруг тебя народ. И все хохочут, показывают на тебя пальцами, свистят, ругают. Прямо ужас что такое. Я хочу подойти к тебе. Меня не пускают. А мне так хочется быть близко-близко около тебя. Чтобы ты увидел меня. И вот я кричу: «Милый, милый!» Кругом как захохочут: «Вот так милый, вот так милый!»

И разом всё стихло. Страшно так стало. Один за другим потянулись все к выходу. Ты остался совсем-совсем один. В большом пустом зале. Я не могу двинуться с места. Стою как прикованная. Вижу, из тёмного угла выходит какой-то человек. Совсем как ты. Всматриваюсь — это действительно ты. Только какой-то другой. Тихо подкрадывается к тебе сзади. Я хочу крикнуть — и не могу. Ты сидишь, плачешь, не замечаешь его. А он, понимаешь, совсем такой же, как ты. Но противный и страшный. Совсем-совсем близко подошёл к тебе. И вдруг схватил тебя за горло и стал душить. Тут я больше не могла. Закричала. Проснулась. Вся дрожу. Прямо обезумела. Право.

П а с т о р (*встаёт*). Очень страшный сон.

Т о р а (*смеётся*). Вот уедем, и никто нас не тронет.

П а с т о р. Меня здесь никто не тронет. Я не боюсь врагов. Я чувствую себя сильнее их.

Т о р а. Стали бы заниматься хозяйством, разводить кур, гусей.

П а с т о р. Никто никогда не осмелится свистать мне... Нет, в этом сне другое страшно.

Тора (*притихнув*). Что?

Пастор. Другое... Пойди сюда, маленькая, поближе ко мне. Хорошая моя девочка. Дай, я тебя приласкаю, и не будем говорить о страшных вещах.

Тора. Мне спать хочется. Ты погладь мои волосы. Я буду дремать.

Пастор. Бедная моя, маленькая моя... ну, спи, родная, спи...

Тора. И ни о чём не буду думать. Ты всё за меня знаешь.

Пастор. Спи, родная... Не надо ни о чём думать. У тебя такое сердце, что тебе можно ни о чём не думать.

Тора. Опять хвалишь...

Пастор. Опять сказку будешь просить?..

Тора. Нег, не надо никаких Горбунов.

Пастор. Если бы ты только знала, как я недостоин тебя.

Тора (*почти засыпая*). Что ты говоришь, хороший мой... Разве можно так говорить.

Пастор. Только ради тебя мне и прощаются грехи мои.

Тора. Ну, приласкай... Я совсем сплю...

Резкий звонок.

Пастор (*вздрагнув*). Это ещё кто?.. Вот день!..

Тора. Решительно не понимаю.

Прислушиваются. В передней голос Ли и: «Нет, я не буду раздеваться». Тора и пастор встают.

Ли я (*входит и останавливается на пороге*). Может ли пастор сейчас ехать со мной? На полчаса. По очень важному делу.

Пастор (*спокойно*). Едемте.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Комната первого действия. В отворённое окно виден сад. Листья на деревьях жёлтые. В комнату падают яркие лучи солнца.

Т о р а *(одетая, в шляпе, надевает перчатки)*. Я сейчас же вернусь домой.

П а с т о р. Да-да... Не заходи, пожалуйста, никуда. Я должен всё знать сейчас же.

Т о р а. А если он откажется со мной разговаривать?

П а с т о р. Ты думаешь, это возможно?

Т о р а. Нет, но всё-таки?

П а с т о р. Ты скажи тогда, что я прошу его приехать ко мне.

Т о р а *(подходя к пастору)*. Как мне жутко... Что-то случиться должно.

П а с т о р *(с некоторым раздражением)*. Полно. Ничего не может случиться. Я достаточно силён.

Т о р а. Точно на нас надвигается...

П а с т о р. Не пророчествуй, пожалуйста.

Т о р а. Не сердись, милый. Не будем ссориться в такое время.

П а с т о р. Я не понимаю тебя! Почему «такое время»? Ведь ничего же не случилось. Глупая неприятность, больше ничего.

Т о р а. Ну, если так, я буду совсем спокойна.

П а с т о р. Конечно, конечно, будь спокойна. И главное — иди скорее. Нужно всё выяснить.

Т о р а. Ну, поцелуй меня на прощанье.

П а с т о р *(целует)*. Полно же малодушничать.

Т о р а. Прощай. Я теперь совершенно спокойна.

Уходит. Пастор садится на диван. Пауза. Звонок. Через комнату проходит Терезита. Голос Ли и в прихожей: «Один?» Голос Терезиты: «Одни».

Ли я (*входит сияющая. От неё веет здоровьем и молодостью. На ходу она снимает высокую шляпу*). Вот невежа! Извольте встать в моём присутствии. Вы думаете, я подойду и нежно вас поцелую. Нет, довольно. Поухаживайте и вы немножко. Ну-с!

Пастор медленно встаёт и идёт к Лие.

Ли я (*пятясь назад, смеётся*). Какой деревянный! Боже мой, какой деревянный! Да проворней же, господин пастор! Иначе я убегу от вас... Догоняйте!.. А то поздно спохватитесь.

Пастор. Будет, Лия.

Ли я. В меланхолии! А на дворе такое солнце, такое солнце! Воздух свеж, как морская волна. Словно плаваешь в нём. И небо совсем чистое.

Пастор (*молчит*).

Ли я. Не хмурьте ваших бровей... Я вас совершенно не боюсь... совершенно не боюсь!.. (*Быстро подходит к нему. Встревоженно.*) Что с тобой?

Пастор. Ничего особенного. У меня маленькая неприятность.

Ли я. Тебя ревнует Тора?

Пастор (*холодно*). Оставь её в покое.

Ли я. Говори, какая неприятность.

Пастор. Да нет, вздор... Запри двери, и будем с тобой веселиться. Я хочу забыть об этом вздоре. Хочу всё забыть, забыть!

Лия быстро идёт и запирает дверь.

Ли я. Я тебя буду развлекать.

Пастор (*улыбаясь*). Посмотрим, как ты будешь меня развлекать.

Пастор садится в кресло, Лия напротив него на диван. Берёт его за руки.

Л и я. Ну, слушай. Больше всего ты любишь самого себя. Отсюда ясно, что развлечь тебя можно лучше всего, говоря о тебе.

П а с т о р (*улыбается*). Это хитрость.

Л и я. Какая хитрость?

П а с т о р. Конечно, хитрость. Тебе просто хочется со мной говорить обо мне.

Л и я (*громко смеясь*). Почему ты узнал? Почему ты узнал?

П а с т о р. Ты в меня влюблена...

Л и я. Это к делу не относится.

П а с т о р. Очень даже относится. Потому тебе и хочется говорить со мной обо мне.

Л и я. Рассказывай: это интересно.

П а с т о р. И разумеется, начнёшь фантазировать... Описывать совсем не то, что есть, а то, что бы ты «хотела». Мужчине в таких случаях остаётся разыгрывать комедию под влюблённого суфлёра. Чтобы суфлёр пришёл в восторг от своего собственного произведения.

Л и я (*смеясь*). Вот хитрюши! Но это же Бог знает что такое! И все мужчины это знают?

П а с т о р. Все чувствуют.

Л и я. А ты научен долгим опытом?

П а с т о р. Да.

Л и я. У тебя очень, очень много было любовниц?

П а с т о р. Много.

Л и я. Ну сколько? десять?

П а с т о р. Перестань говорить глупости.

Л и я. Всё равно. Я знаю, что у тебя их было много. И знаю почему: ты удивительный.

П а с т о р. Дальше.

Л и я. Пожалуйста, не воображай. Ты совершенная загадка. Но я даже не хочу тебя разгадывать. Мне безразлично, кто ты. Я в тебя влюблена самым безнравственным образом. А через месяц брошу.

П а с т о р. Да, мы скоро расстанемся.

Л и я. Знаешь, я тебя совсем не ревную.

П а с т о р. Знаю.

Л и я. Почему?

П а с т о р. Ревность — чувство собственности, а я никому не принадлежу.

Л и я. Никому?

П а с т о р. Никому.

Л и я (*с недоброй нотой*). Ты всех обманываешь.

П а с т о р. Одного себя.

Л и я. Ты надо мной издеваешься, кажется...

П а с т о р. Ты в странном настроении, Лия.

Л и я. Ты обманываешь Тору.

П а с т о р. Нет... я её люблю.

Л и я. Ты от неё скрываешь свои связи.

П а с т о р. Из любви к ней. У неё для моей правды не хватит сил.

Л и я. А если она узнает?

П а с т о р (*в сильном волнении*). Она никогда не узнает этого.

Л и я. Когда-нибудь тебе придётся расплачиваться за свою жизнь.

П а с т о р. Моя жизнь — сплошная расплата.

Л и я. За что?

П а с т о р. Вот этого-то я и не знаю.

Л и я. Должно наступить возмездие.

П а с т о р. Оно наступает каждый день.

Л и я. Только подумай, сколько ненависти поднимется против тебя, если узнают, что ты всех дурачил. Этого не прощают.

П а с т о р. Я никого не обманываю. Никого. Я таков, каким они меня знают. Я не обязан говорить всему свету, что бываю другим. Это моя тяжба...

Л и я. С кем?

П а с т о р. Не знаю.

Пауза.

Л и я. Я не понимаю, как до сих пор никто ничего не знает. Тебе помогает нечистая сила.

П а с т о р *(очень серьёзно)*. Может быть.

Пауза.

Л и я. Не понимаю...

П а с т о р. Ну, скажи по правде... разве когда-нибудь ты могла бы рассказывать о наших отношениях?

Л и я *(решительно)*. Никогда!

П а с т о р. Наверно?

Л и я. Наверно!

П а с т о р. Ты можешь дать мне честное слово?

Л и я. Могу.

П а с т о р *(с возрастающим волнением)*. И если будет ходить по городу такая сплетня, она не будет иметь под собой никакой фактической почвы?

Л и я *(заражаясь его волнением)*. Никакой!

П а с т о р. Простая догадка... то есть та же клевета, только, по несчастию, совпадающая с фактом.

Л и я. Ну конечно. Что с тобой? Что случилось? Ты мне должен сказать.

П а с т о р. Ничего, ничего. Мне показалось, что мелькнул синий огонь угара.

Л и я. Что ты говоришь?

П а с т о р. Я тебя люблю... ты красавица... от тебя сегодня пахнет левкоем.

Л и я. Ты какой-то совсем особенный. *(Смотрит на него внимательно.)* Совсем особенный.

П а с т о р. Ну, довольно. Давай продолжать разговор.

Л и я. О тебе?

П а с т о р. О чём хочешь!

Л и я. Хочу о тебе. Скажи по правде, тебе не кажется странным, что ты говоришь с кафедры всякие возвышенные вещи, а в тебя влюбляются самым подлым образом?

П а с т о р. Кажется.

Л и я. А знаешь ты, что ни одна женщина тебе не верит?

П а с т о р *(внимательно слушает)*. Нет. Это для меня совсем ново.

Л и я. Да, да. Ни одна не верит. То есть не верит, что ты святой. Конечно, ты прекрасно говоришь о целомудрии. Но ведь мыслей твоих не слушают. Один голос твой слышат. А в нём что-то неистовое есть. Какая-то жажда дьявольская. Кровь загорается. Сердце биться перестаёт. Уверяю тебя, выйди ты на кафедру и скажи: я развратен, я кровожаден, я весь соткан из больных страстей. Уверяю тебя, все женщины с отвращением от тебя убежали бы. Ты выходишь бледный, целомудренный, как золотистый цветок. Голос твой — натянутая тетива. Ресницы опущены. Ты, задыхаясь, говоришь о чистоте непорочной, о святости девства, и за каждым словом твоим дрожит тоска любви, порочное, томительное вожделение. И никто не бежит от тебя. Напротив. К тебе так страшно тянет. Знаешь, я заметила: после твоих проповедей все женщины боятся смотреть в глаза друг другу. Только не думай, что это одно к тебе притягивает. Ты вообще интересен.

П а с т о р. Ну, уж это что-то вроде объяснения в любви.

Л и я *(смеясь)*. Да, пожалуй. У тебя прекрасный лоб. Изумительные глаза. Если в них взглядеться. И очень аристократические руки.

П а с т о р. Ты меня идеализируешь. Я протестую. Правды ради.

Смеётся резким смехом.

Л и я. Что ты смеёшься?

П а с т о р. Понравилась возвышенная цель: правды ради. Пастор всё должен делать правды ради. Не так ли?

Л и я. Постой. Я что-то не понимаю. Но больше всего люблю твои губы. Влажные, тёмно-красные. Точно всегда в крови. Руки у тебя худые, нежные, но страшно властные. Так любят мучить. Хочется повиноваться твоим рукам. Когда ты ласкаешь, электрический ток пронизывает тело. Искры сыплются и обжигают. Ты удивительный!

П а с т о р. А ты тоже необыкновенный суфлёр.

Л и я. Не дразнись. Я помню, как боялась к тебе подойти. Каким ты мне казался неприступным. Точно высокая гора, вечно устремлённая в небо. И в то же время так безумно хотелось совсем другого... Должно быть, я смутно чувствовала, каким ты можешь быть. Знаешь, ты постоянно разный. На кафедре ты один, при Торе другой, при мне третий. У тебя бесчисленное количество масок. Я не знаю, кто же ты, наконец? Я не в силах представить тебя одного в комнате. Какой ты тогда? О чём думаешь? Какое у тебя лицо, фигура, выражение глаз? Жутко становится. Но, право, мне всё равно, кто ты. Хотя из преисподней. Не всё ли равно? Я чувствую над собой твою власть. Так безумно хочется тебе подчиняться. Быть твоей без остатка... до последнего кусочка... Может быть, ты в душе издеваешься; может быть, это дьявольская игра... Всё равно. Пусть!

П а с т о р. Я сам, должно быть, чья-то игрушка.

Л и я. Ну скажи: почему, почему ты такой? Что за таинственные силы живут в тебе? Почему ты так притягиваешь...

П а с т о р *(серьёзно)*. Это тайна. Разгадывай...

Л и я. Нет, право, сам ты знаешь?

П а с т о р. Я сам знаю меньше всех.

Л и я. Почему ты такой разный?

П а с т о р. Я всегда таков, каков я есть.

Л и я. Ты не лжёшь?

П а с т о р. Если хочешь, я всегда правдив и всегда лгу.

Л и я. Что это такое?..

П а с т о р. Это дьявольские фокусы!

Л и я. Неужели ты сознательно меняешь физиономии, смотря по обстоятельствам?

П а с т о р *(шутливо)*. Ты хотела говорить обо мне, а сама расспрашиваешь.

Л и я. Скажи хоть немножко.

П а с т о р. Я не актёр, Лия.

Л и я (*тихо*). А кто?

П а с т о р (*тоже тихо*). Не знаю.

Л и я (*прежним тоном*). Потом, вот ещё: ужасно странно, что все тебе верят. Даже те, кто знает, что ты обманываешь.

П а с т о р. Я не совсем тебя понимаю.

Л и я. Вот я, например, ведь я знаю, что ты обманываешь Тору...

П а с т о р (*перебивая*). Я её люблю.

Л и я. Не в том дело. Ты её часто обманываешь, чтобы скрыть наши отношения. Идёшь ко мне, говоришь — по делу. Сейчас запер дверь. Каждая ложь тянет за собой две новых. А те, в свою очередь, тянут ещё по две. И всё-таки я тебе верю как никому. Почему это?

П а с т о р. Я правдив как никто.

Л и я. Ну объясни, как это.

П а с т о р. Я перед собой правдив. В этом и сила моя. И ужас мой. Я не грешу «по неведению» никогда. Не принимаю зло за добро. Не лгу перед своею совестью. Если я погибну, Лия, — гибель моя будет окончательная. Грех к смерти. Сколько бы я для внешних целей ни лгал, всё же есть Существо, которому я не лгу никогда.

Л и я. Кто?

П а с т о р. Бог... Перед людьми легче быть правдивым. Поверь мне.

Л и я (*восторженно*). Ты послан для великих дел!

П а с т о р. Не подсказывай мне, мой милый суфлёр, нечто из другой комедии.

Л и я (*смеётся*). Ну, вот и рассмешил. И главное, на самом торжественном месте. А всё-таки я права.

П а с т о р. Нет.

Л и я. Нет — да. Для великих дел.

П а с т о р. Я послан без цели. Со злости.

Л и я. О тебе будут говорить по всей стране.

П а с т о р. Но я не выстрою большого блистающего храма на долгие века.

Л и я. Ты зажжёшь светильник.

П а с т о р *(с силой)*. Я сам сгорю. Только сам. Ни для кого. *(Другим тоном.)* Ты заперла дверь не для того, чтобы заниматься философией.

Л и я *(ласкаясь)*. А для чего?

П а с т о р. Вот уж не знаю...

Л и я. Ну, скажи на ухо... Совсем шёпотом.

П а с т о р. Да я не знаю.

Л и я. Хочешь, я тебе скажу?

П а с т о р. Скажи.

Л и я. Давай ухо... *(Смеётся и целует.)*

П а с т о р. Я ничего не слышу.

Л и я *(продолжает смеяться и целовать)*. Слышишь? Слышишь?

П а с т о р. Да... Кажется...

Л и я. Сегодня вечером ты будешь говорить. Как я счастлива! Это лучшие часы в моей жизни.

П а с т о р. Сегодня я буду в ударе. На это у меня есть особые причины.

Л и я. Новая любовь?

П а с т о р *(серьёзно)*. Нет, ненависть.

Л и я. О чём ты будешь говорить?

П а с т о р. Я буду обличать ложь.

Л и я *(страстно обнимает его)*. Милый, милый.

Пастор отодвигает кресло. Несколько секунд смотрят пристально друг другу в глаза. Лия облокачивается на спинку дивана. Глаза её полузакрыты.

П а с т о р *(медленно, почти шёпотом)*. За городом. На берегу моря. В сосновом лесу у меня есть маленькая дачка. После моей речи... поедем. Хорошо?

Л и я *(молчит)*.

Пауза.

П а с т о р. Там всегда жарко натоплено... Раскалённые стены... На окнах цветы... Душно, как в угарной комнате... Бархатный ковёр... На стенах ружья, как в разбойничьем притоне... И длинный шёлковый хлыст... Свистит как стрела... Мы не будем ждать конца празд-

ника. Мы встретимся у подъезда... Я отвезу тебя в лес... В дачке окна лопаются от жара... Если ты будешь кричать... Просить пощады... Ни одной души... Слышишь, ни одной души...

Л и я. Вижу, как ты выйдешь на кафедру. С опущенными глазами... Беспомощный и властный. Бесстрастный и пылающий, как пламя. Притихнет зал. Застынет очарованная толпа. И прозвучит твой вздрагивающий голос. Пронесётся искрой по трепещущим сердцам. Зажжёт, покорит. Ты сегодня будешь сказочным великаном.

П а с т о р. Да, во мне сегодня поднимаются гигантские силы. Ты садись ближе к кафедре... Я хочу чувствовать твоё дыхание...

Лия страстно обнимает его. Пауза.

Л и я *(в полузабытьи)*. Пророк!..

Пауза. Резкий звонок. Пастор вздрагивает всем телом.

Что с тобой? Это, наверное, Тора. Хочешь, я уйду чёрным ходом?

П а с т о р *(овладев собой)*. Нет, оставайся. Отопри эту дверь.

Лия отпирает. Входит Тора, вся осунувшаяся. Медленно опускается на первый попавшийся стул.

П а с т о р. Застала?

Т о р а *(молчит)*.

П а с т о р. Родная, что с тобой?

Т о р а *(долго смотрит на пастора)*.

П а с т о р *(твёрдо)*. Говори.

Т о р а. Я застала там много народа... Они собираются к тебе...

П а с т о р. Вот и прекрасно. Мы, по крайней мере, объяснимся. Все недоразумения будут кончены.

Т о р а *(упавшим голосом)*. Он сказал, что приедет не для объяснений. Пойди сюда... Обними... Это такой ужас. Они говорят Бог знает что.

П а с т о р. Всё рассказывай, моя девочка.

Т о р а. Они говорят, что имеют документальные доказательства... Что ты... Что ты знаешь много женщин... Что у тебя незаконные дети... Что... Я не могу, не могу... Они тебя так ругали... И я ничего, ничего не умела им сказать... Защитить тебя...

П а с т о р. Бедная, беззащитная, счастье ты моё.

Л и я (*возбуждённо*). Пусть это правда! Кто из них может знать, у кого какие отношения с пастором? Чтобы судить, надо всё знать. Никаких фактов недостаточно. Иначе всякая правда — клевета... Какая низость вмешиваться в чужую жизнь!..

П а с т о р (*ласкает Тору*). Бедная моя, бедная... Никто нас не тронет. Я всегда буду с тобой... Я буду защищать тебя, покуда сил хватит. Только ты не разлюби меня... Никогда, никогда...

Т о р а. Милый, я не могу без тебя... Обними... ну, держи так... Мне так было обидно, так обидно... Главное, я совсем маленькая... Ничего не умею... Ничего не знаю... Они так кричали все... Что ты самый вредный человек на свете... Что ты весь сгнил... что с тебя надо сорвать маску...

П а с т о р. Пусть сорвут... Это будет великий подвиг...

Т о р а. Что ж теперь делать?

П а с т о р. Не бойся, родная. Всё обойдётся. Это недоразумение. Что бы со мной ни сделали, тебя они не отнимут... Никогда. Больше мне ничего не нужно... Уедем в деревенскую глушь... Будем разводить гусей, индюшек... Ведь мы же так хотели этого...

Т о р а (*ласкаясь*). Как мне нехорошо было.

П а с т о р. Бедная девочка... Ну, успокойся. Я всегда буду с тобой. Что бы ни случилось...

Л и я (*к пастору*). Вы уверены, что у них в руках нет никаких фактов?..

П а с т о р (*смотрит на неё пристально*). Уверен, что это подлые догадки моих врагов...

Т о р а. Ты такой хороший, правдивый... Так много делаешь добра, не жалеешь своих сил. И вдруг они смели

тебя так ругать... Главное, ведь они все тебе обязаны: ты их учил добру... Нет, я просто не могу... Не могу...

П а с т о р. Вот посмотришь... Я сумею ответить на клевету. Не им меня испугать. Тора, милая, скажи, ты всегда мне будешь верить? Что бы ни случилось?

Т о р а. Пусть все кричат, что ты дурной... Все, все... Я одна знаю, какой ты.

П а с т о р (*благоговейно*). Потому что ты одна любишь.

Т о р а (*с тоской*). Милый, милый... Зачем всё это случилось... Так счастливо жили.

П а с т о р. Не падай духом, родная. Не забывай, я — пастор. Дух мой крепнет в опасностях. Мы с тобой смело пройдем мимо наших врагов и судей... Мы будем счастливы...

Звонок. Все безмолвно смотрят на дверь.

Т е р е з и т а. Пастора желает видеть какая-то женщина.

П а с т о р. Пусть войдет.

Т о р а и Л и я уходят. Входит молодая прихожанка.
Пастор молча указывает ей на кресло.

Молодая прихожанка. Я к вам опять... господин пастор... Не могу... Сил не хватает...

П а с т о р (*холодно*). Человек собственной волей должен определиться к добру...

Молодая прихожанка. Простите, ради Христа... Верите ли, ни одного места живого в душе не осталось... Знаю, что гибну... Не могу. Решу уйти. Как увижу его, не могу. Собакой готова быть.

П а с т о р. Будьте собакой.

Молодая прихожанка начинает плакать.

П а с т о р (*встаёт*). Вы должны его бросить.

Молодая прихожанка (*сквозь слёзы*). Если бы... силы...

П а с т о р. Он похоть разжёт в вас. Отравил тело ваше. Вы в угаре. Очнитесь хоть на одну секунду: весь

туман исчезнет. Вы не можете хотеть его подлых ласк. Вы всё мне рассказывали. Я знаю, что он с вами делает. Вы чистая девушка... Не можете хотеть этого...

Молодая прихожанка. И жить не могу с ним... и уйти не могу...

Пастор. Вы заражены его развратом.

Молодая прихожанка. Нет... Я как собака...

Пастор. Вас тянет его разнuzданный грех... Говорите.

Молодая прихожанка. Нет. Я только страдаю от этого...

Пастор. Простите... Есть вещи, о которых я не могу говорить спокойно... Чистая, молодая девушка... Вот такая, как вы... Отдаёт тело своё на потеху смраднему вожделению... Покорная, готовая всё принести в жертву. Нет зрелища более отвратительного!.. Слушайте... ваше падение было подвигом. Может быть, самым страшным подвигом. Вы, как на крестные муки, шли в его грязные объятия. А он? Ничего, кроме пошлого смеха... Хвастливых рассказов приятелям... С подлыми подробностями... За это мало смертной казни. Он не смеет касаться вашего тела. Оно святое... Не смеет целовать вас. Не смеет осквернять вас своими ласками. Ещё в вашей душе много светлого. Пройдёт год, два — он все силы высосет из вас. Я требую от вас послушания. Вы духовная дочь моя. Я требую от вас целомудрия. Я не могу видеть вас в этом огне самого унижительного разврата. Не могу видеть циничных издевательств над вашей красотой. Бог пошлёт вам силы... Я буду всегда около вас. Бегите от него, не оглядываясь. Ни на минуту.

Молодая прихожанка *(встаёт)*. Когда я слушаю вас, столько сил поднимается... Так легко бросить его...

Пастор. Не давайте остыть вашим силам...

Молодая прихожанка. Я увижу его... и опять...

Пастор. Вам не нужно его видеть.

Молодая прихожанка (*внезапно зарыдав*). Я совсем, совсем не таким его полюбила... Разве я знала, что он такой... Разве я знала...

Пастор (*лаская её, проникновенно*). Дочь моя... Бедная девушка... Пусть не отчаивается ваше сердце... Оно молодое... В нём много жизненных сил. Пройдёт несколько лет, и вам теперешнее горе ваше покажется таким ничтожным.

Молодая прихожанка. Только бы сразу решить. А то нет большей муки, чем эти постоянные колебания.

Пастор. Решайте сразу. Вот здесь. Сейчас...

Молодая прихожанка (*твёрдо*). Я решила. Я приду домой и сейчас же напишу ему письмо.

Пастор. Идите и делайте так скорее. Если дома вас снова охватят колебания, приходите сюда. Сейчас же.

Молодая прихожанка. Я всегда буду жить около вас. Прощайте, пастор.

Пастор. Идите с Богом.

Уходит. Пастор некоторое время стоит молча, потом отворяет дверь.

Я свободен.

Входят Тора и Лия обнявшись.

Лия. В пять часов мы с Торой едем кататься.

Тора (*радостно улыбаясь*). Всё, что было там, мне представляется диким сном. Право. Помнишь, года полтора назад, когда должен был родиться Торик, я часто во сне плакала. Такие были безобразные сны. Прямо ужас. Ты брал меня к себе. Приласкаешь, и всё пройдёт. Так и теперь. Право.

Пастор. Я тоже совсем спокоен. Только устал.

Лия. Вам нужно беречь свои силы. Сегодня вы говорите на празднике.

Тора и Лия садятся за круглый стол. Пастор поодаль, в кресло. Он не принимает никакого участия в разговоре. Сидит в глубокой задумчивости.

Ли я. Вы смотрите, не вздумайте отказываться.

Тора (*смеётся*). Ну вот, право, какая вы. Говорю же, поеду. Я тоже очень люблю кататься.

Ли я. Ну кто вас знает. Вы такая маленькая: маленькие дети непостоянны.

Тора. Все мне твердят, что я маленькая. Уж совсем не такая маленькая. Право.

Ли я (*смеётся*). Я «большая»...

Тора (*смеётся*). Нет, правда, поедем. И завтра обо всех этих ужасах даже не вспомним.

Ли я. Да и теперь вспоминать не следует.

Тора (*грустно*). Вспоминается!

Ли я (*шутливо*). Опять капризничать?

Тора (*улыбаясь*). Не буду. Куда же мы поедем?

Ли я. Куда-нибудь по шоссе. Только дальше, как можно дальше.

Тора. Торику сегодня не очень хорошо.

Ли я. Что с ним?

Тора. Бледная очень. Я заметила: если у меня неприятность — ей не по себе. Точно чувствует. Право.

Ли я (*смеясь*). Так вы пойдите и скажите ей, что неприятность прошла.

Тора. Не поверит.

Ли я. Почему не поверит?

Тора. Потому что неприятность прошла не совсем.

Ли я. Будет вам. Ну, какая там неприятность. Про всех выдающихся людей сплетничают. Вам надо привыкнуть. Не выходили бы тогда за пастора.

Тора. В этой сплетне есть что-то особенное.

Ли я. Что?

Тора (*тихо*). Точно с нами всё это... было. Раньше... Когда-то...

Ли я. Ничего особенного. Самая типичная сплетня.

Тора. Мне почему-то делается страшно, когда я начинаю о ней думать.

Ли я. А вы не думайте и не вспоминайте. Махните на всю эту гадость рукой. Давайте дурачиться!..

Т о р а *(шёпотом)*. Тихе... Пастор думает...

Л и я быстро оборачивается к пастору. Обе смотрят на него молча. Пауза.

Л и я *(другим тоном)*. Давайте шить рубашечки.

Т о р а *(кивает головой)*.

Л и я. У вас выкройки здесь?

Т о р а *(улыбаясь)*. Я их не уношу. Они всегда тут, на диване. *(Достаёт выкройки.)*

Л и я. Почему вы шьёте голубенькие?

Т о р а. Это мой любимый цвет.

Л и я. Розовый к Торику пойдёт больше.

Т о р а. Уж эту материю дошьём... а там можно будет и розовенькие сшить.

Л и я. Ей не коротки эти рукава?

Т о р а *(озабоченно)*. Нет. А вы думаете, коротки? Я мерила.

Л и я. Уж очень маленькие... Впрочем... нет.

Т о р а. Торик растёт прямо необыкновенно.

Л и я. Может быть, рукава немножко прибавить?

Т о р а. Пожалуй... Немножко.

Л и я. Где же лоскуток?

Т о р а. Он упал, должно быть, на пол. *(Наклоняется и достаёт.)*

Пауза. Тихо.

Л и я. Который час?

Т о р а *(смотрит на часы)*. Четыре... Времени ещё у нас много. Я успею обметать все петли...

Л и я. Вы купили очень изящные пуговицы.

Т о р а. Я хочу Торику одевать красиво: чтобы развить вкус.

Л и я. Везите её скорей на Альпы.

Т о р а. Ну, до Альп-то она ещё не доросла.

Пауза.

Л и я *(кладёт работу на колени)*. Как тихо. Нигде не бывает так тихо, как у вас.

Тора (*улыбаясь*). Потому что мы счастливы.

Лия. Может быть... Как-то не верится, что за этими стенами не дремучий лес, а настоящий большой город.

Тора. Позднее осенью у нас почему-то особенно тихо.

Звонок. Пастор быстро встаёт. Несколько секунд держится за спинку кресла. Идёт к дивану и, весь согнувшись, садится на него. Тора и Лия поднимаются со своих мест. Смотрят на дверь в прихожую. В прихожей резкие голоса; о чём говорят, не слышно. Доносится только: «Мы знаем». Отворяется дверь, входит Вильтон, невысокий, плотный господин, седой, с небольшой бородкой. С ним два молодых человека. У одного из них тросточка. Не снимая шляп, в пальто, все трое подходят к дивану. Пастор сидит неподвижно.

Вильтон (*очень повышенным голосом, который постепенно переходит в крик*). Милостивый государь, мы пришли сделать вам следующее заявление.

Пастор (*тихо*). Я хотел бы знать, могу ли я, в свою очередь...

Вильтон (*не слушая, сильно возвышает голос. Пастор всё время сидит не двигаясь*). Сделать заявление, что вы — мерзавец!..

Тора (*срываясь с места*). Вон!.. Вон!.. (*Заслоняет собой пастора*.)

Вильтон (*отстраняя её, продолжает кричать*). Нам известно, что вы совращаете ваших прихожанок... Что у вас десятки любовниц... Что вы украли из кассы благотворительного общества деньги на отсылку незаконного ребёнка в приют...

Тора (*кричит в иступлении*). Вон! вон, мерзавцы! (*Не помня себя, ударяет Вильтона по лицу*.)

Вильтон (*отстраняя её руку, другим тоном*). Я вас понимаю и на пощёчину вашу не оскорбляюсь. (*Снова переходя в крик*.) Мы требуем, чтобы вы немедленно ликвидировали ваши отношения как с вашей семьей, так и со всеми другими!.. В двадцать четыре часа вы должны навсегда уехать за границу... Туда, где вам будет указано!.. В случае вашего несогласия все честные

граждане города поклялись бить вас всюду, где бы вы ни показались... Бить как последнюю собаку!.. Если не подействует это... мы не остановимся... чтобы вас совсем стереть с лица земли!.. Мы будем ждать ответа в течение трёх часов... *(К двум молодым людям.)* Идёмте...

Тора *(совершенно не владея собой)*. Мерзавцы! Мерзавцы! Мерзавцы!

Уходят. Лия беспомощно падает в кресло. Тора подходит к пастору.

Тора *(неожиданно твёрдым голосом)*. Пиши сейчас же... Я хочу умереть вместе с тобой.

Пастор *(растерянно)*. Умереть?.. Что ты... разве я могу...

Лия *(с испугом)*. Тора! вы не думаете, что вы говорите. Пастор беззащитен... Они убьют его.

Тора *(холодно и властно)*. Пусть...

Лия. Вы с ума сошли!..

Тора. За нас правда. Убить могут всегда. Арнольд не боится угроз... Я буду с ним.

Пастор. Послушай... это невозможно.. Умирать из-за какой-то глупой сплетни... Ведь они не дали сказать мне двух слов... Я не могу так умереть... Ты... Маленький Торик... Я не могу!

Тора. За нас правда, Арнольд!

Пастор. Всё, что хочешь... Испытания — какие хочешь... Только не смерть! Тора, только не смерть!

Тора *(после минутного колебания)*. Что же делать?

Пастор. Я соглашусь... я должен согласиться, Тора!..

Тора *(молчит)*.

Пастор. Ты молчишь... Тора... пойми... не могу я... тебя принести в жертву... Я не готов к смерти, Тора... Я приму их условие временно... Не всю же жизнь они будут стеречь меня... Всё выяснится... Через два-три года я вернусь... и мы с тобой уедем... в деревню, Торочка...

Тора. Арнольд, Арнольд!..

Л и я. Пастор должен сохранить свою жизнь...

Т о р а. Я не умею сказать... я не знаю, как это сказать...
Всё это совсем не так... Мы должны остаться... Будем
защищаться... Пусть убивают... Совсем не страшно...

П а с т о р. Если геройство надо купить ценой смерти...
Всё... что хочешь, Тора... Смерти принять не могу... Я не
боюсь... Не могу... Не должен...

Т о р а *(в отчаянии)*. Так что же... что же делать... Не
можешь же ты согласиться навсегда бросить меня... Тори-
ка... Потому что кому-то не нравятся наши отношения...
Не можешь пойти на такое унижение...

П а с т о р. Это подлая физическая необходимость...
Тора... на время только... может быть, на год...

Л и я. Пастор хочет укрыться от бешеных собак.

П а с т о р. Пойми... не могу идти я против рожна... не
могу... умирать... только чтобы изобразить благородную
позу...

Т о р а *(упавшим голосом)*. Это не поза... я не знаю,
как сказать... только всё это совсем не так...

П а с т о р. Остаться здесь — это равносильно само-
убийству...

Т о р а. Пусть... за нас правда... пойми, Арнольд!

П а с т о р. Постой, постой... тебе ничего, что ты при-
нуждаешь меня покончить с собой...

Т о р а. Что ты... Арнольд...

П а с т о р. Да, да... вынуждаешь... Я хочу жить, я не
готов к смерти... на самоубийство надо иметь право. Ты
должна согласиться... даже на унижение... чтобы спасти
мою жизнь...

Л и я. Какое может быть унижение перед людьми,
которых считаешь мерзавцами!

Т о р а. Арнольд... Арнольд!..

П а с т о р. Всё объяснится... потом, Торочка... так
нельзя...

Т о р а *(беспомощно)*. Делай как хочешь... ты лучше
знаешь... ты всегда... за меня... *(Удерживается, чтобы
не разрыдаться.)*

П а с т о р *(в сильном волнении)*. Ну, потерпи, бедная моя. Ведь не навсегда я уеду. Не можем мы не жить вместе. Я никогда тебя не брошу. Ради Христа, не падай духом. Через год-два... всё успокоится... Они поймут. Одна смерть непоправима... Если они убьют меня, ты тоже погибнешь... Родная моя, согласись... Уверю тебя, всё пройдёт...

Т о р а. Хорошо...

П а с т о р. Я напишу им письмо сейчас... *(Садится и пишет. Запечатывает в конверт.)* Сейчас pošлю Терезиту. *(Уходит.)*

Т о р а *(закрыв руками лицо)*. За что... За что...

Л и я. Нужно... зачем-нибудь...

Т о р а. Лия, это сон...

Входит п а с т о р. Садится на диван, заглядывает в лицо Торе.

П а с т о р *(жалко улыбаясь)*. Ты недовольна?.. Поедем в деревню... Будем разводить кур, индюшек... Ведь ты хотела...

Т о р а *(силится улыбнуться)*. Да, милый... всё пройдёт... Мы с тобой будем... счастливы... *(Почти кричит.)* Арнольд! за что это нам?.. за чей грех...

П а с т о р. Только не за твой... девочка... святая моя... прости... если можешь...

Т о р а. Такое счастье было... Всё отняли...

П а с т о р. Торочка... девочка... всего на два года... Ну, что значат два года... Ты же не разлюбишь меня за это время...

Л и я *(бросаясь к пастору, иступлённо)*. Возьми... Возьми меня с собой... я умру без тебя... я умру! Любимый мой! Счастье моё!.. Возьми, увези отсюда...

Тора встаёт в ужасе.

Т о р а. Арнольд!..

Шатаясь, падает на диван.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Комната первого действия. На столе, на стульях разложены вещи, приготовленные для укладывания. Всюду заметен беспорядок. На полу валяется бумага. Лампа без абажура. Посреди комнаты раскрытый чемодан. Пастор сидит в углу, на диване. Он похудел, осунулся. За столом против него Вильтон, с бумагой и карандашом.

Вильтон. Разговор наш чисто деловой. Прошу помнить это... Ваш отъезд связан с целым рядом практических вопросов. Во-первых, вы должны сказать, где воспитываются ваши дети, так как общество решило выписать их и воспитывать здесь.

Пастор *(тихо)*. У меня одна дочь... трёх лет. Она воспитывается в столице... в монастырском приюте...

Вильтон. Ввиду того, что мы относимся к вам как к человеку, способному на всё...

Пастор *(быстро)*. Я действительно способен на всё...

Вильтон. Прошу вас не перебивать... То мы не уверены, что вы поедете туда, куда мы вам велим. Поэтому вас всё время будет сопровождать человек.

Пастор *(хочет что-то сказать)*.

Вильтон *(холодно)*. За границей в течение двух лет вы будете получать от нас полное содержание. После двух лет можете устраиваться как вам угодно. Наш ультиматум сохраняет силу до тех пор, покуда вам не будет сообщено, что мы считаем все счёты с вами поконченными. Наконец, самое основное требование

(возвышая голос), чтобы вы ни с кем не переписывались.

Пастор (делает движение. Прерывающимся голосом). Послушайте... я прошу вас... Тора... жена... не может не получать от меня известий... Она с ума сойдёт... слушайте...

Вильтон (встаёт. Холодно). В таком случае я прекращаю переговоры.

Пастор (отрывисто). Я согласен...

Вильтон (стоя). Причём я должен вас предупредить, что малейшее нарушение ваших обещаний повлечёт за собой все известные вам последствия.

Пастор. Я исполню всё... можете быть совершенно уверены.

Терезита (входит). Пастора желает видеть...

Пастор (перебивая). Скажи, что я занят.

Вильтон (складывает свои бумаги). За вами придут ровно в два часа.

Не кланяясь, идёт к двери и почти сталкивается с Лией. Молча кланяется ей и проходит мимо.

Лия. Торы нет дома... я знаю...

Пастор (в сильном волнении). Лия... ты с ума сошла!

Лия. На одну минуту... Торы нет... По делу... я решила ехать за тобой... куда бы ни было. Ты должен немедленно телеграфировать свой адрес.

Пастор (подчиняясь её тону). Это невозможно. Я обещал ни с кем не переписываться.

Лия. Всё равно... Тогда я еду сегодня же... В одном поезде с тобой... С каким ты едешь?..

Пастор. В три.

Лия. Половина третьего я буду на вокзале...

Пастор (упавшим голосом). Брось... Лия... Не стоит... связываться с такою дрянью...

Лия (оглядывается). Пора идти...

Обнимает его. Целует долгим, страстным поцелуем.

П а с т о р. Прощай... могут прийти...
Л и я. Прощай... Ровно половина третьего...

Уходит.

П а с т о р *(берёт со стола шляпу. Кричит в дверь).*
Т е р е з и т а! Я уйду.

Т е р е з и т а *(из другой комнаты).* Хорошо.

Сцена некоторое время пуста.

Т о р а *(несёт открытый саквояж. За ней Терезита с бельём на руках).* Положи здесь. И сейчас же пошли мальчика к прачке... Пусть она пришлёт бельё пастора, которое готово.

Т е р е з и т а уходит. Тора садится на диван. Беспомощно облакачивается на стол. Длинная пауза. Приходит в себя. Оправляется. Начинает укладывать вещи пастора. Входит Терезита.

Т е р е з и т а. Послала.

Т о р а. Ты приготовила новый сюртук пастора?

Т е р е з и т а. А вот он.

Т о р а. Хорошо бы его завернуть во что-нибудь.

Терезита завёртывает сюртук.

Найдётся ли у нас толстая верёвка перевязать сундук?

Т е р е з и т а. Должна найтись. В прошлом году, когда пастор ездили... *(Закрывает лицо фартуком и всхлипывает.)*

Т о р а *(спокойно).* Что с тобой? Перестань. Пойди на чердак и принеси верёвку.

Т е р е з и т а уходит. Тора стоит задумавшись. Быстро подходит к столу; берёт маленьких бронзовых медвежат, завёртывает их в бумагу.

Т о р а. Я положу их... Он так любил... Звал меня медвежонком... *(Внезапно зарыдав.)* Милые, милые... *(Судорожно целует свёрток.)*

Входит Терезита.

Т е р е з и т а. Я положила верёвку на сундук.

Т о р а. Ступай, голубушка. Я одна.

Терезита. Помогла бы я вам.

Тора. Я же всегда укладывала вещи пастора... в дорогу. Спасибо, я сама.

Терезита уходит. Тора укладывает чемодан. Сзади в дверях показывается пастор. Тора не замечает его. Пауза.

Пастор (*тихо*). Тора...

Тора (*оборачиваясь*). Ты... Арнольд... Я укладываю твои вещи... За тобой придут через час... Надо торопиться.

Пастор. Тора... Я не могу так расстаться... (*Подходит к ней.*) Тора... я с ума сойду...

Тора (*хочет улыбнуться*). Ну что ты... Ну не надо...

Пастор. Расплата... сон... что это...

Тора. Не спрашивай, Арнольд... Мне жутко с тобой. Я ничего не знаю. Должно быть, надо...

Пастор. Я не буду. Я уйду.

Тора. Я уложу твой новый сюртук...

Пастор. Да, уложи.

Тора. На столе лежит пакет. Его передать...

Пастор. Да, там написано... Тора... одно слово...

Тора (*молчит*).

Пастор. Ты никогда ко мне не приедешь?

Тора (*тихо*). Никогда.

Пастор (*с тоской*). Ну почему... почему, Тора? Мы можем быть счастливы... Нет, я не могу... я не то...

Тора. Надо всю жизнь. С начала. Я не знаю, как это сказать...

Пастор. Ты думаешь, это Бог?

Тора (*испуганно*). Я не понимаю. Ты что...

Пастор. Наказание, за грех всей жизни?..

Тора. Я не сужу. Я ничего не понимаю. Это больше сил моих.

Пастор. Нет, это синий угар... Да, да. Тора. Я за чем-то должен погибнуть. Тора... Тора... одна ты можешь. Любовь одна...

Тора (*твёрдо*). Арнольд... я не люблю тебя больше... я уж сказала тебе... Ты должен понять. Простить, если можешь...

П а с т о р (*бессильно*). Разве может любовь исчезнуть в одну ночь?..

Т о р а. Может.

П а с т о р (*с силой*). Ты ломаешь себя. Ты обманываешь себя... Маленькая Тора... Ты любишь... я наверное знаю, что любишь...

Т о р а. Нет. Не люблю... Не мучай... Навсегда прошло...

П а с т о р (*задыхаясь*). Не могу...

Т о р а (*решительно*). Ну, постой. Не унывай. Сядем и поговорим с тобой. Вот тут, на диване.

Садится и усаживает рядом с собой пастора.

П а с т о р. Тора... Торочка... маленькая... Так всё вспоминается... вспоминается... Сидели... за этим столом...

Т о р а. Ну, постой... постой... Ты только не сердись на то, что я тебе скажу... я тебе всё скажу... всё... Ты только не плачь, родной мой... Я не могу, когда ты плачешь... Ну, слушай... Ты знал других женщин, ты много грешил... Я тут ничего не могу понять... Может быть, никто не может понять... и судить. Я не об том. Это не убило бы во мне любви... Но пойми, как ты лгал... как искренно лгал. Значит, и всё, может быть, было неправдой... и я тебя совсем не знаю... Кто ты? Ты другой!.. я не такого любила... Ты, может быть, лучше того... я не знаю. Превжний Арнольд умер, исчез... Пойми...

П а с т о р. Тора... постой... Тора...

Т о р а. Подожди, родной, ты только не сердись... я не умею говорить. Ведь ты всегда всё за меня делал... Ну, постой...

П а с т о р. Ты не можешь не верить мне, Тора!

Т о р а. Не верю... не верю, Арнольд... что бы я дала, чтобы поверить снова... Ни одному твоему слову не верю... Что бы ты ни говорил теперь, я думаю буквально следующее: да, может быть, правда, а может быть, притворяется... Говорит — мучается. Да, может быть, мучается, а может быть, лжёт. Говорит — любит... может быть... может быть...

П а с т о р. Тора... выслушай...

Т о р а. Ты только не сердись... Я тебе так верила... так верила. Я знала, что ты всё за меня решишь. Что ты борешься со злом и ведёшь меня куда-то... где будет хорошо, радостно. А теперь пусто. Темно. Я ничего не понимаю. Ничему не верю. Не верю, что ты куда-то шёл. Не верю твоим проповедям... Может быть, ты притворялся... Бедный мой, ты лгал всё...

П а с т о р. Постой, постой, Тора... Ты должна понять. И всё будет по-прежнему. Ты должна понять: в тебе было всё моё спасенье. Я не лгал тебе; никогда, Тора. Выслушай... Ты поймёшь...

Они делают из меня какого-то подлого соблазителя девиц... Тора, это больше, чем ложь... больше, чем клевета... Я — мученик. Тора... Ты не веришь моим словам!.. Ну, хорошо. Поверь фактам... Ни одна женщина, Тора, которой я увлекался, мне не отказывала. Никогда. Что это? Волшебство? Чудо?

Тора, пойми, если бы я занимался мелким развратом, это было бы невозможно... Разврат бессилен. Здесь страшная сила... А где сила, там и страдание и ужас... Женщины мне отдавались потому, что сила моего желанья была сильнее меня самого. Это — стихия. Это — страшный крест. Тора... Если бы ты знала, сколько раз я кровавыми слезами молился, чтобы Господь избавил меня от разнузданных желаний... Они снова налетали... Как раскалённый вихрь... Я сам становился рабом чьей-то дьявольской власти... и поработал других... Это — крест. Тора... Это — венец мученический... Они думают, я наслаждался, срывал цветы удовольствий... Не дай Бог никому таких наслаждений...

Т о р а *(тихо)*. Я не сужу... а говорю, Арнольд... это больше сил моих... Непосильна мне тайна эта... Но что-то оборвалось... внутри оборвалось...

П а с т о р. Смерть всю жизнь надо мной, как тяжёлая туча, плыла... Ждал кто-то последнего слова в душе моей... Ты — спасенье моё... ангел-хранитель мой была...

Тора. Я не сужу.

Пастор. Все силы напрягал я, чтобы не поверить торжеству смерти. Не хотел смотреть в лицо ей... Слышать торжествующий гимн её...

Тора. Мне жутко с тобою, Арнольд...

Пастор. Я — простой, слабый, беспомощный... мне нужно разводить кур, гусей... Как совместить это с безграничной властью моей?!.. Не знаю... Тора... не знаю...

Ты говоришь — я лгал. Ты не веришь моим проповедям. Ну пойми... Господи, как показать мне тебе больную, несчастную, истерзанную душу мою? Слушай... Я не лгал никогда в церкви. Никогда. Что это было? Не знаю. Тора... я ничего не знаю... Выслушай... Я выходил на кафедру... отравленный похотью... до мозга костей... И я кричал: в пустыню... в пустыню... Это был страшный крик, Тора... Он нёсся из какой-то бездонной пропасти... Послушай... Я не лгал, я не лгал!.. Это что-то другое... Я не мерзавец, Тора... На мне легло чьё-то предвечное проклятье. Это отмщенье за новую жизнь, о которой я мечтал. И я всю, всю жизнь свою... задыхался, бился, как иступлённый... падал, изнывал от мучений... Ты одна, маленькая Тора... была настоящей радостью...

Тора. Ну, что же делать, что же делать мне...

Пастор. Если б ты могла... до конца нести свой подвиг... Тора...

Тора. Любовь ушла куда-то... Уж это другое... Нет сил прежних... Точно над твоей могилой...

Пастор. Всё стало... так странно — далёким...

Тора. Господи, если бы я могла вернуть любовь... Веру в тебя. Вот ты говоришь, и я не знаю... правда ли всё это... потом ещё...

Пастор. Ты перестала видеть меня.

Тора. Постой, постой... как бы сказать... Ты был не таким... не грешным... а не таким...

Пастор. Я не понимаю, Тора...

Тора. Только не будешь сердиться?.. Мне больно говорить... Скажи, что не будешь.

П а с т о р. Никогда, Тора, что ты...

Т о р а. Ты так унижался перед ними... был такой жалкий, бессильный... Пастор Арнольд Реллинг не так должен был говорить... я не знаю, как, только не так... Ты испугался... Ты согласился бросить меня и Торика... потому что испугался... *(Берёт его за руку.)* Не сердись-ся... Арнольд?..

П а с т о р *(подавленный)*. Я не оправдываюсь. Тора... Я боюсь смерти... и готов на всякое унижение, чтобы избежать её... Да... я боюсь смерти, Тора... Но только одной смерти... Никакой другой угрозы я не испугался бы и сумел себя защищать... Это не трусость, Тора... Это другое... Боязнь умереть — совсем другое... идти на смерть с лёгким сердцем — не храбрость...

Т о р а. А что?..

П а с т о р. Незнание смерти...

Т о р а. Ты страдаешь, Арнольд...

П а с т о р. Я знаю смерть, может быть, как никто... У меня с ней страшные счёты... Тора...

Т о р а. Арнольд... прости меня...

П а с т о р *(поражённый)*. Тора... ты... Господь с тобой...

Т о р а. Я тоже, как-то не так. Я беспомощная. Ничего не знаю. Если бы я могла помочь тебе... Если бы я могла... Я слишком проста для тебя.

П а с т о р. Вся сила твоя в простоте.

Т о р а. Милый, бедный мой... Ну, пойдя ко мне сюда. Садись ближе. Совсем рядом. Вот так. Как странно мне: я к тебе так привыкла. По-прежнему люблю твоё лицо, руки, глаза... Такое всё знакомое-знакомое. Такое родное, милое... Знаешь, точно ты любимая шкатулочка. Право. Всё из неё вынули, а шкатулочка по-прежнему... самая дорогая вещь.

П а с т о р. Тора... милая... я не могу...

Т о р а *(быстро)*. Через полчаса тебя увезут. Мы никогда больше с тобой не увидимся. Мне так хочется всё вспомнить снова. Всю-всю нашу жизнь. Ну, обними меня. И давай вспоминать. Всё-всё-всё... Ну, давай...

П а с т о р (*целует её руки*). Тора... я не могу... я не могу... Такая мука... я не могу...

Т о р а. Ты только не плачь. Только не плачь. Ну, скажи: «маленький дружочек»... Ну, скажи... Помнишь, как я лежала в этой комнате, когда родился Торик? Ты принёс белые цветы... Отворил окно... Такой был весёлый... Всё смеялся... Я так люблю, как ты смеёшься. У тебя такое доброе и смешное лицо делается... Милый мой... Бесценный мой... (*Берёт его обеими руками за голову.*) Ну, посмейся... немножко...

П а с т о р. Тора... Я с ума сойду. Перестань... Это такая пытка... Торочка, Торочка... бесценная моя, бедная девочка... Не бросай... Не бросай меня... Мы будем... счастливы...

Т о р а. Только не плачь... Медвежат... помнишь?.. Ты перенёс их к себе на стол. И меня звал «маленьким медвежонком»... Я такая маленькая... так не умею жить... Я создана, чтобы жить с мужем... Как, как я буду одна... Арнольд!..

Рыдая, падает на колени пастору.

П а с т о р (*исступлённо*). Тора... Это рок! Это проклятый рок!.. Мы любим, любим друг друга... Пойми!.. Мы не должны сдаваться... Кто-то хочет задушить нас... Тора, не поддавайся... Не бросай меня... Мы оба погибнем...

Т о р а. Я так любила тебя. Ты был для меня всё. Вся жизнь тобой освещалась. Я жила только тобой... Одна не могу... Милый, милый... Ну, что же мне делать... что делать?.. Я такая слабая... беспомощная... Ничего не знаю...

П а с т о р. Тора, ты не уедешь. Ты останешься здесь и потом придёшь ко мне.

Т о р а (*оправляясь*). Постой. Скоро придут. Давай скорей вспоминать. Чтобы на всю жизнь. Чтобы ничего не забыть. Ты приехал к нам на дачу... Мне тогда было лет десять, не больше... Я тебя увидела тогда в первый раз. Ты много рассказывал и смеялся. Я никогда не слыхала,

чтобы кто-нибудь говорил так красиво. Заслушалась, а фрейлейн потом ругала меня: «Неприлично так уставляться на гостей»...

П а с т о р. Я больше совершенно не в силах... Ты любишь... Я знаю!..

Т о р а. Да, люблю... весь твой внешний облик... Это навсегда останется. Ещё бы... Так привыкла, так привыкла... Каждый кусочек знаю... И люблю без конца. Глаза твои люблю, ресницы, брови... Большой палец так смешно у тебя сгибается... Так привыкла сидеть за этим столом. Ждать тебя. Прислушиваться к твоим шагам. Ласкаться к тебе. Уж больше никто никогда не будет меня так ласкать. Ведь никто не умеет так, как ты... Я так люблю твой голос... Усталое, милое, бесценное лицо твоё... Всего, всего люблю тебя... Только всё это, покуда забудешься... Точно всё по-прежнему... ничего не случилось... Сон страшный... Сказка...

П а с т о р. Это безобразный сон. Тора... Мы в бреду... Дай успокоиться... всё вернётся назад...

Т о р а *(тихо)*. Нет... Не вернётся...

П а с т о р. Проклятые силы оставят душу мою... Я стану простой, добрый, ласковый... каким ты меня любишь...

Т о р а. Милый... Ты такой иногда бываешь маленький...

П а с т о р. Я знаю... Знаю, девочка моя... Знаю... Во мне страшно много детского. Не смейся, Торочка. Я и целомудрен, и правдив, и доверчив, как ребёнок... Нeсмотря ни на что...

Т о р а *(бессильно машет рукой)*.

П а с т о р. Ты что?..

Т о р а. Так.

П а с т о р. Не веришь?

Т о р а. Всё равно... всё равно... *(Пауза.)* Уехать бы в деревню... Тогда, давно. Ничего бы не случилось...

П а с т о р. Время ещё не ушло, Торочка.

Т о р а. Нет, ушло. Ты всегда говорил: не надо создавать иллюзий...

П а с т о р. Это не иллюзия. Это истинная правда. Мы уедем куда-нибудь в Италию. Поселимся на берегу моря.

Т о р а. Торику очень полезен морской воздух.

П а с т о р. Вот видишь. Мы даже нашу фамилию переменим. Начнём совсем-совсем новую жизнь...

Т о р а. Торику надо учиться... придётся жить где-нибудь около города.

П а с т о р. Лет до двенадцати я могу учить её сам. А потом мы будем на зиму переезжать в город. У нас ещё могут быть дети.

Т о р а. Торику одной будет очень скучно.

П а с т о р. Это очень нехорошо, когда ребёнок бывает один.

Т о р а. Надо мальчика.

П а с т о р. Да, да. Будет мальчик с такими же голубыми глазами, как у тебя...

Т о р а (*с внезапной тоской*). Милый... Арнольд... как всё могло быть хорошо... Милый... Ну зачем, зачем всё случилось так?.. Вот за этим столом... опять бы... сегодня... шила. Ты бы пришёл ко мне... Милый... Всё кончилось... навсегда...

П а с т о р. Синий огонь надвигается, Тора... Я знаю...

Т о р а (*овладев собой*). Надо укладывать вещи. За тобой придут.

Встаёт и берёт первую попавшуюся вещь.

П а с т о р (*машинально*). Да-да... А то я могу опоздать к поезду.

Т о р а. Вот здесь щётка.

Пауза.

П а с т о р. Тора... Сейчас нам надо будет прощаться... Только скажи... что это не навсегда... Ну, скажи... Ведь, может быть, ты передумаешь... Успокойсья и передумаешь... Ну, скажи, может быть, когда-нибудь? (*Пауза.*) Тора?..

Т о р а (*тихо, но твёрдо*). Мне кажется, навсегда.

П а с т о р (*растерянно*). Как же жить тогда будешь? Ведь ты не можешь без меня. Кто же будет заботиться о тебе... Ты не можешь одна, Торочка...

Тора. Не знаю... Только с тобой не могу... Это будет ложь...

Пауза.

Пастор *(тихо)*. Это конец?..

Тора. Милый, не нужно так... Наказание за грех...
Надо терпеть...

Пастор *(странно-спокойным тоном)*. Я знаю.

Тора. Что с тобой, Арнольд?

Пастор. Всегда я чувствовал... Как синий угар...
Я вижу, Тора... Кто увидит лицо смерти, тот становится её рабом.

Тора. Арнольд... надо терпеть... Это искупление за грех всей жизни...

Пастор. Теперь стоит совсем близко.

Тора. Бедный, несчастный... Я же ничего, ничего не могу для тебя сделать... Нельзя жить по-прежнему...

Пастор. Грех к смерти...

Тора. Ты должен принять возмездие... И жить по-новому... Обо мне не думай... Я перенесу. Буду жить для Торики. Милый, бедный, ну кто тебя будет укладывать спать? Усталого, обессиленного за день. Заботиться о твоём белье... О твоём обеде... Ты такой беспомощный...

Пастор. Скажи, когда-нибудь... Мне нужна хотя маленькая-маленькая надежда... Я буду жить этой надеждой. Если никогда, то и бороться не для чего...

Пауза.

Тора. Я не могу сказать неправды.

Пауза. Часы бьют два.

(Быстро). Сейчас придут. Я буду укладывать твои вещи.

Пастор. Я пойду к Торику.

Взвоняет дверь. Входит молодая прихожанка.

Молодая прихожанка. Простите... у вас не заперто.

Пастор *(останавливается)*.

Молодая прихожанка (*теряясь*). Я пришла только, чтобы сказать господину пастору... Мы разошлись... Навсегда разошлись...

Пастор (*не понимая*). Да-да, я знаю... Простите, у меня большое горе... Я не могу... Простите, пожалуйста...

Молодая прихожанка (*совсем растерявшись*). Я уйду... я только сказать...

Уходит. Пастор проходит в боковую дверь.

Тора. Терезита! Что же, принесли бельё?

Терезита (*входит*). Принесли.

Тора. Давай его сюда.

Терезита уходит. Возвращается с бельём. Лицо у неё заплаканное.

Тора. Будет, милая. Ну что ты. Право.

Терезита. Барыня, голубушка... возьмите меня с собой. Ну что я тут останусь? После такой жизни... Одна.

Тора. Я сейчас не могу: ещё сама не знаю, куда поеду. Как устроюсь, напишу... Ты приедешь.

Терезита. Уж ради Бога... Не забудьте... Столько жили вместе...

Тора. Ну, полно... Добрая ты. (*Целует её.*) Ступай. Я одна. Да, скажи няне, что Торика пора кормить.

Терезита уходит. Тора быстро укладывает вещи. Входит пастор. Его нельзя узнать. Он выпрямился, от него веет холодной силой. Тора, поражённая, безмолвно смотрит на него.

Пастор. Прощай, Тора.

Тора. Прощай.

Пастор. Не суди меня очень. И не плачь. Я виноват перед тобой во всём. Прости.

Тора. Что ты... милый.

Пастор. Прости.

Целует её в лоб и медленно уходит. Тора неподвижно смотрит ему вслед.

Длинная пауза.

Тора. Терезита!

Входит Терезита.

Пастору пора ехать. Вели завязывать сундук.

Терезита. Сейчас велю.

Уходит. Длинная пауза. Тора некоторое время сидит на диване. Встаёт, в сильном волнении проходит по кабинету. Останавливается.

Опять проходит.

Тора (*отворяет дверь и кричит*). Арнольд!.. Арнольд!..
(Пауза.) Терезита... где ты, Терезита!..

Смятение Тора усиливается. Входит Терезита.

Терезита. Вы звали?

Тора. Где ты была?.. Арнольд... позови пастора... сию минуту... Скажи, что я его должна видеть... сию минуту...

Терезита уходит.

(*Ей вслед*). Разыщи... где бы он ни был... Слышишь...

Длинная пауза. Волнение Тора возрастает с каждой минутой.

(*Кричит в дверь*). Терезита! Терезита!..

Пауза.

Отворяется дверь, входит Гинг. Тора в ужасе смотрит на него.

Гинг несколько секунд стоит молча.

(*Едва выговаривая слова*). Пастор... никого... не принимает...

Гинг. Я давно дожидаюсь... Меня забыли... Мне нужно спросить пастора... Я должен знать... сейчас... сию минуту... Верит ли он в Бога...

Терезита (*вбегает, задыхаясь*). Пастор... Пастор повесился...

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

*Драма в четырёх действиях
и шести картинах*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Андрей Евгеньевич Подгорный, учитель гимназии,
известный писатель, 32 года.

Татьяна Павловна Подгорная, жена его.

Сергей Борисович Прокопенко, молодой поэт-народ-
ник.

Николай Борисович Прокопенко, брат его.

Иван Трофимович Резцов, член уездной земской уп-
равы.

Лидия Валерьяновна Резцова, жена его.

Доримедонт Доримедонтович Сниткин, писатель.

Яков Иванович Румянцев, доктор.

Григорий Петрович Лазарев, агроном, богатый моло-
дой человек.

Аркадий Тимофеевич Ершов, начинающий беллет-
рист, 26 лет.

Любовь Романовна Пружанская, дама лет 40, обще-
ственная деятельница.

Вассо Суралидзе, по прозвищу Таракан, бывший теле-
графист, грузин.

Василий Александрович Титов, богатый издатель.

Фёдор Фёдорович Мирский, инспектор гимназии, ста-
ричок.

Дедушка Исидор, странник.

Метранпаж, рабочие типографии.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Просторная, светлая комната, наполовину гостиная, наполовину кабинет. Три двери: левая ведёт наверх, к Подгорному, правая — в столовую и остальные комнаты, средняя — в прихожую. У левой стены большой письменный стол, заваленный бумагами. С правой стороны круглый стол, диван, несколько кресел. На полках много книг, разбросанных в беспорядке. Окна заставлены цветами и тоже завалены книгами. На стенах несколько портретов русских писателей и фотографии с картин новейших художников. На заднем плане — рояль. В общем, во всём чувствуется безалаберщина. Видно, убранством комнат никто не интересуется, и всякий считает себя хозяином. У окна сидит Вассо и в нос напевает грузинскую песню. Татьяна Павловна читает за круглым столом; в руках у неё карандаш. Сергей Прокопенко большими шагами ходит по комнате. В разговоре тон его голоса обыкновенный, как у всех. Но разговор его часто переходит в «речь» — тогда голос делается нестерпимо громким. При этом он встаёт в позу — всегда одну и ту же.

Сергей Прокопенко (*останавливается, немного расставив ноги*). Не кажется ли вам, господа, что мы на некоем таинственном корабле носимся по бушующему океану? Плещут и стонут вокруг нас волны, а мы смело и вольно мчимся вперёд, всё вперёд, в какую-то сказочную страну. Свистит ветер, гнутся мачты, а мы, бесстрашные и непобедимые, стремимся к своей заветной цели... И чем нас меньше, господа...

Татьяна Павловна (*не переставая читать*). Не кричите, Прокопенко, это невозможно.

Сергей Прокопенко (*смущённо*). Я не кричу, Татьяна Павловна, я только говорю... что часто вот в этих

комнатах (*постепенно снова возвышает голос*), когда мы, кучка интеллигенции, собираемся вместе, а вокруг нас, за этими стенами, — беспредельный простор мещанства и пошлости, мне начинает казаться, что дом наш — корабль и мы одинокие, тем более сильные и смелые, путники среди морской пустыни... но чем более одинокие, тем более сильные и смелые... Разве вам не кажется иногда, что дом наш сдвигается с места и как будто бы подымается по волнам? Разве, господа, вам не кажется...

Вассо (*с сильным грузинским акцентом*). Мнэ нэ кажется, и нэ оритэ, пожалста... ви хотытэ, чтобы у нас лёпнули пэрэпонки.

Татьяна Павловна. Прокопенко воображает себя на корабле, вероятно.

Вассо (*прежним тоном*). Он можит воображать сэбя гдэ ему угодно, но рвать наши пэрэпонки нэгуманно.

Сергей Прокопенко. Молчи, Таракан. Тебе недоступна поэзия жизни.

Татьяна Павловна (*не переставая читать*). Для поэзии — вам придётсѧ подождать Лидию Валерьяновну.

Сергей Прокопенко (*ходит по комнате. Обыкновенным тоном*). Она скоро придёт?

Татьяна Павловна. Обещала к двум.

Сергей Прокопенко. С мужем?

Татьяна Павловна. Разумеетсѧ.

Сергей Прокопенко. Ничего смешного.

Татьяна Павловна. Я и не смеюсь, кажется.

Вассо. Сижу я и бесприривно сам сэбэ спрашиваю: зачем я здэсь?

Сергей Прокопенко. Очень просто: в каждой редакции обязательно должен быть таракан. Вот ты и есть «редакционный таракан».

Вассо (*как будто бы не слышит*). Вислали мэнѧ с Кавказа в Архангельск; жил там, жил, теперь сюда переехал. На Кавказ — нелзя. Здэсь — дэла нэт...

Сергей Прокопенко. Не ной, Таракан.

Вассо (*мрачно*). Я хочу камэдью написать...

Сергей Прокопенко (*с изумлением*). Комедию?

Вассо. Камэдью... Чтоби — вся жизнь, как в зеркале... Нэбольшую. Много — нэ надо. В трёх дэйствиях. В трёх мучительных дэйствиях.

Сергей Прокопенко (*хохочет*). Во-о-бра-жаю.

Вассо. Из собственной жизни.

Сергей Прокопенко. Что же ты напишешь?

Вассо. Э... Всю жизнь напишу. С самого первого дня. Как бессознательный был, как сознательный стал. Добрый человек попался — Лёжечкин фамилия. Я бессознательный тэлэграфист биль... Лёжечкин восемь месяцев лялал надо мною голёву... Э-эх... скучно, скучно здэсь... На Кавказ хочу... Тц-э... Нэ говорите больше со мной, пожалста, — я нэ в духе... (*Отворачивается к окну и начинает напевать грузинскую песню.*)

Сергей Прокопенко. Не люблю нытья. Дела нет? Всюду дело есть! (*Встаёт в позу и постепенно возвышает голос.*) На нас лежит обязанность вести страну к великому будущему счастью. Интеллигенция — надежда России. Не в количестве сила. Пусть русский многомиллионный народ пьян, груб, тёмн, а нас ничтожная кучка, — мы просветим его и смело поведём вперёд под знаменем науки и веры в человеческий разум...

Татьяна Павловна. Прокопенко, вы сегодня невыносимы. Вы не даёте заниматься.

Сергей Прокопенко (*смущённо*). Я не знал, что вы занимаетесь, Татьяна Павловна, я думал, вы просто читаете.

Татьяна Павловна. Пора знать, что, когда я читаю, — я всегда занимаюсь: делаю выписки, собираю материалы. Если вам хочется ораторствовать — шли бы к Николаю.

Сергей Прокопенко. Он дрыхнет, по обыкновению.

Татьяна Павловна. К Сниткину.

Сергей Прокопенко. Он пишет.

Татьяна Павловна. Ну, в пустую комнату, наконец.

Сергей Прокопенко. Захотели у вас пустой комнаты. Всюду народ торчит. Постоялый двор какой-то.

Татьяна Павловна. Наверх ступайте, к Андрею.

Сергей Прокопенко. Андрей Евгеньевич не любит, когда к нему ходят наверх.

Татьяна Павловна. Вздор. Его дома нет.

Сергей Прокопенко. Всё-таки неловко... Нет. Я здесь мешать не буду, Татьяна Павловна, право, не буду...

Пауза.

Вассо (*смотрит в окно*). Почему так грустно бывает осенью?.. Эх, эх-э... И деревья жёлтенькие, и грязь, и дождь шумит...

Сергей Прокопенко (*подходит к нему*). Выпей, Таракан, катехинского — вся грусть разлетится.

Вассо. Тц-э... катыхынское... Мнэ надо бочку выпить, чтобы весёлим быть.

Сергей Прокопенко. Ну, займись чем-нибудь: газеты почитай.

Вассо (*сердито*). Когда кушать нечего будет — тогда газеты будем читать.

Сергей Прокопенко (*машет рукой и отходит*). Совсем в меланхолию Таракан ударился.

Татьяна Павловна. Вы читали — нас опять ругают. (*Читает.*) «Не пройдёт и двадцати лет, как интеллигенция русская выродится окончательно и превратится в жалкое и бессильное ничтожество, ни для чего не пригодное и никому не нужное...» Смело.

Сергей Прокопенко. Пусть. Чем больше ругают — тем больше у нас подымается сил. (*Встаёт в позу.*) В то время, когда все от нас отвернулись, и мы остались одиноки, на нас лежит священный долг высоко держать знамя культуры. Мы освободим народ от вековых предрассудков, научим его рациональному взгляду на жизнь, и тогда, господа... (*Увидав входящих Лидию Валерьяновну*

и Ивана Трофимовича, обыкновенным тоном.) Здравствуйте.

Лидия Валерьяновна молча здоровается со всеми.

Иван Трофимович. Здравствуйте, оратор. (К Татьяне Павловне.) Здравствуйте, голубушка. (К Вассо.) Здравствуйте, Таракан. (Садится в кресло и обтирается платком.) Уф. И погода, голубчики вы мои... Как из сита сеет... Осень, Бог с ней, — будь она неладна... Осень, дружочки...

Татьяна Павловна. Во-первых, вот что: обедать будете?

Иван Трофимович. Будем.

Татьяна Павловна. Андрей сегодня зачем-то стерлядей купил.

Иван Трофимович. Великолепно.

Татьяна Павловна. Вам как?

Иван Трофимович (делает рукой жест). Колечком.

Татьяна Павловна (к Лидии Валерьяновне). А вам?

Лидия Валерьяновна. Всё равно... Андрей Евгеньевич вернулся?

Татьяна Павловна. Нет ещё.

Иван Трофимович. Значит, дело в шляпе.

Татьяна Павловна. Почему вы думаете?

Иван Трофимович. Если отказ — разговор тогда короток: честь, мол, имею кланяться. А коли сей туз допустил нашего Демосфена два часа речи говорить — значит, пиши пропало — раскошеливайся.

Татьяна Павловна (смотрит на часы). Да, его нет около двух часов. Я всё утро работала и не заметила, как прошло время. Так вам колечком? А вы, Лидия Валерьяновна, с нами уху будете есть? (Лидия Валерьяновна молча кивает головой.) Я сейчас. (Уходит.)

Сергей Прокопенко. Если Андрей Евгеньевич не достанет денег, это будет свидетельствовать о полнейшем вырождении буржуазного общества.

Люди бросают десятки тысяч на француженок, на кутежи — и чтобы не нашлось ни одного, кто бы поддержал дело, в котором может быть спасение родины, — это... это... свинство.

Иван Трофимович. Да, голубчики мои, дело хорошее, дело хорошее.

Сергей Прокопенко (*останавливаясь против Ивана Трофимовича*). Да если бы вы были настоящий человек, а не толстяк — вы бы денег достали.

Иван Трофимович. Я? Откуда же у меня, голубчик?

Сергей Прокопенко (*свирепо*). Из земства бы взяли. Кассу растратили бы.

Иван Трофимович (*смеётся*). Экий вы — выдумаете. И меня бы, голубчика, сослали куда Макар телят не гоняет. И денежки бы у вас отобрали.

Сергей Прокопенко. Лидия Валерьяновна, вы, если захотите, всё можете. Чудо совершить можете. Вы можете всякому приказать, не возвышая голоса, и вас послушают. Свершите чудо.

Лидия Валерьяновна. Постараюсь.

Сергей Прокопенко. Правда?

Лидия Валерьяновна. Правда.

Сергей Прокопенко. Ну, тогда я спокоен. Вы сделаете, я знаю.

Из правой двери выходит Николай Прокопенко.

Николай Прокопенко. Здравствуйте. (*Никому не подаёт руки. Потягивается и зевает.*) Андрей пришёл?

Сергей Прокопенко. Видишь, что нет.

Николай Прокопенко. Вижу, что нет. Час?

Иван Трофимович. Третий.

Николай Прокопенко. Важно... выспался... Эхе-хе-хе... Хорошо жить на свете. (*Ложится на диван.*) Таракан, почему песню не гнусаешь, а?

Сергей Прокопенко. Оставь его: он в меланхолии.

Вассо (*встаёт*). Ви где спали?

Николай Прокопенко. В столовой, Таракан, в столовой...

Вассо. Диван свободэн?

Николай Прокопенко. Разумеется... Спать?

Вассо. Надо же дэлать что-нибудь... Ваша философия надоела — говорю откровенно, как челёвек просвещённый... *(Уходит.)*

Николай Прокопенко *(ему вслед)*. Скоро обедать, разбудят, иди лучше наверх, к Андрею...

Входит Татьяна Павловна.

Татьяна Павловна. Николай, это безобразие. Вы опять всё молоко выпили?

Николай Прокопенко *(продолжая лежать)*. Выпил.

Татьяна Павловна. Сколько раз я говорила, что молоко можно доставать только утром. Теперь опять к обеду ничего нет.

Николай Прокопенко. Извиняюсь.

Татьяна Павловна. Вы лежите на моей книге.

Николай Прокопенко. Извиняюсь.

Достаёт раскрытую книгу. Входит Сниткин.

Татьяна Павловна *(к Сниткину)*. Кончили?

Сниткин *(здороваясь со всеми)*. Да как сказать... собственно говоря — кончил, но можно и продолжать, если места хватит... Андрея Евгеньевича нет?

Татьяна Павловна. Нет ещё. Вы были у Разумова?

Сниткин. Был. Да не знаю... так сказать... что из этого выйдет... Прихожу, понимаете ли... вижу, сидит на кровати, собственно говоря, какой-то дикобраз. С правой стороны бутылка пива, с левой — гора окурков... пишет... Я, говорит, иначе не творю... Ну, собственно говоря, попросил ещё десять рублей авансу... И вообще, не стоит с ним связываться... Для народа он ничего, конечно... Только опустил теперь и ничего не напишет для нас...

Сергей Прокопенко (*смотрит в окно*). Андрей Евгеньевич... и доктор...

Все перестают разговаривать. Молча ждут. Входят Подгорный и доктор.

Сергей Прокопенко. Ну?

Подгорный. Ничего, конечно.

Доктор (*здороваясь*). Не верьте, не верьте ему — он всегда пугает.

Татьяна Павловна. Шутки здесь неуместны. В чём дело?

Подгорный. Я не шучу. Самсонов отказался наотрез.

Доктор. Да, но вы нашли гениальный выход.

Иван Трофимович. Ага... У меня нюх... Говорите же, милочка, ну?

Сергей Прокопенко. Какой угодно выход, только без компромиссов.

Николай Прокопенко. Bravo. Оказывается, у моего брата есть мозги. Поздравляю и жму руку. Считаю за мной двугривенный.

Подгорный. От Самсонова я зашёл к издателю Титову. Он давно уж звал меня. Я и подумал — быть может, он заинтересуется всеми нашими планами.

Иван Трофимович. Великолепно, дружочек, умно.

Сергей Прокопенко (*мрачно*). Но при условии полной автономии.

Подгорный. Я не застал его и оставил письмо. Вкратце изложил, в чём дело, и просил непременно сегодня же зайти сюда.

Иван Трофимович. Расчудесно, дружочки мои. И сомнений никаких быть не может, что Титов уцепится руками и ногами. Он миллионер, человек деловой, сразу смекнёт, что люди тут идейные, талантливые и что упускать из рук таких людей ему не резон.

Сергей Прокопенко (*делает движение, точно рубит в воздухе*). В руки никто не даётся. Никаких компромиссов. Полная самостоятельность.

Доктор. Да вы подождите, Сергей Борисович, встать в боевую позу. Надо всё обмозговать. Компромиссов пока и не требуется.

Николай Прокопенко. Великая штука — деньги.

Сергей Прокопенко. При чём тут деньги? Я поражаюсь... *(Встаёт в позу.)* Нам нужны не деньги, а истина. И мы эту истину знаем и не можем не иметь успеха. Нас будут читать нарасхват по всем тёмным углам России. Ибо — только мы одни сохранили ту трезвую правду, которую растеряла большая половина обуржуазившейся интеллигенции. Разве вы не видите, господа, что заря новой жизни...

Николай Прокопенко *(зажимает уши)*. Карул. Оглох... Замолчи ты, ради Бога...

Татьяна Павловна. Вы всем мешаете, Прокопенко.

Сергей Прокопенко *(смущённо)*. Я не мешаю, Татьяна Павловна, я только говорю... что заря новой жизни... непременно загорится. Она не может не загореться... Потому что только у нас сохранились неприкосновенными традиции честной русской интеллигенции.

Татьяна Павловна. Здесь говорят о деле, а вы читаете проповеди.

Доктор. Поэт. Ему неинтересны наши прозаические дела — он смотрит на небо.

Сергей Прокопенко *(шагает по комнате)*. Я предпочитаю смотреть на небо — и видеть, чем на землю в микроскоп и не видеть ничего, кроме бактерий.

Доктор. А без микроскопа, господин поэт, вы очень разведёте ту нечистоту, которую сами так не любите. Честная русская интеллигенция всегда с уважением относилась к микроскопу.

Татьяна Павловна. Плюньте, надо обсудить создавшееся положение.

Подгорный. Я, собственно, не понимаю, чего ещё нам обсуждать? Придёт Титов — поговорим. Если он не согласится — и обсуждать нечего.

Сергей Прокопенко. Лидия Валерьяновна обещала совершить чудо.

Николай Прокопенко. А ты уж в чудеса уверовал!

Сергей Прокопенко. Я верю, что Лидия Валерьяновна, если захочет, может свершить и чудо. Чудеса творятся поэтами.

Татьяна Павловна. Перестаньте, Прокопенко. Здесь нужны не чудеса, а дело.

Сергей Прокопенко. Лидия Валерьяновна не умеет решать деловых вопросов, но она способна вдохнуть силы в человеческую душу.

Николай Прокопенко. Те-те-те. Трубадур.

Сергей Прокопенко. Глупо.

Иван Трофимович (к Сергею). Ну так вы, дружок, о делах подумали бы.

Сергей Прокопенко. Нам некогда было думать. У нас созрела идея, и мы обязаны были воплотить её в жизнь. Остальное придёт само собой. Мы верим в это. Да, верим. Верим в свои силы, в свою правду, в народ, в победу...

Николай Прокопенко. Заткнись на время, а то оглушишь.

Подгорный. Конечно, у нас неразбериха. Но, во-первых, мне казалось, что всё это постепенно наладится, а во-вторых, я почему-то был уверен, что непременно должен найтись деловой человек, который возьмёт в свои руки всю хозяйственную часть.

Иван Трофимович. Татьяне Павловне бы заняться.

Татьяна Павловна. Мне некогда.

Иван Трофимович. Ну доктору?

Доктор. А больница?

Сергей Прокопенко. Взяли бы да занялись, чем другим-то предлагать.

Иван Трофимович. Где мне, голубчик, я знаю свою земскую управу... Музыку люблю... Да вот ещё

рыбу удить. Я, дружок мой, человек сырой — и в литературе ничего не смыслю. И какой я интеллигент? Просто душа русская. И если, голубчики, с советами своими лезу, так это потому, что все вы мне дороги и дело ваше — тоже. К тому же, со стороны-то видней...

Звонок.

А вот и он, должно быть.

Подгорный *(смотрит на часы)*. Рано.

Татьяна Павловна. Свои знают, что дверь отперта.

Николай Прокопенко приподнимается с дивана.

Сниткин. Может быть, нам лучше уйти?

Сергей Прокопенко. Вздор. В общественном деле не должно быть секретов.

Входит Титов, за ним Татьяна Павловна. Титов останавливается и ищет глазами Подгорного.

Подгорный *(быстро подымаясь ему навстречу)*.
Здравствуйте. Вы получили моё письмо?

Титов. Получил-с. Честь имею кланяться. Я следом за вами. Немного и разошлись. Давно имел желание познакомиться с вами. Если припомните, даже писал вам.

Подгорный. Помню. Вы предлагали мне издать второй том моих рассказов. Мне не хотелось уходить от старого издателя.

Титов. Вполне понимаю.

Подгорный. Позвольте вас познакомить. Это мои друзья, сотрудники журнала «Народные думы», о котором я писал вам.

Титов *(кланяется)*. Очень приятно. *(Здороваясь с Иваном Трофимовичем.)* А вас я в лицо немного знаю: вы Резцов, Иван Трофимович.

Иван Трофимович. Он самый. Да и я вас, голубчик мой, видал не раз.

Титов *(смеётся)*. Весьма возможно-с: гора с горой не сходится.

Подгорный. Садитесь, пожалуйста.

Садятся.

Титов (*сразу делаясь серьёзным*). Так вот-с, Андрей Евгеньевич, я по письму вашему. Дело мне кажется подходящим. Я и сам даже давно о таком журнале думал. А тут у вас всё уж налажено: на что же лучше.

Подгорный. Слитературной стороны журнал вполне обеспечен. И мы, разумеется, предпочли бы продолжать издание сами, но, во-первых, денег нет, а во-вторых...

Титов (*перебивает весело*). Не деловые, люди, значит, — хе, хе, хе... не коммерческие... (*Серьёзно*.) Мне бы кое-какие справочки надо... Журнала вашего, как изволили писать, восемь номеров вышло?

Подгорный. Да, восемь.

Титов. Тираж?

Подгорный. Я, собственно, точно не знаю... Кажется, ещё не определилось... Сергей Борисович...

Сергей Прокопенко (*мрачно*). Приблизительно — восемь тысяч.

Титов. Так-с. В провинцию больше?

Подгорный. Да, и в провинцию.

Титов. А печатали сколько?

Сергей Прокопенко (*нетерпеливо*). Я же говорю — восемь тысяч.

Подгорный встаёт и прохаживается по комнате.

Титов. И все разошлись?

Сергей Прокопенко. Мы разослали контрагентам, а разошлись они или нет... пока неизвестно...

Титов. Так-с...

Подгорный. Послушайте, Василий Александрович, я вижу, вам наше предприятие представляется неосновательным, то есть в деловом отношении. Может быть, оно так и есть. Но я хотел бы говорить не об этих мелочах, а о самой душе нашего дела. И тогда вам сразу будет ясно — сойдёмся мы или нет. Деловую же часть вы поставить сумеете — никто из нас в этом не сомневается.

Титов. Так-с... Фундамент, значит, мой, а вы о самом здании рассказать желаете?

Сергей Прокопенко. Фундамент — идеи, а деньги — вздор.

Подгорный. Прежде всего, я должен вам сказать, что мы не преследуем никаких политических целей, а потому внешних препятствий опасаться нечего. Мы хотим просветить народ, приобщить его к мировой культуре. Наше дело, как и всякое мировое дело, требует громадных материальных и духовных затрат. То и другое должно найтись. И не о том я хочу говорить, исполнимы или неисполнимы наши планы, а о том, каковы эти планы.

Титов. Самую мечту-то изобразить желаете.

Подгорный. Да, если хотите, мечту.

Титов. Очень хорошо-с.

Подгорный. Народный журнал — это первый шаг на нашем пути. Нам рисуется путь широкий, картина захватывающая... По крайней мере, иногда рисуется... Ну, душевное наше состояние опять-таки вам не важно...

Титов. Само собой-с...

Подгорный. Журнал должен обслуживать широкие массы. Это будет первый мост между интеллигенцией и народом. В понятной, простой форме мы раскроем ему общие начала культуры, покажем, что бояться нас нечего, что просвещение — необходимое условие достойной человеческой жизни. В народе надо пробудить жизнь высшего духовного порядка, ту жизнь, которой живёт образованное общество; для этого необходимо прорыть как бы каналы от хранилища истинного просвещения и довести эти каналы до всех самых тёмных углов России.

Общий план таков.

В столице сооружается своя громадная типография, печатающая тысячи копеечных изданий по всем отраслям знания. Всюду по губернским и уездным городам открываются киоски для распространения просветительной

литературы. Для снабжения литературой деревни организуется по губерниям развозка книг и журнала на лошадях, в фурах, из села в село.

Учреждается ряд передвижных сельских театров и кинематографов, которые бы переезжали с места на место и доходили бы до самых непроходимых трущоб.

В уездных городах открываются вроде сельских народных университетов, с краткими популярными курсами по рациональному сельскому хозяйству, по элементарной медицине, литературе, наукам юридическим.

Не должны быть забыты и самые низкие подонки общества. Для них необходимы культурно-просветительные ночлежные дома, где бы бездомные нищие находили не только приют, но и душевный отдых: при ночлежных домах должны быть открыты читальни, а по праздникам устраиваться бесплатные литературно-музыкальные вечера. Вот общая схема. И всё это обязательно должно сосредоточиваться в одних твёрдых руках, чтобы была полная согласованность всех отдельных частей этой колоссальной просветительной организации.

Вот по этим-то руслам и потечёт широкой волной от главного центра в тёмные углы истинный свет культуры.

Само собой, что к этому великому делу должны быть привлечены все лучшие силы страны, и мы хотим верить, что, когда дело начнётся, они и объединятся вокруг нас. Ведь все писатели измучились, истосковались по настоящей, живой аудитории. По личному опыту говорю. Они с величайшим наслаждением понесут свой труд народу. И народ пойдёт навстречу, ибо и он истосковался по настоящему свету. Устал от своего пьянства, от своей темноты, тупости, невежества.

И тогда не пройдёт десяти-пятнадцати лет, как Россия станет наконец культурным государством. Все её несчастья исчезнут навсегда. Новое поколение русского народа нельзя будет узнать. Исчезнет и голод, и жестокость, и все его вековые предрассудки...

Вот, приблизительно, всё, что я хотел вам сказать.

Т и т о в. Так-с. Очень хорошо-с... Картину чарующую нарисовали. Но театр и прочее — это дело отдалённое, будущее... для правнучков, так сказать, хе-хе-хе... А вот о первом-то шаге, относительно журнала, надо потолковать. Я человек торговый, хе-хе-хе-хе-хе... простите меня, и всё свожу на мелочи, как вы изволили выразиться...

П о д г о р н ы й. Нет, пожалуйста, я и деловую часть считаю важной.

Т и т о в. Так вот-с, печататься журнал будет, разумеется, в моей типографии. Формат, бумага и прочие издательские вопросы... в это мы вас путать не будем. Конторская часть, разумеется, перейдёт к нам: подписка, контрагенты и прочее...

П о д г о р н ы й. Вообще вы, как издатель, будете полным хозяином материальной стороны дела. Я так и имел в виду. Но, отдавая журнал в ваши руки, я должен знать, смотрите ли и вы на него как на первый шаг? То есть, в случае успеха, пойдёте ли вы с нами дальше и возьмётесь ли осуществить наши планы во всём объёме?

Т и т о в. Хе-хе-хе-хе-хе... то есть во всей, так сказать, идеальной картине, вами нарисованной?

П о д г о р н ы й. Да. Вот принимая в соображение всё, что я вам сказал.

Т и т о в. Загадывать не люблю... Дело коммерческое, сами знаете, требует соображения с обстоятельствами, с вопросами. Да вы что торопитесь, Андрей Евгеньевич? Спеху нет. Вот о журнале спервоначалу столкнемся. А там поживём — может, и до фур доедем, хе-хе-хе-хе... О журнале-то мы не всё кончили, Андрей Евгеньевич. На тираж я не надеюсь. Вот что. Нынче конкуренция большая. Он за пяточок-то и все новости даёт, да, извините, и баб голых в придачу, хе-хе-хе-хе... заманить, приучить читателя надо-с. Вы — имя, Андрей Евгеньевич, слов нет-с, да народ-то вас знает мало... Ему занимательность нужна... Так вот я и хотел о литературной, так сказать, стороне переговорить...

Подгорный (*несколько изумлённый*). То есть что же, собственно?..

Титов (*поспешно*). О гонорарах за статьи, за редактирование и за другие статьи — об этом речь особо. Я бы хотел два слова о самом направлении...

Подгорный. Но позвольте... я полагаю, что направление вам наше известно... И вообще, литературная сторона дела будет всецело предоставлена нам... Мне казалось, что это само собой разумеется...

Титов (*весело*). Ну конечно, конечно, Боже ты мой. Да я не о том совсем. Какой я литератор. Вам и книги в руки, хе-хе-хе-хе... Я не об этом-с. Я вот о чём-с. Необходимо для оживленьца, чтобы в журнале карикатурный отделец был. Нынче без этой самой юмористики журнал не пойдёт. Верьте мне. Ну-с, а потом в журнале обязательно должны принять участие Маневич и Рукевич-Краморенко. Это потому-с, что они сотрудники нашей газеты и большие пайщики всего дела. Неудобно их обойти. А потом, читатель их знает, и ваши три имени успех журналу обеспечат, уж как дважды два... Вы читателя душевностью возьмёте за рога, хе-хе-хе-хе... а они бойкостью-с... я только об этом... (*Живо*.) А теперь о гонорарах...

Общее движение.

Подгорный (*в сильном волнении*). Нет, позвольте—вы, кажется, шутите... Карикатуры... и потом... Маневич и Краморенко... но что же между нами и ими общего?.. Простите, они могут писать в вашей газете и кому-нибудь нравиться... но начинать общее дело с Маневичем и Краморенко, которых как писателей я не люблю, как людей не уважаю... И вы отлично понимаете, почему... Нет, тут какое-то недоразумение... Если вы поняли, о чём мы мечтаем, то как вы можете говорить об их сотрудничестве?..

Титов. Я не о любви и уважении говорю, стерпится-слубится, это дело житейское, хе-хе-хе-хе... Я знаю, о чём вы мечтаете. Очень даже понял. Да не пойдёт это. Надо лёгкости подпустить. Читатель глуп — поверьте мне. Миллионное дело имею...

Сергей Прокопенко *(не выдержав)*. Ну и проваливайте со своими миллионами. Вы с нами как лавочник разговариваете.

Иван Трофимович. Полно, голубчик, так нельзя.

Сергей Прокопенко *(отмахивается и возвышает голос)*. Я, по крайней мере, заявляю, что продавать свои убеждения не намерен. Да-с, не намерен, господин миллионер. И ни с какими бульварными юмористами вместе работать не буду. Пусть другие соглашаются, отказываюсь. Да, отказываюсь.

Николай Прокопенко. Великолепно. Только не ори. Считай за мной двугривенный.

Титов. Хе-хе-хе-хе... горячи-с, очень горячи-с... Без торговли никакое дело не делается: поторгуемся — столкнемся.

Подгорный. Нет, столкнуться, очевидно, мы не можем. Ваши условия абсолютно неприемлемы.

Титов. Напрасно-с. Подумайте, Андрей Евгеньевич. Дело хорошее. Мешать вам ни Маневич, ни Краморенко не будут. Это больше для самолюбия их. Все мы люди, хе-хе-хе-хе... А карикатурки — на самой последней страничке, так, в заключение... Ведь мечту — что же издавать-то её. Мечту читать никто не будет. Не для себя же её издавать. Она денег стоит.

Подгорный. Как угодно. Но наши условия неизменны: полная автономия. В издательство мы не вмешиваемся, в редактирование — вы.

Сергей Прокопенко. Какие тут разговоры. Раз господин Титов сейчас предлагает нам согласиться на измену, он через месяц потребует, чтобы мы...

Иван Трофимович. Перестаньте, голубчик, дайте вы им столкнуться.

Титов. Ох, горячи-с, хе-хе-хе-хе... *(К Подгорному.)* Подумайте, Андрей Евгеньевич, подумайте, журнал пойдёт. И обставим мы его как быть должно. Рынок у меня есть. Рассую по провинции. О гонорарах спорить не будем...

Подгорный. Гонорары тут не при чём. Я и мои друзья никогда не примут такие условия.

Титов. А вы извините меня за простоту — вы бы без друзей, хе-хе-хе-хе... Они люди молодые...

Общий гул.

Сергей Прокопенко. Договорился.

Николай Прокопенко. Уж это слишком.

Доктор. Да, разговор, кажется, можно кончить.

Татьяна Павловна. Изумительно.

Сниткин. Терпение, собственно говоря, у Андрея Евгеньевича...

Подгорный. Нет, простите, нам, очевидно, сойтись не придётся.

Титов (*встаёт*). Жаль, жаль... Подумайте, Андрей Евгеньевич. Дело верное. А мечты, что же-с? Мечты разные бывают. Это одно воображение, хе-хе-хе... Может быть, подумаете — завтра бы ответили...

Подгорный (*сухо*). Нет, это решительно невозможно.

Титов. Жаль, жаль... (*Прощается.*) А без участия Маневича и Краморенко мне никак невозможно... Ну, с карикатурами можно бы повременить. Это уступлю... Может быть, и вы уступите, хе-хе-хе-хе...

Подгорный. Нет.

Титов. Жаль, дело хорошее сделали бы. А ваш журнал не пойдёт, поверьте мне. (*Весело ко всем остальным.*) Честь имею кланяться...

Титов уходит, Подгорный провожает его до передней.

Сергей Прокопенко (*вслед*). Лабазник...

Общий шум.

Это чорт знает что такое. Это оскорбление. Его вон надо было выгнать!

Николай Прокопенко. Да, нахал первой пробы.

Татьяна Павловна. Я всегда говорила: надо больше самостоятельности, к чему нам издатели?!

Сергей Прокопенко. Я тоже говорю. Ну их к чорту. Будем идти смело к намеченной цели...

Николай Прокопенко. Не ори, не ори, не ори...

Сниткин. И в руках, собственно говоря, у таких дикобразов...

Иван Трофимович. Грубоват-то он грубоват — слов нет. Но по-своему прав. На идеи ваши ему наплевать. А известно: не обманешь — не продашь.

Доктор. Я человек рассудка, господа, и призываю не отдаваться минутным настроениям: необходимо хладнокровно обсудить, что предпринять дальше.

Сергей Прокопенко. Издавать самим.

Николай Прокопенко. А деньги?

Сергей Прокопенко. К чорту деньги.

Иван Трофимович. И правду сказал Титов: «горячи-с».

Доктор. Так нельзя, господа, надо говорить серьезно, а вы занимаетесь лирикой какой-то... Андрей Евгеньевич, что же вы думаете теперь предпринять?

Подгорный *(пожимает плечами)*. Ничего.

Доктор. То есть как — ничего?

Подгорный. Так — ничего... Без денег издавать нельзя... Денег нет — чего же обсуждать... Выпустим ещё столько номеров, сколько окажется возможным, и постараемся за это время приискать издателя.

Татьяна Павловна. Ты говоришь таким тоном, как будто бы даже рад этому.

Подгорный. Рад? Ты, однако, великолепно изучила мой тон. *(Смеётся нервным смехом.)* Впрочем, на этот раз, кажется, твоя правда.

Лидия Валерьяновна. Вы серьезно?

Подгорный. Полусерьезно, Лидия Валерьяновна.

Доктор. Все вы, господа, нервничаете, говорите загадками. Надо жить головой и не распускать задерживающих центров. По-моему, вы сейчас в таком состоянии, что никакое хладнокровное обсуждение немыслимо, и

я предлагаю всякие рассуждения прекратить и просто поболтать, отдохнуть...

Николай Прокопенко. И пообедать.

Доктор. Совершенно верно, и пообедать.

Подгорный. Я с вами вполне согласен, доктор, и потому удаляюсь... отдыхать... *(Смеётся.)*

Иван Трофимович. На башню, милочка?

Подгорный *(очень серьёзно)*. Куда же мне ещё идти отдыхать?.. Пока, до свидания, господа... *(Идёт к двери.)*

Татьяна Павловна. Сейчас обедать.

Сергей Прокопенко *(вслед)*. Наверху, кажется, Таракан спит.

Подгорный *(останавливается)*. Наверху?

Николай Прокопенко. Нет, нет, он в столовую пошёл.

Подгорный уходит.

Итак, любезнейший доктор до обеда предписывает нам отдых. Чем же нам развлекаться?

Доктор. Вот, может быть, Лидия Валерьяновна сыграет?

Лидия Валерьяновна. Нет, я сейчас не могу.

Доктор. Расстроены?

Лидия Валерьяновна. Просто не хочется.

Николай Прокопенко. В таком случае Серёжка произнесёт небольшую речь шёпотом.

Сергей Прокопенко. Не остроумно.

Входят Лазарев и Ершов. Здравуются.

Доктор. Опоздали, господа. Прозевали любопытную комедию.

Лазарев. Вот как? Очень жаль.

Ершов. С участием Андрея Евгеньевича?

Татьяна Павловна. Был Титов.

Сергей Прокопенко. И предлагал по гривеннику за фунт подлости и по восьми копеек за фунт измены.

Ершов. Не согласились?

Сергей Прокопенко. А вы как думаете?

Николай Прокопенко (*хохочет*). Браво. Считаю за мной двугривенный.

Лазарев. Нет, без шуток, господа, чем дело кончилось?

Иван Трофимович. Решили, покахватит средств, издание продолжать, а тем временем подыскать издателя.

Ершов свистит и машет рукой.

Сергей Прокопенко. Нечего свистать.

Ершов. Перевод денег.

Входит Вассо заспанный.

Николай Прокопенко. Таракан, ты великолепен.

Ершов. Спали?

Вассо (*сердито*). Вы, может быть, спали — мне мысли спать не дают.

Сниткин. Таракан, собственно говоря, никогда не признаётся, что он спит.

Вассо. Э. На столь накрывают, тарелками щёлкают — что я, утопленник, чтобы под музыку спать?

Сергей Прокопенко (*подходя к Ершову*). Это потому «перевод денег», что у нас настоящей любви к делу нет. И веры. Да.

Ершов. И вы в пессимизм ударились? У нашего вождя Подгорного заразились, должно быть.

Сергей Прокопенко. Андрей Евгеньевич тут не при чём. У него у самого гроша нет. А вот эдакие господа (*указывая на Лазарева*) — при чём.

Лазарев (*улыбаясь*). То есть?

Сергей Прокопенко. То есть имеете сотни тысяч и не можете поддержать дело, в котором сами участвуете и которое гибнет на ваших глазах.

Лазарев. Да, я не скрываю, что в ваше дело не верю.

Сергей Прокопенко. А если не верите, зачем сотрудничаете?

Лазарев. Во-первых, от скуки. Во-вторых, потому, что статейки мои по агрономии, во всяком случае, безвредны.

Сергей Прокопенко. Просто вам денег жалко. Так бы и говорили.

Лазарев (*спокойно*). Ошибаетесь. Дело ваше я своим не считаю. Отношусь к нему, как и ко всему, с любопытством: что, мол, у них выйдет, — а денег бы не пожалел, поверьте, всё состояние отдал, если бы придумали что-нибудь такое, что бы я мог назвать «своим делом».

Николай Прокопенко. Теперь Серёжа вам всю жизнь будет в уши трубить о всяких «великих задачах».

Сергей Прокопенко. Успокойся. Я знаю, что Григория Петровича не прошибёшь.

Смех.

Николай Прокопенко. Вот Аркадий Тимофеевич прославится — и у нас деньги будут. Скоро, по вашим вычислениям, а?

Ершов (*недовольно*). Ну вас.

Николай Прокопенко. Нет, серьёзно, вы знаете, господа, Аркадий Тимофеевич изучает биографии всех знаменитых писателей и всё вычисляет, в каком возрасте они прославились. И с собой сравнивает. Без шуток.

Смех.

Ершов (*сердито, ноделаетвид, чтошутит*). Я хоть что-нибудь делаю, а вы валяетесь.

Николай Прокопенко. Я валяюсь потому, что я натура брандовская.

Лазарев. И потому валяетесь?

Николай Прокопенко. Да. Всё или ничего. Всё у нас невозможно, и я предпочитаю ничего.

Сергей Прокопенко. Мило... Очень даже мило.

Николай Прокопенко. Это уже дело вкуса.

Сергей Прокопенко. У кого в груди горит жажда правды, кто хочет обновить мир — тот не может сидеть сложа руки.

Николай Прокопенко. Да кто тебе сказал, что я мир обновить хочу?

Доктор. Ну, братья-разбойники, скучно.

Николай Прокопенко. Нет, серьёзно. Я решительно ничего не хочу. Помните, у Горького пьяный: ничего, говорит, я не хочу — и ничего не желаю. Так и я: ничего не хочу и ничего не желаю...

Сергей Прокопенко. Мило.

Татьяна Павловна. Будет дурака валять.

Вассо. Ест хочу.

Все смеются.

Ершов. Смех смехом. А дело-то, похоже, лопнет?

Николай Прокопенко. О деле нельзя — доктор нам предписал развлекаться.

Сергей Прокопенко. Почему лопнет, не понимаю, за нас правда и вера в победу. *(Встаёт в позу.)* Чем больше препятствий, тем больше крепнут наши силы.

Николай Прокопенко *(хохочет, перебивая)*. Ну, теперь дорвался, спасайся, кто может.

Сергей Прокопенко *(не обращая внимания)*. Великое дело, которое мы начинаем, не умрёт: не в деньгах сила, а в идее. *(Всё больше и больше возвышает голос.)* Мы смело должны продолжать наш путь к великой цели; если до конца пути не суждено дойти нам, это сделают за нас грядущие поколения...

Звонок. Сергей Прокопенко не обращает внимания.

Сниткин. Звонок, кажется.

Сергей Прокопенко *(продолжает во весь голос)*. Заря новой жизни, надеждой на которую мы живём, загорается с каждым днём всё ярче и ярче...

Звонок.

Татьяна Павловна. Прокопенко! Звонят — перестаньте вы. *(Идёт в прихожую.)*

Вассо. Я скоро «карауль!» кричать буду.

Николай Прокопенко *(хохочет и хлопает в ладоши)*. Bravo, оратор. Просим, просим...

Иван Трофимович. Тише, господа, — может быть, кто-нибудь чужой.

Смолкают. Голос Татьяны Павловны в прихожей: «Дома — он у себя наверху». Входят Мирский и Татьяна Павловна.

Мирский молча кланяется всем присутствующим.

Мирский. У вас гости, может быть, мне удобнее прямо пройти к нему?

Татьяна Павловна. Нет, это свои. И мы сейчас идём обедать. Таракан, позовите Андрея Евгеньевича. Садитесь. Он сейчас придёт. Пойдёмте, господа, в столовую.

Все уходят. Мирский, заложив руки за спину, несколько раз проходит по комнате. Вассо молча возвращается и, увидав, что все ушли, идёт в столовую. Небольшая пауза. Входит Подгорный.

Мирский. Здравствуйте, Андрей Евгеньевич, заняты? Может быть, помешал?

Подгорный (*дружески жмёт руку*). Нет, что вы, садитесь.

Мирский. Видите ли, какая история, Андрей Евгеньевич, у меня к вам поручение есть.

Садятся.

Подгорный. Поручение? От кого это?

Мирский. Да от директора, Андрей Евгеньевич. Вы уж простите меня, старика: я буду говорить прямо, без всяких, знаете, этих фокусов...

Подгорный. Ну, конечно же, Фёдор Фёдорович. В чём дело?

Мирский. Вы знаете, Андрей Евгеньевич, как мы любим все вас и ценим. И директор тоже, да... но штука-то вот в чём... Журнал вы тут издаёте, «Народные думы», и значитесь редактором-издателем... Так вот директор находит это неудобным... Уф... Ну, слава Богу, кончил. А то, верите ли, как гимназист какой-нибудь боялся идти к вам. Чуть домой не вернулся. Как, думаю, я говорить-то буду, в чужие дела мешаться... Да главное — люблю-то я уж очень вас.

Подгорный. Я не понимаю — журнал, кажется, ничего предосудительного не содержит, ни в каком смысле?

Мирский. Знаю, знаю, Андрей Евгеньевич, и директор ничего не имеет... Но, подите же: говорит, несовместимо звание учителя и редактора народного журнала.

Подгорный. Ну уж как угодно.

Мирский *(волнуясь)*. Господи, Боже мой! да не упрямитесь вы, Андрей Евгеньевич: снимите своё имя официального редактора. Вот и всё. И издавайте себе с Богом что хотите. Ведь он только формальность соблюсти просит.

Подгорный. Нет, Фёдор Фёдорович, я должен решительно огорчить вас отказом.

Мирский. Вот что, Андрей Евгеньевич, редакторство вы снимите, а вместо этого поставьте, что при вашем ближайшем участии. Все же так делают...

Подгорный. Может быть, и делают. Не знаю. Но мне всё это надоело, опротивело. Не симпатично это как-то... И от всего этого я устал невыносимо.

Мирский. Ах ты, Господи, Боже мой! Вот беда-то...

Подгорный. И потом, всё, кажется, устроится само собой: журнал за недостатком средств, вероятно, придётся закрыть.

Пружанская быстро влетает в комнату, на ней шляпа, кофточка, в руках зонт.

Пружанская. Я мешать не буду, я на минутку, на минуточку... Ради Бога — что решено с журналом?.. Я не спала ночь... Утром, на заседании Комиссии по народному образованию, Калиновская говорит: «Любовь Романовна, вы больны». Я говорю: «Я не больна, но я всю ночь думала, думала, думала...» *(К Фёдору Фёдоровичу.)* Я, кажется, с вами знакома?..

Мирский *(кланяется)*. Очень возможно, только что... не припоминаю...

П р у ж а н с к а я. Но, понимаете ли, ваше лицо страшно знакомо... Вы были на педагогическом съезде, да?..

М и р с к и й. Конечно, конечно.

П р у ж а н с к а я. Я обратила внимание на ваше лицо, такое доброе-доброе... Со мной была председательница женского клуба, я говорю ей: «Посмотрите на этого доброго старика — его, наверное, ученики обожают...» Ха-ха-ха... Я так рада познакомиться. Чрезвычайно рада. *(Погаёт руку.)* У нас в России нет настоящих педагогов. Школьное дело — язва России. Вы согласны?.. На заседании Комитета я говорю: «Нам нужны не программы, нам нужно открыть образцовую школу. Школа, школа, школа — наше спасение...» Андрей Евгеньевич, не мучайте меня, говорите же, что с журналом? Журнал необходим для народа как воздух... Аглая Ивановна вчера говорит мне: «Журнал — это химера». Я говорю: «Нет, в нём залог обновления нашей родины...»

П о д г о р н ы й. Пройдите в столовую, Любовь Романовна, там жена — она расскажет подробно.

П р у ж а н с к а я. Я вся сгораю от волнения... *(К Фёгору Фёдоровичу.)* До свидания. Я вас, может быть, не увижу? *(Погаёт руку.)* А жаль: мне надо с вами о многом переговорить, о многом... В школу необходимо допустить женщину. Только мать может понять ребёнка! Секретарь Лиги свободного воспитания говорит мне: «Учительницы будут заниматься с гимназистами флиртом». Я говорю ему: «Вы пошляк. Вы смотрите на женщину, как восточный деспот». Женщина спасёт школу, я верю в это. Вы согласны?.. Но, Боже, я заговорила. До свидания... мы ещё встретимся, не правда ли?.. *(Быстро и шумно уходит в столовую.)*

М и р с к и й *(смеясь)*. Вот так история. *(Садится на прежнее место.)*

П о д г о р н ы й. Да. Нелепая особа. Но жена находит, что она может давать ценный фактический материал по женскому движению.

М и р с к и й. Везувий, прямо-таки Везувий... *(Смеется.)*

Подгорный. Я более получаса её болтовни не выдерживаю.

Мирский. Однако, Андрей Евгеньевич, как же быть-то?

Подгорный. Никак.

Мирский (*машет рукой*). Точно вы нашего директора не знаете: добрый он человек, да упрям ведь, что с ним поделаешь. Неприятность большая может выйти.

Подгорный. И пусть.

Мирский (*сердится*). Сами вы не знаете, что говорите! Пусть... Тут отставкой может кончиться.

Подгорный. Это уж его дело...

Мирский. Экий вы, прости Господи. Хохол вы, что ли? Упёрся, на, поди. Всю жизнь свою ломать? Из-за чего?.. Из-за формальности?

Подгорный. Всё равно, рано или поздно, с гимназией мне придётся порвать.

Мирский. Что делать, что делать?.. Научите старика...

Подгорный. Да вы не волнуйтесь, дорогой Фёдор Фёдорович, право, это не так страшно. Всё обойдётся.

Мирский. Да как же обойдётся-то?

Подгорный. Очень просто: велют подать в отставку — я подам.

Мирский. Не до шуток мне.

Подгорный. Я не шучу.

Мирский. Тогда, значит, — больны. Да, больны.

Подгорный. Вот что, Фёдор Фёдорович: идите вы себе в гимназию и скажите директору, что, мол, поручение исполнил, и Андрей Евгеньевич совет принял к сведению.

Мирский. Ну вас тут совсем. (*Встаёт.*) К директору я сейчас не пойду. Не хочу я ему ничего говорить. Даю вам трёхдневный срок: одумайтесь.

Подгорный. Только сами понапрасну томиться будете, и через три дня я скажу то же...

Мирский. И слушать не хочу... Прощайте... (*Жмёт руку.*)

Подгорный. А главное — всё это мелочи, Фёдор Фёдорович: и отставка, и гимназия, и директор...

Идут к двери.

Мирский. Мелочи... Что же не мелочи, по-вашему, — журнал?

Подгорный. Не знаю... Может быть, и журнал — мелочи...

Уходит в прихожую. Из столовой выходит Татьяна Павловна. Из прихожей слышен голос Мирского: «И слушать не хочу... До свидания...» Подгорный возвращается в комнату.

Татьяна Павловна. Ушёл?

Подгорный. Как видишь.

Татьяна Павловна. Что он?

Подгорный. Так, пустяки, по делу.

Татьяна Павловна. Иди обедать.

Подгорный. Хорошо. Слушай, вот что я хотел тебе сказать... У нас целый день народ. Ты знаешь, я ничего против не имею... Но я уже просил тебя, кажется, чтобы хоть одна комната... наверху... была в полном моём распоряжении... Чтобы никто не смел там хозяйничать...

Татьяна Павловна. Я не понимаю твоего тона.

Подгорный. Не в том дело... Пойми, наконец, я не могу в собственном своём доме остаться на полчаса один, когда мне это нужно... На столе всё перерыто... Прости, пожалуйста... я говорю, может быть, резко, но... одним словом... оставьте в покое мою верхнюю комнату...

Татьяна Павловна. У тебя нервы. Иди есть. *(Берёт книгу)*. Да, я тебе хотела показать. *(Погаёт ему открытую книгу)*.

Подгорный. Что это?

Татьяна Павловна. Заметка о «Народных думках». Всего читать не надо. Прочти заключение.

Подгорный *(читает вполголоса)*. «Не пройдёт и двадцати лет, как интеллигенция русская выродится окончательно и превратится в жалкое, бессильное ничтожество, ни для чего не пригодное и никому не нужное...»

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Комната первого действия. Пять часов вечера. Татьяна Павловна читает за круглым столом. В руках у неё карандаш и толстая тетрадь. Николай Прокопенко с подушкой выходит из левой двери и направляется в столовую.

Николай Прокопенко. Ваш муж сбесился.

Татьяна Павловна (*не переставая читать*).
В чём дело?

Николай Прокопенко (*видимо взволнованный, но стараясь говорить шутливым тоном*). В этом только и дело, что сбесился.

Татьяна Павловна (*перестает читать*). Не понимаю.

Николай Прокопенко. После своей отставки он бросается на мирно спящих людей. Очевидно, тупоумные гимназисты прекрасно подействовали на его печень.

Татьяна Павловна. Говорите толком.

Николай Прокопенко. Выгнал меня ваш супруг. Да-с. Я находился в объятиях Морфея, а сей отставной педагог явился наверх, вытащил из-под моей головы вот эту самую, ни в чём не повинную, подушку и объявил, что если ещё раз застанет меня на своём диване, то спустит с лестницы. Я протестую, милостивая государыня, примите это к сведению как хозяйка дома...

Татьяна Павловна. Вздор. Идите в столовую.

Николай Прокопенко. Да — вздор! (*Идёт.*)

Нет, это не вздор, как отсчитаешь двадцать две ступеньки... Коммуна, чорта с два... *(Уходит.)*

Пауза. Из левой двери быстро выходит Подгорный, крайне возбуждённый.

Подгорный. Я тебе заявляю в последний раз. Можешь устраивать из дома всё что тебе угодно, но если не оставят в покое мою верхнюю комнату — я всех выгоню вон. Поняла?

Татьяна Павловна. Во-первых, выпей воды. Во-вторых, вот письмо от Ивана Трофимовича.

Подгорный. Убирайтесь к чорту со своими письмами. Всё это мне надоело, опротивело... И не думайте, что я шучу. Я больше переносить такой хаос не в состоянии. Этак с ума можно сойти. Ад какой-то.

Татьяна Павловна. Пожалуйста, не кричи. Я не глухая.

Подгорный *(сдержанно)*. Если вы не желаете форменного скандала, то я прошу вас внушить обоим Прокопенкам, что моя комната — не постоянный двор... *(Уходит.)*

Татьяна Павловна продолжает читать. После небольшой паузы голос Ивана Трофимовича в прихожей: «Никогда не заперто — я уж знаю их порядки...» Голос Лидии Валерьяновны: «Никого нет ещё...» Голос Ивана Трофимовича: «Быть не может...» Входят в комнату.

Иван Трофимович. Я же говорю, быть не может. Здравствуйте, голубушка, честь имею кланяться... Ну-с, будете теперь Иван Трофимовича толстяком звать, а?... *(Здоровается.)*

Татьяна Павловна. Это Прокопенко так зовёт — я вас зову Иван Трофимович.

Иван Трофимович. Шучу, шучу, матушка... Как же вы относитесь к моему предложению?

Татьяна Павловна. К какому предложению?

Иван Трофимович *(увидав своё письмо на столе)*. Ба! Да они и письма не прочли ещё!

Татьяна Павловна. Письмо Андрею Евгеньевичу — я принципиально не читаю чужих писем.

Иван Трофимович. Да читайте же скорей... Ах ты, Господи, вот дела-то!

Татьяна Павловна распечатывает и читает письмо.

Лидия Валерьяновна. Андрея Евгеньевича дома нет?

Татьяна Павловна (*не переставая читать*). Только что пришёл.

Иван Трофимович. Скучает, небось, по гимназии.

Татьяна Павловна. Не знаю...

Пауза.

(*Дочитав до конца.*) Я поражена. Такая неожиданность! Благодарности излишни, разумеется: общественное дело не требует благодарности...

Иван Трофимович. Какие там благодарности, матушка. Не об этом речь. Дело-то надо обмозговать как следует, чтобы зря деньги не истратить. Толк чтобы был...

Татьяна Павловна. Кто даёт деньги?

Иван Трофимович (*смущённо*). Это мой маленький секрет... так сказать...

Татьяна Павловна. Вздор. Здесь не должно быть секретов.

Иван Трофимович (*волнуясь*). Ах, матушка, да разве вам не всё равно?.. С неба упали, и достаточно... О чём толковать...

Татьяна Павловна. Мы должны знать, на чьи деньги будем вести дело.

Иван Трофимович (*смущаясь всё больше и больше*). Ах ты, Господи, Боже мой... На чьи, на чьи... Не на бессовестные деньги, можете быть спокойны, голубушка...

Татьяна Павловна. Я верю. Но должна знать из принципа.

Иван Трофимович. Какой там, голубушка, принцип. Ну если я назову вам первую попавшуюся фамилию, легче будет?

Татьяна Павловна. Вы должны сказать правду.

Иван Трофимович. Да бросьте вы, матушка.

Татьяна Павловна. Нет, это необходимо принципиально.

Иван Трофимович (*смотрит на Лидию Валерьяновну*). Придётся сказать, Лидочка?

Лидия Валерьяновна. Если Татьяна Павловна непременно хочет — разумеется.

Иван Трофимович. Я, видители... Своё именице заложил... Пятнадцать тысяч — деньги небольшие... это, так сказать, заём... и потом... (*Совсем сбившись.*) Одним словом, дело верное, и деньги не пропадут... Ну вот, голубушка, всё, кажется...

Татьяна Павловна (*к Ивану Трофимовичу*). Благодарю вас. Это благородно с вашей стороны. Жму вашу руку. (*Жмёт руку Ивану Трофимовичу.*)

Татьяна Павловна (*к Лидии Валерьяновне*). Благодарю вас.

Лидия Валерьяновна (*сухо*). Меня не за что.

Татьяна Павловна. Прокопенко прав — вы многое можете.

Лидия Валерьяновна. Я здесь не при чём. (*Очень серьёзно.*) Только одно неперемное условие: Андрей Евгеньевич не должен знать, откуда эти деньги.

Татьяна Павловна. Почему?

Лидия Валерьяновна. Так — не должен. Это единственное наше условие.

Татьяна Павловна. Странно. В общественном деле...

Лидия Валерьяновна. Татьяна Павловна, разве вам не всё равно? Я вас прошу. Очень прошу. Скажите, что деньги достал Иван Трофимович у одного капиталиста. Вот и всё... Хорошо?

Татьяна Павловна. Да я не знаю... С принципиальной точки зрения... Хотя, вздор! Я согласна.

Иван Трофимович. Вот и великолепно! Вот и хорошо! Я тоже большой нужды скрывать не вижу... Да вот пойдя с ней. (Указывает на Лидию Валерьяновну.) Иначе, говорит, я ни за что не соглашусь. Сама же всё это затеяла...

Лидия Валерьяновна (перебивая). Иван Трофимович!

Иван Трофимович. Ну, ну, ну... Молчу, молчу...

Входят Николай Прокопенко и Вассо.

Николай Прокопенко. Убирайся к чорту, Таракан, — ты мне расстраиваешь нервы, у меня и без того бессонница.

Вассо. А вы думаете, мне очень слядко смотреть на вашу морду?..

Здороваются с Иваном Трофимовичем и Лидией Валерьяновною.

Иван Трофимович. О Дружба, это ты!

Вассо. Как голубки воркуем.

Смех.

Николай Прокопенко. У Таракана новый проект.

Лидия Валерьяновна (улыбаясь). Неужели?

Вассо. Дэле нашёл, Лидия Валерьяновна... Журнал закроем, выпишу из Архангельска пару алений. За городом детей возить буду. Кто гривенник, кто двугривенный — богатый буду.

Татьяна Павловна. Ликвидации не будет: Иван Трофимович достал пятнадцать тысяч.

Николай Прокопенко. Серьёзно?

Татьяна Павловна. Я всегда говорю серьёзно.

Николай Прокопенко. Ура. О-го-го-го... Теперь мы покажем, чорт возьми...

Вассо. Малядец...

Николай Прокопенко. Да какой же это, с позволения сказать, дурак вам дал? Ай да толстяк — удрал штуку, считайте за мной двугривенный...

Вассо. Катыхынски купит надо.

Николай Прокопенко. Гениальная мысль, Таракан, — считай за мной двугривенный, — беги за кахетинским. А я возвещу радостную весть всей братии, населяющей дом сей, аки песок морской.

Вассо встаёт.

Татьяна Павловна. Деньги в столовой на столе.

Вассо уходит.

Иван Трофимович. Кто же дома?

Николай Прокопенко. Сергей блуждает по тёмным аллеям уснувшего сада и вдохновляется. Сниткин в угловой комнате пишет бесконечную повесть о том, как идейная Катя ссорилась со своими глупыми родителями. Addio. Иду, как древний герольд, возвещать победу... (*Уходит.*)

Иван Трофимович. А где Андрей Евгеньевич?

Татьяна Павловна. Наверху.

Иван Трофимович. Я бы, голубушка, пошёл к нему о делах поговорить, можно?

Татьяна Павловна. Разумеется.

Иван Трофимович. Вот и отлично. (*Идёт к двери.*) Не помешать бы только ему...

Татьяна Павловна. Вздор.

Иван Трофимович уходит.

Лидия Валерьяновна. Вы, Татьяна Павловна, продолжайте читать. Не обращайтесь на меня внимания, я мешать не буду.

Татьяна Павловна (*принимается за книгу*). Мне осталось прореферировать несколько страниц. Сейчас кончу. Если хотите, можете играть на рояли.

Лидия Валерьяновна (*встаёт*). Не мешаю?

Татьяна Павловна. Разумеется.

Лидия Валерьяновна играет на рояли. Татьяна Павловна пишет в толстую тетрадь. Вассо проходит из столовой в прихожую. Во время игры из прихожей на цыпочках выходят Лазарев и Ершов. Некоторое время стоят и слушают. Затем тихо, чтобы не шуметь, проходят к Татьяне Павловне.

Лидия Валерьяновна замечает их и сразу обрывает игру.

Лазарев. Так и знал. По случаю радостного дня-то можно бы и для публики поиграть, Лидия Валерьяновна.

Лидия Валерьяновна. Я устала.

Ершов. Лидия Валерьяновна играет только для избранных.

Лидия Валерьяновна. Очевидно, это какой-то намёк — только я, право, его не понимаю.

Татьяна Павловна. Слышали?

Лазарев. Как же. Вассо на улице встретили. Поздравляю от души! А вам, Лидия Валерьяновна, честь и слава!

Лидия Валерьяновна. Мне? При чём же я тут?

Лазарев. Да вот, Аркадий Тимофеевич говорит...

Лидия Валерьяновна (*перебивая*). Неправда: Иван Трофимович уговорил одного капиталиста дать деньги.

Лазарев. А...

Ершов. Шли на похороны — попали на именины. А мы всю дорогу с Григорием Петровичем разговаривали. Знаете, Татьяна Павловна, о чём?

Татьяна Павловна. Не знаю.

Ершов. Я говорю Григорию Петровичу, что иметь такое количество денег, как он, и идти со спокойным сердцем на ликвидацию дела, в котором он сам участвует, и ничем не помочь — это... это, по меньшей мере, оригинально.

Лазарев. Во-первых, откуда вы знаете, что со спокойным сердцем, во-вторых, почему вы знаете, что я не помог бы, и в-третьих, почему бы и не поступить оригинально?

Татьяна Павловна. Я полагаю, денежные разговоры теперь излишни.

Ершов. Я не о деньгах говорю: Григорий Петрович — психологическая загадка.

Лазарев. Которую разгадать очень просто. Да и не стоит.

Ершов. Иметь столько денег. Такое богатство... Да если бы я... *(Машет рукой.)*

Лазарев. Если бы вы были богаты — ну и что бы тогда?..

Ершов. Хы, хы, хы... Будет вам шутить-то...

Лазарев. Нет, серьёзно?

Ершов. Так я вам и скажу.

Лазарев. Век мне говорят о богатстве и об его прелести, а сам я совершенно его не чувствую.

Ершов. Шутник. Коли не чувствуете — отдайте мне тысяч сто.

Лазарев. Представьте себе, с удовольствием бы отдал, но и в этом смысла не вижу. А делать что бы то ни было без смысла — органически не способен.

Ершов. Сто тысяч. Да я бы... *(Машет рукой.)*

Входят Сергей Прокопенко, Николай Прокопенко и Сниткин. Шумно здороваются.

Сергей Прокопенко. Господа, и вы ничего... Как будто бы не случилось ничего особенного...

Лазарев. А что нам делать?

Сергей Прокопенко. Безумствовать. Раскрыть объятия для новой грядущей жизни...

Николай Прокопенко. Заткнись на время, пока *(передразнивает Вассо)* «не лёпнули наши перепонки».

Ершов. Да-с, Сергей Борисович, вот и чудо свершилось... да-с.

Сергей Прокопенко *(быстро оборачивается к Лидии Валерьяновне)*. Лидия Валерьяновна, разве я не прав, что вы всё можете, всё, что захотите?

Лидия Валерьяновна (*очень сухо*). Я уже несколько раз говорила и ещё раз повторяю, что я совершенно здесь не при чём: Иван Трофимович достал деньги у знакомого...

Сергей Прокопенко. Ну, всё равно...

Ершов. Хы, хы, хы... Значит, Иван Трофимович чудо-то совершил...

Сергей Прокопенко. Теперь наступает время, когда всё, о чём мы мечтали, на что надеялись, чем жили, должно наконец осуществиться. (*Встаёт в позу.*) И мы покажем, что наши идеалы не пустое фразёрство, что в груди истинной интеллигенции горит священное пламя, и мы понесём это пламя вперёд по пути прогресса. Вот она — заря новой жизни, о которой я говорил. Я верю, что не пройдёт и двух-трёх лет, как наши грандиозные планы, наши несбыточные мечты сбудутся, и вся русская жизнь...

Татьяна Павловна. Прокопенко, вы дали слово не кричать.

Сергей Прокопенко (*другим тоном*). Я не кричу, Татьяна Павловна, я говорю только, что жизнь совершенно изменит своё русло, что мы стоим у порога самых неожиданных, захватывающих событий.

Николай Прокопенко. Ну и великолепно. И успокойся... Считай за мной двугривенный.

Сниткин. Действительно, собственно говоря, переворот, так сказать, полнейший.

Николай Прокопенко. Да-с. Даже сам автор повести об умной Кате и глупых родителях ожил — это не шутка.

Входит Вассо. На нём пальто и шапка, в руках несколько бутылок.

Вассо. Гдэ напиваться будем? Здесь ли, в столовой ли?..

Николай Прокопенко. Естественно, в столовой.

Сниткин. Собственно говоря, здесь просторней.

Сергей Прокопенко. Господа, знаете что? Пировать — так пировать! Перенесём сюда из столовой стол. Составим на него с окон цветы. Постелем белую скатерть...

Татьяна Павловна. Вздор. И там хорошо. *(К Вассо.)* В столовую.

Вассо уходит.

Сергей Прокопенко *(печально)*. Почему, Татьяна Павловна? Так бы славно здесь...

Николай Прокопенко. Не унывай, Серёжка, в столовой резонанс лучше.

Сергей Прокопенко. Или, знаете что, господа, пойдёмте за город. Погода великолепная.

Ершов. Благодарю покорно: моя жизнь ещё нужна отечеству.

Сергей Прокопенко. Костёр разведём. Холодно не будет. Право, господа. Проедем две-три станции и уйдём куда-нибудь в лес. Так надоели эти комнаты! Здесь и воздуху настоящего нет. Ведь сегодня великий день, господа. Татьяна Павловна, я сниму чехлы: пусть будет как на Пасху?

Татьяна Павловна. Перестаньте, Прокопенко, вы не мальчик.

Сергей Прокопенко. Ничего нельзя.

Николай Прокопенко. Серёжка прав. Кой черт мы все носы повесили! Кто хочет веселиться?

Ершов. Готов.

Николай Прокопенко. И плясать будешь?

Ершов. Буду.

Николай Прокопенко. А Доримедонт Доримедонтович?

Сниткин. Буду.

Общий хохот.

Лазарев. Для такого удивительного случая вы должны сыграть, Лидия Валерьяновна.

Лидия Валерьяновна *(улыбаясь)*. С удовольствием. *(Идёт к роялю.)*

Сергей Прокопенко. Лидия Валерьяновна, кадрили.

Николай Прокопенко (*хохочет*). В первой паре Серёжка со Сниткиным, во второй я с Аркадием Тимофеевичем.

Встают в пары. Лидия Валерьяновна играет первую фигуру кадрили. Общий хохот. В это время входят Иван Трофимович и Подгорный. Всё сразу смолкает. Все поражены контрастом общего веселья с усталым и грустным лицом Подгорного. Пауза.

Иван Трофимович. Они плясы затеяли тут, соколики.

Шум сразу возобновляется. Все здороваются с Иваном Трофимовичем и Подгорным.

Николай Прокопенко. Доримедонт Доримедонтович... Ха-ха-ха... Умную Катю забыл... Ха-ха-ха...

Иван Трофимович. А сам-то хорош.

Сергей Прокопенко. Андрей Евгеньевич, какое счастье! А?.. Вы знаете, в столовой уже кахетинское приготовлено.

Ершов. И теперь начнутся речи, речи, речи...

Николай Прокопенко. Обязательно.

Подгорный. Господа, давайте сегодня без речей. Попробуем сегодня ни о чём не думать?

Татьяна Павловна. Мыслящим людям трудно ни о чём не думать.

Ершов. Андрей Евгеньевич хочет, как мальчик, прыгать через верёвочку.

Подгорный. Да, пожалуй. Во всяком случае, бросим на сегодняшний день все умные книги и не будем произносить длинных речей. Впрочем, как хотите.

Сергей Прокопенко. Я за речи.

Ершов. Я тоже.

Николай Прокопенко. Только, чур, Серёжка говорит последний, чтобы желающие могли спастись бегством.

Сергей Прокопенко. Глупо.

Входит Вассо.

Вассо. Пожальте — катыхынски готово.

Шумно направляются в столовую.

Ершов (*давая дорогу Лидии Валерьяновне*). Даме почёт и уважение.

Иван Трофимович. Григорий Петрович, вы мой сосед, вы, кажется, один только пьёте пиво.

Ершов. И я тоже.

Николай Прокопенко. А ещё поэт.

Ершов. При чём тут поэзия?..

Лазарев. Господа, пропустите вперёд хозяйку.

Сергей Прокопенко. Я предлагаю, господа, чтобы сегодня хозяйки не было, — да здравствует коммуна!

Николай Прокопенко (*в дверях*). Андрей Евгеньевич, а как бы хорошо теперь в лес, на воздух!

Подгорный. Ну проходите, проходите...

Сцена некоторое время пуста. Из правой двери быстро выходит Вассо — он в пальто и в шляпе. Из прихожей в то же время врывается Пружанская.

Пружанская (*загораживая дорогу Вассо*). Я на одну минуту. Ради Бога, простите, я всегда забываю ваше имя — Таракан. Это ужасно смешно, но не обижайтесь. Я совершенно не хочу вас обидеть. Я даже говорила Татьяне Павловне: «Его зовут Тараканом — это неблагозвучно». Если обязательно надо насекомое — можно было бы назвать Мотылёк, не правда ли? Ради Бога, Таракан, извиняюсь, что случилось?.. Не мучайте меня!..

Вассо. Катыхынски малё — ещё две бутылки велели купить... (*Хочет идти.*)

Пружанская (*удерживает его*). Кахетинского... ничего не понимаю... Ха-ха-ха... Ах, какой смешной... Простите, простите, простите, я страшно смешлива... Председательница Гигиенического общества говорит мне: «Вы, Любовь Романовна, смешливы, как дитя». Я отвечаю ей: «Это потому, Марья Васильевна, что я

люблю жизнь...» Вы так смешно говорите... Но я люблю иностранцев, я страшно люблю иностранцев... Секретарь Общества борьбы с народной грубостью говорит мне: «Любовь Романовна, вы космополитка». Я говорю: «Да, я космополитка — и горжусь этим...» Я вас задерживаю. Но ещё два слова... Умоляю вас.

В а с с о. Какие два слова — ви весь алфавит испробовали...

П р у ж а н с к а я. Ха-ха-ха... Это прямо очаровательно. Господин Таракан, если бы я была моложе — я бы обязательно в вас влюбилась, обязательно-обязательно-обязательно...

В а с с о. Благодарю вас. *(Хочет идти.)*

П р у ж а н с к а я *(удерживает его)*. Совершенно серьёзно. Ха-ха-ха... Такой смешной... В вас есть что-то восточное, господин Таракан, уверяю вас. Именно, восточное. Совсем как у Лермонтова... Ах, я всё болтаю, простите, умоляю вас. Но два слова, только два слова: что журнал?

В а с с о *(морщится и машет рукой)*. Тц-э... Какое мне дэле до журьналя — моё дэле на аленях ездить.

П р у ж а н с к а я. На оленях, что это такое? Но он преуморительный... Ха-ха-ха. Вы мне обязательно должны сказать, обязательно...

В а с с о. Ви стойте здэсь, сама с собой говорите — я за катыхынским схожу. *(Уходит.)*

П р у ж а н с к а я. Ха, ха, ха... Вот дерзкий... *(Быстро идёт в столовую.)*

Сцена некоторое время пуста. Из столовой выходит Лидия Валерьяновна. Открывает рояль, не садясь, берёт несколько нот. Подходит к окну и долго смотрит в него. Входит Сергей Прокопенко. Нерешительно идёт к Лидии Валерьяновне.

Сергей Прокопенко. Лидия Валерьяновна...

Лидия Валерьяновна *(вздрагивает)*. Ах... Как вы меня испугали...

Сергей Прокопенко. Почему вы ушли, Лидия Валерьяновна?..

Лидия Валерьяновна. Очень шумно. Я не люблю. Мне грустно делается.

Сергей Прокопенко. Я так рад, что могу поговорить с вами наедине.

Лидия Валерьяновна (*удивлённо*). Рады. Почему это?

Сергей Прокопенко. Сегодня такой особенный день, Лидия Валерьяновна, — сегодня всё как в сказке... И я наконец чувствую силы сказать вам о том, о чём себе говорить не решаюсь... И о чём, в другое время, никогда бы не решился сказать вам...

Лидия Валерьяновна (*с возрастающим изумлением*). Да что с вами, Сергей Борисович?

Сергей Прокопенко. Я хочу сказать вам, Лидия Валерьяновна, о любви...

Лидия Валерьяновна. То есть как — о любви...

Сергей Прокопенко. Я люблю вас, люблю не-лепо, безумно, свято...

Лидия Валерьяновна (*невольно улыбаясь*). Меня? Сергей Борисович, да вы что!

Сергей Прокопенко. Смейтесь, смейтесь... Я знаю, что я смешон, жалок, отвратителен... Я достоин презрения...

Лидия Валерьяновна. Этого я не говорю. Презирать вас не за что. Отвратительного в вас тоже ничего нет. Но, право, всё это несерьёзно. И будет об этом.

Сергей Прокопенко. Несерьёзно! Нет, Лидия Валерьяновна, вы меня не поняли... Выслушайте, Лидия Валерьяновна! Вы замужем... И клянусь вам, что я никогда не осмелился думать... Я только хочу сказать вам, что в вас всё моё счастье, всё, о чём я говорю, пишу, всё, что я делаю, — в глубине души всё для вас...

Лидия Валерьяновна. Но я не понимаю, Сергей Борисович, что вы наконец хотите. Ведь вы же понимаете, что я не люблю вас. Ну что же мне делать?

Сергей Прокопенко. Сегодня такой день. И мне захотелось открыть вам свою тайну. Я хочу, что-

бы вы поверили в мою чистоту и позволили любить вас.

Лидия Валерьяновна *(невольно улыбаясь)*. А если я не позволю, вы всё равно меня не послушаетесь... Да нет, Сергей Борисович, я прямо не могу говорить об этом серьёзно...

Из прихожей в столовую проходит В а с с о в пальто и в шляпе, с несколькими бутылками. Небольшая пауза.

Сергей Прокопенко. Да, не слушаюсь. Но я сгину с ваших глаз, и вы никогда больше не услышите обо мне ни слова.

Лидия Валерьяновна *(сдерживая улыбку)*. Что же вы сделаете?

Сергей Прокопенко. Провалюсь сквозь землю.

Лидия Валерьяновна. Вот видите. Так лучше оставайтесь. Только дайте мне слово никогда больше со мной не говорить об этом.

Сергей Прокопенко. Никогда.

Лидия Валерьяновна. Никогда.

Сергей Прокопенко. А если... прорвётся...

Лидия Валерьяновна. Постарайтесь, по крайней мере.

Сергей Прокопенко. Хорошо. Я постараюсь. Я буду молчать. Но сейчас, Лидия Валерьяновна, дайте мне всё высказать... Я больше никогда не буду... Пусть это будет на прощание... Среди нас вы — точно ангел-хранитель: тихая, светлая, чистая. В вас душа тех святых русских женщин, образы которых изображали нам лучшие поэты...

Лидия Валерьяновна. Не надо... Перестаньте, Сергей Борисович, вы обещали...

Сергей Прокопенко. Только не гоните меня... Я буду молчать... Лидия Валерьяновна... Я не могу, не могу без вас! *(Закрывает лицо руками.)*

Лидия Валерьяновна. Сергей Борисович, это, наконец, невозможно!

Сергей Прокопенко машет рукой, идёт к двери и сталкивается с Подгорным. Андрей Евгеньевич молча смотрит на него и подходит к Лидии Валерьяновне. Сергей Прокопенко уходит.

Подгорный. Я думал, вы пошли играть. *(Пристально смотрит на неё.)* А вы грустная... как всегда.

Лидия Валерьяновна. Нет, что вы, Андрей Евгеньевич, мне так хорошо сегодня!

Подгорный. Значит, вы рады, что Иван Трофимович достал деньги?

Лидия Валерьяновна. Рада.

Подгорный. Значит, вы верите в это?

Лидия Валерьяновна. Верю... Я, кажется, ни во что по-настоящему не верю... Да и не я одна, никто вообще по-настоящему ни во что не верит...

Подгорный *(неожиданно)*. Вы были когда-нибудь у меня наверху?

Лидия Валерьяновна *(удивлённо)*. Наверху?

Подгорный. Да. В моей «башне», как зовёт её Иван Трофимович.

Лидия Валерьяновна. Нет.

Подгорный. Хотите, я расскажу вам одну удивительную историю?

Лидия Валерьяновна. Ну конечно, хочу!

Подгорный. Только вот что, я принесу вам вина, закусок — мы будем пировать здесь и разговаривать. Хорошо?

Лидия Валерьяновна. Хорошо.

Подгорный уходит. Лидия Валерьяновна садится за рояль и одной рукой берёт несколько аккордов. Подгорный возвращается с подносом, на нём вино, сыр, закуски. Лидия Валерьяновна встаёт.

Подгорный. Играйте, играйте...

Лидия Валерьяновна. Нет, после, сейчас я хочу слушать.

Идут к круглому столу.

Подгорный. Уж вы будьте за хозяйку.

Лидия Валерьяновна (*принимается хозяйничать*). Вам налить?

Подгорный. Немного. Так вот. Начну я издалека. Знаете ли вы, что своим признанием, что вы ни во что по-настоящему не верите, вы затронули самое моё болезненное место?

Лидия Валерьяновна. Да, смутно я это, пожалуй, почувствовала.

Подгорный. С самого первого дня своей сознательной жизни я только и делал, что заставлял себя во что-нибудь поверить: в литературу, в искусство, в жизнь, в народ, в прогресс... И в конце концов ничего по-настоящему не отрицаю и ни во что по-настоящему не верю... Как это мучительно, вы знаете не хуже меня, я думаю... (*Пьёт вино.*) Я даже Священное Писание стал изучать... Вас это удивляет?

Лидия Валерьяновна. Нисколько.

Подгорный. Да. И там нашёл определение и осуждение своему душевному состоянию. Вот вам для примера несколько мест: «Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает... Всё, что не по вере, грех»... «Человек с двоящимися мыслями не твёрд во всех путях своих»... Я и все мы вообще — люди «с двоящимися мыслями», Лидия Валерьяновна: потому мы и бессильны, и нерадостны. Я понял это. Но не знал и не знаю, как излечиться... Вы, может быть, подумаете, что, не веря, нечестно приниматься за такое дело, как наше.

Лидия Валерьяновна. Нет, я этого не думаю.

Подгорный. Но в том-то и дело, что иногда мне кажется, что я верю... А когда не верю, то тоже как-то не вполне, и бросить всё не хватает духу. Да кроме того, настоящий-то выход где-то смутно во мне мелькает уже... Но тут начинается моя история...

Лидия Валерьяновна. Налить ещё?

Подгорный. Нет, не надо. Вы сами что же?

Лидия Валерьяновна. После.

Подгорный. Я назвал эту историю удивительной, Лидия Валерьяновна, не потому, чтобы в ней были какие-нибудь удивительные факты, а потому... как бы это вам сказать... Если бы я был верующим человеком, я сказал бы: здесь участвовал промысел Божий... Вам не кажется смешным, что я говорю всё такие слова?.. У нас это не принято... Я только с вами и могу говорить так свободно...

Лидия Валерьяновна. Андрей Евгеньевич, да разве можно над этим смеяться? И потом... я сочувствую вам гораздо больше, чем, может быть, вы думаете.

Подгорный. Одним словом, дело в том, Лидия Валерьяновна, что ко мне наверх ходит странник...

Лидия Валерьяновна. В вашу башню?

Подгорный. Да. Однажды я пошёл далеко за город. Устал и сел на траву отдохнуть. Смотрю — идёт старик с котомкой. Поклонился и подсел ко мне. И стал говорить, как будто бы знал меня с детства. И я тоже слушал его и отвечал ему, как будто бы мы заранее уговорились о чём-то очень интимном и одним нам известном... Я узнал, что зовут его дедушка Исидор, что долгое время он был на Старом Афоне, а теперь живёт как птица небесная, или, по его выражению, на птичьем положении, и странствует по святым местам, по городам и сёлам. В молодости он был сначала простой крестьянин, потом богатый мясник и наконец бросил всё и поселился в монастыре. Старик просидел со мной недолго. Спросил, где я живу. И, уходя, сказал, что придёт ко мне.

У меня осталось от этой встречи впечатление сна или видения, что ли. Хотя всё в нём было удивительно реально и просто. И сухое доброе лицо, и борода белая, и корявые руки, и лапти на ногах...

Лидия Валерьяновна. И он, действительно, пришёл к вам?

Подгорный. Да. И опять-таки каким-то удивительным образом. Вечером, когда все ушли в сад и не

могли его видеть. Я провёл его к себе наверх. Напоил чаем и разговаривал до глубокой ночи. И опять между нами как будто бы был какой-то взаимный уговор. Ни о чём особенном мы не разговаривали, он не мудрец какой-нибудь. Нет. Простой, совсем простой старик. Крестьянин. И в то же время всегда оставляет во мне впечатление сна. Никто в доме не знает, что он ходит ко мне. И я никогда не знаю заранее, когда он придёт. Но ни разу не было, чтобы он не застал меня дома...

Лидия Валерьяновна. И давно он ходит на вашу башню?

Подгорный. Больше года. Раз в два-три месяца. Самое удивительное то, Лидия Валерьяновна, что дедушка Исидор ничего не проповедует. Он всё рассказывает простые, иногда до смешного наивные вещи, и не смотря на это именно в нём я впервые почувствовал настоящую народную веру... Не то меня поразило, во что он верит, а как верит... И тот смутный выход, о котором я говорил, имеет какую-то связь с моими впечатлениями от дедушки Исидора.

Лидия Валерьяновна *(с большим интересом)*. Давно он был у вас последний раз?

Подгорный. Давно.

Лидия Валерьяновна. Я обязательно хочу его видеть, Андрей Евгеньевич.

Подгорный *(задумчиво)*. Мне кажется, он скоро должен быть.

Лидия Валерьяновна. Я его спрошу о том, о чём вас, помните, давно спрашивала: зачем люди живут? Дедушка знает?

Подгорный. Он не знает — он верит: это выше.

Лидия Валерьяновна. Ну, а вот среди нас, интеллигенции, никто не знает. Хотя бы для самого себя.

Подгорный. По-моему — никто.

Лидия Валерьяновна. Зачем же вид делают, что знают? Зачем и себя обманывают, и других обманывают?

Подгорный. Нет, Лидия Валерьяновна, теперь уж и вида не делают... Спросите кого-нибудь, вот так просто и прямо, как вы меня спрашиваете: зачем жить? И всем это покажется неловким, неуместным, наивным... И главное, избитым, старым, надоевшим до тошноты...

Лидия Валерьяновна. Значит, так и жить без ответа?

Подгорный. Так и жить...

Пауза.

Мы плохо пируем, Лидия Валерьяновна.

Лидия Валерьяновна *(улыбаясь)*. Я плохо хозайничаю. *(Наливает вино.)*

Подгорный. А себе?

Лидия Валерьяновна. И себе. *(Наливает.)*

В соседней комнате шум и голоса.

За что же наш тост?

Подгорный. За будущую веру.

Входят Татьяна Павловна, Пружанская, Иван Трофимович, Лазарев, Ершов, Сниткин, Сергей Прокопенко, впереди всех Николай Прокопенко, сзади Вассо. У некоторых в руках стаканы с вином. Очень шумно.

Николай Прокопенко. Хороши, голубчики! Мы ждём музыки, а они, видите ли, выпивохом устроили!

Ершов *(с бокалом)*. Я ещё не чокался с вами, почтеннейшая Лидия Валерьяновна.

Лидия Валерьяновна. Я не пью.

Ершов. Или только с избранными?

Николай Прокопенко. Просим тур.

Лидия Валерьяновна. Я не буду играть сегодня.

Иван Трофимович. Сыграла бы, голубчик.

Сергей Прокопенко. Сегодня такой изумительный день — не хватает одной только музыки, Лидия Валерьяновна...

Лидия Валерьяновна. Не могу...

Сниткин. Собственно говоря, музыка наводит грусть.

Николай Прокопенко. Тогда речи.

Ершов. Мы не говорили ещё речей!

Николай Прокопенко. Кой чорт праздник без речей!

Сергей Прокопенко. Речи, речи!

Иван Трофимович. Слово принадлежит Андрею Евгеньевичу.

Пружанская. Андрей Евгеньевич, мы вас умоляем! Несколько слов, произнесите, несколько слов. Я всегда говорю, Андрей Евгеньевич — гениальный оратор. Секретарь общества...

Николай Прокопенко. Любовь Романовна, вашу биографию вы расскажете после. Речи, просим, просим...

Подгорный. Простите, господа, я решительно не могу.

Ершов. Андрей Евгеньевич предпочитает прыгать через верёвочку.

Сергей Прокопенко. Господа, я скажу речь!

Татьяна Павловна. Только не кричите.

Николай Прокопенко. Караул!! Не надо! Прыгать через верёвочку! Господа, не надо речей — дайте верёвку.

Иван Трофимович. Да дайте вы ему сказать, голубчик.

Николай Прокопенко. Пусть лучше Таракан говорит.

Голоса. Таракан, Таракан...

Пружанская. Ха, ха, ха... Я умоляю вас...

Вытаскивают Вассо на авансцену.

Вассо (*упирается*). Что вы, господа... тут лидэры есть — какой я оратор...

Голоса. Речь, речь, речь!!

Пружанская. Я умоляю, умоляю вас...

Вассо. Татьяна Павловна — учёный женщина: материалы собирает, всегда сказать может... Аркадий Тимофеевич — ума палята...

Николай Прокопенко (*берёт Вассо за шею*). Говори, Таракан, или мы подвергнем тебя инквизиции!

Окружают Вассо.

Вассо. Двумя слявами скажу. Много нэ надо. У нас на Кавказ людэй много — дэнэг нэт. В Росыи дэнэг много — людэй нэт. Ваши бы дэнги нашим людям — хорошо будет.

Николай Прокопенко (*кричит*). Ого-го-го! Таракан...

Хохот.

Сергей Прокопенко. Качать Таракана, ура!..

Общий шум.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Небольшая комната в типографии. Входная дверь налево. Прямо стеклянная дверь, в неё видны типографские машины, рабочие, электрическая лампочка, в правом углу около окна небольшой стол, заваленный грудой корректур, около стола поломанный плетённый диван, старое мягкое кресло и два венских стула. В комнате обычный типографский беспорядок. Стены без обоев. На полу лоскутки бумаги, в левом углу киды журналов, входная дверь часто отворяется и хлопает: проходят рабочие типографии. На диване сидит Ершов и курит. Сниткин читает корректуру и делает пометки карандашом. Сергей Прокopenko ходит из угла в угол.

Сниткин *(не переставая читать)*. Да, собственно говоря, действительно... Туманно, и вообще, вещь неожиданная...

Сергей Прокopenko. Не туманно, а чорт знает что такое! Безобразия! Или Андрей Евгеньевич над нами издевается, или он рехнулся.

Проходят рабочие.

(К рабочим). Позовите, пожалуйста, метранпажа.

Ершов. И ни то, и ни другое. А просто — чего моя нога хочет. Андрей Евгеньевич воображает себя хозяином...

Сниткин. Ну, уж вы, так сказать...

Ершов. Безусловно. Разве можно иначе сдавать в типографию такую статью, не спросив нашего согласия?

Сниткин. Но ведь, Сергей Борисович, и вы читали.

Сергей Прокопенко. Да, уже сегодня утром, в типографии.

Ершов. Я с самого начала говорил — надо ввести коллегиальность, надо реформировать весь внутренний распорядок: дружба дружбой — а дело делай.

Сниткин. Это уж, собственно говоря, я не знаю, как и понять (*читает*): «Смешная, убогая деревенская старушка выше любого из нас потому, что она верит. И не нам её учить. А нам у неё надо учиться. Учиться верить свято и ненарушимо до полнейшего душевного непоколебимого спокойствия, того спокойствия, которое даёт человеку силы нести самый тяжёлый жизненный крест с твёрдостью, с терпением, с любовью, учаает в нужде и труде всё же любить и благословлять жизнь, а умереть — без тени ужаса, как бы отходя ко сну».

Ведь это, так сказать, защита религии... и вообще, народного невежества... Или мы не так понимаем, или с Андреем Евгеньевичем, собственно говоря, что-то случилось...

Сергей Прокопенко. Не так понимаем... это великолепно! Как же прикажете понимать?

Ершов. Сие надо понимать духовно.

Сергей Прокопенко. Вот разве что.

Входит метранпаж.

Скоро готов конец «Должников народа»?

Метранпаж. Верстаем.

Сергей Прокопенко. Как только кончите, немедленно пришлите корректуру.

Метранпаж. Хорошо. Сейчас тиснем.

Метранпаж уходит.

Ершов (*курит*). Я не понимаю, господа, чего мы комедию ломаем и притворяемся. Будто не видим, в чём дело.

Сергей Прокопенко. То есть?

Ершов. Полноте, пожалуйста.

Сергей Прокопенко. Говорите без загадок.

Ершов. Какие там загадки. Во-первых, Андрей Евгеньевич считает, что он один здесь настоящий талант и душа дела, а мы — так себе, с боку припёка. Он убеждён, что журнал без него провалится, и потому с нами не церемонится. Попробуйте, мол, фордыбачить — я уйду.

Сниткин. Ну, собственно говоря, это чушь! Андрей Евгеньевич всегда во всём по-товарищески...

Ершов. А по-моему, нечего нам его бояться: уйдёт — и пускай. Если он будет писать такие вещи, от которых деревянным маслом пахнет, — всё равно дело погубит. Отлично, по-моему, и без него можно обойтись.

Сергей Прокопенко. Будет вздор болтать! И вечно вы под Андрея Евгеньевича какие-то мины подводите. Не любите вы его. Уж не завидуете ли?

Ершов. Завидую? Чему?

Сергей Прокопенко. Успеху, разумеется.

Ершов (желчно). В моём возрасте он был не более известен, чем я.

Сергей Прокопенко. Однако, это всё пустяки... Вот со статьёй-то как быть?

Ершов. Так и скушаете. Уж коли самую большую оплеуху скушали, об этой и говорить не стоит.

Сергей Прокопенко. Какую оплеуху? Чего вы городите?

Ершов. Хы-хы-хы... Будто не знаете.

Сергей Прокопенко. Ну вас к чорту с вашей таинственностью — говорите прямо!

Входит метранпаж, подаёт корректуру и уходит. Сергей Прокопенко быстро берёт корректуру.

Вот я сейчас вам прочту. (Читает.) «Итак, русская интеллигенция должна соединиться с народом вовсе не для того, чтобы его чему-то научить, а прежде всего для того, чтобы у него научиться главному, без чего жизнь не имеет смысла, без чего и культура, и образование, и всё, чем мы привыкли гордиться, пустой самообман, —

научиться у него умению верить. В этом высшая правда жизни». Ну не ахинея ли? Мы объединились во имя просвещения народа. Мы дали торжественную клятву, не отступая, идти к заветной цели. Мы высоко подняли упавшее знамя честной русской интеллигенции. И вдруг человек, на которого мы возлагали столько надежд, считали своим вождём, достойным преемником великих вождей русского общества, — вдруг он провозглашает народное невежество, слепое народное суеверие, против которого мы прежде всего должны бороться, провозглашает какой-то «высшей правдой». Ну не ахинея ли это, я вас спрашиваю? *(Бросает корректуру на стол.)*

Сниткин. Да, собственно говоря, я не ожидал ничего подобного...

Ершов. А я ожидал.

Сергей Прокопенко. Врёте вы всё, ничего не ожидали.

Ершов. Нет, ожидал-с. Я уже давно заметил, что Андрей Евгеньевич в ханжество ударился.

Сергей Прокопенко. Что вы сегодня за вздор болтаете!

Ершов. Никакого нет вздора. Где грязные делишки, там всегда ханжество.

Сергей Прокопенко *(встаёт против Ершова)*. Да вы что? Я, наконец, требую от вас объяснения!

Ершов. Хы-хы-хы... Щекотливый вопросец-с.

Сергей Прокопенко. Загадок я больше слушать не намерен.

Ершов. Хы-хы-хы... загадки. Это, кажется, для вас одного загадки, и то если не притворяетесь.

Сергей Прокопенко. Прошу говорить прямо.

Ершов *(отчеканивает каждое слово)*. Извольте: известно ли вам, откуда Андрей Евгеньевич достал деньги, на которые мы издаём журнал?

Сергей Прокопенко. Прекрасно известно: Иван Трофимович достал у какого-то знакомого капиталиста.

Ершов. Хы-хы-хы... У знакомого капиталиста. Свои собственные, по приказанию Лидии Валерьяновны.

Сергей Прокопенко. Это ложь! Но если бы и так...

Ершов. Ну, не знаю, как вы... А я на альфонские деньги...

Сергей Прокопенко. Что, я ничего не понимаю... Какие деньги?

Ершов. Хы-хы-хы... Да разве вы до сих пор не знаете, что Лидия Валерьяновна любовница Андрея Евгеньевича?

Сергей Прокопенко (*срываясь с места, ударяет кулаком по столу*). Молчать, молчать, или я...

Ершов откидывается на спинку дивана. Сниткин быстро встаёт и хватается за руку Сергея Прокопенко.

Сниткин. Тише... Собственно... могут войти...

Сергей Прокопенко. Это подло... Я не позволю... Слышите, не позволю... Это... Это... Это чорт знает что такое...

Ершов. Да что вы-то волнуетесь? Хы-хы-хы... Или тоже влюблены? Извиняюсь, не знал.

Сергей Прокопенко (*грозно*). Если вы скажете хоть ещё одно слово, я вышвырну вас из окна!

Сниткин. И что это вы не можете разговаривать, собственно говоря, как культурные люди?

Ершов. Я решительно не понимаю, с чего Сергей Борисович на меня взелся... ведь это же все знают...

Сергей Прокопенко. Ложь!

Ершов (*указывая на Сниткина*). Спросите его.

Сергей Прокопенко молча поворачивается к Сниткину.

Сниткин. Да, собственно говоря, это факт.

Сергей Прокопенко, поражённый, садится на стул.

Ершов. Вам-то чего жалко? Хы-хы-хы... Пусть себе наслаждаются. Вот что Андрей Евгеньевич, пользуясь

своей связью с женой, разоряет мужа — это уж некрасиво.

Сниткин. Ну, здесь, собственно говоря, ваши догадки.

Сергей Прокопенко *(встаёт решительно)*. Пока я не услышу этого от Лидии Валерьяновны — я не поверю ни одному вашему слову.

Ершов. Уж не спросить ли вы её думаете!

Сергей Прокопенко. Спрошу.

Ершов. Сумасшедший вы человек. Разве о таких вещах, хы-хы-хы... спрашивают? Да если и спросите, так она вам и скажет.

Сергей Прокопенко. Она поймёт... Она скажет... Она никогда не лжёт.

Ершов. Да вы и впрямь влюблены. Хы-хы-хы...

Сергей Прокопенко. Это вас не касается.

Входит доктор в разлетайке с зонтиком.

Доктор. Здравствуйте, господа. Дождь, доложу я вам, как из ведра. Вот история... *(Здоровается.)* А как мои бактерии поживают?

Сниткин. Сейчас справлюсь. *(Идёт к двери.)*

Доктор. Почему у Сергея Борисовича такой свирепый вид? Не в духе?

Сергей Прокопенко. В духе.

Сниткин *(кричит в дверь)*. Николай Николаевич! Корректурa бактерий готова?

Голос из типографии. Готова.

Сниткин. Дайте её сюда. *(Идёт на прежнее место.)*

Ершов. Сергей Борисович с неба на землю упал.

Доктор. Сам виноват, на небо не лазай: нечего там делать.

Сниткин. Сейчас дадут.

Доктор. Великолепно. А то больных куча. *(Вынимает часы.)* Ай-ай-ай... Пятый час уже... Что нового в вашем царстве, господа?

Сниткин. Да ничего, собственно говоря. Статью тут Андрей Евгеньевич написал странную. Вот посмотрите.

Доктор. Некогда, некогда... Верю на слово.

Ершов. Напрасно отказываетесь, Яков Иванович, — поучительная статья. В защиту домовых.

Доктор. Да-с, микроскопом безнаказанно пренебрегать нельзя.

Сергей Прокопенко. Микроскоп тут не при чём.

Доктор. При всём. Приучитесь во всём чувствовать атомы, клеточки, химические соединения и вы увидите, что мир удивительно прост. Всё на своём месте. И нет нигде никакой чертовщины. И сразу будете себя чувствовать здоровее, бодрее и счастливее. Микроскоп — великая вещь, мой дорогой.

Метранпаж приносит корректуру и уходит.

Очень вам благодарен. Я в одну минуту.

Усаживается за стол и углубляется в чтение корректуры.

Пауза.

Ершов. Когда придёт Андрей Евгеньевич, нам необходимо переговорить.

Сергей Прокопенко. Говорите вы.

Ершов. Это почему?

Сергей Прокопенко. Я сейчас не могу говорить хладнокровно.

Ершов. Я тоже не любитель таких разговоров.

Сергей Прокопенко. Вы трусите!

Ершов. Мерси.

Сергей Прокопенко. Не за что. Вы любите из-за чужой спины действовать. Вы думаете, я не понимаю, что вы меня на Андрея Евгеньевича натравляете? Как же! Не так я глуп.

Ершов. Хы-хы-хы... Это великолепно.

Сергей Прокопенко. Ну вас к чорту. Оставьте меня в покое.

Ершов (к Сниткину). Придётся вам, Доримедонт Доримедонтович.

Сниткин. Я скажу... Почему же... С Андреем Евгеньевичем можно разговаривать.

Пауза.

Доктор. Чудесно. Вот-с, милостивые государи, такую статейку о бактериях я считаю полезней всей вашей поэзии и публицистики, вместе взятых. Потому что поэзия улетучивается через полчаса по прочтении — а узнавши мир бактерии, человек сразу начинает по-иному смотреть не только на землю, но и на небо. Сергей Борисович так не в духе, что даже не возражает.

Сергей Прокопенко. И возражать не стоит. Если все люди будут так рассуждать, со скуки можно повеситься.

Доктор. Ха-ха-ха... Развлечение, дорогой мой, найдётся.

Сергей Прокопенко. Карты.

Доктор. Зачем же карты, и развлечения будут такие же разумные, как и вся жизнь... Однако, я болтаю не хуже Любове Романовны, а там больные дожидаются. Прощайте, господа. Поклон Андрею Евгеньевичу.

Ершов. Постойте. Вы не сказали, уполномочиваете ли вы нас и от вашего имени заявить Андрею Евгеньевичу протест.

Доктор (*торопливо надевает галоши, шляпу, ищет зонтик*). Уполномочиваю, уполномочиваю.

Ершов. Во всём должна быть строгая коллегиальность.

Входит Подгорный.

Доктор. А, вот и сам виновник. Здравствуйтесь. Тут вам голову мылить собираются. Ну, до свидания. Я тороплюсь. (*Уходит.*)

Подгорный (*раздеваясь*). Голову мылить? За что?

Сергей Прокопенко молча ходит по комнате. Ершов курит.

Сниткин. Да, собственно говоря, Андрей Евгеньевич, насчёт вашей статьи.

Подгорный *(весело)*. А, я так и думал, что она придётся вам не по вкусу. Здравствуйте. *(Здоровается.)*

Сниткин. Тут ведь, Андрей Евгеньевич, принципиальные, так сказать, разногласия получаются.

Подгорный. Ага, како веруешь.

Сниткин. Нет... Веруем-то мы одинаково... Это, так сказать, давно выяснено, но знаете ли вы, собственно говоря, написано двусмысленно... И вообще, противоречит общему направлению...

Подгорный *(серьёзно)*. Что же, вы правы. Моя статья идёт вразрез с нашим направлением, или, вернее, с тем, что мы обычно писали. Но двусмысленного в ней решительно ничего нет: напротив, я всё время старался говорить прямо и резко, без оговорок, чтобы не искали между строк оправданий моим взглядам. Я не хочу, чтобы меня «оправдывали», я хочу, чтобы меня поняли.

Сергей Прокопенко. Мило.

Сниткин. То есть как... Вы, собственно говоря, шутите, Андрей Евгеньевич?

Подгорный. Я говорю очень серьёзно.

Сниткин. А направление?

Сергей Прокопенко *(останавливается, отчеканивая каждое слово)*. Если каждый будет писать в своём направлении, что же в конце концов получится?

Ершов. Юмористический журнал.

Подгорный. Позвольте, господа. Дело в том, что я пришёл к заключению, что журнал никакого определённого направления иметь не может. Потому что сами мы никакого определённого направления не имеем.

Сергей Прокопенко. Неправда.

Подгорный. Нет, правда. Надо же в конце концов быть искренним. Ну, скажите, какое наше направление?

Сергей Прокопенко. Вы, кажется, изволите смеяться. Об этом достаточно говорилось.

Подгорный. Нет, я не смеюсь. И прошу мне ответить, только без фраз, просто и ясно.

Ершов. Поздно спохватились немножко.

Сергей Прокопенко. Изумительно! Направление честной русской интеллигенции всегда было одно, и это вы прекрасно знаете: прогрессивное, основанное на трезвом научном мирозерцании.

Подгорный. Прекрасно! Всякое направление определяется конечными целями, которое оно преследует. Какие же у нас конечные цели?

Сергей Прокопенко. Не придирайтесь, пожалуйста. Это сказка про белого бычка. Я знаю одно. Общество русское развратилось, молодёжь ударилась в мистику, в богоискательство и во всякую чертовщину — или погрязла в пошлости карьеризма. Нас осталось горсть, и, если мы потеряем определённости нашего направления, порвав последние традиции с прошлым, тогда на интеллигенцию надо плюнуть.

Подгорный. Я не придираюсь, Сергей Борисович, уверяю вас. Я своим вопросом хотел показать, что до сих пор мы говорили общие места и ни до чего определённого не договорились. И я убеждён, что, в конце концов, все мы думаем и живём по-разному. Наше направление — самообман, которым долго морочить себя нельзя. Пусть уж лучше без притворства сознательного или несознательного каждый пишет, не подлаживаясь под направление, а то, что на самом деле чувствует, на самом деле думает, не боясь, что это будет противоречить какой-то там традиции, и тогда журнал будет журналом исканий, то есть только тем, чем он и может быть.

Ершов. Но это полнейший переворот всех наших планов.

Сниткин. Я понимаю вас, Андрей Евгеньевич. Но обо всём этом можно, так сказать, спорить... и вводить такую реформу, собственно говоря...

Подгорный. Не посоветовавшись...

Сниткин. Вообще... Так сразу.

Ершов. Андрей Евгеньевич был уверен в нашем согласии.

Подгорный. Вы угадали. Я был уверен, что это делается само собой. Независимо от наших желаний и решений, а потому и все разговоры считал лишними.

Сергей Прокопенко *(не владея собой)*. Я должен заявить... что такое... что такое отношение к товарищам недопустимо. Да, недопустимо! Что вы не имели права сдавать вашу статью в типографию, нас не спросившись. Это оскорбление всем нам... Да...

Подгорный *(поражённый)*. Что с вами, Сергей Борисович, у нас же всегда так делалось.

Сергей Прокопенко. Делалось потому, что вы вообразили себя хозяином, который может распоряжаться, как ему вздумается. Никто из нас никогда не позволил бы себе ничего подобного.

Сниткин. Сергей Борисович, собственно говоря...

Сергей Прокопенко. Оставьте. Андрею Евгеньевичу угодно договорить до конца. Вы воображаете, что вы знаменитость, да... Вы думаете, что, если вам дали деньги, вы и хозяин... Я покажу вам... что вы ошибаетесь. Да... Ошибаетесь. Мы категорически заявляем, что вашей похоронной статьи не пропустим!

Подгорный *(встаёт, сдержанно)*. Вы совершенно напрасно меня оскорбляете. Я никогда не считал себя хозяином. Деньги, которые достал Иван Трофимович, он достал не для меня, а для всех нас. Что же касается моей статьи, то я вас вполне считаю вправе не пропустить её.

Ершов. Да. Но если мы не пропустим, вы заявите, что выйдете из журнала.

Подгорный. Ничего подобного. Всё останется по-прежнему. Разумеется, я не могу писать иначе, чем думаю и чувствую, и буду продолжать писать так и впредь, но за вами признаю право обсуждать и не пропускать того, что я пишу.

Ершов. Это тот же ультиматум.

Подгорный. Но не могу же я писать заведомую ложь!

Сниткин. Позвольте, господа, мне сказать... Будем, собственно говоря, хладнокровны... Может быть, Андрей Евгеньевич перечтёт статью, смягчит, так сказать, выражения... и всё обойдётся...

Ершов. Не думаю, чтобы Андрей Евгеньевич на это согласился.

Подгорный. Я не соглашусь, потому что здесь дело не в выражениях. Если бы вам не нравились отдельные слова, я с удовольствием бы их вычеркнул.

Сниткин. А вы постоите, Андрей Евгеньевич, не торопитесь... Сейчас мы все, так сказать, взволнованы... Перечтите статью... Что вам, собственно говоря, стоит... Может быть, и вы сами согласитесь... Перечтите, Андрей Евгеньевич.

Подгорный. Хорошо. Она у вас?

Сниткин. Нет, в типографии. *(Поспешно встаёт.)*
Я сейчас велю подать.

Подгорный. Не надо, Доримедонт Доримедонтович, я пойду в типографию. *(Уходит.)*

Длинная пауза.

Сергей Прокопенко. Чорт знает что такое...

Ершов. Прав Титов... горячи-с, хы-хы-хы... я думал, вы нанесёте оскорбление действием.

Сниткин. Андрей Евгеньевич перечтёт, и всё обойдётся.

Сергей Прокопенко. Как это вам покажется... Ведь это же измена... Форменная измена.

Ершов. Нет-с, это — высшая мудрость.

Сергей Прокопенко. Не мы ли мечтали создать великое дело обновления нашей родины! *(Встаёт в позу.)* Объединить вокруг себя все разрозненные силы интеллигенции и повести общество к великой цели, к далёким недосыгаемым идеалам. Повести доро-

гой прямой и широкой, с которой все сбились в нашу смутную эпоху.

Ершов. Великолепно — только потише, а то в типографии подумают, что у нас кого-нибудь режут.

Сергей Прокопенко. Ну вас. Перед вами совершается величайшая трагедия, а вы тут зубоскалите.

Ершов. Уж и трагедия — не жирно ли будет?

Сергей Прокопенко. Да, трагедия, потому что падение Андрея Евгеньевича подорвёт последнюю веру в интеллигенцию. Очевидно, разложение отравило все души. Идёт всё дальше в ширь и глубь. Кто же останется на славном посту?! Когда мы потеряем веру в русское общество...

Ершов. Почему вам обязательно верить в кого-нибудь? Верьте в себя.

Сергей Прокопенко. Я должен верить в кого-нибудь.

Ершов. Это тоже, должно быть, признак настоящей интеллигенции. Хы-хы-хы...

Сергей Прокопенко. Да не смейтесь, чорт возьми. Ничего вы не понимаете. Тут рушатся все мечты наши. Всё, чем мы жили. И что казалось таким близким, почти достигнуто... А вы шута горохового строите.

Сниткин. Шутка прескверная... Что и говорить.

Ершов. А вы Лидию Валерьяновну на него напустите. Ведь вы же верите, что она чудеса творить может, хы-хы-хы...

Сергей Прокопенко. Вот что: я вам уже раз сказал и повторяю ещё раз, если вы в моём присутствии позволите себе говорить о Лидии Валерьяновне в таком тоне, я за себя не ручаюсь. Поняли?

Ершов. Понял, понял — давно понял, хы-хы-хы... Ну — и бог с ней, с Лидией Валерьяновной. А что же делать, если Андрей Евгеньевич упрётся?

Сергей Прокопенко. Я не уступлю ни за что.

Ершов. Прекрасно. Но, допустим, и он не уступит — тогда?

Сниткин. Ну что вы, Андрей Евгеньевич мягкий человек, разве станет он такое дело губить?

Ершов. А всё-таки?

Сергей Прокопенко. Тогда пусть убирается к чорту: будем делать наше дело без него.

Ершов. Вот это так. Браво!

Входит Подгорный.

Подгорный. Я прочёл, господа. И, к сожалению, не могу изменить ни одного слова.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Комната Подгорного в мезонине. Слева письменный стол. Справа круглый стол, диван и два кресла. С этой же стороны небольшая дверь на «башню». Прямо перед зрителями окно и перила, которыми огорожена входная лестница. Вечер. На письменном столе горит лампа.

Лидия Валерьяновна. Я к вам по делу... То есть не только по делу... но всё-таки мне необходимо вас видеть...

Подгорный. О Господи! У всех дела, дела... Хоть вы-то меня пощадите.

Лидия Валерьяновна. Я так встревожена. Расскажите, что такое случилось в типографии.

Подгорный. А! *(Махнув рукой.)* Вздор. Об этом и разговаривать не стоит: я думал, у вас и в самом деле что-нибудь серьёзное.

Лидия Валерьяновна. Может быть, это гораздо серьёзнее, чем вы думаете. Во всяком случае, я хочу знать.

Подгорный. Право же, вздор. Сергею Борисовичу, Ершову и Сниткину не понравилась одна моя статья. Они потребовали, чтобы я изменил её. Я, разумеется, отказался. В конце концов решили статью напечатать с оговоркой, что редакция взглядов автора не разделяет. А во избежание недоразумений в будущем, на завтра созывается совещание. Вот и всё.

Лидия Валерьяновна. Нет-нет. Это я знаю. Говорят, Сергей Борисович оскорбил вас. Вообще, у вас вышла какая-то неприятность.

Подгорный. Да, Сергей Борисович действительно был почему-то страшно возбуждён и держал себя вызывающе. Я от него никогда не слышал такого тона.

Лидия Валерьяновна. Что он вам говорил?

Подгорный *(смеётся)*. Ведь это нечто вроде интервью получится.

Лидия Валерьяновна. Вы шутите, Андрей Евгеньевич, а у меня этакое ужасное настроение весь день...

Подгорный. Полно вам, дружище, поговорим по душам, и всё пройдёт.

Лидия Валерьяновна. Вы знаете, Иван Трофимович вот уже несколько дней всё получает какие-то мерзкие анонимные письма. Потом эта история в типографии. И ещё... многое другое... Я не знаю, какая здесь связь... Но как-то всё одно к одному... И сегодня мне сделалось до того жутко, что я не могла усидеть дома и прибежала к вам.

Подгорный. И великолепно сделали. Ваши предчувствия, разумеется, просто от расстроенных нерв. Никаких внешних неприятностей я не боюсь. Да и откуда им взяться. А вот внутри... да... там не очень-то благополучно. И у меня, да и у вас, кажется... Как хорошо, что вы пришли, прямо чудесно!..

Лидия Валерьяновна. Вы говорите, что у вас неблагополучно...

Подгорный. Видите, Лидия Валерьяновна, у меня всё так смутно, так странно на душе... Я ничего ещё сам толком не знаю... Но последнее время мне стало ясно, и особенно я почувствовал это сегодня в типографии, что жить так дальше не в состоянии... Что всё это не то и не то... В моей жизни, и вообще в жизни всех нас, нет чего-то главного. А что это главное — не знаю. *(Встаёт и ходит по комнате.)* Я пишу рассказы, статьи. Меня

читают, хвалят. Я начинаю приобретать «имя». Но я же ведь понимаю, что всё это простое самоуслаждение, что долго тешиться этим — нельзя. Ну, известность, ну, на меня показывают пальцами, ну, в витринах открытки с моей физиономией, ну, наконец, такие же истрёпанные, бессильные, не знающие главного в жизни люди, как я, — прочтут мои произведения и взгрустнут. Так неужели же это и есть то самое, что нужно?.. Народ... Да. Но в том-то и дело, что народу мне сказать нечего. Мои сомнения, мои боли, моя душевная неразбериха ему чужды. И зачем я стану заражать его чистую, крепкую душу такую дрянью? Вот об этом я и написал свою статью... Спросите: что делать? Не знаю. Как подойти к народу? Не механически — механически это легко, — нет, душой к душе. Вот в чём вопрос. Вера его мне чужда. Он житель какой-то другой планеты. И язык его, и вся психология — всё другое. Как переделать себя заново и стать таким цельным, уверенным, сильным, как он, — я не знаю. Даже не знаю, возможно ли. А между тем в этом вся суть дела... Научите, Лидия Валерьяновна.

Лидия Валерьяновна. Научить! Смешной вы. Да разве вы не видите, что мы — два сапога пара. Должно быть, потому мне и хорошо с вами. Вот сижу здесь — и точно с самого детства жила в этой комнатке.

Подгорный. Сергей Борисович говорит, что вы способны чудеса творить, — совершите чудо.

Лидия Валерьяновна. Если бы я могла, Андрей Евгеньевич, хоть чем-нибудь помочь вам — я жизни бы своей не пожалела. Да, видно, жизнь-то наша никому не нужна. Самопожертвования в нас хоть отбавляй. Это, кажется, единственное, чему нас научили. А как и для чего жертвовать собой — не знаем. И все мы такие, Андрей Евгеньевич. Вы хоть иллюзией могли бы себя обманывать. А у меня и того нет. Учусь в консерватории. Живу с мужем. Может быть, дети будут. Так разве это то?.. Знаете, когда я была ма-

ленькая, терпеть не могла заниматься хозяйством и всё у меня валилось из рук. Мать говорила про меня, что я «никудышная»... Так вот, Андрей Евгеньевич, должно быть, все мы «никудышные».

Подгорный. Значит, и вы чувствуете, что дальше нельзя так.

Лидия Валерьяновна. Да. Но у меня нет никакой надежды, что жизнь может перемениться. Так и будет всё... до конца.

Подгорный. Какая же вы... осенняя...

Лидия Валерьяновна *(со слабой улыбкой)*. Такая уж... Мне стыдно, что я к вашей тоске — свою ещё прибавляю...

Подгорный. Полноте. Вы думаете, «Гром победы, раздавайся» — лучше. Я всё равно в жизнерадостный тон не верю, это — или недомыслие, или ложь. Мужики — не воюют и оружием не бряцают. А просто живут и благодарят Бога за жизнь. Вот этого бы я и хотел.

Лидия Валерьяновна. Как же дальше будет, Андрей Евгеньевич?

Подгорный. Будем тосковать.

Лидия Валерьяновна. Тяжело, больно...

Подгорный. Надо терпеть. Надо жить.

Лидия Валерьяновна. Я и то живу потому, что «надо жить». Ничего не жду. И знаю, с неба ничего хорошего не свалится. Мужа я не люблю по-настоящему. Когда выходила замуж, он казался мне интересным, свободным, жизнерадостным. Я думала, что и меня он сделает такой же. Выведет куда-то на простор. А теперь вижу, что он добрый, честный, хороший — но совсем не то... Если бы дети были, может быть — тоже иллюзию создала бы... не зря, мол, живу... Воспитанием занимаюсь... Жутко думать, Андрей Евгеньевич, о жизни... Всё это должно кончиться или катастрофой... или... *(Машет рукой.)*

Подгорный. Или?

Лидия Валерьяновна. Ничем...

Подгорный. Не зря столько тоски пережито.

Лидия Валерьяновна. А может быть, зря.

Подгорный. Иногда я так ясно чувствую, что живём мы накануне... *(Прерывает и прислушивается.)* Слышите... кто-то идёт по лестнице.

Лидия Валерьяновна. Да, кто-нибудь к вам...

Молча смотрят на входную лестницу. Показывается странник, дедушка Исидор. Он подымается медленно. Длинная пауза. Подгорный не встаёт, как бы поражённый чем-то. Лидия Валерьяновна в страхе невольно подаётся к Подгорному.

Подгорный *(с изумлением)*. Дедушка... *(Быстро встаёт ему навстречу.)*

Странник. Он самый и есть. Здравствуй, родной, здравствуй.

Подгорный. Вот хорошо-то. Ну, слава Богу... Озяб, дедушка? Чаю выпьешь? Да?..

Странник. А и то, выпью. Чайком балуюсь.

Подгорный. Сейчас велю. *(Хочет идти.)*

Лидия Валерьяновна. Давайте, я всё устрою. Можно? *(К страннику.)* Здравствуйте, я ещё с вами не поздоровалась.

Странник. Здравствуй, голубушка, здравствуй. А я тебя и не заметил сразу-то... Вижу плохо...

Лидия Валерьяновна. Я пойду, Андрей Евгеньевич.

Подгорный. Да вы самовар не донесёте.

Лидия Валерьяновна. Донесу.

Подгорный. Хлеба надо ещё... сыру...

Лидия Валерьяновна. Хорошо, хорошо, всё сделаю. *(Быстро уходит.)*

Подгорный *(вслед)*. И скорей возвращайтесь.

Лидия Валерьяновна *(с лестницы)*. Я живо.

Странник. Ишь, проворная. А я и не заметил.

Подгорный. Ну, усаживайся, дедушка, на своё любимое место. *(Усаживает его на диван.)* Давно не был. Соскучился я о тебе. Что поделываешь?

Странник (усаживается). Какое моё дело. По святым местам ходил. Лето Бог дал — благодать. Народу идёт из городов много. И старухи, и бабы, и мужики, и ребятишки... Слава Богу...

Подгорный. Насмотрелся теперь всякой всячины.

Странник. И то насмотрелся, родной... Шибко народ недужится. Тут тебе недород, тут холера, тут пьянство ещё... Шибко недужится...

Подгорный. Плохо, стало быть.

Странник. Воля Божья.

Подгорный. Если бы ты знал, дедушка, как хорошо, что ты пришёл. Я никогда ещё не ждал тебя, как теперь.

Странник. Что-й так, родной?

Подгорный. Дело есть. Жить хочу как-нибудь по-новому.

Странник. Ну, и слава Тебе, Господи. И с Богом.

Подгорный. Да никак не придумаю, что делать... Точно в душе-то десяток голосов сидит, и каждый в свою сторону тянет. В какую сторону идти — и не знаю.

Странник. А ты вот что, родной, всегда самого первого голоса слушай.

Подгорный. Я уж запутался, дедушка. Не разберу теперь, какой первый-то голос.

Странник. Прислушайся. Хорошо прислушайся — различишь. Первый голос тоненько так скажется, как волосок тоненько... и в самом сердце. Это Божий голос — его слушайся. А потом начнут громкие голоса кругом, да как волны всё, как волны. Это лукавые. Их слушаться не надобно. Они мутят только. Бестолковые.

Подгорный. Так надо к Божьему голосу прислушиваться, дедушка?

Странник. Надобно, родной. А ты помолись да и спроси, как, мол, в затруднении моём быть, — и скажется. Сейчас скажется. Только вслушивайся крепче. И не пропусти голос-то. Он тоненько так, будто

незаметно скажется. А это самый он и есть. А у людей спрашивать нечего. Божий свет надо знать.

Подгорный. Потому спрашиваю других, что сам решить не могу.

Странник. А ты и на себя много не полагайся... Надо, родной, Богу отдаться. Он у нас хозяин. Ты и отдайся Ему. Он уж знает, на какую тебя работу определить. Там уже Его Господняя воля. Хочет — белую работу даст, хочет — чёрную: всякой работы много. Ему видней. Ты отдайся, и только. Плохо не будет.

Подгорный *(с силой)*. Вот это хорошо ты сказал, дедушка. Страсть как хорошо.

Странник. Ну, и слава Богу, родной, и слава Богу.

Входит Лидия Валерьяновна с подносом, на нём чашки, хлеб.

Лидия Валерьяновна *(подходит к круглому столу)*. Сюда ставить?

Подгорный *(помогает)*. Сюда.

Лидия Валерьяновна. Скатерти не полагается?

Подгорный. Не полагается.

Лидия Валерьяновна ставит поднос и идёт к лестнице.

Подгорный. Вы куда?

Лидия Валерьяновна. За самоваром.

Подгорный *(встаёт)*. Что вы, что вы. Я принесу.

Лидия Валерьяновна. Я сама. Он уж внизу, около лестницы стоит. *(Сбегаёт по лестнице.)*

Подгорный. Надолго к нам, дедушка?

Странник. Передохну два дня и дальше.

Подгорный. Куда?

Странник. А Господь знает. В тёплые места пробраться надо.

Подгорный. Ты сегодня у меня ночуешь?

Странник. Нет, родной, попью чайку и пойду. Дело есть. Завтра — что Бог даст.

Подгорный. Приходи, дедушка, непременно, слышишь?

Странник. И то приду, родной, приду.

Лидия Валерьяновна вносит самовар.

Подгорный (*встаёт ей навстречу, хочет помочь*). Эдакая вы. Ведь тяжело.

Лидия Валерьяновна. Пустите, пустите... (*Ставит самовар.*) Видите, и донесла. (*Заваривает чай.*) Я хозяйничать буду, хорошо?

Подгорный. Конечно. Дедушка, вот Лидия Валерьяновна говорит, что мы с ней два сапога пара. Одинаковой болезнью больны.

Странник. Девушка?

Лидия Валерьяновна (*наливает чай*). Замужем.

Странник (*берёт стакан, ласково улыбается*). Ай-ай-ай, замужем, и епитимью свою не найдёшь.

Лидия Валерьяновна (*смеясь*). Как епитимью?

Странник (*тоже смеясь*). По-нашему, по-неучёному, женская епитимья — детей родить да выхаживать.

Лидия Валерьяновна. У меня детей нет, дедушка.

Странник. Да что ж это ты? Ах ты, родненькая! Как же это, Господи, помилуй. Который год замужняя-то?

Лидия Валерьяновна. Третий год.

Странник. Ну, будут. Пошлёт Господь, пошлёт. Как можно без детей! Сохрани Бог. В раю Господь епитимью назначил в болезнях детей рожать. Так и теперь. Хоть будь ты царица, хоть последняя нищая — одна епитимья. (*Пьёт чай.*)

Лидия Валерьяновна. Я не жидкий вам налила?

Странник. Нет, голубушка, нет... (*Пьёт. После паузы.*) Старичок со мной шёл один. Какой случай рассказывал... Был в монастыре их послушник. Молодой, лет восемнадцати, парнишка. Да... По усердию хотя бы

старика в пору. На работу ли, в церковь ли — всюду он. Нрава хорошего. Тихий, приветливый, ласковый... Да... А устав в монастыре строгий. Игумен — старик требовательный. Ни-ни, чтобы там службу пропустить или что... Особого монаха назначил ходить по кельям, к заутрени будить. Ну, народ молодой, да и работы много. Другой и проспит, и запоздает. К кому два, к кому три раза придёт постучится. А к этому как ни придёт, он уже встал, и обут, и умыт... Да... Дивуются все. Просто дивуются. Как, мол, это, ни разу не заспится. С устатку или что... Дошло до старца... Да... Вот и приступил к нему на исповеди, как да почему. Откройся, говорит. Не в чем, говорит, открываться — приучил себя и всё... Да... Ничего, говорит, такого нет. Долго запирался. Да старец опытный. Видит — дело не больно просто. Одно говорит: признавайся... Да... Утаивался, утаивался да и открылся. Кто-то, говорит, меня допреж монаха будит. Кто, спрашивает, будит? Голос, говорит, слышу... Разгневался старец: это бес, говорит, а ты не каешься да ещё запираешься вздумал. А послушнику и обидно показалось... Нет, говорит, не бес, а это за моё усердие посылает Бог. Да... за святого, значит, почитал себя в душе-то. А, говорит старец, Бог посылает, хорошо. Как придёшь в келью, выпей два больших стакана вина. Да грех, говорит. По повелению старца — не грех! Послушание опережь всего. Ступай, говорит, и сделай, как велю... Да... Опечалился, нечего делать. Ослушаться — грех. Пришёл в келейку свою, принёс вина, выпил... Без привычки-то, известное дело, охмелел да тут же и заснул... Да... Приходит наутро монах. Стучит. Ответа нет... Да... Что, думает, за диковина? Никогда не засыпал, а тут — на. Или, мол, ушёл куда... Ещё постучал — молчит. Прислушался: слышит, будто кто стонет. Да... Ну, тут тревога пошла. Видят уж, неладное что-то. Дверь сломали. Лежит послушник чуть живой, в крови весь, израненный... Да... А дело так было. Как, значит, напился он да заснул, утром-то вражьего голоса и не послушал. Враг видит:

открыли его проделки, давай тело мучить и изранил всего... Да... Долго прохворал. Поправился. Пришёл к старцу. А старец и говорит: будешь, говорит, теперь голосов слушать? Нет, говорит, прости Христа ради — возгордился. То-то, говорит, иди да берегись паче всего гордости... Да... Дивуюсь я, на какие хитрости враг человеческий пускается. Будто бы добро совершает, к службе будит — а он вон что... Диво...

Пауза.

Лидия Валерьяновна *(к страннику)*. Вам налить?

Странник. Налей, голубушка. *(Подгаёт стакан.)*

Лидия Валерьяновна *(наливает и подгаёт страннику; к Подгорному)*. А вам?

Подгорный. Нет, спасибо.

Странник. А сама-то что? Или не время?

Лидия Валерьяновна. Нет, так, не хочется.

Пауза.

Странник. Я так думаю, что остальные времена приходят.

Подгорный. Почему так, дедушка?

Странник. Есть такая книга — в ней всё указано. И по книге этой — последнюю страничку живём.

Лидия Валерьяновна. Какая книга? Вы видели её?

Странник. Нет, голубушка, что зря говорить, — не видал, нет... Только что люди сказывали — есть такая книга.

Подгорный. Ну, и что же в ней говорится?

Странник. А говорится в ней про остальные времена, и все приметы указаны.

Лидия Валерьяновна. Какие, дедушка, приметы?

Странник. Первым делом — землю на квадратики изрежут. Изрезали рельсами этими, как есть на квадратики. На огненном коне ездить начнут — ездют.

Машина — всё равно как огненный конь. На одном колесе ездить будут — ездют... Нищие с жёлтыми и красными батогами пойдут — ходят.

Подгорный. Что ты, дедушка, как с жёлтыми, красными батогами ходят?

Странник. Верно говорю. Был я в одной обители. Вхожу в церковь. Свечу поставил. Иду назад к двери-то, а они и стоят... Да... Два нищих, у одного батог жёлтый, а у другого красный — так я и обмер, родненькие... Да...

Подгорный смеётся. Лидия Валерьяновна тоже не может удержаться от улыбки.

Подгорный. Ну, дедушка, жёлтые батоги — ещё небольшая беда.

Странник. Небольшая. Оно всё небольшая. А только, что к тому идёт — остальные времена близятся...

Подгорный. Дедушка. Ведь это тогда и жизнь менять не стоит. Всё равно — скоро всё кончится.

Странник. Тут-то и надо себя блюсти. Время такое. Решающее время. Всякая скорбь начнётся. Господь милостив. Ему видней. Так, по человечеству, говорим. А ему видней... Ну, вот и спасибо. *(Перевёртывает чашку вверх дном.)* И отогрелся. А теперь идти надо. *(Встаёт.)*

Подгорный. Уж идёшь, дедушка? Да куда ты? Ночь на дворе.

Странник. Дело есть.

Подгорный и Лидия Валерьяновна встают.

Подгорный. Вот какой ты. Точно птица перелётная: не успел присесть — и снова поднимаешься.

Странник. Птица, родной, птица и есть. *(Надевает котомку.)* Да, забыл. Я ведь тебе гостя в кухню принёс.

Подгорный. Гостя?

Странник *(улыбаясь)*. Котёнка. Подхожу к двери, а котёночек мяучит. Зазяб, мокрый: от дому отбился, верно. Я и принёс его в кухню. Ты уж не гони его.

Подгорный *(смеясь)*. Ну, что ж, пусть живёт. У нас всё равно дом — точно ковчег завета.

Странник. Тварь тоже пожалеть надо. У меня, молодым когда был, ребятки были. Померли теперь — царство небесное. Страсть котят любили. Кошечка жила у нас, Марьей Ивановной звали, как принесёт, бывало, котятков — ребятки радуются: у Марьи Ивановны, говорят, Мариванчики родились. Право. *(Тихо смеётся.)* Как увижу котёночка, так и вспомню... Ну, спаси Христос. *(Низко кланяется и прощается за руку.)*

Подгорный. Так до завтра?

Странник. Приду, приду, родной. Ночевать приду. *(Прощается с Лидией Валерьяновной.)* Прощай, голубушка, дай тебе Бог деток хороших...

Лидия Валерьяновна. Спасибо, дедушка. *(С чувством.)* За всё спасибо.

Странник. Простите, Христа ради.

Странник медленно спускается с лестницы. Подгорный и Лидия Валерьяновна смотрят ему вслед. Пауза.

Лидия Валерьяновна. Какой удивительный.

Подгорный. Верно. Как я рад, что вы это почувствовали. Когда я смотрю на него, мне кажется, что я вижу перед собой воплощение души народной. И хорошо делается. И грустно. Точно при воспоминании о какой-то любимой вещи, которую потерял навсегда...

Да, вот если бы всё забыть, чему меня учили, о чём думал, чем жил, и «отдаться Богу» и стать вот таким простым, тихим, цельным... Поверить бы в «остальные времена», в «жёлтые батюги», во что-нибудь, во что-нибудь. Только бы поверить, по-настоящему, без колебаний, без вопросов, без надрыва. Только бы поверить. Лидия Валерьяновна, разве это невозможно?

Лидия Валерьяновна *(тихо)*. Не знаю... Может быть... Я хочу ещё раз видеть дедушку. Хорошо?

Подгорный. Конечно. Приходите сюда завтра, после собрания.

Лидия Валерьяновна. Ну, а теперь и мне пора. Иван Трофимович беспокоиться будет. Прощайте.

Подгорный. Прощайте. Знаете, когда уходил дедушка, я подумал: а что, если взять да уйти вместе с ним!

Лидия Валерьяновна *(взволнованно)*. Уйти... Разве это возможно?

Подгорный. Почему же?

Лидия Валерьяновна *(не находя, что сказать)*. Но... бросить дело... И потом, разве вам не жалко друзей?

Подгорный. Нет.

Лидия Валерьяновна *Никого?*

Подгорный. Никого. С женой мои отношения вам известны. Товарищи?.. Но ведь, по совести говоря, в душе мы все друг другу чужие. Вот вас будет жалко. Привык я к вам.

Лидия Валерьяновна *(грустно)*. И за то спасибо. Ну, прощайте.

Подгорный. Да не уходите вы такая грустная. Улыбнитесь хоть на прощание.

Лидия Валерьяновна. Нет, я не грустная. Это так. Прощайте. *(Уходит.)*

Длинная пауза. Подгорный стоит посреди комнаты.

Подгорный. Дедушка говорит, первого голоса надо слушать... Помолись и спроси, как быть в затруднении, — скажется... Помолись... Как...

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Комната первого действия. Посреди комнаты поставлен большой стол. На нём бумага, карандаши, свечи: видно приготовление к заседанию. Татьяна Павловна, с раскрытой книгой в руках, приносит графин, ставит его на стол и уходит. Сцена некоторое время пуста. Из левой двери выходят В а с с о и Подгорный.

В а с с о. Я хочу переговорить с вами об одном дэле.

Подгорный. Готов, милейший Таракан, всегда готов.

В а с с о (*мрачно*). Дэле серьёзное.

Подгорный. Батюшки мои, и у вас серьёзное дело!

В а с с о. Финансовое дэле.

Подгорный. Да говорите уж, ну.

В а с с о. На Кавказ хочу ехать, с матерью повидаться. Дайте, Андрей Евгеньевич, сорок рублей взаймы.

Подгорный. С удовольствием, с удовольствием. Только как же это вы поедете: разве вам разрешили?

В а с с о. На одни сутки можно: приехал и уехал.

Подгорный. Охота ехать на одни сутки!

В а с с о. Должен ехать.

Подгорный. Соскучились, что ли?

В а с с о. Нэт... Соскучился — потерпеть можно. Дэле чести: с матерью пять лэт нэ видалься. Спрашиваю сэбя: если она помрет, нэ даждавшись мэня, кто я буду? Послэдний прохвост буду... Приеду, повидаюсь — а там пускай себэ умирает...

Подгорный *(смеётся)*. Правильно, Таракан...
А деньги вот. *(Достаёт и даёт деньги.)*

Вассо. Очень благодарен. Спрятать надо: чтобы
соблязна не билэ. *(Уходит.)*

Татьяна Павловна приносит стаканы.

Подгорный *(обходит вокруг стола)*. Боже, как
торжественно!

Татьяна Павловна. Никакой торжественности,
простой порядок.

Подгорный. Давно это ты стала заниматься
порядком?

Татьяна Павловна. С тех пор, как ты стал
поведовать принципы домостроя.

Подгорный. Прокопенко бы сказал: мило.

Татьяна Павловна *(уходит. В дверях)*. Я советую
тебе посерьёзнее подготовиться к сегодняшнему
заседанию.

Подгорный. То есть? Нечто вроде реферата?
С цитатами, сносками, материалами...

Татьяна Павловна. Не остроумно. *(Уходит.)*

Пауза. Подгорный продолжает ходить по комнате. Входит
Лидия Валерьяновна.

Подгорный. А! Вы всегда вовремя, дружище: в
ожидании сегодняшних прений я нервничаю и без толку
хожу из угла в угол.

Лидия Валерьяновна. Я нарочно пришла
праньше. Мне надо повидаться с вами, Андрей Евгеньевич...
наедине.

Подгорный *(улыбаясь)*. Опять дела.

Лидия Валерьяновна. Надоели.

Подгорный. Нет, шучу. Так в чём же дело,
Лидия Валерьяновна? *(Садится.)*

Лидия Валерьяновна. Может быть, здесь
помешают? Лучше бы к вам пойти!

Подгорный. Нельзя. Я выселен. Там Николай
Борисович «подготавливается» к заседанию на моём
диване: сегодня уж я не протестую.

Лидия Валерьяновна. Ну да всё равно... Только вы не очень сердитесь, Андрей Евгеньевич.

Подгорный. Выдумаете!

Лидия Валерьяновна. Нет, право. Ведь вы совершенно не ожидаете, о чём я хочу сказать.

Подгорный. О чём бы ни было.

Лидия Валерьяновна. И потом, вам сейчас не до того: у вас своё большое дело. Но право же, так надо. Может быть, сегодня именно и надо сказать.

Подгорный. Будьте уверены, Лидия Валерьяновна, что ко всякому вашему делу я всегда сумею отнестись серьёзно.

Лидия Валерьяновна. Я и вчера, собственно, приходила затем, чтобы сказать... да так, не пришлось... Ну, так вот, Андрей Евгеньевич, я должна сказать... что люблю вас... постойте, постойте... я вам всё скажу... Вы меня не любите — я знаю. Спросите: зачем тогда говорю? Мне покою мысль не даёт, что я вас обманываю. Вы дружны со мною, а я потихоньку люблю. Лучше уж, чтобы вы знали о моём несчастье... Пусть уж по правде будет... Сегодня я особенно не хочу... чтобы между нами стояла ложь...

Подгорный. Лидия Валерьяновна... милая, вы ошиблись... Право, ошиблись... этого не может быть...

Лидия Валерьяновна. Я тоже долго думала, что ошиблась. Да нет...

Подгорный. Вы мне близки. Очень близки. Вы мне всех дороже здесь. Это я правду говорю. И если мне больно от ваших слов, то потому только, что я вижу, что вас это мучает. Это вам никакого не даст счастья...

Лидия Валерьяновна. Обо мне не думайте. Мне хорошо около вас. И если моё чувство вас не оскорбляет — больше ничего и не надо. Я так и буду жить около вас.

Подгорный. Бедная вы. Около меня не согреетесь. Сам-то я никудышный. Сам, того и гляди, улечу на край света...

Лидия Валерьяновна. Когда ещё улетите... Вот смотрю я на вас, и так хочется мне сесть к вам совсем близко... Можно?.. Только на одну минуточку...

Подгорный. Ну конечно.

Лидия Валерьяновна (*берёт скамеечку и садится около его ног*). Вот так... Знаете, за что я вас люблю? За то и люблю, что вы такой слабенький, беспомощный, как былинка. Жалко-жалко вас станет иной раз... до слёз... Взяла бы душу свою, жизнь свою и всё бы отдала вам... только бы вам-то было хоть капельку жить лучше... Тоску вашу люблю... Всё-то вы ищете, ищете... Такой хрупкий, одинокий... А кругом вас шум, крик, толкотня... ваше одиночество люблю... Вашу башню... Вашу милую маленькую комнату наверху... И хорошо... и плакать хочется. (*Закрывает лицо руками.*)

Подгорный. Милая, хорошая вы моя... Полно же, полно... Ну, не падайте духом... Всё обойдётся, как-нибудь...

Лидия Валерьяновна. Нет-нет... Ничего. Это так. Всё хорошо будет. Вы знаете и не гоните. Чего же мне больше надо... Можно на прощание поцеловать вас?

Подгорный. Можно... (*Молча берёт её за плечи и целует.*)

В это время в дверях прихожей показывается Иван Трофимович. Он видит целующихся, поражённый отступает, хочет идти назад, но потом быстро проходит в правую дверь. Лидия Валерьяновна резко, с испугом отстраняется от Подгорного.

Подгорный. Что вы?

Лидия Валерьяновна. Иван Трофимович!

Подгорный (*оборачиваясь*). Да нет же — вам показалось.

Лидия Валерьяновна (*волнуясь*). Нет-нет... он прошёл в столовую.

Подгорный. Ну, значит, нас не заметили: иначе он не прошёл бы так...

Лидия Валерьяновна. Всё равно. Если бы и видел. Я и ему скажу: пусть и он знает. И если хочет — гонит из дому...

Подгорный. Да успокойтесь вы. Правда же, никого не было.

Лидия Валерьяновна. Который час?

Подгорный (*смотрит на часы*). Семь.

Лидия Валерьяновна. Скоро начнут собираться.

Подгорный. Не люблю я этих предварительных разговоров. Пойду наверх. Надеюсь, «Бранд» уже выспался. Когда всё будет готово, позовите меня.

Лидия Валерьяновна. Хорошо.

Подгорный (*подаёт ей руку*). Так — друзья?

Лидия Валерьяновна. Друзья.

Подгорный уходит. Лидия Валерьяновна после недолгой паузы садится за рояль и играет.

Пружанская (*врывается из передней*). Ах, душечка, да разве можно в вашем возрасте играть такие меланхолические вещи! Ха, ха, ха... Я прямо из заседания... В женском клубе чайная комиссия... Все говорят: «Куда вы, куда вы, Любовь Романовна». Я говорю: «Не могу, не могу. Народ прежде всего». А у меня сегодня заседание, посвящённое народу. Но что за прелестная вещьца Андрея Евгеньевича в последнем номере! Не правда ли? Говорят, он стал обскурантом и написал что-то консервативное. Я не верю, не верю, не верю! И пока не вложу пальцы свои, не поверю... Что же вы не играете, душечка, — сыграйте что-нибудь бравурное... Свободную русскую песню... Ну сыграйте же. А члены редакционной комиссии уже собираются?

Лидия Валерьяновна. Кажется, нет ещё.

Пружанская (*садится*). Ох, и устала я. Ни минуты покоя. Вчера, на заседании Лиги равноправия женщин, председательница говорит: «Любовь Романовна, на вас лица нет. Вы должны пожалеть себя». Я говорю: «Общественное дело прежде всего. Если мы будем жалеть себя — женщина никогда не добьётся своих прав». Не правда ли? Сегодня утром, в отделении Общества свободного воспитания, я чуть не подралась

с секретарём Грациановым. Я говорю: «Вы смотрите на женщину чувственными глазами». А он говорит: «Как же прикажете смотреть иначе?» Вы представьте себе... Я говорю: «Душа, ум, сердце выше тела». Ну, он говорит, это зависит от того, какое тело... Ха, ха, ха. Возмутительно! Я говорю: «Это гадость». Никакой, говорит, гадости нет. Представьте, говорит, себе, что вы голодны и перед вами поджаренная курочка. И вдруг, вместо того, чтобы поскорей её есть, вы начнёте задаваться философским вопросом, есть ли душа у курицы... Ха, ха, ха... Понимаете... Я говорю: «Вы пошляк. Вы прямо пошляк». Не правда ли? Насилу нас разняли.

Входит Татьяна Павловна с кипой бумаг.

Ах, душечка, Татьяна Павловна, я вас жажду видеть, прямо жажду... Вы мне всё должны объяснить. Говорят, Андрей Евгеньевич написал нечто консервативное. Я не верю, я положительно не верю. Я должна вложить пальцы... Это ужас, это прямо ужас!

Татьяна Павловна (*подаёт ей статью*). Прочтите.

Пружанская. Сегодня решается моя судьба. В этой статье моя судьба. На заседании Общества нуждающихся официантов председательница говорит мне: «Вы нервны, вы сегодня страшно нервны». Я говорю: «Сегодня решается моя судьба». Но почему, душечка, вы не были на заседании?

Татьяна Павловна. Некогда.

Пружанская. Вам всегда некогда — потому, что вы ушли в кабинетную работу. Так нельзя. Кабинетная работа в нашу эпоху — преступление. Нужна живая общественная работа. Нам нужны люди, люди и люди.

Татьяна Павловна. Общественное дело требует подготовки, и я готовлюсь — таков мой принцип.

Пружанская. Татьяна Павловна, вы не правы. Заклинаю вас, но вы не правы. Я вчера говорю предсе-

дательнице женского клуба: «Татьяна Павловна могла бы стать вождём женского движения, но она ушла в кабинетную работу». Это ужасно. И то и другое должно идти параллельно. Это аксиома.

Татьяна Павловна. Я с вами принципиально не согласна.

Входят доктор и Лазарев. Здравуются.

Пружанская *(со статьёй в руках)*. Я вас жажду, доктор. У меня что-то с сердцем.

Доктор. Влюблены.

Пружанская. Ха, ха, ха. Вечные шутки. Нет, что-то серьёзное — такое впечатление, как будто кто-то хватает рукой и держит, держит, держит...

Доктор. Вы вдова?

Пружанская. Ну да, что за вопрос.

Доктор. Вам необходимо выйти замуж.

Пружанская *(ударяет его статьёй по руке)*. Противный. Я на вас рассержусь.

Доктор. Сердитесь на науку.

Лазарев *(указывает на статью)*. Это что у вас, Любовь Романовна?

Пружанская. Статья Андрея Евгеньевича. Я ещё не верю — и хочу вложить пальцы... Это необходимо... Довольно, довольно, довольно. Я уединяюсь. Я хочу углубиться. *(Усаживается и читает статью.)*

Доктор. Как вы относитесь к статье Андрея Евгеньевича?

Татьяна Павловна. Возмущена.

Лазарев. А чем её объясняете?

Татьяна Павловна. Блажь.

Доктор. Всю эту историю раздули. Романтики, романтики, неисправимые романтики. Из простого недоразумения сделали событие.

Лазарев. Я не совсем понимаю, что мы будем обсуждать сегодня. Ведь убеждения Андрея Евгеньевича, несомненно, — дело его совести.

Татьяна Павловна (*отчеканивает*). Будет обсуждаться, как урегулировать редактирование журнала во избежание сюрпризов в будущем.

Лазарев. А...

Доктор. Уже все в сборе.

Татьяна Павловна. Сергей Прокопенко и Сниткин готовятся к заседанию. Иван Трофимович в столовой... Ершова нет.

Из столовой выходят Вассо и Сергей Прокопенко.

Вассо. Давай мне тысяча рублей — всё равно ничего купит не могу, кроме жареной колбасы и галянский сыр.

Сергей Прокопенко. Чушь, Таракан, городишь.

Вассо. Серьёзно говорю. Выхожу из дому — и то хочу купить, и другое хочу купить, а принесу жареной колбасы и галянский сыр. (*Здороваются.*)

Доктор (*к Сергею Прокопенко*). А где Николай Борисович?

Сергей Прокопенко. Дрыхнет где-то, по обыкновению.

Вассо. Опять наверх пробрался.

Сергей Прокопенко. Кстати, Таракан, пойдёшь разбуди его, скоро начнётся.

Доктор. Это единственный здоровый человек из всей компании.

Вассо. Можно, можно... (*Уходит.*)

Лазарев. Ну как, Сергей Борисович?

Сергей Прокопенко. То есть?

Лазарев. Каково ваше настроение?

Сергей Прокопенко (*мрачно*). Вы — типичный буржуй, потому и спрашиваете о моём настроении: я живу не настроениями, а идеями и чувствами.

Лазарев. Ну, каковы ваши чувства?

Сергей Прокопенко. А об этом и спрашивать нечего, и так ясно.

Доктор. Григорий Петрович принадлежит к числу индивидуумов вопрошающих. Потому и говорит всегда тоном любопытствующего.

Сергей Прокопенко. Григорий Петрович ничего по-настоящему не любит, потому и говорит таким тоном о величайшем несчастье.

Лазарев. Откровенно говоря, несчастья не вижу.

Сергей Прокопенко (*устанавливается на него*). Не видите?

Лазарев. Да, не вижу. Во всяком случае, этот факт свидетельствует о чём-то новом в духе Андрея Евгеньевича...

Доктор. И любопытном.

Лазарев. Да, и любопытном. Он вполне искренен, а это уж одно дорогого стоит.

Сергей Прокопенко. Мило.

Лазарев. Дело вкуса.

Сергей Прокопенко. Да-с, дело вкуса. Я в этом факте вижу только признак страшного падения.

Татьяна Павловна. Правильно.

Сергей Прокопенко (*волнуясь*). В лице Андрея Евгеньевича мы теряем не только громадную интеллигентную силу — мы теряем... (*Встаёт в позу*). Это подрывает веру в наше великое дело, в будущность интеллигенции, в будущность нашего народа. И если мы оправимся от этого удара, если творческие силы...

Входят Вассо и Николай Прокопенко.

Николай Прокопенко (*кричит*). Верно, верно. Согласен. Довольно! Мы вас поняли.

Доктор. Сергей Борисович произнёс целую надгробную речь.

Николай Прокопенко. И не разбудил покойника. Изумительно!

Сергей Прокопенко. Ты ещё тут со своими дурацкими остротами.

Николай Прокопенко. О-го-го-го... Береги свои силы на вечер. За кем же дело, господа?

Татьяна Павловна. Ершов нет.

Входит Ершов.

Доктор. А вот и он.

Ершов. Разве уже все в сборе? (*Здоровается.*)

Татьяна Павловна. Ждали вас.

Ершов (*оглядывает комнату*). Но нет Ивана Трофимовича — его присутствие очень важно.

Сергей Прокопенко. Иван Трофимович в столовой, у него голова болит.

Доктор. В таком случае можно начинать.

Сергей Прокопенко. Разумеется.

Татьяна Павловна. Вассо, сходите за Андреем Евгеньевичем.

Вассо. Можно, можно... (*Уходит.*)

П р у ж а н с к а я (*вскакивает с места*). Это невероятно. Это нечто феерическое! Господа, мы должны спасти Андрея Евгеньевича! Это наш долг. Я всегда говорила: «Андрей Евгеньевич — гордость России». Мне в женском клубе говорят: «Любовь Романовна, вы увлекаетесь». Нет, говорю, я не увлекаюсь. Увидите, увидите: Андрей Евгеньевич спасёт Россию... Мы обязаны встать перед ним на колени и просить, просить, просить, чтобы он не губил своего таланта. Эта защита невежества, суеверий, домовых... Это ужасно... нет, я почти не могу... У меня даже сердце дрожит, я вся дрожу... Андрей Евгеньевич должен быть спасён! Должен.

Доктор. Успокойтесь, милая Любовь Романовна, и берегите ваше сердце. Андрей Евгеньевич не погибает, и спасать его не придётся.

П р у ж а н с к а я. Доктор, вы страшно легкомысленны. Вы не знаете жизни. Я вам всегда это говорила. Вы живёте в мире инфузории. Все великие писатели переживали кризис. У Андрея Евгеньевича кризис. Мы должны, мы обязаны ему помочь. Это наш долг, да, да,

да! И не возражайте! Я даже не хочу слушать. (*Входит Вассо.*)

Вассо. Идёт.

Общее движение. На своих местах остаются Вассо и Лидия Валерьяновна. Сергей Прокопенко ходит по комнате.

Татьяна Павловна. Садитесь к столу, господа.

Доктор. Я предпочитаю роль объективного наблюдателя и потому сажусь в отдалении.

Лазарев. У меня заразились.

Ершов. Лидия Валерьяновна, вы тоже наблюдаете?

Лидия Валерьяновна. Да. Наблюдаю.

Татьяна Павловна. Любовь Романовна, к столу.

Пружанская. Непременно, непременно, я хочу быть ближе к Андрею Евгеньевичу.

Ершов. Но где же Иван Трофимович, сходите за ним кто-нибудь.

Лидия Валерьяновна. Я схожу.

Вассо. Сидите, Лидия Валерьяновна, я всех созову, как татарский мулла... (*Уходит.*)

Сергей Прокопенко (*вслед ему*). И Сниткина позовите, он в угловой, пишет.

Николай Прокопенко (*к Сергею*). Будет тебе выхаживать, как маятник.

Сергей Прокопенко. Не твоё дело.

Доктор. Как врач присоединяюсь к Николаю Борисовичу: вы взвинчиваете нервы.

Пружанская. Сядьте, сядьте. Умоляю вас. Я и так как на булавочках.

Сергей Прокопенко садится. Входит Подгорный. Всё разом стихает.

Подгорный. Здравствуйте. (*Здоровается со всеми и усаживается поодаль от стола.*)

Татьяна Павловна. Я полагаю, господа, надо выбрать председателя.

Николай Прокопенко. Это зачем?

Ершов. Для порядка не мешало бы.

Подгорный. К чему, господа, председатель? Ведь дело очень простое — цель нашего собрания...

Входят Вассо и Сниткин.

Вассо. Иван Трофимович просил не дожидаться — он после придёт.

Небольшая пауза.

Подгорный. Цель нашего собрания — устранить возможность таких историй, как вчера в типографии. Вопрос этот, по-моему, чрезвычайно прост. Виной всему я: мои взгляды расходятся со взглядами всех остальных. Отсюда выход ясен: руководителем журнала я больше быть не могу. Пусть редактирует кто-нибудь другой, ну хоть Сергей Борисович или, наконец, несколько лиц. А я буду участвовать на правах простого сотрудника. Что понравится — печатайте. Что не понравится — не печатайте. Вот и всё.

Пружанская. Андрей Евгеньевич, я умоляю вас...

Сергей Прокопенко (*перевивает*). Позвольте... Умолять вы будете после...

Ершов. Господа, я призываю всех ораторов к хладнокровию.

Сергей Прокопенко. Андрей Евгеньевич действительно решил вопрос просто. Очень просто... Слишком даже просто... Но я не понимаю, я решительно отказываюсь понимать... каким образом можно до такой степени ослепнуть...

Доктор. Без резкостей.

Пружанская. Вы не имеете права...

Сергей Прокопенко. Оставьте меня в покое — всякий говорит, как умеет.

Подгорный. Пожалуйста, пожалуйста. Я очень хочу вас выслушать.

Сергей Прокопенко. Неужели вы не понимаете, что ваше предложение всё переворачивает вверх дном. Ведь мы живые люди. У нас живое дело. И вы душа этого дела. Вы объединяли нас. Вы были наш

вождь, наше знамя. Мы верили в вас. Шли за вами... И теперь узнаём, что с вами что-то случилось, и вы стали «не согласны со всеми». Это трагедия. Это смертельный удар всем нашим лучшим мечтам. А вы говорите — «просто». И предлагаете, точно речь о каких-то неодушевлённых предметах: это сюда переставить, а это сюда переставить — и дело в шляпе... Мило. Очень мило.

Сниткин. Андрей Евгеньевич, собственно говоря, ставит вопрос слишком, так сказать, на деловую почву.

Ершов. А мне кажется деловая постановка совершенно правильной. И лирика Сергея Борисовича совсем ни к чему здесь.

Подгорный. Да. Я, действительно, ставлю вопрос деловым образом. И делаю это вполне сознательно. Я исхожу из фактов. Факты таковы: журналом может руководить только тот, кто солидарен с большинством. Я не солидарен, значит, руководителем быть не могу. Помогать вам буду, а руководителя выберете другого. Согласитесь же, господа, что выход этот неизбежен. К чему докапываться, почему мы разошлись? Что со мной случилось, кто я такой... Вы говорите, это трагедия. Допустим, даже трагедия. Но она неизбежна. Она уже есть. И нам надо найти из неё выход. Этот выход один. И я на него указываю. По-моему, всё это так ясно.

Лазарев. Вы не совсем правы, Андрей Евгеньевич, кроме чисто практической стороны дела существует сторона внутренняя. Вполне естественная потребность понять влияние целиком. Вы разошлись с товарищами, но они даже толком не знают: почему, отчего, как это случилось? Вы человек очень замкнутый, переворот назревал в вас постепенно, но для нас всех он является полнейшей неожиданностью. Если же брать сторону практическую, всё-таки вы не правы. Выход не один. Допустим, товарищи вас убедить не

могут. Но, может быть, вы, рассказав им всё толком, сможете убедить их. На что бы лучше. Вы тогда по-прежнему останетесь руководителем журнала, который примет несколько иное направление.

П р у ж а н с к а я. Вот именно. Я тоже говорю. Мы будем умолять Андрея Евгеньевича. Мы должны...

С е р г е й П р о к о п е н к о. Да не мешайтесь вы, наконец, с вашими мольбами.

Е р ш о в. Недоумеваю: разве «новое направление» Андрея Евгеньевича недостаточно ясно изложено в его статье? Какие ещё требуются пояснения? Я опять-таки говорю, что всецело присоединяюсь к Андрею Евгеньевичу, к его чисто деловой постановке вопроса. Так и ему легче, и нам легче.

С е р г е й П р о к о п е н к о. Нет-с, извините, пожалуйста: я считаю необходимым договориться до конца. Уж если на то пошло, то мы должны ещё выяснить, может ли Андрей Евгеньевич и сотрудничать, да.

Д о к т о р. Не горячитесь, не горячитесь, Сергей Борисович.

Н и к о л а й П р о к о п е н к о. Зарвался, Серёжка.

С е р г е й П р о к о п е н к о. Я говорю совершенно хладнокровно. Мы вправе потребовать от Андрея Евгеньевича объяснений, и он обязан их дать.

П о д г о р н ы й. Каких объяснений?

С е р г е й П р о к о п е н к о (вспылив). Объяснений вашей измены, если вам угодно.

Общий шум.

Л а з а р е в. Сергей Борисович!

П р у ж а н с к а я. Это ужасно. Я не солидарна. Я совершенно не солидарна. Андрей Евгеньевич, умоляю вас...

П о д г о р н ы й. Позвольте, позвольте, господа, на резкости я не обижаюсь. Но здесь не резкость, а неправда. Я никому и ничего не изменял. А действительно много пережил и теперь всё вижу по-новому. Идти же против своей совести не могу.

Лазарев. По-моему, Андрей Евгеньевич, самое лучшее — объясниться.

Подгорный. Хорошо. Если вы этого непременно хотите. Только, по-моему, это всё ясно.

Сергей Прокопенко. Совершенно не ясно.

Подгорный. Аркадий Тимофеевич совершенно прав, что моё теперешнее направление, или, вернее сказать, настроение, вполне высказано в моей статье — и, право, я не знаю, что ещё могу добавить для пояснений. «Новое», что случилось со мной, — это то, что я окончательно сознал, что ни во что по-настоящему не верю, сознал также и то, что в этом источник всех моих и, вообще, человеческих несчастий. Не веру в Священное Писание я имею в виду. А, понимаете ли, вообще всякую веру.

Сергей Прокопенко. И в домовых.

Подгорный. Ну, зачем в домовых. Вот было время, когда русская интеллигенция верила в свой прогресс, в социализм, в своих вождей, наконец, — по-настоящему: «верую», не потому, что кто-то что-то «доказал», а потому, что так подсказывало сердце. Было особое чувство веры. Такая вера — во что бы она ни была, хотя бы в безбожье, — всё равно всегда религиозна. И потому подымает человеческую душу. Вера (опять говорю, во что бы ни веровать, в данном случае безразлично) соединяет человека не теоретически, а психологически с вечностью. И потому открывает человеческой душе неиссякаемый источник сил. Вот эту-то веру и потеряли мы. Потеряли постепенно, незаметно для самих себя. Все идеалы и то, что вы называете «направлением», и слова разные — всё осталось как будто бы по-прежнему. А души нет. По инерции несколько поколений говорили ещё горячие слова, но они становились с каждым годом всё холодней, всё холодней, — и наконец в наши дни не хватает сил даже на обман. И откуда взяться силам, когда мы, вытравив в себе веру, оторвали себя от источника, питавшего наши души. И, в конце концов, слова наши до того бессильны, что даже

обмануть никого не могут. И писатели, и общественные деятели, и художники — словом, все — открыто должны признаться, что живут они неизвестно зачем, неизвестно как, без всякой твёрдо намеченной цели, без всякой веры в будущее. И что научить они ничему не могут, потому что сами ничего не знают. Все изолгались, развратились, загнили, оскотинились. А те, кто унаследовал от прежних поколений «честность», вот ту честность русской интеллигенции, о которой так часто говорит Сергей Борисович, — те поняли: опустились, состарились, не начиная жить, — ибо замкнулись в заколдованный круг неверия. Это я и раньше чувствовал, но смутно и отрывочно. И потому мог ещё думать, что журнал, издательство и прочее и прочее и прочее соединит нас с народом. А теперь вижу и чувствую всем своим сердцем, что это самообман. (*Движение.*) Да-да, господа, самообман. Народу нам сказать нечего. Решительно нечего нам идти к нему на выручку. Слушайте, господа, я знаю одного старика, который верит, что мы доживаем «остальные времена», потому что нищие стали ходить с красными и жёлтыми батогами. Вы смеяться будете, если я вам скажу, что я преклоняюсь перед этим стариком.

Сергей Прокопенко. И перед верой в домовых.

Лазарев. Не мешайте вы!

Подгорный. Да, и перед верой в домовых, если хотите. Перед самой способностью веры... Когда я это сознал, я сознал и то, что через журнал к народу не подойдёшь, что мы, попросту говоря, сами себя обманываем и его обмануть хотим. Как подойти, я ещё не знаю, но только не так, только не так... Но подойти неизбежно — это я знаю, кажется, навверное. Подойти, чтобы исцелиться от нашего растрения, чтобы через народ, через веру его снова соединиться с той вечностью, от которой мы себя оторвали. Я прямо говорю, не притворяясь. Я не уверен и в том, что это возможно, но я знаю, что это единственный выход, и если у нас не хватит сил

слиться с верой народной, — на русской интеллигенции надо поставить крест. Всё разлетится вдребезги. Последняя «честность» исчезнет через два-три поколения, и люди начнут попросту душить друг друга, превратятся в духовных зверей, отдадутся в рабство сладострастия, лжи и всякой мерзости.

Сергей Прокопенко. Лучше разврат, коли так, чем домовых бояться да пушковые свечи ставить.

Подгорный. Вот тут-то мы с вами и расходимся. Я уверен, что русский народ способен создать своё новое просвещение, свою новую культуру, не ту, которую мы хотим привить ему. Нас научили культуре, выросшей совсем из других духовных начал. Я хочу, чтобы из основ народной веры выросла своя культура, своя новая, неведомая нам цивилизация. Не из веры в домовых, а из способности в них веровать, из того чувства веры, в которой вся суть души народной. В этой работе потребуются и интеллигентные силы, но такие, которые отказались быть в роли учителей и, прежде чем учить чему-то народ, научились бы у него главному умению — верить. Вот всё, кажется, господа.

Пружанская. Андрей Евгеньевич, я побеждена, я вижу новые горизонты; Андрей Евгеньевич, я всегда говорила — вы гениальный оратор, я не преувеличиваю, на заседании...

Николай Прокопенко. Я лишаю вас слова.

Лазарев. Во всяком случае, это очень интересно.

Сергей Прокопенко. Теперь на речь Андрея Евгеньевича я должен тоже сказать речь. И не оставлю камня на камне от этой постоянной болтовни.

Доктор. Задерживающие центры, Сергей Борисович, задерживающие центры!..

Лазарев. Позвольте, Андрей Евгеньевич, один вопрос, для пояснения: каков же ваш план для осуществления всего того, что вы здесь говорили?..

Подгорный. Никакого. Я ничего не знаю. Никуда не зову. Я скорей спрашиваю так же: верно ли? Что

старое не верно, это я знаю. Но нет ли ошибки в новом?

Татьяна Павловна. Сплошной вздор.

Входит Иван Трофимович.

Иван Трофимович (*неожиданно громко*). Господа, я извиняюсь... Перерву... Я должен сказать публично... Вот что... Андрей Евгеньевич играет роль... Одним словом... (*Кричит, совершенно не владея собой.*) Вы любовник моей жены!.. Вы подговорили её взять у меня на ваш журнал деньги!.. Да, деньги!.. Вы живёте на содержании вашей любовницы!..

Лидия Валерьяновна (*срываясь с места, её удерживают*). Молчи... Молчи...

Общий шум.

Пружанская. Доктор, доктор...

Иван Трофимович. Я всё знаю... Я теперь всё знаю... Мне писали письма... Я не верил... но сегодня я видел собственными глазами, как вы целовались с моей женой. Вы — негодяй!

Подгорный. Вы с ума сошли... Какая грязь... Если бы это касалось меня... Я смолчал бы... Но Лидия Валерьяновна...

Лидия Валерьяновна (*твёрдо*). Андрей Евгеньевич, если мы друзья, я вас прошу предоставить всё мне...

Иван Трофимович. Всё это не то, не то, не то...

КАРТИНА ВТОРАЯ

Комната второй картины третьего действия. Подгорный сидит за столом и быстро пишет. Длинная пауза. По лестнице медленно подымается дедушка Исидор. Подгорный запечатывает конверт.

Странник. Вот и я, родной. Рад, что ли, гостю-то?

Подгорный. Дедушка, я боялся, что ты не придёшь: я всё решил, дедушка, окончательно.

Странник. Ну, и слава Богу, и слава Богу. (*Хочет снять котомку.*)

Подгорный. Не снимай — мы здесь ночевать не будем. Я ухожу с тобой. Возьмёшь?

Странник. По святым местам ходить?

Подгорный. Не знаю... Только уйти... с тобой хочу быть...

Странник. Ну, и с Богом... Старый да малый...

Подгорный. Только я хочу сказать тебе... чтобы, понимаешь, без всякого обмана... Я не хочу тебя обманывать...

Странник. Да что ты, Господь с тобой...

Подгорный. Да, да, дедушка... Ты не думай, что я поверил во что-нибудь. Я ни в Бога, ни во что, по-настоящему, не верую... Иду с тобой потому, что больше некуда... Я хочу исцелиться, дедушка.

Странник. И исцелишься, родной. Кто ищет — находит. Нынешний год не срядишься — на будущий год срядишься. Главное — Голоса слушайся и не бойся... Хорошо будет.

Подгорный (*берёт странника за руку*). Ты знаешь простой народ... Не оттолкнёт он такого, как я?.. Не прогонит? Скажи прямо, дедушка, как думаешь?..

Странник. Ишь, сказал... Да мы что, турки, что ли?.. Или эти, как их ещё... китайцы... Чай, один у нас хозяин-то. Что мы за господу, чтобы толкаться...

Подгорный. Я ведь ни на что не годен... Исстрадался, обессилел... Дедушка, милый, я всё забыть хочу... И верить, верить, верить... Пусть я твой сын буду...

Странник. И то, сынок... Шибко недужишься — хороший плод дашь... Бог видит, родной, Он всё видит...

Из низу доносится шум.

Подгорный. Милый дедушка, так, может быть, и в самом деле новая жизнь начинается... (*В сильном волнении.*) Последний раз спрашиваю, возьмёшь?

Странник. Возьму, родной.
Подгорный. Ну, идём...

Уходят. Сцена некоторое время пуста. Шум внизу всё усиливается. Через некоторое время слышен голос доктора: «Андрей Евгеньевич, Андрей Евгеньевич...» Пауза. По лестнице входят доктор, Лазарев, Лидия Валерьяновна, за ними остальные — все, кроме Ивана Трофимовича. Сзади всех Вассо.

Доктор (*оглядываясь*). Нет, странно...

Лидия Валерьяновна. Он, может быть, на башне.

Доктор (*подходит к маленькой двери, стучит*). Андрей Евгеньевич, куда вы запропастились?.. Ужасно странно.

Пружанская. Андрей Евгеньевич! Всё объяснилось... Мы умоляем... Не мучайте нас...

Лазарев. Он, может быть, пошёл не наверх...

Доктор. Что за чудеса...

Ершов. Мне кажется, совершенно ясно, что, раз его здесь нет, — он пошёл не наверх.

Пружанская. Но, Боже мой... вдруг какое-нибудь несчастье... Я дрожу... я прямо дрожу...

Татьяна Павловна. Вздор... Идёмте вниз... он скоро вернётся.

Лазарев. Господа, вот письмо. (*Берёт и читает на конверте.*) «Товарищам».

Все смолкают. Лазарев медленно распечатывает письмо и читает.

«Сейчас я решил навсегда уйти от вас и от той жизни, которой жил до сих пор. Не ищите меня. Это бесполезно. Я не вернусь никогда. Куда иду — я и сам определённо не знаю. Оставшихся прошу меня простить за то невольное огорчение, которое им причиняю. Но я не могу иначе. Вы все хорошие люди. Честные, желающие принести какую-то пользу. Но дело ваше и жизнь ваша никчёмна. И когда вы сознаете это, как сознал я, —

вы неизбежно, как я же, броситесь прочь от старой жизни: долго обманывать себя нельзя. Ещё раз говорю: простите и постарайтесь понять меня. Я же со своей стороны не сержусь ни на кого из вас. В том числе и на Ивана Трофимовича. Я уверен, что, когда он всё узнает, — ему будет стыдно. Прощайте. Андрей Подгорный».

Несколько секунд все стоят молча. Лидия Валерьяновна, прислонившись к столу, начинает плакать, сначала тихо, потом всё громче, всё безнадежней.

Лазарев. Лидия Валерьяновна, тут ещё письмо, отдельное, вам.

Она не слышит.

Пружанская (*наклоняется к Лидии Валерьяновне*). Я вас так понимаю, так понимаю...

Все молча поворачиваются, чтобы идти вниз.

Вассо (*отходит от окна*). Малядец, малядец!

НАСЛЕДСТВО ТВЕРДЫНИНЫХ

Драма в четырёх действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Прокопий Романович Твердынин, старик, 62 года.

Андрей Иванович Твердынин, 26 лет.

Сима, 19 лет. } Племянники его.

Оля, 18 лет. }

Клавдия Антоновна Твердынина, мать их, 50 лет.

Пётр Петрович Березин, молодой человек, жених Оли.

Софья Григорьевна Перова, красивая девушка из бедной чиновничьей семьи, невеста Андрея Ивановича, 22 года.

Анна Васильевна Андронова, экономка Твердыниных, бывшая няня Оли и Симы, полная стареющая женщина лет 40, недурна собой.

Николай Николаевич Разумовский, адвокат.

Паранька, кухарка, краснощёкая глупая девка.

Сойкин, портной. }

Яшка-рыжий. } Жильцы дома Твердыниных.

Старуха. }

Дворник, жильцы, народ.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Большая, но очень низкая и мрачная комната в квартире Твердыниных. Три двери: прямо, справа и слева. В глубине сцены длинный обеденный стол. У задней стены буфет, тёмный, массивный. На переднем плане широкий старинный диван и два кресла. Слевой стороны письменный стол, заваленный бумагами. Комната служит и столовой, и гостиной, и кабинетом. Общий вид беспорядочный, неуютный. Роскошная мягкая мебель и простые табуретки. Бронзовая люстра, а на письменном столе кухонная лампа без абажура. На левой стене две громадные картины в золотых рамах, в углу лубочные листки с изображением ада, смертных грехов и т. д.

С и м а полулёжа на диване читает книгу. Маленькая дверь слева со скрипом отворяется, и робко просовывается голова С о й к и н а.

С о й к и н. Прокопий Романович дома-с?

С и м а. Дома, а что тебе?

С о й к и н. Деньги за квартиру принёс.

С и м а (*быстро встаёт*). Зачем же Прокопий Романович, это и я могу.

С о й к и н (*входит в комнату*). Не забрали бы Прокопий Романович. (*Держит в руках квартирную книжку и деньги.*)

С и м а. Вот вздор. Приложу штемпель «получено сполна», вот и всё. Мы теперь одинаковые хозяева.

С о й к и н (*нерешительно*). Я знаю-с... Да как бы не вышло чего... Покойный дедушка...

С и м а (*перебивает*). Теперь у нас всё по-новому. Мы все хозяева. (*Берёт деньги.*) Сколько? (*Считает.*)

С о й к и н. Десять рублей... а уж два-то рублика повремените-с, сделайте милость... (*Кланяется.*)

С и м а. Что за вздор! Конечно, можно. (*Идёт к столу, достаёт штемпель и невольно оглядывается на правую дверь.*) Значит, по первое мая десять рублей. (*Пишет.*) Два рубля пойдёт на май... Так?

С о й к и н. Так точно-с... на май. (*Вздыхает.*) Дорожает жизнь, дорожает... Что дальше будет — Богу одному известно. Было времечко-с, мясо по пятакчу брали — теперь приступа нет... И овощи, и рыба... Чем питаться рабочему человеку?.. Одному Господу Богу известно-с...

С и м а (*отдаёт книжку*). И так и написал: десять рублей получил, а два рубля отсрочил до пятнадцатого мая.

Входит Анна Васильевна и останавливается в дверях.
Сима не видит её.

С о й к и н. Покорно благодарим-с... (*Берёт книжку и кланяется.*) Дай вам Господи... А если Прокопий Романович... так вы уж...

С и м а. Перестань, пожалуйста! Я же сказал...

С о й к и н. Благодарим-с... покорно благодарим-с. (*Уходит.*)

А н н а В а с и л ь е в н а. Так-так! Новый хозяин объявился! (*Смеётся.*) Постой, задаст тебе Прокопий Романович на орехи.

С и м а. Плевать я на него хотел.

А н н а В а с и л ь е в н а. На словах-то куды востёр — на деле какой будешь?

С и м а. Ну, это вас не касается. (*Хочет идти.*)

А н н а В а с и л ь е в н а (*меняя тон*). Уходишь?

С и м а. Если Андрей спросит, скажите, что я ушёл по делу.

А н н а В а с и л ь е в н а. Ты погоди уходить-то. Деньги цапнул — сейчас и со двора вон. Раньше не делал так. Поласковее был.

С и м а. Всё вы вздор говорите. (*Хочет идти.*)

А н н а В а с и л ь е в н а (*подходит к нему*). Симочка... (*берёт его за руку*) глупый мальчик... Разве дома... нехорошо тебе?.. Чем ходить да искать-то...

Сима (*отдёргивает руку*). Всегда вы с глупостями. (*Идёт к двери.*)

Анна Васильевна. Я видела, как ты деньги у Сойкина брал, — попомни!

Сима (*из-за двери, смеётся*). Ваше счастье!

Анна Васильевна (*ему вслеп*). Посмотрим!.. Как бы не пришлось раскаиваться, Симочка...

Из правой двери входит Андрей Иванович.

Андрей Иванович. Где Сима?

Анна Васильевна. На бульвар побежал.

Андрей Иванович. Я сейчас его голос слышал.

Анна Васильевна. Был да убежал... Андрей Иванович, я должна вам сказать. Живу я у вас как родная. Оленьку и Симочку вынянчила... Смотреть надо за ним. Ни за что пропадёт. Жалко мне его. Потому он как сын мне. Клавдия Антоновна, сами знаете, женщина тихая, ей с ним не справиться.

Андрей Иванович (*рассеянно*). А что? Разве случилось что-нибудь?

Анна Васильевна. Бегает мальчишка без призора. Долго ли до греха?

Андрей Иванович. Ну он же не маленький... Куда он ушёл, Аннушка? Я же просил сегодня никого никуда не уходить.

Анна Васильевна. На руку он нечист — вот что...

Андрей Иванович (*удивлённо*). Что ты, Господь с тобой!

Анна Васильевна. Верно говорю. Сама видела.

Андрей Иванович. Будет тебе.

Анна Васильевна. Сама видела. Сойкин деньги за квартиру приносил. Он их в карман — да вот и побежал на бульвар

Андрей Иванович. Что ж тут такого? Он такой же хозяин, как и мы. Глупости всё это.

Анна Васильевна (*вспыхивая*). Всё у вас глупости! Распустите всех, потом спохватитесь, да поздно. Дедушка бы ваш прижал его.

Андрей Иванович. Ты не сердись, Аннушка. Мне и так не по себе.

Анна Васильевна. Разве опять что?

Андрей Иванович. Нет... А так... сердце не на месте. Дальше невозможно так жить. Ад какой-то, хуже, чем при дедушке. Трёх недель со смерти его не прошло — и ни одного дня без скандала.

Анна Васильевна. Обживётесь. Вот потолкуете сегодня, обсудите всё, и обойдётся.

Андрей Иванович. Не верю я... Дядюшка не уступит, он хуже деда. Следом говорить можно было, а с дядюшкой я не умею. Сима ушёл. Адвоката позвал я — тоже не едет... Боюсь я сегодняшнего дня, Аннушка... ведь это последняя надежда. Не удастся — значит, двадцать пять лет в таком аду жить.

Анна Васильевна. Робки вы очень, Андрей Иванович, всё ещё покойного дедушку боитесь. Думаете, что всё, как при нём: в семь часов спать ложиться, чай на заварку получать да чёрствый хлеб есть.

Андрей Иванович. Робок — это верно. Да главное — ссор не люблю. Всё по-хорошему хочу. Чтобы все довольны были. На какие угодно уступки пойду, лишь бы скандалов не было.

Анна Васильевна. А оно хуже так-то выходит.

Андрей Иванович. Как же быть... Вот и не знаешь... хочешь получше бы...

Звонок.

Верно, Николай Николаевич приехал.

Анна Васильевна идёт в прихожую отпирать дверь. Входит адвокат, Анна Васильевна проходит в боковую дверь.

Ну, слава Богу, что приехали... Господи, как же я рад! Вот хорошо-то... *(Здоровается.)* Садитесь, Николай Николаевич...

Адвокат. К вашим услугам, Андрей Иванович. Всегда рад помочь, чем могу, всегда рад. *(Садятся.)*

Андрей Иванович. Измучились мы с дядей, сил никаких нет... Я решил, Николай Николаевич, сегодня поговорить с ним окончательно. Маленький такой семейный совет сделаем... А вас попрошу побыть с нами... как лицо официальное. В случае чего чтобы нам всё по форме, по-хорошему сделать.

Адвокат. Дай Бог, Андрей Иванович, конечно... Но, говоря откровенно, обнадёживать вас не могу. Прокопия Романовича знаю давно. Дела ваши тоже хорошо известны мне. И, взвешивая, так сказать, все обстоятельства дела, со стороны юридической и общечеловеческой, полагаю, что благоприятного исхода ожидать трудно. Скажу более: невозможно, Андрей Иванович.

Андрей Иванович (*упавшим голосом*). Я и сам думаю так, Николай Николаевич, — да что же делать-то?.. научите ради Христа?..

Адвокат. Юридически дело решить — как я уж и докладывал вам сейчас же по прочтении завещания — невозможно. В завещании говорится ясно: ни делить имущество, ни продавать, ни брать капиталов из банка в течение двадцати пяти лет наследники не имеют права. Вы можете пользоваться исключительно только процентами и доходами, причём делить их должны с общего согласия. С юридической стороны, таким образом, вопрос ясен и безнадёжен. Остаётся сторона нравственная. Да. При известном согласии можно было бы урегулировать материальные взаимоотношения и, не нарушая законных норм, так сказать, создать допустимые обходы закона. Но, повторяю, при наличии полного согласия наследников. Между тем, я имею основания предполагать, что Прокопию Романовичу прекрасно известно положение вещей и что он не захочет расставаться с ролью хозяина. Дай Бог, конечно, дай Бог, я рад, всегда рад помочь. Но когда нет почвы для обхода — перед буквой закона я бессилён.

Андрей Иванович. Я и сам так думаю, Николай Николаевич... Да надо же делать что-нибудь? Ведь

жизнь наша хуже нищенства... Каждый хочет урвать себе. Дядя ловит квартирантов и отбирает у них деньги. Всех подозревает, оскорбляет, мучает. Я из сил выбился, Николай Николаевич, — погубит нас это проклятое наследство!

Адвокат. Да, дедушка ваш и при жизни был крут. А после смерти оказался ещё хуже.

Андрей Иванович. При дедушке гораздо было лучше. Мы жили впроголодь, но определённой жизнью. А теперь и не знаю, как жить, как себя держать?.. Мы все измучились... Я так не люблю ссор, брани, неудовольствий... На всё готов... Мне много не надо... Лишь бы хорошо было всем.

Адвокат. Прокопия Романовича я понимаю: это скряга и самодур в одно и то же время. Но кто является для меня, так сказать, психологической загадкой — это покойный дедушка ваш в момент духовного завещания.

Андрей Иванович. А я дедушку понимаю... Ведь вы же знаете, как он в молодости жил. Первый дом его был — губернаторов принимал. Праздники на всю губернию устраивал. А потом к старости ходил по базару — рухлядь собирал. Дядюшка, ему сейчас шестьдесят два года, на глазах его превратился в такого же скрягу. Мой отец умер молодым — и неизвестно ещё, что бы из него вышло. Дед часто говорил: через двадцать пять лет все вы будете такими, как я... Вот потому он и написал своё завещанье. Боялся, что в молодости мы размотаем его миллионы. Ну, а когда состаримся, так же, как и он, начнём собирать по улице гвозди... *(Прислушивается. Слышен кашель. Вздрагивает, меняется в лице.)* Дядя идёт... Пойдёмте пока ко мне... Если он увидит нас вместе... тогда всё пропало...

Быстро уводит его в левую дверь. Входит Прокопий Романович. Одет не то в халат, не то в поношенное пальто, в руках толстые конторские книги, у пояса связка ключей. Сзади его идёт Анна Васильевна.

Прокопий Романович (*идёт к столу*). Книги все будут храниться здесь... а ключи будут у меня... (*Кашляет.*)

Анна Васильевна. Так-то лучше, Прокопий Романович, так-то лучше...

Прокопий Романович. Никому верить нельзя... все воры... каждый шалопай тащит...

Анна Васильевна. Как тащут-то. Ох как тащут!

Прокопий Романович (*запирает книги*). А ты, Васильевна, поглядывай за ними... Я тебя поблагодарю... довольна будешь... Нечего тебе им служить-то...

Анна Васильевна. Я и так, Прокопий Романович, как родная о вас болею. Добро не моё — а жалко, коли на ветер бросают-то.

Прокопий Романович. Разве заметила что, Васильевна... (*кашляет*) говори... есть, что ли?..

Анна Васильевна. Да уж и не знаю, как сказать-то, Прокопий Романович. Боюсь, поверите ли, не рассердитесь ли?..

Прокопий Романович (*весь настораживаясь*). Говори, Васильевна, говори...

Анна Васильевна (*шёпотом*). Симка за квартиру с Сойкина деньги получил.

Прокопий Романович. С Сойкина? Сколько?

Анна Васильевна. Десять рублей... Я Андрею Романовичу сказывала: что, говорит, за важность — мы все хозяева.

Прокопий Романович (*сжимая ключи*). Я хозяин!.. Я старший!..

Анна Васильевна. Уж что говорить, Прокопий Романович, кто ж и хозяин-то, как не вы... Вы Симку-то к рукам бы прибрали, нечего ему тут по бульварам шляться. Пусть бы дома сидел. Дело бы ему какое ни на есть нашли.

Прокопий Романович (*пристально смотрит на неё*). Чтобы дома, хочешь?

Анна Васильевна. Избалуется... Я как мать,
Прокопий Романович

Прокопий Романович *(наклоняется к ней)*. По-твоему сделаю... Заставлю... *(кашляет)*. Слышь ты... А мы с тобой заодно будем. Ты за ними смотри. Глаз не спускай... Понимаешь, Васильевна?.. Согласна, что ли?..

Анна Васильевна. Да я всегда, во всём, кажется, Прокопий Романович...

Прокопий Романович *(перебивает строго)*. Не разводи! Слышь ты: прямо говори!.. Не перед кем ломаться-то. Симку заставлю... поняла?.. А ты мне служить будешь... Согласна, что ли?

Анна Васильевна. Коли так, согласна.

Прокопий Романович *(грозно)*. Смотри, Васильевна, двум господам не служат... Коль замечу что... хоть старик, а своими руками тебя... своими руками... *(Кашляет.)*

Анна Васильевна. Что вы, что вы, Прокопий Романович, нечто я не понимаю?.. Вот и сейчас могу вам сказать... *(тихо)* Адвоката позвали.

Прокопий Романович *(настораживаясь)*. Адвоката, говоришь?

Анна Васильевна. Да. Андрей Иванович на совет его позвал.

Прокопий Романович. Кольку, что ли?

Анна Васильевна. Его.

Прокопий Романович *(усмехаясь)*. Меня страшать, значит.

Анна Васильевна. Андрей Иванович говорит: «Мы заодно будем с вами действовать». А Колька: «Я всегда рад».

Прокопий Романович. Где слышала-то?

Анна Васильевна. Пришёл уж. Наверх увели. Сказывать не велели.

Прокопий Романович *(смеётся)*. Так-с... так-с... Ты мне Сойкина приготовь, чтобы всегда под руками

был, — может, понадобится... (*Садится в кресло. Пауза.*) А теперь походи к Андрюшке и скажи: Прокопий, мол, Романович готов поговорить с семьёй.

Анна Васильевна. Слушаюсь, Прокопий Романович.

Анна Васильевна уходит в правую дверь. Левая дверь отворяется, показывается Клавдия Антоновна. Увидав Прокопия Романовича, хочет уйти.

Прокопий Романович. Ты куда, Антоновна?.. Иди, иди, не прячься...

Клавдия Антоновна нерешительно входит в комнату.

Клавдия Антоновна. Я Олиньку ищу... верно, наверху...

Прокопий Романович. Садись, Антоновна, садись... И её сейчас позовут. Семейный совет будет. Меня судить хотят. (*Клавдия Антоновна молчит и не садится.*) Ты что же стоишь? Садись.

Клавдия Антоновна. Я лучше пойду, Прокопий Романович.

Прокопий Романович. Как же без тебя совет-то? Ты мать — без матери какой же совет?.. Вот и они идут все.

Клавдия Антоновна покорно садится. Входят Андрей Иванович, Оля и Пётр Петрович. Оля садится около матери, Андрей Иванович и Пётр Петрович — ближе к Прокопию Романовичу.

Андрей Иванович (*очень смущённо*). Минутку подождать придётся, Прокопий Романович... Я просил... Николая Николаевича на всякий случай... Может, справка понадобится... законы... и всё...

Прокопий Романович (*показывает на Петра Петровича пальцем*). Этот тоже совещаться?

Андрей Иванович. Ведь ты же знаешь, дядя... Пётр Петрович свой человек...

Пётр Петрович. Коли вам угодно — я могу уйти.

Прокопий Романович. Сиди-сиди! Все сидите... Денег много, на всех хватит... *(Кашляет.)*

Андрей Иванович. Дядя!

Прокопий Романович. Или не так что сказал?.. Прошу прощения... По старой памяти — за хозяина себя почитаю...

Звонок.

Андрей Иванович. Ну, слава Богу... Николай Николаевич, верно...

Анна Васильевна проходит в прихожую, отворяет дверь. Входит адвокат. Анна Васильевна садится в глубине сцены.

Адвокат *(здоровается)*. Простите, господа: я, кажется, задержал вас... Столько дел...

Прокопий Романович. Дорога дальняя, как не опоздать...

Пауза. Прокопий Романович перебирает ключи. Слышно, как они позвякивают.

Андрей Иванович. Так начнёмте... Садитесь, Николай Николаевич, вот сюда... Придвигайтесь...

Адвокат садится. Молчание.

Может быть, Прокопий Романович, вы скажете...

Прокопий Романович. Мне говорить нечего...

Андрей Иванович. Только вы не сердитесь, Прокопий Романович... Поговорим по-родственному... Не будем, господа, ссориться сегодня. Я всё скажу. Как у меня на душе, так и скажу...

Покойный дедушка, сами знаете, какой человек был. И голодать заставлял нас, и унижаться... Тяжело жилось... Но после его смерти нам всем, кажется, ещё хуже стало... Вы не сердитесь, Прокопий Романович, я вас не сужу... Я хочу, чтобы всем хорошо было... Но вы, Прокопий Романович, всех подозреваете и сами мучаетесь. У всех у нас злоба растёт с каждым днём. И чем это кончится, Богу одному известно. Денег много. Всем бы хватило. Жить да радоваться... А мы что делаем?

Измучились все... И вы, Прокопий Романович, измучились... Точно цепью нас всех сковали... хуже тюрьмы... *(Смолкает сильно взволнованный.)*

Прокопий Романович. Правду, правду говоришь. Да кто ж тебя держит-то?

Андрей Иванович. Ах, Прокопий Романович, ведь всякому жить хочется! Куда же я без денег похужусь? К чему приучен?.. Да кроме того, не один ведь я: маменька, Оля, Сима... Вы не сердитесь, Прокопий Романович, мы же по-родственному говорим... Как бы всем лучше... Вот я и хочу сказать: зачем нам от своего богатства муку такую терпеть? Ведь если так дальше пойдёт — добром не кончится... Вот уж который день тревожно у меня на душе, дядюшка, — это не к добру...

Прокопий Романович. Ну это ты оставь... Что же, по-твоему, — делиться? Делись, пожалуй, я согласен. Почему не делиться...

Андрей Иванович. Вы не смейтесь, Прокопий Романович. Делиться нельзя — я знаю.

Прокопий Романович. А коли знаешь, о чём же разговаривать тогда?

Андрей Иванович. Я всё придумал, Прокопий Романович, вы только выслушайте. Не сердитесь только. Так придумал, что всем хорошо будет...

Прокопий Романович. Так-с... так-с...

Андрей Иванович. Лишь бы согласие было. А устроить всё и не делясь можно. И выйдет всё равно, как бы разделились.

Прокопий Романович. Мудрёное что-то... *(смотрит на адвоката)* Не всякий адвокат выдумает.

Андрей Иванович. Вот послушайте, Прокопий Романович... Мы всё по-родственному сделаем... И всем хорошо будет... *(торопится)* Вот послушайте... После дедушки деньгами осталось около шести миллионов. Пользоваться мы можем только процентами — это составит около двухсот тысяч в год... Так?..

Прокопий Романович. Ну, так, положим...

Андрей Иванович. Землю продавать мы тоже не можем, но можем сдать её в долгосрочную аренду. Положим, тысяч пятьдесят в год... так?.. Остаются дома...

Прокопий Романович. Что там высчитывать, ты о том, как делить, говори.

Андрей Иванович *(торопится ещё больше)*. Сейчас-сейчас, я всё скажу... Чтобы никому не было обидно... и чтобы всё по-хорошему было... никто из нас не должен касаться этих денег... То есть сам не должен касаться...

Прокопий Романович. Так-с...

Андрей Иванович. Вы постойте, Прокопий Романович, вы выслушайте... Мы возьмём управляющего... Выдадим ему доверенность... Он будет вести все дела, получать деньги, всё... Раз в год доходы будут делиться между всеми наследниками... то есть между нами... поровну... Или иначе как-нибудь... Об этом мы спорить не станем... Мы сговоримся... по-родственному... Только бы главное-то решить... И все тогда будут довольны... Вот пусть Николай Николаевич скажет... правду я говорю? Можно так?

Адвокат. С юридической точки зрения, ваш проект является, безусловно, закономерным. Не касаясь отношений семейных, обсуждение которых не входит, так сказать, в круг моей компетенции, я полагаю, что при настоящих условиях выход может быть только один: раздел не капиталов, а доходов. Важно установить, так сказать, общий принцип предполагаемого раздела. Что касается сдачи земли в долгосрочную аренду, то и это представляется мне самым целесообразным, реализуя сразу доход с земельной собственности и тем облегчая возможность раздела доходов. Так представляется мне этот вопрос с юридической точки зрения. Детали этого раздела являются уже делом не юридическим, а семейным. Будет ли выдана доверенность кому-либо из числа наследников или особо выбранному лицу — с точки зре-

ния юридической — значения не имеет. Но позволю себе сказать, уже не как юрист, а как человек, знающий давно вашу семью, следующее: назначение лица постороннего, незаинтересованного, беспристрастного, однако же, заслуживающего доверия со стороны всех заинтересованных лиц, скорее бы могло придать вашей жизни, так сказать, мирное течение. Вот всё, что я могу сказать, господа, об обстоятельствах настоящего дела.

Пауза.

А н д р е й И в а н о в и ч. Видите, дядюшка, я же говорил вам.

П р о к о п и й Р о м а н о в и ч. Хорошо... Вот хорошо придумали...

А н д р е й И в а н о в и ч (*радостно*). Дядюшка! Только бы вы согласились на это. А уж я на всякие уступки пойду. Мне таких денег и не надо... Бог с ними!.. Только бы ссор да неприятностей не было... Согласитесь, дядюшка, — а об том, как делить, мы и спорить не станем.

П р о к о п и й Р о м а н о в и ч. Говорю тебе, хорошо придумали, на что лучше...

А н д р е й И в а н о в и ч. Вот слава Богу... Маменька, Оля... благодарите дядюшку... а я-то боялся, вдруг рассердитесь, вдруг всё снова по-старому... Дядюшка, поцелуемся по-родственному, и всё будет хорошо!

П р о к о п и й Р о м а н о в и ч (*отстраняет его*). Подожди целоваться-то. Ты вот что скажи. Кто управляющий будет?

А н д р е й И в а н о в и ч. Мы найдём, Прокопий Романович.

П р о к о п и й Р о м а н о в и ч. Так-с, найдёте... Ладно... Доверенность ему, деньги ему, жалованье ему — всё ему. Он, значит, хозяин будет, да?

А н д р е й И в а н о в и ч (*упавшим голосом*). Что вы, дядюшка.

П р о к о п и й Р о м а н о в и ч. Нет, стой. Я штуки эти понимаю. Ты меня за сумасшедшего считаешь, чтобы

я поверил тебе, что ты хочешь всё в чужие руки отдать...

Адвокат. Но позвольте, Прокопий Романович, я полагаю, что этот проект предусматривает выбор лица, так сказать, с обоюдного согласия — это во-первых; а во-вторых, с точки зрения юридической...

Прокопий Романович. Да вы в уме? Али вовсе без ума? Чужому человеку отдать всё... Тащи куда знаешь... Мало теперь воруют. Да ещё доверенность выдать: воруйте, мол, тащите на здоровье...

Андрей Иванович. Дядюшка... Прокопий Романович... побойтесь вы Бога...

Прокопий Романович (*кричит*). Бога ты остав!.. Я знаю — что знаю... Вам бы только в руки меня забрать... Адвокатские штуки... Законы и всё прочее... Ловко придумали... Наймут подставное лицо... Отберут всё... Разграбят... Знаю я вас...

Адвокат. Но позвольте, в принципе, так сказать...

Прокопий Романович (*не слушает*). Знаю я вас!.. При дележе от своей части отказываться хочешь. Добрый!.. Как не отказаться, когда всё к рукам приберёшь...

Андрей Иванович (*вскакивает*). Дядюшка... я не могу!.. я не могу!..

Все встают.

Прокопий Романович (*к Клавдии Антоновне*). Ты что молчишь? Дети твои грабить хотят, а ты молчишь!..

Клавдия Антоновна. Я, братец, ничего... Я дел ваших не знаю...

Прокопий Романович. Врёшь!.. Прикидываетесь все... Одна шайка!..

Оля. Маменька, уйдём!..

Пётр Петрович. Да, это, кажется, самое лучшее.

Прокопий Романович. Злишься — не удалось. Небось, за границу — в Париж... Вот вам и Париж!.. (*Смеётся.*)

Оля (*решительно*). Пойдёмте.

Входит Сима.

Прокопий Романович. А, вот он! Нет, постояте уходить... Васильевна, живо!.. Хотите, чтобы я верил, когда вы все воры, грабители...

Клавдия Антоновна. О, Господи!.. О, Господи!..

Сима. Опять скандал?

Прокопий Романович (*показывает на него пальцем*). Вот он, вор!

Сима (*машет рукой*). Поехало! (*Хочет идти.*)

Прокопий Романович. Нет, стой!

Входят Анна Васильевна и Сойкин.

(*К Сойкину.*) Ты деньги приносил?

Сойкин (*теряясь*). Так точно, Прокопий Романович...

Прокопий Романович. Кому отдал?

Сойкин. Вот им-с... (*Указывает на Симу.*)

Прокопий Романович. Слыхал!.. Где деньги?

Сима (*смущённо*). Мне надо было... Я истратил... Я, кажется, такой же...

Прокопий Романович. Молчать! Воры! Все воры... Ни копейки не дам!.. Издохните — не дам... Пока жив — не выпущу... Слышите!.. (*Кашляет.*)

Адвокат. Я, по-видимому, здесь лишний, господа...

Пётр Петрович. Кажется, мы все лишние.

Оля. Идёмте. (*Берёт за руку Клавдию Ивановну.*)

Все идут к правой двери. Адвокат прощается и проходит в среднюю дверь. Сойкин кланяется и скрывается в левую дверь.

Прокопий Романович. Сорвалось верно... Ловко придумали... Да не бывать по-вашему!.. Все воры!.. все мошенники... (*Остается один. Говорит тихо.*) Разбежались... (*Смеётся.*) А ключи будут у меня...

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Комната первого действия. Справа, где раньше стоял диван, поставлен белый кухонный стол, на нём бумаги, счета, книги. Диван отодвинут в сторону. Сима сидит и пишет. Прокопий Романович в очках считает на счётах.

Прокопий Романович. Подсчитал?

Сима. Да... Три тысячи шестьсот девяносто два рубля.

Прокопий Романович. Теперь на другой стороне пиши: за апрель, с прежде поступившими, восемь тысяч четыреста сорок. Написал?.. Черту поставь... Так. Внизу пиши: не уплочено по дому номер восемь за апрель. Ситкин — два рубля восемьдесят две копейки. Андронов-столяр — один рубль шестьдесят копеек. Акимов — три рубля. Демьянов — шесть рублей. Аркадьев — восемьдесят копеек. Кашин — один рубль двадцать копеек. Борисов — два рубля. Ершов — четыре рубля. Написал?..

Сима. Ершов... четыре... рубля... Написал.

Прокопий Романович. Черту поставь. Итого... *(Считает. Пауза.)* один рубль сорок две копейки. *(Снимает очки. Достает из кармана бумагу.)* Перепиши. В Управу. Какой-то дополнительный налог, видишь ты, выдумали. Отродясь не платили — и впредь не собираюсь. Пристав говорит: «Опишем». *(Смеётся.)* Пусть описывает. Ну а теперь я пойду. *(Кричит.)* Васильевна?.. *(Прежним тоном Симе.)* Как перепишешь, позови.

Входит Анна Васильевна.

Анна Васильевна. Что вы, Прокопий Романович?

Прокопий Романович. Ты молодца-то покарауль, не сбежал бы. *(Смеётся.)*

Анна Васильевна *(смеётся)*. Что его караулить, Прокопий Романович, он мальчик... не маленький!

Сима *(пишет. Вполголоса)*. Кажется, уж можно бы в покое оставить.

Прокопий Романович. Покарауль... покарауль... *(Идёт к двери. Наклоняется к Анне Васильевне.)* Не забудь, Васильевна, о чём говорил-то...

Прокопий Романович уходит.

Анна Васильевна. Замучили бедненького... мальчика...

Сима не обращает внимания, пишет. Пауза.

Анна Васильевна. Симочка!..

Сима. Что вам нужно?

Анна Васильевна. Брось писать-то... поговорить мне с тобой надо.

Сима. Не о чем нам с вами разговаривать.

Анна Васильевна. За что ты, Симочка, всегда на меня сердишься?

Сима. Не сержусь... А вообще, оставьте меня в покое.

Анна Васильевна. Дело у меня к тебе есть... важное... Может быть, вся жизнь твоя от него зависит...

Сима *(перестает писать)*. Это ещё что за новости?

Анна Васильевна *(серьёзно)*. Я не шучу, Симочка.

Сима *(снова начинает писать)*. Будет уж вам.

Анна Васильевна. Ах ты, глупенький... мальчик. Ну, вот что: о том, что маменька с Оленькой у Прокопия Романовича в Красный Яр просят, — слышал?

Сима *(перестает писать)*. Слышал.

Анна Васильевна. А за чем остановка, знаешь?

Сима. Знаю.

Анна Васильевна. Вот и не знаешь.

Сима. Нет, знаю. Дядя требует, чтобы маменька выдала ему полную доверенность. Но она никогда

такой глупости не сделает, и дядюшка останется с носом. Вот вам!

Анна Васильевна. Да ты постой торопиться. Эдакий порох. *(Смеётся.)* Не дотронулись — а уж обжёл...

Сима. Потому что я не понимаю, зачем вы об этом говорите!

Анна Васильевна. Затем и говорю, что надо. Ты вот ещё что скажи. Очень тебе надоело с утра до ночи с бумагами да со счетами разными возиться?

Сима. Ну, надоело.

Анна Васильевна. И гораздо было бы лучше, если бы ты был вольной птицей?

Сима *(улыбается)*. Конечно, лучше! Мне и стены-то эти опостытели!.. Комнаты низкие, тёмные, и запах какой-то особенный, не то пылью, не то плесенью... как взойдёшь с улицы — в висках стучит.

Анна Васильевна. Вот видишь. Я же знаю. Ты молоденький — всего тебе хочется. А тут сиди, как крыса в подполье... Пиши да считай... На волю пора тебе, Симочка... Только, конечно, и воли одной мало. Без денег — на что она, и свобода? То ли дело с деньгами. Куда хочешь пошёл, что хочешь купил — и всюду почёт и уважение...

Сима. Да что об этом говорить, Анна Васильевна, не видать нам такой жизни — все будем по дядюшкиной дудке плясать. *(Хочет приняться за работу.)*

Анна Васильевна *(тише)*. Захочешь — всё будет.

Сима. Андрей тоже надеется — а я не верю.

Анна Васильевна. Уж я правду тебе говорю!

Сима. Разве дядюшку уговоришь?

Анна Васильевна. Сам упрашивать будет.

Сима. Ну, это вы что-то — тово!..

Анна Васильевна. А я, может, по его приказанию и говорю-то с тобой.

Сима *(поражённый)*. По приказанию дядюшки?

Анна Васильевна. Слушай, Симочка, ты не маленький, усы растут... Пора бы тебе в жизнь вникать. Маменька с Оленькой в Красный Яр уедут — это уж верно. Здесь им никак нельзя. На всё пойдут, только бы уехать. Маменька тебя да Андрюшу боится: а то давно бы подписала. Если ты ещё маменьке скажешь, она и вовсе согласится. Тебе удерживать её не резон — пусть себе с Богом едут.

Сима. Да вы в уме? Чтобы я советовал маменьке всё отдать Прокопию?.. Я нищим не желаю быть... Что за вздор вы говорите!

Анна Васильевна. О тебе речь впереди... Главное — маменьку да Олю отправить... А потом, Симочка... коли ты захочешь... с Прокопием Романовичем... помириться... он тебе и волю даст, и денег сколько захочешь. Ты сам знаешь, Андрюша — человек неспособный, слабый... коли маменьки с Олей не будет, а вы с Прокопием Романовичем возьмётесь... Андрюша на всё пойдёт и от всего отступится. Ты, главное, с Прокопием Романовичем заодно будешь... а он тебе и деньги, и всё даст...

Сима (*встаёт*). Я... с Прокопием Романовичем... мне деньги...

Анна Васильевна (*торопится, не даёт ему говорить*). Да, да, Симочка, и деньги, и всё... сколько хочешь... И я с тобой заодно... Мы втроём, Симочка... Мальчик мой... Я знаю, не любишь ты меня... ушла моя молодость... Но ты хоть немножко люби... и я во всём служить буду... На что хочешь пойду... Не гони меня только совсем.

Сима. Какой вздор!.. какая гадость!.. Грязь... подлость...

Анна Васильевна. Симочка...

Сима. Оставьте вы меня...

Анна Васильевна. Что с тобой... милый...

Сима. Молчите... слышите!..

Анна Васильевна. Ты пойми...

Сима (*кричит*). Да замолчите же вы!.. Или я... Нет, я не могу... Какая грязь, какая грязь!..

Бежит к двери и сталкивается с Андреем Ивановичем.

Андрей Иванович (*берёт его за оба локтя*). Симочка, что с тобой?

Сима. Ничего... пусти меня...

Андрей Иванович. Не пущу, не пущу. О чём вы тут? Васильевна, что это он?

Анна Васильевна. О дядюшке всё... Вот он и расстроился. Молод больно. Ох, молод — не привык...

Анна Васильевна уходит.

Андрей Иванович (*обнимает Симу за плечи и ведёт по комнате*). Ты не расстраивайся, Симочка: вот, Бог даст, дядюшка отпустит маменьку в Красный Яр — а мы с тобой... как-нибудь... по-хорошему с дядюшкой... Надо, чтобы всем хорошо было...

Сима. Не верю я... не верю я, Андрюша!.. Погибаем мы, Андрюша... Убежать бы!.. Да куда?.. Тяжело... Скверно... Грязь такая!.. Эх, если бы ты только знал, Андрюша...

Андрей Иванович. Потерпи, Симочка... Как же быть-то?.. Я бы рад, сам знаешь. Всё бы уступил. Только бы по-хорошему, без ссор... Ты не расстраивайся очень... Господи! Да ты, никак, плачешь?.. Господи, да что это такое!..

Сима. Вздор... ничего... (*Прислушивается*). Наши из церкви пришли... Я сяду писать. А то маменька заметит — опять расстроится. (*Идёт к столу*.)

Андрей Иванович. Ну, ну, иди...

Входят Клавдия Антоновна и Оля, целуются с Андреем Ивановичем.

Как от вас церковью пахнет... ладаном... Славно...

Оля. Маменька опять всё время плакала. Ты скажи ей, Андрюша, грешно так.

Андрей Иванович. Ах, маменька, разве можно! Разве хорошо так себя расстраивать.

Клавдия Антоновна. Я уж и сама не знаю, Андрюша... измучилась... ничего не пойму... Хоть бы в Красный Яр уехать, всё спокойнее... Вот и сейчас опять — Бог знает что на дворе делается, насилиу вырвалась с Олинькой...

Андрей Иванович. Что такое?

Клавдия Антоновна. Разве не знаешь?

Андрей Иванович. Ничего не знаю.

Оля. Я тоже хотела сказать тебе, Андрюша, ты бы заступился за них.

Андрей Иванович. Да что такое, что случилось?

Сима *(не переставая писать)*. Дядюшка изволил распорядиться, чтобы все должники с квартир убралась.

Клавдия Антоновна. Идём мы с Олинкой, а на дворе народ. Сойкин тут, Яшка-рыжий, Ершов, в темноте не разглядела всех. Бранятся, плачут, шум на всю улицу подняли. Увидали нас, к нам бросились, кричат все разом, не разберёшь... Я насилу выбралась. Уж Олинька с ними разговаривала.

Оля. Ты бы позвал их, Андрюша. Они говорят, что Прокопий Романович всем, кто за квартиру аккуратно не платит, велел завтра утром выселяться. Куда же они пойдут, Андрюша? Не на улицу же. Ты бы переговорил с дядюшкой. Нельзя так.

Андрей Иванович *(возмущённо)*. Разумеется, нельзя. Я сейчас же скажу им. *(Идёт к левой двери, отворяет и кричит.)* Параня, ты здесь?

Паранька *(из-за двери)*. Чего?

Андрей Иванович. Там на дворе жильцы стоят — позови кого-нибудь из них.

Паранька. Сейчас...

Андрей Иванович *(возбуждённо ходит по комнате)*. А я решительно ничего не знаю... Разве так можно... Люди все бедные, куда им идти. Дядюшка права не имеет один распорядиться.

Клавдия Антоновна. Ты бы позвал его, поговорил бы... Как бы не забранил потом...

Сима *(из-за стола)*. Какой вздор! Разве Андрей не хозяин?

Клавдия Антоновна. Всё бы лучше. Вместе бы.

Андрей Иванович *(успокаиваясь)*. Я, маменька, ничего, можно бы и позвать — хуже бы то не было...

К л а в д и я А н т о н о в н а. Как знаешь, Андрюшенька. Входят Сойкин, старуха, Яшка-рыжий. Двое жильцов, старики, остаются в дверях. За дверью видно ещё несколько человек.

А н д р е й И в а н о в и ч. Вот, господа... говорят, там у вас случилось что-то...

Ж и л ь ц ы (все разом). Заступитесь, Андрей Иванович!

— На улицу гонит...

— Разве так можно...

— Куда нам деваться?..

— Бога не боится он!..

Я ш к а (говорит громче всех). В судна него подадим. Тоже найдём управу!

С т а р у х а (плачет). Последний рубль отдала... где взять-то... конец наш теперь...

А н д р е й И в а н о в и ч. Вы, господа, успокойтесь. Я сделаю. Я скажу ему... Всё обойдётся. По-хорошему.

Я ш к а. Права не имеет. Зови его к нам!

С о й к и н. Брось, слышь, что говорят.

С т а р у х а (плачет). Прогонит на улицу... куда идти...

А н д р е й И в а н о в и ч. Никто вас не прогонит. Я же сказал. Живите, как раньше. Я поговорю с дядюшкой.

С о й к и н (кланяется). Покорно вас благодарим, Андрей Иванович... Да как бы дядюшка ваш...

А н д р е й И в а н о в и ч. Говорю, сделаю... Господа, будьте покойны.

Я ш к а. Пусть силой гонит. Сами не пойдём. Так и скажи ему.

А н д р е й И в а н о в и ч. Не надо так говорить. Всё по-хорошему будет. А теперь ступайте.

Входит Прокопий Романович, Андрей Иванович не видит его.

Как сказал — так и сделаю...

Жильцы притихли и не двигаются.

Что вам ещё?

Пауза.

Прокопий Романович (*подходит*). Это кто такие? (*Грозно.*) Сказано — не пускать. Кто вас пустил?.. И духу чтоб вашего не было!

Яшка (*робея*). К Андрею Ивановичу мы... Так что не по закону...

Прокопий Романович (*топает ногами*). Рассуждать!.. Да я тебя!.. У ты, злая рота!..

Андрей Иванович. Я, дядюшка, сказать вам хотел... Может, вы позволили бы им остаться. Отсрочили бы. Народ всё бедный, дядюшка... Куда им деваться...

Прокопий Романович. Не суйся! Тут им не богадельня. Пьянствовать есть деньги. А за квартиру — бедность, видишь ты!.. (*К жильцам.*) Завтра же вон из моего дома!

Андрей Иванович (*повышая голос*). А мы этого не хотим. Вот маменька, Сима, Оля, я — не хотим людей гнать... Пусть живут!..

Прокопий Романович. Вот что! Ты, может, и деньги получил да в карман спрятал... Сейчас говори... (*К жильцам.*) Платили ему?

Андрей Иванович (*в отчаянии*). Дядюшка, опять вы!

В левую дверь протискиваются Пётр Петрович и Софья Григорьевна. Не раздеваясь, останавливаются и смотрят на происходящее.

Прокопий Романович. Пока жив — я хозяин. Сказано им вон убираться — и выгоню, и всё тряпье их выброшу.

Старуха (*плачет*).

Сойкин. Помилуйте, Прокопий Романович.

Яшка (*трясёт кулаком*). Раскаешься... помани моё слово!..

Прокопий Романович (*кричит*). Грозить! Вон!.. Паранька — дворника!..

Сима *(за столом, очень громко)*. Уж это подлость. *(Отчеканивает каждое слово.)* Такой бумаги я переписывать не стану.

Прокопий Романович *(оборачивается)*. Ты чего?

Сима. Маменька никогда на это не согласится, и я переписывать не намерен.

Прокопий Романович. Очумел, что ли?

Сима *(зло)*. Знаю я вас: хотите потихоньку маменьке подсунуть.

Прокопий Романович. Симка!

Сима *(вскакивает)*. Не будет же по-вашему!.. Вот вам! Вот вам!.. *(Рвёт бумагу, быстро поворачивается к двери.)*

Прокопий Романович *(хватает его за руку)*. Не уйдёшь!.. Постой!.. В тюрьму его... в тюрьму...

Сима *(хочет вырвать руку)*. Пустите.

Прокопий Романович. Не пушу!.. В тюрьму... В тюрьму... В Сибирь... Грабёж...

Сима *(выдёргивает руку)*. Руки коротки. Не боюсь я вас. Что раскричались? *(Хочет идти.)*

Прокопий Романович. Молчать!

Сима *(трясаясь от гнева)*. Не замолчу. Всем скажу... Подкупить меня хотел... Аннушку подослал... Чтобы за его гроши продал и мать, и брата, и всех... Да не удалось... Гадина вы!.. Ненавижу я вас!..

Оля. Господи... я не могу... *(кричит)* Андрюша!.. Андрюша!..

Андрей Иванович. Дядюшка... Симочка... что такое...

Прокопий Романович. Так вот ты как... на улицу его... Голодом заморю... В ногах валяться будешь... Вон, разбойник... Вон!.. Задушу!.. *(Хочет броситься на Симу. Задыхается от кашля, останавливается.)*

Андрей Иванович. Успокойтесь, дядюшка!.. Ах ты, Господи... Ведь эдакое несчастье.

Сима уходит.

Прокопий Романович. Щенок... Вчера деньги украл... Завтра в собственном доме ножом зарежет. Чтобы глаз не показывал больше. Пусть под забором издыхает.

Жильцы уходят. Клавдия Антоновна плачет.

Андрей Иванович. Дядюшка, вы простите его... Он сам не понимает, что говорит... молод он, дядюшка...

Прокопий Романович. И вещи все его на улицу выбросить прикажу. *(Идёт к двери. К Клавдии Антоновне.)* Только и знаешь, хнычешь...

Андрей Иванович *(идёт за Прокопием Романовичем)*. Он у вас, дядюшка, прощение попросит. Всё обойдётся, дядюшка... Всё по-хорошему будет.

Прокопий Романович *(за дверью)*. И слышать не хочу... Всякий щенок...

Андрей Иванович уходит за дядюшкой. Клавдия Антоновна тихо плачет, Оля обнимает её — обе проходят в правую дверь.

Софья Григорьевна. Какой ужас! Что это у них опять вышло?..

Пётр Петрович. Ничего особенного. Старик, по-видимому, состряпал доверенность, а Сима изорвал её.

Софья Григорьевна. Какой ужас!.. Ух!.. Я в себя придти не могу, какие лица у них были...

Пётр Петрович. Да. Добром не кончится.

Софья Григорьевна. Бежать из этого проклятого дома без оглядки... Ух!.. *(Садится и снимает шляпу.)*

Пётр Петрович. А разве можете? По-моему, бежать поздно.

Софья Григорьевна. Как же быть? Когда же конец?..

Пётр Петрович. Ведь вы знаете, что я вам на это отвечаю.

Софья Григорьевна. Вы всё шутите — а тут слишком серьёзно.

Пётр Петрович. Вовсе не шучу, я тоже говорю совершенно серьёзно.

Софья Григорьевна. Не надо об этом, прошу вас.

Пётр Петрович (*пожимает плечами*). Как угодно. Только поверьте: рано ли, поздно ли, вы сами придёте к такому же выводу.

Софья Григорьевна (*тихо, точно сама с собой*). Какой ужас... Какой ужас.

Пётр Петрович. Подумайте, Софья Григорьевна, о Симочке, серьёзно подумайте. Почему не ускорить то, что делается само собой?..

Софья Григорьевна. Замолчите же. Я вам запретила об этом говорить.

Пётр Петрович. Не понимаю я вас.

Софья Григорьевна (*зло*). А если я скажу Оленьке... всем скажу... Вы знаете, как ваш проект называется?..

Пётр Петрович (*спокойно*). Знаю. А то, что сейчас происходит в этом доме, не преступление? И разве вы видите какой-нибудь другой выход?

Софья Григорьевна (*решительно*). Если вы не перестанете, я уйду...

Пётр Петрович. Я перестану. Только одно скажу ещё: вы потому так возмущаетесь, что в душе со мной согласны. И сами боитесь этого.

Софья Григорьевна (*встаёт*). Ну это уж, кажется, чересчур. Вы слишком себе позволяете.

Входит Андрей Иванович.

Андрей Иванович. Ах, это ты, Петя... Симочки нет тут? Куда он делся... Слышала, Соня, какое несчастье опять?

Пётр Петрович. Я ухожу, Андрюша, прощай.

Андрей Иванович. Куда ты? Подожди, голубчик. Там Оленька наверху ждёт. Так все расстроены. Ты бы пошёл к ним, сказал бы, что дядюшка согласился простить.

Пётр Петрович. Нет, не могу сейчас. Занят.

Прощается только с Андреем Ивановичем.

Андрей Иванович (*провожает его до двери*).
А то посидел бы... поговорили бы...

Пётр Петрович. Нет. До завтра. (*Уходит.*)

Андрей Иванович возвращается. Садится на диван рядом с Софьей Григорьевной.

Андрей Иванович (*ласково наклоняется к ней*). Расстроили они тебя, да? Ничего, Сонечка... Сейчас помирятся, и обойдётся всё... Я знаю, тяжело тебе, да как же быть-то? Я бы, кажется, всё отдал, чтобы хорошо всем было...

Софья Григорьевна (*точно очнувшись, быстро, страстно обнимает его*). Милый ты мой, возьми меня к себе!.. Вот так... Ближе, ещё ближе... Вот так...

Андрей Иванович. Вот и хорошо. Вот и пройдёт всё... Потерпи, Сонечка, всё будет хорошо... Я тебя очень люблю... Милая, хорошая ты моя. (*Хочет поцеловать.*)

Софья Григорьевна (*неожиданно резко*). Оставь!.. Оставь меня! Гадкая я, гадкая, скверная!.. (*Рыдает.*)

Андрей Иванович (*поражённый, растерянный*). Соня... Сонечка... Христос с тобой... родная ты моя...

Софья Григорьевна. Прости меня... увези отсюда... Спаси меня, Андрюша!.. (*Обнимает его.*)

Из правой двери входит Сима, на цыпочках, в пальто и с шляпой в руках.

Андрей Иванович. Родная, успокойся... Всё обойдётся, помирятся, и всё хорошо будет. (*Увидев Симочку.*) А, Симочка!.. Где ты был?

Сима (*шёпотом*). Тише... услышит... (*Хочет идти дальше.*)

Андрей Иванович. Постой, куда же ты?

Сима. А чорт его знает куда! Сам не знаю...

Андрей Иванович. Да постой ты... Ступай к дядюшке.

С и м а. Прощения просить? Ни за что!

А н д р е й И в а н о в и ч. Ах, Симочка, что ты, разве можно!.. Я уж сказал ему, что ты придёшь. Дядюшка простить обещал.

С и м а. Я его видеть не могу.

А н д р е й И в а н о в и ч. Симочка, я прошу тебя! Разве трудно тебе? Хоть ты-то не упрямясь...

С и м а. В чём я буду просить прощения — не понимаю?

О л я (за сценой). Андрюша!

А н д р е й И в а н о в и ч. Дядюшка, верно, зовёт. Ах ты, Господи. Хоть ты, Сонечка, уговори его. (Уходит.)

С и м а (садится на стул). История!..

С о ф ь я Г р и г о р ь е в н а. Как же мне вас уговаривать?

С и м а. Очень я вам нужен. Воображаю!

С о ф ь я Г р и г о р ь е в н а. Очень. И потому извольте снять ваше пальто и отправляйтесь на поклон к дядюшке.

С и м а (молча смотрит на неё).

С о ф ь я Г р и г о р ь е в н а (улыбается). Что вы так мрачно смотрите?

С и м а. Не люблю я, Софья Григорьевна, когда вы со мной таким тоном разговариваете.

С о ф ь я Г р и г о р ь е в н а. Как же я должна с вами разговаривать?

С и м а. Я, кажется, не маленький мальчик. Слава Богу.

С о ф ь я Г р и г о р ь е в н а. Полно, Симочка, дуться-то... Будьте умницей. Ведь вы дядюшку не переупрямите, ведь нет? Чего же хорошего? И так у Андрея столько неприятностей.

С и м а. Почему у Андрея? Кажется, у всех одинаково. Впрочем, до остальных вам дела нет.

С о ф ь я Г р и г о р ь е в н а. Эдакая злоюка! Нехороший вы, Симочка, сегодня. С вами по-дружески говоришь, а вы придираетесь.

Сима. Такой уж...

Софья Григорьевна. Пойдите сюда ко мне.

Сима покорно встаёт и пересаживается на диван.

Сима. Что дальше будет?

Софья Григорьевна. А дальше будет то, что вы станете хорошим, послушным, перестанете злиться, снимете пальто...

Сима. Да, вы правы, всё будет именно так... Разве это хорошо?

Софья Григорьевна. А разве плохо? *(Смеётся.)* Какой вы смешной, Симочка... Печальный такой, а самому смеяться хочется...

Сулицы слышен шум. В окна падает красноватый свет. Софья Григорьевна и Сима не замечают этого.

Сима. Я смешон — это верно. И вы всегда надо мной смеётесь. Вам весело, что вы со мной всё можете сделать.

Софья Григорьевна *(испуганно)*. Сима, перестаньте!

Сима. Не перестану! Вы отлично знаете...

Софья Григорьевна. Ради Бога, перестаньте!

Сима. Вы отлично знаете, что стоит вам сказать «Бросься вот в это окно»... *(показывает на окно рукой)* Что это!.. *(Вскакивает и бежит к окну.)* Пожар!..

Софья Григорьевна. Скорее... бегите наверх...

Сима *(бежит)*. Это жильцы... Яшка... Ай да молодцы!.. *(За сценой.)* Андрюша... пожар!..

Из кухни вбегает Паранька.

Паранька. Пожар!.. ах страсти... ай батюшки...

В правой двери сталкивается с Андреем Ивановичем, за ним Сима, Оля, Клавдия Антоновна.

Андрей Иванович. Где горит?

Анна Васильевна *(выходит из левой двери)*. Угловой дом... Жильцы подожгли. Это Яшка... его дело...

Паранька плачет.

Не реви! Беги за народом — вещи таскать!

Паранька уходит.

Сима. Я на пожар!

Клавдия Антоновна. Симочка!.. Симочка!.. не ходи... Богом тебя прошу — не ходи! *(Плачет.)*

Андрей Иванович. Не плачьте, маменька... Пусть сходит. Надо узнать. Иди, Симочка... *(Сима уходит.)* Где же дядюшка... Аннушка, за Прокопием Романовичем скорей...

Софья Григорьевна *(у окна)*. Всё сторит. Ветер прямо на нас.

Оля. Надо укладывать.

Левая и средняя двери открываются, входит народ. Шум усиливается.

Народ. Скорей надо...

— Верёвки принести — так ничего не сделаешь...

— Что помельче — на простыню в окна бросать...

— Подводы бы заготовить

— Народу мало. Зови народ!..

Быстро входят Прокопий Романович, за ним Анна Васильевна.

Прокопий Романович. Кто впустил?!

Жильцы. Вещи выносить, Прокопий Романович.

Прокопий Романович. Вон!.. Всех вон!.. Разбойники!..

Андрей Иванович. Дядюшка, ветер сюда. Дом загореться может. Необходимо вытаскивать.

Прокопий Романович. Что! Чтобы на улице всё растащили... разграбили?.. Вон отсюда!..

Народ гурьбой идёт к дверям.

Все двери на запор!

Клавдия Антоновна *(плачет)*. Что теперь будет... Господи, Господи!..

Андрей Иванович. Дядюшка, что вы делаете... Ведь всё сторит.

Прокопий Романович. Никому не дам... Не пущу... Двери на запор!.. Пусть горит... Пусть всё горит!..

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Комната первого действия. Сима сидит за своим столом, но не работает. Софья Григорьевна стоит у окна.

Сима. Не поймёшь вас, Софья Григорьевна: то сами на хутор гнали, то не пускаете.

Софья Григорьевна. И понимать нечего... *(Пауза. Напевает вполголоса.)*

Сима. Не поймёшь вас.

Софья Григорьевна *(отходит от окна)*. Впрочем, я вас не задерживаю. Если «хозяин» пустит — уезжайте.

Сима *(грустно)*. Смеётесь вы надо мной.

Софья Григорьевна *(тихо смеётся)*. Обидели!.. обидели!.. *(Другим тоном.)* Идёмте на диван.

Подходит к нему, берёт за руку и ведёт на диван. Сима покорно идёт за ней.

Сима. Вы со мной говорите, точно с маленьким мальчиком...

Софья Григорьевна. Ну, ну, ну!..

Сима. Или с младшим братцем... Хотя и в самом деле мы с вами скоро родственниками будем: вчера Андрюша говорил, что свадьба ваша в июне.

Софья Григорьевна *(быстро)*. Это неизвестно. Говорите о чём-нибудь другом.

Сима. О чём же мне говорить?

Софья Григорьевна. О чём хотите, только не о родстве.

Пауза.

Сима. Тогда я знаю, о чём говорить.

Пауза.

Софья Григорьевна. Ну?..

Сима *(молчит)*.

Софья Григорьевна *(смеётся)*. О хуторе?

Сима. Опять вы, Софья Григорьевна!

Софья Григорьевна. Не буду, не буду. Я же ничего. Я только хотела сказать, что на вашем месте плюнула бы на всё и на всех и закатилась бы в деревню. Свобода, воздух, лес... Птицы поют. Кругом тишина, радость. Нет всей этой городской мерзости. Проклятых грязных мыслей, злых чувств, злых людей. Раз в лесу — можно думать о чём-нибудь преступном, жестоком... Уезжайте, Симочка... Уезжайте, право! Прокопий Романович поломается немного — и пустит. После пожара он, кажется, стал добрее

Сима. Я и сам ехать могу. Я такой же хозяин.

Софья Григорьевна. Вот видите. За чем же дело?

Сима. Это вы на смех спрашиваете, да?

Софья Григорьевна *(улыбается)*. Опять злитесь?

Сима. Нет, не злюсь — если хотите, я скажу, за чем дело.

Софья Григорьевна. А не страшно?

Сима. Смейтесь, смейтесь!

Софья Григорьевна. Говорите. Ну!.. *(Пауза.)*
Ну!

Сима. Влюбился в вас — вот и всё...

Софья Григорьевна *(взволнованно, стараясь скрыть своё смущение)*. Фу! Какие глупости вы говорите.

Сима. Нет, не глупости... Совсем даже не глупости...

Софья Григорьевна *(строго)*. Сима, перестаньте.

Сима. Нет — не перестану!

Софья Григорьевна. Смешной вы.

Сима. Ну и пусть... а всё-таки люблю вас... Люблю, люблю!.. Потому и ехать не могу никуда и ни за что не уеду... Гадкий я... Стыдно мне... Андрюше в глаза не могу смотреть... И всё-таки буду вас любить...

Софья Григорьевна. Да перестаньте же, перестаньте, глупый вы мальчик.

Сима. Ни за что не перестану... Смейтесь сколько хотите... А я везде, как увижу вас, так и буду говорить вам: влюбился, влюбился, влюбился!..

Софья Григорьевна (*смеётся*). Ну как на вас сердиться...

Сима. На детей не сердятся, да?.. Так, по-вашему?

Софья Григорьевна (*смеётся*). Конечно, не сердятся.

Сима. Так я, по-вашему, ребёнок?

Софья Григорьевна. Хороший, смешной ребёнок.

Сима (*быстро берёт её за руку*). А если я вам скажу, что я мужчина... что я с ума схожу... что я готов...

Софья Григорьевна. Пустите, Сима... Перестаньте же...

Сима. Не пуццу... вот вам...

Силой обнимает её и целует в губы. В это время в дверях появляется Анна Васильевна.

Софья Григорьевна (*вырываясь*). Сумасшедший... могут войти...

Сима. Простите, простите меня... я не буду... я уеду...

Анна Васильевна (*входит в комнату*). Сима! К Прокопию Романовичу!

Сима (*быстро оборачивается*). Что?.. Что такое?..

Анна Васильевна (*отчеканивая каждое слово*). Пожалуйста наверх, к Прокопию Романовичу.

Софья Григорьевна. Сегодня на хутор, должно быть, опять не поедут... Я уйду сейчас... Если соберутся, пришлите за мной.

Сима *(робко)*. Вы придёте, Софья Григорьевна?
Софья Григорьевна. Сегодня едва ли...

Анна Васильевна пропускает вперёд Симу и уходит вместе с ним. Остаётся одна Софья Григорьевна. Она проходит несколько раз по комнате. Берёт шляпу. Задумывается. Кладёт шляпу на прежнее место, идёт к дивану и в изнеможении опускается на него. Длинная пауза. Входит Оля. Софья Григорьевна не видит её.

Оля *(радостно)*. Сонечка!

Софья Григорьевна *(вскрикивает и хватается за голову)*.

Оля. Что ты?.. Сонечка?..

Софья Григорьевна. Ох... Как ты меня испугала... *(Нервно смеётся.)* Точно застала на месте преступления... Ноги даже похолодели.

Оля. Какая же ты трусишка...

Софья Григорьевна. Ваш дом виноват: жутко у вас.

Оля. Скоро уедем, только бы дядя согласился. Приезжай к нам.

Софья Григорьевна. Андрюша не пустит.

Оля. Ты и Андрюшу бери, он больше всех измучился... Приедешь?..

Софья Григорьевна. Не знаю... Не думаю.

Оля. Почему?

Софья Григорьевна. Так... дело есть... А Пётр Петрович едет?

Оля *(грустно)*. Нет... Тоже, говорит, дело какое-то...

Софья Григорьевна *(резко смеётся)*. Значит, мы деловые люди... Оленька, тебе никогда не бывает страшно?

Оля. Бывает. Я тёмной комнаты боюсь.

Софья Григорьевна. Нет, не так... Без всякой причины. Среди бела дня. Как будто ужас какой-то надвигается со всех сторон. Случиться что-нибудь должно. Похолодеешь вся. Сама не своя. И чувству-

ешь, что нет у тебя ни силы, ни воли, делаешь всё машинально, точно не ты, а кто другой за тебя делает...

Оля (*задумчиво*). Нет, не бывает...

Софья Григорьевна (*тихо*). А сомной... последнее время... часто. Я всего боюсь тогда. И себя боюсь. Одна оставаться не могу. Вот и сейчас, Оленька... жутко мне...

Оля. Полно, Сонечка, чего же бояться?

Софья Григорьевна. Не знаю... Сама не знаю... Всё путается. Страшный этот дом, Оленька...

Оля. Да, мрачный какой-то, я сама его не люблю.

Софья Григорьевна. Знаешь, пойдём ко мне сейчас?

Оля. Петя хотел придти...

Софья Григорьевна (*вздрагивает и отворачивается*).

Оля. Что с тобой?

Софья Григорьевна. Ничего... Значит, так надо — оставайся. Я одна.

Оля. Нет, нет... Я к тому, Сонечка, что, может быть, лучше подождать его. А если хочешь, так сейчас пойдём.

Софья Григорьевна. Ты это правду говоришь?

Оля. Какая ты сегодня...

Софья Григорьевна. Какая?

Оля (*хочет сказать*).

Софья Григорьевна (*испуганно*). Не надо! Не надо! Пойдём отсюда... Ради Бога, скорей только... Душно здесь... (*Надевает шляпу, торопится*.) Скорей, Оленька... а то придёт кто-нибудь...

Оля (*тоже торопится*). Пойдём здесь, через кухню...

Уходят в левую дверь. Сцена некоторое время пуста. Из правой двери входят Андрей Иванович и Клавдия Антоновна. Оба осматриваются.

Клавдия Антоновна (*тихо*). Боюсь я, Андрюшенька, как бы братец-то снова не пришёл.

Андрей Иванович (*тоже тихо*). Симочку позвал наверх — не придёт.

Клавдия Антоновна. Сохрани Бог — опять чего не вышло бы...

Андрей Иванович. Я вам, маменька, только одно сказать хочу: что бы ни было, что бы там ни случилось, как бы дядюшка ни стращал вас — бумаги подписывать нельзя. Всё вытерпеть надо... Пусть и драться будет — а на этом стойте.

Клавдия Антоновна. Боюсь я, Андрюшенька, мочи моей нету — как увижу его, так и спутается всё в голове. Больше дедушки покойного боюсь. Отпусти ты меня, сделай милость. Как хотите тут. Ничего мне не надо.

Андрей Иванович. Я бы, маменька, всей душой рад. Господи Боже мой, разве я хоть один день задержал бы вас? Да как же я без дядюшки могу... Сами подумайте.

Клавдия Антоновна. Не сердись, Андрюшенька, я всё думаю, не подписать ли?

Андрей Иванович. Ну что вы говорите, маменька, поймите же: нельзя этого. Кабы я один был, а то ведь Оленька, Симочка — все жить хотят... Вы бумагу подпишете — я тогда против него один останусь. Он со мной всё сделать может. Вы же знаете, маменька, какой я... Я и говорить-то с ним не умею. Хуже нищих заставит жить. А подозревать да браниться всё равно не перестанет... Вы это, маменька, и из головы выкиньте и бумаг никаких не подписывайте... Христом Богом вас прошу!

Входит Прокопий Романович со счётами и книгами, в очках. Сзади него идёт Сима.

Прокопий Романович (*смеясь*). Я и не гоню тебя, что выдумал. Оставайся, ты мне по дому нужен!

Андрей Иванович и Клавдия Антоновна, увидав Прокопия Романовича, встают.

А! Сестрица! Сказали, дома тебя нет. Уж не от меня ли прячешься?.. О чём вы тут?

Андрей Иванович. Мы, дядюшка, ничего... мы так... разговаривали...

Прокопий Романович. Знаю я разговоры ваши...

Усаживается с Симой за стол. Клавдия Антоновна хочет идти.

Куда ты?

Клавдия Антоновна. Я пойду... к Олиньке...

Прокопий Романович. Успеешь. Посиди тут... Слышишь, сестра, Симочка не хочет с тобой ехать-то. Скучно, говорит. Что я там, говорит, со старухами делать буду. *(Смеётся.)*

Клавдия Антоновна. Вы, братец, отпустите нас с Олинькой... пожалуйста, прошу вас...

Прокопий Романович. Я не хозяин, как я тебя отпускать буду. Вот у него просись. *(Показывает на Андрея Ивановича.)*

Андрей Иванович. Я, дядюшка, всей душой рад, об этом только и прошу вас. Они бы отдохнули там, успокоились.

Прокопий Романович. Слышь — хозяин отпускает. *(Смеётся.)* Взяли бы да ехали...

Андрей Иванович. Как угодно, дядюшка, вы, конечно, смеяться можете, только нехорошо так.

Быстро идёт к двери.

Прокопий Романович. Ишь его! Куда ты?

Андрей Иванович, не поворачиваясь, уходит. Клавдия Антоновна робко встаёт и тоже незаметно хочет уйти за ним.

Подожди, сестра, мне с тобой поговорить надо... *(К Симе.)* Вот подбери пока что да подсчитай по номеру одиннадцатому. Потом сюда впиши их... *(Снимает очки и идёт к Клавдии Антоновне.)* Не любишь ты меня, сестрица, с Андрюшей всё шепчешься — чем со мной-то поговорить бы как должно. Шептанье до добра не доведёт — так и заметь себе...

Клавдия Антоновна. Что вы, братец, я ничего...

Прокопий Романович. Ну ладно, ладно... Ты вот что скажи: очень в Красный Яр-то поехать хочется?

Клавдия Антоновна. Ни к чему я здесь, братец, и Олинька тоже. Мы ваших дел не касаемся. Вы лучше нас знаете всё... Уж будьте такой добрый... пустите, братец...

Прокопий Романович. Отчего не пустить. Пустить можно. *(Кашляет.)* И денег, чай, надо на дорожку вам.

Клавдия Антоновна. Много ли нам надо... Мы привычны. Только согласие-то ваше дайте.

Прокопий Романович. А если не дам?

Клавдия Антоновна. Воля ваша, братец, — куда ж нам деваться...

Прокопий Романович. Может, у меня на дорожку денег нет. Теперь все хозяева стали — все тащут.

Сима прислушивается к разговору.

Клавдия Антоновна. Кто же хозяин — вы один хозяин.

Прокопий Романович. Не прикидывайся, сестра. Кабы за хозяина меня почитала — бумагу подписала бы.

Клавдия Антоновна. Я ничего не знаю... боюсь я, братец... Отпустите меня, ради Христа...

Прокопий Романович. А если не отпущу?

Клавдия Антоновна *(начинает плакать)*. Воля ваша, братец...

Сима резко отодвигает стул. Вскакивает из-за стола.

Сима. Сил моих нет! Маменька, очнитесь! *(Прокопию Романовичу.)* Я не позволю издеваться над матерью, не позволю!

Прокопий Романович. Симка, опять!

Сима. Это с ума можно сойти... Видеть я вас не могу... Хуже зверя вы... Я уйду, я уйду... я не могу!..

Убегает из комнаты. Клавдия Антоновна и Прокопий Романович встают.

Прокопий Романович. Слушай, сестра, будет нам людей-то морочить. Слушай и понимай! Не дурочка ты, слава Богу... Вот ты сказала: я хозяин. Я и есть. И никому не уступлю. На нож пойду — а своего не отдам, так и знай. Теперь отвечай мне: сладко тебе живётся?

Клавдия Антоновна (*робея*). Н-нет...

Прокопий Романович. При дедушке лучше было?

Клавдия Антоновна. Лучше.

Прокопий Романович. Это потому так, что никто теперь одного хозяина признать не хочет. Все в хозяева лезут. Я тебе сколько раз говорил: «Подпиши бумагу». Подпишешь — тогда все одного хозяина признают. Ты думаешь, я грабить хочу — это Андрюшка тебе напел. Начто мне грабить? Сама подумай. Разве я мотун какой-нибудь? Одного я хочу, чтобы всё в одних руках было. Всё по-прежнему останется, только ссор да воровства не будет, да тебя в Красный Яр пущу... Поняла?..

Клавдия Антоновна. Поняла...

Прокопий Романович (*вынимает бумагу*). А коли поняла, так иди и подписывай.

Клавдия Антоновна (*испуганно*). Братец, отпустите вы меня... Я ничего не знаю... Позовите Андрюшу...

Прокопий Романович идёт к столу, Клавдия Антоновна идёт за ним.

Прокопий Романович. И знать тут нечего. Я как есть хозяин, так и останусь — ты только в этом и распишись.

Клавдия Антоновна (*подходит к столу*). Боюсь я, братец... Не вышло бы чего...

Прокопий Романович (*торопит*). Подписывай, подписывай. Ничего плохого не будет.

Клавдия Антоновна. Ради Бога, братец, чтобы не вышло чего...

Прокопий Романович. Говорю, хорошо будет... *(подаёт ей перо)* Ну!..

Клавдия Антоновна *(подписывает)*.

Прокопий Романович *(быстро свёртывает бумагу)*. Завтра же с Олинькой можешь ехать в Красный Яр. И деньги получишь, и всё...

Клавдия Антоновна. Да неужто! Ах, братец!.. Ах, спасибо вам!.. Да вы шутите, может?

Прокопий Романович. Верно говорю. Ступай — скажи всем. А мне Васильевну пришли.

Клавдия Антоновна быстро уходит. Прокопий Романович вынимает бумагу, читает её. Медленно свёртывает и снова кладёт в карман. Из левой двери с шумом входит Паранька.

Прокопий Романович. Паранька!.. *(Она с грохотом устанавливает посуду и не слышит.)* Слышь, что ли?.. Паранька!..

Подходит к ней и дёргает сзади за платок.

Паранька. Ну что тебе?.. *(Поправляет платок.)*

Прокопий Романович. Серёжки купить?

Паранька. *(фыркает и хочет идти)*.

Прокопий Романович. Говори — дура!

Паранька *(снова фыркает и хочет идти)*.

Прокопий Романович. Ишь, какая красавица! *(Смеётся.)* Купить, что ли, на радостях... Для такой не жалко... Чего молчишь?..

Паранька. А чего сказывать?

Прокопий Романович. Ишь, деревенщина. *(Смеётся.)* Замуж пойдёшь за меня?..

Паранька *(фыркает)*.

Прокопий Романович. По рукам, что ли?

Паранька. Больно страшный ты... да старый...

Прокопий Романович. Ты не смотри, что старый... Старик-то лучше: дома сидит.

Паранька. Нужен ты мне. *(Хочет идти.)*

Прокопий Романович *(расставляет руки)*. Не пуцу... вот и попалась! *(Смеётся.)* Что?.. что?.. *(Смеётся.)*

Паранька. Анпустишь!
Прокопий Романович. Ну-ка!
Паранька *(быстро отталкивает его и убегает)*.
Прокопий Романович *(смотрит ей вслед)*.
Деревенщина!..

Входит Анна Васильевна.

Анна Васильевна. Звали, Прокопий Романович?

Прокопий Романович. Ну, Васильевна, — я хозяин теперь.

Анна Васильевна. Подписали?.. Вот и слава Богу.

Прокопий Романович. Завтра в Красный Яр отправлю их. Насчёт Симочки с тобой поговорить хотел. Надо бы и его ненадолго отправить, пока с Андреем покончу.

Анна Васильевна *(неожиданно начинает плакать)*.

Прокопий Романович. Ты постой хныкать-то. Не навсегда ведь.

Анна Васильевна *(плача)*. Не о том я, Прокопий Романович. Несчастливая я... Сама хотела об этом просить вас...

Прокопий Романович. Да ты что? Не пойму что-то, сказывай толком.

Анна Васильевна *(быстро перестаёт плакать)*. А то, Прокопий Романович, что лучше пускай, коли так, в деревне живёт, чем срам такой делать.

Прокопий Романович. Толком сказывай.

Анна Васильевна. С Сонькой спутался он — вот что!

Прокопий Романович *(в изумлении)*. С Андриюшкиной невестой?

Анна Васильевна. С ней.

Прокопий Романович. Ты в уме, Васильевна?

Анна Васильевна. Видела... сама видела... *(Плачет.)*

Прокопий Романович. *(разражается хохотом).*
Сама, говоришь... видела... *(Хохочет и кашляет.)*

Анна Васильевна. Не хочу я, чтобы он здесь жил... видеть я их вместе не могу...

Прокопий Романович. Так, так... Завтра же с ними отправлю... А ты бы Андрюшке шепнула. Понимаешь? Пусть их погрызутся... *(Смеётся.)* Дела!.. *(Собирает на столе книги и уходит.)*

Длинная пауза. Анна Васильевна сидит в прежнем положении и плачет. Входит Андрей Иванович.

Андрей Иванович. Васильевна... где Симочка? Ты слышала, Васильевна?.. Господи, что же это теперь...

Анна Васильевна *(оправляясь)*. Или опять случилось что?

Андрей Иванович. Маменька подписала... Понимаешь ты, Васильевна... Теперь я с Прокопием один должен... Я же не могу, Васильевна... Ах, Господи... куда ж это Сима ушёл?

Анна Васильевна. Вы не расстраивайтесь, Андрюшенька. Всё обойдётся. Из чего вам расстраиваться?

Андрей Иванович *(бессильно опускается на диван)*.

Анна Васильевна. И теперь Прокопий Романович всё равно за хозяина.

Андрей Иванович. Не понимаешь ты, Васильевна, — всё теперь погибнет...

Анна Васильевна. Зря расстраиваете себя.

Андрей Иванович. Я думал, всё по-хорошему устроится. Дядюшка уступит... а теперь всё в его руки. Ты знаешь, Васильевна, он хуже дедушки. Дедушка в рабстве нас держал — сам зато крепкий был, большой был человек. Я всё же любил его, хотя и боялся при нём слово сказать... Прокопий всем жизнь отравил. Всех измучает... Проклятые это деньги, Аннушка. Всё равно что нет их... а бежать не дают. Разве мы свободные люди? Хуже арестантов!..

Анна Васильевна. Послушайте моего слова, Андрюшенька: привыкнете, и всё пойдёт, как при дедушке.

Андрей Иванович. Нет, Аннушка, больше этому я не верю. Миру не бывать. Одно осталось теперь: пробовать нам с Симой дядюшку одолеть. Без моего согласия он ещё не хозяин.

Анна Васильевна (*быстро*). Сима завтра уезжает.

Андрей Иванович. Куда?..

Анна Васильевна. В Красный Яр. Прокопий Романович посылает.

Андрей Иванович (*в отчаянии*). Ни за что! Не пущу я... Не могу я один здесь остаться.

Анна Васильевна. Одному-то лучше, Андрей Иванович.

Андрей Иванович. Я с Прокопием не могу... Пусть Сима. Я лучше руки на себя наложу — а один не останусь здесь.

Анна Васильевна. Ну нет, Андрей Иванович, Сима завтра уедет.

Андрей Иванович (*поражённый*). Да ты что, Аннушка?

Анна Васильевна. Уедет, и всё тут.

Андрей Иванович. Я ему скажу. Я ему всё скажу. Он поймёт и не поедет. Не может же Прокопий Романович силой заставить.

Анна Васильевна. Уедет. Нельзя ему тут остаться.

Андрей Иванович. Почему? Господь с тобой!

Анна Васильевна молчит. Пауза.

Говори же, Аннушка, что ещё тут случилось?.. Господи, главное — силы нет! Эх! кабы другой кто на моём месте...

Анна Васильевна. Коли так, Андрей Иванович, и вы хотите по-своему сделать, Симу здесь оставить...

Андрей Иванович. Обязательно!

Анна Васильевна. Лучше я вам тогда всё скажу...

Андрей Иванович. Конечно, скажи, Аннушка...

Анна Васильевна. Вы хоть убейте меня за это — а скажу. Не хотела вас расстраивать. Жалко мне вас. Вы как родные мне.

Андрей Иванович. Говори, Аннушка, не мучай... Господи, неужели ещё что-нибудь!..

Анна Васильевна. Сима нехорошо делает. Он с вашей невестой... Софьей Григорьевной... любовью занимается...

Андрей Иванович. Что?.. что?..

Анна Васильевна. Обманывает вас Софья Григорьевна с Симочкой... вот что!

Андрей Иванович (*кричит*). Молчать! Вон!.. (*Вне себя бросается к Анне Васильевне, она в ужасе жмётся к стене.*) Вон из моего дома... Вон!.. Вон!..

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

Комната Симы наверху. Такая же низкая и мрачная, как комната первого действия, только гораздо меньше. На полу верёвки, оборванная бумага, несколько уложенных вещей. На столе охотничьи принадлежности: ружья, револьвер, нож, ягдташ.

Паранька и Анна Васильевна завязывают корзину.

Паранька. И что это за мода вышла, Анна Васильевна: на голове ляпушка, а тут рога... Смотреть нехорошо.

Анна Васильевна. Завязывай, завязывай, после расскажешь.

Паранька *(завязывает)*. А то ещё на бульваре вчера. Вот смех-то! Барыня, видать, богатая: чисто одета. Идти-то нельзя ей — так она по капельке щепетит, *(показывает руками)* так вот и щепетит, и щепетит...

Анна Васильевна. Меньше бы ты по бульварам бегала — лучше было бы.

Паранька *(обиженно)*. Что уж вы, Анна Васильевна, разве я какая-нибудь мигульница? На Троицу-то, чай, всякий на бульвар выходит.

Анна Васильевна. Сбоку-то, сбоку подтяни... Вот так. Ну, теперь хорошо. Давай вниз снесём, просторнее будет.

Паранька *(показывает на ружья)*. А эту страсть-то укладывать?

Анна Васильевна. Нет, не надо. Пусть сам укладывает... Под низ подымай... вот так.

Уносят корзину. Пауза. Быстро входит Пётр Петрович, заним Софья Григорьевна.

Пётр Петрович. Здесь не помешают.

Софья Григорьевна. Уйдёмте лучше... Я боюсь говорить здесь...

Пётр Петрович. У нас времени нет. Необходимо сейчас же всё решить.

Софья Григорьевна. Я, кажется, ни на что не способна... решайте сами...

Пётр Петрович. Я давно решил... А вы?..

Софья Григорьевна. Не знаю... ничего не знаю... Всё у меня спуталось... я точно во сне или в бреду...

Пётр Петрович. Вы успокойтесь. Рассуждайте хладнокровно. Сегодня Прокопий всех отсылает в деревню для того, чтобы остаться с Андреем вдвоём. Вы знаете Андриюшу лучше меня. Прокопий в два дня заставит его согласиться на всё. Ведь так?

Софья Григорьевна. Да, заставит.

Пётр Петрович. Вы понимаете, что это значит?

Софья Григорьевна. Да... кажется...

Пётр Петрович. Это значит — всему конец. Нищенство, унижение, выпрашивание подачек от Прокопия, который будет издеваться над нами.

Софья Григорьевна. Боже мой, но что же делать?

Пётр Петрович. Пойдите. Скажите сначала прямо: хватит ли у вас силы примириться с этим и от всего отказаться?

Софья Григорьевна. Нет... Кажется, нет...

Пётр Петрович. А если так — выход нам с вами один.

Софья Григорьевна. Жутко... Даже думать об этом жутко... Я всё понимаю, со всем соглашаюсь, но, как доходит до этого... всё путается, расплывается... И я чувствую, что нет у меня ни мысли, ни воли... Кошмар какой-то...

Пётр Петрович. Не надо волноваться. Надо решать хладнокровно. Всё ясно и просто. В грех вы не верите. На вашей дороге стоит Прокопий — надо или перешагнуть через него и получить богатство, или

уступить дорогу и превратиться в жалких нищих. Разве не ясно?

Пауза.

Софья Григорьевна. Неужели же, неужели никакого выхода?..

Пётр Петрович. Я другого не знаю...

Пауза.

Софья Григорьевна. Голова кругом идёт... Но как же, как всё это будет?..

Пётр Петрович. Вы должны сделать одно: заставить Симу отказаться наотрез ехать в деревню и остаться здесь. Я знаю, вы можете сделать это.

Софья Григорьевна. А потом?

Пётр Петрович. Остальное сделаю я.

Пауза.

Софья Григорьевна. Ужасно всё это... ужасно...

Пётр Петрович. Надо решать, Софья Григорьевна. Если согласны, я пойду и пришлю Симу сюда... (Пауза.) Надо решать.

Пауза.

Софья Григорьевна. Зовите.

Пётр Петрович спокойно поворачивается и уходит. Софья Григорьевна закрывает лицо руками и сидит неподвижно. В дверях показывается Оля.

Оля. Симочка здесь?

Софья Григорьевна (*вздрагивает*). Господи!.. как я испугалась... Что ты?

Оля (*улыбается*). Постоянно я тебя пугаю...

Софья Григорьевна. Ты зачем пришла? Что тебе нужно?

Оля. Симочку дядя зовет.

Софья Григорьевна. Видишь, нет его.

Оля (*подходит к ней*). Что с тобой, Сонечка, ты расстроена?.. Какая ты бледная...

Софья Григорьевна. Ничего... так... Вот уезжаете все...

Оля. А ты бы уговорила Андрея и ехала с нами. Дядюшка пустит.

Софья Григорьевна (*обнимает Олю и сажает её около себя*). Хорошая ты, Оленька, как ребёнок... Всё у тебя так легко, просто... Завидую я тебе... (*Отворачивается.*)

Оля (*заметив на глазах её слёзы*). Сонечка, о чём ты?.. Знаешь: поедем с нами. Право, поедем. Петя обещал через несколько дней приехать, как только дела свои кончит. Бери Андрюшу, и приезжайте все. Господи, как бы хорошо-то было!..

Софья Григорьевна (*смотрит на неё*). А Прокopies?

Оля. Бог с ним. Пускай живёт здесь, если ему нравится.

Софья Григорьевна. Разве это так легко, Оленька?

Оля. А что же?

Софья Григорьевна. Впрочем, может быть... Почему, в самом деле, не уехать... Сел и уехал. И ничего не случится, и всё будет хорошо. Оленька, мы это не во сне с тобой разговариваем?.. (*Смеётся.*) Может быть, во сне... Мы, Оленька, проснёмся, и ничего не случится... Всё это нам кажется... да?.. Почему ты можешь ехать, а я нет?.. И я могу. Возьму и уеду. Так свободно, легко, счастливо. И Андрюшу возьму, непременно возьму... Он на тебя похож... Робкий, тихий, как маленький... Вот и поедем все... хорошо, Оленька?..

Оля. Уж как хорошо-то!.. Ещё бы — такая радость...

Софья Григорьевна. Это мы во сне, Оленька. (*Смеётся.*) Теперь я знаю, что во сне...

Входит Сима.

Оля. Вот и Симочка.

Сима. Звали?

Оля. Да. Дядюшка ищет тебя зачем-то.

Сима (*с недоумением*). Дядюшка?

Софья Григорьевна (*быстро*). Ты, Оленька, пойди поскорей и скажи, что Симочка сейчас придёт.

Оля. Ладно. А ты расскажи Симочке, как мы решили ехать. Вот хорошо-то. Я мамёнке пойду скажу.

Уходит.

Сима. Пётр Петрович сказал, что вы меня звали. Правда это?

Софья Григорьевна. Да, звала.

Сима. Зачем?

Софья Григорьевна. Как вы сразу, Симочка. Сядьте. Надо поговорить.

Сима (*садится*). О чём говорить? Не понимаю!

Софья Григорьевна. Вы всё ещё дуетесь, Симочка?

Сима. Нисколько. Насильно мил не будешь. Туда мне и дорога.

Софья Григорьевна. Почему вы говорите со мной таким тоном?

Сима. А как же прикажете?

Софья Григорьевна. Перестаньте, Симочка.

Сима. Я положительно вас не понимаю, Софья Григорьевна: вы знаете, что я люблю вас. Вам кажется это глупым и смешным. И сам я не дурак — отлично понимаю, что это величайшее несчастье. О чём же нам разговаривать?

Софья Григорьевна. Всё это не то, Симочка...

Сима (*машет рукой*). Именно то... Вы меня звали, Софья Григорьевна, у вас, очевидно, дело какое-нибудь. Говорите скорей, а то мне укладываться надо...

Софья Григорьевна (*резко меняет тон*). Хорошо — я скажу. Вы меня любите?

Сима. Ну, дальше что?

Софья Григорьевна. Нет, отвечайте: любите?

Сима. Вы же знаете.

Софья Григорьевна (*с силой*). Отвечайте, я вам говорю.

Сима. Люблю.

Софья Григорьевна. В таком случае вы останетесь здесь.

Сима. То есть как?

Софья Григорьевна. Останетесь здесь.

Сима. Какой вздор! Ничего не понимаю!..

Софья Григорьевна. Вы в деревню не поедете и останетесь здесь.

Сима (*возмущённо*). Вы, кажется, опять шутить изволите, Софья Григорьевна?

Софья Григорьевна. Молчите. Вы сейчас же пойдёте к Прокопию Романовичу и скажете, что вы остаётесь.

Сима. Нет, вы, кажется, того... с ума сошли.

Софья Григорьевна. Бойтесь послушаться?

Сима. Вы прекрасно знаете, что я ничего не боюсь. Уезжаю я от вас. А вы опять! Нет, или вы шутите, тогда это...

Софья Григорьевна. Да перестаньте же, Сима! Я вам говорю, что вы должны остаться.

Сима. Ну зачем же?

Софья Григорьевна. Я хочу так.

Сима (*пожимает плечами*). Ничего не понимаю!

Софья Григорьевна. А говорите ещё, что вы мужчина. Кабы любили, понимали бы... Разве так любят!

Сима. Софья Григорьевна, не говорите так. Бога ради, так не говорите. Больше, чем я люблю вас, любить нельзя. Поверьте мне. Вот вы позволяете мне говорить о любви — и я уже счастлив и готов на всё... Не знаю, зачем я вам? Может быть, смеяться хотите? Всё равно — смейтесь. Я согласен. Только не гоните от себя... Мне жить теперь с Андрюшей в одном доме — мука!.. Но я на всё пойду... всё вынесу...

Софья Григорьевна. Вы не судите меня, Симочка, я гадкая, скверная, но вы меня простите... за всё...

Сима. Это безумие, я знаю... Но если бы вы могли полюбить... Нет, я не то... Вздор всё это!

Софья Григорьевна (*в сильном волнении*). Может быть, вам уехать лучше?.. Всё путается... Опять как во сне...

Сима. Почему не я, почему?.. Почему он?..

Софья Григорьевна. Симочка, вы не слушайте меня... вы уезжайте.

Сима. Уехать?..

Софья Григорьевна. Да, да... Бога ради... Я прошу вас... Уезжайте сейчас же...

Сима. Уехать теперь?

Софья Григорьевна. Уезжайте... бегите... я на колени перед вами встану.

Сима. Теперь? Никогда, ни за что... я люблю вас...

Софья Григорьевна. Господи, что же делать!..

Сима обнимает её. Она слабо вскрикивает, но не сопротивляется. Сима целует ей руки, лицо, голову.

Сима. Люблю... милая... бесценная... люблю... люблю, люблю...

Входит Андрей Иванович. Софья Григорьевна видит его, вырывается от Симы. Андрей Иванович делает несколько быстрых шагов и бессильно опускается на стул. Софья Григорьевна стоит неподвижно. Сима медленно поднимается с дивана.

Пауза.

Сима. Я не хотел, чтобы ты знал... Теперь всё равно... Убей меня, если хочешь... Теперь всё равно...

Андрей Иванович (*тихо*). Уйди...

Сима уходит. Пауза. Софья Григорьевна, точно очнувшись, бросается к Андрею Ивановичу.

Софья Григорьевна. Прости, прости, прости!..

Андрей Иванович. Оставь... Не надо...

Софья Григорьевна. Андрюша, выслушай, ради Бога тебя прошу!

Андрей Иванович. Не могу я сейчас, Сонечка, я пойду...

Хочет встать. Софья Григорьевна удерживает его.

Софья Григорьевна. Я всё тебе скажу. Ты поймёшь. Ты поверишь мне...

Андрей Иванович. Я не сужу тебя, Сонечка. Только почему сразу не сказала... по-хорошему...

Софья Григорьевна. Андрюша, родной мой, ты думаешь, я разлюбила тебя, да? Полубила Симу, да?..

Андрей Иванович. Оставь же! Не надо!.. Ах, Боже мой!..

Софья Григорьевна. Неправда это. Клянусь тебе... Я гадкая, преступная, безумная... Но тебя не обманывала. Клянусь тебе. Тут совсем не то... Совсем не то... Проклятые деньги... Андрюша... Но постой, ты должен выслушать, я расскажу тебе всё... сейчас же... Пока не пришли...

Андрей Иванович. Только успокойся, Сонечка, успокойся, Бога ради.

Софья Григорьевна. Я буду спокойна. Я всё скажу... Помнишь, Андрюша, когда был жив дед, как мы мечтали с тобой жить?.. О богатстве не думали. Мы знали, что жизнь будет тяжёлая, бедная. И нисколько не боялись. Помнишь?.. Когда умер дедушка, всё изменилось... Весь дом. Точно придавило всех... Дедушка строгий был, но мы жили сами по себе... Потихоньку от него — всё же были счастливы. А тут с нами самими случилось что-то... В каком ужасе прошли эти три недели — ты лучше меня знаешь... Ты больше всех мучился. Но со стороны, Андрюша, видней было, чем всё должно кончиться. И кто виноват во всём: Прокопий Романович... Я не оправдываюсь... Я хочу, чтобы ты знал... У нас явилась мысль... Если нельзя добром — силой тогда... Подожди, подожди, Андрюша. Я хочу, чтобы ты знал всё... Чтобы ты знал, какая я... Да, явилась мысль... уничтожить Прокопия... Не знаю, как бы это случилось. Я не могла думать об этом. Знаю, что хотели... заставить Симу... Я знала, что Сима любит меня, он говорил... раньше... Постой, постой... Я должна была уговорить его остаться здесь. Остальное бы сделал Пётр Петрович... Вот теперь ты всё знаешь.

Андрей Иванович *(в ужасе)*. Ты... Сонечка... Нет, Господи... что же это такое?.. нет же, нет... не может быть этого... Сонечка...

Софья Григорьевна. Теперь ты всё знаешь. Прощай... Я уйду...

Пауза. Порывисто бросается и обнимает его.

Андрей Иванович *(плачет)*. Сонечка... Сонечка... Милая ты моя... милая ты моя...

Софья Григорьевна *(отрывается от него)*. Прощай... Совсем прощай...

Быстро уходит.

Андрей Иванович *(один)*. Как же теперь?.. Один... Лучше конец... Всё равно...

Осматривает комнату. Идёт к столу, берёт револьвер, заряжает. В это время входит Клавдия Антоновна. Андрей Иванович быстро кладёт револьвер в карман.

Клавдия Антоновна. Андрюша, ты здесь? А где Симочка? Ехать пора. Куда он ушёл?

Андрей Иванович. Он ушёл... давно.

Клавдия Антоновна. Андрюшенька, болит моё сердце. Не так я сделала, верно. Сердишься ты?

Андрей Иванович. Христос с вами, маменька.

Клавдия Антоновна. Ты прости меня, Андрюша... Измучилась я. И он: подпиши да подпиши, всё равно я хозяин — вот и подписала. Теперь душа не на месте.

Андрей Иванович. Не надо об этом, маменька. Всё прошло. Господь с ним.

Клавдия Антоновна. Только бы ты не сердился.

Андрей Иванович. Маменька... милая... *(Обнимает её и плачет)*. Какие мы все несчастные...

Клавдия Антоновна *(тоже плачет и утирает слёзы)*. Терпеть надо, Андрюшенька.

Андрей Иванович. Всё бросить бы и уехать... далеко...

Клавдия Антоновна. Едем с нами, Андрюшенька. Дядюшка пустит.

Андрей Иванович. Свами... в деревню?..

Клавдия Антоновна. И Симочка собирается, мне Олинька сейчас сказывала... Едем?

Тихо входит Прокопий Романович.

Прокопий Романович. Опять вы тут... опять шепчетесь...

Андрей Иванович *(сильно вздрагивает)*. Дядюшка!.. Господи...

Прокопий Романович. Али не ждал?.. Ты у меня теперь не мути... Знаю я... Сбиваешь, чтобы в Красный Яр не ехали. Симка-то уж пропал куда-то. По всему дому ищу. Уж не твои ли штуки? Смотри, я теперь и силой заставлю...

Андрей Иванович. Дядюшка, да что вы?

Прокопий Романович. А то, что все непорядки в доме от тебя. Как в крепости живу. Всех против меня поставил.

Андрей Иванович. Дядюшка, Бога ради прошу вас, оставьте меня сегодня.

Прокопий Романович. Правду говорю — и слушай... Месяца не прошло, как ты в хозяйство путаешься. Всё в расстройство привёл. Все тащут, всё валится. И Симку воровать научил.

Клавдия Антоновна. Братец!..

Прокопий Романович. Ты оставь. Я правду говорю. Нечего ему здесь делать.

Андрей Иванович. Господи, да куда же мне деться-то?

Прокопий Романович. Подпиши доверенность и в Красный Яр уезжай. Я и один справлюсь.

Клавдия Антоновна. Я, братец, тоже его зову.

Прокопий Романович. Путаешься тут, сам не знаешь для чего, да кляузы разводишь. Подзуживаешь всех.

Андрей Иванович. Дядюшка, прошу вас... оставьте меня сегодня... Сил моих нет...

Прокопий Романович. Уезжай отсюда и невесту захватывай, да смотри за ней хорошенько. (Смеётся.)

Андрей Иванович (едва сдерживаясь). Дядюшка, оставьте... Уйдите...

Прокопий Романович (смеётся). А то, смотри, отобьёт Симка-то.

Андрей Иванович (срываясь с места, кричит). Не смейте! Не смейте!..

Прокопий Романович (в дверях). Эвона! Да ты в уме? Чего орёшь? Чай, все знают, что с Симкой путается... (Уходит.)

Андрей Иванович. Так вот же тебе!..

Выбегает за ним. Клавдия Антоновна хватается за голову и не может двинуться с места. Слышен выстрел. Сильный шум.

Пауза. Входит Андрей Иванович, опускается на стул.

Андрей Иванович. Что я сделал... Что я сделал... маменька... (Рыдает.)

Вбегает Софья Григорьевна, за ней Пётр Петрович и Оля.

Софья Григорьевна (кидается к Андрею Ивановичу). Это я... я... пусть меня возьмут!..

Пётр Петрович. Перестаньте...

Софья Григорьевна. Я всё скажу!

Пётр Петрович (Оле). Уведите её.

Софья Григорьевна истерически плачет. Оля подходит и уводит её в сторону. Дверь отворяется. Видно Анну Васильевну, Параньку, несколько квартирантов. Они поднимают Прокопия Романовича, чтобы внести его в комнату.

Андрей Иванович. Маменька... маменька... что... я сделал...

ДИПЛОМ

Было раннее утро, когда Вася с отцом и со своей учительницей, Анной Петровной, выехал из села.

Солнце ещё не взошло; ясное небо едва засинелось; невысокая, зелёная рожь тихо-тихо шумела; белый, седоватый туман подымался над ней и заволакивал убегающую даль.

Молодая Пегашка весело пофыркивала; колёса задевали весеннюю траву, выбившуюся по колеям, и подымали узкую полоску пыли, которая медленно кружилась и исчезала в сыром воздухе.

Они ехали в уездный город Н., на экзамен. Вася кончил курс в своей сельской школе и должен был получить диплом.

Это был первый год, когда выпускные экзамены производились не в сёлах, а в городе, для всех школ одновременно.

Вася знал, что на экзамене будет много начальства, которого боится не только он, но и Анна Петровна; что будет много мальчиков, кроме него, и что всех их будут «резать», а потому нужно отвечать подумавши и не делать никаких ошибок.

И теперь, глядя на убегающую дорогу, на склонявшиеся под колёсами жёлтенькие цветы, которые вы-

прямялись снова и долго качали головками им вслед, Васе было и весело, и жутко.

— Вот теперь, примерно, мальчишку, — говорил отец, — ну что его везти! Рабочая пора, и лошадь нужна, и руки нужны — а вези!

— Экзамен! — возражала Анна Петровна, видимо, сочувствуя мужику.

— Довольно бы и грамоты, а экзамен этот — Бог бы с ним! Пора рабочая, сев, Иван-то, сами знаете, на мельнице, лошадь одна...

— Диплом нужен! — прежним тоном возражала Анна Петровна.

«Диплом! Какой-то он?» — думал Вася.

И снова стало ему и жутко, и весело, снова запестрили в глазах жёлтенькие кивающие цветы, и захотелось спросить о чём-нибудь Анну Петровну.

— Анна Петровна, — робко сказал он, — много их будет?

Она обернулась к нему и засмеялась:

— Много.

— Пятеро?

— Больше.

— А кто самый важный?

— Предводитель дворянства.

Вася даже зажмурился от волнения.

— Да ты не волнуйся, — в сотый раз слышал он ободряющую фразу Анны Петровны. — Главное, смелей будь; ты ведь всё знаешь, не будешь волноваться, значит, и выдержишь.

Вася сделал над собой усилие и успокоился. Вспомнилось ему, как он приходил, бывало, к Анне Петровне после ученья вечером, усаживался около неё и слушал, как она читает, или сам начинал рассказывать, какие мысли ему приходят, как бы он хотел жить, как сегодня отец поспорил с дядей Иваном, и как они не могли ничего объяснить друг другу, а по его выходит всё очень просто.

Анна Петровна иной раз слушает-слушает да вдруг обнимет его, и Вася чувствует, как на его щёку падают тёплые слёзы.

— Анна Петровна, что с вами? — робко молвит он.

А она подойдёт к окну, прижмётся к стеклу головой и долго-долго стоит так. Потом подойдёт и поцелует Васю в лоб.

— Эх, Васенька, не в деревне бы тебе родиться, — говорит она, — родиться бы в городе, у богатых господ; всему бы тебя выучили. Мал ещё ты, не понимаешь, что за жизнь твоя будет.

И снова она целует и ласкает его.

— Теперь уж этого не будет, — думал Вася, — ученье кончилось...

И ему становилось грустно.

Вася посмотрел вперёд: из-за бугра показывалась высокая, белая колокольня городского собора.

— Ну, Вася, вот и город, будь молодцом, — ласково проговорила Анна Петровна.

Но ему до того вдруг сделалось жалко чего-то, что он чуть не заплакал.

А Пегашка, ничего не подозревавшая, по-прежнему пофыркивала и весело бежала по мягкой дорожке...

Всё спуталось в голове Васи, когда он сидел на одной из задних парт во время вечернего устного экзамена.

Большая, ярко освещённая зала земства была полна народа. За длинным зелёным столом сидели экзаменаторы с усталыми, недовольными лицами.

Сзади экзаменаторов сидели учителя и учительницы, подходившие к столу при ответе своих учеников; сбоку, вдоль стены, помещалась публика.

Васе странно было видеть в толпе этих чужих людей хорошо знакомую фигуру Анны Петровны в простом, тёмном платье, на котором он знал каждую складочку. Она теперь казалась ему совсем другой.

Среди начальства он увидал ещё одно знакомое лицо не русского типа, с большими, чёрными глазами и целой гривой густых волос. Это был член училищного совета.

Вася знал, что его зовут Симоном Давыдовичем, что с ним всегда так весело и хорошо было разговаривать, когда он приезжал весной на экзамены.

Всё ближе и ближе от Васи поднимались мальчишки при оклике фамилии. Волнение Васи то успокаивалось, то вновь прибывало, и снова чувствовал он, как путаются его мысли и он точно куда-то падает.

Впереди него уже вся парта была спрошена, оставалось человек пять.

«Сейчас начнётся, сейчас начнётся!» — волнуясь всё больше и больше, думал он, напрасно разыскивая глазами Анну Петровну: она, очевидно, вышла.

«Главное, не волнуйся», — вспоминалась ему её фраза.

Вася чувствовал, как сердце всё быстрее и резче колотится в груди, он придерживал его рукой и делал усилие, чтобы заставить биться ровнее. Напрасно пытался он вспомнить что-нибудь из пройденного курса: в голове мелькали совсем неподходящие мысли.

Вспомнился почему-то кудлатый Шарик, который умеет стоять на двух лапках и ловить куски хлеба... заштатный дьячок Панкратыч, который всегда окликал Васю: «А, мальчик-с-пальчик!»

— Николаев! — монотонно прозвучало в зале.

Вызвали Васю.

Вася встал не сразу, кто-то сзади успел шепнуть ему:

— Тебя, слышь!

Вася вскочил и пошёл к столу очень быстро, не своей походкой, задевая за парты.

Вблизи лица экзаменаторов казались совсем другие. Симон Давыдович стоял важный, серьёзный, каким никогда не видал его Вася, но, встретившись с ним взглядом, Вася понял, что вся эта строгость для кого-то другого, а для него, для Васи, он всё такой же добрый,

простой, и Васе стало так же весело, как бывало после экзаменов, сидя на его коленях.

В это время подошла Анна Петровна; Вася видел, как она незаметно улыбнулась ему, и на душе у него стало совсем спокойно и светло.

Он смело посмотрел перед собой своими большими, серыми глазами.

Толстый, лысый господин с широким, добродушным лицом стал спрашивать Васю.

Вася отвечал быстро, коротко и толково.

С первой же задачи, которую ему предложили решить в уме, он почувствовал, как необыкновенно ясно рисуется перед ним ход действия, каждая цифра до последнего знака, и это чувство радовало и волновало его.

Полный господин спросил ещё и ещё; Вася, не давая закончить вопроса, говорил уже ответ. Господин улыбался и задавал вопросы всё труднее и запутаннее.

Председатель, который говорил о чём-то с Анной Петровной, остановился и стал слушать. Несколько учителей подошло поближе. Симон Давыдович улыбался и ласкал его своими глазами. Кое-кто из публики, видимо, прислушивался тоже, нагнувшись, чтобы за шумом расслышать ответ.

— Очень хорошо, прекрасно! — сказал наконец толстый господин. — Ну, теперь скажите какое-нибудь стихотворение.

Вася начал.

Это было его любимое стихотворение, которое он часто читывал про себя и зимой в долгие, тёмные вечера, когда непонятная, мучительная тревога наполняла его душу, и летом, ночуя с лошадьми в лугах, когда, заглядевшись на ясное, звёздное небо, он отдавался весь тихим грёзам, незаметно уносившим его от уснувших товарищей, от пасущихся лошадей, от всей земли...

Ему хотелось теперь, чтобы все бросили говорить, чтобы все слушали и смотрели на него.

Никогда раньше не чувствовал так Вася ту задумчивость леса, о которой говорилось в стихотворении, гроз-

ную бурю, плач леших и ведьм, всю дивную таинственную жизнь, совершающуюся в природе. Перед ним точно впервые открывался этот далёкий сказочный мир.

И сам Вася преобразился. Лицо его сияло от возбуждения, большие глаза стали ещё больше, потемнели, и в них то вспыхивал, то потухал огонёк. Голову он держал высоко и смело.

Зала притихла.

Вася слышал, как один из экзаменаторов шепнул председателю:

— Что может быть выше этого?..

— Замечательный ребёнок! — громко сказал кто-то в публике.

— Ваш ученик совсем поэт, — проговорил председатель, наклонившись к Анне Петровне.

И все смотрели на него добрыми, ласковыми глазами, все улыбались ему, и Вася чувствовал, как его трепет передаётся другим.

Молодой голосок его звонко раздавался в тихой, неподвижно застывшей зале.

Эта тишина, этот подавленный шёпот одобрения вдохновлял его; каждое слово, обновлённое, согретое его внутренним огнем, как будто не исчезало в воздухе, а сразу вдыхалось всей залой.

Вася произнёс последние слова стихотворения и смолк.

Секунда молчания, и вдруг всё задвигалось, зашумело, заволновалось. Васю окружили, брали его за руки, гладили по голове, ласкали, хвалили и целовали.

Председатель подозвал его к себе и, улыбаясь, сказал:

— За твои успехи и необыкновенные способности, кроме награды, вот — на, возьми на память от меня: это моя благодарность.

И он всунул в руку Васи золотой.

Васю ещё что-то спрашивали, что-то говорили и тащили в разные стороны.

Он был как в чаду; ему хотелось обнять и поцеловать всех; хотелось и смеяться, и плакать.

А вот и Анна Петровна, теперь она такая же, как всегда; она наклоняется и говорит:

— Ну что, трусишка, а?

— Анна Петровна!.. — только мог выговорить он.

Отцу Васи не хотелось оставаться в городе до следующего дня, и диплом он поручил взять Анне Петровне.

Было часов двенадцать, когда они с отцом выехали из города.

Возбуждение Васи ещё не прошло, лицо его горело, в ушах звучали отрывочные фразы, которые обдавали его каким-то теплом.

Ночь была тёмная, свежая, тихая... Чудилась в ней и сила, и жизнь, и тайна ласковая, обаятельная. Тёмное поле слилось с тёмным небом, молчаливое, бесконечно-далёкое.

Рожь, скрытая от глаз, говорила что-то новое, тише и нежней; мягче шумела трава под колёсами; смелей и настойчивее ласкал ветерок; Пегашка пофыркивала, но боязливо, точно прислушиваясь к своему топоту. Вася лежал на холодной увядшей траве, от которой теперь тянул пряный запах, и с приятным трепетом вспоминал экзамен. Всё до мельчайшей подробности. Он прочёл даже стихотворение, которое его спрашивали, и всё, что пережил он, читая, загорелось в нём.

Он сжимал в кармане маленькую монету, светло улыбался, прижимался своей щекой к холодной траве и весь отдавался охватывавшему его блаженству.

Отец задремал. Согнутая фигура его казалась совсем чёрной. Вася спрятался за него от ветра.

Проехали сухую иву.

«Полдороги», — подумал Вася и первый раз вспомнил о деревне, но сейчас же снова перед глазами засияла зала, задвигался народ...

«Как хорошо, — думал Вася, — приедет завтра Анна Петровна, привезёт диплом, я ей расскажу всё с самого начала, весь вечер».

И ему хотелось сейчас же рассказать кому-нибудь только что пережитое.

«До завтра недолго», — успокаивал себя он, но снова вспоминалась деревня, завтрашний сев, и становилось как-то не по себе.

Проснулся отец и громко зевнул.

— Эхма! — пробормотал он. — Спишь, Васюха?

— А?

— Спишь, мол? Завтра чуть свет подыму.

Вася молчал. Слова отца чем-то тяжёлым ложились на его сердце.

Въехали в деревню. Всё было тихо; даже собаки не лаяли.

Пегашка мотала мордой, фыркала и шла шагом. Проехали почти всю деревню и остановились около крайней избы.

Вася помог отворить ворота, распрячь лошадь; отец его повозился в конюшне и пошёл спать в избу.

Вася остался на телеге.

Ему теперь только стало ясно, что всё кончилось... И тоска, и обида на что-то подымались к горлу.

В той радости, в том волнении, которое он только что пережил, была смутная надежда, что это не конец.

Васе было горько, горько до слёз, его тянуло куда-то — он и сам не знал, куда именно, но куда-то далеко, где ещё лучше, ещё больше радости и волнений, — но этот двор, это крыльцо с чугунным умывальником в виде чайника, эти приготовленные на завтрашний день бороны — грубо и бесповоротно уничтожали всё.

Весь сегодняшний день казался чем-то далёким, совершившимся давно-давно тому назад...

Вася припал лицом к траве, и горькие детские всхлипывания раздались в тишине ночи.

НАЗНАЧЕНИЕ

Николай Николаевич служил в полицейском управлении второго участка города Н.

Поступил он на службу, когда ему было с небольшим двадцать лет, и с тех пор сидел всё за тем же столом, против того же окна, до сорокалетнего возраста.

За это время сам Николай Николаевич, разумеется, изменился: полысел, покрылся морщинами, отпустил себе окладистую бороду, на которой с одного боку стала уже выбиваться седина, но жизнь его изо дня в день текла своим обычным порядком, не позволяя замечать даже тех внешних перемен, которые происходили в ней.

Николай Николаевич как-то не замечал движения своей жизни.

Всё, что окружало его, изменялось постепенно, точно так же, как постепенно изменялась его внешность; и точно так же, как он не замечал, что его розовые, полные щёки мало-помалу стали жёлтыми и покрылись морщинами, не замечал он и перемены начальников, смерти сослуживцев и других событий, так или иначе изменявших его жизнь.

И не то чтобы он не замечал их, но они казались ему чем-то таким логичным, неизбежным; он как бы предчувствовал их и, когда они наступали, уж не чувствовал их новизны.

Николай Николаевич почти никогда сам не вспоминал прошедшего, хотя любил послушать, как его сослуживец, пьяный и неряшливый Кривцов, рассказывал что-нибудь смешное из прошлого, которое уже давно и забылось Николаем Николаевичем.

Николай Николаевич не вспоминал о прошлом потому, что не жалел о нём: оно ничем не было лучше настоящего и ожидаемого будущего.

Стол, за которым столько лет просидел Николай Николаевич, стоял против широкого, светлого окна. Под окном была посажена молоденькая липка, успевшая вырасти в большое дерево с толстым, чёрным стволом и пахучими листьями. Николай Николаевич любил или, лучше, привык к этому дереву и к этому окну. Весной окно растворялось, молодые листья заглядывали в комнату, и Николай Николаевич, когда уставал писать, облокачивался на спинку стула и смотрел, как медленно покачивались они. Он в это время ни о чём не думал, но ему было приятно смотреть на светло-зелёные листья, которые шевелились как живые.

Липу эту посадил давно уже умерший пристав, при котором Николай Николаевич поступил на службу. Единственный, кажется, пристав, которого он помнил, — потому, может быть, что это был его первый начальник, а может быть, потому, что его особенно часто изображал Кривцов.

Пристав этот очень любил Николая Николаевича и был большой весельчак, шутник.

Николай Николаевич часто вспоминал, как, бывало, его первый начальник подойдёт в упор и огорошит вопросом:

— Почему попы покупают шляпы с широкими полями?

И не дожидаясь ответа, сквозь громкий, оглушительный хохот, наклоняясь к самому уху Николая Николаевича, добавляет:

— Потому, что даром им шляп не дают.

Хохочет пристав, хохочут и все подчинённые.

— А что будет с голубой лентой, — спрашивает он далее, — если её бросить в Ледовитый океан?

Оказывалось, что лента потонет.

В саду, кроме липы, росло много других деревьев, разведённых тем же приставом. Сад был тёмный, тенистый, в нём пели соловьи. И Николай Николаевич любил слушать их, но никогда это пение не мешало ему переписывать бумаги. Он начинал слушать только тогда, когда уставала рука. А уставала у него только рука да иногда ещё спина. Писал он механически, по навыку, образовавшемуся за долгую службу, внося разнообразие в своё писание только по требованию начальства.

— Пишите помельче, на вас бумаги не напасёшься, — говорил один пристав.

И Николай Николаевич выводил мелкие, чёткие буквы.

— Что вы бисер нижете, у вас ничего не разберёшь, пишите покрупнее, — говорил другой.

И он начинал ставить круглые, разгонистые буквы.

Через два-три дня ему всякий раз начинало казаться, что это именно его собственный почерк, и что он пишет им с самого своего поступления на службу, которое таялось в туманном прошлом, и что будет он так писать до конца своей службы.

Изредка, летом, происходил ремонт. Войдёт Николай Николаевич в заново оклеенную комнату, с чистым потолком и выкрашенным полом. Комната совсем чужая; ему как-то неловко, и чувство это забавляет его. Николай Николаевич усаживался за свой обычный стол, смотрел на липу, слушал, как поёт соловей, и через три дня уже не мог вспомнить, какие были в комнате прежние обои.

Он нигде не бывал, ему незачем было ходить в гости: со всеми сослуживцами он утром и вечером виделся на службе. Сходились обыкновенно за полчаса до присутствия и тут успевали переговорить обо всём, что интересовало их.

Кривцов обыкновенно изображал какое-нибудь начальство, умершее или существующее.

Петров донимал французским диалектом мрачного, сосредоточенного сторожа-раскольника, который обыкновенно отмалчивался и на все назойливые приставания угрюмо ворчал:

— Этого ничего я не знаю, а с истинной веры ты меня не сковырнёшь.

— Коман сова? — в упор спрашивал его Петров.

— Не сковырнёшь, говорю.

— Коман сова? — ещё настойчивее спрашивал Петров.

— Не сковырнёшь, и баста!

— Коман сова? — наступал Петров.

— Тьфу! Нехристи... — отплевывался сторож, выходя из терпения.

После этого начинали говорить о вопросах серьезных. О том, что Фирсов награды к Рождеству не получил; Семёнов жениться хочет на племяннице Дементьева и уже переехал на новую квартиру; у Трифонова убежала кухарка и утащила новый самовар.

А через полчаса в полиции начиналась толкотня, приходили дворники, кухарки, ночные сторожа.

За длинными столами скрипели перья, и Николай Николаевич, наклонив набок свою бородатую голову, выводил мелкие или крупные буквы, сообразно с тем, кто был в данный момент начальником.

Почти вся жизнь Николая Николаевича проходила на службе. Дома он ночевал, пил утренний чай, обедал и спал после обеда.

Больше десяти лет жил он на одной и той же квартире у Аграфены Ивановны, которая при нём овдовела, оставшись с двумя маленькими детьми, Машей и Колей; при нём же дети подросли и стали ходить в школу; при нём же и Аграфена Ивановна из цветущей проворной женщины превратилась в усталую осунувшуюся старуху.

Кроме Николая Николаевича, у неё было ещё несколько жильцов-приказчиков, но те часто менялись, и один только Николай Николаевич был как свой человек.

Он сжился со стенами низенького домика, где жила Аграфена Ивановна, со своей комнатой, с палисадником, в котором росли тонкие вишни, с болезненными и молчаливыми ребятами Аграфены Ивановны, и точно так же не мог себе представить другой квартиры и обстановки, в которой ему пришлось бы жить, как у самого себя — другой физиономии.

Всё, что окружало его, органически срослось с ним и изменялось лишь вместе с ним.

Выходя утром пить чай, Николай Николаевич уже знал, что он увидит на столе налитой стакан чаю и обычную «подковку», обсыпанную маком.

За обедом Аграфена Ивановна расскажет ему что-нибудь о своём хозяйстве, а за вечерним чаем Николай Николаевич расскажет ей какой-нибудь случай из своей полицейской жизни.

— Старуха у нас живёт, — рассказывает он, — на улице подняли, думали, пьяная, а она немая ли, сумасшедшая ли, Бог её знает... Выпустят её из полиции, выйдет и ляжет... что ты будешь делать? Так три месяца и живёт.

— Три месяца! — удивляется Аграфена Ивановна.

— Три месяца. Так и живёт...

По праздникам Николай Николаевич ходил гулять, один или с Аграфеной Ивановной; и редко-редко когда заходил к кому-нибудь в гости.

В гостях он чувствовал себя неловко. Чужая жизнь, чужая обстановка, чужие интересы неприятно действовали на него. Он приходил в какое-то беспокойство, был молчалив, неловок и старался поскорее выбраться домой.

В этот день он испытывал особенное удовольствие при виде знакомых стен, знакомого самовара, у которого одна сторона была немного вдавлена, и засиживался с Аграфеной Ивановной дольше обыкновенного.

Так однообразно, изо дня в день текла маленькая, серенькая жизнь Николая Николаевича.

Он не был доволен ею, но не чувствовал и неудовольствия. В нём никогда не возникала мысль о том, что он, большая ли, маленькая, но самостоятельная единица. Он чувствовал себя всегда плюс полиция, плюс стол, за которым он работает, плюс начальник, который ему приказывает, и всякий раз, когда ему приходилось отрываться от этих плюсов, он испытывал болезненное ощущение беспомощности.

Однообразные серенькие дни слились у него в какую-то сплошную прямую линию, один конец которой терялся в прошлом, а другой убегал в будущее.

Когда-то в молодости у Николая Николаевича было нечто вроде романа, именно вроде, потому что героиня его была очень пожилая женщина, которая покорила Николая Николаевича своей скромностью и умением вести хозяйство. Но выйти замуж за него она не желала; Николай Николаевич съехал с квартиры и забыл о ней.

Будничные, серенькие дни Николая Николаевича, наполненные тысячью повторяющихся мелочей, равномерно зачем-то шли вперёд, никогда не возбуждая в нём протеста против своего однообразия, против своей жестокой закономерности, никогда не возбуждая вопроса, зачем идут они и почему идут так, а не иначе.

Он жил, лысел, старился и зачем-то всё жил и жил — где-то в сторонке, где-то в полутёмном переулке, далеко от жизни большого города.

Та, другая жизнь и не манила его, и не отталкивала — он просто не знал её или не хотел знать. И каждый раз, гуляя по шумным улицам, он чувствовал себя чужим, но не одиноким, как будто вместе с ним двигалось всё то, что окружало его и составляло его жизнь.

Кто знает, может быть, Николай Николаевич так и умер бы, ни разу не выбившись из своей узкой колеи, с гордым сознанием, что он хорошо и спокойно прожил

свой век, — но случилось одно очень незначительное обстоятельство...

Была весна.

После целой недели проливных дождей погода сразу переменялась, небо стало синим, как будто нарисованным, деревья зазеленели нежной, почти жёлтой листвой; мостовые обсохли, на улицах закипела жизнь; всё стало ярче, моложе, нарядней...

Пришлось это как раз в праздник.

Николаю Николаевичу тоже надоели дожди, и он с особенным удовольствием отправился гулять.

Шёл он медленно, не торопясь, останавливаясь у витрин магазинов, особенно у фотографических, хотя карточки были выставлены давно и он помнил все лица.

Доходя до первого переулка, он обыкновенно сворачивал, так как не любил толкотни, но на этот раз прошёл несколько дальше и свернул не направо, а налево. Там было больше зелени, по немощёной улице идти было мягче. С шумной «главной» улицы доносился весёлый гул, но он становился всё тише и тише... Народу никого не было. Безжизненно и пусто было кругом. Непосредственно после шума и жизни эта тишина неприятно подействовала даже на Николая Николаевича. Он постоял, послушал и повернул назад. Вдали опять зашумел город. Всё сильнее и сильнее. Николай Николаевич почувствовал что-то неприятное от этого растущего шума и хотел опять идти переулком, но в это время мимо него, по направлению к главной улице, прошла парочка.

Это были гимназист и гимназистка.

Гимназистка несла в руке какую-то папку, которой она размахивала и слегка даже задела Николая Николаевича.

Они громко говорили о чём-то, хохотали. Гимназистка от хохота даже останавливалась и вся подавалась вперёд. Было слышно одно только слово: «привидение!».

Николаю Николаевичу вдруг, почему-то, стало любопытно знать, о чём они разговаривают. И он, не давая себе отчета, быстро пошёл вслед за ними.

Он так привык, что всё совершалось «как нужно», что сначала и в этом любопытстве не заметил ничего особенного. Раньше никогда не казалось любопытным, что говорят прохожие, а теперь стало — вот и всё.

Гимназист и гимназистка вышли на главную улицу и повернули влево. Николай Николаевич пошёл за ними.

Они по-прежнему весело болтали, не обращая на него никакого внимания.

Не совсем ещё длинное форменное платье гимназистки ловко обхватывало её тоненькую полудетскую фигурку. Тёмные волосы выбились из-под соломенной шляпы и закрывали уши. Она почти не поворачивала головы, и Николаю Николаевичу был виден только край розовой щеки, на которой от солнца золотился пушок.

Гимназист повернулся почти в профиль: лицо у него было молодое, улыбающееся, худощавое, но энергичное и смелое.

Николай Николаевич совершенно не мог разобрать, о чём они говорили, но, когда гимназистка смеялась и отворачивалась от своего собеседника, — а Николай Николаевич видел, как вздрагивала от смеха её щека, — он тоже улыбался и бессознательно вытягивал шею, как будто желая заглянуть им обоим в лицо.

Они перешли на другую сторону. Гимназистка почти перебежала, чтобы не попасть под лошадь, и стоя на другой стороне, улыбалась и ждала своего кавалера.

Николай Николаевич так обрадовался, увидав её лицо, точно оно заключало в себе что-то очень нужное и важное для него; даже сердце забилося как-то неприлично, быстро, но приятно, так что он остановился, а потом тоже почти бегом перебежал улицу.

На этой стороне народу было меньше, и Николай Николаевич мог ближе идти за ними и слушать.

— Вы с нами поедете? — спросила гимназистка, повернувшись лицом к своему кавалеру. Она улыбалась и готова была смеяться.

— Нет, не поеду, — отвечал он. Но лицо его так и сияло, так и улыбалось навстречу ей.

Она удерживалась, чтобы не смеяться, и щурилась от солнца:

— Ну, хорошо, я Лукашевича приглашу.

— А я — Нину Ивановну.

Это, очевидно, было страшно смешно, потому что оба они так и прыснули.

— Мы до завода поедем.

— Кто «мы»?

— Я и Лукашевич.

И оба они опять смеялись, глядя в сияющие глаза друг другу.

— А мы до мельницы, — сказал гимназист.

— Кто «мы?» — со смехом передразнила она, махая папкой и задевая его.

— Я и Нина Ивановна.

И снова хохотали они звонко и радостно.

Николай Николаевич, осторожно ступая, шёл сзади них.

Когда улыбались они — улыбался и он, когда они смеялись — он тоже смеялся, тихо, неслышно, закрываясь рукой.

Ему было тоже очень смешно, что вдруг гимназист поедет с Ниной Ивановной, а она с Лукашевичем; и ему было так хорошо на душе, потому что он тоже отлично знал, что этого никогда не будет и что они поедут вместе, будут переглядываться и смеяться до упаду, вспоминая свой теперешний разговор, возбуждая общее недоумение.

Вдруг гимназистка остановилась около подъезда.

— Спасибо. Прощайте, — сказала она.

Николай Николаевич сразу не понял, в чём дело, и так растерялся, что тоже остановился.

Он как-то не думал, что они могут уйти от него, и так скоро. Ему жалко и тяжело стало расставаться с ними.

Он прошёл немного, но вернулся назад, чтобы ещё хоть раз пройти мимо них.

А они всё ещё стояли, держа друг друга за руку.

— Я теперь догадался, кто вам сказал, — говорил он.

— Честное слово, нет... я сама узнала. На кого вы думаете?

— Я не скажу.

— Вы не знаете, — смеясь, говорила она, не отнимая своей руки.

— Нет, знаю. Хотите, скажу?

— Ну, скажите.

— А если верно, вы скажете, что «да»?

— Скажу.

— Честное слово?

Дальше Николай Николаевич не слышал. Когда он оглянулся, гимназистка уже вбежала по каменной лесенке и захлопывала за собой дверь.

Гимназист пошёл обратно. Проходя мимо Николая Николаевича, он мельком взглянул на него. Лицо гимназиста уже не улыбалось, но было радостное и возбуждённое.

А Николай Николаевич ещё несколько раз прошёл мимо этого подъезда, посмотрел на коричневую дверь и, быть может, в первый раз за всю свою жизнь почувствовал себя среди идущей и едущей толпы не только чужим, но и одиноким.

Ему было как-то и странно, и обидно, что жили эти гимназист и гимназистка до сих пор, и он ничего не знал о них. Где-нибудь они познакомились, каждый день виделись, разговаривали, смеялись, и теперь будут видеться, пойдут на лодки, и всё это без Николая Николаевича, и нет им до Николая Николаевича никакого дела. Они даже не заметили его.

Глядя на дом, в который ушла гимназистка, он необыкновенно ясно представлял себе, как она пришла,

бросила папку, как она теперь сидит, разговаривает. Это ощущение чужой жизни и как бы участие в ней было до такой степени ново и непривычно для Николая Николаевича, что он как-то преобразился весь.

Сосредоточенный, низко наклонив голову, ходил он около крыльца, точно дожидаясь чего-то. Как будто здесь именно он мог получить разрешение своих недоумений и покой от тех чувств, которые всколыхнулись в нём, когда он не только узнал, но и сердцем почувствовал, что есть другая, совсем особенная жизнь, к которой он, Николай Николаевич, не имеет никакого отношения.

Он был не только поражён, но и подавлен мыслью, что до сих пор никогда ему не приходило в голову, как живут все те тысячи людей, которых он встречал на своих прогулках; и что такое его жизнь у Аграфены Ивановны в сравнении с их жизнью? Так ли они живут? И зачем, наконец, нужна его маленькая жизнь, когда кругом никто не знает о ней и все живут по-своему, не обращая на него никакого внимания?

Последний вопрос совершенно ошеломил Николая Николаевича.

Быстро, но с непривычки неуклюже неслись в голове его мысли. Это были даже не мысли, а ряд тяжёлых, странных и мучительных вопросов, которые ещё больше заставляли Николая Николаевича чувствовать, что он остался на улице совершенно один, что его никто не знает, что нет до него никому никакого дела, что гимназистка совсем чужая ему, и что жизнь его там, у Аграфены Ивановны и в канцелярии, вместе со всей полицией, совершается где-то не здесь, в этом шумном городе, а далеко-далеко отсюда, и что Николай Николаевич никогда не знал этого.

Медленно, весь отдавшись своим новым открытиям, шёл он, но не домой, а дальше, вдоль главной улицы. Ему хотелось уйти куда-нибудь, но не как раньше, чтобы его не задевала окружающая жизнь, а так, чтобы где-ни-

будь, в стороне и от своей, и от чужой жизни, решить наконец, что же с ним случилось и что он узнал.

Он свернул с главной улицы и пошёл в городской сад.

В городском саду всё зеленело и было полно пробуждающейся жизни.

Мягкая, густая трава, яркие жёлтые цветы, молоденькие кустики с такими же молоденькими, остренькими листиками, тоненькие берёзки, ослепительно-белые, точно вымытые дождём, коренастые дубы, едва распутившие красноватые почки, нарядные и благоухающие тополя, жёлтые, залитые солнцем дорожки — всё это слилось во что-то одно целое, свежее, яркое и молодое.

Птицы щебетали наперебой друг перед дружкой; слышались и трели, и свист, и щёлканье, — все пели по-разному; но и в пении их слышалось что-то одно, общее, до того радостное, даже ликующее, что казалось, и солнце потому светило так радостно и тепло.

И солнце, и сад, и тысячи поющих на разные лады птиц — всё жило одной радостной жизнью, всюду была весна!

Только что вошёл Николай Николаевич в сад, как его окрикнул Кривцов:

— Эй, Николай-чудотворец, гуляешь, а? Весна-то, брат!.. Пойдём, выпьем.

В первый момент, при звуке знакомого голоса, Николай Николаевич почувствовал совершенно такое же чувство досады, какое он испытывал раньше в гостях, когда чужая жизнь пыталась ворваться в его жизнь, но потом ему стало приятно. Знакомая, смешная фигура Кривцова и всё, что с ней было связано, быстро охватило его своей привычной атмосферой.

— Ты куда же? — спросил он Кривцова.

— В кабак... Весну встречаю. Ну, день! Сверхъестественный день! Пойдём, право, выпьем? Был уже один Николай святой — будет, — смеясь, сказал он, скаля зубы и передразнивая околоточного Буракова.

Николай Николаевич почувствовал такую близость к Кривцову, и так ему хорошо было с ним, что он хотел уже согласиться с ним пройтись, как вдруг Кривцов сказал:

— Знаешь новость?

— Какую новость? — встревожился Николай Николаевич.

— Фирсова переводят в Т.

— Как переводят? Зачем?

— Повышение, брат, — становым назначили... Пойдём, выпьем. Весна, птицы поют, Фирсова переводят, право!.. А почему, когда идёт дождь, все распускают зонты?

Кривцов быстро надулся, вытаращил глаза и растопырил руки.

Но Николай Николаевич не заметил шутки.

С ним произошло что-то странное. Когда Кривцов сказал о назначении Фирсова, он быстро вспомнил сегодняшнюю молодую парочку, и ему показалось, что между тем и другим есть какая-то связь... Он не думал этого, а, скорее, почувствовал, и ему стало страшно-страшно, как будто вот-вот должно что-то случиться невероятное, нелепое, против чего он, Николай Николаевич, ничего не может сделать.

— Так его переводят? — сказал он, чтобы сказать что-нибудь.

— Да, брат, переводят. Десять лет служил, всё время на одной и той же квартире жил, и вдруг тащись Бог знает зачем! А он, чудак, прыгает от радости, как заяц. С радости запил, говорят. Так пойдём, что ли, а?

— Нет, я погуляю, — задумчиво сказал Николай Николаевич. — Погуляю, — повторил он.

— Ты сегодня чудной какой-то, точно подстреленный тетерев. Ну, прощай, а я, брат, сегодня лихо... Завтра службу к чорту! — и он, поправляя накинутое пальто, которое съехало с одного плеча, посвистывая, пошёл к выходу.

Так называемый «городской сад» больше был похож на парк или даже на лес. В самом начале его были ещё

понаделаны дорожки, скамейки, кое-где посажены цветы, но дальше, за оврагом, начинался уже настоящий лес, который безо всякого забора крутым обрывом спулся к реке. Около этого обрыва тоже была сделана скамейка, потому что сюда часто ходили смотреть на открывавшийся вид.

На первом плане была река, не широкая, но глубокая и быстрая.

Резкими зигзагами обвивала она город, то глубоко врезываясь в него, то, словно испугавшись, убегая и прижимаясь к обрыву сада. Дальше начинался город. Он возвышался полукруглым амфитеатром и был похож на крепость, каменную и немую, которая вся, без стеснения, сознавая свою силу, открывалась перед взором.

Мелкие, по преимуществу белые дома плотно-плотно жались один к другому, издали сливаясь в сплошные, полукругом идущие линии. Садов почти не было видно, они были на другой стороне.

Много народу смотрело отсюда на город, и обыкновенно все задумывались. Город производил впечатление чего-то сурового, враждебного и чужого. Не верилось, что именно здесь живут так хорошо знакомые Иван Иванович и Анна Ивановна, что в этом большом целом происходят все так хорошо знакомые мелочи. Город казался торжественным и важным.

А вечером, когда зажигались огни, он был страшен своей темнотой, едва белеющей громадой, тысячью огней, угрюмо и пристально смотрящих из темноты, и каким-то бледным, мерцающим светом, который разливался под ним.

Река была видна только около самого сада, и казалось тогда, будто она, испуганная и слабая, близко-близко прижимается к обрыву, испугавшись тёмного города...

Николай Николаевич не любил этого обрыва, но теперь его тянуло к нему. Он дошёл до скамейки, сел и даже с любопытством стал всматриваться в даль.

Новым, как и всё сегодня, казалось ему то, что он видел.

Он ни о чём определённом не думал, но в нём, в глубине души, что-то происходило, сложное, большое... Оно всё сильнее и сильнее наполняло его, и он уже не противился, а отдавался весь этому растущему чувству — слабый, сгорбленный, не привыкший ни о чём рассуждать или думать...

Он посмотрел на реку и вдруг вспомнил гимназистку. И не только вспомнил, а увидал её всю, какая она есть: в коричневом полудетском платье, в соломенной шляпе, с выбившимися волосами, с папкой в руках, которой она задевала гимназиста, и с розовой, дрожащей от смеха щекой.

Николай Николаевич стал мечтать — мечтать или даже фантазировать, как мечтают и фантазируют только очень молодые люди и как он не фантазировал никогда во всю свою жизнь. Этот новый, неожиданный процесс, возможность которого он не подозревал не только у себя, но и вообще у кого бы то ни было из людей, так захватил его, что уж ничего не видал он перед собой: и речка, и город слились в какое-то сплошное расплывшееся пятно. Сердце резко, до боли сильно колотилось в груди, а он напряжённо, задыхаясь, следил, как странные, невероятные вещи представляются ему. Он следил за ними, как будто не он сам представлял себе всё это, а кто-то другой показывал ему.

Ему представлялось, что гимназистка не чужая ему, а что это его родная, собственная дочь, но что она гораздо моложе, носит совсем коротенькое платье, не учится в гимназии, что шляпа у неё с длинными лентами и что она, такая же весёлая, улыбающаяся, с тёмными, пышными волосами, бегают по берегу реки и рвёт цветы. А он, Николай Николаевич, идёт сзади под руку со своей женой. Он боится, чтобы дочка не замочила ног, а та нарочно близко-близко подбегает к воде, которая почти касается её.

Река эта не здесь, и город не такой большой и страшный, где столько чужих, где каждый живёт своей особенной жизнью.

Эта река и город где-то очень далеко. Николай Николаевич никогда и не видал таких рек. Она — широкая, тихая. А город — маленький, с тремя церквями и весь расположен по её берегам.

Николай Николаевич пришёл в себя и тяжело вздохнул.

«Господи, что это со мной?» — подумал он.

Нервная дрожь пробежала по его телу. Ему было холодно. Кружилась голова.

И ему уже хотелось вернуться назад, ни о чём подобном не думать, как раньше, успокоиться и жить изо дня в день по привычке... Он делал страшные усилия вспомнить своих товарищей, свою низенькую комнату. Но деревья, на которые он смотрел, расплывались, уходили куда-то в сторону, и перед ним прыгала маленькая, совсем маленькая девочка, очень похожая на гимназистку. Она лепетала что-то непонятное слабым детским голоском, шлёпала пухленькими, кругленькими ручками и тянулась к нему.

У Николая Николаевича сердце замирало в груди; ему чудилось, что всё это наяву. И нежное, непривычное чувство охватывало его к этой слабенькой, начинающейся жизни. Хотелось ему качать её; высоко-высоко поднять её на своих руках, прижаться к ней, к тёпленькой, маленькой, всей своей грудью и лицом...

И казалось ему, что она на его руках, что она гладит ему бороду и лицо и заливается-смеётся беззубым ротином.

Николай Николаевич опять спохватился.

«Да что же это такое, наконец? Откуда это?.. А всё это могло быть», — весь проникнутый новой жизнью, подумал он. «Может быть, и будет?» — неожиданно промелькнуло у него в голове.

Раньше он мечтал, переживая мучительное болезненное чувство, которое терзало его. Он видел свою дочку, как видел бы её, если б она умерла и он стал вспоминать о ней. Теперь он стал фантазировать радостно, охотно отдаваясь своим мечтам.

«Вдруг меня назначат в какой-нибудь уездный город, — мечтал он, — встречу я с какой-нибудь девушкой. Она меня полюбит. Любят же других. Начнётся у меня новая, совсем новая жизнь...»

Николай Николаевич всем своим существом чувствовал эту новую жизнь.

Уставшему от серого однообразия жизни, почти старому человеку так хотелось этого нового, молодого счастья, о котором ещё никогда не мечтал он. Рисовался ему и удобный домик с садом, и всё хозяйство, и дочка, и хорошие знакомые люди. Хотелось ему увидеть около себя не женщину, а любящую и жалеющую его жену, чтобы знал он, хоть раз в жизни, что кому-то не безразлично — ушёл он или нет, болен он или здоров, что есть человек, который живёт с ним одной жизнью, радуется и страдает вместе с ним, что он не одинок.

«Разве это так невозможно? — снова думал Николай Николаевич. — Только бы назначили куда-нибудь в другой город. Назначили же Фирсова...»

И ему всё возможней и возможней казалось такое назначение.

Тогда он начал с особенным удовольствием представлять себе каждую мелочь своей новой жизни. Все эти мелочи были так очевидны, так близки и так возможны, что назначение, от которого всё это зависело, начинало казаться ему не только возможным, но неизбежным.

Весь взволнованный, с трясущимися руками, встал Николай Николаевич и пошёл вглубь сада.

«После обеда я буду ходить гулять, — думал он, — а не спать, как теперь. Заведу собаку, буду охотиться: стрелять очень легко можно выучиться. Летом буду приглашать к себе Кривцова».

Внимание его чем-нибудь отвлекалось; он видел тогда, что идёт по городскому саду, в котором бывал почти каждое воскресенье в течение семнадцати лет, и скорее снова спешил отдаться мечтам.

— Ведь назначение обязательно будет, — почти вслух говорил он, быстро идя по дорожке. — Не может быть, чтобы всё это не случилось.

И назначение придвигалось всё больше. Николаю Николаевичу казалось, что вот он придёт домой и найдёт бумагу. Насчёт Фирсова вышла ошибка, это Николай Николаевич назначен становым приставом, так как он дольше его служит и числится самым исправным чиновником.

— За семнадцать лет я месяца не пропустил и никогда не брал отпуска.

И тут же подумал: «А вдруг назначения не будет?»

— Да будет же, будет! — с отчаянием, трясаясь как в лихорадке, твердил он.

И ему хотелось сделать что-нибудь такое, что бы окончательно прогнало сомнение и заставило поверить, что назначение будет.

— Ведь оно будет, нужно только не мучиться, *покуда* оно не пришло.

Это «покуда» страшно обрадовало Николая Николаевича.

— Покудова, именно покудова! Но потом оно придёт, непременно придёт.

Навстречу Николаю Николаевичу опять показался Кривцов. Пальто его совсем сползло. Он был пьян и сильно пошатывался.

Николай Николаевич почти побежал ему навстречу. Ему хотелось сейчас же рассказать всё, что он пережил и передумал.

— А, Николай-угодник! — улыбался ему навстречу Кривцов. — Выпьем, брат... Право...

— Выпьем, — согласился Николай Николаевич, тряся его руку.

— Правда?.. — уставился на него Кривцов, удивлённый необычным ответом.

— Разумеется... Я, брат, назначение получаю... я, понимаешь... приставом...

Николай Николаевич задыхался. Кривцов вытаращил глаза:

— Ты?.. Врёшь!...

— Верно... Честное слово... Выпьем? Напьемся с радости...

— Что ж это ты давеча не того, брат?..

— Нарочно я, понимаешь... Честное слово... Ну, выпьем!..

— Выпьем... Конечно... Уррра!... — заорал Кривцов: — Николка, брат... Семнадцать лет вместе были... расстанемся, значит... Ну, чорт с тобой... Семнадцать лет... А я опять останусь... Пить буду... Весна... Жизнь, брат... Эх, брат, Николка!..

— Идём, идём, — торопил Николай Николаевич и тянул его за рукав.

— Идём, верно... Семнадцать лет, брат... это... это целая жизнь!..

Николай Николаевич два дня не ночевал дома.

Аграфена Ивановна сначала перепугалась, не случилось ли с ним какое-нибудь несчастье, но потом пошла в полицию и узнала, что он запил.

В первый момент это её поразило как совершенная неожиданность, но потом, не вдаваясь в исследование, почему произошло такое необыкновенное явление, она, тоже привыкшая, что если что-нибудь случается, то, значит, так и нужно, покорно помирилась с фактом.

Каждый день накрывала она прибор и ждала своего жильца к чаю, к обеду и к ужину.

На третий день, только что все поужинали и Аграфена Ивановна убрала со стола, оставив один накрытый прибор, в стеклянную входную дверь с улицы постучались.

Аграфена Ивановна с лампой в руках пошла открывать.

Это был Николай Николаевич.

Когда дверь распахнулась, Аграфена Ивановна при свете лампы увидела около крыльца телегу, возле которой возилась чья-то тёмная фигура.

— Чья это лошадь-то? — спросила она, запирая дверь.

Николай Николаевич молчал и тяжело отдувался, снимая пальто.

Он разделся и пошёл в столовую. При входе в неё он сильно покачнулся, но удержался за край стола и грузно сел на стул.

Аграфена Ивановна молча поставила на стол лампу и села против него.

Николая Николаевича трудно было узнать. Он был грязный, растрёпанный. Галстук развязался, и измятая манишка наполовину расстегнулась. На одной щеке было круглое синее пятно, отчего глаз стал больше и смотрел как-то необычно серьёзно.

— Батюшка, Николай Николаевич, что это с вами, — проговорила Аграфена Ивановна, с любопытством и внутренней тревогой осматривая его, — я уж думала, несчастье какое не случилось ли. В полицию бегала.

Он молчал и в упор смотрел на неё.

— Ужинать будете, Николай Николаевич?

— До свидания, — тихо сказал он.

— Поужинаете, выспитесь, и пройдёт всё.

— До свидания!.. — угрюмо повторил он.

— Что вы, Николай Николаевич, Господь с вами!

— Уезжаю я... Прощайте, Аграфена Ивановна.

— Уезжаете! Куда? Господи, помилуй...

— В Берёзово... Переводят... Спасибо вам за всё, спасибо, Аграфена Ивановна, за всё... Лихом меня не помяните... Здоровы будьте.

— Повышение, значит?

— Да... Секретарём полиции... Хорошенький городок, маленький, всего десять тысяч жителей... Речка... Весело будет...

И он тихо засмеялся, а из глаз его по осунувшимся щекам побежали слёзы.

Теперь Николай Николаевич уже не мог верить собственной своей лжи, как в городском саду при разговоре с Кривцовым. За эти дни непривычного пьянства он чувствовал, что эта мечта, делавшая его счастливым, бесповоротно ускользает от него. И чем яснее сознавал он это, тем дальше шёл в своих желаниях поддержать иллюзии. Он сходил на постоялый двор, нанял ломовика увезти вещи от Аграфены Ивановны, чтобы всё было так, как он сделал бы, если бы получил настоящее назначение. Это было последнее, самое крайнее средство ещё хоть на один миг сделать мечту действительностью. Что будет дальше — он не хотел думать.

Аграфена Ивановна сидела опустив руки.

Налетало это так неожиданно. Она, как и Николай Николаевич, привыкла, чтобы жизнь шла по определённому руслу, и теперь сразу не умела сообразить, что такое происходит. Она чувствовала себя беззащитной и слабой, как не чувствовала себя давно, со времени смерти своего мужа.

— Ужинать-то будете? — сказала она, торопливо вставая.

— Спасибо... Не буду я, вещи помогите вынести... к Кривцову свезу... Сегодня уезжаю я...

Они помолчали.

За окном фыркала лошадь. Через полуотворённую дверь было слышно, как в кухне возились ребятишки.

— Нет, мне начинать, — говорил Коля.

— Ты уронил мячик, уронил, — спорила с ним сестра.

Николай Николаевич встал и пошёл в свою комнату. Аграфена Ивановна тихо пошла за ним помогать уложить вещи. Оба они молчали и были сосредоточены. Аграфена Ивановна аккуратно укладывала всякую мелочь, что-

бы ничего не разбилось и не испортилось. В полчаса совершенно разорили они маленькую комнатку. Странный, непривычный вид приняла она — точно состарилась.

— Выносить? — спросила Аграфена Ивановна.

Николай Николаевич молча взял подушки и понёс их в прихожую. Аграфена Ивановна взяла остальное.

В прихожей Николай Николаевич надел пальто. Потом вошёл в столовую и снова сел.

— Прощайте, Аграфена Ивановна, — сказал он, — теперь навсегда... может, никогда не увидимся!..

— Кто знает... — вздохнула Аграфена Ивановна, — может, и придёте как-нибудь.

— Прощайте... лихом не поминайте...

Слёзы уже не текли по щекам Николая Николаевича, они капали тяжёлыми каплями на его руки и бороду.

— Привык я, — заговорил он, глотая слёзы и трясущейся рукой утирая лицо, — привык... Десять лет жили душа в душу... родные мне все... Ну, прощайте, — решительно сказал он, вставая. — Жалко мне... всех вас, и комнатку, и «подковку», — почти шёпотом добавил Николай Николаевич.

Из кухни вышли Маша с Колей.

— А! детки!.. прощайте, голубчики. Николку будете помнить? Милые... прощайте... Несчастный я! — вдруг почти крикнул он.

И подойдя к Аграфене Ивановне, взял её за плечи, хотел нагнуться, чтобы поцеловать её, но вместо этого прижался головой к ней и стал рыдать, трясясь всем своим костлявым телом.

— Николай Николаевич, дорогой, полно, что это?.. Вы назначение получаете, радоваться надо. Новых людей найдёте... Привыкнете снова, — сквозь слёзы говорила Аграфена Ивановна.

— Голубушка... несчастный я... — лепетал он, судорожно прижимаясь к ней, — голубушка, Аграфена Ивановна... жаль, родная моя... не могу я...

Дети с недоумением смотрели на Николая Николаевича; из-за двери выглянул другой жилец, молодой приказчик; с улицы к тёмному окну прижималось широкое лицо извозчика: ему, видно, наскучило ждать.

Николай Николаевич сразу притих. Поцеловал Аграфену Ивановну, обоих детей. Молча взял шляпу и, сильно шатаясь, отворил входную дверь. Аграфена Ивановна с лампой вышла на крыльцо провожать его.

Вещи уложили на телегу. Николай Николаевич сел на задок.

— Прощайте, Николай Николаевич, спасибо вам, — сказала Аграфена Ивановна.

Он ничего не ответил.

— А то остались бы, ужинали...

Телега, поскрипывая, медленно задрезжала по двору.

Аграфена Ивановна постояла на крыльце, покуда сторож не затворил ворота, потом заперла дверь, прошла в пустую комнату Николая Николаевича и отворила окно.

Долго сидела она там, подавленная тяжёлой, тёмной, непонятной для неё силой.

И за окном было темно и тихо.

Через месяц Николай Николаевич снова поселился у Аграфены Ивановны.

В полиции никто, кроме Кривцова, не знал об его приключении.

Но Кривцов, любивший посмеяться и позубоскалить, ни разу не напомнил ему этого случая.

Сам Николай Николаевич, сидя за своим столом у открытого окна, часто задумывался о том, что такое произошло с ним, и никак не мог понять этого. И всякий раз, глядя на качающуюся ветку липы, он испытывал какое-то странное, тревожное чувство.

«Как-то фантастически всё является», — думал он, ниже нагибаясь над бумагой и особенно старательно выводя мелкие или крупные буквы...

СОЛДАТ ЗАДУМАЛСЯ...

В деревне Гремячеве усмиряли крестьянский бунт.

Взбунтовались крестьяне, как это всегда бывает, из-за земли. У помещика под одной озимью было несколько тысяч десятин, а у крестьян приходилось на душу едва две десятины.

Терпели-терпели крестьяне, читали-читали указы, в которых им «подождать» советовали, да не вытерпели: ворвались в усадьбу, увезли хлеб, сено, угнали лошадей да сгоряча и дом подожгли.

Через два дня пригнали драгун. Они полдеревни выжгли, крестьян перепороли, человек десять ранили, нескольких убили, а «зачинщиков» арестовали и посадили в самую крайнюю избу. У дверей поставили стражу, молодых солдат Василия Горбунова и Николая Арбузова.

Окна в избе были открыты, и из них арестанты мрачно поглядывали на улицу.

Солдаты с винтовками молча прохаживались взад и вперёд вдоль избы.

Было ненастье, и мелкий, холодный дождь барабанил по железной крыше и жёстким солдатским курткам. Из деревни доносились чей-то плач и ругань.

— Солдат, а солдат? — окликнул из окна один из арестантов, сухой, высокий старик с острыми, пытливыми глазами и глубокой, свежей царапиной поперёк нахмуренного лба.

Василий Горбунов нехотя остановился и молча повернулся к окну.

— Откуда пригнали-то?

— Откуда?.. Из губернии. — И он снова сделал было несколько шагов.

— Из губернии, знаю я. Родом-то откуда ты?

— Калужские.

Он отвернулся, видимо, не желая продолжать разговор, и стал смотреть на деревню, откуда шли несколько пьяных солдат и под звуки хриплой гармонии горлачили какую-то песню.

— Из Калуги, — в раздумьи повторил старик, — бывал я там, как же. В деревне Липовках. Сын мой там у Безрукова барина служил.

— Не далеко от нас Липовка-то, — сказал солдат и придвинулся к окну: — Село Первова знаешь?

— Знаю, как же.

— Ну вот, я из Первова.

— Из Первова? Вот дела-то. А у вас тоже, слышь, бунт.

Солдат совсем близко подошёл к окну и опустил ружьё.

— Да что ты, — тревожно проговорил он. — Неужто правда?

— Бунт, верно говорю. Помещика Сазонова знаешь?

— Ещё бы не знать.

— Ну так вот у этого самого Сазонова крестьяне хлеб увезли, плотину спустили, а мельницу сожгли.

Солдат засмеялся и тряхнул головой:

— Молодцы: не барин — собака, прямое дело собака!

— Да, — продолжал старик, — сожгли мельницу. Как сам убёг — удивляются. За десять целковых телегу нанял и марш в город.

— Ловко! — широко улыбаясь, поддакивал солдат. — Десять рублей содрали, ничего. Ай да наши, первовские. Это Митька, уж я знаю, лихой малый.

— Приехал в город — прямо к губернатору. На следующий день погнали туда солдат.

— Да ты откуда знаешь-то? — недоверчиво спросил солдат.

— Откуда? Сын мой в солдатах там, он и писал, его тоже погнали туда. Что только там делалось! Перепороли всех хуже здешнего. Детей перерезали, стариков в воде потопили, разграбили всё дочиستا.

Солдат слушал, тяжело мигая глазами и бессмысленно уставившись на старика.

— Как же это? — невольно вырвалось у него.

— Да как? Вот как здесь — пригнали вас, вы нас и перепороли. Вы здесь нас убиваете — а в Калуге наши дети вас убивают.

— Служба, присяга... — дрогнувшим голосом бессвязно забормотал солдат.

Старик нахмурился:

— Нет, какая там присяга. Мы все от рождения нашего Христу присягнули. Значит, безбожного дела не должны делать. Присяга! Просто дураки вы.

Солдат не возражал и, понуря голову, покорно слушал суровый голос старика.

— Какую присягу पहले исполнять нужно — Богу или другому кому?! На присягу нечего сваливать. Темнота!..

— Мы здесь стережём вас, — в раздумьи вымолвил солдат, — а там, может, твой сын моего отца пристрелил.

Солдат, волоча ружьё по мокрой земле, медленно отошёл от окна, ушёл далеко от избы и стал тяжело и бессвязно думать. Он чувствовал, что старик прав, что от темноты это, — но думать как-то не мог.

А перед глазами вставали знакомые места близ села Первова, мельница, усадьба Сазонова — и тревога поднималась и росла. Целы ли все — мать, сестра, отец?

Он остановился, сел на бревно и глубоко-глубоко задумался.

— Эй, Васька, офицер идёт! — окликнул его Николай Арбузов.

Василий встал и поплёлся к избе, где сидели арестанты.

СТАРЫЙ ЧОРТ

Святочный рассказ

Морозно и тихо. Улицы совсем опустели; кому охота выходить из дому в Рождественскую ночь!

Уныло плетутся извозчики. Городовые с заиндедевшими усами переминаются с ноги на ногу. Да где-нибудь у ворот мелькнёт, как тень, фигура нищего, озябшего, напрасно старающегося спрятать свои руки в узкие рукава...

Зато окна домов так и горят. Там, должно быть, очень светло, тепло и весело.

Ещё бы: такой праздник!..

По одной из улиц, на самой окраине города, шёл Чорт.

Он прошёл уже через весь город и направлялся к заставе.

Это не был тот легкомысленный чорт со вздёрнутым хвостом и острыми рожками, о котором нам так часто рассказывают.

Нет. Чорт был старый. С лицом усталым и измученным. Хвост его бессильно волочился по тротуару. Сутулая, мохнатая спина покрылась инеем. Плечи были опущены. Видимо, он совсем отдался своим думам и ни на что не обращал внимания.

Лицо Чорта до странности похоже было на человеческое. Не было в нём ничего безобразного, злобного. Печальные, уставшие глаза, старческие морщины на

щеках, на лбу — седые волосы. Во всей фигуре — безграничное утомление. Его можно было принять за бездомного старика, одинокого и жалкого, которого тоска выгнала из дому и которому некуда идти. И вот он бесцельно бродит по опустевшим улицам...

Медленно переставлял он свои костистые ноги и низко-низко опустил голову.

Чорт думал: «Ну и времена настали... Весь город прошёл, ни одного человека нет, которым бы стоило заняться... Мелким бесам и то делать нечего... срам... Разучишься зло творить... В один дом сунулся, в другой... хозяева давно готовы!.. Да и то сказать: с ними один бес-подросток справился бы, а тут полон дом бесенят... Жужжат, как пчёлы... Времена!.. Тоска без дела... Жить незачем...»

И, чтобы хоть сколько-нибудь развлечься, Чорт стал смотреть в освещённые окна домов, мимо которых проходил.

Всюду по окнам прыгали мелкие бесы; узнавали Чорта, кланялись ему.

Он отворачивался и брезгливо морщился...

Дома потянулись всё ниже и ниже, одноэтажные, деревянные, точно вросшие в землю. Улица стала ещё пустыней и шире. В окнах темнота или тусклый свет сквозь замерзшие стёкла.

Вот и застава.

Чорт хотел было повернуть на шоссе. Вдруг остановился.

Почудилось ему что-то странное.

Чем-то давно забытым повеяло на него. Не может быть... это так... показалось... Вспомнилось прошлое — вот и показалось...

Но нет — странное ощущение всё усиливалось: Старый Чорт ясно почувствовал близость праведника...

«Ну, так и есть, здесь, — подумал Чорт, спускаясь в подвальный этаж по узкой, тёмной лестнице. — Все

ноги переломаеть... И что за манера у этих господ забиваться в подвалы...»

Чорт ворчал, но шёл с страшным любопытством. Уже давно не встречал он праведника. И хотелось ему узнать: такой ли теперешний праведник, как и тысячу лет тому назад?..

Отворил дверь.

В каморке было почти темно. На деревянной койке лежал молодой человек, заложив за голову руки, и смотрел в темноту, как раз на то место, где стоял вошедший Чорт.

Лицо у молодого человека было бледное и худое. Под глазами синие круги, тёмные волосы мягкими прядями лежали на лбу.

«Та-ак-с: голодный и больной, — думал Чорт, рассматривая молодого человека. — Мало ли их, голодных-то... Да... Чувствую — праведник, а почему — не поймёшь...»

Потянул воздух: нет ли запаха ладана. Нет, не пахнет.

Чорт пристально стал всматриваться в глаза молодого человека.

И заметил он в них какой-то тихий восторг. Точно перед глазами его были не сырые каменные стены и не тяжёлая полутьма, а роскошные стены дворца и ослепительный свет солнца.

Губы его не улыбались и были плотно сжаты, на лбу морщины. И всё-таки печать серьёзного, большого счастья легла на его лицо.

«Молится он, что ли?.. — размышлял Чорт. — Нет, не похоже... любопытно... да... Не знаешь, как и подойти... Что-то новенькое... В душу надо заглянуть...»

И Чорт заглянул в душу.

Заглянул — и от изумления отшатнулся.

...Солнце радостно сияло над землёй. Небо было голубое и нежное. Пели птицы, и ещё какие-то новые, незнакомые звуки наполняли воздух. Зелёные, бар-

хатные поля были покрыты множеством белых цветов. И шли люди в светлых одеждах, радостные и чистые. Шли, взявшись за руки. И говорили на новом языке... Не было на лицах их ни скорби, ни следов страстей, ни печати смерти. Это были свободные люди. Радостные, как солнце и небо. И шли они по великой дороге вечного совершенства...

Понял Чорт, почему был такой восторг в глазах молодого человека.

И решил Чорт так:

Человек этот праведник потому, что лежит голодный, больной в каменном подвале и мечтает о земном рае для человечества. Завладеть душой его — можно только через отчаяние. Безобразна действительность вокруг него. Надо сделать её ещё хуже. Он болен и голоден и лежит в подполье. Этого мало. Надо истерзать его больное тело. И придёт он в ужас и убьёт себя. И погубит свою Душу.

Махнул Чорт рукой, и за дверью послышался шум, пьяная брань и крики. Стучали кулаками в стену.

Молодой человек с недоумением приподнялся на постели.

Дверь распахнулась, и ворвались люди.

С бессмысленным криком бросились они к его постели. Стащили на пол и стали бить по спине, по лицу, по больной груди. И смеялись, и спрашивали: — Не хочешь ли убежать от нас? А?..

И снова били и пинали ногами.

Лицо молодого человека стало белым как снег, из углов рта текла красная кровь. Он задыхался от боли, но не стонал и не говорил ни слова.

И тогда один из людей схватил со стола подсвечник и ударил им по голове.

«Будет, — подумал Чорт, — а то до смерти заколотят, только позволь».

И махнул рукой Чорт, и снова стало тихо.

Молодой человек лежал в глубоком обмороке. Чорт поднял его, положил на кровать.

Чорт ждал...

Молодой человек медленно открыл глаза. Застонал. Снова закрыл веки. Назвал кого-то по имени...

Темно, тихо...

«Надо заглянуть в душу», — с любопытством и неуверенностью снова подумал Чорт и отшатнулся ещё с большим изумлением.

...Точно весенний дождь прошёл. Кровь омыла всё. И ещё чище было голубое небо. Ещё радостней горело солнце. Поля блестели как изумруд. И белые цветы светились, как драгоценные камни. И люди по-прежнему шли, взявшись за руки. И ещё большим восторгом сияли их лица...

И Чорт задумался: «Новое что-то... Д-да... Надо сообразить... дело выходит интересно...»

И Старый Чорт почувствовал, как бывало в молодости, что его охватывает вдохновение...

«Надо сообразить... Надо сообразить...»

Долго стоял Чорт в глубокой задумчивости. Не двигался. Только глаза его разгорались и высоко поднималась мохнатая грудь.

И вот встряхнул головой. Помолодел. Преобразился. И, как будто желая проверить своё решение, нагнулся к самому лицу молодого человека. Спина согнулась горбом. Худые старческие плечи поднялись. Шея напряжённо вытянулась. Острые глаза так и впились в худое, измученное лицо. «Так, так... Конечно, так...» — точно уверяя самого себя, говорил Чорт, и от радостного волнения у него даже дрожали ноги.

И махнул Чорт рукой, и разом исчезли стены каморки. И молодой человек услышал страшные крики.

Люди, только что ворвавшиеся в его комнату, были на площади связанных людей.

Кожа на спине, на груди, на ногах вздулась багровыми буграми, из рассечённых ран падала на землю тёмная кровь, связанные руки и ноги судорожно напрягались. Безобразный, хриплый вой стоял над площадью. В нём нельзя было узнать человеческий голос. Это уже были какие-то глухие, конечные звуки:

— Ууу!.. Ууу!..

— Ууу!.. ууу!..

Молодой человек лежал не двигаясь. Только на лбу его надулись жилы. И грудь сжимала судорога.

И вдруг заметался он на своей постели и закричал:

— Оставьте! Оставьте! Оставьте!..

Но между ним и площадью точно каменная стена стояла, и голос его не доходил до площади.

И он продолжал биться на постели и кричал как безумный:

— Не мучайте их!.. Не смейте!.. Оставьте!..

Но люди на площади хохотали над связанными и спрашивали их:

— Убежать не хотите ли? А?..

И топтали ногами связанных и смешивали кровь с грязью...

И по-прежнему глухой, нечеловеческий стон стоял над площадью:

— Ууу!.. Ууу!..

Молодой человек приподнялся на постели и, задыхаясь, стал разрывать свою грудь руками. Как иступлённый кричал он:

— Не могу я!.. Перестаньте!.. Возьмите меня!.. Не могу!..

Он искал кругом, чем бы можно было убить себя. Судорожно хватался за что ни попало. На столе лежал тупой обломок ножа, и он взял его и крепко стиснул в руке...

И исчезла площадь...

В маленькой, сырой каморке тихо лежал молодой человек с перерезанным горлом...

Чорт отворил дверь и медленно поднялся по узкой, тёмной лестнице. Он вышел на улицу, прошёл заставу и повернул на шоссе.

Чорт знал, что, по закону, душа самоубийцы идёт в ад, и мог праздновать полную победу.

Но почему-то не испытывал он никакой радости. Даже сам удивлялся: «Должно быть, стар стал — не иначе... Стар!.. Ну а посмотрел бы я, как с таким праведником справились бы нынешние молодые!.. Они бы до смерти его заколотили, а он бы только радовался. И прямо в рай... Тут жалостью надо взять... Жалостью до окончания довести...»

И чувство, похожее на радостное торжество, шевельнулось в его старой груди. Но сейчас же опять стало тоскливо... «Устал, должно быть... Отдохнуть надо».

По правую сторону шоссе начинался сосновый лес. Старый Чорт свернул с дороги и пошёл по лесу. Он выбрал себе местечко поудобнее на низком молодом ельнике, под старой, дуплистой сосной. Снег хлопьями навис на густой пихте, и морозные иглы блестели на тёмном стволе.

Чорт сел и задремал...

— Эй, эй, дедушка! — кричали со всех сторон. Мелкие бесенята тормозили Старого Чорта:
— Проснись! слышь, что ли!.. В ад зовут... Приказ от Дьявола... Проснись же, ну!..

Насилу растолкали.

— Что? В ад?.. — бормотал спросонья Чорт.

— Да, да! — торопили его. — Идём. Дорогой всё расскажем.

И они быстро пошли из леса. Старый Чорт еле поспевал за ними своими тяжёлыми, костистыми ногами.

Дорогой мелкие бесы рассказали, что Дьявол страшно разгневан. Что, будто бы, Старый Чорт сегодня ночью сделал одну душу святой...

Чорт остановился поражённый:

— Святой?! Самоубийца!..

— Да, да, — тараторили бесенята. — Какой-то новый циркуляр... Вообще, подробностей мы не знаем... Только что, весь ад в тревоге... Новый святой...

— Самоубийца — святой!.. — бормотал Чорт. — Ну, это мы ещё посмотрим... Новшества пошли всё... Д-да!..

И снова опустил он свою усталую спину и шёл, едва волоча старые ноги по морозному, скрипучему снегу...

А на небе звёзды становились бледнее. Рождественская ночь шла к концу.

ИЗ ДНЕВНИКА «СТРАННОГО ЧЕЛОВЕКА»

Отрывок

Я не ел три дня. Я страшно голоден.

Но, милостивые государи, я горд. Да-с, горд! И никогда не пойду просить куска хлеба. Вы, может быть, думаете, что это простой самообман? Что мне всё равно никто не даст хлеба? И я себя утешаю, что, мол, сам не хочу, из гордости не хочу, а если бы захотел этого, сейчас и преподнесли бы мне три блюда, а на самом деле, хоть бы и попросил, всё равно никто ничего не даст.

Думайте что угодно. Простите за откровенность: мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я-то сам великолепно знаю, что я горд, — и оставим это!..

Но штука вся в том, что сегодня в двенадцать часов загудят колокола и запоют «Христос воскрес». В церквах будет много куличей и пасок и крашенных яиц. Очень красиво, когда всё это уставят на деревянных подставках и зажгут свечи. В детстве я так любил смотреть на освящение пасхи! Больше всего любил... даже больше пения «Христос воскрес»... Пахнет ладаном, пихтой и свежим сдобным хлебом... Колокола поют... Весенний воздух в раскрытые двери врывается, как белая птица на призрачных крыльях...

Чушь всё это, милостивые государи! и не об этом я совсем хочу сказать: люди после заутрени, то есть порядочные люди, разумеется, разговляться пойдут.

А мне жрать нечего! Понимаете ли вы, что это значит?.. Нечего, нечего, нечего!.. Экое проклятое слово!.. Ну пусть бы ветчины не было... Конечно, какая Пасха без окорока? Когда я был маленький, у нас всегда окорок обкладывали зеленью и цветной бумагой... Так вот-с... Я понимаю, что окорока нет... Это роскошь. Как хотите, но это роскошь... Ну, пусть и пасхи нет... Ведь это хлопотливое кушанье... И форму надо, и погреб... Хотя я страшно люблю пасху, особенно шоколадную, с цукатами... Я согласен: всё это роскошь. Не всем же есть пасху с цукатами. Не всем же иметь свою семью... Тёплую квартиру, любящую жену, детей... и пасхальный стол с разными вкусными вещами... И потом, я же сам виноват, что у меня ничего этого нет... Но оставим это — это вас не касается. Я и не виню никого, если вам угодно знать. Я настолько горд, что и винить никого не желаю... Без окорока и без пасхи я могу. Если таков социальный закон... Или как, чорт его там знает; я согласен, я совершенно примирился... Но как же без хлеба?.. То есть, понимаете ли, совершенно без хлеба... без малейшего кусочка... «Христос воскрес» запоят — а у меня даже корочки нет... Ах, да при чём тут «Христос воскрес» — просто я есть хочу. Это прямо бессмыслица какая-то, что мне есть нечего!.. Ну, я виноват. Я преступник. Я исчадие ада... Но надо же мне есть. Неужели не ясно, как дважды два, что мне необходимо есть. Нельзя же три дня сидеть без куска хлеба? У меня даже во рту горько от голода. И голова тяжёлая как свинец. Три дня назад я нашёл в кармане семикопеечную марку, продал её за пятак и купил два фунта хлеба... Но ведь это было три дня назад. И потом, страшно стыдно продавать семикопеечные марки. Я, конечно, сделал вид, что просто забыл деньги... И всё-таки чуть не бегом выбежал из лавки. Вы понимаете, что это стоило мне при моей гордости?

Но досаднее всего, что я уверен: в будущем у меня будут деньги. Наверное будут. Но когда? Может быть,

через неделю, через месяц, через год?.. А сейчас во рту горько и голова чужая. И ни одной близкой души. То есть, меня многие знают. Очень даже многие... Но я выброшен на улицу и ни к кому не могу пойти...

Ха-ха!.. Они думают, что безнравственные люди не хотят есть!.. Ошибаетесь, милостивые государи, очень даже хотят... Между прочим, я теперь ужасно люблю это выражение «Милостивый Государь»... Прямо великолепно! Одно время я получал много писем... И ни одно письмо не начиналось словом «милый» или «дорогой». А всё — «милостивый государь». И теперь мысленно я всегда обращаюсь к людям изысканно вежливо: «Милостивые государи!..»

Сейчас, должно быть, часов одиннадцать. Через час Пасха. Праздникам Праздник и Торжество из Торжеств... Так, кажется?

Я хожу по улицам как все. Не могут же мне запретить ходить по улицам, потому что я грешник? Такого закона ещё нет, кажется... И дышать могу... И петь могу... Хотел бы я знать, есть ли ещё хотя один такой же отверженный, как я, среди всех этих прохожих? Ведь они же принимают меня за настоящего человека — может быть, и среди них есть такие же одинокие, такие же голодные, как я, и только вид делают, что они «как все»... Что за нелепые мысли? Разве мне легче, если я не один такой?.. Уж не завидую ли я, что они все сегодня обедали? Ели горячий суп с мягким чёрным хлебом. И, может быть, даже не по одной тарелке... Котлеты с макаронами... Тоже горячие. Прямо со сковороды. Чтобы масло кипело и брызгало...

Нисколько не завидую... уверяю вас... Два блюда — непозволительная роскошь... Безнравственная даже роскошь, если вам угодно!.. Я это знаю теперь наверное...

Но чёрный хлеб — это совсем другое дело... Про чёрный хлеб я ничего не говорю...

Я вышел за город и даже не заметил. Ведь это, значит, вёрст шесть отмахал!.. Вот что значит быть философом. А я, милостивые государи, настоящий философ, Божией милостью!.. Да-с! С гордостью об этом заявляю. Ибо всегда жил по-своему. В этом суть всякой философии!..

Да ну вас! Очень мне нужно перед вами расшаркиваться. Голова у меня болит. Вот что! Ноги устали. И есть хочу. Хлеба хочу. Чёрного хлеба хочу, милостивые государи!..

Однако, нечего тут стоять. Надо подняться на гору...

А какая ночь-то, оказывается, великолепная! Настоящая пасхальная ночь... Звёзды, точно вымытые драгоценные камни, так и переливаются. И когда повернёшься к городу спиной, не видно фальшивого света электрических фонарей... и так хорошо!..

Луны нет. Но звёзды такие яркие, что тёмно-голубую даль видно далеко-далеко... На самом краю неба бледно-лиловая полоса: может быть, отсвет дальнего пожара. В ложбинах снег ещё не стаял и белеет нежными, весенними пятнами. Воздух сырой, но тёплый и весь насыщен запахом молодой растаявшей земли...

Я люблю тебя, милая! Люблю твои косы, твои глаза, твой смех, твои шалости, твои слёзы, твою радость, твою грусть... Потому что землю люблю. Запах талого снега и влажных сосен... Дальние загадочные огни люблю и душистый воздух, и простор, и свободу безбрежную...

И зачем Бог дал мне такое нелепое, неугомонное, ненасытное сердце? И кому какое дело до моего сердца? Кто моему сердцу поверит? Смешно, право!

Стою я за городом один-одинёшенек. И нет до меня никому никакого дела. Хоть издохни, хоть сверши величайший подвиг. Никого. Ни души кругом.

Неужели я хуже разбойника? Но если и хуже. Ведь сейчас «Христос воскрес» запоют — до оценок ли тут:

кто лучше да кто хуже... Радоваться, обниматься надо и быть всем вместе. Главное — всем вместе. Коли Христос воскрес — разве можно врозь быть?

Но вы от меня отвернулись, милостивые государи, и прекрасно, и я не пойду к вам. Я достаточно горд, чтобы не пойти к вам. Не нуждаетесь? Ну, это уж ваше дело...

А я буду стоять здесь. Далеко от вас. Один-одинёшенек и петь «Христос воскрес». Надеюсь, вы не можете мне запретить петь «Христос воскрес»?

Глаза мои привыкли к темноте, я различаю тонкие стволы берёзок и тёмные кусты вербы с мохнатыми, пушистыми почками... Как бы хорошо, если бы последние годы моей жизни оказались сном. И голод мой, и одиночество моё, и злобный город за спиной — всё бы оказалось сном.

Я горд, конечно. Но я устал. Страшно устал. И так хотел бы в тепло, к людям, к чистым, добрым людям... Видеть их радостные лица, слышать их смех. Звонкие голоса... Мне больше ничего не надо... Вот как бывало в детстве: ждёшь не дождёшься заутрени. В церковь придёшь и готов прыгать от счастья. И всё радуется. И тёплые восковые свечи. И нарядные платья. И звон колоколов. Вертишься в разные стороны, так бы и бросился на шею к первому попавшемуся соседу и заплакал от умиления.

А выйдешь из церкви — не надышишься вечерним весенним воздухом, не насмотришься на праздничное небо. Придёшь домой: Боже мой, сколько света! И как тепло. И какой аромат от цветов, которыми уставлен стол...

Что это?

Господи! Да ведь это звонят!.. К заутрени звонят! Что же это я? Неужели час стою...

Простоял... Один... Разве можно теперь одному быть... Сейчас «Христос воскрес» запоют... Не могу я... Не хочу я один быть...

Да-с, милостивые государи, тут-то и случилось со мной одно маленькое и нелепое происшествие.

Я опрометью бросился к городу. Назад по грязным, незнакомым улицам. На улицах ни души. Сами понимаете, кто станет в такую ночь по улицам разгуливать? Сколько пробежал, я не помню. Только на углу какого-то переулка вдруг почувствовал, что ноги у меня задрожали, в глазах чёрные круги пошли... Того гляди, свалюсь... Остановился я. Осмотрелся... Должно быть, я, милостивые государи, в эту минуту на затравленного котёнка походил со всей своей гордостью... Да-с... Кровь в висках колотится, холодный пот на лбу выступил. И по всему телу озноб пошёл, точно приступ лихорадки...

И слышу: у ворот кто-то плачет. Должно быть, ребёнок. А женский голос уговаривает:

— Спи, баюшки-бай-бай!..

Придёт же в голову такая нелепая мысль: взял да и бросился на эти голоса.

У ворот женщина сидит. Ребенка нянчит. Должно быть, жена дворника или ночного сторожа. К заутрене, видно, нельзя ей с ребёнком-то.

Не помню, как дошёл я до них. А как дошёл, так и упал на скамейку и разрыдался, как последний дурак.

— Голоден я... пропал я... никому не нужен... — бормочу. А сам бьюсь в истерике...

— Ах ты, сердечный, — говорит баба, — ах ты, несчастный... — и повела меня к себе в сторожку...

Вот, милостивые государи, в пасхальную ночь, когда я умирал с голоду, простая деревенская баба одна меня пожалела.

Что из этого следует? Ничего, разумеется. Но только этого я никогда не забуду, милостивые государи...

Скажете: нам-то что за дело?

Ну, это мы ещё посмотрим!..

.

ГОЛОДНАЯ «ЁЛКА»

Про деревню Пахомовку в газетах писали:

«Крестьяне голодают. Всё, что было возможно продать, — продано. Жители бегут куда ни попало от призрака голодной смерти. Необходима немедленная помощь...»

Телеграмму эту в газеты послал сын священника, добрый, молчаливый молодой человек, кривой, убогий, без определённых занятий.

Прошло месяца два, «немедленной» помощи не было. Все, кто мог убраться, — убрались в уездный город или дальше, в губернию на заработки.

В Пахомовке остались бабы да малые дети. Остались те, кому деваться было некуда. Жили покорно. Терпеливо ждали, когда всё кончится. Молились об одном только: скорей бы смерть.

Снег занёс деревеньку до самых крыш. Ночью собаки выли — чуяли волков. Опустелые избы как чёрные пятна разбросаны были по белому снежному савану.

На краю деревни жила Марфа, солдатка, сирота с двумя детьми: Анютой, трёх лет, и Петей, двух лет.

Последний хлеб вышел у Марфы месяц тому назад. Сначала примешивали лебеду, потом мякину, потом толчёную кору. Но когда вышла последняя мука и при-

шлось есть одну кору, дети решительно отказались и стали плакать, отталкивая от себя чёрную, жидкую тюрю, от которой шел кислый, острый запах.

Пятый день уже ничего не ели. Марфа знала, что умрёт, и ждала этого. Она примирилась с тем, что так Богу угодно. Жалела только, что некому письма написать мужу. Всё бы легче было.

Дети, обессиленные, озябшие, сидели в углу, забившись в лохмотья, и большими, испуганными глазами следили за каждым движением Марфы. Марфа не смотрела на них. И только одно думала: «Скорей бы... помирали... прибрал бы Господь... Я-то ничего. Детей жалко...»

И вот на шестой день с детьми что-то сделалось. С утра ещё Петя начал плакать, кричать и бить маленькими кулачками по углу окна. Напрасно уговаривала его Марфа. Он кричал всё сильнее и сильнее, захлёбываясь от слёз. Глядя на него, заплакала Анюта, она не кричала, из больших тёмных глаз её слёзы текли медленно, она вздрагивала всем тельцем, и когда Марфа подошла к ней и положила ей на голову сухую свою руку, Анюта задрожала вся и быстро-быстро сказала:

— Мамынька, когда же дядя Иван хлебца привезёт?

— Скоро, детки, скоро...

— Он вчера проехал, а к нам не зашёл — я видела...

Петя закричал ещё сильнее, услышав слово «хлеб». Посинел весь. Упал на тряпки и стал биться головой.

Марфа молча смотрела на него. И тихо гладила рукой Анюту.

Девочка немного успокоилась, но слёзы по-прежнему тихо капали из её глаз, и она, как всегда, скороговоркой шептала матери над самым ухом:

— Хотя кусочек хлебца, мамынька, — ты скажи ему... Он каждый день ездит...

К вечеру дети уже ничего не говорили. И Анюта, и Петя кричали не переставая, то громко, ожесточённо и требовательно, то тихо, жалобно, как стон.

Марфа сидела около них, закрывала их тряпьем, чтобы не мёрзли. Она ждала, что сегодня должны «кончиться».

Стало темно. Собака завyla близко, совсем под окном.

Дети испугались, притихли. Потом Анюта быстрым движением потянулась к матери, обхватила её за шею и зашептала прерывающимся голосом одно только слово:

— Мамынька... Мамынька... Мамынька...

И в груди у Марфы что-то задрожало. Она прижала девочку к своей груди и одними губами сказала ей:

— Терпи, деточка, скоро уж... скоро уж...

Но Анюта не успокаивалась. Она не могла не кричать.

Судорога проходила по её слабому тельцу, стоны давили ей горло, она задыхалась...

Марфа положила её на лавку. И встала.

«Уйду, — подумала она, — уйду куда глаза глядят. Не могу больше».

Она тихо подошла к двери, отворила её. Вышла в сени. Прислушалась. И в сенях было слышно, как кричит Петя и глухо бьёт ручками о тряпье, как задыхается и кашляет Анюта.

«Не могу больше... Божья воля... не могу... Сама пусть померла бы... на них смотреть не могу...»

И она вышла на улицу и пошла через поле в лес.

«Всё равно помру... только бы их не слышать... Скорей бы уж... Один конец...»

За узкой полосой поля начинался сосновый лес. Марфа шла без дороги по глубокому, рыхлому снегу. Ноги устали, она падала. Но шла всё скорей и скорей, точно слышала за собой тихий шёпот: «Мамынька... Мамынька...»

Вот и лес.

Тяжёлые белые хлопья нависли на ветках. Ветер жутко гудит по верхушкам, точно в церкви поют.

Темно, тускло. На небе ни звёздочки, как в могиле.

Мороз сковал стволы сосен, и в мёртвой тишине раздаётся изредка их резкий, отчётливый треск.

Марфа дальше идти не может. Да и незачем. Её странно покачивает из стороны в сторону, точно страшным напором ветра, и в голове протяжный, однотонный звон. И ноги ослабли. И дышать тяжело. И на глазах точно покрывало чёрное.

«Сяду... о, Господи, скорей бы уж...»

Она села и прислонилась спиной к сосне...

Перед ней маленькая ёлочка, вся окутанная белым снегом, точно шубкой...

«Какая нарядная, — думает Марфа, — совсем как в прошлом году в школе...»

Она смотрит на беленькую ёлочку, и вдруг ей делается тепло-тепло, она плотней прижимается к стволу сосны. Закрывает глаза... Совсем светло кругом... и шумно... смех... поют...

Господи, помилуй... и детей сколько... Господи, да что это? Ёлка горит?.. А вот и её Аня и Петя, взявшись за руки, бегают вокруг ёлки.

Она улыбается. Она протягивает к ним руки. Петя смеётся и со всех ног бежит к ней, в руках у него золотая конфетка...

— На, на! — говорит он. И хочет положить конфетку ей в рот.

А глазки у него так и сияют, точно все огоньки ёлки отразились в них.

Петя снова бежит к детям и, взявшись за руки, прыгает вокруг ёлки.

Аня поёт тоненьким голоском и притоптывает. Она улыбается Марфе и закидывает назад голову от удовольствия.

Марфа так счастлива. Так хорошо. Так радостно. И дети тут, её детки с ней, вместе, сытенькие, веселенькие, здоровенькие...

...Детки мои, детки мои...

И как сияют огни на ёлке, она никогда не видала таких огней. Самоцветные камни горят там. И ёлка какая большая становится. И подымается всё выше, всё выше. И потолка нет, и яркое небо горит над ней, и хор поёт, и сердце сжимается...

...Так Богу угодно... скорей бы...

И вот детки её бросаются к ней и целуют её... Пришли, милые, пришли... теперь вместе...

И она обнимает их и плачет от счастья и сжимает их всё крепче, всё крепче...

...Милые мои... деточки мои...

.

Тяжёлые хлопья снега нависли на соснах и всё ниже и ниже клонятся к земле. Ветер гудит по верхушкам и отдаётся далеко в лесной чаще. Мороз всё крепче. Стволы трещат. Какой-то странный глухой стон проносится над бором. И ночь чёрная, беззвёздная всё ниже и ниже спускается над землёй.

Марфа сидит неподвижно у сосны. В темноте видно лицо её, бледное как снег. Она больше не дышит...

Так Богу угодно!

ХРИСТОС В ДЕТСКОЙ

У маленького Коли случилась большая неприятность: раздавился заводной гусар.

Вечером он положил его с собою спать, утром забыл совсем, нечаянно облокотился рукой, и гусар «раздавился».

Когда Колю, вместе с шестилетней сестрой Олинкой, вели умываться, он шёл, мрачно уставившись в пол, и успел шепнуть:

— Я решил скончаться от разрыва сердца...

Олинька вскинула на него круглые голубые глаза, перевела их на няню, потом молча обхватила Колинку ниже пояса, прижалась к нему беленькой головкой и заплакала во весь голос.

Няня накинулась на Колю:

— Ах ты озарь эдакий! Трогала она тебя, свистуна, трогала? Пойди ко мне, деточка... пойдя ко мне, маленькая...

Но Олинька мотала головой и красная вся от плача крепче и крепче прижималась к Колинке.

— Да ты что? — обратилась к нему няня.

Олинька затихла, но не отрывалась и, видно, ждала, что он скажет.

— Ничего... — надув губы, шептал Коля.

— Как ничего! Подрались, что ли? Олинька, обидел он тебя?

Но Олинька упорно молчала. Так няня ничего и не добилась. Начала умывать их. Весело было подставлять лицо и шею под светлую, холодную струю — сразу забылись все неприятности.

«И потом, голова у него ещё держится», — подумал Коля, обтираясь полотенцем.

Ему стало совсем хорошо. Он бросил полотенце на руки няни, и не успела она опомниться, как Коли уже не было в комнате.

— Ну уж сорванец, ну уж свистун, — ворчала няня. И принялась причёсывать беленькие волосы Оли.

Олинька стояла покорно, но всей душой стремилась за Колинькой и потому улыбалась, косила глаза и размахивала руками.

«Скорей бы всё кончилось, — думала она. — Богородицу... хлеб с молоком... потом настоящее...»

Няня кончила причёсывать и позвала Колю.

— Завтра Пасха, — сказала она, — «Христос воскрес» надо учить.

— Я Христа воскреса видел — на стене висит, — сказал Коля, вертя головой в разные стороны и надувая то одну, то другую щёку.

— Как ты нехорошо говоришь, — остановила его няня. — «Христа воскреса» — разве так говорят умные дети? Воскресение Христово... Христос воскрес...

— Это как Он? — переставая шалить, спросил Коля.

— Как воскресают?.. Распяли на кресте, в гроб положили и стражу приставили, запечатали — а Он через три дня воскрес.

— Совсем?

— Нехорошо как говоришь, — снова сказала няня.

— Нет, право, нянечка, совсем?

— Учись-ка, вот, лучше.

И няня стала читать молитву и заставляла детей повторять за собой.

Олинька выучила почти сразу. А Коля всё путал.

— Ветер — ветер и есть, — сказала ему няня и покачала головой.

Дети наскоро выпили в столовой тёплого молока с хлебом, побежали в детскую и первым делом занялись гусаром. Разложили на полу коврик и уселись с Олинькой осматривать игрушку. Ноги гусара отвалились и едва держались на тонкой проволочке. Когда спускалась пружина, они беспомощно болтались в воздухе. У Колиньки пропала последняя надежда спасти гусара. Он опять мрачно уставился в пол. Олинька боязливо посматривала на него, готовая расплакаться, и только ждала, когда начнёт Коля.

В это время вошла няня.

— Нянечка, мой гусар скончался, — грустно сказал Коля.

— Глупости говоришь.

— Право! Ноги отвалились, и он скончался от разрыва сердца.

— Уж и язык, прости, Господи. И в кого, не знаю: отец, кажется, хороший человек, мать тоже из хорошего дома взята.

— Да, право же, нянечка! Сама посмотри...

— И смотреть нечего. Умирают люди. А игрушки ломаются.

— А почему игрушка не может умереть?

— Отвяжись ты. Щётки вот никак не найду.

— Нянечка, что значит «умер»?

— Глупости всё спрашиваешь.

— Нет, право, нянечка.

— Умер? Жить перестал.

Коля задумался и решительно сказал:

— Не может быть!

— Уж где с тобой сговорить, — ворчала няня, — без году неделя живёт — всё знает.

— Нянечка, завтра Христос воскрес — а ты braniшься.

Няня рассмеялась:

— Что ты с ним будешь делать! Да я разве браню тебя? Рано, только, рассуждать стал — вот и говорю. Я молода была — так не рассуждала.

— А как?

— Да никак... Лучше бы гулять пошли, чем глупости-то всё говорить.

— Можно, нянечка?!

— Возьмите Агашу да и ступайте.

День был солнечный, тёплый, весенний. И хотя детей закутали с ног до головы — свежий, ласковый ветер невольно заставлял смеяться от радости.

После комнаты всё казалось новым, ярким, сияющим.

Коля не знал, куда смотреть, — небо такое голубое, так славно загнуть голову и не видеть ничего перед собой, кроме голубого поля, и голуби на крыше совсем ручные — один белый и два сереньких, у ворот мохнатая, чёрная собака, а посреди двора мальчишки делают запруду.

Колиньке хочется прыгать от радости, только шуба такая тяжёлая, противная. И зачем-то калоши надели. Он берёт Олиньку за руку и тянет её:

— Давай бегать.

И они бегут в своих тяжёлых шубках, смеясь и шурясь от солнца.

Мальчишки бросили запруду и смотрят на них.

— Идите к нам! — кричит им Коля.

Ему весело. И хочется, чтобы все были вместе. Иг-рали бы и смеялись.

На крыльцо вышла няня. Коля увидел её. И, задыхаясь от быстрого бега, бросился к ней.

— Нянечка, нянечка, Христос воскрес!

Няня поправляет ему платок на голове. Не сердится. А тоже улыбается.

— Домой пора, ишь, мокрый стал.

— Сейчас, нянечка, — Олиньку позову.

Он идёт назад и всё оглядывается на няню, и всё улыбается ей.

Уходить не хочется. В комнатах так темно. Но Коля послушный, ласковый. Он берёт Олиньку за руку, последний раз оглядывает голубей, двор, небо и медленно идёт домой.

Вечером няня решила уложить детей пораньше, чтобы успеть всё приготовить к заутрени.

Но как нарочно Коля раскапризничался и никак не соглашался спать. Заразил своими капризами и послушную всегда Олиньку.

— Нехорошо так, — сказала няня, — сегодня день-то какой — Великая суббота, завтра праздник, а ты, смотри-ка, что делаешь.

— Нянечка, — неожиданно сказал Коля. — Что значит «распяли»?

— К кресту прибили.

— Как прибили?

— Руки и ноги.

— Чем?

— Гвоздями.

Коля замолчал и тихо сказал:

— Я больше не буду, нянечка.

Няня повела детей к иконам — молиться.

Икон в углу висело много. Посредине, около самой лампадки, «Воскресение Христово»: из гроба восстал Христос, а воины в страхе припали к земле. Особенно страшен был один: спина выгнута дугой, руками схватил себя за шею и почти распластался по земле. Коля не любил его и раньше всегда боялся его.

Дети встали на колени. Олинька искоса посматривала на Колю и старалась делать всё, что и он. Няня говорила молитву вслух.

Коля перекрестился и положил земной поклон. Прикоснулся лбом к полу. Пол был холодный. Это заинтересовало его, и он не разогнулся, а так и остался на полу. Вспомнил воина на иконе, и стало страшно: если поднимусь, что-нибудь случится. От холодного пола ещё страшней, но Коля до боли прижимается головой и зажмуривает глаза.

— Колянька, — сказала няня, переставая говорить молитву, — ты спишь, верно? — она взяла его за плечо.

Страх сразу слетел. Колянька радостно посмотрел на освещённые иконы:

— Нет, нянечка.

— Ну так молись как следует.

— Как хорошо, нянечка, что воскрес... Я бы тоже так сделал...

— Будет уж, будет, стрекоза... перекрестись и поклон земной... вот так!.. Ну, а теперь спать.

Колянька больше не капризничал и дал себя раздеть. Даже сам помогал няне.

Забился под одеяло, в холодную простыню, и, пока няня раздевала Олиньку, всё крестил подушку, потихоньку, чтобы незаметно было.

Няня поправила лампадку, спустила занавески, ещё раз подошла к детям.

Они лежали тихо. Няня ушла...

.....

— Ты спишь? — шёпотом сказал Коля.

— Нет, — тихонечко ответила Олинька со своей кровати.

— Сейчас Он воскресает.

Олинька молчала.

— Ты что? Боишься? — спросил Коля.

— Да, — чуть слышно прошептала Олинька.

— Совсем не страшно... Знаешь, давай с тобой то-же...

— Что?

— Воскреснем.

— Как?

— Пойдём к иконам. Ляжем на пол и потом воскреснем.

Олинька не отвечала.

— Ну?

— Я боюсь.

— Смотри, совсем не страшно.

И Коля спрыгнул с постели. Закутался в одеяло и пошёл к иконам.

— Право, не страшно. Иди!

Олинька нерешительно спустила с постели ноги, тоже накинула на себя одеяло и пошла к иконам.

— Одеяло у нас вместо гроба будет, — сказал Коля. И положил одеяло на пол.

Но в это время тихо отворилась дверь. Дети со страхом прижались друг к другу... Колинька первый узнал Христа и бросился Ему навстречу. За ним робко пошла Олинька.

— Я весь день о Тебе думал, — задыхаясь от восторга, сказал Коля.

Христос сел и обнял детей.

— Я весь день о Тебе думал, — быстро говорил Коля, — как Тебе больно было. И гвозди... А потом воскрес... Как хорошо!.. Так всегда надо. Пусть распинают. По-ихнему не выйдет... Я ведь так говорю? Я не боюсь, — изо всех сил спешил Коля, не дожидаясь ответа, — а вот она боится.

Олинька застыдилась и тихо прижалась головой к руке Христа.

— Ты к нам всегда будешь приходить? — спросил Коля.

— Буду.

— Ночью?

— Ночью.

— Это хорошо, что ночью — никого нет. Ты всё скажешь? Ты всё знаешь?.. Мне гусара жалко, он раздавился утром... нечаянно... и потом умер от разрыва сердца... Я очень любил его... Жалко...

Коля замолчал. Взял Христа за руку — посмотрел.
Потом перевёл глаза на Христа — и заплакал.

Христос молча гладил его по волосам.

Колинька всё затихал, затихал и вдруг обнял Его, прижался к Нему и, пряча лицо в белых Его одеждах, проговорил:

— Миленький мой. Господи... как больно-то Тебе... не хочу я... не надо так...

Олинька не плакала и всё целовала руку Христа.

— Ты не уйдёшь от нас? Не уйдёшь? — говорил Колинька. — Ты навсегда к нам? Да?

— Да, — сказал Христос.

— И больше не будет так, да?

Христос молчал.

— Вот что тогда, — решительно сказал Коля. — Пусть у всех! И у меня, и у няни, и у мамы — у всех. Пусть одинаково. Пусть всем больно. Хорошо?! Да?

Христос тихо наклонил голову.

Коля поднял свои руки и увидел, что они обе пробиты гвоздями.

— Смотри, смотри, — весь затрепетав от восторга, воскликнул Коля, — и у меня!

Он схватил руку Олиньки, и на её руках были раны:

— У неё тоже! Видишь? Значит, у всех? Олинька, мы тоже воскреснем! Господи... миленький мой... Как хорошо-то, как хорошо-то!..

.....
Колю разбудила няня. Только что пришла от заутрени. Уронила яйцо нечаянно на пол.

— Ты что, нянечка?.. — сквозь сон сказал Коля.

— Спи, спи, родной... Из церкви вот пришла.

— Христос воскрес, нянечка...

— Воистину воскрес... спи, родной мой, спи...

ОТЕЦ ЯКОВ

О. Яков усомнился...

Как это произошло, он и сам не мог бы объяснить себе: так, без всякой видимой причины, налетело откуда-то и перевернуло всю его тихую, светлую жизнь.

Перед вечерней пришёл к нему мужик Антоныч. Коренастый, с большим красивым лбом и голубыми глазами навывкате. О. Яков вышел к нему в кухню, поздоровался, благословил широким крестом и спросил:

— Ты что, Антоныч, насчёт сена, небось? Рано немножко, и сам ещё не знаю...

Но не договорил и остановился. Большие голубые глаза Антоныча смотрели куда-то в сторону, красные веки вздрагивали, и в неподвижном лице было выражение суровое, почти грозное.

— Хозяйка померла... хоронить, — сказал Антоныч.

— Как так?.. Господи, помилуй!.. Да разве болела она?

— Три дня болела. Пить просила всё. Верно, горячка. Вчера в больницу хотел свести; не надо, говорит, лучше стало, положи, говорит, мне на голову похолоднее чего-нибудь. Манюшка воды из колодца принесла. Намочил тряпку... Вот, говорит, и легче; с вечера заснула хорошо. Утром встали мы...

Антоныч замолчал, перевёл свои голубые глаза с красными дрожащими веками на о. Якова и вдруг заговорил быстро, всё ускоряя и ускоряя свой рассказ, точно боясь, что если остановится, то не сможет довести его до конца:

— Утром встали, смотрим — лежит закрыта с головой. Я и говорю детям: тише, мол, мать спит; слава Богу, думаю, спит — значит, легче стало. На двор пошёл, колесо починил. Прихожу — всё спит. Дети на лавке сидят. Ничего, говорю, мать не говорила? Нет, говорят, спит всё. Подождал ещё немного. На работу надо идти. Ну, думаю, разбужу: пускай потом поспит. Подошёл к ней, взял её за плечо. На работу, говорю, иду, ничего тебе? Молчит. Отогнул я одеяло, смотрю, а она померла. Дети, говорю, мать-то у нас померла...

И лицо Антоныча вдруг стало беспомощным, брови задвигались, и из-под красных век покатались слёзы.

— Право... — тихо сказал Антоныч, дрожащими пальцами теребя ворот рубахи. — Не видали, как померла... Так и лежит... Руки холодные и ноги... А сама тёплая ещё была... верно, к утру... Не видали, как и померла, — повторил он.

— Дети остались, — сказал о. Яков, чувствуя, что и у него вздрагивают брови.

— Четверо...

И Антоныч снова стал суровым и строгим.

— С выносом, батюшка, похоронить-то. Вы уж, пожалуйста. Сколько там полагается, заплатим.

— Хорошо, хорошо, — заторопился о. Яков, — конечно, что там говорить. Завтра за обедней и похороним...

Вот с этого дня и началось.

За вечерней Антоныч не выходил у него из головы. Голубые глаза, красные веки и беспомощное лицо, когда он говорил: «Дети, мать-то у нас померла», мешали служить о. Якову.

«Большое это дело — смерть, — думал он, — большое, таинственное дело... Тут Бога и узришь... И смиришь-

ся, и возрадуешься... Вся жизнь по-иному представится. Всё житейское отпадает. Большое, святое дело...»

И вдруг вспомнились ему слова Антоныча: «С выносом, батюшка, похоронить-то»...

В это время о. Яков взошёл в алтарь и задёргивал занавес на Царских вратах. Стало темно. Престол казался чёрным. Огни свечей переливались красным светом в золочёных ризах икон.

О. Яков остановился. Холодная волна прошла у него по телу. И стало ему тоскливо, жутко, душно... Точно сам он попал в склеп, и заперли его наглухо одного под землёй. Похоронили заживо.

Едва дослужил он вечерню и, когда вышел из церкви на свежий, весенний воздух, почувствовал, что голова у него кружится и сердце до боли колотится в груди.

От церкви до дому надо было идти через огороды — минут десять. О. Яков торопился, почти бежал, но думать не переставал всё о том же: «Смерть — и “с выносом”... Три рубля даст. Там Бог — а тут что... А если и всё так?.. Вынос, молебен, ризы — это одно к одному, подходящее всё... А Бог, смерть, Христос... Неужели другое? Как же тогда? И как я не видал раньше-то? Почему сегодня?.. Антоныч... руки трясутся... “Не видали, как и померла”... Это больше всего ему и жалко... Умерла одна, никто не видел, точно брошенная. И вдруг теперь с выносом... три рубля...»

Было холодно, но о. Яков так торопился, что всё лицо у него стало мокрое и волосы прилипли ко лбу. Чтобы сократить дорогу, он перелез два раза через плетень, прыгал через грядки. И только тогда пошёл тише, когда увидал освещённое окно своего дома: в столовой горела лампа с синим абажуром. На столе стоял самовар. Старшая дочь Зиночка подошла к окну и приложилась к стеклу лбом, глядя в темноту.

«Меня ждут, — с тихой радостью подумал о. Яков, и вся тяжесть слетела с него, — всё пройдёт, напьюсь чайку, поговорю с ними, и всё пройдёт...»

Долго не спал в эту ночь о. Яков. Шаг за шагом вспоминал жизнь свою и всё удивлялся — с чего это сегодня нашло на него «сомнение».

Жил о. Яков хорошо. Любил церковь, любил свой приход, всю душу вкладывал в своё служение. И о. Якова все любили как родного...

«Таких священников больше и нет», — говорили про него мужики. О. Яков с самых ранних лет был при церкви, сжился с ней и не мог представить себе жизни без церкви. Сначала он подавал отцу, священнику в этом же селе, кадило, свечи, подсвечники. Потом пел на клиросе, отец даже брал его на некоторые требы: служить молебны, панихиды. Потом поступил он в духовное училище, оттуда в семинарию.

Только что окончил курс, умер отец. Его назначили священником вместо отца. Женился он на дочери дьякона и стал жить в том же церковном доме, в котором жил с детства. Каждое воскресенье говорил в церкви поучения. Служил по уставу, истово, без пропусков. Денег лишних не брал и сам готов был отдать последнее, если у кого случалась нужда. На Рождество, бывало, нанесут ему кур, гусей, индюшек — всякой птицы. Жена знает характер о. Якова, запрёт всё в чулан, а он ночью потихоньку встанет и раздаст половину. Бедные прихожане знали уж об этой раздаче и поджидали его у калитки. О. Яков выносит гусей и уток, а сам только приговаривает:

— Тише, всем хватит... как бы не услышали да не забранили бы...

Жену свою, Александру Петровну, тихую, добрую, заботливую хозяйку и мать, о. Яков любил и знал давно, с раннего детства: они и росли вместе. Три дочери о. Якова были похожи на неё: такие же тихие, добрые и заботливые. Старшей Зиночке минул уже восьмой год, и она готовилась в школу.

О. Яков вспоминал свою жизнь и чувствовал, что всё так, всё хорошо, но что всё-таки чего-то не хватает,

и мучительно напрягался понять, чего же именно в ней не хватало. За десять лет ни одного упущения по службе не было. Иной раз зимой в стужу, в вьюгу зовут с требой — ни разу он даже мысленно не сказал досадного слова. Никого не обидел. Лишнего в доме ничего нет — всё отдаётся бедным...

А всё-таки нет чего-то.

«Не то, не то... — думал о. Яков, — а что же? Ну, человек умер... Что же я могу?.. “С выносом”... разве я виноват — так заведено... Что же это со мной?.. Неужели усомнился?..»

И снова, как в алтаре за вечерней, становилось тоскливо, жутко, душно...

Утром он служил обедню, хоронил жену Антоныча, и когда пришёл домой, слабый, разбитый, сразу постаревший на несколько лет, для него уже не было никакого сомнения, что покой потерян навсегда, что с ним случилось нечто непонятное; он, никогда даже в мыслях не сомневавшийся в правильности учения церкви, вдруг усомнился окончательно, не умом, а всей душой своей...

Церковная служба всегда была для о. Якова величайшей радостью, теперь она стала для него нестерпимым мученьем. Он произносил заученные, привычные слова, совершая всё, что требовалось от него по уставу, но сам смотрел на себя в это время со стороны, как посторонний наблюдатель, думая только об одном: чтобы скорей кончилась эта мука, и он бы мог уйти из церкви на свежий воздух. Ему казалось, что все видят его мысли, видят, что каждое слово его теперь — ложь, и от этого ещё тяжелее и невыносимее становилась для него служба.

Самой мучительной минутой богослужения стало для него чтение Евангелия. Раньше он вычитывал его спокойным, ровным голосом, отчётливо произнося каждое слово и почти не вникая в смысл, — теперь, раскрывая тяжёлые позолоченные крышки, он с

ужасом ждал новых и новых себе обличений, и голос его дрожал, фразы путались, хотя он знал их почти наизусть.

О. Яков решил поговорить с женой. Жить дальше так казалось ему невозможным. Кому-нибудь да должен же он был открыть свою душу.

О. Яков долго думал, с чего начать ему и как бы проще и понятнее выразиться, но, когда начал говорить, забыл все заранее придуманные фразы.

— Я давно хочу сказать тебе, Сашенька, — начал он, — неблагополучно у меня...

— Господи... что такое?.. Разве благочинный прислал что?

— Нет... не по службе... Усомнился я, Сашенька...

— А я уж думала, неприятность какая, — облегчённо вздохнула она.

О. Яков усмехнулся:

— Ты думаешь, это не неприятность... А я так готов что хочешь по службе вынести, лишь бы вернуть прежнее. Я больше не священник, Сашенька...

— Как?! Христос с тобой!.. Что ты говоришь?..

— В душе не священник... Я окончательно усомнился... Всё ложью кажется мне... Представляется мне, что, если бы Христос в храм вошёл, не сказал бы, что, мол, это Мой дом... Как бы тебе сказать... не могу я представить, что вот входит Он в храм, становится рядом со мной, надевает ризу, камилавку, берёт кадило, а потом три рубля за то, что с выносом... А ведь мы наместники Его здесь, на земле, вяжем и разрешаем...

— Яшенька, миленький, а ты не думай... Христом-Богом прошу, не думай... И всё пройдёт... вот посмотришь, пройдёт.

— Нет, не пройдёт, Сашенька, — я тоже думал, пройдёт. Нет, теперь кончено...

— Как же, Яшенька?..

— Не знаю... Сам не знаю ещё... Ты не плачь, — заволновался он, увидав на глазах её слёзы. — Всё прой-

дёт... Я подумаю... Да не плачь, ради Христа... Не могу я... Ради Христа, не плачь.

Насилу утешил он её и решил больше об этом с ней не говорить.

Наступила страстная неделя.

Раньше о. Яков все силы употреблял на то, чтобы успеть сделать всё в должном порядке, и службу справить, и исповедников отпустить, приходил домой усталый, но довольный, что удалось ему сделать именно так, как наметил с утра. До обедни отпустит восемь человек, перед вечерней десять и после вечерни тридцать.

Теперь этот внешний порядок потерял для него всякий смысл. По-новому раскрывалось для него содержание страстных дней. И опять, точно так же, как при чтении Евангелия, хотя каждое слово службы было известно, ему казалось, что слышит он обо всём этом в первый раз. Из дому он спешил в церковь, сосредоточенный только на одной мысли: узнать, наконец, что же ему делать.

Исповедников было много. О. Яков почти не спрашивал о грехах и отпускал с первого слова.

— Не надо, не надо... Бог простит, — говорил он, как только начинал кто-нибудь рассказывать о своих грехах, и торопливо накрывал епитрахилью и отпускал грехи.

— Подожди, батюшка, — грех тяжкий на душе, — установила его одна старушка.

Но о. Яков, низко наклонив голову, сказал ей:

— Господь всё видит — простит. А я сам в грехах весь...

В четверг большая церковь была полна причастниками. Праздничные красные рубахи, красные и синие платья, яркие платки колыхались, залитые весенним солнцем. Мальчик, сторож и псаломщик не успевали подавать поминанья. Староста с напوماженными волосами взошёл в алтарь и спросил: «Хватит ли вина для теплоты или откупорить новую бутылку?» Все суетились по-праздничному.

О. Яков облачился. Подошёл к престолу. Долго стоял неподвижно.

— О. Яков, — сказал псаломщик, — матушка записку прислала.

— Не надо. После.

И вдруг о. Яков быстро повернулся, подошёл к ризнице и начал снимать с себя облачение.

— Разве голубую наденете? — удивился псаломщик.

Но о. Яков молча взглянул на него и в одном сереньком полукафтани вышел на амвон.

— Братья мои, сестры мои, простите меня ради Христа! — громко сказал о. Яков и поклонился земным поклоном. Вся церковь как один человек поклонилась ему в ноги.

— Нас прости... Прости Христа ради... — как вздох пронеслось со всех сторон.

Никто ещё не понимал, в чём дело.

— Я больше не священник, — громко и отчётливо произнёс о. Яков, — хочу служить Христу, в духе и истине. Простите за всё ради Христа! Не верю я, что Господу надо всё то, что мы делаем. Душу надо Ему отдать, любовь нужна Ему и молитва. А мы... За всё простите. А вам спасибо за любовь и за добро ваше. Теперь пойду. Как Господу угодно, пусть так и будет.

О. Яков сошёл с амвона. В церкви было тихо. Всё замерло. Только под самым куполом бился залетевший голубь.

— Яша!.. Яшенька!.. — пронёсся вдруг нечеловеческий крик по церкви.

И разом заволновалось всё, загудело, заплакало, десятки рук потянулись к о. Якову со всех сторон. Старухи кланялись ему в ноги, с плачем хватали за края подрясника.

— Милый ты наш...

— Не ходи...

— Батюшка, родной, заступник...

По лицу о. Якова текли слёзы, но лицо было спокойное и радостное. Он твёрдо шёл к выходу, и толпа медленно расступалась перед ним...

ПОБЕГ

Во время работ в порту бежал арестант-горец Андрей Аркизов.

Никто не ожидал этого побега. В порту работали арестанты только краткосрочные, которым бежать не имело никакого смысла. Конвой посылался больше для вида. Солдаты часто вовсе оставляли арестантов и ходили на берег моря смотреть, как спускают с лодок водолазов.

Аркизов тоже никогда не думал о побеге: ему оставалось сидеть три месяца. Но земляные работы производились так близко от гор, поросших густым каштановым лесом, конвой отошёл так далеко, для него было так ясно, что достаточно перепрыгнуть ров, перейти вброд мелкую речку, и никакой конвой уже не разыщет его, что он почти машинально — не задаваясь вопросом, стоит или не стоит, — сильным движением упругих ног перескочил широкий ров и, раньше чем успели опомниться его товарищи, скрылся в темнейшем лесу.

Началась тревога.

Арестантов сбили в кучу и оставили под конвоем двух солдат.

— Не шевелиться! — кричал старший. — Шаг в сторону — пулю в лоб... Молчать!..

Одного солдата послали в тюрьму, чтобы немедленно поставить на ноги всю конвойную команду. А трое,

схвативши винтовки наперевес, чтобы легче можно бежать, бросились в погоню.

Горы спускались к реке невысоким, но крутым обрывом. Ружья мешали карабкаться по обсыпавшимся камням. Ветви шиповника, за которые приходилось хвататься, кололи до крови руки. Солдаты молча, с трудом переводя дух, лезли почти по отвесной стене. Из-за вала им кричал что-то охрипший, напряжённый голос, но слов нельзя было расслышать.

Наконец добрались до лесу. Громадные каштановые деревья стояли правильными рядами, точно рассажённые. После отвесной каменной стены бежать казалось легче, и солдаты, перегоняя друг друга, бросились вперёд.

— В гору не надо забирать... тяжело... не ползет... — скороговоркой бросил худой, высокий солдат из местных поселенцев Яков Валаев, — книзу... к долине... там ему подручней...

Солдаты повернули книзу.

Под гору бежать показалось ещё легче. Но скоро к низине лес пошёл совсем другой: вместо прямых, высоких, гладких стволов каштанов начался мелкий, корявый дубняк, орешник, перевитый колючей, вьющейся травой, и низкие кусты шиповника. Трава стала высокой, мокрой — путала ноги и мешала бежать, но они упорно продолжали продирались сквозь лесную чащу, торопясь всё напряжённей, оставляя на сучках клочья одежды. Плана у них не было никакого. В какую сторону повернул бежавший арестант, они не видали. И теперь летели в непроходимую чащу наобум, видя перед собой только одну цель: прорваться через зелёную, колючую стену кустов. Слабый, узкогрудый хохол Креморенко задыхался, кровь и пот, смешиваясь, текли липкой струёй по его лицу. Валаев всё время опережал других, низко пригибаясь к земле и ловко перекидывая ружьё то в одну, то в другую руку. Он до солдатчины был охотник и теперь чувствовал то же, что, бывало, на охоте, преследуя кабанов или волков. Третий солдат Мазаев, белый, флегматичный,

угрюмый, почти не отставал от Валаева, полез напролом, не нагибаясь, казалось, не замечая ни царапин, ни боли...

Лес становился всё чаще, всё темней. Одна стена вырастала за другой всё неприступней. Кусты жались друг к другу, и живая колючая стена совершенно преграждала путь.

Валаев остановился.

— Промахнулись! — досадливо сказал он. — Тут не пробраться ему, на перевал пошёл. Обогнём повыше: за перевалом низина; может, на нас выскочит.

Креморенко молча вытирал красный, липкий от крови пот. Мазаев равнодушно ждал, в какую сторону надо будет двигаться снова.

Валаев нагнулся и повернул назад в гору.

Снова шиповник, колючая изгородь, кровь, ключья одежды на сучьях. Но теперь подниматься надо было в гору, и страшная стена, казалось, сама наваливалась на грудь. Креморенко отставал всё больше. Мазаев, по-прежнему не сгибаясь, подставлял своё лицо колючим лапам кустов. Валаев почти полз по земле.

Снова начали попадаться стройные стволы каштанов. Выглянул тёмно-синий кусок чистого неба. Кусты стали выше и реже.

Поднялись ещё. Впереди виден был скалистый выступ, не покрытый лесом. Валаев повернул к нему. Теперь они снова бежали почти в ряд, хватаясь за камни, перепрыгивая расщелины.

Со скалы расстилался вид на всю долину, покрытую синеватым лесом и только изредка перерезанную узкими полянами.

Валаев первый взобрался на уступ и, прищулив острые чёрные глаза, стал осматриваться кругом.

И вдруг внизу по ту сторону долины он увидел человека. Серая согнутая фигура быстро перебежала светлую полосу поляны.

Валаев вскинул ружьё, выстрелил и нагнулся, чтобы лучше разглядеть за дымом.

— Мимо... — проворчал он, стиснув зубы.

И все, как по команде, стали спускаться с утёса вниз.

Теперь они знали, куда им бежать. Они повернули с горы наискосок, чтобы перерезать дорогу.

Арестант Аркизов после неожиданного выстрела остановился.

Бежать дальше в этом же направлении было невозможно. Он был уверен, что погоня прежде всего оцепит ближайшую гору и обыщет её. С величайшим трудом перерезал он заросшую долину, считавшуюся непроходимой, с тем расчётом, что, покуда будут обыскивать первую гору, он успеет уйти за перевал второй горы. Теперь, когда его увидали, план этот рухнул. В гору подниматься было трудно, и его всегда могли догнать.

Аркизов обогнул поляну по опушке; как привычный лесной зверь, прячась за стволами деревьев, почти ползком стал спускаться книзу, где пролегал глубоко врезавшийся в землю пересохший ручей. С обеих его сторон нависли колючие кусты, образуя почти тёмную туннель сплошных зелёных ветвей, но узкая извилистая полоса оставалась свободной, и, низко согнувшись, по ней можно двигаться легко.

Аркизов побежал вдоль ручья.

Солдаты спускались по новой дороге. Они забирали наискосок, чтобы выиграть расстояние. Теперь они видели перед собой уже не стену неприступных кустов, а скрывавшегося зверя, которого надо догнать.

И всё им теперь казалось легче.

Валаев отдался охоте с упоением. Он готов был лететь по воздуху. И, как всегда на охоте, охвачен был тем особенным состоянием, когда слух становится острее, глаза лучше видят и является особое чутьё, точно человек входит в душу зверя и предугадывает, куда бы зверь должен был побежать, что сделать, где спрятаться.

Волк, кабан, Аркизов, олень — для Валаева было безразлично. Важна была — охота. И он бежал с ружьём в руках бодрый, радостный, сильный. Ловил каждый шорох. Пронизывал взглядом тёмную заросль и видел, и чувствовал зверя уже недалеко от себя.

Креморенко тоже оживился. Не отставал. Мял в потных руках ружьё. И чему-то довольно улыбался. Даже Мазаев выказывал признаки воодушевления, большое белое лицо его начало покрываться странным багровым румянцем.

Когда добежали до ручья, Мазаев и Креморенко хотели перескочить его и бежать дальше, в гору. Но Валаев вдруг остановился и замер неподвижно:

— Зверь пошёл по ручью...

Мысль эта сверкнула как внезапный удар. Отчётливо, ясно, уверенно.

— По ручью пошёл, — едва выговорил он.

И ни Мазаев, ни Креморенко не спросили, почему он так думает; молча повинуясь его уверенности, оба побежали за ним вдоль ручья.

Аркизов бежал без передышки. Он знал, что ручей выходит на большую лощину, за которой начинаются неприступные горы, и что, если он незамеченный перебежит это открытое место, он спасён.

Камни на дне ручья сухо стучали под его ногами, но он жадно вслушивался не в этот звук, а в другой, который старался различить далеко за собой. Ему казалось, что он уже слышит неровный топот ног. Он всё ускорял и ускорял бег, и чем быстрее бежал, тем яснее чувствовал, что погоня пошла по ручью, что охотники близко, что надо налечь изо всех сил, чтобы успеть скрыться в скалистых горах раньше, чем солдаты выскочат из чащи. И он изгибался как змея между нависших ветвей и как ветер летел по извилистому ручью.

Валаев теперь знал наверное не только то, что зверь пошёл по этой дороге, но и то, что расстояние между ними медленно, но сокращается, что зверь устал и что,

если выдержать ещё полчаса такого бега, его можно будет взять живьём. И вздрагивая от этой радостной уверенности, крепко стиснув зубы, не замечая ничего вокруг себя, он всё больше и больше приближался к зверю.

Аркизов уже ясно слышал за собой топот ног. Но скрыться было некуда. Выход по-прежнему оставался один: успеть перебежать лощину.

Теперь он, напротив, старался не слушать глухих звуков погони: каждый удар точно подкашивал его, и ноги ослабевали. Все мысли его были сосредоточены на одном: скоро ли конец ручья? И он напряжённо усиливался мыслью сократить это расстояние, точно помогая своему телу двигаться быстрее.

Недалеко. Кусты стали реже. Ещё два изгиба, потом пересохший водопад, в котором весной так ревёт вода, что слышно за горой, — и поляна, а за ней скалы, в которых его не возьмёт никто. Но топот кажется уже совсем близко, и ноги от этих упорных глухих звуков подкашиваются и слабнут.

Валаев уже чувствовал, как выбивается из сил изнемогающий зверь. Он не знал местности, не знал, что сейчас всё должно решиться окончательно: затравят или уйдёт. Уже ясно слышны впереди короткие сухие удары. Кусты поредели. Вспрыгнули на уступы водопада. Вот среди редких деревьев мелькнула согнутая серая спина. А вот открылась и гладкая равнина.

Почти посреди неё, не разгибаясь, бежит он.

Видно узкую серую спину и тонкие, высоко вскидывающие ноги.

Валаев приложился. Целился долго. И выстрелил.

Узкая спина согнулась, ноги взметнулись в воздухе, и серый ком рухнул на землю.

Валаев, схватив ружьё наперевес, а за ним Креморенко и Мазаев бросились вперёд.

— Жив... Ранен в ногу... — задыхался Валаев. И добежав до серого комка, дрожавшего на земле, замахнул-

ся и ударил прикладом. Что-то хрустнуло, охнуло. Снова поднялся приклад, и снова глухой удар. Креморенко и Мазаев навалились грудью, придавливали к земле. Мазаев почувствовал на руках тёплую кровь, вскочил на ноги и стал, как и Валаев, бить прикладом ружья.

Первый пришёл в себя Креморенко:

— Стойте, братцы... Не уйдёт теперь...

Валаев и Мазаев остановились.

Креморенко нагнулся, заглянул в синевшее лицо Аркизова и сказал:

— Помер...

Валаев, опустив ружьё и бледный как воск, смотрел на убитого.

— Не надо бы, — говорил Креморенко, — живым бы взять можно.

Валаев всё молчал. Грудь его судорожно вдыхала воздух. Чёрные глаза с каким-то ужасом и недоумением смотрели на лежавшего под ногами мёртвого человека. Как будто бы он ожидал увидеть голову затравленного волка или кабана, а вместо этого увидал человеческое лицо, испачканное кровью и землёй, с полузакрытыми глазами и скривившимся ртом, из которого выступила красная пена.

Только теперь Валаев понял, что пред ним несколько минут назад бежал человек. И не мог сдвинуться с места, и всё смотрел с ужасом и недоумением на убитого.

— Надо сигнал подать, — равнодушно сказал Мазаев. И, подняв ружьё, выстрелил в воздух...

ТЁМНОЮ НОЧЬЮ

Никогда ещё дедушка Еремеич не ловил в свои вентеря такого количества рыбы.

Впрочем, и время было самое рыбное — начало мая.

Волга залила левый берег, потопила луга и леса, врезалась на десятки вёрст ериками — быстрыми, глубокими весенними речками, которые уйдут назад, когда сбует вода, образуя узкие пересохшие овраги.

По этим ерикам весной заходит в озёра рыба: щука, лини, окуни и особенно сазаны. Сазан мечет икру на мелких местах и входит в ерик, чтобы найти широкие поляны, залитые водой.

Еремеич ещё с утра перегородил вентерями несколько ериков и на закате поехал подымать их. Лодка у него была самодельная, старая, вся в заплатках. Вёсла короткие. Сам он шершавый, обросший беспорядочными седыми волосами. На селе держался Еремеич особняком, жил бедно, перебивался кое-как рыбной ловлей. Ездил за рыбой всегда один, за это так его и прозвали «бобылём»...

Лениво шлёпая вёслами, проехал Еремеич по течению мимо рыбацкого стана, завернул за песчаный бурун и въехал в пенистый ерик.

Вода шла быстро, нагибая мягкие прутья затопленных кустов; молодые, весенние листья даже вечером ка-

зались ярко-зелёными; тёплый, душистый воздух смешивался с прохладными струями лесной сырости. Лодку гнало весело по течению, покачивая из стороны в сторону. Еремеич сложил вёсла и только отталкивался, когда лодку прибывало к затопленному дереву.

В узком проходе, сжатом высокими крутыми берегами, где вода шла особенно быстро, торчали три длинные палки: это стоял первый вентерь.

Еремеич схватился рукой за ближайшую палку. Лодку быстро повернуло на одном месте, борт почти зачерпнул воду, но Еремеич держался крепко. Осторожно перебирая, подвёл лодку к берегу и начал поднимать «крылья». Сначала одно крыло с палкой положил в лодку, потом другое. И не успел ещё взяться за третью палку, чтобы вытащить матню, как рыба уже забилась, заплескалась в воде. Он нагнулся, красными, мокрыми руками раскачал третий, самый длинный кол и стал вынимать вентерь. Вот на поверхности показались круглые бока сетки, в неё запуталось несколько мелких, белых рыбёшек «густерок», как презрительно называют их рыбаки, вот плеснулась тёмная спина линя, острая морда щуки уткнулась в разорванную сеть, и наконец Еремеич увидел главную свою добычу — крупных сазанов, как на подбор один к одному. Едва втащил он полную матню в лодку. Руки его ослабли от холодной воды и неожиданной удачи. Он путал сетку, топтал её неуклюжими сапогами и неловко протаскивал через узкое горло матни скользкую, трепетавшую рыбу.

Еремеич бросал её на дно лодки, не считая, но опытный глаз сразу делал нужный ему подсчёт. Сначала выбрал он мелкую «густеру». «Ну, эта себе на уху пойдёт...» Потом щук — «щуки икряные, рубля на два всейто будет». Потом стал тащить мягких упругих линей... «Тоже рубля на два наберётся...» И наконец принялся за сазанов. Сазаны лежали спокойно, но при малейшем прикосновении резко бились сильными хвостами и выскальзывали из рук. Он встал на колени на мокрое

дно лодки и начал вынимать двумя руками. С трудом можно было просунуть широкую спину сазана в узкий ход матни, и Еремеич с особенным удовольствием каждую вынутую рыбу держал некоторое время на весу и потом уже кидал в лодку, подбрасывая немного вверх.

Но всё это было начало удачи.

С каждым новым вентером лодка наполнялась всё больше, Еремеич потерял счёт и линиям, и щукам, и сазанам. Знал он только одно, что много. Так много, как не запомнит за всё своё рыбачество.

Солнце спустилось за песчаный бурун. Против течения ехать было трудно. Еремеич стал торопиться домой. До Волги по ерику проехать надо было версты полторы, а там ещё проехать Волгу на перевал, с парусом: ветер дул попутный, тёплый...

Еремеич грёб привычным равномерным взмахом, а сам всё думал о рыбе: «Рублей на двадцать, а то и больше... Завтра базар — разом всю разберут... Продам, а к вечеру снова ехать надо. Демьяновым скажу — в Верблюжьем затоне был... пусть едут...»

Еремеич устал. Руки промёрзли от холодной воды и теперь на тёплом весеннем воздухе горели и ныли. Рыба, накрытая мокрыми сетками, успокоилась и только изредка билась о края лодки. Ерик становился всё тенистей, небо серело и ближе придвигалось к земле. Вдруг по верхушкам деревьев пронёсся тревожный, протяжный гул. Еремеич насторожился. Поднял голову. И приналёг на вёсла. По течению ехать было незаметно, а теперь вода крепко обхватывала лодку и отбрасывала назад.

«Только бы до Волги дотянуться, — думал он, — там парусом живой рукой...»

Деревья шумели всё протяжнее, всё тревожнее. Темнеть стало резко, порывами. Вода в ерике отливала стальным блеском и, казалось, ещё стремительней ударяла в тяжёлую лодку.

«Который день к вечеру ветер, — думал Еремеич и успокаивал себя: — А к ночи всё разойдётся. Как бы не пришлось на стану переждать».

И снова стал думать о рыбе.

«Сазан метать икру шёл, к Дарьиной поляне пробирался... щука-то везде шныряет, а вот линия столько — диковинно... Не упомяну такого линия... Коли подвозу не будет, все три красеньких можно взять... Базар большой: на луга едут... А переждать придётся», — снова с досадой подумал он, прислушиваясь, как бушевал ветер.

Деревья скрипели и раскачивались в разные стороны, даже тонкий тальник гнулся против течения. И по узкому ерику пошли неровные волны.

Выехал Еремеич в затон, когда уже совсем стемнело. Поехал вдоль самого берега.

«Нет, нельзя ехать через Волгу, — окончательно решил Еремеич, — пережду ветер на стану...»

Под песчаным буруном, где затон соединился с Волгой, вспыхивал огонь.

«Не спят — уху, верно, варят...»

Еремеич плотней прикрыл рыбу, чтобы нельзя было видеть, сколько её, и повернул лодку на берег. Волны подхватывали и мешали пристать. Рыбак Андрей Прокофьич крикнул от костра:

— Еремеич?..

— Я.

— К лодке причаль...

Чёрная тень подошла к воде.

— Много наловил?

— Наловишь, — неохотно проворчал Еремеич, — вишь, погода.

Лодку кое-как привязал и выпрыгнул на берег.

— Ночевать будешь? — спросил Андрей Прокофьич.

— Нет, домой надо, пережду ветер.

— Иди, грейся. Уху варим.

— Кто с тобой?

— Гришка.

Подошли к костру.

— Не переждёшь, — говорил Андрей Прокофьич, — ветер ночной дует... Дня на два, смотри, подыметя.

— Мне нельзя, — угрюмо ворчал Еремеич, вытягиваясь около костра, — к утру надо.

— О старухе соскучился, — засмеялся Гришка.

— Да, о старухе... Много наловили?

— Есть, — весело отозвался Андрей Прокофьич, — сом пошёл. Сазана много...

Еремеич посмотрел на небо: ни звёздочки. Серая, мутная мгла придвинулась совсем близко над головой...

«Не стихнет, пропала рыба, — тоскливо думал он, — ветер тёплый, сгноишь всю... Линь жирный...»

— На базар думал везти? — спросил Андрей Прокофьич. — Мы тоже думали, да нет, не придётся, верно.

— Поеду, — упрямо сказал Еремеич.

Гришка засмеялся:

— Лучше кидай рыбу назад.

— Да, кидай... Сам кидай...

И снова тревожно смотрел на небо и прислушивался, как свистел ветер и весенние, размашистые волны глухо ударяли в песок.

«Пропадёт рыба, сгноишь всю... — теперь для него это стало вдруг ясно до очевидности. — Весь улов погибнет. И лини, и сазаны, и щуки. Ни тридцати рублей не будет, ни двадцати, ни копейки...»

— Ехать надо, — решительно сказал он.

Гришка засмеялся:

— На дно. К щукам в гости.

— Одному не доехать, — серьёзно проговорил Андрей Прокофьич, — лучше пережди.

— Не переждёшь. Ехать надо, лодка тяжёлая, не перевернётся.

Еремеич встал и пошёл на берег. Гришка и Андрей Прокофьич молча пошли за ним.

Помогли отвязать верёвку.

— Не езд, — сказал Андрей Прокофьич.

Еремеич ничего не ответил, прыгнул в лодку и оттолкнулся веслом.

Волны подхватили его и быстро понесли от берега. Еремеич встал, распустил парус. Залив кончился, началась коренная Волга.

Вода, волны, ветер — всё сразу стало другое.

Берега отодвинулись далеко, точно вовсе растаяли в ночной мгле. Одинок и беспомощно бился пригнувшийся к воде парус. И Еремеич почувствовал, что он в этой страшной пустыне один. Совершенно один. Вернуться нельзя. Крикнуть нельзя. А впереди ничего, кроме бесконечного ряда волн, которые чем дальше, тем выше подымали свои белые зубчатые гребни. Лодка то стремительно опускалась вниз, и тогда казалось, что вода расступилась до самого дна, то медленно вползала на гору, вся содрогаясь и почти опрокидываясь назад.

Еремеич не двигался. Согнувшись, сидел он на корме, не спуская глаз с паруса и грудью прижавшись к рулевому веслу. Рыба, встревоженная качкой, билась под сетью. Упало несколько крупных капель холодного дождя, неясною красноватой тенью мелькнула далёкая зарница.

Еремеичу показалось, что ветер стихает. До середины доехал. Теперь за горой — легче будет. Он отодвинулся от рулевого весла и перевёл дух.

Но ветер точно ждал этого. Разом ударил в парус, как-то сбоку и исподнизу. Лодку с силой повернуло на бок. Еремеич увидел над собой чёрную, холодную стену воды. Весло вырвало из рук его, и он едва успел схватиться за борт погружившейся в воду лодки...

Еремеич не кричал. Он знал, что его никто не услышит. Он старался сбросить с себя сапоги и не выпускать лодки. Волны подхватили и понесли его по течению... Вода холодная, быстрая то закрывала его с головой, то выбрасывала по пояс вверх, лодку рвало из рук, и закоченевшие пальцы едва могли её удержать. Еремеич вспомнил, как всплывшая из лодки рыба ударяла ему в

грудь. И подумал: «В воде отойдёт... Только мелкота поспула... А сазан и вовсе живой...»

Он не думал о том, что может потонуть. Раза три тонул, ничего, цел остался. И он думал только о том, чтобы выбиться из середины и тогда на завороте его понемногу прибьёт к берегу. Он закрывал глаза, когда вода накрывала его, и переводил дух, когда снова выбрасывало кверху.

Руки переставали чувствовать лодку. И Еремеичу казалось, что чем меньше чувствовали его пальцы, тем плотней прилипали к дереву, и потому он не старался заставить себя чувствовать борт лодки. И всё тело его становилось таким же нечувствующим, крепким, точно деревянным, как будто бы и оно становилось частью лодки.

«Переждать бы надо. К утру стихло бы. Рублей двадцать, а то и все три красеньких утопишь...»

Вспомнил, что и вентерю потонули. Только головой с досады махнул.

«Эх, старый дурак, забыл! Чем ловить теперь буду...»

Не успел закрыть глаза, волна с гулом и холодным вздохом накрыла его. И когда выбросила наверх, Еремеич увидал, что лодка легко и свободно выскользнула из его заочневших рук и быстро понеслась куда-то в сторону. А вместе с тем и сам он грузно, почти по шею, погрузился в воду. Он не поверил! не могло этого быть. Пальцы держали крепко, как вбитые гвозди... Не может быть... Три раза тонул... И рыбы нет, и вентерья... И лодка...

Руки не двигаются. Ноги не двигаются.

— Тону!.. Тону!.. Тону!..

Вода мчится яростно, то выбрасывает, то закрывает седую голову Еремеича. Под ним глубина не меньше десяти сажен, самая середина Волги, а там дно...

В глаза его блеснул огонь костра под песчаным бурном. Теперь он поравнялся с рыбацким станом. Его теченьем вернуло назад к тому месту, от которого он

отъехал. И Еремеич вздохнул всей грудью, жадно глотнул воздуха сколько только мог, поднялся над водой ниже груди и странным, не своим голосом хрипло и отрывочно закричал:

— Ай... Ай... Ай!..

И снова скрылся в воде. Хотел подняться. Ещё глотнуть воздуха... и не мог...

.....
Андрей Прокофьич слышал этот крик. Быстро пошёл на берег. Прислушался. Всё было тихо. Вернулся к костру и растолкал спящего Гришку.

— Гришка, а Гришка, Еремеич тонет...

— Ну!

— Правда.

Гришка быстро встал. И оба они молча пошли к лодкам. Долго слушали, как свистел ветер и бились о берег волны.

— Не слышно, — тихо сказал Гришка.

— Верно, потоп, — серьёзно сказал и Андрей Прокофьич. И оба они медленно пошли к костру.

НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ

В приёмной владыки Варсонофия было особенно много народа. Несколько сельских священников, старичок дьякон с распухшей щекой, приехавший хлопотать о переводе в другой приход; ближе к прихожей испуганно жалась целая толпа безусых молодых людей, кандидатов в псаломщики, и среди них сухая, костлявая, необыкновенно прямая женщина с плоским скуластым лицом — Гликерия Антоновна Крестовоздвиженская, вдова псаломщика села Крутояр. У самых дверей в архиерейские покои сидел в креслах высокий, худой архимандрит Досифей и рядом с ним толстый, налитой весь, с красной лысиной, член консистории протоиерей Урбанов, в ослепительно-яркой голубой рясе.

Среди просителей сновал бесшумно, точно ныряя, маленький человек в грязном крахмальном воротничке и длинных узких манжетах, взъерошенный, с слипшимися от помады мочальными жидкими волосиками и узкими глазками неувливаемого цвета.

Тихонечко подошёл он и к Гликерии Антоновне и, нагнувшись одной шеей, отчего на спине широкий чёрный сюртук вздулся горбом, зашептал:

— По какому делу?.. местечко?.. Владыке приватно можно было бы доложить?..

Но костлявая Гликерия Антоновна энергично сжала свои тонкие губы и вежливо, но весьма внушительно проговорила:

— Благодарствуйте.

Вихрастый господин вскинул на неё глазки и, не разгибая шеи, стушевался в толпе безусых молодых людей.

Просителей пускали по одному. Массивная дверь медленно растворялась, и сдержанный говор и вздохи в приёмной замирали.

Первым пошёл к владыке архимандрит Досифей. Через несколько минут туда же позвали протоиерея Урбанова. Он встал и, с необычайной для своего грузного тела лёгкостью, поплыл, мягко колыхаясь и шурша голубой рясой, в архиерейские покои. С его уходом, казалось, в комнате даже несколько потемнело. А просители как один человек напряжённо уставились на захлопнувшуюся дверь.

Только одна Гликерия Антоновна не обращала на происходящее ни малейшего внимания и сидела по-прежнему степенно, сложив «крестиком» жёлтые, угловатые руки и изредка бросая окружавшим её молодым людям деловые вопросы.

— Из духовного выгнали? — спрашивала она своего соседа, с опухшими веками и влажными, толстыми губами.

Сосед, несколько ошеломлённый прямотой вопроса, беспомощно переминался на стуле, обтирал губы рукой и конфузливо отвечал:

— Батюшка взяли... по случаю неспособности...

— Пьёшь? — резала Гликерия Антоновна.

— Выпиваю...

— Сколько выпиваешь?

Сосед пыхтел и угрюмо взглядывал на свою мучительницу.

— По-разному, — бормотал он.

— Бутылку выпьешь? — наступала безжалостная Гликерия Антоновна.

— Выпью...

— И больше?

— И больше... — совсем убитым голосом говорил сосед.

Тогда она принималась за другого, круглолицего, с круглыми бледно-голубыми глазами и круглым, маленьким, вздёрнутым носом.

— Тоже выгнали?

— Нет, окончил-с...

— Водку любишь?

— Пристрастия особого не имею... в дни табельные и воскресные, конечно, разрешаю... особенно в компании, или примерно-с...

— Пьяный дерёшься? — перебила его Гликерия Антоновна.

— Пою-с...

— Чего поешь?

— Разное... Духовные и особенно светские... «Василёчек» и другие...

— Фамилия?

— Гибралтаров-с...

Но дошла очередь и до Гликерии Антоновны — её позвали к владыке. Она быстро встала и так же прямо, как и сидела, резко топая каблуками, прошла через всю приёмную.

Владыка Варсонофий сидел в широком кожаном кресле. При входе просительницы он встал, привычным жестом благословил жёлтые, большие руки, сложенные чашечкой, и вопросительно уставился в плоское, широкое лицо Гликерии Антоновны своими добрыми близорукими глазами.

— О чём?

— Гликерия Антоновна Крестовоздвиженская, вдова псаломщика села Крутояр, о замужестве своих дочерей, — отчеканила Гликерия Антоновна.

— Да-да, помню... писал мне о. Василий... помню... Как же быть-то? — развёл руками владыко.

— Укажите жениха, ваше преосвященство, и назначьте на место покойного мужа моего.

Владыка снова развёл руками и улыбнулся:

— Выходит, значит, сватом мне быть?

— Сама найду.

Владыка совсем рассмеялся:

— Похвально, похвально!.. Сколько всех-то?

— Шесть.

Владыка покачал головой и вздохнул:

— Цифра не малая... Что ж, будь по твоему: выбирай жениха, сегодня их понаехало, я чай, видимо-невидимо, все на места просятся... А как выберешь, ко мне приходи — назначу в Крутояр. Живите с Богом. Шесть душ прокормить нелегко. Шутка сказать. Отчего муж-то помер? — спросил владыка, снова благословляя её широким крестом.

— Запойный, — кратко ответила Гликерия Антоновна, прикладывая свои сухие, холодные губы к руке архиерея.

— Сохрани Бог, сохрани Бог, — вздохнул владыка и отворил перед ней дверь.

Гликерия Антоновна застучала каблуками и направилась к прежнему своему месту. Она остановилась перед кандидатами в псаломщики и сказала:

— После владыки приходите в номера, на базаре, «Приволжский», — чай пить.

— Придём, — послышалось несколько голосов.

Гликерия Антоновна круто повернулась и пошла к выходу.

Вечером в маленькой комнатке «Приволжских» номеров собрались гости. Тут были почти все безусые молодые люди, дожидавшиеся утром в приёмной архиерея.

Гликерия Антоновна молча раскладывала на столе закуску: пухлый белый хлеб, варёную колбасу, несколько бутылок пива и жёлтый графин с водкой.

— Вы не беспокойтесь, Гликерия Антоновна, — краснея до ушей, попробовал быть любезным Гибралтаров, — премного благодарим-с... мы отобедали...

Но Гликерия Антоновна даже не взглянула на него и преспокойно продолжала свою работу.

Когда всё было готово, она заявила:

— Ешьте. У меня дело есть. Без меня не уходите.

И прежде чем гости успели опомниться, её уже не было в комнате.

Гликерия Антоновна направилась в соседний пустой номер. Отсюда было слышно каждое слово, произносимое гостями. Этот наблюдательный пост устроил ей коридорный. На вопрос его: «Зачем вам пустой номер, барыня?» — Гликерия Антоновна ответила: «Женуха выбрать буду, непьющего».

Коридорный сразу понял, в чём дело, принёс в пустой номер рваное кресло и поставил его у дощатой перегородки.

Теперь Гликерия Антоновна ощупью разыскала это кресло, уселась и стала слушать.

С её уходом все оживились.

Кудластый бас Побединский разлил по стаканам пиво и загремел:

— Братие и сестры! Выпьем!.. Пить — умереть, и не пить — умереть — лучше пить и умереть... Со вчерашнего дня в животе ни бельмеса не было... Даже трясение началось... Подобного не бывало ещё.

— За кого же выпьем? — хихикнул беленький, золотушный Воеводский.

— За кого? Да за эту кикимору и выпьем...

Все захохотали.

— Даст же Создатель такой непотребный образ, — гудел Побединский, — и за женщину признать нельзя.

— Игра природы, — вздохнул Гибралтаров.

— А ты что же? — обратился Побединский к высокому, безусому Златорунову, который всё время молча

сидел в сторонке и внимательно рассматривал на стене синюю «Ромео и Джульетту».

Златорунов повернул к нему своё бледное лицо с широкими, бесцветными губами и, потупившись, ответил:

— Не пью.

— Как не пьёшь?

— Привычки не имею.

— Вот тебе на! Да ты, может, баба?

— Нет, извините, — не баба...

— Чего же не пьёшь?

— Так-с... воображение в голове делается...

— Ну, калач ешь!.. Это не по-товарищески, наконец!

— Хлебца позвольте... хлебца могу-с...

— А зачем она нас звала? — спросил Гибралтаров.

Побединский свистнул:

— Известно, зачем! Жених нужен.

— Ну!

— Вот те «ну»!

— Да зачем ей жених?

— Дурень, не ей — дочке! Женись — место в Крутояре сейчас дадут. Приход ба-альшуший! Хлеба одного целковых на двести достаётся... Дела немного — лежи на боку и упивайся!

— Рассказывай! — махнул рукой Гибралтаров. — Там их шесть душ, да как эдакая тёща на шею сядет — и приходу не рад будешь.

— Она сядет? — грозно сжал кулаки Побединский.

— Натурально, сядет.

Побединский внушительно потряс кулаком в воздухе:

— Видал?

Все покатались со смеху. Даже Златорунов улыбнулся бледными губами.

— Да если я в мужья попаду, — ревел Побединский, — такого ей дам: за десять вёрст Крутояр объезжать будет... А пока что, братие и сестры, выпьем по единой... за невесту. Как звать-то её?

— Лизанькой, — сладко прищурился Гибралтаров.

— Выпьем за Лизаньку!

— Выпьем!

— Выпьем!

Становилось всё шумней и шумней. Жёлтый графинчик пустел. Скатерть залили пивом. От пухлого калача остались одни корки.

Побединский гудел всё громче, кашлял всё чаще. Воеводский без умолку смеялся, взвизгивая и подпрыгивая на диване.

Гибралтаров тонким фальцетом запел:

Кружится-вертится шар голубой,

Кружится-вертится над головой...

В это время Гликерия Антоновна сочла возможным выйти из своей засады.

— Кончили? — отчеканила она, отворяя дверь.

— Кончили, — пробормотал опешивший Побединский.

— Домой собирайтесь, — отрезала Гликерия Антоновна.

— А как же... насчёт... собственно говоря, — начал было Побединский.

Но она окинула его грозным взглядом и поджала губы.

Гости, смущённые и растерянные, поднялись со своих мест и стали прощаться. Встал и Златорунов.

— Остайся, — кратко сказала ему Гликерия Антоновна.

Златорунов покорно сел в прежнем положении.

Гости молча, один за другим потянулись к выходу. Когда все ушли, Гликерия Антоновна подошла к Златорунову и сказала:

— Хочешь в Крутояре псаломщиком быть?

— Хочу.

— Возьмёшь мою Лизку замуж?

— Отчего же... можно взять...

— Пьянствовать не будешь?

— Не имею привычки...

— Ну, вот что. Я тебя запроу. Ты сиди тут. Пойду к владыке, пока всеобщая не отошла, — скажу, что тебя выбрала. Приду, на пароход пойдём.

— Мне бы кое-чего купить надо, — замялся Златорунов.

— Нечего покупать. Всё сделаю.

Гликерия Антоновна вышла в коридор и, затворяя за собой дверь, сказала:

— Недолго сидеть будешь. Через час приду.

И Златорунов слышал, как она повернула в замке ключ, вынула его и застучала каблуками по коридору.

На палубе «Димитрия Донского» Гликерия Антоновна угощала чаем Златорунова.

Весеннее солнце блестело на ярко-белой краске заново выкрашенного парохода. Нежная зелень левого берега Волги полоской окаймляла тихую гладь далёкого разлива. Пароход шёл ближе к правому утёсистому берегу, и прохладная тень иногда мягко покрывала палубу.

Белая скатерть, белые чайники, яркое весеннее небо, серебристая, прозрачная даль — всё было такое новое, праздничное.

Гликерия Антоновна звала своего будущего зятя Доримедонтом, он её — маменькой.

Они пили чай молча, изредка перекидываясь словами.

— Две коровы у нас, — говорила Гликерия Антоновна, — три было зимой, одна сдохла. Сено дешёвое. Ты чем у отца занимался?

— В учении больше...

Помолчали. Пароход повернул к левому берегу. Подул ветер и загнул полу чёрного сюртука Златорунова — подкладка была светло-коричневого цвета. Он быстро поставил на стол блюдечко с чаем и поправил

полу сюртука. Но Гликерия Антоновна бесцеремонно отогнула снова и спросила:

— Что это у тебя?

— Ситец, маменька...

— Чёрные сюртуки на ситцах не делаются, — внушительно сказала Гликерия Антоновна.

— Папенька говорит — всё равно не видно.

— Глупо! Ветер — и видно.

— Это нечаянно, маменька, я всегда коленкой держу.

И он осторожно снова поправил сюртук.

Гликерия Антоновна взяла сразу оба чайника и налила сначала себе, потом зятю.

— Премного благодарен, маменька...

— Пей.

— Тяжеленько будет.

— Глупости.

Златорунов покорно стал пить. Гликерия Антоновна старательно откусывала маленький кусочек сахара крепкими передними зубами. Молчали долго. Златорунов кончил стакан, повернул его кверху дном и отодвинул от себя. Робко покосился он на Гликерию Антоновну и завозился на скамейке. Видимо, ему хотелось сказать что-то, но он не решался. Наконец, собравшись с духом, начал:

— Я вас... спросить хотел... маменька... — и остановился, дрожащими красными руками перебирая скатерть.

— Ну? — не глядя на него, спросила Гликерия Антоновна.

— А что, дочка ваша... не больно на вас похожа?..

И он от смущения не знал, куда девать свои красные руки. Гликерия Антоновна молча продолжала пить чай. Потом поставила стакан на стол, бросила маленький кусочек сахара назад в сахарницу и сказала:

— Увидишь.

— А потом ещё вот что, маменька, — смелее продолжал Златорунов, — если Лизанька не того... вообще не поладим... можно другую сестру...

— Не дури! Сначала старшую отдают — потом младшую.

Златорунов вздохнул и поник головой.

— Скоро пристань, собирайся, — сказала ему Гликерия Антоновна и стала собирать со стола.

В селе Крутояр в маленьком доме псаломщика ждали Гликерию Антоновну к вечеру. Все дочери знали, зачем она поехала в город, и только не знали: сейчас она привезёт будущего мужа Лизаньки или приедет одна, а тот после.

Лизанька и следующая по старшинству сестра Настя сидели у окна и разговаривали.

Обе они совершенно не походили на мать.

У Лизаньки были мягкие золотистые волосы, тихие голубые глаза, и когда она улыбалась, лицо казалось совсем детским.

Настя, напротив, была смуглая, с яркими белыми зубами, высокая, полная, смешливая.

— Скоро твоего красавца привезут, — смеялась Настя.

— Очень мне нужен он!

— А что? Разве не надоела маменька?

— Маменька тут же останется.

— Всё с мужем лучше.

— Не хочу я, — грустно сказала Лизанька.

— А ты брось робеть-то.

— Да я не робею — а не хочу...

— Какой он будет? Чёрный, наверное. Я бы чёрного хотела. А ты?

Лизанька улыбнулась:

— Всё равно. Я и не думаю об нём вовсе. Привезут, и ладно.

— А ты думай.

— Не думается.

— Тебя выдадут — за мной очередь. У! Я долго разговаривать не стану: сама найду.

— Где найдёшь-то?

— Я уж всё обдумала.

— Ну! — удивилась Лизанька.

— Ей-богу. Летом отпрошусь в город с о. Василием и найду.

— Где же найдёшь-то?

Настя рукой махнула:

— Где хочешь найду!

— Глупости говоришь. Надо самовар ставить. Скоро маменька.

— Я сейчас, — спохватилась Настя и быстро убежала в кухню.

Лизанька высунулась в окно, посмотрела в даль улицы — не видно ли. Нет, не едут ещё. По улице только что прогнали стадо, и пыль тёмной, тяжёлой полосой колыхается в воздухе. В соседнем саду яблони цветут — теперь на закате цветы кажутся тёмно-розовыми. Скворцы поют. У о. Василия играют на фисгармонии.

Лизанька не думает о женихе, но ей грустно и страшно чего-то сегодня целый день. Она уже давно знает, что её выдадут замуж за псаломщика, которого назначат вместо отца и который должен будет кормить их семью. И она вовсе не противится этому. Раз так надо — как же быть-то? Но почему-то, когда сегодня утром купались и Настя разделась раньше её, бросилась в реку и со смехом стала брызгаться холодной водой, и Лизанька, чтобы не так было холодно, скорей сама сошла в свежую, весеннюю воду, только сверху нагретую солнцем, доплыла до Насти, но вдруг почувствовала, что хочется ей плакать, и, чтобы скрыть слёзы, быстро поплыла к берегу и, дрожа мелкою дрожью, начала одеваться.

— Ты что? — кричала Настя. — Разве холодно?

Но Лизанька не могла выговорить ни слова — притворилась, что не слышит.

И весь день так.

Увидит, как чёрно-стальные скворцы, блестя на солнце, расхаживают по молодой траве, как яблони распускаются, посмотрит на небо, на ярко-белые, пушис-

тые облака — и плакать ей хочется, и на глазах у неё слёзы.

«Какая я глупая, — думает Лизанька, — расстраиваюсь, сама не знаю, из-за чего. Если бы не Настя — целый день ревела бы. Вот опять она бежит из кухни — с ней лучше».

Настя заглядывает ей в глаза и говорит:

— Нюни разводишь? А сейчас Зинка прибежала, на лодке ехать звала — поедем?

— Да я не знаю... Как бы маменька не приехала?..

— Куда же она денется — мимо не проедет!

— Забранится.

— А ты, как я, — как она бранится, уши затыкай!

Но в это время у крыльца послышался стук колёс. Настя высунулась в окно и крикнула:

— Приехали!

Схватила Лизаньку за руку и потащила за собой.

Гликерия Антоновна слезла с телеги. Златорунов поднял узел и пошёл за ней в дом.

В первой светлой комнате, которая была и спальней, и гостиной, и столовой, их уже дожидались Лизанька и Настя. Первая взошла Гликерия Антоновна, за ней жених, согнувшись в дверях, чтобы не задеть головой косяк.

Он остановился с узлом и белесоватыми глазами посмотрел сначала на Настю, потом на Лизаньку.

— Вот невеста, — ткнула пальцем на дочь Гликерия Антоновна, — клади узел-то.

Златорунов положил узел и протянул Лизаньке красную, потную руку. Лизанька подала ему свою, концами холодных пальцев пожала его руку и, быстро повернувшись, убежала из комнаты.

Златорунов бледно улыбнулся ей вслед широкими губами и сказал:

— Не похожа...

— Как не похожа? — подхватила Настя, готовая прыснуть.

— На маменьку не похожа! — улыбнулся он ещё шире.

Настя фыркнула и побежала вслед за сестрой.

Лизанька лежала в своей комнате, уткнувшись в подушку, и плакала, вздрагивая всем телом.

— Лизанька, что ты, голубчик ты мой! — припала к ней Настенька.

— Не хочу я, не хочу я... — глухо, сквозь слёзы, точно отбивалась от кого-то Лизанька.

Вошла Гликерия Антоновна.

— Что она?

— Плачет, — тихо сказала Настя.

— Как кончит, пусть чаем идёт поить.

И, круто повернувшись, Гликерия Антоновна особенно чётко защёлкала каблуками.

Настя обняла Лизаньку, прижалась щекой к её мягким, пушистым волосам и с удивлением почувствовала на глазах своих слёзы: она плакала в первый раз...

ШУТКА ЛЕЙТЕНАНТА ГЕЙЕРА

Старая Бронка спросила Зося:

— А ты как же? Разве не больно боишься немецкой банды, что вздумала остаться?

Зося вздохнула и ответила:

— Куда ж идти? Дети маленькие... В дому ничего нет. Пусть будет что будет...

Зося вдова. У неё двое детей — Ян и Маруся. Старшему, Яну, пятый год. Марусе только что исполнилось два.

Зося живёт плохо. Изба её, на самом краю села, самая бедная. Единственное богатство — две большие породистые коровы. Одну зовут Галей, другую — Ганей. Эти коровы достались ей по наследству от мужа. Она продаёт молоко. Кормит молоком детей. И сама ничего, кроме молока и хлеба, не ест.

Когда обозы бежавших из села жителей проходили мимо её избы, она с детьми стояла у ворот: Ян держался за юбку, а Маруся была на руках.

— Идём с нами, Зося, — позвал кто-то.

Она покачала головой.

— А что?

Зося ничего не ответила. Тот же голос крикнул:

— Смотри, съедят твоих коров немцы!

Слова эти произвели самое неожиданное действие.

Она рванулась с места. Равнодушное, безжизненное лицо перекопилось. И, таща за собой непоспевавшего Яна, она бросилась догонять возы, с которых ей слышался голос...

Шум, толкотня, скрип телег, лязг какой-то жестяной посуды и неистовый плач детей совершенно сбили её с толку. Она остановилась.

...Кто же мог сказать это?.. Столько народу! Разве узнаешь?.. И зачем она побежала? Спросить? Да разве сами-то они что-нибудь знают?.. Где это видано, чтобы чужой скот убивали?..

Зося повернулась и пошла назад к своей избе. По-немногу она успокоилась. И опять равнодушно-усталым взглядом стала смотреть на шумную, лязгающую, плачущую живую массу,двигающуюся вдоль села.

Зося смотрела и думала: «Хоть бы и немцы... Что им взять у меня? Дети маленькие... В доме пусто... Посмотрят и уйдут... Как-нибудь перебыюсь пока... А там, может быть, опять наши вернутся».

И, совсем успокоенная, она пошла в избу.

Немецкие войска заняли село на рассвете. Голодные, усталые солдаты входили в пустые избы, где не осталось ничего, кроме голых стен и лавок, и злобно говорили:

— Пусть лейтенант сам теперь поищет хлеба и мяса... Обещать-то легко было...

Другие подсмеивались:

— Ну, ну, благодарите Бога, что они, по крайней мере, не подожгли свои конуры...

— Хорошее утешение, — ворчали солдаты, — стоило делать два перехода без отдыха, чтобы попасть в эти чортовы гнёзда.

Озябшие, измученные, озлобленные, они вымещали свою досаду на всём, что попадалось под руку: почти во всех избах пылали печи, растопленные стульями, деревянной посудой и брошенной крестьянской рухлядью.

Зося плохо спала эту ночь. Она слышала, как двигался глухой, тяжёлый гул. Охватывал село. Всё ближе и ближе... Она смотрела на мутные стёкла, в которые едва брезжил ранний рассвет, и ждала. Но мимо окон не проходил никто.

«А может быть, и не придут ко мне, — думала Зося, — мало ли хороших изб?.. Что им за нужда тащиться на самый край села?..»

За рекой у моста остановилось двое солдат, посланных лейтенантом осмотреть избы.

Один сказал:

— И смотреть нечего было. Дураки они, что ли, оставлять лейтенанту угощение...

— А вон за рекой изба, — сказал другой, — надо дойти до конца.

— Довольно будет. Чего ноги ломать?

Но второй настаивал:

— Наше дело исполнить приказ, а там как хотят.

Зося слышала тяжёлые шаги по мосту. Они так ясно и чётко выделялись из общего гула за рекой.

«Может быть, так это... идёт за чем-нибудь по мосту человек... по своему делу, — успокаивала себя Зося. Но сама не сводила глаз с белеющего окна. — А хоть бы и ко мне... Пускай... Взять у меня нечего...»

Шаги, на время стихшие, раздались под самым окном. А через минуту две громадные расплывшиеся тени заслонили мутный свет стекла, и в избе стало темно. Кто-то дёрнул за ручку калитки.

— Ага! Заперто! Значит, кто-нибудь есть, — сказал один голос.

Другой ответил:

— Ну, что же, не прав я был? Что бы мы завтра сказали лейтенанту?

Начали стучать в калитку, точно хотели сорвать с петель дверь. Осторожно, чтобы не разбудить детей, встала Зося и пошла отпираться.

Солдаты ни слова не понимали по-польски.

Они осмотрели избу и двор. И когда увидели в хлеву коров, о чём-то долго совещались. Потом один из них ушёл, другой остался на дворе.

Зося всё время ходила с ними. С тревогой следила за каждым движением. Но они ничего не трогали. Всё осторожно ставили на прежнее место. Зося ждала, что и другой солдат уйдёт. Но он нашёл какую-то доску, сел и закурил.

— Больше у меня ничего нет — вот эти коровы, и всё... — сказала Зося, забывая, что её не понимают.

Солдат ответил что-то по-немецки. Но Зося поняла только одно слово: «лейтенант».

Она догадалась: «Пошли за лейтенантом...»

И сразу вспомнилось: «Съедят твоих коров немцы...»

Слова эти теперь так и остались у неё в мозгу.

Она даже не пыталась прогнать их. Молча стояла около солдата и ждала...

Лейтенант приехал в сопровождении нескольких офицеров. Они не обращали никакого внимания на Зося, как будто бы её не было. Вывели коров на двор.

Лейтенант подошёл и похлопал одну из них по шее. Лейтенант был добродушный, смешливый толстяк. Он и тут успел сказать что-то весёлое, потому что офицеры и солдаты, улыбаясь, посмотрели на коров. И вдруг лейтенант повернулся к Зосе и на чистом польском языке сказал:

— Мы должны взять у вас этих коров.

Зося от неожиданности не нашлась, что ответить.

— Славные коровы, — продолжал лейтенант. — Вы за них получите хорошие деньги...

Наконец Зося заговорила:

— Нет, нет!.. я не отдам, господин лейтенант. Мне коровы нужны... Я без них никак не могу, чем же я буду жить?

Лейтенант удивлённо посмотрел на неё:

— Но вы же получите за них деньги!

Зося не соглашалась:

— Нет, денег мне не надо... Что же я буду делать с деньгами? Ни хлеба, ни молока... Мне без коров нельзя.

Лейтенанту показалось забавным, как говорит с ним Зося.

— Она думает, что мы покупатели, — смеясь, сказал он офицерам.

И, обращаясь к Зосе с добродушной улыбкой, повторил ей снова:

— Ваши коровы нужны войску. Они будут у вас отобраны. Что же касается денег — то вы получите, что вам следует по закону.

Зося посмотрела на коров, на лейтенанта, на офицеров и солдат и, видно, поняла, что коров возьмут. Тогда неожиданно она схватила лейтенанта за руку и быстро-быстро заговорила:

— У меня дети, господин лейтенант... Маленькие дети... Мальчику пять лет. Девочке всего два года... Если не будет коров, они умрут с голоду. Пожалейте их, господин лейтенант. Возьмите что-нибудь другое... У меня есть распятие... серебряное... И шёлковое платье... мне подарил покойный муж...

— Нет-нет, милая, я тут ничего не могу сделать... — И, что-то соображая, машинально прибавил: — А где же ваши дети?..

Зося бросилась в избу и привела сонных Яна и Марусю. Лейтенант потрепал Марусю по белым волосам и сказал:

— Славная девочка... Ну, а теперь пойдёмте в избу. Я должен дать вам расписку, по которой вам выдадут за коров деньги.

Зося, едва выговаривая слова от дрожи, бессильно повторила:

— Мои дети... умрут с голоду... господин лейтенант...

Лейтенант приостановился на минуту:

— Это можно исправить: я велю их расстрелять — тогда коровы вам будут не нужны...

И он залился добрым, колышавшимся смехом.

Шутка так ему понравилась, что он повторил её по-немецки, обращаясь к ближайшему офицеру:

— Расстрелять этих малышей — тогда она за ненадобностью продаст нам коров.

И потом снова обратился к Зосе:

— А теперь пойдёмте. Я напишу квитанцию. Нам некогда.

Он прошёл в избу первый. За ним Зося, растерянная и вздрагивающая всем телом не то от холода, не то от слёз. Он велел зажечь лампу. Сел к столу. Достал походную чернильницу, какую-то длинную книжку и стал писать.

Зося стояла около, опустив руки и как будто бы не понимая, что кругом неё происходит.

В это время за избой, по направлению к полю, раздались два коротких, один за другим, выстрела.

Лейтенант вскочил. Перо выпало из рук и покатилося на пол.

— Что это? Кто тут есть? — крикнул он.

Вошёл офицер.

— Что это за выстрелы? — спросил лейтенант.

— Ваше приказание исполнено, господин лейтенант.

Они расстреляны.

Полное лицо лейтенанта поморщилось.

— Но я же пошутил! А вы...

И он сконфуженный, недовольный сел писать квитанцию...

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Всенощная кончилась поздно.

Послушник о. Сергей проводил о. Савватия до его кельи и через монастырский сад, ближней дорогой, пошёл в нижний корпус, где были кельи послушников.

«Отцу» Сергию едва минуло девятнадцать лет. Но он уже третий год жил в Зареченском монастыре и проходил послушание под руководством семидесятилетнего иеромонаха о. Савватия.

Почти все три года о. Сергей был приставлен следить за лампадами и свечами во время богослужения.

Всё нравилось ему в церкви. И служба, и пение, и общая молитва, и люди со всех концов России, пришедшие в маленький монастырский храм, и яркие восковые свечи, и тёмные лампы, и самый запах церкви умилял его и волновал какой-то особенной радостью.

О. Сергию перерывы между службами казались бесконечно длинными, и он тосковал без церкви и часто проводил там время от одной службы до другой.

Вот и сегодня всенощная затянулась до одиннадцати часов, а ему так не хотелось идти к себе в келью.

Спина и ноги болели немного — от поклонов, и во всём теле чувствовалась лёгкая усталость. От подрясника пахло ладаном, этот запах смешивался с ночным ароматом весенних листьев, и тёмный монастырский сад

казался громадным, таинственным храмом, а небо — куполом, украшенным живыми трепетными огнями.

О. Сергей остановился на повороте.

Тёмные, влажные деревья стояли кругом!.. Тихий шелест наполнял воздух. Тёплый весенний ветер ласкал лицо живым, нежным прикосновением, и в ответ этой робкой ласке подымалась в душе безотчётная томительно-страстная тревога.

О. Сергию стало жутко.

Почудилось, что он в саду не один. Какие-то тени колебались в темноте и, тихо смеясь, манили за собой в чащу.

О. Сергей перекрестился. И быстро стал спускаться вниз.

В маленькой келье о. Сергия было душно.

Красная лампадка перед тёмной иконой светилась, как раскалённый уголь. На белой стене над узкой койкой из простых досок висела аллегорическая картина, изображающая христианские добродетели — пост, смирение и молитву. Посредине картины был изображён худой старик с длинной седой бородой и громадными глазами. А в углу, на коне, рыжеволосая женщина, олицетворяющая плоть, стреляла в него из лука. Полные голые руки были выкрашены лубочно-розовой краской, и синие стрелы, которыми она стреляла, бессильно падали к ногам старца.

О. Сергей распахнул окно настежь.

Маленькая, тихая келья, вся пропитанная запахом ладана, розового масла и воска, сегодня казалась ему тесной, неудобной, душной...

Захотелось уйти опять в сад, на свежий воздух, под открытое звёздное небо.

Он стоял посреди кельи со странно бьющимся сердцем в беспомощной нерешительности: «Господи. Что это со мной?..»

Он вспомнил весь сегодняшний день.

Утром был в церкви. Потом у о. Савватия. Потом убирал церковь. Потом всенощная. Никаких встреч, которые могли бы рассеять его. Никаких разговоров.

Откуда же тревога такая?.. И неясные чувства. И жутко. И стыдно. Как будто бы свершил какой-то большой, непоправимый грех...

Вспомнил слова о. Савватия: «Если иной раз покажется тебе, будто земля под ногами колеблется — не бойся. Бери Слово Божие и читай».

Он подошёл к аналою. Взял Библию.

О. Сергей всегда читал, что раскроется. Ему казалось, что Господь лучше знает, чем в данный момент нужно вразумить и наставить...

Раскрылась книга Песни Песней Соломона. Начал читать:

«Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина.

От благовония мастей твоих имя твоё, как разлитое миро; поэтому девицы любят тебя.

Влеку меня, мы побежим за тобою, — царь ввёл меня в чертоги свои, — будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино; достойно любят тебя! Дщери Иерусалимские! черна я, но красива, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла; ибо солнце опалило меня...»

О. Сергей знал почти наизусть то, что читал. Знал, что под возлюбленной надо разуметь Церковь Христову. Знал все толкования и параллельные места... Но сегодня всё было иначе.

В этих знакомых словах почудилась ему та же тревога, что и в тёмном саду. Тот же пряный, душистый аромат, что и в келье... И строчки замелькали, зарыбили перед глазами.

Положил несколько поясных поклонов и снова заставил себя читать со вниманием. Но слова точно нарочно дразнили его...

«Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя. Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях; золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блёстками».

Какое-то покоряющее, жуткое наслаждение было читать эти слова.

О. Сергей никогда не слышал их раньше... Да, он знал их наизусть... Но раньше они значили совсем другое...

Точно по волшебству, увидел он неведомую, лучезарную жизнь, во всём её великолепии — и она ослепила его. Не отрываясь, о. Сергей жадно читал дальше и дальше:

«...ложе у нас — зелень; кровли домов наших — кедры, потолки наши — кипарисы. Я нарцисс Саронский, лилия долин!

Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени её люблю я сидеть, и плоды её сладки для гортани моей».

О. Сергей чувствовал, что горло у него сжимается. Губы горят. Он смутно сознавал, что надо сделать какое-то усилие, что надо заставить себя перестать... Что с ним свершается что-то страшное, что какие-то неведомые, неотступные силы овладели им — но он не мог остановиться и в каком-то полузабытьи читал дальше:

«Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви.

Левая рука его у меня под голову, а правая обнимает меня».

И вдруг точно огнём вспыхнули в его мозгу слова:
— Остановись!.. Погибнешь!..

И о. Сергей судорожным движением, точно кто-то держал его за руки, захлопнул книгу.

Он едва стоял на ногах. Холодный пот выступил на лбу. Глухими ударами стучала в висках кровь.

...Куда же? Куда же теперь?

В келье он оставаться не мог...

К о. Савватию!

...Да, да, конечно... Он не спит ещё... Читает правила...

Почти бегом, точно боясь, что ему помешают, о. Сергей бросился из кельи.

Келья о. Савватия стояла совсем отдельно, на самом конце сада. Сквозь распутившиеся кусты сирени тускло светилося маленькое окно.

О. Сергей подошёл к двери, постучал и проговорил вполголоса:

— Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.

— Аминь, — отозвался из кельи твёрдый голос о. Савватия.

О. Сергей вошёл. Поклонился поясным поклоном, касаясь рукой пола. Принял благословение. Поцеловал холодную, сморщенную руку о. Савватия.

О. Савватий внимательно посмотрел на него и спросил:

— Ты что?

О. Сергей только тут понял, как трудно рассказать всё, что с ним случилось. Дорогой он не думал об этом. Он думал только о том, как бы скорей дойти до кельи о. Савватия. Как будто бы достаточно было войти к нему и всё сейчас же должно кончиться.

О. Савватий повторил настойчиво:

— Что у тебя?

— Я не знаю... Никогда раньше со мной этого не было...

О. Савватий молчал.

О. Сергей опустил руки и беспомощно смотрел на него.

Жёлтое, худое лицо в мелких-мелких морщинках. Прямой строгий нос. Седые, нависшие брови. Длинные

чёрные чётки в левой руке, торопливо и цепко перебирающей одно звено за другим, — всё это так далеко было от того, что он только что пережил.

«Что же?.. Что же я могу сказать ему?» Сделал усилие над собой и начал рассказывать.

Слова были грубы. Не выражали того, что он хотел. Говорить так было мучительно стыдно.

О. Савватий слушал, не глядя на него, и всё так же торопливо перебирал чётки.

А когда он кончил, холодно перевёл на него свои глаза и всё тем же отчётливо-твёрдым голосом сказал:

— Разумения мало имеешь. Усердие есть. А разумения нет. По изъяснению святых отцов, знаешь ли, что разумеется под любовью царя к прекрасной деве Суламите?

— Знаю, — сказал о. Сергей.

О. Савватий поморщился:

— Разумеется любовь самого Господа Иисуса Христа к земной невесте Своей Святой Апостольской Церкви. Как о сем говорит псалмопевец: «И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему»... И далее: «В испещрённой одежде ведётся она к Царю; за нею ведутся к Тебе девы, подружки её. Приводятся с веселием и ликованием, входят в чертог Царя»... «Сделаю имя Твоё памятным в род и род; посему народы будут славить Тебя во веки и веки»... О сем же и апостолы писали... Плоть наша аки одежда ветхая, и не о плоти нашей свидетельствуют здесь пророки...

О. Сергей смотрел на о. Савватия и почти не слышал его слов. Он видел цепкие пальцы, перебиравшие чётки. Видел беззубый, старческий рот. Жёлтое, худое лицо и выцветшие глаза, холодно и внимательно смотревшие на него...

И чем дальше говорил о. Савватий, тем безнадежнее и тоскливее становилось на душе.

О. Савватий кончил. Пожевал запёкшимися губами и сказал:

— О. Никанор яблони окапывает. В свободное время ходи к нему помогать.

О. Сергей хотел идти. Поклонился поясным поклоном. Но о. Савватий неожиданно спросил:

— Ты покойников видел?

— Да... видел...

— Ну вот, о смерти чаще думай... Всякая красота — в гробу смрад. Одна у нас красота нетленная... Плотская красота — обольщение дьявольское... Ты на эту красоту посмотри в гробе... Какой дух от неё пойдёт... Ну вот... Ступай. Правила на сон грядущий прочти. Сто поклонов. Ступай теперь...

И снова он благословил его торопливым крестом и дал поцеловать жёлтую, холодную руку...

О. Сергей вышел из кельи о. Савватия в страшной тоске. Последние слова о смерти только увеличили эту тоску...

...Идти к себе. Опять в ту же душную, тесную келью...

О. Сергей даже не старался заставить себя сделать это...

Машинально повернул он направо и пошёл по тропе, которая через сад вела в лес и монастырские луга.

О. Сергей шёл быстро. Стараясь ни о чём не думать и ничего не замечать кругом. Прошёл сад. Отворил низенькую железную калитку — вышел в лес... Его тянуло туда, где будет открытая даль, свободный простор. Где не будет духоты, узких стен. Где ветер летит без всяких преград, свободно и радостно...

О. Сергей шёл, не замечая времени. Не зная, куда он идёт. Не думая о том, что будет с ним дальше. Он чувствовал только одно — надо идти скорей туда, где широкое поле, где нет белых душных стен.

Лес становился реже. Поляны открывались одна за другой — точно зелёные озёра. Потянулось мелколесье... Тонкие белые берёзки...

А вот наконец и простор, и даль.

О. Сергей остановился.

Было почти светло. Солнце не взошло ещё. На всём лежала нежная утренняя пелена. Но прозрачная даль уже открылась кругом.

Слёзы тихого восторга подступили к горлу о. Сергия. Он не мог стоять от волнения. Обхватил рукой берёзу и прижался головой к её стволу.

Стоял в полузабытьи. В трепетном, неясном ожидании.

И вот опять открывается перед ним священная книга, но теперь он не читает мёртвые буквы... Он видит перед собой ушедшую в века жизнь...

«...Цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей;

Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Голубица моя... покажи мне лицо твоё...»

О. Сергей закрыл глаза.

Утренний ветер едва коснулся душистых листьев берёзы. Ласковым шелестом нужными словами отозвались они.

Казалось, оживает ствол дерева. Наполняет плотью и кровью. Вызванный к жизни покоряющими, знойными словами любви.

«...Как лента алая губы твои... как половинки гранатового яблока — ланиты твои под кудрями твоими...

О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста... Сотовый мёд каплет из уст твоих, невеста; мёд и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана!»

Да... Свершилось чудо... Белый, холодный ствол берёзы ожил. Затрепетал страстным желанием... Перед ним стояла она... невеста... голубица... лилия...

И он обнял её... и целовал её, задыхаясь...

— Прекрасны ноги твои... Округления бёдр твоих, как ожерелье... Стан твой похож на пальму... Груды твои — на виноградные кисти...

Но она не дала говорить ему. Горячим ртом прижалась к его губам. И он, затрепетав всем телом, обнял её всю...

В Зареченском монастыре сохранилось предание:

Когда-то давно жил в монастыре послушник о. Сергий, ревностный к молитве, старательный в послушании. Но враг соблазнил его. Впал молодой послушник в прелесть. Враг рода человеческого принял образ прекрасной девы и увлёк молодого послушника в лес... Утром монахи нашли его мёртвым недалеко от монастыря. Он лежал, судорожно обняв ствол березы у подножья.

И руки были так крепко сжаты, что их не могли разжать люди.

Пришлось дерево срубить.

ЛЮБОВЬ

Когда Соня увидела мужа в военной форме, она не могла удержаться от смеха:

— Коленька, ты точно ряженный.

Мундир был широк. Сабля болталась сама по себе. Он казался шире в плечах и выше ростом.

Шутливо показывал ей, какой он теперь бравый. И смущённо улыбался.

Так странно было: точно он и не он.

Если взглянуть мельком — какой-то чужой офицер, широкий, нескладный. А если вглядеться — прежний Коленька.

И глаза его, и мягкие волосы, и губы, закрытые тёмными, волнистыми усами.

— Мой Коленька. И в эполетах, и в смешном мундире, и с саблей, а всё-таки — мой...

Захотелось приласкать его, как маленького. Стало так жалко чего-то. И от внезапного волнения на глазах выступили слёзы. Он понял иначе:

— Ну что ты, Сонечка, не надо... Ведь пока ещё ничего не случилось.

Она прижалась к нему и, пряча лицо, сказала:

— Я не о том... Я совсем не о том...

— О чём же?

Но она не знала, как объяснить ему.

До отъезда оставалось три дня.

Стояла суматоха. Приходили знакомые и утром, и днём, и вечером... Коленька разбирал свои бумаги. Пол был завален измятыми и разорванными лоскутками. Пили холодный чай. Обедали не вовремя.

Соня никак не могла заставить себя сосредоточиться на мысли, что муж её уезжает на войну, что его могут убить или ранить, что, может быть, она никогда больше его не увидит. Ей казалось, что она живет накануне какого-то большого события, никакого отношения не имеющего к войне. Почти радостного. Хотелось смеяться, говорить, быть на людях. Кругом тоже казалось всё возбуждённо-радостным...

Коленька внимательно всматривался в её блестящие глаза, как будто бы хотел спросить, почему она такая.

Соня понимала его и говорила:

— Я сама удивляюсь себе. Мне так хорошо. Мне кажется, это не нервы.

Даже на вокзале Соня чувствовала себя так же, как будто бы Коленька уезжал совсем ненадолго. Скоро вернётся. И тогда произойдёт самое важное.

Его провожало много народу. Всем было грустно. Несколько раз Соня мысленно говорила себе: «Ведь Коленька уезжает на войну: его могут убить».

Но слова эти — определённые и жестокие — казались чужими и не производили никакого действия.

После второго звонка Коленька стал прощаться.

Молча и долго целовал её лицо и жал руки. Фуражка у него съехала на затылок. Мягкие волосы сбились на лоб. Усы были влажны от осенней сырости. Лицо зарумянилось от холода. Он казался почти мальчиком.

Соня взяла его голову обеими руками. Поцеловала в глаза и губы.

Пробил третий звонок.

На ходу вскочил в поезд. Успел обернуться и ещё раз встретиться с ней взглядом.

Но клубы пара обвинили тёмный поезд, и когда пар рассеялся, перед платформой лежали тяжёлые, неподвижные рельсы.

Стало пусто. Соня оглянулась по сторонам.

— Вам кого? — спросил кто-то из знакомых.

— Ах нет... Это я так... Мне скорей надо домой, — растерянно ответила Соня.

И, ни с кем не прощаясь, быстро пошла по платформе.

Только дома она поняла, что с ней случилось...

Едва сдержалась, чтобы не броситься из пустых, мёртвых комнат. Сразу и всем существом своим поняла, что Коленька уехал на войну.

Убьют, и она больше никогда его не увидит.

Ещё больней было от сознания, что три дня перед отъездом она не чувствовала этого. Они прошли незаметно, как самые простые дни, в сутолоке, шуме, на чужих людях.

И их нельзя вернуть...

Хоть бы один раз ещё увидеть его. Сказать ему всё. Он не знает, что с ней сейчас. И никогда, никогда больше не узнает.

Она не могла ни плакать, ни кричать. Металась по комнатам, чувствуя, что сойдёт с ума, если ещё хоть немного останется одна.

С вокзала приехали знакомые.

Она почти не слушала их. Они хотели её утешить и говорили много. О войне, о победе, о подвигах, ещё о чём-то...

Соня не выдержала и стала кричать им:

— Не надо... Ничего мне не надо. Ведь Коленьку-то убьют. Ведь его-то уже не будет... Поймите же... поймите... нельзя же так...

Ночь она просидела не раздеваясь.

Она не могла встать. Не могла заставить себя что-нибудь делать. И думать ни о чём не могла.

Всё остановилось в ней. Как будто она перестала жить...

Каждый день она ждала известий о смерти мужа. Дни вытянулись в сплошной однообразный, мучительный ряд.

Не было ни прошедшего, ни будущего — всё слилось в неподвижное, напряжённое ожидание.

И когда ей принесли телеграмму, у неё едва хватило сил распечатать её.

Поняла только одно: жив...

Ранен... тяжело... Пусть, пусть всё что угодно. Он жив... Она снова увидит его. Больше ей ничего не надо.

На вопросы знакомых она отвечала:

— Жив... ранен... скоро приедет...

— Тяжело ранен?

— Да-да... послезавтра приедет.

И каждый раз она испытывала такое чувство, как будто бы снова узнавала о том, что Коленька жив. А к тем, кто спрашивал о муже, она относилась так, как будто бы они принесли ей это известие.

Кто-то спросил её:

— Николай Сергеевич приедет домой или в лазарет?

Соня ответила:

— Конечно, домой.

Соня привезёт его с собой. Уложит на белую кровать и будет сама и день и ночь ухаживать за ним.

Она даже улыбается, вспоминая этот вопрос. Куда же, как не домой, может приехать Коленька?

Соня поехала встречать мужа.

Выпал снег. Было морозное, солнечное утро. Соня ушла на самый конец платформы — дальше начиналось поле. Стояли белые березы. Над ними с звонким криком вились галки...

Надо идти назад. Сейчас придёт поезд. На платформе теперь уже не было так пустынно. Ходили люди с красными крестами на рукавах. Несколько военных с заиндевевшими усами озабоченно делали какие-то распоряжения.

Соня смотрела рассеянно, как будто бы всё это не имело никакого отношения к Коленьке: поезд подойдёт, он выйдет из вагона, и она увезёт его домой, а все остальные останутся здесь вместе с ранеными...

Когда подошёл белый санитарный поезд, на котором тоже стояли красные, как кровь, кресты, Соня не побежала к вагонам, как все остальные, а осталась около входной двери, чтобы не просмотреть и не пропустить мужа.

Боковые двери отворились. Несколько раненых вышло из вагона. Соня искала глазами Коленьку. Его не было. Стали выносить тяжелораненых. Они лежали на жёлтых носилках, под тёплыми серыми одеялами.

Она подошла к какому-то военному и спросила:

— В котором вагоне прапорщик Ланской?

Военный извинился. Он не знает. Надо спросить доктора.

Соня стояла растерянная. Не знала, куда ей идти. Может быть, его нет в этом поезде?

А раненых всё выносили из вагонов. Они лежали с закрытыми глазами, с измученными, пожелтевшими лицами. Соня не всматривалась в них. Она ждала Коленьку. Но среди тех, которые выходили из вагона, его не было.

Соня решила найти доктора. Подошла к солдату с перевязанной рукой и спросила:

— Скажите, где доктор?.. Впрочем, может быть, вы знаете... в этом ли поезде прапорщик Ланской?

— Да здесь... вон в том вагоне... — солдат показал головой на другой конец платформы.

Соня пошла туда.

Навстречу ей на носилках несли офицера. Всё лицо было забинтовано. На белой марле резко выделялся один чёрный глаз. Соня так торопилась, что едва взглянула на носилки. Что-то неприятное и жуткое было в круглой, как шар, забинтованной голове, с отверстием для глаза. Они встретились взглядом. Соня хотела

пройти мимо. Раненый сделал слабое движение. Почти незаметное. И Соня бросилась к нему.

Кто-то крепко схватил её за руку и сказал над самым ухом:

— После... после... сейчас нельзя!..

Соня ответила скороговоркой:

— Это мой муж!..

Хотела высвободить руку. Снова рванулась вперёд. Но её не пустили.

Николай Сергеевич поправлялся медленно. Он был тяжело ранен в лицо и голову.

— Знаешь, как странно, — сказал он Соне, — я был на войне сорок минут. Не видал неприятеля. И вот, кажется, изуродован на всю жизнь.

Соня рассказала ему, как ждала телеграммы об его смерти.

— Теперь я способна чувствовать только одно — что ты жив.

— Да... жив... Но я, Сонечка, урод...

Он посмотрел на неё долгим-долгим тревожным взглядом. Соне почему-то стало ужасно смешно:

— Урод... уродинка мой...

— Нет, я не шучу, — настойчиво повторил Николай Сергеевич, — я не видал своего лица, но, должно быть, меня изуродуют раны.

Соня почувствовала в его голосе боль и перестала смеяться.

— Что ж, — сказала она, — я люблю тебя всего... Какой бы ты ни был...

И, чтобы прогнать последнюю тень тревоги, прибавила:

— Теперь даже больше буду любить...

— Ну, уж это ты врешь!

И по блеску его незабинтованного глаза она видела, что он смеётся.

— Уродинка мой, — снова сказала она. И долго-долго целовала его руки.

Николай Сергеевич пролежал всю зиму. Наконец доктор сказал, что скоро можно будет выписаться из лазарета.

В этот день Соня принесла цветы — нежно-лиловые фиалки.

Он молча взял их и положил на столик.

Соня хотела сказать что-то, но взглянула в его открытый глаз и остановилась: на неё смотрел кто-то чужой — упорно и зло.

— Коленька, что случилось?! — вырвалось у неё.

— Сегодня я первый раз видел себя в зеркало... без повязки... я совершенно изуродован.

Соня быстро обняла его и, целуя белую повязку на его голове, сказала:

— Господи! А я думаю, что случилось...

Его волнение передалось ей. Но она думала только об одном: успокоить его.

— Да пойми ты, раз навсегда... я люблю тебя, всего тебя... а не лицо твоё...

Он взял её за руку. Близко придвинул к себе и сказал:

— Такого нельзя любить... я знаю наверное...

Слёзы обиды сжали ей горло.

— Не смей говорить так... Я буду любить всегда...
Понимаешь: всегда!

Она отвернулась, чтобы не расплакаться.

Он обнял её и совсем другим голосом сказал:

— Я всё время только об этом и думаю... Ведь такой ужас, Сонечка... Я не только изуродован. У меня совсем чужое лицо...

— Я не понимаю, — горячо проговорила Соня, — ты как-то иначе чувствуешь — иначе любишь... Ну, скажи, если бы со мной случилось это... ты разлюбил бы меня?

Николай Сергеевич подумал и сказал:

— Не знаю... То есть, конечно, я не разлюбил бы... но что-то изменилось бы — потому что ты стала бы другой...

Ведь я и лицо твоё люблю... и глаза, и губы, и волосы... И вдруг всё другое... Я не знаю. Мне трудно представить, что бы я почувствовал...

— А я знаю наверное, что буду любить тебя всегда! — решительно сказала Соня.

Когда доктор позволил снять повязку, Николай Сергеевич сказал Соне:

— Я не хочу, чтобы ты в первый раз без повязки увидела меня здесь. Я буду носить её, пока не выйду из лазарета.

— Как хочешь... Только напрасно ты волнуешься.

Она говорила совершенно спокойно. Но первый раз за всё время болезни ей почему-то стало жутко...

Через несколько дней Николай Сергеевич вместе с Соней приехал домой. Вошли в кабинет. Он сел на диван и сказал ровным, точно застывшим голосом:

— Развяжи сзади бинт — я сам сниму его.

Медленно стал разматывать марлю. Не свёртывал её, а лентой спускал на пол. Соня машинально смотрела на его пальцы, неловко сбрасывавшие повязку, и не помогала ему, как будто бы всё это обязательно он должен был сделать сам.

Последний бинт упал на пол. Осталась ещё какая-то широкая белая накладка. Николай Сергеевич снял её.

Правый глаз вытек совершенно. Вместо него была красная разорванная впадина. Надорванная верхняя губа висела буграстым, бесформенным комком. На обнажённой десне зубы казались громадными. Поперёк лба и носа легли багрово-красные рубцы.

— Не надо же! Не надо! — бессмысленным криком вырвалось у Сони.

Она бросилась к Коленке и, точно ища у него защиты, обхватила руками.

Николай Сергеевич с трудом разжал ей руки. Поднял. Посадил на диван. Взял валявшийся на полу бинт

и ушёл в другую комнату. Через несколько минут вернулся снова. Лицо его было забинтовано. Он сел на диван, около неё, и сказал:

— Я всегда буду носить повязку. Ты не увидишь больше моего лица. Ведь так лучше? Ведь лучше? — наклонился он к ней, стараясь заглянуть в глаза.

Но Соня ничего не могла ответить. Она не слышала его.

Соня сшила Николаю Сергеевичу маску, которая закрывала все рубцы его лица.

Соня не плакала. Обо всём говорила одним тоном. На Николая Сергеевича смотрела странным, холодным взглядом, как будто бы перед ней был кто-то совершенно чужой.

Он начал заниматься. Подолгу сидел в кабинете. Вечером приходили гости. Пили чай. Когда Николай Сергеевич начинал говорить о войне — Соня уходила.

Только один раз она вступила в спор. Но не возвышая голоса, как будто то, что она говорила, было ей безразлично.

Сидели в столовой за самоваром. На белой скатерти стояли вазы с вареньем. Полный и очень добрый старик восхищался русскими войсками.

Он обратился к Соне шутливо:

— А вы, Софья Григорьевна, разве не русская — вам всё равно?

Она сказала неожиданно:

— Да. Мне это безразлично.

— Как безразлично? Ведь вы же понимаете: судьба мира решается!

— Да, понимаю. Но мир такой большой, что его судьба от меня не зависит, а я такая маленькая, что до моей судьбы ему нет никакого дела.

— Но позвольте, — так и вскипел старик, — если бы все рассуждали, как вы, — Россия давно погибла бы.

Соня устала спорить.

— Пусть другие рассуждают иначе, — проговорила она.

Николай Сергеевич вмешался:

— Твоё равнодушие совершенно отвлечённое. Если бы понадобилось — ты первая принесла бы себя в жертву.

Соня опустила глаза и стала рассматривать скатерть.

Николаю Сергеевичу показалось, что Соня не хочет с ним говорить. Он давно заметил: она разговаривает со всеми, кроме него. Достаточно сказать ему слово — сейчас же замолчит.

Чтобы проверить, он сказал настойчиво:

— Ты как думаешь: только избранные способны на геройство?

Соня молчала.

— Я тебя спрашиваю, Сонечка, — сдержанно сказал Николай Сергеевич.

Она подняла голову и холодно сказала:

— Я не расслышала. Ты неясно произносишь слова.

— Кажется, я не виноват, что у меня изуродованы губы...

Соня и на это не ответила ничего.

Стало мучительно неловко.

Вечером, когда гости ушли, Николай Сергеевич подошёл к Соне и взял её за обе руки. Они были холодные, безжизненно лежали в его руках.

— Соня, я должен поговорить с тобой серьёзно.

Она повела плечами, точно от холода, и сказала:

— О чём?

— Ты знаешь — о чём. Не заставляй произносить слова, от которых больно. Так будет и тебе, и мне легче.

— Я не понимаю, — по-прежнему равнодушно проговорила она.

Николай Сергеевич больше не мог сдерживаться:

— Да пойми же, пойми, нашу жизнь узнать нельзя... Я не сужу тебя нисколько... Я сам говорил тебе...

помнишь? Такого любить нельзя... Но тогда лучше разойтись... Скажи только одно слово... Скажи, что ты больше не можешь любить... И я уйду... Скажи прямо. Не делай того, что ты делаешь... Не мучай ни себя, ни меня... Я не буду мешать твоей жизни... но я должен знать правду. Иначе с ума можно сойти... Ну скажи прямо...

Он опять взял её за руки.

— Нет, нет, пусти... Я не знаю... Я ничего не знаю...

Она выдернула руки и ушла...

Соня ушла в детскую. В маленькую комнату около спальни.

У Сони скоро должен родиться ребёнок, и в детской стоит пустая кровать, маленький столик, стулья, игрушки... На полу пушистый, мягкий ковёр.

Всё это они с Коленькой покупали и устраивали перед его отъездом на войну.

Соня едва дошла до стула. Ноги у неё ослабли. Глаза были полны слёз, и она ничего не видела перед собой.

...Неужели же, неужели он думает, что она знает и не хочет сказать! Целые дни, целые ночи она спрашивает себя, что с ней. И ничего не может понять, ничего не может сделать с собой... «Несчастье — разлюбить человека». Да разве может она разлюбить? Не это, совсем не то!.. А что же? Она не знает... Но что-то совсем другое... Что-то оборвалось навсегда... ушло... это правда... Но надо пережить, и тогда всё пройдёт...

И почему-то так ясно встал перед ней далёкий вечер в старой, тихой усадьбе, где она первый раз встретилась с Коленькой. Он приехал к её брату. Она так много слышала о нём. И ждала, и боялась... До поздней ночи просидели на балконе, слушали, как за рекой поют косцы. И говорили вполголоса. И так значительно казалось всё кругом... Когда она полюбила его?.. Должно быть, тогда

же... в первый вечер... Да нет, разве могло быть время, когда бы она его не любила?!

А как долго они не решались сказать об этом друг другу!

Коленька был убеждён, что такого скучного учёного, как он, не может полюбить девушка. А Соня боялась, что такую глупую, как она, не может полюбить учёный. И оба мучились и приходили в отчаяние.

У Коленьки был товарищ, такой смешной... все его звали Семёныч... Соня была с ним приятельницей... Она рассказала ему о своей несчастной любви и взяла с него слово, что он никогда никому не скажет. А в тот же день Коленька тоже рассказал ему о своей любви к Соне.

Семёныч свято сдержал слово. Не выдал её. И только спросил Коленьку, почему он уверен, что Соня его не любит. Коленька ответил:

— Я знаю психологию...

И после этого Семёныч, когда видел их вместе, ерошил волосы и говорил:

— Психология о двух концах!

Соня улыбается и плачет. Но теперь ей приятно плакать. Ей хорошо от этих слёз...

...Как они устраивали эту квартиру, и детскую, и кабинет... Сколько радости было... Сколько сюрпризов они делали друг другу...

Она вспоминает весь последний год, и кажется ей, что первый раз по-настоящему понимает, какое большое счастье она испытала в жизни...

И вот отъезд на войну.

Соня не хочет вспоминать больше. Бессильно прижимается головой к спинке стула и плачет навзрыд. Всё умерло. Всё кончилось.

Она плакала почти до полной потери сил. Если бы Коленька умер — она бы плакала так же... Нет больше Коленьки... нет его, нет его... Нет бесценного, любимого лица его...

Но вдруг какое-то новое, неожиданное чувство озяряет её.

...Он жив... Его изрезали... Исковеркали ему лицо... Надели чужую маску... Измучили...

...Бедный мой... любимый мой... Она жизнь свою отдаст ему. Будет ухаживать за ним, как за маленьким... Будет думать только о том, чтобы ему было хорошо. Она даст ему всё, покой, радость... Она всегда, всегда будет с ним. Всю жизнь свою отдаст ему.

То — кончилось. То — навсегда останется у неё в сердце. Теперь начнётся совсем другое.

Николай Сергеевич сидел за письменным столом — но не работал.

Соня быстро отворила дверь. Подошла к нему. Обняла его голову. И бережно поцеловала в лоб, не закрытый маской.

Он хотел отстранить её, чтобы посмотреть ей в глаза.

Но она целовала его руки и прижимала их к мокрому от слёз лицу.

— Сонечка... постой... скажи мне толком...

Она не слышала его слов и говорила точно сама с собой:

— Милый ты мой... бедный мой... Маленький мой... Любимый... Никогда, никогда я тебя не оставлю...

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

На вокзал приехали очень рано: ещё не было звонка.

Ольга Николаевна сама настаивала, что ей лучше ехать одной. Но теперь, при мысли, что никто не поедет с ней, чувствовала себя несчастной.

Около неё, не садясь, стояли дети: Коля, гимназист первого класса, в большой фуражке и серой куртке, и Лизанька, девочка семи лет, в голубеньком платьице, остриженная наголо. А рядом, за тем же углом стола, сидел муж, Андрей Петрович, плотный, немного лысый мужчина за сорок.

Всё кругом казалось ей не так. Все только и думали о том, чтобы сделать ей неприятное.

Когда она сядет в вагон, останется одна, не будет видеть ни мужа, ни детей, она успокоится, и всё пройдет...

Попробовала заговорить с мужем:

— До моего возвращения не переезжайте в город...
Надо поискать квартиру.

— А если ты удержишься? — просто спросил Андрей Петрович; но сейчас же испугался и скороговоркой поправился: — Тебе, наверное, не захочется так рано возвращаться домой.

Ольга Николаевна закусил губы и замолчала.

...Теперь недолго. Сейчас звонок. Она сядет в вагон и поедет. Никто не будет ни о чём спрашивать, никто не

будет смотреть испуганными глазами, и лгать, и при-
творяться...

Когда вошли в вагон, Ольга Николаевна на одно мгновение испугалась, как будто бы только сейчас поняла, что значила эта поездка. Оглянулась на мужа. Он помогал носильщикам класть вещи на верхнюю полку; в красную шею врезался белый, блестящий воротничок... Поскорей отвела глаза: её поразило определённое и неожиданное чувство физического отвращения. Страх исчез, но стало пусто, и ноги подкашивались от слабости. Поскорее села и прижалась головой к стеклу. В окно дуло. По коже прошло неприятное ощущение свежего воздуха. Чтобы заглушить его, Ольга Николаевна сказала:

— Я думаю, теперь можно ехать домой...

Она говорила безлично, потому что не знала, как называть мужа. Он казался ей совершенно чужим. И дети были совершенно чужие, и всё вообще совсем чужое, ненужное...

...И зачем они здесь?.. И почему не хотят оставить её в покое?..

Андрей Петрович не знал, как отнестись к её словам.

— До второго звонка двадцать минут, — сказал он.

— При чём тут второй звонок... не понимаю, — пожалала она плечами.

Муж замолчал.

...Ну, конечно... они уверены, что я скоро умру... даже возражать не стоит...

Ольга Николаевна едва сдержалась, чтобы не крикнуть: «Убирайтесь! Оставьте меня...»

Коля спросил:

— Раковины ползают?

Ольга Николаевна думала, что ответить ему, и молчала. Андрей Петрович тоже молчал, чтобы Коля не разболтался.

— Почему ты не ответишь? — медленно сказала она.

Андрей Петрович притворился, что он не слышит.

— Ты что, Коленька?

Но Коля больше не спросил ничего.

«Ах, скорей бы, скорей, — думала Ольга Николаевна... — Всем им тяжело со мной, и зачем-то сидят здесь. И никто не хочет понять главного... самого главного... А что же главное? Да всё равно... только бы ушли, скорей бы все ушли и оставили меня одну...»

Когда пробил второй звонок, Андрей Петрович так быстро встал, точно он всё время прислушивался и ждал его.

Потянулся через детей к Ольге Николаевне. Влажными губами несколько раз коснулся её сжатых, холодных губ и сказал:

— Ну, прощай, пиши с дороги... Как устроишься, не забудь телеграфировать...

Больше ему нечего было сказать, и он прибавил:

— Непременно... слышишь...

Коля молча поцеловал её щёку. Лизанька нарочно отстала. И, когда они повернулись, чтобы идти к двери, с силой нагнула к себе Ольгу Николаевну, обхватила её шею руками и, не целуя, прижалась щекой.

Ольга Николаевна с трудом разжала ей руки и с удивлением посмотрела в большие, полные слёз глаза.

— Ты что?.. разве тебе жалко маму? — сказала она; губы её задёргались. — Ступай, ступай... папа будет беспокоиться...

Она повернула Лизаньку за плечи и тихонечко толкнула к двери.

Дорога утомила Ольгу Николаевну, но всё-таки ей казалось, что она приехала почти здоровая. Не хотела идти к доктору: «Что я ему скажу? Он велит ехать домой...»

Пошла только для того, чтобы написать мужу, какие скверные врачи у них в городах: из-за всякого пустяка посылают на юг...

Но доктор несколько не удивился, что Ольга Николаевна приехала лечиться. Посоветовал ей остаться месяца на два в санатории.

Он очень понравился ей. У него серые, близорукие глаза и большие, красивые руки. «Похож на музыканта, — почему-то подумала она. — Всё равно надо искать комнату, брать обеды, хлопотать, а здесь, в санатории, всё устроено».

Ольга Николаевна осталась.

В санатории жило человек десять. Познакомилась со всеми в первый же день, но невольно сторонилась, как здоровый сторонится больных. На расспросы о болезнях отвечала:

— Я совершенно здорова. Приехала отдохнуть.

Про себя она думала: «Вся моя болезнь от мужа, от детей, от дома, от скучной, бестолковой жизни... Как они не могли понять этого. Запугивали. Мучили лекарствами».

Здесь всё прошло сразу. И как хорошо, что можно жить совершенно одной...

Жаль только, что доктор запретил купаться. И усталость не проходит с дороги.

Какие бы неприятные ощущения ни испытывала Ольга Николаевна, ей казалось, что всё это от усталости. От усталости противно говорить с больными, особенно утром, когда даже голоса раздражают и хочется поскорей уйти от всех на море. От усталости тяжело и несвободно в груди; от усталости не хочется есть, а когда съешь насильно, тошнит и кружится голова. От усталости неприятный, горький вкус во рту и озноб вечером от малейшей сырости, и холодный, липкий пот ночью.

Только вечером проходило всё. Трудно было усидеть на месте. Хотелось двигаться и смеяться. И щёки горели. Каждый раз ей казалось, что вот теперь прошло всё окончательно. За ночь отдохнёт ещё больше и встанет совершенно здоровая.

Но приходило утро. И опять то же. Точно она не отдыхала, а работала всю ночь тяжёлую работу.

Она сказала доктору. Ей было легко говорить с ним. Он всегда слушал её, как будто бы каждое её слово имело какое-то особенное значение.

Велел внимательно записывать температуру. Смерила: тридцать семь и несколько десятых. Даже не посмотрела, сколько: вечером и у здоровых всегда немного повышенная температура. Через несколько дней дала ему бумажку. Но потом, смеясь, призналась, что всё написала из головы: они мерила только один раз. Доктор не рассердился. И она чувствовала, что он не может рассердиться на неё.

При мысли об этом Ольга Николаевна улыбалась и опять почему-то подумала, что он непохож на доктора.

«Надо спросить, не играет ли он на чём-нибудь? А впрочем, зачем мне это? не всё ли равно?..»

Ольга Николаевна встретила доктора на море. Они первый раз виделись не в санатории, а как простые знакомые.

Ольга Николаевна удивилась: он всегда принимает больных до двух. Должно быть, изменил часы.

Доктор остановился и сказал:

— Я шёл по шоссе и издали узнал вас по синему шарфу.

— Я не знала, что вы гуляете утром, — проговорила Ольга Николаевна, почему-то чувствуя неловкость.

— Сегодня такой день особенный. И не жарко, и тихо. У нас редко выдаются такие дни, я и сбежал, — улыбнулся он.

Первый раз он говорил с ней не о болезни, и всё казалось в нём новым. На нём мягкая серая шляпа, которая очень идёт к нему. В руках тонкий стебель розы с белым бутоном. Он, оказывается, очень высокого роста. Ольга Николаевна раньше не замечала этого.

Чтобы скрыть чувство неловкости, она говорит:

— Я давно хотела спросить вас: можно ли мне ходить в горы?

— Можно, только не надо уставать.

— Ах, я так рада. Мне надоело сидеть на одном месте.

— Пройдёмтесь немного по шоссе, — предложил он.

— Пойдёмте, — сказала Ольга Николаевна и, быстро нагнувшись, подняла две большие белые раковины.

— Вы знаете, доктор, я не могу равнодушно видеть белые раковины. У меня скоро будет полон ящик.

Доктор взял раковины, положил их бережно на свою большую ладонь и неожиданно сказал:

— Ольга Николаевна, пожалуйста, не зовите меня доктором...

Он беспомощно покраснел. И, чтобы она не обиделась на его замечание, поспешно прибавил:

— Это моё больное место... Я ведь совершенно не на своём месте. Терпеть не могу медицины. И если доктор, то поневоле.

Он говорил это так стремительно-откровенно, что Ольга Николаевна сразу не нашлась, что сказать ему.

Прошли несколько шагов молча.

— Вас зовут Андреем Владимировичем?

— Да...

— Мужа моего тоже зовут Андреем, — почти машинально произнесла она вслух. И, снова помолчав, сказала: — Вы знаете, мне всё время казалось, что вы непохожи на доктора. Я почему-то считала вас музыкантом.

Он очень удивился:

— Представьте себе, это так и есть. Больше всего я музыкант. По крайней мере, ничего не люблю так сильно, как музыку.

— А сами играете?

— Играю, но... на всех инструментах.

— Почему «но»?

— Потому что это самый дурной признак для музыканта...

И оба они смеялись, и этот разговор сразу сделал их ближе друг к другу.

— Почему же вы сделались доктором, а не музыкантом? — спросила она, чувствуя, что теперь может спросить о чём угодно и это не будет неловко.

— Да как вам сказать. Кажется, больше всего из-за денег, — просто сказал он. — У отца большая семья. Надо было выбирать такой факультет, который дал бы сразу верный заработок. На семейном совете решили: быть мне доктором. И стал я доктором.

Ей хотелось на откровенность ответить откровенностью. Она сказала:

— Я тоже не на своём месте. Только между мною и вами большая разница: вы, по крайней мере, знаете, что любите по-настоящему, а я нет.

— А что не любите, знаете? — спросил он. Повернулся и посмотрел ей прямо в лицо.

— Да, знаю. Я не люблю мужа, — отчётливо выговорила она, — и... вас, может быть, удивит, не люблю детей... Я вышла замуж очень рано — семнадцати лет. Мне хотелось жить самостоятельно и быть совсем взрослой. Теперешний мой муж знал меня с детства. Я привыкла считать его своим человеком. Он сделал мне предложение — я вышла. С первых же дней поняла, что не люблю его. А детей... знаете, это ужасно странно... я любила, только покуда они были совсем маленькими, лет до пяти... потом всё меньше и меньше... А теперь мне безразлично, есть они или нет... и что с ними... Иногда тяжело это. Я бы так хотела любить их... да не любитесь, — с горечью вырвалось у неё, и, чтобы скрыть это, она шутливо прибавила: — Лучше быть доктором и не любить медицины, чем быть женой и не любить мужа: так что вы всё-таки счастливее меня... А потом ещё одна разница между нами...

Она не договорила. Он подождал и спросил её:

— Какая?

— Вы здоровы, а я больна...

Андрей Владимирович осторожно взял её руку и сказал:

— Вы будете здоровы... вы скоро поправитесь. Я, может быть, плохой доктор; но я верю в это...

Ольга Николаевна чувствовала, какая у него большая и сильная рука: по сравнению с ним у неё как у маленькой девочки. И он держит её, точно взрослый ведёт гулять.

По обе стороны шоссе яркой лентой тянется молодая, ещё не запылённая зелень. Горы стоят близкие, ясные. Море, небо, воздух — всё пронизано тёплыми солнечными лучами.

Теперь они шли почти молча. Перекидывались отдельными фразами. Но каждое, самое незначительное, слово имело какое-то отношение к тому главному, что знали они оба.

Ольга Николаевна удивилась, когда он спросил её:

— Вы не устали?

И сказала:

— Я даже не заметила, сколько прошли.

— А всё-таки пойдёмте домой.

— Но я же совсем не устала, — радуясь, повторяла она.

— Для первого раза довольно.

— Вы мне говорите это как доктор? — смеялась Ольга Николаевна.

— Да, как доктор.

— А что мне скажет Андрей Владимирович?

— Андрей Владимирович скажет: будем ходить весь день и всю ночь; взойдём на высокую гору и будем сидеть там и смотреть на море. Но вы Андрея Владимировича не слушайте: он очень неблагоразумный... особенно сегодня.

— Значит, я должна слушать скучного доктора?

— Да, скучного доктора.

Они говорили всё это, уже повернув назад по шоссе.

Ольге Николаевне хотелось идти быстро и говорить всё, что приходило в голову. Она не задумывалась ни над одним своим словом и не вслушивалась в то, что он говорил ей.

Когда они подходили к белому забору санатория, Андрей Владимирович сказал:

— Поставьте эту ветку в воду — бутон распухнет.

Он подал ей розу, которую нёс в руках.

Она взяла молча. Забыла поблагодарить и, пока шла до своей комнаты, держала её около губ...

Долго стояла Ольга Николаевна около открытого окна: смотрела в сад.

Пусто и тихо было кругом, но она прислушалась к себе, как будто бы хотела понять что-то.

Бесцельно прошлась по комнате. Увидела зеркало. Остановилась — посмотрела как в постороннего человека: «Лицо немного усталое... но ещё совсем не старое... никто не даст и тридцати лет».

Подошла к столу, взяла ветку розы и долго вдыхала запах бутона. Поставила назад и только тут заметила на столе письмо. Прочла адрес на конверте. Не распечатывая, положила назад: «Это потом... А сейчас пусть всё будет другое...»

Она пропустила время обеда. Не хотелось встречаться с больными и идти в столовую. В светлой маленькой комнате с гладкими белыми стенами тесно. Теперь хорошо сидеть на берегу моря, у самого приboя, и слушать, и смотреть вдаль, ни о чём не думая.

Она взяла синий шарф, как будто бы эта вещь принадлежала теперь не ей, а ему, потому что он узнал её по синему шарфу. Повязала им голову вместо шляпы и, боясь встретить кого-нибудь из больных или из служащих, пошла к морю, опять на то место, где встретились они утром.

Это было в стороне от купален, около невысоких скал, куда обыкновенно никто не ходил гулять, и можно было сидеть одной целыми часами.

Ольга Николаевна села к самой воде, так что белые зубцы приboя почти касались ног.

Посмотрела вдоль берега — видно далеко: никого нет. Нагнулась и попробовала воду рукой. Тёплая, прозрачная волна мягко обхватила её руку по локоть.

«Сегодня я совсем здорова. Даже усталости нет. Искупаться бы. Уплыть далеко-далеко... Возьму и искупаюсь... один только разочек... И никому не скажу... Сегодня такой день. Сегодня мне можно», — оправдывалась она. И быстро стала расстёгивать ботинки.

Солнце ещё высоко, но в воздухе пахнуло вечерней свежестью. Должно быть, потому по спине и плечам прошёл легкий озноб, когда она скинула рубашку.

На минуту остановилась. Почему-то стало жутко: море такое большое, далеко видно изогнутую линию прибоя. На берегу несколько лодок, и безлюдный берег кажется от этого ещё пустынее...

Сделала над собой усилие и вошла в воду.

Волна подхватила, подняла её вверх и точно на сильных руках мягко опустила вниз. Сердце дрогнуло, и голова немножечко закружилась; блеснул в глаза ряд зеленовато-розовых от вечернего освещения волн, и так весело стало плыть вглубь моря. Берега не видно: кругом вода, небо, и кажется, никогда не устанешь, потому что волны сами несут вперёд...

Но вода быстро холодеет. Надо плыть к берегу. Она торопится, расстояние сокращается медленней. Белая кофточка и синий шарф на камнях кажутся всё так далеко. Пробует ногой дно: едва достаёт его кончиками пальцев. Плывёт ещё. Не смотрит на берег, чтобы потом сразу увидеть его близко. Снова пробует ногой: вода по пояс. Она твёрдо встаёт на скользкие камни. Осторожно ступает, чтобы не поскользнуться. В потемневшей, но всё ещё прозрачной воде ноги кажутся белыми, как фарфор.

Выходит на берег и садится. От неровных камней больно, но так приятно чувствовать об них упругое, влажное тело. Воздух кажется теплей воды, и не хочется одеваться.

Она сидит долго, не двигаясь и не думая ни о чём. И вдруг неожиданное чувство молодости и счастья охватывает её. Точно впервые она ощутила жизнь, и вся отдалась этому ощущению. Не замечает, что солнце ста-

ло багрово-красным, почти касается моря и вечерний ветер подул с гор.

Она сидит в забытьи до тех пор, пока холод не заставляет вздрогнуть её всем телом. Она пугается и начинает одеваться, с трудом владея пальцами, потому что и они тоже дрожат от холода.

«Должно быть, я долго сидела. Озябла. Надо скорее домой. В тёплую комнату. Под тёплое одеяло».

Ольга Николаевна захворала.

С утра начался озноб и сильный кашель, а к вечеру жар.

Пришёл Андрей Владимирович и сел около постели.

Она смотрела на него равнодушным, тяжёлым взглядом и называла «доктор»...

Рассказала, что вчера к вечеру пошла на море. Вода была тёплая. Она искупалась; потом долго сидела на берегу раздетая и очень озябла.

— Мы пришли с вами часа в четыре, — сказал Андрей Владимирович. — Когда же вы пошли купаться?

— Вероятно, около шести... Когда я шла с моря, солнце село уже...

«Зачем это нужно ему... Вернулись в четыре часа... Он узнал по синему шарфу, и мы пошли гулять...»

Она всё хотела вспомнить что-то и не могла. Равнодушно смотрела на Андрея Владимировича и думала: «Почему он не уходит?.. Я же всё сказала ему...»

— Зачем, зачем вы меня не послушались?! — говорил он, как-то сторбившись и сжимая виски большими руками.

— Я устала, доктор...

Он, казалось, не слышал её. Снова спрашивал. Говорил ей о чём-то. И брал за руку.

Ей было неприятно, что рука у него холодная и влажная, и она сказала:

— Доктор, у меня голова тёмная... Я не могу больше...

Он ушёл. В комнате стало тихо и всё одного цвета.

«Зачем же закрыли комнату синим шарфом?» — подумала она.

Больше она ничего не помнила...

Ольга Николаевна пришла в себя к утру. Первая мысль была: «Надо сейчас же ехать домой».

Голова была тяжёлая и руки чужие. За одну ночь она так ослабла, что у неё не хватало сил кашлять, и от этого тупая боль не проходила в бок.

Она попросила позвать к ней доктора.

Андрей Владимирович вошёл почти сейчас же, как будто бы дожидался за дверью.

— Я хочу ехать домой, — обратилась она к нему, не здороваясь и точно не узнавая его.

Он наклонился к ней и сказал:

— У вас тяжёлая форма лихорадки. Это серьёзно, но пугаться нечего.

Ольга Николаевна подняла веки и удивлённо посмотрела на него.

— Пугаться? разве я сказала? Я хочу ехать домой: к себе... и к детям, — с трудом закончила она.

Он всматривался в лицо, как будто бы хотел определить, вполне ли она сознаёт свои слова.

— Сейчас вам ехать невозможно, — сказал он.

— Но мне непременно надо... доехать до дому... — отчётливо сказала она. Хотела сказать: «дожить»... Но ей неприятно было так прямо говорить при постороннем человеке.

Андрей Владимирович встал. Лицо у него жалкое, растерянное. Ольга Николаевна подала ему руку и слабо улыбнулась.

— Андрей Владимирович, — первый раз она снова назвала его по имени, — вы простите меня... вы не сердитесь... Я вам так благодарна... Это был единственный счастливый день в моей жизни... И больше не надо об этом.

Она устала говорить. Закрывает глаза. Он молча, до боли крепко прижал её руку к губам, и когда она открыла веки, его уже не было в комнате...

Ольга Николаевна знала теперь наверное, что завтра уедет. Пусть вынесут на носилках, если не хватит сил идти самой. Лучше умереть дорогой, чем здесь: ближе к дому. У неё появилось какое-то физическое ощущение дальности расстояния. Точно она видела перед собой весь путь, до мельчайшей подробности, и в конце его — её дом с детьми и привычной постоянной жизнью, а в начале — комната с белыми холодными стенами, в которой лежит она.

«Господи, как далеко... И все они там... А я здесь зачем-то... Какие-то люди, чужие люди около меня...»

Всю ночь она думала о детях. Она видела их маленькими, какими они были лет пять назад, когда, бывало, утром она брала их к себе в постель, и они засыпали около неё, прижимаясь друг к другу. А днём, куда бы она ни шла, бегали за ней, держась за платье, и со звонким смехом кричали:

— Сама утка ходит... своих детей водит...

И теперь они одни. Маленькие-маленькие. Не за кем ходить им, держась за платье... А она зачем-то здесь. Одна. Совершенно одна... Да как же она могла уехать? оставить их? жить здесь?

Если бы можно было, Ольга Николаевна сейчас же встала бы и поехала на пароход. Но всё равно придётся ждать до утра.

«А вдруг не доеду... умру?»

Мысль о смерти кажется ей совершенно нестрашной: как будто бы к ней не имеет никакого отношения.

«Ну, а всё-таки, вдруг умру?» — настойчиво спрашивает она себя.

И опять совершенно не страшно.

«Только бы доехать... только бы доехать домой... А там — всё равно. Там всё хорошо... И умереть, если так нужно...»

Ольга Николаевна успокоилась совершенно. Посмотрела в окно: тёмные ветки качались на звёздном небе. И громадная, как чья-то лапа, тень пробежала по белой стене около кровати. Теперь она не боялась больше ни

этих стен, ни чужих людей: она знала наверное, что завтра уедет домой.

Пароход отходил в десять часов утра.

Рано утром Ольга Николаевна позвала сиделку, сказала ей, что сегодня уезжает: надо помочь одеваться и укладывать вещи.

Сиделка перевела её на диван.

На столе стоял пустой стакан с засохшей веткой розы. Белый бутон повял. Несколько коричневых лепестков упало на скатерть. Тут же лежало нераспечатанное письмо из дому. Она забыла о нём.

Разрывает конверт. Торопится. Пропускает целые фразы, написанные мелким, как чёрный бисер, почерком, — это пишет муж. Это после. В конце, наверно, приписка от детей... Ну конечно! на четвёртой странице сверху Лизанька. Всегда намажет. А заглавные буквы разрисует гирляндами.

Ольга Николаевна читает букву за буквой, точно рассматривает каждую из них, как она написана. До читывает до конца. Потом начинает сначала, и так несколько раз...

Лизанька пишет без знаков препинания; заглавные буквы, которые ей нравятся, ставит в середине слова: «Мамочка, миленькая, здравствуй, у меня новая кухня, папа из города привёз. Ощенились котята, очень маленькие. Приезжай скорей. Мы вчера ловили в пруду лягушек с хвостиками. Любящая тебя дочь Елизавета».

Коля совсем внизу, загибая каждую строчку дугой, приписал: «И я тоже ловил, у меня стоптались ботинки. Привези мне большую раковину, чтобы ползала. Я делаю с папой задачки на всякие действия и учу ять стихами. Приезжай скорей. Коля».

Ольга Николаевна сначала улыбается, когда читает эти письма, потом и смеётся, и плачет в одно и то же время.

— Мы не опоздаем? — спрашивает она сиделку.

— Что вы, барыня: до парохода больше двух часов. Скоро доктор придут-с...

— Разве он приходит так рано?

— Теперь рано приходят...

Почти всё уложено. Остаётся круглая картонка для шляпы. Сиделка спрашивает:

— Шарф прикажете уложить?

Она держит в руках синий шарф.

— Да, уложите... Нет... дайте его сюда...

Она берёт из стакана засохшую ветку и завёртывает её в шарф.

— Положите осторожней сверху...

— Теперь всё, — говорит сиделка, затягивая ремнём картонку.

— Нельзя ли разбудить доктора и сказать, что я уезжаю?

Сиделка смотрит на неё с любопытством:

— А разве доктор не знает?

— Нет. Пожалуйста, пошлите к нему.

— Да они, кажется, уж пришли, — прислушивается сиделка и уходит из комнаты.

Ольга Николаевна тоже прислушивается и слышит в коридоре быстрые шаги и низкий знакомый голос.

Андрей Владимирович вошёл в пальто и в мягкой серой шляпе. Видимо, он так поражён был тем, что ему сказала сиделка, что не стал раздеваться.

Он остановился против неё, около стола.

— Едете?..

— Да... вчера вечером я решила окончательно.

— Я как доктор, — сказал он холодно, почти враждебным голосом, — должен заявить категорически... что это совершенно невозможно...

Она попробовала пошутить:

— Арестуйте меня именем закона.

— Ольга Николаевна... Я, может быть, не имею права... простите мой тон... но о том не думаешь, когда перед тобой человек решается на самоубийство.

— Почему? — пожала плечами Ольга Николаевна. — Не всё ли равно, где лежать: на пароходе, в вагоне или в этой комнате?

— Но вы можете не доехать до дому, — вырвалось у него.

Она откинулась на спинку дивана и несколько мгновений, молча, не двигаясь, смотрела на разорванный конверт, валявшийся на столе.

— Вы сказали это, чтобы убедить меня остаться. Да? — спросила она.

Он стоял бледный как полотно и молчал.

— Доктор, я прошу вас сказать прямо: доеду я или умру дорогой?

В глазах Андрея Владимировича было отчаяние. Он не выдержал и растерянно проговорил:

— Конечно... вы доедете... Но положение настолько тяжёлое... что почти наверное... вы тогда не поправитесь...

— Я хочу одного, — очень тихо, но твёрдо сказала Ольга Николаевна, — умереть дома... Позовите сиделку вынести вещи. Вы проводите меня.

Андрей Владимирович молча кивнул головой. Он как-то сразу понял, что она уедет. И что больше не надо никаких слов.

Сиделка вынесла вещи, и комната стала пустой. Ольга Николаевна сама встала с дивана, сделала несколько шагов, но её качало из стороны в сторону, и она должна была опереться на руку Андрея Владимировича. Слестницы он почти нёс её на руках. Но когда сели на извозчика и душистый, тёплый воздух пахнул в лицо, Ольге Николаевне показалось, что ей сразу стало лучше.

До пристани около часу езды. Дорога ровная, крепкая. Резиновые шины и мягкие рессоры делают экипаж похожим на постель с пружинным матрасом. Справа утреннее, бледно-голубое море, слева сады с густой, влажной зеленью и яркими весенними цветами.

Ольга Николаевна забывает и о слабости, и о тупой боли в боку... Она едет домой... Сегодня четверг. В воскресенье утром она будет дома...

Андрей Владимирович молчит. Ей хочется, чтобы он не сердился, чтобы и ему было хорошо. Но она не знает, что сказать ему.

Но вдруг он сам начинает говорить, не оборачиваясь к ней:

— Как всё странно складывается в жизни... совсем не так, как ждёшь... без всякой логики... по-своему... и почти всегда наперекор здравому смыслу... Встретишь человека... зачем-то всё в душе перевернётся вверх дном... потом опять... в разные стороны, и никогда больше не увидишься...

Голос его был спокоен, но Ольге Николаевне почему-то казалось, что он плачет.

— Есть же на свете верующие люди, — продолжал он, — а по-моему, вот от одних этих случайностей можно всякую веру потерять... К чему? зачем? отчего? Ничего не понимаю! — даже пожал он плечами.

Ей не хотелось говорить о таких грустных и серьёзных вещах.

— Я боюсь, что пароход опоздает, — сказала она.

— Нет... Видите, направо — это стоит ваш пароход.

— Не опоздать бы...

— Сейчас приедем... второго свистка не было ещё...

Когда подъехали к пристани, Ольга Николаевна хотела выйти из экипажа сама и ужасно удивилась, что не могла подняться и встать на подножку.

И опять Андрей Владимирович почти на руках внёс её на пароход.

— Я лягу, — сказала Ольга Николаевна, — поезжайте домой.

Он молча стоял около неё, не зная, что делать, что сказать, как уйти и оставить её одну.

— Ольга Николаевна... вернитесь...

Но он и сам почувствовал, что слова его бессильны и до неё не доходят.

Она отрицательно покачала головой. Ей даже трудно было сказать «нет».

На берегу дважды ударил колокол. Второй свисток.

— Прощайте, Ольга Николаевна...

Она подняла на него глаза. Посмотрела долгим-долгим взглядом, и на одно мгновение что-то нежное, почти страстное мелькнуло в её лице.

— Я вас... никогда не забуду, — сказала она.

Ему хотелось крикнуть от боли. Но он сказал:

— Прощайте.

И подал ей руку.

— Я напишу вам о своей болезни.

— Да... пожалуйста... А когда доедете... если можно... пришлите телеграмму.

— Хорошо... пришлю непременно...

Но она так устала, что не может больше стоять на ногах.

— Идите... пора... Не сердитесь, что я непослушная...

Последних слов он не слышит. Он жмёт концы её холодных рук и, как-то странно сгорбившись и не обращиваясь, идёт к выходу...

На пароходе у Ольги Николаевны опять начался жар.

Всю ночь ей казалось, что она куда-то бежит, задыхаясь, что ей надо кого-то догнать, но кто-то хватается её, она борется, вырывается и снова бежит изо всех сил...

Утром жар прошёл, но всё тело болело и неприятно вздрагивало от липкого пота. Она сделала над собой усилие, встала и посмотрела в окно. Пароход подходил к молу. Надо выходить на пристань и на извозчике ехать на вокзал. Это последний трудный переход для неё: в поезде она будет лежать, как в комнате, до самого дома.

Пассажиры толпятся у дверей и у окон, хватают за рукава носильщиков и говорят зачем-то так громко, что голова кружится от этого крика.

Носильщик подходит к ней сам, даже не спрашивая, берёт вещи. Ольга Николаевна говорит ему:

— Идите потише, я буду держаться за вас. Я нездорова.

Когда она наконец усаживается на извозчика, в глазах у неё вдруг темнеет, сердце останавливается и грудь кажется совершенно пустой. С трудом она приходит в себя.

«Теперь немного... Надо собрать все силы... скоро конец».

Экипаж прыгает из стороны в сторону, и каждый толчок отдаётся в боку такой болью, точно там разрывается что-то на мелкие, острые осколки. Вся набережная запужена телегами и людьми. Громадные мохноногие лошади везут железо, и в воздухе стоит нестерпимый лязг.

Чтобы не кричать от боли, Ольга Николаевна прижимается к острому краю пролётки и стискивает зубы.

До вокзала недалеко, но она подъезжает к нему почти в обмороке.

Подходит носильщик, высокий, загорелый, в белом фартуке.

— Помогите мне встать, — говорит Ольга Николаевна.

Но он почему-то спрашивает:

— Одни, барыня, едете?

— Да. Помогите встать, — снова повторяет она.

Он смотрит на неё и вдруг улыбается доброй и смущённой улыбкой:

— Лучше я вас донесу...

— То есть как?..

— На руках донесу. Лестница большая. Сами не дойдёте, барыня. Верьте слову, не дойдёте...

— Я не знаю... разве это можно... пожалуй, уроните, — нерешительно говорит Ольга Николаевна.

Но она чувствует, что сама, действительно, не в силах не только идти, но даже встать с извозчика.

Носильщик молча наклоняется к ней, обхватывает обеими руками и поднимает с извозчика. Одну минуту

стоит, поправляется, чтобы ей было удобнее, и медленно несёт к широкой лестнице.

Ольга Николаевна резко подаётся вперед, невольно хватается за его плечо: ей кажется, что он падает вместе с ней.

— Ничего, барыня, ничего: будьте покойны...

Сильными, твёрдыми шагами, не спеша, подымается он с одной ступеньки на другую. И она чувствует только, как напрягаются у него мускулы на руках и шее.

Ольга Николаевна теперь выше всех. Ей видно далеко кругом. Она невольно пробегает взглядом по всем лицам. И ждёт, что, глядя на неё, будут улыбаться: должно быть, очень смешно, когда взрослого человека несёт носильщик.

Действительно, все смотрят на них. Но никто не смеётся. Молча дают дорогу. И у всех одно и то же странное выражение глаз: точно они боятся её и ждут от неё чего-то...

Ольге Николаевне безразлично, что думают о ней; только поскорей бы уйти от этих упорных, чужих взглядов.

Носильщик подымает к ней загорелое, мохнатое лицо и говорит:

— Я вас, барыня, прямо в вагон отнесу. И потом уж за билетом схожу.

— Да... отнесите, — как в тумане отвечает она, — куда-нибудь... только лечь...

Она почти не сознаёт, что с ней. Достает деньги. Говорит, куда брать билет, как положить вещи. Но как будто бы всё это говорит кто-то другой, чужим голосом, и она слышит этот голос издали: такой он глухой и слабый...

И всё стихает. Она остаётся совершенно одна.

«Значит, теперь можно лечь... отдохнуть... до самого дома...»

.....

Бред и действительность спутались в её мозгу.

То видела она себя на берегу голубого озера, через которое были протянуты красные дрожащие нити. То

наклонялось над ней чьё-то широкое лицо с рыжими усами, и чей-то голос отчётливо спрашивал:

— Кипяточку прикажете?

Она отвечала:

— Нет... принесите холодной воды...

Но это говорила не она, а её старший брат, умерший лет десять назад от тифа...

То чудилось ей, что она тонет и кто-то кидает ей синий шарф. Она хватается за него, но в руках остаются синие клочья. А на берегу Коля и Лизанька машут руками и почему-то покатываются со смеха. И этот смех так страшно врзается в уши. Она хочет сказать им, чтобы они перестали, но вода заливает ей рот, и она не может дышать...

Ольга Николаевна судорожно напрягает грудь, чтобы вздохнуть, и кричит:

— Не смейтесь... Коленька... Лизанька... Да не смейтесь же вы!..

И снова исчезает всё. И вместо Коленьки и Лизаньки стоит какой-то незнакомый человек и спрашивает:

— Вас встретит кто-нибудь в Крайнове?

Ольга Николаевна отвечает:

— Да... я телеграфировала мужу...

И всё это не казалось ей странным, как будто бы так и должно было быть.

И когда она увидела над собой расстроенное, озабоченное лицо мужа, а вместо тёмно-серой верхней койки голубое небо, она долго не могла понять: сон это или она действительно приехала домой...

Наконец решила: «Ну, конечно, я дома... вот и Лизанька... и Коля...»

И первый раз за всю дорогу вздохнула легко, всей грудью.

По-прежнему путались бред и действительность, но теперь всё стало другое.

Вошли какие-то люди.

«Это доктора», — подумала Ольга Николаевна.

И почему-то сказала:

— Принесите Лизаньку...

— Сейчас, сейчас, — торопливо ответил чей-то голос.

Она узнала голос мужа и поняла, что он чем-то страшно расстроен. Ей стало жалко его. И, чтобы успокоить, она сказала:

— Мне гораздо лучше...

А вот и Лизанька... Маленькая, полная девочка с мягкими, пушистыми волосами... Тянется к ней худенькими, прозрачными ручками и говорит, говорит что-то на своём смешном детском языке...

— Милая... любимая моя девочка... опять ты со мной...

Коленька стоит в синей рубашечке рядом и говорит:

— Mamочка, это навсегда.

«Что навсегда?» — думает Ольга Николаевна. Но ей хорошо, и она отвечает:

— Навсегда, конечно, навсегда...

Теперь они с ней. Больше ей ничего не надо. Ольга Николаевна силится вспомнить, почему ей было раньше так плохо и где были её дети... но никак не может...

«Пусть, пусть... не всё ли равно... ведь теперь они со мной... навсегда...»

И вдруг делается так светло... так просторно... тихо...

Ольга Николаевна чувствует, как тёплая волна заливает ей грудь.

Где-то далеко чей-то странный голос глухо выкрикивает:

— Льду... льду... скорее...

Но она не вслушивается в этот крик.

Лизанька крепко, до боли, сжимает ей шею прозрачными ручками и шепчет над самым ухом:

— Mamочка... мамочка... милая...

Ольга Николаевна чувствует, как всё светлеет и в ней, и вокруг неё, и едва слышно, одними губами, она говорит:

— Как... хорошо...

РАЗГОВОР С «ЧОРТОМ»

— Это прошу помнить в течение двух часов. А теперь к делу. Вы верующий?

— Да.

— Прекрасно. Такого именно мне и нужно! Впрочем, я знал, что вы мне так ответите: спросил для формальности. Все черти — формалисты... Только, пожалуйста, не думайте, что я пришёл спорить о вере. Или буду просить вас: дайте мне кусочек вашей веры! Дураки! Они приходят к вам и клянутся: «Помогите! Дайте кусочек вашего сердца, ваших лёгких и вашего мозга. Только один маленький кусочек — и мы будем счастливы!» Ни дать ни взять, как старые старухи «достають» кусочки святых мощей. Вы морщитесь? Извиняюсь! Словом сказать, ни о чём я вас просить не желаю. Нет-нет, я хочу, чтобы вы *послушали* меня — вот и всё!

— Но я вас слушаю. У нас только два часа времени.

— Совершенно верно. И я окончательно приступаю к делу.

Я окончил университет по физико-математическому факультету. После университета три года провёл в ссылке. Год жил за границей. Когда началась война, вернулся в Россию — по подложному виду. После амнистии два месяца пробыл на фронте. А теперь, извините, я дезертир...

— Каким образом! После трёх лет войны, в самый нужный момент вы делаетесь дезертиром... Не понимаю! — пожал я плечами. — И неужели вы думаете...

— А я не понимаю другого, — резко перебил он меня, — как это я ломал дурацкую комедию тридцать шесть лет. Мне тридцать шесть лет...

Теперь слушайте! Солдат осмелился сказать Керенскому: «Когда меня убьют, мне не нужна ни земля, ни воля». И все назвали его трусом. Даже «презренным трусом». Дурачье! Ну-ка, объясните, какая прелесть в земле и воле — для человека, которого убьют?

«Слава», «торжественные похороны», «благодарность потомства»? Да, извините за выражение, на кой они ему нужны, когда его через месяц съедят в земле черви! Вера, простите меня, вздор. Выдумка-с! А ведь никто не скажет: неверие — трусость. Если же на всё смотреть по-научному — солдат, отказавшийся во имя сохранения жизни и от земли, и от воли, — совершенно прав!

Ко мне пришёл человек со странной просьбой:

— Уделите два часа времени на разговор с чортом? Только два часа. Выбросьте их в печку из вашей жизни.

Как узнал он мой адрес?

Сначала обозлился и ответил ему:

— Я никого не принимаю. Простите.

Отворил дверь и ждал, что непрошенный гость уйдёт.

Но он повторил настойчиво:

— Только два часа — и я уйду... Совсем...

И я почему-то понял, что нелепый разговор с этим нелепым человеком неизбежен.

— Войдите.

Мы сели друг против друга.

Всматриваюсь.

Худое, морщинистое, но не старое лицо. Жёлтый, больной цвет щёк. Глаза чёрные, впалые. Такие бывают во время приступов лихорадки. Волосы торчат вихрами. Одет небрежно, но чисто. Серый новый пиджак,

мягкая белая рубашка с отложным воротником. Галстук тёмный, клетчатый, завязан бантом.

Сколько ему лет?

Тридцать. А может быть, сорок.

Он тоже рассматривает меня и неожиданно говорит:

— Я думал, вы старше.

Мой гость положительно не нравится мне. Настоячивая бесцеремонность раздражает, и, едва сдерживаясь, чтобы не быть грубым, я говорю:

— В вашем распоряжении два часа — не будем терять зря времени.

— Да-да, — заторопился он, — но первым долгом позвольте ещё раз представиться: я «чорт». Не в переносном, знаете ли, а в самом буквальном смысле этого подлого слова. Не метафора какая-нибудь. А чорт подлинный, настоящий и, так сказать, неотменяемый.

«Сумасшедший, — подумал я, — или просто надоедливый болтун».

Чорт продолжал:

— Мы умрём, сгниём, вырастет лопух — и всё! Мой гроб, удобряющий землю, чем лучше зелёной травы, которая вырастет на этом удобрении? Так зачем же я должен ценою своей жизни добывать какому-то неведомому Петру Ивановичу, который будет жить через пятьдесят лет, — и волю, и землю? И он лопух, и я лопух. И все мы не более как удобрение. Значит, прежде всего надо сохранять жизнь, пока она во мне есть. А всё остальное ерунда, не так ли?

— Да, вы совершенно правы: если человек только навоз — рассуждение ваше вполне логично.

— Вот именно! Но вот ещё штука! Если я простое собрание атомов, как стол, вода, земля, дерево, — тогда всё идёт по законам природы. Не жизнь, а геометрия с физикой. Воевал? Да, воевал, так атомы сложились. Теперь дезертир — тоже атомы сложились. Они посадят меня в тюрьму — так атомы сложились. Да будь они прокляты, эти «атомы»!..

— Опять-таки я с вами согласен: если отрицать душу — бессмысленно говорить о «свободе». В мире материи — нет свободы. Я не раз писал об этом.

— Да, писали!

Он придвинулся ко мне и, понизив голос, сказал:

— Убедительно писали! И не без вашей помощи я прозрел!

— То есть, что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать: логику я знал до вас. Но вы мне помогли почувствовать: если нет веры, если всё тленно, нет «духа» — тогда... тогда... да здравствует чорт! Всё позволено! Машина! Руби! Жарь!.. По законам Ньютона!

«Если нет веры!»! Но веры нет! От логики она не придёт... И я решил: перестать лгать!

Любовь к родине? Вздор! Свобода, равенство, братство? Вздор, вздор и вздор! Всё бездушная комбинация атомов! Сложится «на свободу» — хорошо! На деспотию — тоже хорошо! Всё одинаково на свете! Всё комбинация атомов — ни лучше, ни хуже!

Я пришёл поблагодарить вас! Я теперь вижу, что люди морочат и себя и других, когда призывают к великим подвигам! Впрочем, они и этого не могут делать! Ведь так сложились у них в мозгу «атомы»!

— Вы хотите, чтобы я возразил вам?

— О нет! Какие же возражения! Доказывать веру — это всё равно что пересаживать кусочек сердца из одной груди в другую. Я не хочу ничего доказывать, ничего опровергать. Я даже не знаю, зачем пришёл к вам. Должно быть, сложились атомы — и пришёл. Разве машина знает, зачем вертятся её колёса? Вертятся! А зачем, чорт её знает.

Он смолк. И сидел несколько мгновений, совершенно меня не замечая. Потом очнулся и порывисто встал.

— Вот и всё. Даже меньше двух часов. А теперь на прощанье — одна просьба. Исполните?

Я молча кивнул головой.

— Когда вы получите письмо: «Чорт умер» — опубликуйте этот разговор. Хорошо?

— Хорошо. Но, послушайте...

— Нет-нет! Пожалуйста, не надо убеждать! Иначе у вас не хватит мощей для всех глупых старух. Прощайте.

«Чорт» стиснул мне руку и быстро захлопнул за собой дверь.

ЮРОДИВЫЙ

Я хочу рассказать вам о юродивом — или... о «дурачке», как называют его в деревне, — дурачке Илюше.

Он никому не сделал зла, все его любили, он всегда молчал — хотя и не был немым...

Заговорил недавно. Я расскажу, как это случилось.

Село Тихий Бор стоит на берегу большого озера. Старое русское село в далёком западном крае. Ровными рядами, как часовые, стоят на берегу старые сосны. А дальше непроходимый лес на десятки вёрст кругом.

На краю села маленькая деревянная церковь. Старая колокольня без колоколов, на ней живут совы и летучие мыши. А небольшой колокол висит на суку корявого дуба, каким-то чудом заброшенного сюда, в царство хвой, — может быть, не одну сотню лет тому назад.

Илюша всегда в церкви или на паперти. И когда плачет кто-нибудь, по его щекам текут слёзы. А если кто смеётся, и он светится улыбкой, точно лицо его освещает зажжённая восковая свеча.

Вечерами Илюша ходил удить. Он садился на берег. Закидывал леску без крючков. И часами смотрел на неподвижный поплавок, на тёмно-зелёное отражение соsen в воде и нежно-розовое вечернее небо.

Глаза у него тёмно-серые. Большие. Лицо худое, почти детское, хотя ему восемнадцать лет.

Когда темнело — он свёртывал удочки и шёл... Домой? Нет! Дома у него не было, но он шёл к людям, в село. И люди принимали его. Кормили. Укладывали спать. А утром на заре, когда первый матовый отблеск утренних лучей озаряет края облаков, — он уже вставал и шёл к низенькой, старой деревянной церкви.

Но вот Тихий Бор наполнился движением!

Пришли какие-то люди и сказали: надо бежать. Идут враги. Точно сдвленный гром где-то за лесом и тихим озером слышался по вечерам. Всё чаще и чаще приходили люди и говорили: надо бежать! Враг несёт гибель, огонь, смерть, опустошение.

А Илюша молча, тихо шёл на тёмный засыпающий берег, садился на душистую, влажную траву. Закидывал удочки без крючков. И не спускал глаз с неподвижной водной глади.

В церкви, после службы, к нему подошли старухи и спросили:

— Илюша! Уходить нам — али нет. Ты человек Божий. Скажи. Как скажешь — так и будет. Ты словно малый ребёнок — бесхитростный.

— Да что вы, старухи, — накинудись на них бабы помоложе, — нашли кого спрашивать. Да он, небось, и не знает, о чём речь-то... Враг идёт! Слышь!

Илюша молчал.

Бабы махнули рукой. Старухи ушли молча. На следующий день половина села поднялась чуть свет и ушла по дороге в лес. Половина осталась.

Вечером, когда Илюша сидел на берегу озера, странные, вздрагивающие удары колокола понесли из села. Точно кто-то зазвонил из жалости, потом пронёсся необычный гул над озером. По берегу в лес бежали люди. Враг пришёл. И враг опустошил Тихий Бор. В три дня не стало села, которое стояло не одну сотню лет. И дуб сгорел. И церкви не стало. В полуразрушенных избах осталось несколько старух.

Уцелел и Илюша.

Но с ним что-то случилось. Он стал говорить!

Когда пред ним огненные языки облизывали деревянную церковь и падали в огонь ветхие её брёвна — он крикнул: не громко, но так страшно, что несколько спокойных людей, стоявших неподалёку, отшатнулись от него в ужасе.

Он крикнул:

— Спасите!.. Огонь!..

Постоял ещё. Бросил удочки. Не заплакал. А рзорвал ворот своей рубашки, точно она душила его. И быстро, какой-то новой походкой пошёл по селу.

Глаза его потускнели — стали почти чёрные — и ушли куда-то вглубь. Морщины пошли по лбу, щёки ввалились. Он поседел. Стал почти старик.

Каким-то грозным, звенящим голосом он выкрикивал бессвязные слова:

— Огонь!.. Народ... люди... где вы!.. Всё горит!.. Идите же! Идите!!! Спасайте дом Божий!.. В крови небо!.. Сыч с колокольни упал в огонь... церковь сгорела!.. Я видел... пойду расскажу всем... Люди... идёте скорей... Да бегите же! Бегите... надо ударить в набат...

Он шёл по пустым улицам. И кричал, и никто не слушал его. Все давно ушли в лес. Голос его, как крик отчаяния, разносился над неподвижною гладью озера и, как стон, отдавался в лесу.

Но люди не слышали.

Юродивый был один.

ПИСАТЕЛЬ-ПРОПОВЕДНИК

Автор не пропагандист, прельщаемый и прельщающий, но проповедник, исповедующийся и исповедующий, — проповедник бесконечно искренний.

митр. Антоний (Храповицкий).

«Пастырское изучение людей и жизни по сочинениям Ф. М. Достоевского»

I. ОЧЕРК БИОГРАФИИ

Богослов, публицист, прозаик и драматург Валентин Павлович Свенцицкий родился в Казани 30 ноября 1881 в семье потомственного дворянина, присяжного поверенного Болеслава Давида Карловича Свенцицкого (1832—1896) и вятской мещанки Елизаветы Федосеевны Козьминой (1852—1927). Поскольку развод отца с бывшей женой (сбежала, бросив пятерых детей) не разрешила католическая Церковь, признан незаконнорождённым; отчество получил по имени восприемника при крещении. В 1891 поступил в 3-ю казанскую гимназию, после переезда семьи в Москву (1895) продолжил учёбу в 1-й классической гимназии, но в апреле 1898 конфликт с законоучителем вынудил мать подать прошение об увольнении сына. В 1900 перешёл в частную гимназию Ф. И. Креймана, а после её окончания в 1903 был зачислен на историко-филологический факультет

ИМУ. Той же осенью вступил в Историко-филологическое студенческое общество при ИМУ (руководитель — профессор С. Н. Трубецкой), стал инициатором открытия секции истории религии (председатель — С. А. Котляревский), подружился с В. Ф. Эрном, познакомился с А. Белым, А. В. Ельчаниновым, П. А. Флоренским. Мировоззрение сформировали православие, идеи В. С. Соловьёва, творчество Ф. М. Достоевского и этика И. Канта.

После Кровавого воскресенья 9 января 1905, не найдя поддержки у церковной иерархии и петербургской интеллигенции, создал с друзьями Христианское братство борьбы, дабы противостоять сковавшему церковь самодержавию и сформировать христианскую общественность. Братские листовки, напечатанные в подпольной типографии, призывали общество, крестьян, епископов, войска к неповиновению безбожным властям и мученичеству за Христа. С мая 1905 ХББ организовывало нелегальные собрания МРФО памяти Вл. Соловьёва (после официального открытия Свенцицкий стал товарищем председателя); при содействии С. Н. Булгакова издавало «Религиозно-общественную библиотеку», участвовало в выпуске газет в Тифлисе, Киеве и Москве, имело свой книжный магазин. Поставленные Братством задачи далеко нетождественны европейской идеологии «христианского социализма»: экономика и политика признаются лишь внешними формами устройства духовной жизни; в основе всех человеческих отношений мыслятся Христовы любовь и свобода, а не внешние законы; идеал — Церковь, а не государство.

Талант оратора обеспечивал неизменную популярность выступлениям и проповедям Свенцицкого. На суде за «Открытое обращение верующего к Православной Церкви», звавшее ко всенародному посту в знак покаяния за расстрелы рабочих, был оправдан после яркой речи в свою защиту. В 1907 открыл с Эрном Вольный богословский университет при МРФО. В 1905—1908 сделал около 20-ти докладов (в т. ч. в ПРФО и Братстве ревнителей церковного обновления), опубликовал 10 книг и около 50-ти статей. Обличал преступление евангельских заповедей в государственных и церковных делах, бездуховность «передового» общества. Со строго православных позиций критиковал социалистическую утопию, позитивизм, ницшеанство,

розановскую клевету на Церковь, толстовство, либеральное христианство Н. А. Бердяева и Е. Н. Трубецкого, черносотенную подделку под Христа, представителей нового религиозного сознания (Д. С. Мережковского и Д. В. Философова), духовный блуд мистическо-декадентских кружков, языческий цезарепапизм официальной церкви. Требовал созвать Церковный Собор, уничтожить эксплуатацию труда и частную собственность на землю, права отказываться от воинской повинности. Категорически отвергая хилязм, считал долгом каждого верующего стремиться освятить духом Христовым не только частную, но и всю жизнь, в т. ч. политический строй, а улучшение его трактовал как необходимый этап в богочеловеческом процессе борьбы со злом мира.

Осенью 1907 исключён из ИМУ за невзнос платы, в восстановлении и сдаче экзаменов экстерном было отказано ввиду «неблагонадёжности». Через год вышел из состава МРФО, признав справедливость обвинений «в ряде действий, явно предосудительных» (бывшие друзья имели в виду рождение внебрачных дочерей и присвоение денег из кассы журнала «Век», в число собственников которого входил Свенцицкий). Молитвами прп. Анатолия (Потапова) Оптинского, к духовной помощи которого прибегал с 1898, преодолел жесточайший внутренний разлад, победив в себе врага, и никогда более не поддавался плотским соблазнам.

В 1909–1913 скрывался от уголовных преследований за печатные выступления. С И. П. Брихничёвым и еп. Михаилом (Семёновым) поддерживал дело голгофских христиан, понимая его не как сектантство, а религиозно-общественное движение, пробуждающее сознание народа к религиозному творчеству. Призывал к живой деятельной любви и раскрытию внутренних сил души в приходской общине; считал, что вся жизнь должна объединиться вокруг храма, а несовместимое с ним отпасть вовсе. Летом 1911 жил на хуторе Ново-Никольском близ Царицына у священника Сергия Краснова (?–1933), где познакомился с его дочерью и своей будущей женой Евгенией (?–1986), в целомудренном браке с которой прожил 15 лет. Странствия по России (от Крыма до Иркутска) описал в цикле газетных очерков и книге «Граждане неба. Моё

путешествие к пустынноикам Кавказских гор». В 1915—1917 на страницах повременных изданий вёл рубрику «Народный университет» и обширную переписку, стараясь собрать единомышленников в общую семью и создать христианскую организацию («свободный приход»), спаянную единством духовной жизни. Завершил философскую работу «Религия свободного человека» (полностью не издана).

В сентябре 1917 по благословению своего духовного отца прп. Анатолия Оптинского рукоположен во иерея митр. Петроградским и Гдовским Вениамином (Казанским), будущим священномучеником. Назначен проповедником при штабе 1-й армии Северного фронта, с 1918 стал проповедником Добровольческой армии. Только Церковь признавал нравственным фундаментом, на котором должна строиться Россия; главную роль в объединении живых сил страны отводил приходам, превращённым в сплочённые верой и любовью общественные организации, способные взять в свои руки устройство местной жизни, а впоследствии и общегосударственной. Активно участвовал в подготовке и деятельности Юго-Восточного Русского Церковного Собора (работа в комиссии по составлению грамот и воззваний, выступления, в т. ч. с докладом о деятельности прихода); в печати и с амвона призывал обезумевший народ к покаянию и борьбе с бесовской силой большевизма.

С осени 1920 о. Валентин служил и проповедовал в московских храмах, в т. ч. за службами, совершёнными свт. Тихоном (Белавиным), которого почитал совестью Православной Российской Церкви. Летом 1922 дважды арестовывался за публичное обличение обновленцев-живоцерковников (в Бутырской тюрьме находился в одной камере с С. И. Фуделем); выслан в Пенджикент (Таджикистан), где участвовал в хиротонии свт. Луки (Войно-Ясенецкого) и написал «Тайное поучение о нашем спасении». По возвращении в Москву в декабре 1924 создал общину в хр. сщмч. Панкратия на Сретенке, вёл еженедельные беседы о прп. Серафиме Саровском и творениях св. Иоанна Лествичника. Осенью 1925 представил доклад «Против общей исповеди» Патриаршему Местоблюстителю митр. Петру (Полянскому) и по его благословению провёл

Великим Постом 1926 шесть чтений «О Таинстве покаяния и его истории». Летом 1926 вместе с общиной совершил паломничество в Саров и Дивеево, где получил предсказание блж. Марии (Фединой) о переходе в другой храм. Через месяц назначен исполняющим обязанности настоятеля хр. свт. Николая Чудотворца на Ильинке («Никола Большой Крест»), а ещё через полгода — его настоятелем.

В январе 1928 по благословению еп. Димитрия (Любимова) разорвал каноническое и молитвенное общение с митр. Сергием (Страгородским) и вышел из его юрисдикции вместе с паствой. Провёл с возросшей и окрепшей общиной 20 бесед о монастыре в миру (основной идее своего служения и задаче современной церковной эпохи), под которым понимал духовную преграду внешним соблазнам жизни и борьбу с внутренними страстями. На Пасху 1928 арестован за неприятие т. н. «Декларации», выразившей позитивное отношение к советской власти части иерархов, и сослан в Тракт-Ужет (ныне Красноярский кр.), где написал итоговый труд «Диалоги», и по сей день приводящий в Церковь взыскующих истины. В 1930 начались долгие мучения от каменно-почечной болезни. Перед смертью, не изменив мнения о «компромиссах, граничащих с преступлением», просил духовных детей последовать своему примеру: покаяться в отпадении от соборного единства. Умолял Патриаршего Местоблюстителя как законного первого епископа о воссоединении со Святой Православной Церковью и получил прощение. Скончался 20 октября 1931 в больнице г. Канск. 9 ноября на отпевании в Москве при огромном стечении народа тело было обнаружено нетленным; покоится на Введенском (Немецком) кладбище Москвы (участок 5/7, слева от главного входа).

II. ДУХОВНЫЙ РЕАЛИЗМ

Ценность художественного произведения определяется духовным смыслом. Выявлением его мы и займёмся. Марево мифов, покрывавшее творчество Свенцицкого, рассеет вдумчивое, полноценное прочтение текстов. Комментарии помогут понять перипетии повествования, пытливый ум найдёт там немало ответов и поводов для размышлений. Не повторяя изложенный материал и не останавливаясь на анализе эс-

тетика¹, обратимся к главному — духовному смыслу повестей, пьес и рассказов одного из лучших прозаиков начала XX века.

Что даёт право на столь ответственное утверждение? Необходимость для совести людской книг писателя-проповедника, их боговдохновенность и абсолютная правдивость. В чём их первейшее достоинство? Чем ценны для нас? Тем же, что составляет цель любого творчества: исполнением заповеди о наречении имён (Быт. 2, 19). Свенцицкий должным образом именуется сущности духовного мира, дабы помочь нам верно в нём ориентироваться, и видит в этом обязанность писателя (ср.: «...вещает правду и суд промысла <...> мечет перуны в сопостатов, блажит праведника, клянет изверга»²). Но картины падения так ярки, что невольно рождается вопрос: не соблазнит ли чтение слабые души? Не даст ли козырь врагу рода человеческого в его убийственной игре?

Нет!! Антихрист — страшен, но нам ли пугаться его?! Роман-исповедь, детально вскрывающая механизм проникновения греха в сердце, — страшное откровение. Но бороться легче, если ведомы повадки противника³. В пояс

¹ Пласт сей весьма плодоносен и заслуживает разработки; Свенцицкий в достаточной мере владел литературной техникой, чтобы читатель наслаждался и формальными изысками. Например, ритмическими фразами и звукописью («перед глазами засияла зала, задвигался народ»; «не легкомысленный восторг от внешней красоты ответа»), лаконичными афоризмами («что написано — то не моё») и парадоксальными меткими определениями («круглые, острые глаза»; «разгонистые буквы»); в поздних рассказах прослеживается склонность к употреблению сложных прилагательных («чёрно-стальные», «равнодушно-усталые», «томительно-страстная»).

² Кюхельбекер В. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 454.

³ «Вопрос о нашем отношении к силе невидимой, духовной, действующей постоянно в нашей жизни — вопрос первостепенного значения в деле нашего спасения. Итак, робость и неловкость у некоторых добре верующих православных в вопросе о прямом признании и чувствовании и борьбе с этой силой — большой наш грех» (МвМ. 2, 350).

надо поклониться человеку, имевшему мужество сказать:

— Вот, я упал на самое дно и стал худшим из людей; поклонился царю греха и был рабом его; насытился ядом, и страсть умертвила меня. Из глубины беды моей взываю к вам — опомнитесь! спасайтесь!

Свенцицкий признаёт открыто, перед всем миром: «Я отравлен роскошью, развратом, ложью, сомнением, безволием, самолюбием. Но я ненавижу их! и буду бороться, пока дышу».

Если с первых глав «Антихриста» почувствуете, что писано не о вас, что в душе нет ни капли этой скверны, а совесть не уколёт воспоминанием, — не читайте дальше. Значит, в преступлениях против заповедей вы неповинны... или духовный взгляд затуманился настолько, что в зеркале не видите — себя.

Парадоксально, но ни один мастер не создал образ, олицетворяющий то время. Потому до сих пор чары посеребрённого (не серебряного!) века прельщают многих. «Ах, как они одарены, высокодуховны, творчески свободны в строчках и поступках!» — восторгается публика, ослеплённая блеском «культуры». А что есть суть той эпохи? Ложь, ложь и ложь. Слова и дела разделила пропасть вседозволенности. Раздвоение поразило всех: от чиновников и иерархов до поэтов и революционеров. Люди с двоящимися мыслями вещали о разумном-добром-вечном — а жили глупо и сеяли зло, нарушая и закон, и заповеди, поправ мораль и уничтожив совесть. Это был мир масок, царство позы, главенство жеста. Все хотели — выгладеть, произвести впечатление; эффектная фраза значила больше действия. И — ничего не значила... А за ней всплывала новая маска! И ещё, ещё... А потом — пустота. Ничто. Князь тьмы.

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты» (Мф. 23, 27). Такова суть ложной красоты, таков образ посеребрённого века.

В назидание, а не для развлечения читаем мы печальный дневник Печорина, познаём немощь Обломова, ужасаемся греху Раскольникова, болеем страстями Карениной. Странный человек замыкает когорту антигероев нашего

времени ¹. Нашего — ибо ничего не изменилось. И снова тот же камень преткновения: а не душевредно ли знакомство с ним?.. Прельстить может и Библия, как в рассказе «Песнь песней»; любая книга требует разумения. «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении; нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют» (Дан. 12, 10). «Поучения — путь к жизни» (Пр. 6, 23).

Искушённый должен помочь искушаемым (Евр. 2, 18). Сто лет назад это понял падший юноша. Он публично исповедовался в грехах своих и своего поколения, чтобы обрести жизнь вечную и избавить от страха смерти попавших в рабство страстей. И по Божьей милости смог изменить своё существо. В священстве о. Валентин стяжал дары благие и вразумил многие мятущиеся души. Убийца из к/ф «Остров» (реж. П. Лунгин, 2006) через непрестанную молитву и покаяние достиг чистоты духовной. И на это способен каждый! Потому издание собрания сочинений и сосредоточенное чтение — наш долг: перед автором и пред Господом.

«Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете её, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына» (1 Ин. 2, 21–22). Духовный смысл романа-исповеди — обличение врага, поражающего душу человеческую, — ясно выражен автором в послесловии. Цель — помочь людям победить зверя. Безобразный двойник действует в каждом из нас, после первородного греха это неизбежно. Как не сделаться его рабом, не предаться во власть смерти? Прежде всего, признать в себе и отделить от себя: назвать подлинным именем «Антихрист» и утвердиться, что он — не я. Этому и учит книга Свенцицкого. Определив христианство как

¹ Ср. авторский курсив в конце «Записок из подполья», по форме близких роману-исповеди: «...тут нарочно собраны все черты для антигероя» (Достоевский. 5, 178). Именно там любимый писатель Свенцицкого «впервые вывел настоящего человека русского большинства и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону. Трагизм состоит в сознании уродливости <...> в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его» (Достоевский. 16, 329).

полноту истины, увидев в нём задачу и смысл своего существования, он не мыслит спасения в одиночку. Религиозный опыт не должен быть личным достоянием, его надо передавать другим, дабы уберечь от тех же падений в те же ловушки¹. «Записки» — карта духовного мира с указанием мест и способов вражеских нападений: вот на этой развилке бесы перевернули указатель, тут толкнут в омут блуда, здесь подsunут неверное знамение, а там заморочат логическими ухищрениями. Берегись, путник!

Как бы автор ни корил себя за литературные погрешности, ему удалось сделать поразительную вещь: пережитое душой выразить в художественных образах, причём с такой силой, что большинство читателей поверили в действительность событий. Пусть вразумят их слова из проповеди пастора Реллинга: «Груда фактов — не истина. А вы, кроме факта, ничего не знаете». Да, описанное не ложь, не выдумка, оно происходило, бытийствовало... только не всегда на примитивном материальном уровне. *Духовный реализм* — так надо определять художественный метод достойного продолжателя линии Достоевского². Случилась редчайшая в искусстве вещь: плод воображения, творческое создание через органическую связь с душой автора облеклись в плоть и кровь. Почувствуйте, здесь не клюквенный сок — в настоящем бою за жизнь вечную страдает сердце человеческое, из последних сил хранящее и защищающее Бога. Как Он пролил за

¹ «Наша душа постоянно окружена бесами, которые постоянно нас искушают, смущают и влекут к гибели. И если <...> не достигнем такого состояния отчётливости внутреннего зрения, чтобы нам стала видима окружающая нас тёмная стихия потусторонняя, то это значит только, что нет достаточной тонкости и остроты духовного нашего зрения» (МвМ. 2, 352).

² Ср.: «...я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой» (*Достоевский*. 27, 65). П. А. Флоренский, характеризуя опыт народный, писал: «...не будучи действительностью и, в то же время, не будучи абстрактными схемами, этот материал должен быть *типическим изображением действительности в духе*, т. е. «носить в себе черты художественного произведения, — быть живым, сочным и органическим типом действительности, если угодно, раскрывающейся в духе идеей действительности» (*Флоренский П.* Христианство и культура. М., 2001. С. 414–415).

нас Честную Кровь, так и мы должны распять свою плоть со страстями и похотями (Гал. 5, 24). Надо выбирать: или потворство им и духовная гибель, или умертвление внутренней нечисти и рождение нового человека. Первое сулит преходящую сладость и оборачивается нескончаемой адской пыткой; второе означает муки и страдания ради Живой Жизни. Без боли и страшного разрыва с прошлым роды не бывают. Надежда обрести радость, не проходя скорбного пути, — иллюзия, поддавшиеся которой платят годами блужданий.

Только слепец считает, что нет над ним господина. Сила греха в том, что мы любим его. А значит, служим ему. Боритесь с Антихристом в сердце своём, вопиет роман-исповедь! Не становитесь автоматом, «мёртвой формой мёртвой жизни». Для этого надо задать себе вопрос «кому я подчиняюсь?», пристально и беспристрастно разобраться, кто во мне главный. Кто мой Бог — Христос или Антихрист?.. Если попал в рабство к низшему, признайся, что усомнился душой, потерял чувство различия греха и блага. И ужаснись этому! Может быть, отсюда начнётся путь духовного восхождения. Дай Бог.

Странный человек становится самим собой и действует порывисто, страстно, как полагается, не притворяясь, когда двоящиеся мысли не успевают поразить волю и творит сама душа — подчас наперекор логике и «здравому» смыслу, шестым чувством. Вспомните, как он достал лёд на пляже, приструнил наглеца в театре и распоясавшегося отца семейства ¹, устыдил трусоватого епископа, морально поддержал Родионова, ответил на признание Верочки. А ещё — повсеместно проповедовал христианские добродетели и, несмотря на все искушения, до 25 лет сохранил целомудрие, хотя бы внешнее (а нравы были не менее развращённые, чем ныне). Таких диавол преследует неотступно.

Стремясь поработить душу, соблазняет наслаждением и якобы открывающимся в нём смыслом жизни. А когда безраздельно воцарится и ты обессилишь в грехе, наваливается тягостная, безнадежная *пустота* — безысходная, окончательная. Не дай вам Бог, искренно говорю! Надобно сознать грех не как отвлечённое нарушение заповеди, учит Свенцицкий, а как нечто органически недопустимое,

¹ И в буквальном смысле стал защитником отечества.

другой природы. Недопустимое — для жизни. Если съешь поганку, будешь сильно мучиться, а то и помрёшь. Но кто тебе запретит есть её? Только сам, ибо она противна твоему естеству, хоть и приятна для глаз. То же и в мире духовном. «Смерть и жизнь — вот чем всего лучше подчёркивается разница существа Христа и Антихриста».

Уловленный в сети, но распознавший обман герой ненавидит Антихриста всеми силами души и прибегает к единственному целительному средству — Спасителю грешных. Это и есть псаломная песнь восхождения — воззвать из глубины греха: «Помоги моему неверию!» Описание сражения на молитве не имеет равных в художественной литературе да и не укладывается в прокрустово ложе сего вида искусства. Сердечный плач страдающего от сознания грехов, смятого, но не отчаявшегося человека, кротко, по-детски доверчиво взывающего о помощи... Только так и надо молиться, так и молятся ищущие чистоты. А рядом хихикает палач! Издевается, блазнит, жалит и бьёт наотмашь. «Это враг Твой искушает меня» — в сей мысли надо утвердиться, чтобы выстоять. Доведённая до высшей степени напряжения духовная борьба на время прекращается: щит веры почти расколот, змей отполз готовить новый удар. Бой будет продолжаться до смерти, в каждом из нас. Кто не пожалеет душу свою, отсечёт гниль и восстановит цельность — тот победит.

Не смущайтесь мнимым молчанием: учитесь слышать голос Божий в Его творениях. Не все способны лицедреть ангелов, многим это может повредить. Не обладающему талантом мистика весть является в образе ближних. «Всякого приходящего, или всякого встречаемого надо принимать как посланца Божия. Первый вопрос будет у тебя внутри: что хочет Господь, чтобы я сделал с сим или для сего лица»¹.

Одна из болевых точек романа-исповеди — встреча героя с Глебовым. Случайность — то, что Бог случил: уставшей от одиночества душе Господь в ответ на молитву посылает самое нужное — такую же гибнущую душу. И странный человек впервые говорит о себе правду ближнему, даже безбож-

¹ *Феофан Затворник*, свт. Собрание писем. Вып. 8. Письмо 1458. М., 1901. С. 196.

ный циник положительно растроган. Может быть, для того и пришёл: раз захотел получить подтверждение отсутствия праведности, значит, в ней ещё не разуверился. И вот отверженный потянулся к вспыхнувшему свету. Тут бы и обняться падшим, окончить многолетнюю вражду, помочь другу другу очиститься, вместе обрести надежду! Ведь оба погрязли в грехе, и обоим он ненавистен. Но странный человек не двинулся навстречу... Здесь открывается самый страшный нарыв в его душе — гордыня. Оттолкнуть тонущего — тяжкий грех, а в одиночку спастись нельзя. Теперь достаточно одной капли малой лжи, и всё полетит в тартарары...

«Прокляните меня серьёзно, твёрдо, вдумчиво, как я этого заслуживаю», — просит странный человек. Узрите в себе двойника и возненавидьте всем сердцем, и стойте на том, чего бы это ни стоило, требует автор. И имеет на это право, поскольку возымел силы и дерзновение назвать вещи своими именами, откровенно сказал о том, что «никогда не говорят, но всегда переживают», обнажил душу, победил в себе жуткий образ и осознанно избрал Господа Богом. Тому же учит и нас, стараясь вселить отвращение не только ко внешней гнусности, но настойчиво подводя к главной мысли — всё описанное совершается в каждой душе. Антихрист растёт в тебе, читатель, убивает тебя! «Мы страшно греховны...» Обратитесь внутрь, сознайте, чем живёт и болеет душа. Да неужто вы никогда не услаждались блудными помыслами, не издевались над любящими вас, не ввали о собственной храбрости, не кичились добродетелями, не выставлялись в мыслях и словах выше ближних, не сводили их до уровня актёров или зрителей (или декораций) в своём личном театре, не мстили им?.. Кто как, а я — да. Потому точно знаю: книга целиком обо мне. Не осознав это, нельзя о ней писать. Иначе втянешься «в своеобразную прелесть перешагивать через самые глубокие, самые головокружительные пропасти».

Идея бессмертия — главная в «Записках». Странный человек чувствует: оно должно быть, иначе жизнь не имеет смысла — всё сгниёт, всё пойдёт прахом... Гроб и яма не страшны, если впереди вечность, но они очевидны, а утвердиться в невидимом не хватает сил, потому и мучается и молится герой: «Боже мой, спаси меня, дай мне веру». Христианство — его оружие в борьбе с вызывающим ужас

и отвращение призраком смерти. Ему жалко всех, всех людей и даже деревья... Живое не должно умирать!!

Чтобы победить смерть, восстановить исконный порядок бытия, надо обладать «высочайшей любовью, божественной красотой и абсолютной истиной». А ещё — самому умереть... И воскреснуть! Или мир погиб. «Бессмертие — не мечта, жизнь — мечта, если нет бессмертия» — вот великие слова, которые должны стать крылатыми, потому что возносят над бездной отчаяния и небытия, вырывают из болота мнимого благополучия.

Но как должно было придти Христу, так надлежит явиться и Антихристу — воплощению человеческого страха, безобразия и разрушения. Отчего так? Да потому что мы на каждом шагу мыслями и действиями призываем его. Обезумевший мир настолько ненавидит Создателя и Спасителя, что готов покончить самоубийством, лишь бы доказать свою независимость¹. Бог требует подвига исправления и обличает зло, потому будет отвергнут. И тогда придёт другой...

Образ зверя прозревают не только христиане, ожидают гибельной развязки и наши противники (и даже по преимуществу). Рассуждения неверующего, трезвого материалиста, доведены в «Записках» до логического конца. Если будет последователен, таковой должен признать ничтожество человека, бесплодность любого творчества и бессмысленность жизни. Свенцицкий предвосхитил философию атеистического экзистенциализма, показав абсурдность безбожного существования и направленность его к ничто. Если Бог умер, неизбежно воцаряется Антихрист — в душе и в мире. Если смерть — единственная реальность, устремление к ней становится целью бытия. Сознание своей конечности во времени, противоречащее природе души, признание абсурда как данности выливается в мятеж против всего мироустройства, а в итоге — против самой жизни. Утрата веры в воскресение Христа, забвение идеи

¹ Свенцицкий даёт замечательное определение прогресса, туманно-идеальный смысл которого стал фетишем человека нового времени: «стихийное, стремительное бегство баранов к пропасти, чтобы скорее, как можно скорее, самым передовым образом упасть в пропасть и разбиться вдребезги».

бессмертия, т. е. потеря истинного смысла, заставляет искать новый. Бунт оборачивается рабством, призывом нового господина. А как иначе? Если живёшь не для вечности, значит, готовишь торжество смерти, приближаешь приход Антихриста.

Ни А. Камю, ни Ж.-П. Сартр не продвинулись дальше абсурдных стен, обнаруженных странным человеком; суть и искания самой популярной философии XX века отчётливо выражены в романе-исповеди. Разница в том, что православный богослов нашёл выход из умственного тупика и оставил нам подробный план лабиринта, обличил таящегося во тьме зверя, описал образ и повадки губителя душ. Проследил и путь между стенами отрицания и безразличия, полонившего нынешний мир. Принятие распятия и воскресения как фактов чужой жизни ничего не даёт: «А мне-то что за дело! Это меня не касается». Не желающая напрягаться цивилизация наслаждений окончательно избавилась от «лишних» мук вопросами веры — и каждый оказался заперт в одиночную камеру. В массовом сознании утвердилась формула «Your problems», разрывающая межличностные связи, отвергающая сострадание, изгоняющая дух соборности. Близятся последние времена, но это ещё не конец...

А пока зло возрастает и укрепляется, но не вступило в полную власть, есть время обнаружить и выдернуть из сердца смертоносное жало. Почти за век до известного фильма Свенцицкий описал проникшего внутрь и шевелящегося безобразного Чужого, грызущего душу и подчиняющего тело. Страшен образ гусеницы с лицом человеческим... Но да будет он неотступно преследовать каждого из нас! Отвращение к греху рождает жажду исцелиться. Когда опять солжёшь, вспомни — ты проколот; когда прелюбодействуешь, почувствуй — личинка пожирает тебя; когда оскорбишь, оттолкнёшь, осудишь ближнего, знай — ты автотомат, мёртвая форма жизни.

Когда знаем церковные нестроения и молчим — подлинно от Христа отрекаемся. Чудовищный двойник парализует нашу волю. «Он страх... Он входит во всех нас». Кому-то жалко потерять любимую шёлковую одежду да бархатную скатерть с бахромой, кто-то не дерзает обличать из ложного смирения; одних пугает мнимый раскол, другие боятся наказания... Но ведь правда сильнее силы! Достаточно одного

голоса, чтобы оживились тысячи; и тогда Церковь проснётся от векового сна, станет воистину соборною. Да, нужен подвиг, но и не столь великий, обычный. Пошло выглядит монах, трепещущий наказания монастырём, как епископ в «Записках». Но, увы, это типичный продукт синодальной системы, по степени подавления личности сравнимой с коммунистическим режимом. Лишённая дерзновения, внутренней свободы, духовной силы душа неспособна исповедовать Бога Истинного.

Как предаётся Господь, мы видим во «Втором распятии Христа». Тут «всё записал о. Валентин без художеств и психологизмов»¹. Именно записал — как свидетель свершившегося. Фантазия? Нет, высшая реальность. Проблемный узел повествования — спор о Церкви. Неужели организация, подчинившаяся земным царям и потерявшая даже имя, возомнила себя господствующей? Безумие, абсурд! Но так и было на самом деле. Господствующей над кем?! Над Христом, своим главой? Над инославными религиями, не имеющими к ней отношения? Над безверием, оторвавшим часть паствы и смертельно заразившим другую? Над знатью, обратившей человека в раба? Над духовным обликом людей, полвека резавших друг друга как скот? Над самим народом православным? Представьте на все вопросы искренние положительные ответы и поймёте состояние тогдашней церковной организации. Поправшие принцип соборности, извратившие смысл Господних заповедей, лишившие народ права слышать слово Божие на понятном языке, погрязшие в роскоши иерархи главенствовали в ней. А управлял механизмом безличный монстр по кличке «государство»².

Где же Церковь Христова? Неужели князь мира сего уничтожил единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь? Никак. Она там, где любовь, правда и таинственное благодатное общение. А значит, нет в ней псевдопатриотов, которыми правит ненависть, нет потерявших

¹ Давыдов Ю. Бестселлер // Знамя. 2000. № 8.

² В завершающих строках «Фантазии» Свенцицкий предрёк гибель погрязшей в грехах и внутренне сгнившей императорской России, основываясь на библейских пророчествах (см. прим. к с. 55).

совесть судей, нет миллионеров, спокойно взирающих на нищих, нет властителей, морящих страну голодом и развращающих тотальной ложью, нет солдат и генералов, расстреливающих народ, нет священников, благословляющих беззаконие, нет трусливо молчащих при виде беды в своём доме. Церковь там, где в простоте сердечной не отвергают голгофский путь, зная, сколь жестоко отомстит мир за выполнение заветов Господних. И ни тогда, ни сейчас нет другого исхода: или со Христом на муки и подвиг, или против — тогда жизнь в хоромах, почёт и уважение. Человек свободен, но обязан выбирать.

Символ книги — встреча крестного хода с ведомым на распятие Спасителем... Масштабно поставленная сцена могла бы принести славу кинорежиссёру; красочное и детальное описание вошло бы в хрестоматию. Свенцицкий передаёт событие по-евангельски, в двух лаконичных предложениях.

Сходство «Фантазии» с поэмой «Великий инквизитор» отмечали многие, но едина только идея «А что если сейчас, снова?..»¹, во всём остальном два великих произведения русской литературы коренным образом отличаются. У Ивана Карамазова безымянный (!) персонаж молчит: «Да ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде»². Но разве книги вмещают всё сказанное Им и разве Бог после воскресения онемел? Евангелие ещё не проповедано во всех народах и не во всех христианских сердцах утвердилось (грехи наши тому свидетельство). Севильский же пришелец не проповедует, а только совершает чудеса... Иисус Христос в Москве — глаголет, обличает отступников, отвечает страждущим, несёт евангельскую весть. Вещает на понятном людям наречии, как и должно по знамению, данному на Пятидесятнице (Деян. 2). Простые и ясные слова Его гремят как гром, жгут как огонь, звучат словно радостный звон, задевают живое в душе, глубоко-глубоко западают в человеческие сердца. Речь Спасителя описана необыкновенно поэтично: «Это хоры ангелов

¹ Идущую от Ф. Тютчева («Эти бедные селенья...», 1855) традицию продолжил А. Тарковский в сцене распятия на снегу (к/ф «Страсти по Андрею», 1966).

² *Достоевский*. 14, 228.

незримые поют. И звуки голосов их не улетают в бездушное пространство». Но не все, как в Севилье, узнают Его. Да и как может быть иначе? Только чистые сердцем Бога узрят (Мф. 5, 8). Сразу кланяются Ему до земли две-три старушки-нищие и больная юродивая, робко подходят несколько детей, торговка сеянками слышит знакомый, хоть и таинственный голос, несколько женщин, стариков и солдат следуют за Ним. И потом примыкают всё больше люди простые: фабричные, крестьяне, железнодорожные служащие, приказчики, дворники, прислуга. А бегущие от Него в паническом страхе давят друг друга, как дикие звери. Только один священник и один офицер видят в пришедшем Бога, публика стоит в отдалении: дамы любопытствуют, богачи торопливо прячут деньги, их наследники пристыжены, полиция смущена, отшатываются лжепастыри, в смятении присяжные, застигнутые на месте преступления... Замечательную «симфонию» властей являют два администратора — церковный и государственный, с полуслова понимающие угрозу своим ведомствам. В карамазовской поэме инквизитор выпускает пленника... Как бы не так! «Они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства пред ними и язычниками» (Мф. 10, 17–18).

Мир ненавидит Иисуса и будет гнать, пока не убьёт. А иначе пришедший — не Христос. Через всю историю земли прошёл Он, и всегда повторялось одно — крест, позорная смерть и воскресение. Если мы истинно веруем, что Пасха — не только воспоминание, но событие вселенское и ежегодное, должны признать: Он и умирает по-настоящему. Мы каждый день, каждый час распинаем Бога грехами своими; во всякое время и на всяком месте Он страдает за нас и проливает Пречистую Свою Кровь. На Руси — в любимой берёзовой роще, в венке из крапивы. И снова несём Ему вербовые веточки, и снова кладём во гроб по доносу Синедриона и предписанию кесаря, и опять воскресает Господь... И будет так до скончания века. Аминь.

«Большое это дело — смерть; большое, таинственное дело... Тут Бога и узришь... И смиришься, и возрадуешься... Вся жизнь по-иному представится. Всё житейское отпадает. Большое, святое дело...». Так думает о. Яков из

одноимённого рассказа. Изумительное по глубине и правоте суждение. Последнее определение парадоксально: пришедшая в мир вследствие первородного греха смерть — враг и губитель всего живого. Но ведь она не только распад, но и преддверие встречи с Богом; пройдя через смерть, Спаситель победил её, вырвал адское жало (1 Кор. 15, 55). Теперь мы воспринимаем её как переход к иному существованию. Совсем не то — смерть вторая, вечная...

Казалось бы, русскому священнику вторит скандинавский композитор, считающий, что всё в жизни надо понимать через смерть. Арнольд Реллинг поправляет: чтобы понять, какой жизнь *должна быть* (тема долга — одна из важнейших в драматической диалогии). Только не надо бояться смерти, тем паче — ей служить. Эдгар Гедин же её обожествляет, источник вдохновения — его умирающие телесно и гибнущие духовно жёны. Он не способен дописать финал симфонии, пока Ванда не впадает в грех прелюбодеяния. Когда в конце твердит: «Она должна вернуться», имеет в виду смерть и готов принести ей в жертву даже своего ребёнка. Приближать её торжество Гедин почитает за долг (здесь пружина всех его поступков), того же требует и от жён — добровольной жертвы как исполнения долга. Это дьявольская пародия на христианство: при полном сохранении формы противоположный духовный вектор. Гедин ослеплён и не видит за подножьем трона Восседающего на нём, принимает преходящее за Единого Сущего, болезную мечту — за реальность, врага — за Бога. Такое искушение ждёт всякого на пути познания; пока не научишься различать, не достигнешь спасения.

Свенцицкий предлагает разобраться в смысле молниеносного знамения. За что обрушилась напасть на добрых Виндигов? Гедин уверен: царица вступает в свои права (говорю о белых цветочках, не подразумеваю вальс). Отнюдь. Это наказание за невольное пособничество греху; сравнительно лёгкое, как и вина. Участников прелюбодеяния Бог карает куда жёстче: «...в растлении своём истребятся... получают возмездие за беззаконие» (2 Пет. 2, 12–13). Один отныне уязвлён похотью и не познает отказа в своих увлечениях; другая будет убита, ибо имела в себе приговор к смерти (2 Кор. 1, 9). Последнее надо понимать троюко — на духовном, душевном и материальном уровнях:

как поселившуюся внутри личинку двойника-убийцы, как внезапное желание Ванды умереть¹ и как воплощение Антихриста — мёртвого, но как бы живого. Здесь тайна мистической трагедии: грех вызывает смерть, зверь является в образе человеческом. Блуд есть грех к смерти — таков духовный смысл диалогии.

О второй её части критики писали так много, как ни об одном произведении Свенцицкого (три представления в популярном московском театре сделали своё дело). Но проповедь пастора о преодолении лжи выпала из поля зрения — никто не обратил её к себе. Стыдно показаться грешным и слабым, прилюдно заплакать от своей нечистоты; проще притворяться и лицемерить. Свенцицкий не устрасился сказать: «Я такой же — плоть от плоти. Но я не хочу быть таким!» В страстном монологе героя сплетаются нити из других пьес и повестей, здесь нервный центр трагедии мировой истории, в т. ч. церковной. Вырождение духовно прогнившей цивилизации, её ложь и немощь — одна из основных тем писателя-проповедника; обличить всякую ложь, заклеить порок — средство для достижения единой цели: спасения вечной жизни. «Мы все изолгались. <...> Лгут ораторы, слушатели. Лжёт всё и внутри нас, и вокруг нас». Ложью пропитан весь XX век, она мёртвой хваткой вцепилась в человечество, превращая искажённые от удушья лица в маски. И сил нет освободиться, ибо в одиночку не порвать порочное кольцо, ковавшееся поколениями. Соборность — главное чаяние Свенцицкого, целительное действие единства в любви (или наоборот, губительность отчуждения — разрыва духовных связей) он показывает во всех своих творениях. Но без правдивости, открытости, детской простоты не может быть слияния душ. Ложь стеною встаёт между нами, порождает недоверие и страх говорить от сердца. Не бойтесь быть честными, ибо правда сильнее силы! Спустя 60 лет столь же властно призовет нас жить не по лжи А. И. Солженицын. Звонкий колокол пророков неустанно повторяет великую заповедь Божию: не лгите! От школьной скамьи до архиерей-

¹ Ср.: «Сами в себе, в своих мыслях, положили, что не жить уже нам более, присудили себя к смерти и решились на то» (Феофан Затворник, свт. Толкование Второго послания апостола Павла к Коринфянам. М., 2006. С. 39)

ской кафедры, от бытовых мелочей до большой политики — не лгите. Не заглушайте голос совести наркотическим дурманом, не обольщайтесь соблазном смолчать, видя неправду в семье, обществе или храме. Скрывающий истину умножает зло.

Пастор Реллинг правдив перед собой — он не грешит по неведению. В сознании греха — и ужас, и надежда: научиться отличать в себе чёрное от белого — первый шаг к спасению, но видеть ежедневную победу двойника, чувствовать, как жиреет внутри личинка жука-наездника, — мука смертная. Одолеп пастор и вторую ступень: он не лжёт Богу. Мало, нужно ещё быть правдивым перед людьми! Иначе раскаяние останется втуне: без действительного преодоления, искоренения греха оно теряет цену. Герой этого искренно не понимает и ждёт... чуда, забывая, что мы соратники Бога. Уповая на Его помощь, нельзя сидеть сложа руки — самому потрудиться надо, ибо вера без дел мертва. Чтобы исцелиться, придётся сокрушить любимый грех — распять свою плоть со страстями и похотями, свободно принести дар Господу.

Буквальное понимание жертвы — чудовищный соблазн. Ещё не будучи насквозь изъеденным грехом, не отчаявшийся во спасении Арнольд Реллинг говорит: «Самоубийство — преступное бессилие перед смертью. Капитуляция без генерального сражения. Отдача себя в позорный плен слабейшему противнику»¹. Откуда же столь страшный финал? Его надо понимать символически, как и положено по Новому Завету: «мы умерли для греха» (Рим. 6, 2); «уже не я живу, но живёт во мне Христос» (Гал. 2, 20). Так же мыслил автор, предполагавший в третьей части явить образ воскресшего человека (см. с. 753). Жажда жизни не есть цепляние за жизнь, бесстрашие пастора на пожаре и признание «Смерти принять не могу... Я не боюсь... Не могу... Не должен» показывают уверенность в промысле Божьем. Гнетёт его не сам факт разделения души и тела, а возможность перейти в мир иной, не избавившись от грехов, т. е. утрата вечной жизни. Страх смерти бывает разным, в зависимости от того, первой боимся или второй, возводим на престол ложь или истину, веруем в тление или в Сущего.

¹ Афористичная форма подачи развёрнутой метафоры — одна из проповеднических и литературных удач Свенцицкого.

Большинство персонажей пьесы «Интеллигенция» — люди верующие. И всяк — в разное. Доктор верит в бактерию, причём так неистово, что полагает: хорошо узнавши её, человек по-другому взглянет и на небо. Сергей Прокопенко заявляет, что должен верить в кого-нибудь (не во что-нибудь!), но перечисляет безличных, абстрактных своих богов: интеллигенцию, русское общество, зарю новой жизни; хотя верит и в чудодейственную, вдохновляющую силу любви. Добрейший Иван Трофимович верит в благотворность избранного способа спасения родины, оттого и жертвует деньгами. Графоман Сниткин верит в успех и необходимость просвещения народа. Распускающий грязную сплетню мелкий завистник Ершов верит только в себя. Даже несчастная болтушка Пружанская, от одиночества бросающаяся в общественную деятельность, верит, что женщина спасёт школу. Поэтому огульные упрёки Подгорного в отношении потери «веры вообще» безосновательны. Но что касается главного — отсутствия веры в Иисуса Христа, совершенно правильны. Именно в этом отрыв интеллигенции от тела народного — вера его стала чужда. А когда нет стержня существования, человек становится никудышным, ни на что непригодным. 1917 год показал немощь образованщины, её духовную опустошённость: когда получила полную власть — всё разлетелось вдребезги. А потом сбылось предсказанное автором: «Не пройдёт и двадцати лет, как интеллигенция русская выродится окончательно и превратится в жалкое, бессильное ничтожество».

Как дедушка Исидор воплощает лучшие качества русской души (истинную веру, жалостливость, отзывчивость, смирение), так и Подгорный — символ лишившегося корней, потерявшего устойчивость образованного общества: человек с двоящимися мыслями. Он прав: чтобы стать простым, тихим, цельным, надо отдаться Богу, но это не значит «поверить во что-нибудь», а — уверовать в Христа Спасителя всем сердцем и всею душой. Подгорный о сём не ведаёт, но чувствует свою немощь, хочет исцелиться и избирает единственно верное — бежит из духовного болота на поиски веры. Хотя бы потому, что идти больше некуда... Это важно, это очень важно понять: кроме как к Единому Богу, идти некуда. Пока поэт вопит: «Лучше разврат»,

а доктор поддакивает: «Развлечения найдутся», бывший учитель тихо уходит. Он никого не зовёт с собой, ведь не уверен даже в правильности выбора. Он начинает сызнова, опираясь на твёрдое сознание, что ничего не знает, и в жажде научиться умению верить. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5, 3). Бог даст, ещё успеет помочь Лазареву (единственному мучительно ищущему Духа Нового), если тот раньше не застрелится от отчаяния; но, может быть, его фамилия говорит о том, что автор видел в нём личность воскрешаемую...

Пока же Подгорный не способен уразуметь: и бесы веруют и трепещут, но не перестают быть бесами, ибо вера без дел мертва (Иак. 2, 19–20). Долог путь на гору Голгофскую, но первый шаг он сделал. О, если бы ему последовала вся страна! Куда там... Цвет посеребрённого века составили в конец изолгавшиеся, развратившиеся, загнившие и оскотинившиеся писатели, художники и общественные деятели. Властители умов! Их ценили и ценят как лучших людей России, им поклонялись и продолжают поклоняться миллионы одурманенных запахом распада. Потому и сбылось страшное пророчество Свенцицкого: «Последняя честность исчезнет через два-три поколения, и люди начнут попросту душить друг друга, превратятся в духовных зверей, отдадутся в рабство сладострастия, лжи и всякой мерзости».

Недалека была от истины Л. Я. Гуревич, писавшая о пьесе «Наследство Твердыниных»: «...кажется, что автор хотел придать ей не одно только бытовое, но и какое-то иное, более общечеловеческое значение»¹. Именно так, надо лишь потрудиться распознать. Сколько раз в России 1990-х звучали фразы: «При дедушке гораздо было лучше. Мы жили впроголодь, но определённой жизнью. <...> О богатстве не думали. Мы знали, что жизнь будет тяжёлая, бедная. И нисколько не боялись. <...> Жили сами по себе... Потихоньку от него — всё же были счастливы». А когда «дедушка» умер, нас придавило «проклятое наследство». Не три недели, как в пьесе, — десятилетие прошло в ужасе. «Теперь все хозяева стали — все тащут». И не было

¹ Гуревич Л. Общедоступный театр // Речь. 1913. 17 декабря. № 345. С. 6.

сил остановить распад, пресечь беззаконие, прикрикнуть на распоясавшихся новых хозяев. С нами самими что-то случилось — ни мысли, ни воли... Да не то ли произошло и после февральской революции 1917? Ведь это не Андрей Иванович, а милейший князь Г. Е. Львов восклицает: «На какие угодно уступки пойду, лишь бы скандалов не было». Казалось бы, всё ясно и просто: надо противостоять злу. А силы-то и нет... Духовной силы, силы духа. А всякое действие (и бездействие), кроме открытой борьбы, есть потакание злу, пособничество его полновластию. Но и бороться с врагом нельзя любимыми способами. Безликий и хладнокровный Пётр Петрович, науськивая Софью устранить препятствие, выдвигает главный довод: «В грех вы не верите». Следовательно, можно переступить через человека, пойти на преступление. Пусть потерявший веру Прокопий Романович («Бога ты оставь!.. Я знаю — что знаю») сбесился от жадности, но уподобляться ему непозволительно. Наследство деспотизма — безволие и вседозволенность, псевдосмирение и безудержная жажда власти. После бездушной, парализующей творческие силы тирании неизменно наступают смутные времена. Так повторялось всегда — и в Церкви, и в государстве. Об этом и предупреждает автор: «Погубит нас это проклятое наследство!»

В отличие от прочей прозы Свенцицкого в рассказах отсутствуют автобиографический подтекст (разве что в «Дневнике» прослеживается) и символическая глобальность действия (обобщения предоставлено сделать читателю), но, как и всегда, главные персонажи показаны в переломный момент жизни. В ранних произведениях обстоятельства противятся мечтам героев, толкают обратно в рутинный круговорот. Казалось бы, сейчас откроется новый мир, начнётся новая жизнь, и... ничего не происходит. Обычное дело — праздник кончается, надо жить дальше. Символ дебюта Свенцицкого в литературе — жёлтенькие цветы, склоняющиеся под колёсами телеги и снова выпрямляющиеся. И не оставляет надежда: это не последний Васин диплом, поэтическая душа достойно выдержит куда более суровые экзамены, не закиснет в одиночестве и немощи, как у героя рассказа «Назначение». Вечный переписчик из провинциального городка — уже не личность, а придаток к столу

и учреждению. Только механически выполняя приказы и безвольно двигаясь в толпе, он не испытывает болезненной беспомощности. Ему неловко в гостях, зато не одиноко на шумной улице. Чужая жизнь (эту важную характеристику отношения персонажа к людям автор повторяет неоднократно) неинтересна, любое душевное соприкосновение не вызывает ничего, кроме досады. Сей премудрый пескарь гордится отсутствием грехов, но не творит и добрых дел. Не творит ничего... Внезапно начинает преобразаться Николай Николаевич от мимолётного ощущения «как бы участия» в жизни незнакомого человека. Отвыкшая рассуждать душа начинает работать, рождается желание быть любимым, познать семейное счастье, объединиться с кем-то, кто станет вместе радоваться и страдать. Он хочет — жить! Всё это могло быть, будет... только бы назначили в другой город! Увы. «События внешней жизни не зависят от нас. И не на это внешнее устройство должны мы обратить главное внимание. Мы должны прежде всего в порядок привести собственную душу» (МвМ. 1, 15). Беда и парадокс — герой мечтает о том, что имеет. Вот заботливая женщина, детки... Только распахни сердце, прими их в себя, перестань воспринимать как чужих, создай единство. Но в омертвелом человеке не возникает решимости потрудиться; да и грёзы односторонние: нет внутри жажды любить, нет стремления одарить избранницу, влиться в её чувства, разделить страдания. Всё себе и для себя... О таких существах, заживо погребённых в самости, Б. Гребенщиков с тоскою сказал: «Мы могли бы быть люди... Козлы».

Потерявшие облик человеческий, уничтожившие образ Бога в себе персонажи действуют ещё в двух рассказах. Арестант совершает бессмысленный побег не задумываясь, машинально — по-звериному, инстинктивно чувствуя безнаказанность. А дальше идёт охота. Преследователи ничуть не отличаются от жертвы — они такие же звери, а вожак — матёрый охотник. У него нет чувств — только чутьё; ему безразлично, кого гнать — кабана, оленя или человека; он отдаётся охоте с упоением и действует как привычный лесной зверь — быстро, уверенно, безжалостно. Свенцицкий мастерски описывает «преображение», почти неуловимый процесс, когда зверь входит в душу человека. Меняется всё — слух, взгляд, мышление, эмоции. Только чучела тел

ещё напоминают... Но как бы ни были безобразно едины особи в стае, после дикого преступления совесть разделяет их. И ужас вожака свидетельствует: он может убить в себе зверя. Напротив, никаких надежд не оставляет «Шутка лейтенанта Гейера», но не только потому рассказ не относится к творческим удачам. Он скорее похож на анекдот и не дышит жизненной правдой. Но и тут найдём духовный смысл (хоть и прост, да многими неприемлем): человек не должен превращаться в машину, даже солдат и даже на войне.

Мнимое бесстрашие и обуянность страстями — две смертные пропасти духовного мира. Но в одиночку спастись невозможно, твёрдо убеждён Свенцицкий. Эти темы и главенствуют в его рассказах. Отчего гибнет в тёмной ночи дедушка Еремеич? От жадности и безверия. Соблазнённая небывалым уловом душа готова обманывать («Демьяновым скажу — в Верблюжьем затоне был... пусть едут»), перестаёт здраво рассуждать и не замечает, как сама попалась в сети врага. В опьянении предстоящей наживой грезит затмившими свет «красенькими» бумажками. Ни возблагодарить Господа за дар, ни воззвать к Нему о помощи не находит нужным, ибо *знает*, что никто не услышит. Самочинная отъединённость от людей и Бога обрекает нас на одиночество в страшной пустыне. Нет ничего хуже, чем почувствовать — ты *совершенно один*...

Разные приманки ставит диавол, но деньги и похоть — самые распространённые. Ревностного к молитве, старательного молодого послушника проще всего было соблазнить именно на блуд. Попустив испытание для укрепления духа, Господь не оставляет борящегося; огнём вспыхивает глас Божий: «Остановись!.. Погибнешь!..» Чувствуя немощь, монах обращается к духовному отцу. На нём и лежит вина за произошедшую трагедию, его душа будет также гореть в аду. В буквальном и переносном смысле опустив руки, юноша прибегает к человеку, которому вверил себя в попечение и который несёт пред Господом полную ответственность за послушника. «Бог так устроил, чтобы люди были исправляемы людьми же»¹. И что же? Холодные, выцветшие глаза, формальные увещевания, ни малейшего соучастия, духовная глухота, смертный холод... Да оставь беспомощное существо рядом, переживите вместе молясь тягостную ночь — и завтра

¹ Иоанн Моск. Луг духовный. Гл. 199.

восстанете в радости живые оба! Ан нет... Храня свой покой, старик (увы, не старец) не захотел разделить чужую муку, торопливо спровадил пасомого — умирать. Не к месту, неразумно сказанные слова о смерти¹ только увеличивают тоску, разобщённость с близким гасит последнюю надежду... Нет, не последнюю! Если бы о. Сергей заставил себя снова встать на молитву, был бы спасён. Но парализованная душа даже не старается это сделать. Дальнейшее — молчание.

В большинстве творений Свенцицкого действие связано с главными христианскими праздниками, но нигде общее торжество так остро не переживается, как в отрывке из дневника. Маленьким шедевром его делают не только поэтичность описания пасхальной ночи (прямое объяснение в любви к Божьему созданию) и мастерство психологической рисовки, сравнимое лишь с Достоевским, но и лаконично выраженный духовный смысл: «Коли Христос воскрес — разве можно врозь быть?» Да, безнравственные люди тоже хотят есть, и если праздник на земле, как же отвергать их? «До оценок ли тут — кто лучше да кто хуже... Радоваться, обниматься надо и быть всем вместе. Главное — всем вместе».

Такова же суть рассказа «Ольга Николаевна», входящего в золотой фонд русской малой прозы. Специалистам ещё предстоит проанализировать художественные средства и литературные приёмы, с помощью которых передана необычайная напряжённость существования героини. Ограничив себя постижением душевного мира, Свенцицкий оставляет покров тайны на духовном: мы видим только последствия чудесного преобразования, почти мгновенно свершившегося на пороге смерти. Как же это *случилось*? Казалось бы, женщина настолько погрязла в самости, отторглась от людей, что никакое выздоровление немислимо. Скоропалительное замужество ради избавления от родительской опеки обычно кончается печально — потом хочется освободиться и от новой семьи. Муж внушает физическое отвращение, его образ в душе стирается (это выражается в прекращении именованья), дети безразличны. Окружающие становятся противны, даже голоса их

¹ Распространение подобной духовной практики давало повод непримиримым противникам христианства (таким как В. Розанов) называть его «религией смерти».

раздражают; ничто не радует, кажется, будто во всём виноваты близкие; хочется, чтобы все ушли, оставили в покое, в полном одиночестве... Стремление освободиться от всякой зависимости, разорвать тяготящие связи неминуемо приводит к тому, что весь мир становится чужим, ненужным. Символично, что именно врач оживил отвыкшее любить сердце. Может быть, так сильна была его любовь, чиста и... непривычна. С чувствами родных Ольга Николаевна уже свыклась, перестала замечать, верить в их бескорыстность (да они же требовали ответного чувства, обязывали), а тут — посторонний... Или достаточно оказалось простого человеческого тепла и ласкового моря, только она впервые *ощутила жизнь*, ту самую — живую. Чужую — как свою. И совершилось чудо — человек воскрес! Вопреки логике и наперекор «здравому смыслу». Нужды нет, что они больше никогда не увидятся: не земное счастье важно, а переворот в душе. Нелепо сетовать на мимолётность встречи, коль вечность впереди. Велик Бог, и иногда непонятны дела Его, но откроются ищущему. Любить — значит создавать единство, а это невозможно без самоотвержения, без подвига.

Его совершает героиня рассказа «Любовь», презрев физический облик мужа и раскрыв в нём (а значит, и в себе!) образ Бога. Неужели тело важнее души, вопрошает нас между строк автор? Как просто ответить, как тяжело пережить... Но когда после слёз и мук открываются духовные очи, внешность не застилает внутреннего совершенства¹. Кого мы любим: оболочку или душу вечную? И чем: глазами или сердцем? Если истинно любим — страдаем вместе и отвергаем самость, переступая порог личного благополучия.

¹ Раскрытие двух планов бытия — один из основных философских методов Свенцицкого, он постоянно оперирует категориями «внешнее» и «внутреннее». В частности, выявляет двойственность понятия «красота» и позволяет констатировать недостаточную прояснённость термина, в т. ч. в православном богословии (см. прим. к с. 41, 112, 183, 249, 267, 587). Образное воплощение проблемы красоты завершает многолетние размышления автора и является лучшей иллюстрацией его идеи.

Жертвуют собой и герои святочных рассказов Свенцицкого: по-разному, но едино. Бес хитёр и знает, кого из нас чем уловить. И если телесной болью не удаётся довести до отчаяния, берёт жалостью. Молодой человек, сподобившийся лицезреть новое небо и новую землю, искушается дважды. Выдержав издевательства сам, но не в силах помочь другим, разделяет с ними участь и тем прекращает их мучения. Матери помирающих от голода детей не дано и этого; видеть их смерть она не в состоянии... но не теряет веру в Бога и, раз такова Его неисповедимая воля, просит ускорить встречу в раю. Так и будет — Господь упокоит безгрешные души в селениях праведных (как и в переключаемом рассказе Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке»), а вина за страдания ляжет на всех испохабивших доверенный нам мир и нерадеющих о немощных и бедных. Это самое страшное из написанного Свенцицким, одному Богу известно, что он пережил, растворяясь в образе.

Пострадать ради Христа — что может быть выше?! Ради — значит по причине существования. И как же воскреснуть без распятия?.. Незамутнённые души сознают это сразу, у них особые отношения с Богом — они понимают Его и без слов. Сказ о явлении Спасителя детям не имеет аналогов в русской литературе — по сюжету, пронзительности действия, накалу переживаний, высоте духовного смысла. По бережно переданной правде произошедшего. Тут нельзя не плакать — от умиления и радости. Люди! читайте его детям, если хотите, чтобы остались чисты, как при рождении. Плачьте вместе с ними, учите молиться и не терять Бога, рассказывайте о Нём. Не бойтесь: детки легко усваивают то, чему посвящены тысячи богословских томов. Только наставьте на путь правый — и сами поразитесь глубине и простоте их прозрений.

Рассказ «На заре туманной юности» стоит особняком в творчестве Свенцицкого. Талант писателя здесь раскрывается с неожиданной стороны, появляется мягкий и светлый юмор, напоминающий Лескова, царит праздничное умиротворение: смиренная доброта и тихая радость спокойно торжествуют. Перемена участи принимается без колебаний и надрыва, ведь герои полностью полагаются на Божью волю, вверяя судьбы Промыслу и родительскому опыту. Свобода от страстей дарит душе покой. Блажен, кому

раскрылась тайна: «Нет тех, кто не стоит любви»¹. Господь ведаёт, сколько ещё предстоит пережить новобрачным, пока любовь окрепнет и навеки свяжет, но столь убедительно явлена их первозданная чистота, что сомнений не возникает: им удастся сохранить её и впредь. Христианская семья будет освещать и обновлять жизнь, а рядом преобразятся и души ближних. Из молодого псаломщика, умеющего противостоять пагубному давлению, но смиренно покоряющегося благу, выйдет честный священник, приходской батюшка, какие никогда не переведутся на Руси. А искушения будут, без них нет пути к совершенству.

В чём усомнился добродетельный о. Яков? Нет, не сказал, как безумец, в сердце своём: «Нет Бога», не перестал верить в Христа; ещё острее ощутил свою греховность, в каждом евангельском слове стал слышать себе обличение. Да ведь так и надо! И когда почувствовал, что не священник в душе, честно снял неподобающее облачение. Снял до литургии, а не после²: пресуществление Святых Даров — не магический механизм, приводимый в действие заклинанием, а величайшее таинство, зависящее и от совершающего службу. Недопустимо обманывать причастников! Нельзя руководить людьми, коли душа смущена. Но и с искажением церковного устройства сердце не мирится: «Не могу я представить, что вот входит Он в храм, становится рядом со мной, надевает ризу, камилавку, берёт кадило, а потом три рубля за то, что с выносом». Всё та же беда, описанная в «Фантазии»: не признаёт Христос такой храм Своим домом. А значит, надо идти служить Ему, как заповедано, в духе и истине. Тяжек будет путь странника, много претерпеть придётся от начальства; знают о том крестьяне, потому, жалеючи, уговаривают: «Не ходи...» (жалели бы себя, сказали «не уходи»). А под куполом, как в клетке, бьётся голубь...

Чудесными гранями русский характер сияет и в эпизодических персонажах. Как из драгоценных камушков

¹ Прозрение А. Башлачёва из стихотворения «Тесто» (1985).

² Формально схожее событие в подмосковном храме 1920-х вызвало иную реакцию: «Люди были потрясены и оскорблены: “Зачем же он служил хотя бы сегодня?!”» (Фудель С. Собр. соч. Т. 1. М., 2001. С. 120).

искусный Художник творит небесный град, так из них складывается соборная личность. Здесь ласковая сельская учительница, самоотверженно воспитывающая чистые души и плачущая от «чужой» беды, здесь положившая силы и здоровье ради деток хозяйка низкого домика в городе N и жалостливая деревенская баба, готовая поделиться последним с незнакомцем, здесь благообразная няня, обучающая питомцев Христовой вере, и крестьянин, не могущий себе простить, что жена померла одна, точно брошенная, без причастия, здесь тихая и добрая жена священника, духовно опытный, простой и чуткий епископ, смекалистая и по-отечески суровая вдова псаломщика, милосердный носильщик на вокзале, с любовью наставляющий на путь истинный сторож. Такова Святая Русь. Все они — Церковь Христова.

Художественные произведения Свенцицкого составляют великую ценность русской духовной культуры. Когда будут прочитаны в полном объёме и должным образом осмыслены, это положение станет общепринятым. Но поведенное в последнем рассказе выходит за рамки беллетристики. Случилось то, о чём говорил Б. Пастернак: «И тут кончается искусство» (в биографии о Валентина кончается в обоих смыслах — отныне он будет творить в иной форме). Всё прочее — литература, но только не «Юродивый». Пламенное пророчество начнёт сбываться уже через несколько месяцев после публичной огласки. Наступало время, о котором страшно и правдиво свидетельствовал М. Волошин: «Но в ту весну Христос не воскресал». Люди не услышали звенящий крик «Спасайте дом Божий!», иначе бы большевики не устояли и бесовская рать была повержена. Но юродивый остался один... Никому не сделавший зла русский мальчик, дурачок Илюша, не был немым, а молчал потому, что не пришёл его срок. Его все любили, ведь он умел сострадать и сорадоваться, тихо служил Богу и любовался Его творением, и к леске никогда не вязал крючков (знаете, от одного этого слёзы подступают). И когда пришёл враг, настоящий враг, и опустошил землю, и сжёг храм, Илюша принял всю боль на себя. Но не заплакал, а по-русски рванул рубаху и — заговорил. Заговорил грозно и пронзительно — так, что онемевших душой людей, дотоле спокойно наблюдавших разорение, объял ужас.

Скажете: нам-то что за дело? Ну, это мы ещё посмотрим!..

КОММЕНТАРИИ И ТОЛКОВАНИЯ

Второе распятие Христа (Фантазия)

Москва, 1908. Типография О. Л. Сомовой (Б. Никитская, д. Шапошниковой). 84 стр. Ц. 10 к. 3000 экз. Подзаголовок: «Издание для народа».

Издание планировалось для Религиозно-общественной библиотеки в 1906, но осуществлено не было; значится в «Книжной летописи» за 17–24 апреля 1908. Действия властей весьма точно предсказаны автором в эпилоге; обзор составлен на основании следственных дел, хранящихся в ЦИАМ (Ф. 31, оп. 3, д. 928; Ф. 46, оп. 3, д. 156; Ф. 131, оп. 71, д. 2472; оп. 73, д. 88; Ф. 142, оп. 17, д. 2325, 2326).

10 марта 1908 Свенцицкий сделал заказ в типографии Сомовой на печать новой книги и около часа дня 9 апреля получил тираж. Один экземпляр, как полагалось по закону, был отправлен в МКДП. Экспертную оценку производил бывалый цензор статский советник Сергей Иванович Соколов. На основании его доклада МКДП 10 апреля распорядился наложить на издание арест и обратился к прокурору МСП в письме за № 1163: «Автор этой брошюры в целях поношения среди народа церкви православной, её преданий и догматов, а равно и её представителей, рисует в рассматриваемом произведении картину вторичного пришествия Спасителя на землю, заставляет Его говорить отрывочными местами из текста Евангелий в порицание как церкви православной и её установлений с представителями, так и против существующего у нас строя. <...> Находя в изложенном

признаки преступлений, предусмотренных ст. 73, 74 и пп. 2 и 6 ст. 129 Угол. Улож., Московский Комитет по делам печати имеет честь покорнейше просить Ваше Превосходительство возбудить против автора и издателя этой брошюры судебное преследование по указанным выше статьям». Представление за № 1176 было отправлено и московскому градоначальнику генерал-майору А. А. Адрианову, который 11 апреля предложил издание «немедленно конфисковать в книжных магазинах и везде где будет обнаружено и доставить в мою Канцелярию». Явившийся в тот же день в типографию инспектор книгопечатания и книжной торговли 3-го участка Вл. Эренбург констатировал, что тираж полностью вывезен издателем. Чем занималось правосудие следующие 1,5 месяца, неизвестно, лишь 27 мая прокурор МСП поручил прокурору Московского окружного суда начать предварительное следствие по указанным статьям, а тот через два дня предложил приступить к производству судебному следователю по важнейшим делам Н. Н. Всесвятскому. 2 июня следствие было начато, но последний принял дело по своему производству 27 июня (забавный парадокс подтверждают документы разных ведомств). Не проявляла активности судебная власть и в дальнейшем: только 15 октября следователь привёл Свенцицкого в качестве обвиняемого за «поношение православной церкви, кощунство и возбуждение к ниспровержению существующего в России общественного строя и ко вражде между отдельными классами населения», но найти его и вручить повестку не удалось. Розыск, продолженный через публикации в прессе, результатов не дал, и 30 октября 1909 следователь постановил «дело это направить установленным порядком для приостановления следствия». 6 ноября дело было передано прокурору МСП, товарищ прокурора Н. Я. Чемадуров не усмотрел в брошюре признаков преступления и 4 декабря полагал нужным прекратить уголовное преследование, но затем изменил позицию. 21 января 1910 МСП утвердила его предложение «отложить суждение о Свенцицком впредь до его явки или задержания», а 2 апреля 1911 определила уничтожить издание брошюры (вероятно, единственный экземпляр, что там хранился). 13 июня приговор был утверждён и приведён в исполнение. По амнистии политическим преступникам, объявленной манифестом Николая II по случаю 300-летия царствующего дома Романовых 21 февраля 1913, все преследования в отношении Свенцицкого были прекращены.

Особенность авторской пунктуации: при точном воспроизведении, слова в прямой речи Спасителя заключаются в кавычки. «Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе» (2 Кор. 2, 17).

С. 5. *Фантазия* — «Пересказать толково то, что мы все, русские, пережили в последние 10 лет в нашем духовном развитии, — да разве не закричат реалисты, что это фантазия! А между тем это исконный, настоящий реализм! Это-то и есть реализм, только глубже, а у них мелко плавают» (*Достоевский*. 28, II, 329). «...Слова “фантазия”, “фантастический” употребляются Достоевским для обозначения духовных реалий, закрытых для правильного видения и понимания сознанием атеистическим, греховным или замутнённым всяческими мистическими измышлениями. <...> То, что кажется “фантастическим”, осмысливается, проясняется его реальная сущность и тем побеждаются кажущаяся иллюзорность или искажения» (*Степанян К.* «Сознать и сказать». М., 2005. С. 36, 39). См. также прим. к с. 60.

...во время пасхальной заутрени. — Пасха в 1906 пришлось на 2 апреля (здесь и далее даты приводятся по старому стилю). О датировке см. прим. к с. 42.

...о Иоанн Воздвиженский... — Ошибочно предположение, что прототипом был прот. Василий Доронкин, поскольку он служил в Москве только с 1920-х (*Свенцицкий А. Б.* Они были последними? М., 1997. С. 67–68, 145–146). Но дальнейшее описание церкви во «Втором распятии Христа» соответствует хр. Благовещения Пресвятой Богородицы, что на Бережках (см. прим. к с. 8), настоятелем которого в 1893—1910 был священник Иоанн Иоаннович Святославский. В 1888 он окончил Московскую духовную семинарию, до 1893 учился в Казанской духовной академии (удостоен звания действительного студента с правом получить степень кандидата богословия после нового экзамена по догматическому богословию), с 1910 был настоятелем московского хр. Святой Живоначальной Троицы (Сыромятинская ул.). Не исключено, что на создание образа повлиял Иоанн Павлович Воздвиженский, настоятель хр. Рождества Пресвятой Богородицы в селе Дютьково (построен в 1879), расположенном в 3 км от Звенигорода (Свенцицкий часто бывал в Звенигородском уезде).

С. 6. *...в далёкой заглохшей монастырской ограде...* — Естественно, Христос воскресает в «подмосковной Палестине». Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь основан патр. Никоном в излучине р. Истра (реке, окрестным холмам и деревням даны были библейские названия: Иордан, Вифания, Фавор, Елеон, Кедрон); по подобию храма Гроба Господня в Иерусалиме построен Воскресенский собор. Надпись при входе в него гласит: «Созерцая сюда вшедши и разумей внутри заключенных вещей душеполезную тайну, иже Спаситель твой тамо между неверными, здесь же среди благочестивых христиан в воспоминание Спасительных страстей, смерти и тридневного Воскресения, в храме Ново-Иерусалимском представляет».

...на том самом месте... — Ин. 20, 1–2. Здесь и далее для библейских цитат и точного изложения евангельских событий даются ссылки на соответствующие стихи Святого Писания, при нестрогом цитировании и смысловых параллелях приводится текст первоисточника, расхождения оговариваются особо.

Синедрион — верховное судилище иудеев в Иерусалиме из выборных членов под председательством первосвященника. Высшая законодательная, административная и судебная инстанция Православной Всероссийской Церкви в 1721–1917 — Святейший правительствующий синод, действовавший исключительно с согласия государственной власти; все члены его во главе с обер-прокурором назначались императором (Основные Законы Российской Империи. Ст. 43) и до конца XIX в. приносили присягу: «Исповедую с клятвою крайнего судию духовные коллегии быти самого всероссийского монарха». Свенцицкий указывает, что безбожному строю Христос был не нужен, потому и Тело Его и слово снова были заключены под спуд (см. прим. к с. 10).

Светлый ангел тихо отвалил тяжёлый камень... — Ср.: «И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба» (Мф. 28, 2). Тишина подчёркивает величие и вселенскую значимость первообраза победы над смертью, теперь иное: «...день Господень так придёт, как тать ночью» (1 Фес. 5, 2); «иду как тать: блажен бодрствующий» (Отк. 16, 15).

С. 7. *Возглас* — краткое возгласие, произносимое священником во время церковной службы.

...в белых одеждах... — «И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею» (Лк. 9, 29).

...староста, купец Бардыгин. — Прототипом персонажа был Михаил Никифорович Бардыгин (1864—1933) — крупный фабрикант, член совета Московского купеческого банка и правления Российского взаимного страхового союза, действительный статский советник, депутат III Государственной думы от Рязанской губ., казначей Временного совета объединённых приходов Москвы (1918); в 1923 с женой и детьми эмигрировал во Францию, автор книги «Созвучия Нового Завета» (Вып. 1—2. Париж, 1925), умер в Ницце (Чуваков В. Незабываемые могилы. М., 1999. С. 208). «Одна из крупнейших фигур московского коммерческого мира до революции» (Грбавь И. Моя жизнь: автобиография. М., 1987). «Плотный мужчина с ухватками старшего приказчика из солидной купеческой лавки. Он всячески подчеркивал своё русское происхождение, носил окладистую бороду, ходил в хорошо сшитом добротном сюртуке. <...> Когда женился старший сын Бардыгина, в доме была срочно проломана стена и сделан специальный выход, затем была разрушена часть каменной церковной ограды. Новый выход из дома и вход в церковь, где должно было происходить венчание, были соединены деревянным помостом, обитым красным сукном и снабжённым белой балюстрадой наподобие тех дорожек, которые соорудились в Кремле для “высочайших выходов”. В день венчания свадебный кортеж в церковь и обратно следовал по царским мосткам» (Бахрушин Ю. Воспоминания. М., 1994. С. 517, 522). Свадьба Никифора (прототип Николая, см. прим. к с. 36) и Марии Алексеевны Гандуриной (племянницы А. А. Бахрушина) состоялась после переезда семьи Бардыгиных на ул. Воронцово поле в 1912, через год двадцатилетняя супруга умерла от скоротечного туберкулёза (Бахрушины. М., 1997. С. 53).

С. 8. *Молодые клейкие листочки...* — Со времён «Братьев Карамазовых» стали в русской культуре символом жажды жизни: веры в чистоту, надежды на возрождение — символом самой жизни и умиленной к ней любви. См.: *Достоевский*. 14, 210, 239.

Церковь ~ на самой окраине: белая, новенькая. — Хр. Благовещения Пресвятой Богородицы, что на Бережках (Пречистенский сорок), основан в 1412, с 1722 каменный, последний раз обновлён в 1896, снесён в 1960-х. Находился в живописнейшем месте, на высоком берегу реки Москвы, противоположном от Киевского вокзала (Ростовская наб., 5). Причт в 1906: священники Иоанн Святославский (настоятель) и Георгий Скворцов,

дьякон Василий Цветков, староста купец Николай Сав. Титов, диакон на вакансии псаломщика Михаил Розанов (*Ястребов В.*, прот. Краткий исторический очерк московской Благовещения, что на Бережках, церкви. М., 1913. С. 34–35).

С. 9. *Речка Малеевка* — пересохший ныне приток р. Руза (Верейский уезд, 2-й стан) в 84 км от Москвы по Минскому шоссе.

...хоры ангелов незримые поют. — Тысячи тысяч ангелов и праведники, искуплённые от земли, поют Сыну Человеческому, сидящему на престоле, новую песнь, «песнь Агнца», прославляя дело спасения, совершённое на Голгофе (Откр. 5, 9; 14, 3; 15, 3).

«Блаженны нищие духом...» — Мф. 5, 3–11.

Новые, неслышанные слова! — Парадокс, но люди действительно могли их никогда не слышать («слышат, да не понимают, всё одно, что не слышат», поясняет свт. Феофан Затворник): проповеди с толкованием были тогда редки, а во время службы слово Божие в наших храмах звучит на церковнославянском языке. Христос же говорит на родном, понятном каждому. Благодать Духа Святого, излитую в день Пятидесятницы, — «Свет истинный, Который просвещает всякого человека, проходящего в мир» (Ин. 1, 9), — на века отторгли от земли русской. Презрели заповедь не прятать свечи зажжённой (Мф. 5, 15), Слово Божье сокрыли от людей, а значит, и Бога-Слово упрятали во гроб (см. прим. к с. 6, 19). «Ибо всякий делающий злое, ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы» (Ин. 3, 20). Сбылось пророчество: «...лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу» (Ис. 28, 11). Ср.: «ВАЖНЕЙШЕЕ. <...> Никто Евангелия не знает» (*Достоевский*. 15, 206).

С. 11. *Не велено сборищ делать.* — Имеется в виду Обязательное постановление Московского генерал-губернатора от 13 декабря 1905 (см. также прим. к с. 28).

Я хотел учить народ... — Ср.: «...народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи» (Мф. 7, 28–29).

Красный звон — при церквах и монастырях, согласный подбор колоколов погласицей, лествицей звуков, гаммой (*Даль*).

С. 12. *Ma tante* — тётушка (фр.).

С. 13. *На первый день Фоминой недели...* — Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы; в 1906 это было 10 апреля.

На Казанскую семьдесят три было... — Празднование Казанской иконы Божией Матери установлено 22 октября (4 ноября).

С. 14. *«Не судите, да не судимы будете...»* — Мф. 7, 1–2.

«И что ты смотришь на сучок...» — Мф. 7, 3–5.

Помяни меня... — Ср. слова раскаявшегося разбойника: «...помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое!» (Лк. 23, 42).

С. 15. *...храмовый праздник в церкви Вознесения.* — Вознесение Господне — воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме (в 1906 пришлось на 11 мая). Скорее всего, имеются в виду хр. Вознесения Господня в бывшем Варсонофьевском монастыре (Варсонофьевский пер., 5) и его настоятель с 1900 прот. Василий Павлович Вишняков (1865—1930). В мае 1922 он был приговорён к расстрелу по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей в Москве, помилован; с 1925 настоятель Софийского храма на Лубянке. В 1906 в причт Вознесенского храма входили: диакон Николай Илларионович Смирнов, псаломщик Иван Семёнович Померанцев, староста Николай Тихонович Тихонов-Подрезов (ЦИАМ. Ф. 2126, оп. 1, д. 1148). См. также прим. к с. 34.

...отец приходил от всенощной благословлять... — Возможно, священник Павел Александрович Вишняков, в 1890—1913 настоятель хр. Покрова Пресвятой Богородицы в селе Бутково (Лужский уезд, Санкт-Петербургская епархия), ранее учитель.

«Возьмите это отсюда...» — Ин. 2, 16.

С. 16. *...глас трубный...* — Ср.: «...громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний... Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят в свете лица Твоего, Господи» (Отк. 1, 10; Пс. 88, 16).

Он опрокинул стол... — См.: Ин. 2, 15.

...не базар — храм Божий. — Ср.: «Тревожным признаком обмирщения православного сознания, умаления церковности, духовного ослепления является всё усиливающаяся коммерциализация многих сторон приходской жизни. Материальная заинтересованность всё чаще выходит на первое место, заслоня и убивая собой всё живое и духовное. Ничто так не отторгает от веры людей, как корыстолюбие священников и служителей храмов. Не напрасно сребролюбие называется гнусной, убийственной страстью, иудиним предательством по отношению к Богу, адским грехом. <...> Недопустимо взимание какой-либо

платы за совершение таинств, в особенности крещения <...> дабы не отвечать пастырям на Страшном суде за то, что препятствовали спасению множества людей. <...> Подобно тому, как Христос выгнал торговцев из иерусалимского храма, будут изгнаны и “торговцы святостью” (Патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Выступление на Епархиальном собрании духовенства Москвы 15 декабря 2004).

«Настанет время, и настало уже...» — Ин. 4, 23.

Храм православный бесчестишь. — Как и иудейские книжники и фарисеи, плохо разумея закон, священник обращает к Христу слова апостола: «Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога?» (Рим. 2, 23). Ср.: «Не нарушить пришёл Я, но исполнить» (Мф. 5, 17).

«Бог не в рукотворённых ~ в духе и истине» — Деян. 17, 24; Ин. 4, 24.

«Дерзай, чаго!» — Мф. 9, 2–7.

Богохульствуешь! — «Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: “богохульствуешь”, потому что Я сказал: “Я Сын Божий”?» (Ин. 10, 36).

«Что легче сказать...» — Лк. 5, 23–24.

С. 17. Была ночь. — Фарисей по имени Никодим, приходивший к Иисусу ночью (Ин. 3, 1–2), после распятия принёс смирну и алоэ для помазания Его тела (Ин. 19, 39) и принял крещение от апостолов. Память его совершаем 2 (15) августа.

Старичок Сила... — Один из 70-ти апостолов Сила (Силуан), муж начальствующий между братьями, пророк, обильный словом, проповедовал вместе с апостолом Павлом (Деян. 15, 22, 32; 16, 19–33); еп. Коринфский. Память его совершаем 4 (17) января и 30 июля (12 августа).

Я знаю, что ты учитель, посланный от Бога... — Ср.: Ин. 3, 2 (московский священник говорит только от своего имени).

«Если кто не родится свыше...» — Ин. 3, 3.

Он созиждет церковь... — «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её» (Мф. 16, 18). «Под вратами ада я разумею пороки и грехи, или же, — несомненно, — учения еретиков, через которые люди не книжные низводятся в преисподнюю» (прп. Иероним Стридонский). Здесь и далее: печатные источники святоотеческих толкований библейских текстов особо не оговариваются.

Не про вашу церковь... — После Петра I «господствующая церковь» в России фактически была государственным Ведомством

православного исповедания. Сын Человеческий говорил Ангелам семи церквей, обличая грехи их: «Вспомни, откуда ты ниспал, и покайся... ты носишь имя, будто жив, но ты мёртв... ты ни холоден, ни горяч... извергну тебя из уст Моих» (Отк. 2, 5; 3, 1, 15–16).

«А на тебя, увы! как много
Грехов ужасных налегло!
В судах черна неправдой чёрной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи глетворной,
И лени мёртвой и позорной,
И всякой мерзости полна!
О, недостойная избранья,
Ты избрана! Скорей омой
Себя водою покаянья,
Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей главой!»

(А. Хомяков «России», 1854)

Где же другая церковь?— «А Он говорил о храме Тела Своего», ибо Церковь есть Тело Христово и «часть Господа народ Его» (Ин. 2, 21; Еф. 1, 22–23; Втор. 32, 9). Подробнее о сути церковного единства см. прим. к с. 47.

«Дух дышит, где хочет». — Ин. 3, 8.

...чем богата православная церковь. — «Ибо ты говоришь: “я богат, разбогател и ни в чём не имею нужды”; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Отк. 3, 17). «Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас [апостолов]» (1 Кор. 4, 8). «Обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно» (Мф. 13, 22).

...православная церковь. — Автор намеренно поставил строчные буквы в речах священника (а далее — ряженого купца, митрополита, председателя суда, прокурора, цензора). Так писали не только светские охранители режима цензор Соколов и следователь Всесвятский, но и многие иерархи, например, еп. Гермоген (Долганов). Зато все заглавной буквой обозначали любое именование российских самодержцев (не стесняясь и в Библии исправлять слово «царь»), вплоть до местоимений. До такого не доходили даже вершители культа личности.

С. 18. *Они извратили закон Моисеев.* — Ср.: «...на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи» (Мф. 23, 2).

...заповеди Его они умертвили толкованиями своими. — «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюс-

ти своё предание? ...Благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих, потому... будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах... Чтобы вы научились не мудрствовать сверх того, что написано» (Мк. 7, 9; Ис. 29, 13, 20–21; 1 Кор. 4, 6).

...во имя торжества Божьего дела... — Цель великого инквизитора из поэмы Ивана Карамазова — «принять ложь и обман и вести людей уже сознательно к смерти и разрушению, и притом обманывать их всю дорогу, чтоб они как-нибудь не заметили, куда их ведут <...> обман во имя того, в идеал которого столь страстно веровал старик во всю свою жизнь» (*Достоевский*. 14, 238). Еп. Сергей (Страгородский) в 1901 провозглашал: «...мы подчиняемся государству не во имя отвлечённых государственных идей, а во имя Христа» (*ЗПРФС*. С. 128). Ср. также девиз ордена иезуитов «К вящей славе Господней».

Рост не в колокольнях ~ не в ваших торгашах свечами... — «Всея этой силой, этой славой, всем этим прахом не гордись!» (А. Хомяков «России», 1839). «Ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом... и сойдёт в преисподнюю слава их, и богатство их, и шум их, и всё, что веселит их» (Лк. 16, 15; Ис. 5, 14).

...рост Церкви в духе и истине сынов Божиих. — «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа... послушанием истине чрез Духа очистив души ваши... и поклоняйтесь Ему в духе и истине... Верный человек богатеет благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным» (2 Пет. 3, 18; 1 Пет. 1, 22; Ин. 4, 24; Пр. 28, 20).

Мои апостолы шли на проповедь без серебра и золота... — См.: Мф. 10, 9. Свт. Иоанн Златоуст добавляет: «...но хотя бы ты и в другом месте мог взять, избегай этого пагубного недуга» (Толкование на святого Матфея Евангелиста. Беседа 32. Ч. 4). «Безумные и слепые! что больше: золото, или храм, освящающий золото? ...Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в вас?» (Мф. 23, 17; 1 Кор. 3, 16).

...золото и серебро храмов ваших... — «Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь... Ибо Он — как огонь расплавляющий и как щёлок очищающий... переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде... А их идолы — серебро и золото, дело рук человеческих... не сильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих

и не наполняют утроб своих; ибо оно было поводом к беззаконию их. И в красных нарядах своих они превращали его в гордость... и отдам его в руки чужим в добычу и беззаконникам земли на расхищение, и они осквернят его» (Иак. 5, 3; Мал. 3, 2–3; Пс. 113, 12; Иез. 7, 19–21). Последний раз для Церкви на Руси предсказанное сбылось в XX веке. Пока в последний...

...мир неискуплённый лежит во зле. — 1 Ин. 5, 19. Так и будет продолжаться, пока мы не выполняем священную миссию — «преобразовать мир, который пал в грехе, преобразовать его в священный, в святой мир, который станет элементом Царствия Божия» (Виталий Боровой, протопр. Проповеди на пассиях в Богоявленском патриаршем соборе (1977 г.) // Православная община. 1994. № 24). «Ибо мы соработники у Бога» (1 Кор. 3, 9), и от каждого зависит преобразование естества.

...она дошла до своего могущества и торжества... — «Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите: “не своею ли силою мы приобрели себе могущество?” Вот Я, Господь Бог Саваоф, воздвигну народ против вас, дом Израилев, и будут теснить вас... он низложит могущество твоё, и ограблены будут чертоги твои... и упадёт гордыня могущества его» (Ам. 6, 13–14; 3, 11; Иез. 30, 6). Всё предсказанное сбылось.

...всё вернуть к первобытному христианству. — Характерный для того времени термин (встречается у Г. В. Плеханова, в русских переводах Е. Дюринга, Э. Ренана, К. А. Сен-Симона) часто употреблялся как антитеза нынешнему состоянию христианства. Но возврат не есть отречение от Церкви, а утверждение в ней. Человек не должен «понимать вечную Истину первобытного христианства иначе, как в её полноте, т. е. в тождестве единства и свободы, проявляемом в законе духовной любви. Таково Православие» (Хомяков А. По поводу Гумбольдта // О старом и новом. М., 1988. С. 203). Всякое другое понятие о христианстве ложно. «Если вы в состоянии заглушить в себе разум, забыть Предание первобытной Церкви, отказаться от прав христианской свободы и принудить свою совесть к молчанию: смиритесь перед папством и будьте римлянами. <...> Если вы можете держаться за свидетельства Церкви первых веков, искажая в то же время их смысл <...> тогда будьте протестантами. Это опять не христианство; это не более как скептицизм, худо замаскированный». (Хомяков А. Соч. в двух томах. Т. 2. М., 1994. С. 236–237). Но путь духовного роста иной: «Переродиться и достигнуть в возраст первобытного христианства. А что значит

переродиться? <...> Умереть и воскреснуть» (Порфирий (Успенский), еп. Книга бытия моего. 1894–1902).

...если бы сейчас пришёл Сам Христос... — «А кто отречётся от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным» (Мф. 10, 33). «Фантазия» Свенцицкого и российская история явственно показывают: как ни ужасно, но священник прав. Его строго логичные выводы полностью обличают положение видимой организации; Христос же говорит об организме, главою которого является. Изначально ущербное понимание существа Церкви закономерно приводит к кощунственным и абсурдным утверждениям. «И речь твоя обличает тебя» (Мф. 26, 73).

Христос ниже Церкви. — Ср.: «Бог Господа нашего Иисуса Христа... поставил Его выше всего, главою Церкви... Церковь повинуется Христу» (Еф. 1, 17, 22; 5, 24).

...люди более возлюбили тьму ~ они злы... — Ин. 3, 19–20.

...предания выше голоса Божия... — Ср.: «И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти своё предание? ...устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили» (Мк. 7, 9, 13).

...храмы их стали мертвы... — Слова Христа «оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23, 38) имеют следующие толкования: «...храм их, который блистал величием, [ныне] оставлен, в этом мы убеждаемся своими глазами, — потому что он потерял Христа и, чрезвычайно желая предвосхитить наследие, умертвил Наследника» (прп. Иероним Стридонский); «Я уже не называю сего храма Моим домом, Я отрекаюсь от него: с сего дня он уже не Мой, а ваш! Я не буду более заботиться о нём, хранить его, он будет скоро опустошён, разрушен, сожжён, а с ним запустеет и Иерусалим, и вся ваша земля, Богом оставленная» (Троицкие листки. Толкование на Евангелие от Матфея. М., 1994, репр. 1896–1899). «Я оставил дом Мой; покинул удел Мой; самое любезное для души Моей отдал в руки врагов его» (Иер. 12, 7). «Дух Живой уходил от Церкви, она ослабела: правила оболочку, а не душу. Порабощённая властью Церковь не оплодотворяла душу» (Шмелёв И. Крестный подвиг. М., 2007. С. 61).

...среди Моих учеников, простых рыбаков... — Рыболовами были первые ученики Христа — Андрей, Симон, Иаков и Иоанн, «люди некнижные и простые» (Деян. 4, 13).

Церковь там ~ благодатное общение. — Мф. 18, 20. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение

Святого Духа со всеми вами... Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (2 Кор. 13, 13; 1 Ин. 1, 7). Общение должно понимать двойко — как Таинство Причащения и прочие духовные связи; но взаимообогатяющая беседа невозможна, если люди говорят на разных языках (см. прим. к с. 9). «Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтоб и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке» (1 Кор. 14, 19). Свт. Феофан Затворник толкует: «...не должно в Церкви употреблять дара языков, когда никто не понимает того языка».

С. 19. *...нищие и убогие — дети мои.* — Ср.: Пс. 71, 13; 73, 21.

Если Церковь не в любви... — См.: Кол. 3, 14; Ин. 15, 9.

...Церковь ваша на соборах своих устанавливала... — Указаны Правила святых апостолов (1, 9, 14, 29, 37) и Вселенских Соборов: Первого (4, 5, 15), Шестого (8, 23), Седьмого (3, 5, 6, 19). Не исполняются не только евангельские требования, но и позднейшие, главенствующие, по убеждению священника. Строго последовательный вывод «тогда Церкви нет» служит приговором всей его теории — доведённая в диалоге до логического предела она прямо противоречит цели и смыслу христианства.

Где же хоть один верующий... — «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона» (Гал. 3, 10).

Изменяются времена ~ строгость в исполнении правил. — «Истинно существует только то, что пребывает неизменным» (Августин, блж. Исповедь. 7, 11), как неизменен в слове Бог (Тит 1, 2). «Церковь, по своей неизменности, не признаёт ложью того, что она когда-нибудь признавала за истину. <...> И где была бы истина, если бы её нынешний приговор был противен вчерашнему?» (Хомяков А. Церковь одна. § 3). «Я не знаю книги более страшной для совести каждого из нас, чем “Книга правил святых апостолов, святых Соборов Вселенских и поместных и святых отец”. Читая именно эту книгу, видишь, как мы ушли в сторону, что мы забыли» (МвМ. 1, 28).

...кроме жизни в Боге существует ещё быт. — Погибельное для души межевание, ибо «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф. 12, 25). «Сам же Бог мира да освятит вас во

всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока» (1 Фес. 5, 23), «чтобы благодать Божия, провозжаема будучи всюду усилиями самого человека, всё преисполнила собою и от всего отребила всё греховное», поясняет свт. Феофан Затворник. Для этого надо «отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях... кто во Христе, тот новая тварь» (Еф. 4, 22; 2 Кор. 5, 17).

Христианству евангельскому надо считаться с бытовым, примирить его с собой, уступить ему. — Извращение слов апостола Павла: «Бог во Христе примирил с Собою мир». Не с миром должно примириться, но с Богом, «ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца» (2 Кор. 5, 19–20; 1 Ин. 2, 16). Суть Нового Завета, по мысли свт. Феофана Затворника, в домостроительстве спасения, т. е. полном обновлении жизни во Иисусе Христе. Пока это не сделано, «вы ещё не до крови сражались, подвизаясь против греха» (Евр. 12, 4).

...кто хочет быть учеником моим... — См.: Лк. 14, 26–27. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют», а это суть смерть и вражда против Бога (Рим. 8, 5–7).

...учение моё искажали ради этого быта... — «Я спасал их, а они ложь говорили на Меня... Написал Я ему важные законы Мои, но они сочтены им как бы чужие» (Ос. 7, 13; 8, 12). «У христиан создалась такая двойственность, которую и мы с вами сейчас переживаем. Христиане стали жить двойной жизнью. Одна жизнь — это Церковь, участие в богослужениях <...> Другая жизнь христиан — в миру. Выйдет человек из Церкви — и идёт в неосвящённый мир <...> участвует во всём, что творит этот мир, участвует в <...> чуждой христианству и Церкви среде. И так он живёт шесть дней, а на седьмой день он снова идёт в храм, чтобы пожить церковной жизнью. Утром встанет — помолится, вечером ложится спать — тоже помолится, а всё остальное время <...> живёт жизнью, которая не освящена и не освящается для Христа. Вот этот дуализм, этот разрыв между миром и Церковью стал исторической трагедией христианства... И тогда <...> этому фактическому разрыву, этому создавшемуся в результате раздвоения историческому положению стали искать теоретическое обоснование, оправдание» (Виталий Боровой, протопр. Указ. соч.). «Разделилось сердце их, за то они и будут наказаны: Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их» (Ос. 10, 2).

...перевёртывали всю жизнь... — «Царство Божие не только факт внутренней жизни, переживаемый отдельным сознанием наедине с собой и с Богом, но и — о чём вещает чуть ли не каждая строчка Нового Завета — факт мировой, вселенский. Царство Божие, неприметно войдя внутрь человека, его усилиями должно раскинуться на то, что ВНЕ его. Своим благодатным строем оно должно победить и преобразить всю злую природную жизнь, во ВСЕХ её проявлениях — от сферы индивидуального сознания и человеческих отношений до космического зла, царящего в природе» (О задачах Христианского братства борьбы // Освобождение. Париж. 1905. 6 июля. № 73. С. 386). «Это очень важно нам помнить, и мне кажется, что, кроме православия, ни одно вероисповедание на Западе не восприняло космичность воплощения и славу, открывшуюся для всей вселенной через воплощение Христово» (Антоний Сурожский, митр. О встрече. Клин, 2000. С. 185).

«Кто не берёт креста своего...» — Мф. 10, 38.

...ты требуешь силы. — «Ребёнок не может ходить без поддержки. И вот <...> люди-дети стали возводить эту слабость в принцип, в религиозное правило. <...> Сознание себя взрослым должно начаться с сознания себя сыном Божиим <...> Когда ребёнку говорят: “Пора тебе ходить одному; ты не маленький”, ребёнок пугается, оглядывается по сторонам и отвечает: “Страшно... как же это я?” Не бойтесь. Людям так долго твердили, что они совсем ещё малые дети <...> что слова “вы взрослые, вы сыны Божии” звучат почти кощунством. <...> А между тем, не Бог ли сказал человечеству <...> что в каждом должны быть те же чувства, что и во Христе Иисусе! <...> Сознав себя сынами Божьими, [надо] поставить себе задачей полное выражение Божественного своего начала». (Свенцицкий В. Основные начала «Религии свободного человека» (Смысл жизни) // НЗ. 1912. № 19/20).

Что невозможно человеку, то возможно Богу! — Мф. 19, 26. «Будьте уверены, что когда вы со своей стороны употребляете всё старание, то и Сам Бог не оставит вас» (Феофан Затворник, свт. Толкование посланий св. апостола Павла. М., 1998. С. 233). «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым зываем: “Авва, Отче!”» (Рим. 8, 15).

...поник головой Своей. — Спаситель заплакал о Иерусалиме, прозревая дни, когда враги разорят его, и побьют детей его, и не оставят в нём камня на камне (Лк. 19, 41–44).

Лицо его светилось во тьме... — См.: Мф. 17, 2.

С. 20. ...весь мир сливался со своим воскресшим Искупителем. — Так называет Господа пророк Исаия (Ис. 63, 16), ибо вся тварь должна преобразиться по слову Божию, Кровь креста Его созиждет новые небо и землю, и «будет Бог всё во всём» (1 Кор. 15, 28). «Он искупил этот мир, Он примирил его с Богом, Он возвестил этому миру спасение, всему миру, всем людям, и дальше от людей зависит — принять это спасение, усвоить его, воплотить это спасение в своей собственной жизни или отвергнуть» (*Виталий Боровой, протопр. Указ. соч.*).

...торжественный победный гимн... — Ср.: «Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще...» (Возглас иерея на литургии верных после приготовления Святых Даров); «Оживут мертвецы Твои, восстанут мёртвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе» (Ис. 26, 19).

...праведники всегда будут гонимы ~ где нет правды — нет Церкви. — См.: 2 Тим. 3, 12; Мф. 5, 10. «Правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них... Ищите же прежде Царства Божия и правды Его... всякий, делающий правду, рождён от Него... Ты утвердишься правдою... ибо твой Творец есть супруг твой... Явилась правда Божия... через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих» (Ос. 14, 10; Мф. 6, 33; 1 Ин. 2, 29; Ис. 54, 14, 5; Рим. 3, 21–22).

Я открыл им ~ по всей земле... — Мф. 24, 6–14.

Имя Моё будет владычествовать над всеми народами... — Поскольку диавол — обезьяна Бога, то и имя Господне использует для своих целей: само слово «антихрист» указывает образ действий — «хулить имя Его» (Отк. 13, 6). «В храме Божиим сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога... и будет иметь успех... и приобретёт власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем» (2 Фес. 2, 4; Дан. 11, 36; Отк. 13, 7), и будет мерзость запустения на святом месте (Мф. 24, 15). Читающий да разумеет!

...господству вашей Церкви... — В законах Российской империи, несмотря на полное подчинение государству, Православная Всероссийская Церковь называлась «господствующей». «Изумительное и ужасное совершается в сей земле: пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ Мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого?» (Иер. 5, 30–31).

...знак скорой гибели... — «Ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них... Горе им, что они удалились от

Меня; гибель им, что они отпали от Меня! ...Из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов: оттуда гибель... Вы, которые день бедствия считаете далёким и приближаете торжество насилия... нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада... пьёте из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями... За то ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных» (Втор. 32, 35; Ос. 7, 13; 8, 4; Ам. 6, 3–7). «И подобно тому, как сбылось всё это, так сбудется и последнее Его предсказание, и тогда, без сомнения, они покорятся Ему; но это нисколько не послужит им в оправдание, так же как и всем, которые будут раскаиваться тогда в виду разрушения их государства» (Иоанн Златоуст, свт. Беседа 74. Ч. 3). Ср. прим к с. 414.

Ищите Церковь в душах живых... — «У многих же уверовавших было одно сердце и одна душа» (Деян. 4, 32), ибо мы храм Бога живого (2 Кор. 6, 16).

...бойтесь тех... — Ср.: «...берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим» (Мф. 24, 4–5).

С. 22. *...как гром гремят слова Христа.* — «Слушайте, слушайте голос Его и гром, исходящий из уст Его» (Иов 37, 2).

«Вы слышали...» — Мф. 5, 21. Выпущенное Свенцицким слово «напрасно» (в отношении гнева) отсутствует в Синайском и Ватиканском кодексах, это считали верным прп. Иероним Стридонский, свтт. Василий Великий и Афанасий Александрийский.

Не бойся убивающих тело... — «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне» (Мф. 10, 28). Ср. предостережение в конце гл. V (с. 20).

...по приговору законного суда... — Например, митр. Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский) учил, что Христос признавал смертную казнь, а заповедь «не убий» относится не к убийствам, совершаемым правительством, а лишь к убийствам «незаконным» (Наша жизнь. 1906. 5 мая. № 437. С. 4).

Начётчик — грамотей, промышляющий по деревням обучением грамоте (*Даль*); у старообрядцев — человек, хорошо знающий Святое Писание.

...словами Писания говоришь. — «Ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии; ибо не мерою даёт Бог Духа» (Ин. 3, 34).

Отойди, сатана ~ вовсе! — «Ибо написано: “Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи”... ты Мне соблазн, по-

тому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое... А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жёрнов на шею и потопили его во глубине морской... Горе тому человеку, которым Сын Человеческий предаётся: лучше было бы этому человеку не родиться» (Мф. 4, 10; 16, 23; 18, 6; 26, 24).

С. 23. «Сберёгший душу свою...» — Мф. 10, 39.

«Возьмите иго Моё...» — Мф. 11, 29.

Димитрий Николаевич ~ батюшка ваш, генерал... — Прототипы не установлены.

«Я пришёл разделить ~ не достоин Меня» — Мф. 10, 35–37. Христос снова обличает неразумение священником Библии, ибо пришёл не нарушить закон или пророков, но исполнить (Мф. 5, 17). Фарисей, ссылаясь на заповедь о почитании родителей (Исх. 20, 12), забывает о первой и наибольшей — о любви к Господу Богу (Мф. 22, 37–38); так поступают и все антигерои повествования.

Штунда безбожная! — Штундизм [нем. Stunde час; время для изучения Библии] — разновидность протестантизма, «русский баптизм». Возник среди крестьян Херсонской губ. в 1860-х, распространению способствовал нравственный образ жизни адептов. В 1894 Комитет министров признал его сектою, особенно вредною в церковном и общественно-государственном отношениях. «Несколько русских рабочих у немецких колонистов поняли, что немцы живут богаче русских. <...> Случившиеся тут пасторы разъяснили <...> что вера другая. Вот и соединились кучки русских тёмных людей, стали слушать, как толкуют Евангелие, стали сами читать и толковать <...> всяк на свой страх и на свою совесть» (*Достоевский*. 25, 10). «Это мечта, “переработавшись в немца”, стать, если не “святою” <...> то, по крайней мере, хорошо выметенною Русью, без вшей, без обмана и без материны дома и на улице. “Несите вон иконы... Подавайте метлу!” С “метлой” и “без икон” Русь — это и есть штунда» (*Розанов В.* Религия. Философия. Культура. М., 1992. С. 406).

С. 25. *Христу стало жаль её...* — «Кого помиловать, помилую; кого пожалеть, пожалею» (Исх. 33, 19).

...слёзы потекли по Его щекам. — Ин. 11, 35.

«Если будешь веровать, увидишь славу Божию». — Ин. 11, 40.

С. 26. «Отче! благодарю Тебя...» — Ин. 11, 41–42.

Лазарь, встань!.. — Ин. 11, 43–44.

...свежие, молодые ветви берёзы... — Должно быть, они были приготовлены для украшения храма в День Святой Троицы (21 мая в 1906).

С. 27. *Осанна Сыну Давидову!* — Мф. 21, 8–9.

Церковь стала необъятной ~ как вселенная... — Автор во всём космосе видел становящуюся Церковь (*Свенцицкий В.* Христианское отношение к власти и насилию // Вопросы религии. 1906. Вып. 1. С. 18).

Симон Волхв — прославился в Самарии как маг и чародей. Уверовал во Христа и крестился, но помыслил за деньги приобрести дары Святого Духа; раскаялся, а потом снова обратился к волхвованию (Деян. 8, 9–24). Некий священник в публичном доносе уподобил ему Свенцицкого (*Никольский Н. В.* Свенцикянство // Московские ведомости. 1906. 23 декабря. № 309).

Околоточный — чиновник городской полиции, ведавший небольшим городским участком (околотком); подчинялся участковому приставу.

С. 28. *«Во всём...»* — Мф. 7, 12, 15–17, 19, 21.

...без разрешения градоначальника ~ до трёх тысяч рублей. — См. прим. к с. 11. Сумма соответствовала 5-летнему заработку заводского рабочего или годовому окладу профессора университета. И сейчас для проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования необходимо разрешение мэра города; нарушение закона карается штрафом в 10–20 минимальных размеров оплаты труда (Кодекс РФ об административных правонарушениях. Ст. 20). Только вряд ли нынешний страж порядка будет об этом лишний раз напоминать — «строго, но вполне корректно».

Иисус, из рода Давидова. — Лк. 2, 4.

«Лисицы имеют норы...» — Мф. 8, 20.

Черта оседлости — граница территории Российской империи, за пределами которой запрещалось постоянное жительство евреям (за исключением купцов 1-й гильдии, лиц с высшим образованием, среднего медицинского персонала, ремесленников особой квалификации). Учреждена указом Екатерины II от 28 декабря 1791, к началу XX в. охватывала 24 губернии (Царство Польское, Прибалтику, Белоруссию, Бессарабию, большую часть Украины, кроме крупных городов). Еврей-ремесленники были выселены из Москвы в 1891–92.

С. 29. *...скандал будет.* — Ср.: «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие» (1 Кор. 1, 23). Скандал [гр. skandalon] — соблазн, предмет досады.

Митрополит созвал... — Митрополитом Московским и Коломенским с 1898 по 1912 был Владимир (Богоявленский; 1848—1918). 16 октября 1905 он прочёл сам и предписал огласить во всех московских храмах проповедь, составленную еп. Никоном (Рождественским) на основе т. н. «Протоколов сионских мудрецов» («Что нам делать в эти тревожные наши дни? // Московские ведомости. 1905. 16 октября»). Многие священники и профессора Московской духовной академии заявили о полном неприятии «возмутительного поучения»; Святейший синод указал, что оно может стать «причиной междуусобного раздора» (Церковный вестник. 1905. № 44). Так и вышло — огульно осуждавшее всех противников существовавшего режима и возбуждавшее взаимную ненависть слово митрополита было воспринято как призыв к погромам «жидов и крамольников». Ср.: «Он часто повторял чужие проповеди, причём беспримерно неудачно выбирал их» (Шавельский Г. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. Т. 2. М., 1996. С. 140). См. также прим. к с. 382.

...собрание столичного духовенства. — Хотя столицей Российской империи был Санкт-Петербург, нередко так величали и Москву, в т. ч. в указанной проповеди: «первопрестольная столица».

...громадная приёмная... — Резиденция московских митрополитов в начале XX в. находилась на подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (2-й Троицкий пер., д. 8/10).

Церковный староста — приглашаемый приходом и причтом хозяин церковного имущества и сбора; как правило, избирался из людей состоятельных.

Анания — иудейский первосвященник, председатель синедриона, приказавший бить по устам и злоумышлявший убить ап. Павла (Деян. 23, 2; 25, 3).

...сухой, высокий старик, с жёлтым нездоровым лицом... — Современникам митр. Владимир казался малодоступным и сухим; лицо его, всегда нахмуренное, носило отпечаток какой-то глубокой скорби; во время проповедей он преображался, голос становился крепким (Крикота Н. «Я готов отдать свою жизнь за Церковь». М., 2002).

...и хором запели... — Контаминация стихир на «Господи, воззвах», поющей на великой вечерне прав. Лазаря: «Днесь благодать Святаго Духа нас собра, и вси, взявше крест свой, глаголем: благословен Грядый во имя Господне, осанна в вышних» и тропаря, поющего на водоосвящении в праздник

Святого Богоявления: «Глас Господень на водах вопиет, глаголя: приидите, примите вси Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия, являшагося Христа».

...крест свой... — Распространённая ныне версия «Крест Твой» искажает слова Спасителя «отвергнись себя и возьми крест свой» (Мф. 16, 24; Мк. 8, 34; Лк. 9, 23). Каждому даётся по его силе: кому пять талантов, а иному один; и если по благодати имеем различные дарования, то и служения различны, ведь Дух Святой наделяет каждого особо, как Ему угодно (Мф. 25, 15; Рим. 12, 6; 1 Кор. 12, 5, 11).

С. 30. *...как большинство крамольников, он жид...* — Ср.: «По приказу подпольных крамольников начались всюду стачки и забастовки»; «в своих тайных секретных протоколах они называют нас, христиан, прямо скотами»; «якобы избранники [Божьи], наши заклятые враги, подпольные наши крамольники и их заграничные руководители» (Указ. проповедь).

«Вкрались некоторые люди...» — Иуд. 1, 4.

«Если оставим его так...» — Ин. 11, 48. Иудейские первосвященники и фарисеи, решившие убить Иисуса, говорили о римлянах.

С. 31. *Сослать на Валаам, и баста!* — Провинившихся на Руси традиционно ссылали в монастыри, почитая это лучшим средством исправления и воспитания осуждённых за неповиновение церковным властям, прелюбодейство, пьянство, неумышленное убийство. Отличавшийся строгим уставом Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь был определён местом ссылки с конца XVIII в. При поддержке свт. Игнатия (Брянчанинова) воспротивился этому в конце 1850-х игумен Дамаскин (Кононов), но затем ссылки на Валаам возобновились (Родченко И. Г. Культура Валаамского монастыря в середине XIX века. Канд. дис. СПб., 2003).

С. 32. *...послал околоточного Судейкина ~ насчёт благонадежности...* — Комичная аллюзия: Георгий Порфирьевич Судейкин (1850—1883) — подполковник Отдельного корпуса жандармов, инспектор секретной полиции, руководитель охранно-розыскных отделений, организатор политического сыска.

С. 33. *Нельзя судить, не выслушав обвиняемого.* — В Евангелии сходные слова говорит Никодим (Ин. 7, 50), у нынешнего священника на это духу не хватило.

С. 34. *...потребуется полчаса.* — Ближайший к приёмной митрополита храм Вознесения Господня располагался в бывшем

Варсонофьевском монастыре (четверть часа езды на извозчике).

«Отцом себе не называйте никого на земле...» — Мф. 23, 9.

На седалище Моём сели книжники и фарисеи... — В Евангелии Христос говорит о Моисеевом седалище (Мф. 23, 2).

С. 35. *...голос гнева, безжалостный, как бич...* — «Возгорится гнев Господа на народ Его... и поднимет Господь Саваоф бич на него... и когда пойдёт всепоражающий бич, вы будете попраны. И трупы будут как помёт на улицах... и гнев Его не отвортится» (Ис. 5, 25; 10, 26; 28, 18).

...справедлива только одна любовь Божия. — «Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои... потому что Бог есть любовь» (Пс. 118, 137; 1 Ин. 4, 8).

«Горе вам! ~ крови пророков». — Мф. 23, 13–14, 23–25, 27–30, 32–35. Добавлен восклицательный знак после рефрена. Вставка «что исполняете с точностью внешнее благочестие» передаёт суть отрывка из стиха 23; ср.: «Имеющие вид благочестия, силы же его отрёкшиеся» (2 Тим. 3, 5). Незначительно изменён текст стихов 33 и 34 (в частности, вместо «книжников» — «праведных», «синагогах» — «даже в церквях», «Захарии» — «тех, которых вы убиваете в наши дни»).

Но если бы ~ отцы ваши. — Вставку нельзя назвать обоснованной хотя бы потому, что она дублирует смысл стиха 34.

С. 36. *«Горе вам, богатые!»* — Лк. 6, 24–25.

У Бардыгина был сын... — Прототипом послужил Никифор Михайлович Бардыгин (1888–1933), впоследствии ставший директором правления «Товарищества П. Малютина сыновья» и «Товарищества Н. М. Бардыгина наследники», членом совета Российского взаимного страхового союза (см. прим. к с. 7).

С. 37. *«Что ты называешь Меня благим?»* — Мф. 19, 17–24.

С. 38. *...неужели иначе нельзя?* — «...Земное богатство, привязанность к нему лишает человека Бога и вечной жизни, оно является врагом человеку. Мудрствуй же о нём по Христову и апостольскому учению и примеру святых, как они смотрели на богатство земное, как его добровольно оставляли, как его презирали, считали за сор, за великое препятствие к боголюбию, спасению души» (Иоанн Кронштадтский, прав. Живой колос. М., 1998).

...о. Иоанн учит в церкви... — Епископ Орловский и Севский Ириней (Орда) с церковной кафедры возглашал: «Бедные и немощные также необходимы в мире, как богатые и многоимущие,

подобно тому, как незаметная травка и кустики зелени среди высоких деревьев и больших кустарников <...> **Представьте себе бесплодную необозримую равнину, заросшую зеленой травой <...> Так пустынно было бы в мире, если бы не было разделения на бедных и богатых, связующего людей в единое общество.**» (цит. по: Эрн В. Христианское отношение к собственности. М., 1906. С. 25). Ср.: «Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим.. ибо и пророк и священник — лицемеры; даже в доме Моём Я нашёл нечестие их» (Мф. 15, 9; Иер. 23, 11).

«Разве ты не знаешь...» — Мф. 5, 40; Лк. 6, 29 (в Евангелиях говорится об отнимающем, а не о просящем).

...можешь ли ты быть богат, когда есть нищие? — Ср.: «Продавайте имущества ваши и давайте милостыню... А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце своё, — как пребывает в том любовь Божия?» (Лк. 12, 33; 1 Ин. 3, 17).

И много ли останется от богатства твоего... — «Сколько же дней, вернее, сколько часов просуществует этот достаток, т. е. частная собственность, если каждого брата и каждую сестру, которые наги и не имеют пропитания, обогреть и напитать и сделать так, чтоб они не нуждались в том, что “потребно для тела”?» (Эрн В. Указ. соч. С. 8).

С. 39. *...недолго Ему остаётся учить...* — Ин. 13, 33.

Николаевская шинель — длинная двубортная офицерская шинель с широким, до талии, воротником (зимой бобровым) в виде пелерины; носилась без погон и эполет, не застегивалась, а запахивалась. Покрой приписывают Николаю I.

«Приидите, благословенные Отца Моего...» — Мф. 25, 34–36 (пропущены слова «был странником, и вы приняли Меня»).

С. 40. «Кто любит меня...» — Ин. 14, 23–24.

«Верный в малом...» — Лк. 16, 10.

Вы должны... — «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною... Не заботьтесь и не говорите: “что нам есть?” или: “что пить?” или: “во что одеться?” Потому что всего этого ищут язычники... Идолы язычников — серебро и золото, дело рук человеческих» (Мф. 16, 24; 6, 31–32; Пс. 134, 15).

«Никакой слуга...» — Лк. 16, 13, 15.

«Ибо всякий возвышающийся...» — Лк. 14, 11. Добавлены два восклицательных знака.

«Приидите ко Мне...» — Мф. 11, 28.

...сборщик на построение храма, в каком-то полумонашеском одеянии. — И сейчас ряженое жульё паразитирует на нашей неосведомлённости. «В условиях, когда священнические и монашеские одежды подчас используются мошенниками, Собор счёл недопустимым сбор пожертвований священнослужителями и монашествующими в публичных местах» (Определение Архирейского собора РПЦ, состоявшегося 13–16 августа 2000).

С. 41. ...*позволительно ли Царю подати платить?* — См.: Мф. 22, 17–21.

Христос не взял монету в руки... — Свенцицкий акцентирует важный момент, ускользнувший от толкователей (у синоптиков написано: «Покажите Мне монету...»).

Восторг — благое иступление, восхищенье, забытие самого себя, временное отрешение духа от мира и сует его, воспарение духа, временное преобладание его, доходящее иногда до ясновидения (*Даль*). Ср. состояние внемлющих Христу у подножия холма и свидетелей воскресения Лазаря (гл. II, VII).

...*легкомысленный восторг от внешней красоты...* — Подчёркивая разницу в восприятии, Свенцицкий указывает на две стороны красоты. Ср.: «...это выражение то широко используется, то сужается до красоты видимой и слышимой» (*Татаркевич В. История шести понятий. М., 2002. С. 125*). Внешняя эффектна, но преходяща и часто обманчива: не всё приятное для глаз хорошо и для пищи (Быт. 3, 6); внутренняя нетленна, для неё более подходит слово «совершенство». Преодолеть пласты видимого или кажущегося, вникнуть в смысл — немалый труд, душевный и духовный, ведь «внешними являются все уровни *до* глубинной, божественной первоосновы человека и мира» (*Степанян К. «Сознать и сказать». М., 2005. С. 11*). Красиво говорит и прокурор на суде (см. прим. к с. 52), но слова его лживы и кощунственны, апостолы называли таковые «надутыми» (2 Пет. 2, 18; Иуда 1, 16). В «Записках странного человека» противопоставлены «мишурный блеск поддельной красоты» Антихриста и божественная красота Иисуса Христа. Характеризуя преображённое естество, Свенцицкий там трижды использует эпитет «прекрасное» (в т. ч. как синоним слова «святое»), тогда как «красота» в послесловии фигурирует в качестве завершающего штриха религиозной концепции. См. также прим. к с. 112, 183, 249, 267, 587.

Иди за Мною... — Мф. 8, 22 (в Евангелиях ничего не сказано о реакции ученика).

С. 42. ...ты велел нам посещать заключённых в темницах. — См.: Мф. 25, 34–40.

Утешься... — См.: Мф. 5, 12.

Генерал-губернатор ~ ваше превосходительство... — После того как раненый террористом 23 апреля 1906 Ф. В. Дубасов уехал лечиться за границу, обязанности генерал-губернатора исполнял командующий Московским военным округом генерал-лейтенант Сергей Константинович Гершельман (1853—1910), официально назначенный на должность 5 июля. Только он титуловался «Ваше превосходительство», все же предшественники имели более высокий, 2-й класс в Табели о рангах, к ним должно было обращаться «Ваше высокопревосходительство» (например, генерал-губернатор Москвы с 14 апреля по 30 июля 1905 А. А. Козлов имел звание генерал от кавалерии). Эпизод с неудавшимся расстрелом солдат свидетельствует о действии военно-полевых судов и характерен именно для 1906.

С. 44. *Воскрешает мёртвых.* — Святые отцы (свт. Андрей Критский, прп. Макарий Великий, прп. Иоанн Кассиан) и христианские богословы (Фома Аквинский, В. Н. Лосский) указывают, что величайший дар нисходит только от истинного Бога, а дьявольским силам сие недоступно.

Рыбников Николай Николаевич — популярный в Москве начала XX в. практикующий врач, секретарь совета ИМУ.

С. 45. *...посадили в кутузку чудотворца!* — Ср.: «Упекли пророка в республику Коми...» (А. Галич. «Поэма о Сталине»).

Нечего было и народ смущать... — «А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат брату: “пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа”. И они приходят к тебе, как на народное сходбище... и слушают слова твои, но не исполняют их; ибо они в устах своих делают из этого забаву... Ты для них — как забавный певец с приятным голосом... они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, — вот, уже и сбывается, — тогда узнают, что среди них был пророк» (Иез. 33, 30–33).

Вязига — сухожилия, связки, расположенные вдоль хребта у красной рыбы (стерляди, севрюги и т. п.).

Христа арестовали ~ поздно вечером. — «Теперь ваше время и власть тьмы» (Лк. 22, 53).

С. 46. *Как будто на разбойника...* — Ср.: Мф. 26, 55 (но в Москве Христос учил на улицах — в храмах, как в Иудее, Ему бы проповедовать не позволили).

...агнец непорочный... — 1 Пет. 1, 19.

С. 47. *Церковь одна.* — И поныне спор о катехизическом опыте А. С. Хомякова «Церковь одна» не ослабевает, хотя его тезисы просты. Церковь есть единство Божьей благодати, живущей во множестве разумных творений, ей покоряющихся; с точки зрения человека, делится на земную и невидимую (§ 1). Первая творит и ведаёт не вполне, а сколько Богу угодно, не судя остальному человечеству (в т. ч. связанному с нею узами, которые Бог не изволил ей открыть) и не произнося приговора над не слышавшими её призыва (§ 2). Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь освящает всё человечество и всю землю, а не народ или страну (§ 4). В Символе веры нет слова «православная», ибо это название временное — когда исчезнут ложные учения, оно будет не нужно (§ 11). Многие мученики спаслись, не успев принять даже и крещения, но приобщившись радости святого единства церковного, явленной в дарах Духа Святого — вере, надежде и любви (§ 9).

...единая Церковь Христова. — Поместный Собор 1917–1918 в «Определении о правовом положении Православной Российской Церкви» подтвердил, что она составляет часть единой Вселенской Христовой Церкви.

...Христос оставил Евангелие, а не Церковь. — Ложь и ересь. «Христос не оставил книги, но оставил живое общество, которое называется Церковью и которое Его лично знает». (Антоний Сурожский, митр. О Церкви // Быть христианином... Беседы. М., 2002). «Церковь, творящая дела Божии, есть та же Церковь, которая хранит предание и писала писание» (Хомяков А. Церковь одна. § 5).

С. 48. *Вы, оставив ~ подобное этому.* — Мк. 7, 8.

Заклинаю тебя Богом живым... — Мф. 26, 63–65.

Слова Мои и дела Мои... — Ин. 5, 36. В Евангелии Христос указывает, что о Нём свидетельствуют слова Отца и Писания.

...я не видал этого. — Утвердиться в невидимом митрополит не в состоянии, ибо потерял способность веровать. Подобный тип описан в «Антихристе»: «...самый крайний эмпирик, судящий всегда по себе и признающий лишь одну истину, — истину, которую даёт опыт, да ещё не всякий опыт, а именно мой собственный» (Наст. изд. С. 136).

С. 49. *«Род лукавый...»* — Мф. 12, 39.

...если уверует митрополит, уверует и вся Церковь... — Ср. уверенность архим. Антонина (Грановского) в 1901: «...власть

епископская как средоточие житнетворного бытия в церкви» (ЗПРФС. С. 62). «Возвышением епископов на степень единственно живых и действительных членов Церкви и унижением других до степени мёртвых и пассивных членов её наносится удар органическому единству Церкви Христовой» (Журналы и протоколы Предсоборного Присутствия. Т. 1. СПб., 1907. С. 588). «Наша иерархия привыкла смотреть на себя (и привила этот взгляд пастве) глазами римского католика, видящего в своём первоиерархе непогрешимого судью в области веры» (Новосёллов М. Письма к друзьям. М., 1994. С. 145). «Церковь не может признать <...> что епископ или патриарх <...> охранены от заблуждения какою-нибудь особою благодатью» (Хомяков А. Церковь одна. § 3). «Не превозносись перед ветвями; если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень — тебя. ...Не думайте о себе более, нежели должно думать» (Рим. 11, 18; 12, 3).

...весь передёргиваясь от бешенства. — «Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их» (Деян. 5, 33).

Ну, посмотрим, воскреснешь ли ты... — «Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасёт Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий» (Лк. 23, 35).

Ступай! — Ср.: «Ступай и не приходи более... не приходи вовсе... никогда, никогда!» (Достоевский. 14, 239). В отличие от великого инквизитора московский иерарх пленника не отпускает.

...прокурор... — Прокурором МСП с 1903 по 1907 был Игнатий Михайлович Золотарёв (1868—1918), впоследствии товарищ министра внутренних дел, заведующий полицией; сенатор.

С. 51. «А я говорю вам...» — Мф. 5, 34. Современные лжетолкователи слов Спасителя утверждают: «Но в важных случаях этим отнюдь не запрещается законная клятва или присяга. Сам Господь Иисус Христос утвердил клятву на суде (Мф. 26, 63—64)» (Аверкий, арх. Четвероевангелие. М., 1999. С. 115—116). Замечательно совпадение аргумента с речью прокурора (см. следующее прим.). Заблудшие не стесняются приводить в пример ап. Павла (Рим. 1, 9; 9, 1, 2 Кор. 1, 23; 2, 17, Гал. 1, 20), но ни в одном из указанных мест он не дерзает клясться, наоборот, в Новом Завете это делают замышлявшие убить его иудеи (Деян. 23, 12—14), царь Ирод (Мф. 14, 7) да Пётр при отречении от Христа (Мф. 26, 74). А вот ап. Иаков призывает нас не клясться никакой клятвой (Иак. 5, 12). «Но как же быть, скажешь ты, если кто-нибудь требует клятвы, и даже принуждает к тому?»

Страх к Богу да будет сильнее всякого принуждения. Если ты станешь представлять такие предлоги, то не сохранишь ни одной заповеди» (*Иоанн Златоуст*, свт. Беседа 17. Ч. 5). Прозревая тайники души, святитель вслед за пророком взаимоувязывает «клятву и обман, убийство и воровство и прелюбодейство» (Ос. 4, 2) и объясняет, как побороть пагубную привычку (Указ. соч. Ч. 7). Тем не менее, в ослеплении своём еп. Мефодий (Кульман) выставляет его защитником зла клятвы. Но святые отцы учат иному: «...евангельская истина не допускает клятвы, так как место клятвы заступает каждое нелживое слово» (прп. Иероним Стридонский); «Божба <...> есть дело излишнее и происходит от диавола. <...> Божиться после Христа есть дело уже худое, подобно как обрезываться и вообще иудействовать» (блж. Феофилакт Болгарский); «Иисус Христос заповедал нам не клясться вовсе, но говорить всегда истину» (мч. Иустин Римский); «пусть свидетельство вашей жизни будет твёрже клятвы» (архим. Иустин Попович). «Только с пятого столетия начали считать отказ от клятвы делом еретическим. И это понятно, почему. Сделавшись господствующею, христианская Церковь вступила в ближайшее отношение к гражданской власти и должна была сделать уступку, потому что клятва требовалась для подтверждения верности царям и правителям, также и в судах» (Толковая Библия Лопухина. Новый Завет. М., 2006). Тщательно исследовав все доводы pro et contra, А. П. Лопухин определяет: «...защитники как распространённых клятв, так и убийств, пусть никогда не говорят, что они стоят на чисто новозаветной почве, совершенно освободились от власти ветхозаветного человека и переступили в новую область, где любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание».

Коронный суд — правительственный суд в монархических государствах (без присяжных заседателей).

С. 52. *Христос через апостолов благословил смертную казнь, поразив Анания и Сапфиру...* — Муж и жена, обличённые ап. Петром во лжи Духу Святому, падают бездыханными (Деян. 5, 1–10), ибо «хула на Духа не простится человекам» (Мф. 12, 31). Рождение и смерть человека всецело в руках Господа: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте места гневу Божию... не оставай на жизнь ближнего твоего» (Рим. 12, 19; Лев. 19, 16). Свт. Иоанн Златоуст говорит, что в Библии «можно найти бесчисленное множество и других доказательств на то, что Бог запрещает убивать» (Беседа 74. Ч. 2), но и без того кощунство прокурора

явно и возмутительно. Гнев Господа падёт на главу нечестивых, «которые действуют своим языком, а говорят: “Он сказал”» (Иер. 23, 19, 31).

Разрушающий эти святые заветы... — «Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим» (Ин. 19, 7).

Христос не произнёс ни одного слова. — Мф. 27, 12.

...разъярённая толпа ~ ворвалась в суд. — Такие были времена: например, 22 октября 1905 по требованию толпы, осадившей окружной суд, был освобождён убийца Н. Э. Баумана.

С. 53. *Поддёвка* — простонародная и купеческая мужская одежда с мелкими сборками по талии. В интеллигентской среде — знак почитания всего национального, русского. В. М. Дорошевич в рассказе «Татьянин день» (1903) иронизировал: «Позвольте, почему вы в поддёвке, ежели вы не писатель?»

Распнём его! — Мф. 27, 22–23.

Какой-то шутник ~ по голове тростью. — Мк. 15, 17–19.

С. 54. *И они били Христа...* — Лк. 22, 63–64.

Мало вам Кишинёва, пархатые... — Имеется в виду избиение еврейского населения Кишинёва 6–7 апреля 1903 в первые дни православной Пасхи (около 50-ти убитых, 500 раненых, 1500 разгромленных домов и магазинов). Кишинёвский погром «лёг дёготным пятном на всю российскую историю, на мировые представления о России в целом» (Солженицын А. Двести лет вместе. Ч. 1. М., 2001. С. 338). Преступное деяние осудили прав. Иоанн Кронштадтский: «Вместо праздника христианского они устроили скверноубийственный праздник сатане» и еп. Антоний (Храповицкий): «Страшная казнь Божия постигнет тех злодеев, которые проливают кровь, родственную Богочеловеку <...> чтобы вы знали, как и поныне отвергнутое племя еврейское дорого Духу Божию» (цит. по тому же изд. С. 329).

Ну-ка, воскресни, воскресни! — См.: Мф. 27, 40–43.

...пронёсся грозный раскат грома. — «Глас грома Его в круге небесном... Под всем небом раскат его, и блистание его до краёв земли. ...Гремит Он гласом величества Своего» (Пс. 76, 19; Иов 37, 2–4).

С. 55. *И наступила тьма.* — См.: Ам. 8, 9; Мф. 27, 45.

И был слышен чей-то голос с неба... — «Тогда пришёл с неба глас: и прославил и ещё прославлю. Иисус на это сказал: не для Меня был глас сей, но для народа; ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Ин. 12, 28–31).

Да, Он воскреснет. — «И будет Он судить народы, и обличит многие племена» (Ис. 2, 4). «Увы, народ грешный, народ обременённый беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святого Израилева... сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь — убийцы... Князья твои — законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки, и гонятся за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них... они развратились пред Ним, они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращённый... У Меня отмщение и воздаяние — да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира... ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий... И когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови... Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу... тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере... Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете... поступающие по своим нечестивым похотям, вас обрекаю Я мечу, и все вы преклонитесь на закляние» (Ис. 1, 4, 21, 23; Втор. 32, 5, 35; Лк. 11, 50; Иез. 7, 23; Ис. 1, 15; Иак. 4, 4; Отк. 14, 10; Лк. 6, 25; Иуд. 1, 18; Ис. 65, 12).

«Господь вступает в суд со старейшинами народа Своего и с князьями его: вы опустошили виноградник; награбленное у бедного — в ваших домах... Цари земные любодействовали с блудницею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши её... Я пошлю на вас проклятие и проклянущу ваши благословения, и уже проклинаю... помёт раскидаю на лица ваши, помёт праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним» (Ис. 3, 14; Отк. 18, 3; Мал. 2, 2–3).

«Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются; а вы не так, ибо Царство Моё не от мира сего и дружба с миром есть вражда против Бога! А вы теперь отвергли Бога вашего, Который спасает вас от всех бедствий и скорбей ваших, и сказали Ему: царя поставь над нами, как у прочих народов; отвергли Меня, чтобы я не царствовал над вами. Я дал тебе царя во гневе Моём», и другие владыки кроме Меня господствовали и сделали сынов свободных рабами чело­веков (Лк. 22, 25–26; Ин. 18, 36; Иак. 4, 4; 1 Цар. 10, 19; 8, 5, 7; Ос. 13, 11; Ис. 26, 13; 1 Кор. 7, 23).

«Священники нарушают закон Мой и оскверняют святыни Мои, не отделяют святого от несвятого... хотя должны учить

народ Мой отличать священное от несвященного» (Иез. 22, 26; 44, 23). Кому уподобились пастыри и архипастыри, «Церковь Божью святотатственной рукой приковавшие к подножью власти суетной, земной» (А. Хомяков «Остров», 1836)? Не Исаву ли, продавшему своё первородство за чечевичную похлёбку (Быт. 25, 30–34)?! «Вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и Церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, а кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями... А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви... Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею?» (Евр. 12, 22–23; Рим. 8, 29; 1 Кор. 6, 4, 16).

И вот пастухи, продавшие овец своих на заклание, говорят: «Благословен Господь; я разбогател!» (Зах. 11, 3–5). «Слушайте же... созидающие Сион кровью и Иерусалим — неправдою! Главы его судят за подарки и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: “не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда!” Посему за вас Сион распахан будет как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин... Народ мой пойдёт в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою; сойдёт в преисподнюю слава их и богатство их... Ибо грядёт день Господа Саваофа на всё гордое и высокомерное и на всё превознесённое, — и оно будет унижено» (Мих. 3, 9–12; Ис. 5, 13–14; 2, 12).

Ждите! — «Итак ждите Меня... до того дня, когда Я восстану для опустошения... чтоб излить на них негодование Моё, всю ярость гнева Моего» (Соф. 3, 8).

Явится... — Мф. 24, 30. Ср. также: «Я подниму руку Мою к народам и выставлю знамя Моё племенам» (Ис. 19, 22); «Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины» (Пс. 59, 6); «и знамя его надо мною — любовь» (Песн. П. 2, 4).

Антихрист (Записки странного человека)

СПб.: Издательство Д. П. Ефимова, 1908. Тип. «Отто Унфуг». 1-е изд.: 176 стр. Ц. 1 р. 3000 экз.; 2-е изд.: 188 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Первое издание значит в «Книжной летописи» за 2–9 ноября 1907. Второе, имеющее послесловие, о чём указано на его ти-

тульном листе, появилось несколькими месяцами позже и с теми же выходными данными. Финансовыми и техническими вопросами пришлось заниматься В. Ф. Эрну (по его словам, «Валентин сейчас совершенно непригоден для практики»), 9 ноября он просил жившего в Санкт-Петербурге А. В. Ельчанинова: «Сегодня пришёл счёт Ефимову из типографии О. Унфуга (за “Антихриста”) на 447 р. 50 коп. На счёте написано: получить В. А. Никольскому. Я могу получить эти деньги от Ефимова только при двух условиях: 1). Чтобы Никольский написал мне засвидетельствованную доверенность. 2). Чтоб О. Унфуг снова написал этот счёт за своею подписью, ибо счёт, присланный Ефимову, ничем не скреплён и подписан какой-то фамилией, ему неизвестной. Это дело очень серьёзное потому, что иначе Ефимов перешлёт деньги по счёту в типографию Унфуг (он так сказал), а не Никольскому, и тогда деньги могут пропасть. Унфуг нам не заплатит, и мы с журналом сядем в калошу» (Новый Журнал. 2007. № 246). 27 ноября 1907 В. А. Никольский спрашивал Эрна: «Как быть с “Антихристом”? Я писал уже Вал. Павловичу о том, что переплётчик не доставил Цукерману * ни одного экземпляра и не хочет выпускать 2-е издание (оно, кстати, без обложки, и потому портится), пока не получит денег. Он ходит почти каждый день и одалживает меня разговорами. Типографщик — сидит в тюрьме, типография запечатана. Нельзя ли как-нибудь выяснить это дело. Переплётчик собирался писать Ефимову насчёт уплаты денег, но я пока удержал его от этого. Боюсь, не вышло бы какой-нибудь ерунды...» (ОР РГБ. Ф. 348, к. 3, ед. хр. 8). 12 декабря 1907 хозяин переплётной футлярной и брошюровочной мастерской (СПб., Фонтанка, д. 133, уг. Никольского пер.) М. Е. Трабинович писал Свенцицкому: «Я получил эту книгу из типографии для сброшюрования, и с арестованием типографа я решительно потерял все нити для отыскания владельца этой книги. В данный момент я завален такой громадиной и занимает у меня много помещения, а посему покорнейше вас прошу безотлагательно сделать распоряжения для окончательного со мной расчёта и приёмки от меня вашей

* На обложке книги значится: «Склад издания: С.-Петербург, книжный магазин “Луч” С. Цукермана, Александринская площ., 5; Москва, книжный магазин Д. П. Ефимова, Моховая, д. Бенкендорфа».

книги, и притом объявляю вам, что я насчитываю на вас за помещение» (ОР РГБ. Ф. 109, к. 35, ед. хр. 45).

Шумный успех романа отметили многие современники (напр.: *Вишняк*. С. 166; *Зёрнов Н.* Русское религиозное возрождение XX в. Париж, 1974. С. 118; *Як. Львов [Я. Л. Розенштейн]. У Корша // Новости сезона. 1910. 29 ноября. № 2085*), диссонансом звучит лишь реплика С. Н. Булгакова в письме А. С. Глинке (Волжскому) от 28 февраля 1908: «“Антихрист”, слава Богу, почти не расходится, но автору его повредил страшно, судя по отзывам» (*ВГ. № 92*), при этом ссылается он на... благожелательную рецензию Гиппиус (см. далее). Хотя московский библиофил, со слов продавца книжного магазина на Кузнецком Мосту, 22 июля 1909 констатировал: «А Свенцицкого нельзя купить: запрещён и конфискован. Оказывается, что и “Антихрист” его отобран, и всё, что он позднее писал» (*Пресняков А. Е. Письма и дневники. 1889—1927. СПб., 2005. С. 643*), репрессиям со стороны властей книга не подвергалась. Аналитическая записка, хранящаяся в одном из уголовных дел «сумасбродного религиозного фанатика», гласит: «...вызывает большое недоумение его новая книга <...> не то исповедь, не то роман — что предоставляется решить самому читателю <...> Герой “Антихриста” кажется, что постоянно лицемерно изображал из себя перед другими глубоко верующего христианина: в таком случае — если “Антихрист” есть исповедь самого Свенцицкого — он как будто желает показать, что лгал, когда свои революционные речи держал от имени Христа? Непонятное желание! Или, может быть, в лице Свенцицкого мы имеем дело с простым агентом масонства, имеющим поручение вносить возможно больше сумятицы в умы и души для революционных целей?» (*ЦИАМ. Ф. 31, оп. 3, д. 628, л. 15*). Сумасшедшая «догадка» охранителей престола заставляет вспомнить Библию: Господь, наказывая царя Иудейского, попустил духа лживого в уста всех пророков его (3 Цар. 22, 21—23).

В 1925 о. Валентин говорил: «В этой книге мною ставился один общий духовный вопрос: можно ли узнать Христа, не пережив антихриста? Если бы я писал эту книгу теперь, я многое не написал бы так, как тогда. Но это основное положение я и теперь утверждал бы так же: нельзя узнать Христа, не пережив антихриста. В этом утверждении не заключается ничего идущего вразрез с учением Святой Церкви и святых отцов. Говоря так, я вовсе не разумел и не разумею, что для того, чтобы познать

Господа Иисуса Христа, нужно обязательно отдаться во власть антихриста. Но <...> обязательно сей дух антихриста преградит человеку путь ко Христу, и если не очистить внутренним своим борением себя от этого препятствующего Богопознанию духа, не может воссиять нам и истинный свет Христов. <...> И Церковь ни с чем иным борется в своём славном шествии, как всё с тем же препятствующим ей духом антихриста. По мысли, выраженной в моей юношеской книжке, дух антихриста в разные эпохи меняется, ибо он как бы растёт, как бы зреет, дондеже явит себя миру в образе рождаемого зверя. А пока сроки и времена не исполнились, различные лики и образы его являются нам в жизни» (*МвМ*. 1, 36–37). О суждении по сему вопросу прав. Иоанна Кронштадтского см. прим. к с. 215.

Племянница о. Валентина (вероятно, с его слов) писала: «В этой книге он выворачивал и свою душу, её тёмные стороны; ту ложь, которая таится во многих людях, но о которой молчат, он исповедует перед всеми» (*Свенцицкая М. Б. Отец Валентин // Надежда. Франкфурт н/М. 1984. Вып. 10. С. 191*). «Изображая “эту погань и грязь”, он как бы восстал на неё, победил в себе этот образ, и таким ярким описанием Антихриста в себе он не только “исповедуется” в своих грехах, но также предупреждает мир о реальности прихода Антихриста, о том, что “зло воцаряется в современную эпоху”. Апокалипсическое видение мира со стороны Антихриста — это нечто уникальное в мировой литературе, другие художественные произведения подобного рода нам неизвестны» (*Фатеев В. Жизнеописание Василия Розанова. СПб., Кострома, 2002. С. 382*) *. По мнению

* В духе героя своей книги, далее Фатеев меняет полюса: «Крайняя по своей ущербности религиозная концепция автора выливается в итоге в формулу: “Познать Христа можно, только пережив Антихриста”». Он и не подозревает, что это плод соборных усилий Церкви, итог духовного опыта сонма подвижников. Зато твёрдо убеждён: «...реальные события стояли и за рассказом о садистском обращении героя со своей невестой...» (Там же. С. 382). Это ложь (даже по отношению к тексту). Многозначительное многоточие в конце тирады — не намёк на осведомлённость автора, а дешёвый трюк. Ничего удивительного: такова попытка дискредитировать суровую критику любимого им Розанова. Зато потом можно сказать: нет «ничего подобного по степени самообнажения», нельзя «даже представить себе такую откровенность в литературе... Какой же писатель ►

З. Н. Гиппиус, автор рассказывает о самых крайних и ярких переживаниях людей, начинающих мыслить и жить, задающих коренные и серьёзные вопросы: что мне делать с собою? что такое «я»? Христос я или Антихрист? Он «самый обычный юноша, из десятка, а может быть, из тысячи <...> сама книжка кричит об этом, каждая страница её — лик не одного, а многих таких же, так же томящихся смертной тоской о себе, о своём “я”, о котором, “если не решить, что оно такое — жить нельзя”. <...> Однородное, схожее страдание у многих, хотя каждый <...> ещё одинок. Подлинное страдание у автора “Антихриста” <...> И страдание воистину смертное. <...> Страдания, ошибки, борьба юного поколения нашего обращены к будущему, — потому что это страдания живых людей и трепет живых мыслей» (*Гиппиус З.* Собр. соч. Т. 7. М., 2003. С. 306, 312–313). Схожие ощущения и мысли рождались у Н. А. Бердяева (см. прим. к с. 172, 187), на которого книга произвела «очень тяжёлое, кошмарное впечатление»: «Многого я в Свенцицком не понимаю. Ужасно, что все мы скорее разъединяемые, чем соединяемые. <...> Очень многое за последний год я переоценил и с особенной силой чувствую зло в жизни. Это ощущение зла меня очень мучит. Прежде всего и больше всего ощущаю зло в себе, своё несовершенство, свою недостойность» (*ВГ.* № 95). Д. С. Мережковский книгой был ошарашен (*ВГ.* № 90); Н. С. Арсеньева поразил образ «наездника», который въедается в душу и подменяет её своей личностью, «и это было очень страшно» (*Арсеньев Н.* Годы юности в Москве // *Мосты.* 1959. № 3. С. 368). Лаколично подытожил общее мнение Я. Л. Розенштейн: «Эта книга — вещь огромного интереса и огромного ужаса. В ней выведен человек страшного раздвоения — пророк внешне, заставляющий преклониться в прах своих апостолов, и внутри — слуга антихриста, игрушка тёмных страстей, лукавый раб. Книга эта вызвала много разговоров по поводу её отношения к автобиографии автора. В ней видели отзвук его жизни» (Указ. соч.). Большое влияние книга оказала на Г. Г. Селецкого: будущий игумен Иоанн и духовный отец первого ректора ПСТГУ прот. Владимира Воробьёва читал её на фронте в 1914 (*Мир Божий.* 2001. № 1).

захочет выставлять себя на всеобщее обозрение, со всеми своими интимными подробностями, изъянами и даже пороками?» (Там же. С. 441). Нет, это не о Свенцицком... о Розанове! Комментарии излишни.

Духовно потрясён был автор лучшей рецензии: «Посетил меня Антихрист и два вечера держал над бездной страха и восторга. Сначала, конечно, мне не верилось. В двадцатом столетии, рядом с телефоном, электричеством, воющими автомобилями, — и вдруг живой доподлинный Антихрист. Однако, когда развернулись предо мной в ужаснейшей красоте судороги помрачённой души и корчи необычайного, пронзающего ума, сомнения мои поколебались. <...> Я нередко теряю и не понимаю разницы между живой речью и печатным талантливым произведением. Талантливая книга так же, а иногда и ярче, трепещет живой душой писавшего, нежели иная душа в говорящем и двигающемся теле. Вот почему я, не мистифицируя, говорю, что меня два вечера держал в сладком и мучительном страхе посетивший меня Антихрист. <...> Автор и хочет, и не хочет, чтобы видели его собственное лицо и его собственную смятённую и ужаснувшуюся душу. Не знаю, ошибаюсь ли, но со времени Достоевского мне не приходилось видеть ни в какой книге такого судорожного и крайнего обнажения души. А заглянуть в такие тёмные и мучительные глубины души и жутко, и благотворно» (*Ставрикаев В. Антихрист // Слово. 1908. 9 апреля. № 427*). Сходную оценку дал Н. Н. Русов: «Замечательная книга <...> написанная с силой почти равной Достоевскому. В ней с потрясающей искренностью изображено разложение человеческого Духа на две силы, враждебные друг другу: одна из них — ложь и чувственность, другая — правда и чистота. Две женщины олицетворяли эти силы, и душа странного человека раздирается между ними, то падает, то поднимается и непрестанно мучается в этом борении» (*Русов Н. Из жизни церковной Москвы // Накануне. 1922. 3 сентября. № 124*). Театральный критик отмечал: «Книга-исповедь, вызвавшая большой шум в литературных кругах, посвящена разрешению тех самых вопросов, которые создают душевную драму пастора Реллинга и приводят его к самоубийству. <...> Тема об ужасном “двойнике”, живущем в душе человека <...> автор посвятил ей проникнутые настоящей искренностью и силой страницы своей исповеди» (*Ал. См. Пастор — соблазнитель // Театр. 1910. 28–29 ноября. № 753. С. 7*). Ф. А. Степун вспоминал: «...повесть произвела на меня впечатление не только очень интересной, но и очень искренней вещи» (*Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. СПб., 2000. С. 202*).

Н. И. Петровская (*Весы. 1908. № 2. С. 85–88*) на основании тех же ощущений сделала противоположные выводы: «Книга

Свенцицкого стоит вне пределов художественной литературы. Свенцицкий — не беллетрист. Сознает он это и сам. Задача его чисто психологическая — он хочет дать документально точное изображение собственной души во всех её проявлениях до самого глубокого и тёмного дна, — и в дерзновенно правдивых строках “Записок”, действительно, запечатлён скульптурно точный образ души, только не живой, а в окончательном процессе её разложения». Логика в рассуждении отсутствует: почему документально точное изображение души должно стоять вне пределов художественной литературы?! По той же схеме построена вся рецензия: от верного посыла — к нелепым выводам. «Вопрос бессмертия, преследующий Свенцицкого до кошмара и бреда, — этот страстный вопль к неизвестности каждого живого человеческого сердца медленно переходит для него в похоронный напев, в заунывный гимн смерти, воплощённый образом Антихриста. <...> Соприкосновение с христианством, может быть, озарило на миг бледным лучом надежды эту тёмную погибающую жизнь, но, как оказалось, не к добру. Оно только привело в последнее замешательство давно расшатанные силы души и толкнуло на опасную для слабых дорожку искания абсолютной истины». Уверенность, что христианство не несёт добра, а искание истины губительно для слабых, как нельзя точно характеризует отчаявшуюся душу самого критика. Цель и смысл последнего и главного вопроса книги ей оказались недоступны. «Но если в этом вопросе таится даже подлинная надежда на возрождение <...> она не озарит уже никакого будущего. Она вспыхнет лишь как фосфорический огонь на могиле Свенцицкого». Здесь будущая самоубийца оказалась права — по отношению к себе.

Почти буквально совпадают мысли А. А. Блока, не менее в тот период далёкого от Христа. Он полагал, что христианство не даёт выхода из противоречий Ивана Карамазова (воскликая «о, как опасно искать этих выходов!»), что рассуждения Свенцицкого о необходимости идеи бессмертия для сознания ведут к пустоте, а от его книги «не сохранилось ничего, что можно оформить и поставить на полку; сохранилось только похожее на воспоминание о физической боли, на сильное и мимолётное впечатление, с которым не расстанешься» (*Блок А. Собр. соч. в 8 т. М.; Л., 1963. Т. 5. С. 486, 610*).

И Гиппиус оговаривала, что выбирает для обзора «вещи наименее литературные: они ценнее. Они ближе к жизни. Они —

почти человеческие документы <...> иногда неумело оправленные в литературную форму <...> И всё-таки “сочинения” никакого нет, всё-таки это подлинный документ. <...> Так именно *бывает*, но так не *сочиняют*» (Указ. соч. С. 305–307). Так, да не так: большая часть «Записок» не соответствует видимой стороне действительности, хотя они абсолютно правдивы в духовном плане; с точки зрения фактов, это искусный художественный вымысел — не мистификация типа Черубины де Габриак, не жизнь, превратившаяся в театр, а символ в его истинном понимании — образ естества. Это был духовный реализм — повествование о внутренней, сокровенной жизни и изображение всех глубин души человеческой (ср.: *Достоевский*. 27, 65); «не простое воспроизведение насущного, чем, по уверению многих учителей, исчерпывается вся действительность» (*Достоевский*. 11, 237), но постижение средствами искусства сущности происходящего.

Троекратное (но с разным чувством) отрицание романа-исповеди как литературы свидетельствует, что ярчайшие представители насквозь литературного посеребрённого века, стремившегося «найти сплав жизни и творчества, своего рода философский камень искусства» (*Хогасевич В.* Некрополь. СПб., 2001. С. 36), оказались неспособны воспринять новаторский замысел, прочесть чудодейственную формулу. Очарованные парадоксами не осилили самый острый — не поверили, что можно выразить жизнь в творении, не прибегая к слепому копированию внешних её планов. Они хотели создать поэму из своей жизни, разыгрывая её «как бы на театре» и упиваясь клюквенным соком, но персонаж, истекающий настоящей кровью, был выше их понимания.

Резко отрицательную оценку дал прочитавший лишь половину романа-исповеди И. Ф. Анненский: «Он помечен 1908 г. — это очень интересно. Но ведь здесь он говорит совсем не то, что теперь, хотя и называет себя оставленным при университете и “писателем-проповедником”. Роман шаблонен и даже не вполне грамотен, но дело не в этом. Он неискусно претенциозен. А надпись “Антихрист” прямо-таки вызывающая, рекламная, рассчитанная на витрину и психопатию читателей * . Я удивляюсь,

* Ср.: «Антихрист — это одна из самых центральных идей русского религиозного мирозерцания» (*Эрн В.* Сочинения. М., 1991. С. 221).

как люди, которым Свенцицкий нужен для легенды, не отговорили его от этой публичной эротомании. Лично мне после ста страниц “Антихриста”, которые я прочитал, Свенцицкий может быть интересен только отрицательно — как одна из жертв времени, а не как религиозный мыслитель и даже не как проповедник. Легенда его творится не для меня, и мне только грустно, что его соблазняют души, которые я полюбил свободными» (Письмо Е. М. Мухиной от 2 марта 1908 // *Анненский И.* Книги отражений. М., 1979). Ничего нет удивительного в духовной глухоте неверующего в личное бессмертие человека, боровшегося «за своё право не верить с ожесточённостью пророка» (*Гумилёв Н.* Письма о русской поэзии. Пг., 1923. С. 75).

Д. П. Маковицкий, близко знавший Л. Н. Толстого, в дневнике 9 августа 1909 записал: «Дмитрий Васильевич [Никитин] говорил про Свенцицкого <...> речи которого на религиозную тему он слышал, что сам он не верит. Л. Н.: Ужасно: религия — тема для сочинений, — добавил задумчиво» (*ЛН.* Т. 90. Кн. 4. С. 35). Никитин основывался на романе-исповеди, Толстой же с книгой не ознакомился: присланный Свенцицким 25 декабря 1907 экземпляр 1-го издания с дарственной надписью «Льву Николаевичу Толстому в знак братской любви и глубокой благодарности» (хранится в библиотеке Ясной Поляны) поручил прочесть Маковицкому (Там же. Кн. 2. С. 599), а написать ответное письмо, несмотря на уговоры секретаря, отказался после того, как узнал, насколько резко автор отзывался о его учении. 14 января 1908 от вопроса И. А. Беневского об «Антихристе» Толстой отделался общими фразами (*Гусев Н.* Два года с Толстым. М., 1973. С. 70, 85).

Самый объёмный отзыв дал А. К. Закржевский в книге «Религия. Психологические параллели» (Киев, 1913. С. 388–406); несмотря на отсутствие духовной трезвости, вызывающее путаницу в рассуждениях, некоторые его мысли весьма ценны. Пытаясь изъяснить диалектику искусства и реальной жизни, критик счёл «Антихриста» далёким от «литературного» (в вульгарном смысле) произведения, увидел «нечто большее, чем обычный роман с началом и развязкой, <...> почувствовал в нём настоящую трагедию наших дней, крик огненной боли, крик безумия в кромешной тьме». Роман впервые трактуется как символ болезни века: «Потому он и интересен, что в нём открыто, обнажённо и пламенно говорится о том, о чём привыкли все молчать, хотя и каждый носит в своей душе этот ад. <...> **В кро-**

вью написанной книге человек среди этого молчания вдруг закричал, и крик его исходит именно из тех глубин, из которых кричал и Достоевский. <...> **Это правда, сущая правда, это страшная правда нашей жизни...** Вокруг нас и среди нас много таких “героев нашего времени”, и они молчат и никто не знает о той ужасной, убийственной игре лжи и самообмана, которую они исполняют не по своей воле, а по воле сидящего в них демона двойственности». Характеризуя героя, «раздавленного идеей смерти», Закржевский раскрывает механизм бесовского порабощения личности: «...он понимал, что нужно выбрать или Христа, или смерть. Не мог побороть смерти и не мог уверовать во Христа, вот в чём была вся его мука, весь ужас, всё отчаянье <...> **И он не столько не может, сколько не хочет, именно — не хочет**». Страстно и убедительно звучит финал рецензии: «Роман кончается победой антихриста. Но не верю я, что это — конец... Всё почему-то кажется — ещё не всё испытано, ещё не всё перегорело, ещё не всё искуплено страданием, чтобы быть концу... И много ещё придётся перенести нашему несчастному герою, много перемучиться, много сил употребить на то, чтобы дойти до конца, до *настоящего* конца пути своего, а потом снова вернуться к попоранной, но вечно зовущей силе — Христу...»

На склоне социалистической эпохи о романе напомнил Л. Н. Чертков (псевд. Москвин), назвав его нашумевшим и сочетавшим «индивидуалистический парадоксализм “человека из подполья” с резкой критикой окружающей действительности» (КЛЭ. Т. 9. М., 1978). А. М. Эткинд чутко отмечал: «Мы встречаемся с исповедью, напоминающей разве что голос “Человека из подполья” Достоевского — напряжённой и цинично-откровенной, но стилистически сглаженной речью профессионала-философа <...> ткань её основана на иронической игре между позициями автора и рассказчика. <...> Автор показывает своих героев в момент крайнего душевного напряжения, непрерывного ожидания того, что самые страшные события в жизни вот-вот настанут — и они настают; и одновременно читатель видит, как обнажают эти критические мгновения нерешённость главных вопросов — личных, профессиональных, религиозных. <...> Очевидно стремясь к тому, чтобы его героя-рассказчика воспринимали как подлинное лицо автора, Свенцицкий придал ему свою профессию и формальные черты биографии. Вместе с тем он вложил в этот монолог мысли и чувства шокирующие и недопустимые для религиозного человека, и это

ставит в тупик даже изошрённого читателя. Отношения между я рассказчика и подлинным я автора так и остаются непрояснёнными. В сладострастных, наполненных садизмом фантазиях герой не знает удержу; но, похоже, никогда их не осуществлял» (*Эткинг А. Хлыст (Секты, литература и революция)*. М., 1998. С. 443–445, 247–248). По сюжету и общей тематике историк сближал «Записки» с романом А. Белого «Серебряный голубь», вышедшим двумя годами позже, и, вслед за Блоком, находил общие черты с романом П. Карпова «Пламень» (1914). Как бы споря, но и дополняя, Т. Н. Резвых писала: «Однако в романе нет смакования разных демонических образов, как у Мережковского, Арцыбашева или Федора Сологуба, а путь от Антихриста ведёт ко Христу. Автор полагал, что единственный путь к Богу — путь “благоразумного”, покаявшегося разбойника, с тёмного дна поднимавшегося к свету» (http://www.xrampg.obninsk.ru/Arhiv/Duh_literatura/may_2002.htm). Глубоко прочувствовала авторскую задачу И. Н. Михеева: «Если человек становится носителем сатанинского духа, вбирая его в свой внутренний мир, в таком случае он может быть воспринят как прообраз или предтеча антихриста. Блестящую характеристику подобной личности, её внутреннего пространства мы находим у В. П. Свенцицкого, подвергшего собственное “я” тщательному самоанализу <...> Этот “наездник” — тот самый “двойник” (сатанинский элемент), который живёт во внутреннем пространстве таких героев Достоевского, как “подпольный парадоксалист” Голядкин, Раскольников, Ив. Карамазов и Ставрогин; “наездник” — это бес, вселившийся в души Лизы Хохлаковой, Грушеньки, подстрекающий к издевательствам над ближним, к причинению им утончённым образом нравственных страданий. <...> На уровне индивидуальном каждый человек, стремящийся к христианской жизни, неизбежно сталкивается с духом антихриста, который, глубоко проникая в сознание и подсознание личности, захватывает её волю. Поэтому для освобождения от “наездника” требуются колоссальные усилия, борьба не на жизнь, а на смерть» (*Михеева И. “Предтечи тьмы” в русской ментальности // Этнос религиозного опыта*. М., 1998).

К сожалению, многие судили о книге, не потрудившись ознакомиться с текстом. Это приводило к несуразным заключениям. Ориентировавшийся в т. ч. на статью в *КЛЭ* Е. С. Полищук писал, что в романе «изображён типичный для декадентской ли-

тературы “биполярный” герой, успешно преодолевший — во имя предельной искренности перед собой и достижения максимальной полноты жизни — традиционную “буржуазную мораль”; основанием для разврата и иных неблагоприятных поступков для него стала пагубная мысль о том, что избегающему искушений не узнать и святости» (Полищук Е. Вдохновенный пастырь // Московский журнал. 1992. № 10. С. 22). Составитель сборника «Взыскующие града» (М., 1997) В. И. Кейдан цитировал Полищука, добавляя, что «Антихрист» напоминает роман Арцыбашева «Санин» *, и путая предисловие с послесловием. Компиляция второисточников и собственные домыслы выглядят весьма комично — оказывается, прототип «анонимного (!) епископа-старца <...> к которому приходят в отчаянии (!) главный герой романа и его друг <...> одобрил создание ХББ и отредактировал <...> нелегальные издания Братства»; в статье Гиппиус содержится «желчная критика романа»; главный герой «притворяется пророком нового, социального христианства <...> среди прочих действующих лиц легко узнаётся С. Булгаков <...> После выхода романа, вызвавшего скандал в кругу его друзей и единомышленников, часть из которых узнали себя в персонажах романа, Свенцицкий был исключён из Московского РФО». Забавно, если учесть, что никого похожего на Булгакова в «Записках» нет, Эрн активно участвовал в их издании, а разрыв с МРФО произошёл год спустя и совсем по другому поводу. Нелепости в комментариях и искажения публикуемых документов характерны для труда Кейдана, тем обиднее, что они расходятся по справочным изданиям, создавая превратное представление о мыслителях начала XX века.

Прочие суждения современных исследователей в лучшем случае вторичны. О. В. Марченко для характеристики

* Постыдным фальсификациям подвергалось и творчество крупнейшего православного романиста, творческий метод которого стал определяющим для Свенцицкого: «То, что можно сказать о порнографии, вроде Куприна, Арцыбашева и т. п., не стыдятся говорить о Достоевском и его произведениях; но в них никогда порок и грех не изображаются в привлекательном виде, а напротив, обличаются, и всякое ложное учение его героев опровергается или ходом событий, или возражениями их собеседников» (Антоний (Храповицкий), митр. Словарь к творениям Достоевского. М., 1998. С. 128–129).

романа-исповеди воспользовался цитатами из *КЛЭ* и счёл, что это «было по сути неким экзистенциально-метафизическим экспериментом в духе то ли Подпольного человека, то ли Ставрогина» (Историко-философский ежегодник'2001. М., 2003. С. 151). А. А. Ермичёв договаривается до того, что Свенцицкий, якобы, «убеждал читателя в праведности греха» (В. Ф. Эрн: pro et contra. СПб., 2006. С. 880) *. В примечаниях к опубликованным отрывкам (Антихрист (Из истории отечественной духовности). Антология. М., 1995. С. 175) А. Гришин и К. Г. Исупов, ничтоже сумняшеся, утверждали: «...роман изобилует аллюзиями на сочинение В. Эрна “Христианское отношение к собственности”» **; «никуда Свенцицкий не поехал, а просидел эти недели дома» (об эпизоде с Македонией); «мог призывать к террористическим акциям», а «в период раскаяния и испрашивания у церковных иерархов разрешения на принятие сана» осудил «Записки». Видно, что составители антологии протудировали т. н. «мемуары» А. Белого, но не удосужились прочесть саму книгу; о их незнакомстве с биографией и духовным миром автора, незнании церковной жизни нечего и говорить. Показательно — пьесы Свенцицкого названы «драматическими этюдами», а книга Е. Н. Трубецкого «Два зверя» приписана его брату Сергею. Тот же Исупов в статье «Русская философская танатология» (Вопросы философии. 1994. № 3) указал на «исповедальный анализ страха в скандально известной исповеди» и отмечал, что «иммортология Серебряного века охотно развивает идущие от Достоевского аналогии идейного иллюзионизма всякого рода и смерти как последнего миража. “Общественные идеалы” получают новые испытания “пред лицом смерти”». Помимо стилистических (создаётся впечатление, что автор редко пишет по-русски), допускает он и фактические

* Неосторожные высказывания несколько не затемняют заслуг Марченко и Ермичёва как исследователей биографии Свенцицкого. Замечательная статья первого в кн. «Сто русских философов» (М., 1995) выделяется широтой обобщённого материала, а публикации второго (Указ. соч.) трудно переоценить.

** Таковых выявлено всего две, тогда как с работой Эрна «Социализм и проблема свободы» (Живая жизнь. 1907. № 2) прослеживаются 7 параллелей; первым «унисон» подметил Закржевский (Указ. соч. С. 392–393).

ошибки, например, утверждает, что лекция Е. Н. Трубецкого «Свобода и бессмертие» (М., 1906) является ответом на реплики героя романа... Теми же казусами отмечена и статья «Русский Христос» (2007), где Исупов заявляет: «На рубеже веков возникают философско-эстетические транскрипции категории поступка применительно к Священной истории: переоценка поведения <...> Антихриста (В. Свенцицкий)».

С. 58. *И поклонятся Ему...* — В отличие от текста Нового Завета, в обоих изданиях книги местоимение печаталось с заглавной буквы, подчёркивая отношение героя к обольстителю. Написание же «Антихрист» восходит к святоотеческой традиции (напр.: *Иоанн Дамаскин*, св. Точное изложение православной веры. СПб., 1894).

...нужно быть Августином, Руссо или Толстым. — Указывая на литературную традицию, Свенцицкий имеет в виду автобиографические сочинения под названием «Исповедь» блж. Августина (400), Ж. Ж. Руссо (1782—1789), Л. Толстого (1879—1882).

С. 59. *...мне никто не поверит...* — Произошло обратное: такова была сила искусства, что большинство читателей сочли все факты и коллизии романа-исповеди автобиографическими. Именно этим было вызвано появление послесловия во 2-м издании.

...что невозможно для «Исповеди», то возможно для «Записок». — Ср.: «...невозможное человекам возможно Богу» (Лк. 18, 27). В отличие от акта личного покаяния, доступного всем, только в произведении искусства удаётся исповедовать грехи поколения. Именуя вещи, художник уподобляется Богу-творцу, а значит, если обличает грехи, должен сам пойти на распятие.

С. 60. *...в действительности это невозможно...* — Ср. мнения двух великих русских романистов и идейных противников: «У меня свой особенный взгляд на действительность (в искусстве), и то, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность действительного» (*Достоевский*. 29, I, 19); «...“действительность” не является ни субъектом, ни объектом истинного искусства, которое творит свою, особливую “действительность”, ничего не имеющую общего с “действительностью”, доступной общинному оку» (*Набоков В.* Бледное пламя. Свердловск, 1991. С. 110).

С. 61. ...чаще всего я думаю о смерти. — «...Не должен человек размышления о смерти гнать как болезненное “мрачное настроение”. Он должен безбоязненно размышлять до конца. Ибо если он не победит это слово, то никогда не встанет в своей духовной жизни на твёрдую почву. <...> Смерть такой факт, что надо удивляться не тому, что люди “иногда” о нём думают, а тому, что так мало думают. Казалось бы, надо или победить его верой в бессмертие, — или никогда не улыбаться и не смеяться в жизни, а сидеть и ждать в ужасе конца. А у нас ничего. Это ещё, мол, далеко: ещё целых двадцать лет проживу! Иногда человеку говорят — “все мы умрём” и “вы умрёте”. Ему кажется, что это не про “него”, что это к нему не относится. Нет, относится, господа, ко всем относится. *Конец*, после которого *ничего не наступает*, делает бессмысленным всё, что было перед этим концом. И если вы не умом, а всем существом своим чувствуете, что то, что зовётся *жизнью*, не бессмыслица, то вы должны почувствовать также другое: никакого *конца* и нет. А есть новое бытие в новых формах. Зелёная трава и горячее солнце — это *навсегда*. *Навсегда* — вот радостное, великое слово, которое одно может успокоить человеческую душу» (Свенцицкий В. Письма одинокого человека // Новая земля. 1911. № 26).

С. 62. ...нужно ещё что-то узнать... — «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?» (Толстой Л. Исповедь // Собр. соч. в 22 т. Т. 16. С. 122).

...до слёз, до иступления, до кусания подушки и нелепого крика... — Далее указано, что «непонятный испуг» возникал у автора лет с семи. Ср. строки, написанные до знакомства с романом-исповедью:

Ай как постыдно страшно умирать —
До нутряного воя, до трясучки!..
С начальных классов угнетала мысль,
Пугался засыпать — не мог представить,
Как это: вдруг — меня — не будет?..
Всё кончится и продолжаться станет,
А я совсем (и навсегда!) исчезну..
Мутился день в кошмаре вечной ночи.

(С. Чертков «Страх», март 2005)

...опять что-то не то и не то... — «Мысль о том, что я не может умереть — не доказывается, а ощущается. Ощущается, как

живая жизнь. <...> Раз сказав “я есмь”, я не могу допустить себе, что я не буду, не могу никак» (*Достоевский*. 24, 234).

С. 63. *Холгоненко Юлия Ивановна* — бабушка Свенцицкого по материнской линии.

С. 65. *Один из моих братьев...* — У Свенцицкого было три родных брата: Анатолий Матвеевич (1873—1921), Вячеслав Платонович (1876—1947), Борис Павлович (1878—1968). Об отчествах см. с. 632.

...верить в бессмертие... — «Веровать в бессмертие и не веровать — это вовсе не значит по-разному решать только вопрос о бессмертии. Это значит по-разному относиться к людям и к жизни, по-разному чувствовать, по-разному оценивать доброе и злое, по-разному страдать и радоваться — словом, это значит быть двумя совершенно разными людьми, людьми двух совершенно разных пород» (*МвМ*. 2, 270). Это «касается основной и самой высшей идеи человеческого бытия — необходимости и неизбежности убеждения в бессмертии души человеческой. <...> Без веры в свою душу и в её бессмертие бытие человека неестественно, немислимо и невыносимо» (*Достоевский*. 24, 46).

Бессмертие — не мечта... — «...Идея о бессмертии — это сама жизнь, живая жизнь, её окончательная формула и главный источник истины и правильного сознания для человечества» (*Достоевский*. 24, 50). Антиномичность понятия «мечта» образно выражена в драме «Смерть». То, чего нет в настоящем, может являться призраком (иллюзией) или должным (истинным).

...я обманываю себя... — Двоящиеся мысли, парадоксы сознания странного человека — следствие поселившегося внутри двойника. Ср.: «Ставрогин если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он не верует» (*Достоевский*. 10, 469).

С. 66. *...я объявил себя верующим...* — Типично для неофита. Например, дословно так же отвечает священнику герой рассказа Л. Бородина «Посещение», объясняя, что признавать правоту христианства и поверить в Бога — это разные вещи (Юность. 1989. № 11. С. 27).

...для чего? — «Началом всего было, разумеется, нравственное совершенствование, но скоро оно подменилось совершенствованием вообще, т. е. желанием быть лучше не перед самим собою или перед Богом, а желанием быть лучше перед другими людьми» (*Толстой Л.* Исповедь. Гл. 1). «Наружно он бывает исправен и не позволит себе осрамиться пред другими дурнотой

права — жить напоказ главная его пружина» (Феофан Затворник, свт. Письма о духовной жизни. М., 1996. С. 17).

...смерть довела бы меня до самоубийства. — «...Самоубийство, при потере идеи о бессмертии, становится совершенною и неизбежною даже необходимостью для всякого человека, чуть-чуть поднявшегося в своём развитии над скотами» (Достоевский. 24, 50). «Время — это нечто такое, что, если вдуматься в него хоть немного, должно неминуемо привести или к холодному дулу револьвера, или к живой вере в Христа» (Эрн В. Сочинения. М., 1991. С. 174).

...религия при полном отсутствии веры... — Кажущийся парадокс часто встречается в действительности. «Религия есть там, где человек, идеология, некая организация ставят своей задачей преодоление смерти, обретение умения выживать после смерти тела» (Кураев А. Сатанизм для интеллигенции. Т. 1. М., 1997. С. 35); при этом нет необходимости в вере, достаточно страха и надежды. Другой пример: «Правительства хорошо понимают практическую выгоду религии, какой бы то ни было, в особенности по отношению к низшим слоям народа, и потому, опасаясь встретиться лицом к лицу с открытым неверием, показывают вид, будто сами во что-то верят» (Хомяков А. Сочинения богословские. СПб., 1995. С. 145–146). См. также прим. к с. 415.

...люди должны были искренно считать меня верующим. — Если нет Высшего Судии, ведающего сердце человека, то существенны только поступки, а помыслы остаются вне оценки. Следовательно, гнусность, о которой никто не знает, не существует; только оценённая людьми форма поведения определяет нравственный облик субъекта (ср. постулат Дж. Беркли «Существовать — значит быть воспринимаемым»). Принявший это неизбежно ненавидит не само зло, а совершающих его. Для христианина же мысли и дела, переживаемое и содеянное, одинаково важны для спасения души (см. прим. к с. 72), но поскольку первые являются причиной вторых, «наша брань не против плоти и крови, но... против духов злобы поднебесной» (Еф. 6, 12).

С. 67. *...идея бессмертия и всеобщего воскресения...* — Только это удерживает странного человека от греха, именно здесь подлинная причина отсутствия преступных деяний (см. прим. к с. 73); импликацию Ивана Карамазова он осмысливает куда более по-христиански: «Если я себе всё позволю, то бессмертия для меня не будет». Но уверовать, утвердиться в действительности невидимого, не может. Такова его трагедия.

...могла спасти меня. — «Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом моим Небесным» (Мф. 10, 32).

...без малейшей борьбы... — Ж.-П. Сартр утверждал, что стыда нет, когда я один (*Реале Д., Антисери Д.* Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 4. М., 1997. С. 410). Ср.: «А что изменится от того, что не на глазах? Для порядочного человека ничего не изменится» (Наст. изд. С. 121). См. также прим. к с. 72.

...оставленный по кафедре истории философии... — После окончания ИМУ в 1904 был оставлен по кафедре всеобщей истории для подготовки к профессорскому званию Эрн; Свенцицкий же был уволен с IV курса за невзнос платы 1 ноября 1907, за несколько дней до выхода в свет 1-го издания романа-исповеди.

Писатель-проповедник — До Свенцицкого так величали только Л. Толстого (см. напр.: *Лисовский А.* Смерть Ивана Ильича // Русское богатство. 1888. № 1. С. 181).

С. 69. *...как будто бы живое ~ существо...* — Ставрогин в «Бесах» признаётся, «что видит иногда или чувствует подле себя какое-то злобное существо, насмешливое и разумное, в разных лицах и разных характерах, но оно одно и то же <...> вижу так, как вас... а иногда вижу и не уверен, что вижу, хоть и вижу... а иногда не уверен, что я вижу, и не знаю, что правда: я или он...» (*Достоевский.* 11, 9).

С. 70. *Как они смеют...* — «Как нам именовать их, этих людей, которые живут, не вспоминая о неизбежном конце жизни, исполняя любую свою прихоть, гоняясь за наслаждениями, бездумно и безбоязненно, словно вечность уничтожится, если о ней не думать, если помнить лишь о сиюминутных радостях. <...> Может ли тот, кто серьезно думал над этим важнейшим вопросом, не прийти в ужас от столь извращённого поведения?» (*Паскаль Б.* Мысли. 334).

...безразличное отношение и к смерти, и к вечным мукам. — «Пренебрежение тем, что прямо затрагивает их самих, — вопросом о вечной жизни, о самом главном для человека, рождает во мне гнев, а не сострадание, полнит изумлением и ужасом; для меня подобные люди — чудовища!» (Там же. 335).

...чтобы он был наказан муками своего раскаяния. — «...Людьми, ведущим подобное существование, необходимо показать, до чего извращённо, до чего немислимо тупо они живут, сразить зрелищем их собственного безрассудства» (Там же. 334).

С. 71. *Разве сладострастие не есть гниение души? И разве страх смерти, мертвящий душу, не обуславливает собой её гниение?*— «Кто же прелюбодействует с женщиною... тот губит душу свою... Если живёте по плоти, то умрёте... потому что... приняли духа рабства... которому люди подвержены от страха смерти» (Пр. 6, 32; Рим. 8, 13, 15; Евр. 2, 15). «Исцели гниение смиренной моей души, единый врач, Спаситель; приложи мне пластырь, елей и вино, — плод покаяния, умиление и слёзы» (*Андрей Критский*, свт. Покаянный Канон. Песнь 8). «Точно два совершенно различных духа живут иногда во мне — в разное время: то дух злобы, хулы, нетерпения, дух подавляющий, мертвящий душу страшною тоскою, унынием; то дух кротости, смирения, умиления, мира, тихой радости. Первый — злой дух, а последний дух — животворный. <...> Когда злой дух чрез смущение и боязнь, причиняемые им душе, будет лишать тебя спасительной, мирной надежды на Господа, скажи ты лукавому: “Бог удивлял на мне милости Свои в продолжение всей моей жизни непрерывно, и это укрепляет мою благую надежду на Него, что Он и теперь, когда ты хочешь устрашить меня безнадежностью и отчаянием, удивит непременно милость Свою, только бы я обращал к Нему умные очи сердца, а ты, ничего мне не делающий, кроме смятения, омрачения и всякого зла, удались от раба Божия: Господь мой да проженет тебя, как Он прогонял тёмную вашу силу во время земной Своей жизни. — Ты хочешь лишить меня и веры в Господа, но почему не лишаешь меня и веры в себя? Зачем я ощущаю твои ядовитые, мертвящие душу прилоги? Ужели ты думаешь, что твои следы я чувствую в себе, а сладчайших, животворных, радостных следов моего Господа я не чувствую? Прочь, ничтожная, разрушающая всякое добро, тварь! Мой Бог распространяет всюду добро и радость, и даже и во мне, когда я прилепляюсь к Нему верою”» (*Иоанн Кронштадтский*, прав. Дневник 1856—1858. Т. 1. Кн. 2. М., 2002.). Ср. также у Е. А. Баратынского: «Дар опыта, мертвящий душу хлад» («Осень», 1937).

С. 72. *...прибавилось ли ~ произошло бы в действительности.* — «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём» (Мф. 5, 27—28). Свт. Иоанн Златоуст так толкует эту заповедь: «Христос пришел избавить от злых дел не только тело, но ещё более душу. <...> Вот почему и такой поступок признаётся прелюбодеянием

и прежде будущего мучения ещё и в настоящей жизни повергает человека немалому наказанию. В самом деле, вся внутренность наполняется беспокойством и смущением, поднимается великая буря, возникает ужасная болезнь, и участь человека, претерпевающего всё это, ничем не лучше участи пленных и заключённых в оковы. <...> Он нигде не осуждает плоть, но везде обвиняет развращённую волю. Не глаз твой смотрит, а ум и сердце».

...подобных маньяков среди мужчин 99%. — Крайне незначительное преувеличение. Обычно склонный к постановке кавычек автор здесь их опускает. И справедливо: маньяк — человек, одержимый манией (сильным, почти болезненным влечением); никакого иносказания тут нет. Ср.: «...но главное в том, что <...> все люди без исключения, в известном смысле половые психопаты и эротоманы» (*Бердяев Н. Метафизика пола и любви // Перевал. 1907. № 5. С. 8*). «Искушения от видения и слышания жен паче имеют ли конец, не знаю. Сочувствие к женам положено в естестве нашем. Потому, думается, когда не тошнит при виде жен, а бывает нечто противное, то тут ещё нет грешного ничего... Грех начинается от *во ежи похотети*. А этой вещи можно всегда избежать» (*Феофан Затворник, свт. Собрание писем. Вып. 1. М., 1898. С. 21*).

С. 73. ...в женщине нужно видеть «человека». — Ср. рассуждения Грацианова: «Представьте себе, что вы голодны и перед вами поджаренная курочка. И вдруг, вместо того, чтобы поскорей её есть, вы начнёте задаваться философским вопросом, есть ли душа у курицы...» (С. 406).

...злое отношение к совершающим зло. — См. прим. к с. 66.

...не мотивы морального свойства. — Страх Божий не сводится к морали, как и наше существование не ограничивается пребыванием на этой земле. Все попытки объяснить духовное нравственным, Господни заповеди — «общезначимыми» нормами поведения отрицают жизнь будущего века, скрывая истинную цель бытия (см. прим. к с. 371). Они сродни губительному прессу, лишаящему предмет одного измерения, вминающему человека в наличную плоскость, низводящему его до уровня общественного животного. «Если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в своё бессмертие. <...> Нет добродетели, если нет бессмертия» (*Достоевский. 14, 64–65*). «Бесспорно, что человеческая нравственность целиком зависит от решения вопроса, бессмертна душа или нет» (*Паскаль Б. Мысли. 347*).

С. 74. *Российское благородное собрание* — дворянское сословное учреждение типа общественного клуба, создано в Москве в 1783 (Б. Дмитровка, д. 1). С 1860 Московское отделение Русского музыкального общества проводило в нём симфонические концерты.

С. 75. *...боишься даже подумать...* — «Человек сознателен ровно настолько, насколько не скрывает от себя своего страха» (Камю. С. 64); добавим: и своих грехов.

С. 76. *...внешние признаки искренности для меня неубедительны.* — «Человек определяется разыгрываемыми им комедиями ничуть не меньше, чем искренними порывами души» (Там же. С. 29).

...искренность — вещь неопределимая. — Ср. рассуждения Н. М. Минского: «Что же такое искренность? Прежде думали, что это соответствие между словом и делом. <...> Толстой пришёл и сказал <...> что искренность заключается <...> в гармонии между целью и средством» (ЗПРФС. С. 87).

...с Николаем Эдуардовичем и сестрой его Верочкой... — Свенцицкий познакомился с Владимиром Францевичем Эрном весной 1903, его сёстры Мария и Домна к героине отношения не имеют. Предположительно, её прототипом была одна из сестёр Королёвых (возможно, Варя), с которыми Свенцицкий был близко знаком. «Семья состояла из вдовы Александры Васильевны, энергичной и властной, не без самодурства, большой почитательницы Льва Толстого, а потом кадетской партии, — матери семерых дочерей и малолетнего сынишки. Королёвой принадлежали два небольших именица, в 40-50 верстах от Москвы, в Звенигородском уезде. И в течение многих лет на Святки, на Масляную и на Пасху, а то и на неделе в свободное время, наезжали мы в Коренево и Пителино» (Вишняк. С. 54–55).

С. 77. *...верю ему безусловно.* — Эрн писал о Свенцицком: «...с этим человеком я сошёлся очень близко, узнал его хорошо и преклонился перед ним *вполне*. Кроме горячего почитания — я испытываю к нему самую живую любовь» (ВГ. № 10).

...сидел я на берегу моря... — Свенцицкий страдал хроническим воспалением верхнего правого лёгкого (ЦИАМ. Ф. 418, оп. 317, д. 999, л. 32); по его словам, в 1897–1899 должен был жить в Крыму и регулярно приезжал туда до 1903, т. к. весной у него начинались сильные кровотечения (Там же. Л. 34 об.). Описанный далее эпизод вполне реален, если персонажей — Эрна и Свенцицкого — поменять местами.

С. 78. *...не человек, а образ.* — Авторский курсив неслучаен. Николай Эдуардович — alter ego странного человека и истинное «я» Свенцицкого. В соответствии с христианским идеалом «да будут едино, как Мы едино» (Ин. 17, 21), в его образе запечатлён образ Бога, таящийся в каждом из нас. Ср.: «он настоящий» (Наст. изд. С. 172); «оба они так чисты, так хороши» (ВГ. № 16).

Мягкие чёрные кудри... — Фотографии и современники свидетельствуют, что описание не соответствует внешности Эрна: волосы у него были редкие, «белые», «лицо как мочёное яблоко, глаза — навывкате» (*Белый А.* Начало века. М., 1990. С. 496); зато удивительно напоминает В. С. Соловьёва.

...и сильный, и любящий, и радостный, и прекрасный. — Ср. характеристику Свенцицкого, данную Эрном в письме к Ельчанинову 9 октября 1903: «Это ужасно сильная, богато одарённая личность во всех отношениях <...> поразительна его нравственная сила. <...> От него исходит какая-то сила, и кто попадает в круг её действия — тот относится к нему с трогательной любовью. <...> Он строгий аскет при удивительно бодром и весёлом настроении» (ВГ. № 6). По-видимому, Свенцицкий знал от Ельчанинова содержание писем друга, в романе-исповеди многократно встречаются почти точные цитаты из них.

...в присутствии Христа он не чувствовал своего неверия. — Ср. о Свенцицком: «В его присутствии чувствуешь свою мелочность, ограниченность и пошлость, так же, как чувствуешь себя в церкви. Возбуждается страстное желание очиститься, подняться — а к нему чувствуешь благоговение, восторг. <...> На всех окружающих он действует перерождающим образом» (Там же).

С. 79. *...один из вас предаст меня...* — Мф. 26, 21–25.

...поцелуй в Гефсиманском саду... — Мф. 26, 48–49.

С. 80. *...дьявольские звуки бетховенской сонаты.* — Пусть каждый выберет сам, какая из трёх знаменитых сонат больше соответствует описанию: «Патетическая» (1799); «Лунная» (1801); «Апассионата» (1805). Последнюю В. И. Ленин готов был слушать ежедневно: «Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью <...> думаю: вот какие чудеса могут творить люди!» (Ленин о культуре и искусстве. М., 1956. С. 517).

Я понял смерть. — Ср.: «Только по причине прямых противоположностей <...> жизни и смерти мы узнаём ясно ту и другую» (*Иоанн Кронштадтский*, прав. Моя жизнь во Христе. Запись 111). Каждый ли из трёх героев Свенцицкого (странный человек, Гедин, Реллинг) вправе утверждать, что знает смерть?

С. 82. *...в конце июля...* — 23 июля 1903 Свенцицкий был зачислен на историко-филологический факультет ИМУ, о его местопребывании до начала учебного года ничего неизвестно. В июле же 1904 гостил в имении Шер (ст. Спас-Клипики, Рязано-Владимирская ж. д.).

С. 83. *...Николай Эдуардович ~ уехал за границу учиться...* — Эрн уехал в Швейцарию осенью 1904, но с учёбой поездка связана не была. Здесь и далее автор сопрягает и преобразует действительные события, как того требует художественный замысел.

...основным свойством жизни, — изменяемостью. — Наука считает, что изменчивость присуща всем живым организмам: «...каждое существо в каждую минуту своей жизни, оставаясь самим собой, вместе с тем непрестанно изменяется» (Философская энциклопедия. Т. 2. М., 1962. С. 242). Христианство мыслит шире: «Всё, что создано, и изменчиво; неизменно же — одно только то, что — несотворенно» (Иоанн Дамаскин, св. Точное изложение православной веры. М., 1998. С. 118).

Мысль об её смерти не могла сгладить... — См. прим. к с. 167, 587.

С. 84. *...дьявольское наваждение...* — В перевёрнутом мире «Антихриста» благо и грех меняются местами. Пастор Реллинг называл это «дьявольскими фокусами».

...от Верочкиной тёти, Александры Егоровны... — Вероятный прототип — Александра Васильевна Королёва (см. прим. к с. 76).

С. 85. *...заставить всех бояться смерти, задуматься, страдать.* — См. прим. к с. 70.

С. 86. *Радоваться всякой твари имеем право только мы, верующие...* — «Можно ли радоваться тому, что впереди — одни лишь безысходные муки?» (Паскаль Б. Мысли. 335).

...живут для того, чтобы быть счастливыми. — «Давайте же задумаемся над этим, а потом скажем себе, что единственное несомненное благо в сей жизни дарует надежда на другую жизнь, что человек тем счастливее, чем ближе к ней, что точно так же не существует несчастий для неколебимо верующего в вечность, как нет счастья для непросветлённого этой верой» (Там же).

С. 87. *Всякий человек способен на всё.* — Прав был Ракитин, утверждая, что обуянный страстью, «будучи честен, пойдёт и украдёт; будучи кроток — зарежет, будучи верен — изменит»

(Достоевский. 14, 74). Сердце человека — микрокосм, вмещающий все бездны добра и зла. Пастор Реллинг также признавал, что способен на всё (С. 310).

С. 90. *...элементарном правиле...* — Неправомерное упрощение совращает ум в бездну: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их — путь к смерти» (Пр. 14, 12). Всё имеющее начало конечно, в т. ч. и бытие. Но Безначальный его Творец есть жизнь вечная, потому и воссылаем славу Ему и Сыну, победившему смерть, и Пресвятому Духу Животворящему.

Всё изменяется, всему конец... — Ср.: «Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся» (1 Кор. 15, 51).

С. 91. *...неверующие люди ~ умирают за других.* — Ср.: «...только в безверии и можно теперь встретить неподдельную искренность, и замечательно, что обыкновенно нападают на безверие не за то, что оно отвергает веру, в чём, однако, заключается его вина, а за то, что оно делает это откровенно, то есть за его честность и благородство» (Хомяков А. Сочинения богословские. СПб., 1995. С. 146). В обоих случаях имеется в виду не всякая вера, но только в Единого Бога и личное бессмертие (см. прим. к с. 138).

С. 92. *Всё останется по-прежнему.* — Одновременно со Свенцицким Эрн писал: «...на фоне довольства и отсутствия беспокойства за завтрашний день, только ярче, только безжалостнее подчеркнётся вся бессмысленность, вся нелепость, вся ненужность и весь ужас смерти» (Эрн В. Сочинения. М., 1991. С. 190).

...без освобождения от смерти. — «Мы должны освободиться от двух вещей: от господства над нами *времени* и господства над нами *смерти*»; в противном случае «вся наша свобода сводится к пустому месту. <...> **Тогда всякие попытки освободить человечество должны быть признаны нелепыми и утопичными.** <...> **Смерть делает совершенно призрачным и мнимым всякое утверждение свободы на нашей земле**» (Там же. С. 173, 180–181, 196). «Какая свобода в полном смысле слова может быть без вечности?» (Камю. С. 55). См. также прим. к с. 61.

...кто освободит от неё? — «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная... Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти» (Ин. 8, 36; Рим. 6, 23; 8, 2).

С. 93. *...ужели только два выхода...* — Да, только два: вечная жизнь или вечная смерть; и каждый волен выбрать по душе.

Странный человек допускает логическую ошибку, отвергая выбор. Видеть смерть во *всём* губительно для души («Записки» и драматическая диалогия вопиют об этом); ересь о всеобщем спасении лишает людей свободы самоопределения, толкает к духовному безразличию.

...не в силах выносить за границей... — Только через две недели после Кровавого воскресенья (видимо, получив письмо от Свенцицкого) Эрн выехал в Россию, причём настолько спешно, что не попрощался с близким ему Вяч. Ивановым: «Там люди сейчас слишком нужны. Не успел к вам зайти потому, что нужно спешить» (ОР РГБ. Ф. 109, к. 40, ед. хр. 1, л. 4).

Надо спасать Церковь... — Ср.: убеждение митр. Сергия (Страгородского) в 1927: «“Я спасаю Церковь!” — “Церковь не нуждается в спасении, а вы сами через неё спасаетесь” — “Ну да, конечно, с религиозной точки зрения бессмысленно сказать “я спасаю Церковь”, но я говорю о внешнем положении Церкви» (Акты Святейшего патриарха Тихона. М., 1994. С. 537).

...хоть бы один святой, подобный Филиппу... — Митрополит Московский и всея России Филипп (Фёдор Степанович Колычов; 1507—1569) обличал царя Ивана IV, измучившего страну беззаконием и лютыми казнями: «О Государь! Мы здесь приносим жертвы Богу, а за алтарём льётся невинная кровь христианская. Отколе солнце сияет на небе, не видано, не слыхано, чтобы цари благочестивые возмущали собственную державу столь ужасно! В самых неверных, языческих царствах есть закон и правда, есть милосердие к людям, а в России их нет! Достояние и жизнь граждан не имеют защиты. Везде грабежи, везде убийства — и совершаются именем царским! Ты высок на троне; но есть Всевышний, Судия наш и твой. Как предстанешь на суд Его, обagrённый кровью невинных?» Собором епископов лишён сана, убит по приказу царя. Прославлен в лике святых; крестный ход, расстрелянный царским правительством в 1905, был именно в день его памяти. Ни тогда, ни при Сталине, ни даже при Хрущёве подобных свят. Филиппу архипастырей, сполна осиливших подвиг, на Руси не нашлось.

С. 94. *...мало-мальски порядочный атеист.* — См. прим. к с. 91.

...как может она идти рука об руку с теми... — «Рядом с никогда не умирающей жизнью Христовой Церкви в церковной ограде всегда жило зло, и на это надо иметь открытые глаза, надо всегда знать, что “рука предающего Мя со Мною на трапезе”. Иоанн Златоуст не боялся осознать и говорить всем о духовной

болезни своей местной Церкви» (Фудель С. Собр. соч. Т. 1. М., 2001. С. 121).

...по пророческому слову... — «И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю... и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю» (Отк. 13, 3, 12); «по совершенном низложении силы народа святого всё это совершится» (Дан. 12, 7).

...народ, начавший свою революцию с хоругвями и пением «Отче наш»... — Крестный ход к царю-«заступнику» 9 января 1905 — одно из высших проявлений христианской сущности русского народа. Молитвенное шествие жаждущих правды, справедливости и защиты было явлением истинно церковным. Трусливо попятывшиеся иерархи и изгнанные провокаторы, озверевшие властители мира сего и отстранённо наблюдавшая интеллигенция — все отпавшие от соборного единства — повинны в начавшейся революции. На их головы в первую очередь опустился меч гнева Господня.

...если Церковь не остановит ~ содрогнётся мир. — Страшное пророчество сбылось: преданный царём, власть имущими и иерархами народ смёл оставивших его с лица земли. Воистину это был бич Божий. «Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам её... Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. ...И будет сожжена огнём, потому что силён Господь Бог, судящий её» (Отк. 18, 6–8).

С. 95. *...всё прах!* — Ср.: Еккл. 3, 20.

...и нет надо мной господина ~ Делаю, что хочу... — «“Только как же, спрашиваю, после того человек-то? Без Бога-то и без будущей жизни? Ведь это, стало быть, теперь всё позволено, всё можно делать?” — “А ты и не знал?” <...> Всё будет позволено <...> для каждого частного лица <...> не верующего ни в Бога, ни в бессмертие своё» (Достоевский. 15, 29; 14, 65).

С. 96. *Мученичества, чтобы за Христа ~ жажду этих страданий...* — Идея необходимости страдания на пути ко Христу вряд ли была одной из определяющих в жизни Эрна и характерна именно для Свенцицкого. Мысль обратиться к епископам и авторство текста также принадлежали ему. Об этом говорят присущие его стилю выражения и хронология событий (см. прим. к с. 93): у вернувшегося в Москву 25–26 января 1905 Эрна просто не было времени написать воззвание, а в последних числах января друзья уже были в Санкт-Петербурге.

Окружное послание (энциклика) — обращение архипастырей к народу в особенно важных обстоятельствах, требующих внимание всей церкви: о доблестях мучеников, появлении ересей, поместных определениях по догматическим вопросам (напр.: сщмч. Поликарпа Смирнского, свт. Фотия, Восточных патриархов в 1848).

С. 97. *Епископ Евлампий* — Имеется в виду еп. Антоний (Флоренсов; 1847—1918), с которым друзья познакомились через П. А. Флоренского. Обстоятельства знаменательной встречи были также описаны на выступлении в МРФО 21 ноября 1905 (*Свенцицкий В.* «Христианское братство борьбы» и его программа. М., 1906). Ни малейших упреков в искажении фактов доклад и брошюра не вызвали.

...я не верил в искренность его любви... — Описывая свой замечательный характер, еп. Антоний говорил: «А всё от того, что есть у меня одно качество. <...> Качество это — моё золотое сердце. Это моя способность погружаться до дна в каждое положение, входить в душу каждого, кто приходит ко мне, и говорить с ним как с самым дорогим человеком». Характерен эпизод: владыка сунул через дверь 40 копеек многодетной матери-одиночке, пришедшей к нему за духовной помощью, а когда та взвыла, вытолкал из приёмной, а потом несколько часов беседовал с богатой дамой и даже пригласил её отобедать. На вопрос «почему он так суров с посетителями?» отвечал: «Много я слёз проплакал вместе с ними, все выплакал, теперь у меня глаза всегда сухие». А в минуту откровенности заявлял: «...в этих плебейских классах много фарисейской закваски. <...> Ненавижу я их всех, этих невежд <...> и говорить с ними боюсь: мужик меня не поймёт, да ещё осудит» (*Ельчанинов А.* Епископ-старец // Путь. Орган русской духовной мысли. 1926. № 4. С. 507—510).

...упивается ролью отца-архипастыря. — «Мне нужно в их сердце прочное место завоевать. А то посадят тебя в подвал, в нижний этаж. Я этого не хочу; я хочу в самый верхний этаж. Я люблю горный воздух, орлиные места — залететь туда, да и считать оттуда ворон». По свидетельству очевидца, тирада была произнесена без малейшей иронии (Там же. С. 509). См. также прим. к с. 103.

...высокий, стройный ~ в белой шёлковой рясе... — Описание соответствует действительности (ср.: Журнал Московской патриархии. 1981. № 9/10. С. 74—75).

С. 98. *...в своей приёмной...* — Еп. Антоний «жил в Донском монастыре “на покое” с 1898 г., занимая точно то самое помещение, которое впоследствии было отведено Святейшему Патриарху Тихону, — от ворот сейчас же направо, в монастырской стене» (Ельчанинов А. Указ. соч. С. 505).

«Воззвание к епископам» — Не путать с написанным позже посланием «Епископам Русской Церкви» (Миссионерское обозрение. 1905. № 13. С. 603–606). Текст «Воззвания» частично приведён и в указанном реферате Свенцицкого: «...не дожидаясь, когда надвигающаяся буря стихийно охватит всю русскую жизнь», необходимо защитить справедливые требования народа «и тем встать впереди движения, сделать его христианским, сведя на нет силы революции. <...> Церковь одна может спасти страну».

С. 99. *...воплъ Сына Божия к Отцу...* — Перед смертью на кресте «возопил Иисус громким голосом: ...Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27, 46).

...мы с Евлампием преступники... — Остро чувствуя душу ближнего, Свенцицкий через себя выражает происходящее в ней. Обличая общую беду, ставит под удар прежде всего себя. Мужественный поступок — не только литературный приём: здесь духовное восхождение через унижение и покаяние. Все мы больны грехами Евлампия и что ни день отрекаемся от Христа — молчанием, ложью, страхом. «Вся русская церковь и вся русская земля несла ответственность <...> Вся земля и понесла кару — в годину смуты» (Федотов Г. Собр. соч. Т. 3. М., 2000. С. 95).

...авилонская блудница вновь воссядет на престоле, до срока творить мерзости, переполняя чашу гнева Господня. — Контаминация многих библейских стихов. Любопытно, что лексемы «воссесть», «престол», «творить» употребляются в Священном Писании только в отношении к Господу и благу.

С. 101. *Что тебе до меня...* — Лк. 8, 28 и далее: «Умоляю Тебя, не мучь меня. Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека» (Лк. 8, 29–30).

«Прореки нам...» — Мф. 26, 68.

...мы все сгниём, ~ а коли так, то всё позволено... — «Нет бес-смертия души, так нет и добродетели, значит, всё позволено» (Достоевский. 14, 76). В «Братьях Карамазовых» на разные лады мысль повторяют Иван и Митя, Смердяков, Ракитин, Миусов, Лягавый, Хохлакова, прокурор. Ныне в общественном сознании

утвердилась формула «Если Бога нет, то всё позволено», бессмертие забыто; так удобнее — Бога можно в себе убить или подменить любим, любимым божком.

...почти молитвой... — Нет, не почти: это истинная молитва.

...отыми робость из сердца служителей Твоих... — «Оставшимся из вас пошлю в сердца робость... и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует» (Лев. 26, 36).

...дай нам смелость и дерзновение ~ исповедать Святое Имя Твоё... — «Дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твоё», как и апостолы смело проповедовали во имя Господа Иисуса и говорили слово Божие со всяким дерзновением невозбранно (Деян. 4, 29; 9, 28; 14 19; 4, 31; 28, 31).

...возлюбить Тебя делом... — «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13).

С. 102. *Иеремия* — один из т. н. больших пророков, автор двух книг Ветхого Завета; с 15 лет призван к пророческому служению, обличал беззаконие царей, священников и лжепророков, предвещал кары «от пламенного гнева Господа» за отступление от путей Его.

...как епископ Церкви Христовой, не можете отказаться... — При наречении во епископа Антоний говорил: «Путеводной звездой для своей паствы должен быть епископ, а для сего он должен стоять на такой нравственной высоте, чтобы добрые дела его могли служить не только руководственным примером для других на пути ко спасению, но и побуждением для них к прославлению Отца нашего Небесного» (Церковные ведомости. 1890. 15 августа. № 34).

С. 103. *Такой отказ равносильен отречению от Христа.* — Свт. Филипп на требование царя отказаться от обличения сказал: «Тщетна тогда будет вера наша! Тщетно и проповедание апостольское! <...> И даже само вочеловечение Владыки, совершённое ради нашего спасения! <...> За истину благочестия я подвигаюсь. Хоть бы и сана меня лишили или самым лютым страданиям предали — не смиряемся! <...> Но да не будет — чтобы я об истине умолчал! Не посрамлю епископский сан!» (Федотов Г. Указ. соч. С. 202–206).

...на моё место назначат ~ дубину. — Весьма популярная позиция и в эпоху развитого социализма. Ср.: «Не я, так другой, — может я, как человек порядочный, принесу <...> какую-то пользу... Вот оправдание любой карьеры» (Светов Ф. Опыт биографии. Париж, 1985. С. 230).

...засадят в монастырь... — В 1909 еп. Антоний хлопотал об открытии Соловецкой пустыни возле Симбирска и никак не мог найти подходящего игумена. На предложение встать самому во главе монастыря отвечал: «Ну нет! Чтоб я связал себя цепями! ни в каком случае! Это для меня слишком низко, я дальше смотрю! <...> А там мне придётся и к архиерею, и в консисторию, и к нотариусу — благодарю покорно. <...> Нет! Я отсюда не уеду!» (Ельчанинов А. Указ. соч. С. 511).

Плохо у нас в России... — В 1910 еп. Антоний «говорил, что понимает антипатию к русскому самодержавию, говорил о множестве исторических ошибок, допущенных нашим правительством, упрекал его в покровительстве немцам и в полном непонимании основного духа нашей народности и православия» (Там же. С. 512).

...наипаче оценил бы ~ смирение. — Ср.: «Когда пресвитеры — воины воинствующей Церкви Христовой, которым Бог поручил блюсти Церковь свою, — из смирения не поднимают духовного меча своего <...> смирение их не доблесть» (Волконский С. М. К характеристике общественных мнений по вопросу о свободе совести // ЗПРФС. С. 104).

«Кто хочет...» — Мф. 20, 26. Не к месту приведённый завет Христа обнажает фарисейство архипастыря. Упрекать честных людей в превозношении — любимый приём смирившихся со злом. Ср. увёртку митр. Сергия (Страгородского) в ответ на требование противостоять богоборческой власти: «Я хочу пострадать за Христа, а вы предлагаете отречься от Него». — «Эта ваша позиция называется исповедничеством. У вас ореол...» — «А кем должен быть христианин?» (Акты Святейшего патриарха Тихона. М., 1994. С. 537).

...полуязыческих-полужитейских рассуждений... — Ср.: «...полуфарисейские, полубуддийские рассуждения об общественном и политическом “непротивлении”, которые твердятся некоторыми представителями духовенства» (Эрн В. Христианское отношение к собственности. М., 1906. С. 36). Как правило, таким словоблудием прикрывают обычную трусость. «Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтоб угодить военачальнику» (2 Тим. 2, 3–4). «Не так же ли поступают и язычники?» (Мф. 5, 47).

С. 104. *...всякий раз ~ вы отрекаетесь от Христа.* — Молчание об истине и поругании веры — потворство злу. Такое

«молчание на твою душу грех налагает и приносит смерть всему народу» (Житие исповедника Филиппа // *Федотов Г.* Указ. соч. С. 192). «Я не могу оскорбить Бога замалчиванием того, что говорить и исповедовать повелел Он» (Житие прп. Максима Исповедника. 42).

...где же тогда Церковь... — Тот же вопрос задаёт о. Никодим во «Втором распятии Христа» (см. прим. к с. 19).

В смехе есть что-то страшное. — «Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам» (Еф. 5, 4). Свт. Иоанн Златоуст в толкованиях восклицает: «Христос распялся на кресте из-за твоих злодеяний, а ты смеёшься?» Смех, «как и положено оргии <...> ускользает от контроля воли, он — стихия, худо поддающаяся обузданию» (*Аверинцев С. Бахтин и русское отношение к смеху // От мифа к литературе. М., 1993*). Подробнее о феноменологии смеха см.: *Аверинцев С. Бахтин, смех, христианская культура // М. М. Бахтин как философ. М., 1992*.

С. 105. *Антихрист победил земную Церковь!* — О человеческом делении Церкви на земную и невидимую см. прим. к с. 47; о грехах земных церквей и временной победе апокалипсического зверя достаточно сказано в Откровении св. Иоанна Богослова (см. прим. к с. 20). У святых отцов грядущее «низложение силы народа святого» (Дан. 12, 7) не вызывало сомнения: «...должно полагать, что здание Церкви, которое колеблется уже давно, поколеблется страшно и быстро. Некому остановить и противостоять» (*Игнатий Брянчанинов*, свт. Письма о подвижнической жизни. М., 1995. С. 372).

...вы пойдёте на этот святой подвиг... — «Знать Бога — это глубокий и неизъяснимый словами опыт Церкви, ведомый только ей самой. Быть откровением Божиим — её задача и ответственность; будучи Его откровением, она тем самым есть свидетельница своего Бога, потому что обезбоженный мир видит Бога только в Его Церкви и через неё, судит Христа по Его Церкви; и прозревает Троичную тайну и тайну Божественной жизни, познавая истинное призвание человечества по образу и явлению этой новой жизни — которая есть Церковь в единстве её познания, её поклонения и её любви. И это явление должно быть откровением тайны жизни не только на словах, но славной жизнью единства с Богом и в Боге» (*Антоний Сурожский*, митр. И о соединении всех господу помолимся // *Вестник Европы. 2003. № 10*).

...слова его так связывают меня ~ словно связан чем ~ Это пути зверя... — Акцентируя наше внимание на сходстве ощущений героев, автор показывает, как Антихрист формально копирует действия Бога, меняя знак на противоположный.

С. 106. *Правда сильнее силы...* — Ср. пословицу «Не в силе Бог, а в правде». Поступающий по правде идёт к свету и приятен Богу (Ин. 3, 21; Деян. 10, 35).

Весь мир действительный исчез... — Для абсурдного человека «смерть становится единственной реальностью» (Камю. С. 55).

С. 107. *...и не мною одним...* — Эрн писал о Свенцицком 20 августа 1908: «...мне вдруг стало страшно судить его, потому что перед лицом Божиим всё то, что я в нём осуждаю, есть, наверное, и во мне» (ВГ. Письмо № 99).

...до непозволительности откровенно... — «Объективно-беспощадное понимание сложившейся реальности» А. А. Зиновьев считал необходимым условием выживания народа: «Желаю моим соотечественникам стремиться к этому пониманию, каким бы ужасающим оно ни было» (Литературная газета. 2005. 28–31 декабря. № 54. С. 2).

Красива она издали ~ в ней всё смерть... — Ср. убеждение Эдгара Гедина («Смерть») и о Савватия («Песнь песней»).

С. 108. *...гусеница с лицом человеческим...* — «Зло неиконично, оно без-образно, оно не имеет собственного образа и потому постоянно ищет возможности втиснуться в образ, “во-образиться”, “воиконовиться” <...> Краеугольный камень православного учения о зле состоит в том, что зло — это не-сущее <...> не имеет собственного бытия и может существовать лишь как паразит на теле добра» (Лепяхин В. Образ иконописца в русской литературе XI–XX веков. М., 2005. С. 193–194).

...и живёт во мне, и ест душу мою. — Митя Карамазов тоже чувствовал, как растёт, разрастается в душе жестокое насекомое: «И мы все <...> такие же, и в тебе, ангеле, это насекомое живёт, и в крови твоей бури родит» (Достоевский. 14, 100).

С. 109. *Но они, все они были здесь.* — «Бесы — не отвлечённое понятие, не символ, не иносказание и, тем паче, не продукт невежества. Они есть несомненное, действенное и личное начало потустороннего мира» (МвМ. 1, 18). См. также прим. к с. 180.

Я центр мира... — Ср.: «Христианство антропоцентрично, оно предполагает, что весь мир создан для человека, и поэтому когда

человек идёт путем греха, он ломает суставы всей вселенной» (Кураев А. Как жизнь называют даром).

Я Царь! Я Бог! — Ср. строки Г. Р. Державина «Я царь, — я раб, — я червь, — я Бог!» («Бог», 1780—1784) и И. А. Крылова «Я царь, но я не Бог» («Кукушка и орёл»).

С. 110. ...«теория Антихриста»... — Аллюзии на неё (в т. ч. скрытые цитаты) встречаются в статье Мережковского «В обезьяньих лапах» (гл. VI), написанной сразу после выхода романа.

«Ты ли Царь Иудейский?» — Мф. 27, 11 (без частицы «ли»).

«Заклинаю Тебя...» — Мф. 36, 63.

...сын Смерти... — Ср.: «Для Розанова Христос есть дух небытия, а христианство — религия смерти, апология сладости смерти. И вот религия рождения и жизни, проповедуемая Розановым, объявила непримиримую войну Иисусу сладчайшему, основателю религии смерти» (Николюкин А. Розанов. М., 2001. С. 410).

...не воскресший, а сгнивший... — Типичный приём слуг антихриста — объявить Его мёртвым: «бог умер» (Ф. Ницше), «всякий боженька есть труположество» (В. И. Ленин). «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша» (1 Кор. 15, 14). Но если уверовать в Спасителя, то изложенная героем духовная история человечества явится поэтической апологией христианства.

С. 111. *Христос не победил смерть.* — Ср. сон-видение В. И. Иванова: «То победные песни?.. Так Смерть победила — не Ты?..» («Неведомому богу», 1903).

...страх смерти создал Христа. — Кириллов в «Бесах» заявлял: «Человек только и делал, что выдумывал бога, чтобы жить, не убивая себя; в этом вся всемирная история до сих пор» (Достоевский. 10, 471).

Он должен был придти... — Эту мысль повторяют все евангелисты: «...это истинно Тот Пророк, Которому должно придти в мир» (Ин. 6, 14).

С. 112. *...полной противоположностью смерти, с её страхом ~ любовь...* — «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх... Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (1 Ин. 12, 18; Ин. 15, 13).

...высочайшей любовью, божественной красотой и абсолютной истиной. — Идеалы Древней Греции (добро, красота, истина), унаследованные В. С. Соловьёвым (считал их исчерпывающими содержание идеи совершенства), Н. А. Бердяевым (определяя действие Бога в истории, добавлял к ним совесть),

П. А. Флоренским (отождествляя «метафизическую триаду» с духовной жизнью), не удовлетворяют христианскому представлению о высших ценностях. Свенцицкий приводит классическую для гуманизма триаду в соответствие с ним и снабжает каждый член уточняющими определениями. Любопытно, как по ходу рассуждения модифицируется понятие «творчество».

...Его воскресение — последняя надежда мира... — Ср.: «...человек подхватывает великий крик надежды, идущий сквозь века и воодушевлявший столько сердец — кроме сердца абсурдного человека» (Камю. С. 44).

С. 113. *...смерть, по-прежнему истребляющая всех...* — Ср.: «Разве смерть не превращает в недостойный обман все наши святыни?» (Трубецкой Е. Н. Свобода и бессмертие. М., 1906. С. 11).

«Последний враг истребится — Смерть». — 1 Кор. 15, 26. Свт. Иоанн Златоуст поясняет: «После всех, после дьявола, после всего прочего, ибо и в начале смерть вошла после всего <...> Сила её и теперь упразднена, но действие прекратится тогда».

...обнаружению лжи воскресения Христа. — Ср.: «Бунт против удела человеческого сочетается с безоглядным штурмом неба, цель которого — пленить царя небесного и сначала провозгласить его низложение, а затем приговорить к смертной казни» (Камю. С. 136).

...восстановил истинное значение смерти. — Ср.: «Метафизический бунт — это восстание человека против своего удела и против всего мироздания. Этот бунт метафизичен, поскольку оспаривает конечные цели человека и вселенной. <...> Метафизический бунтарь заявляет, что он обделён и обманут самим мирозданием. <...> Хочет только одного — разрешить это противоречие, построить, если это возможно, единое царство справедливости или царство несправедливости, если он доведёт свой принцип до последнего предела. А пока он избличает противоречие» (Камю. С. 135–136).

С. 114. *Теперь жаждают Антихриста...* — Ср.: «...с каждым днём его приёмы становятся более и более беззастенчивы, а слово более и более ясно» (Хомяков А. Сочинения богословские. СПб., 1995. С. 147). Например, Е. П. Блаватская в «Тайной доктрине» (Т. 2) открыто утверждает: «Именно сатана является Богом нашей планеты и единым Богом»; количество же поклонников теософии и прочей нечисти продолжает расти.

...идеалами становятся ~ страх, безобразия и разрушение. — Ср. убеждение великого инквизитора: «...надо идти по указанию

умного духа, страшного духа смерти и разрушения, а для того принять ложь и обман и вести людей уже сознательно к смерти и разрушению» (*Достоевский*. 14, 238). «Поклонение протесту, злобе и отрицанию усилилось особенно с тех пор, как огромная часть сил учёных перешла в лагерь профессиональных врагов религии, врагов Христа» (*Антоний (Храповицкий)*, митр. Словарь к творениям Достоевского. М., 1998. С. 109).

...атеисты и нигилисты по преимуществу... — Ср.: «Метафизический бунтарь — вовсе не обязательно атеист <...> но это богохульник поневоле. Просто он богохульствует сначала во имя порядка, будучи уверен, что Бог порождает смерть и метафизический скандал» (*Камю*. С. 135–136).

Смерть, всё равно неизбежная, скорее бы... — Ср.: «Явились религии с культом небытия и саморазрушения ради вечного успокоения в ничтожестве» (*Достоевский*. 25, 117).

...коллективный Антихрист живёт во всём человечестве... — Ср.: «...антихрист будет кость от кости человечества и плоть от плоти его, он будет порождением и деятельность его будет плодом крайнего развращения, до которого дойдут люди в последние времена. <...> Он сделается как бы выразителем и представителем зла всего человеческого рода» (*Беляев А. Д.* О безбожии и антихристе. Сергиев Посад, 1898. Репр. М., 1996. Ч. 1. С. 193).

С. 115. *...человек является носителем духа Антихриста... —* Сартр в работе «Бытие и ничто» (1943) определяет человека как «бытие, благодаря которому появляется Ничто». См. также прим. к с. 184.

...силой Антихриста. — Ср. слова прп. Варсонофия Оптинского: «Весь мир находится как бы под влиянием какой-то силы, которая овладевает умом, волей, всеми душевными силами человека. <...> Словно кто-то овладел им и заставляет его всё это делать. Очевидно, что эта посторонняя сила — сила злая. Источник ее — диавол, а люди являются только орудиями, средством. Это антихрист идёт в мир, это — его предтечи» (*Никон Беляев*, иером. Дневник последнего старца Оптиной пустыни. СПб., 1994. Запись от 27 ноября 1908).

...«солнце померкнет...» — Мф. 24, 29.

...в вечном молчании будет носиться над вселенной. — Антихрист во всём противоположен Господу: ср. Ин. 1, 1 и первый день творения (Быт. 1, 2).

С. 118. *...и вдруг перед такой-то девочкой... —* Против этого соблазна не устоял Л. Толстой: перед свадьбой показал свои весьма откровенные дневники 18-летней Соне Берс.

С. 119. *...самая острая сторона внутренней работы ~ совершается среди людей...* — «Бог так устроил, чтобы люди были управляемы людьми же» (Иоанн Моск. Луг духовный. Глава 199). Потому и исповедь так устроена, что на ней трое: кающийся, священник и Господь (Ин. 20, 23; Мф. 18, 15–17).

С. 121. *Христос о детях так не говорил...* — Ср.: «Братия! Не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни» (1 Кор. 14, 20).

С. 124. *...в первый раз, не в фантазии...* — Важное уточнение для характеристики героя.

С. 127. *...фактически, внешне...* — Под словом «факт» Свенцицкий всегда понимает внешнюю сторону явления.

С. 129. *...действительность лгала...* — Ср.: «Совершенно другие я понятия имею о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики. Мой идеализм — реальнее ихнего» (Достоевский. 28, II, 329).

...лжёт он или нет? — Странный человек не лгал, посылая телеграмму, но, правдиво описав внешнюю сторону духовного события, всё же погружается в ложь, приплетая к делу общего знакомого. Дальше — больше. Если бы вошёл вместе с посланием, а лучше прочёл сам и объяснил смысл, а потом открыто поведал свою беду, обнажил, как здесь, в исповеди, гнилое нутро, покаялся в стыде и слезах, — в точности бы умер. Умер для греха! Пойдя на позор, на распятие гордыни — убил бы в себе гнусного двойника и тем восстановил правду.

С. 130. *...для спасения своего окунуться в животворящий поток общей радости...* — Золотые слова, но нельзя добывать лекарство ценой «слезинки ребёнка» (хотя бы потому, что оно теряет чудодейственную силу).

С. 133. *Форма ~ не совсем литературная...* — Ср.: «Неправильный, небрежный лепет, / Неточный выговор речей / По-прежнему сердечный трепет / Произведут в груди моей» (А. Пушкин «Евгений Онегин»).

«Дорогой друг!» — Замечательнейшее письмо Верочки, названной сестры Татьяны Лариной, Ольги Ильинской и Варвары Добросёловой, занимает достойное место в ряду образцов эпистолярного жанра. Вопрос лишь в том, художественная ли это литература (ср.: «...приведу его целиком, в том же виде, как и в подлиннике»).

С. 136. *...ничего не дали человечеству.* — «Не нужно особой мудрости и особой духовности, чтобы осознать, что не может

быть оправдана жизнь ни многоэтажными домами, ни всевозможными чудесами современных технических изобретений, что не может быть она оправдана утончённостью наших плотских наслаждений, что не может оправдать жизни нашей, скорбей наших всё то, чем пытается оправдаться безбожие. Для этого не надо большой мудрости — достаточно не иметь безумия» (*МвМ.* 2, 323–324). «А душевный (многознающий, искусник, делец), а тем паче плотяный — не есть настоящий человек, как бы красным не являлся он вовне. Он — безголов» (*Феофан Затворник*, свт. Что есть духовная жизнь... М., 1997. С. 65).

...толстовскую мысль... — Толстой в «Исповеди» (гл. 1 и 3) разделял усовершенствование вообще, т. е. прогресс, и нравственное (личное) совершенствование, а для последнего многое считал бесполезным. «Все наши действия, рассуждения, наука, искусства — всё это предстало мне как баловство» (гл. 10).

С. 137. *...что дала человечеству наука?* — «С помощью науки можно улавливать и перечислять феномены, нисколько не приближаясь тем самым к пониманию мира. Моё знание мира не умножится, даже если мне удастся прощупать все его потаённые извилины» (*Камю.* С. 34).

...капиталом называется... — Ср.: «Капитал — средства, орудия и материалы производства, являющиеся продуктом предшествующего труда, обращённым на производство новых ценностей» («Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона»); «предварительно накопленный запас продуктов прежнего труда <...> служащий производству новых ценностей» («Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона»).

...зачем вам знать формулу куриного белка? — Схожие мысли высказывал Л. Толстой в работе «Что такое искусство?» (1897): «...ничтожны все, доставляющие им [учёным] такую наивную гордость, знания, — не говорю уже о воображаемой геометрии, спектральном анализе Млечного Пути, форме атомов, размерах черепов людей каменного периода и т. п. пустяках, но даже и знания о микроорганизмах, икс-лучах и т. п.» (гл. 20).

...«учёные» на вопрос, ребром поставленный, никогда ничего не отвечают. — Не могут и не должны: в отличие от религии, наука ищет причины, а не цели событий (ср. вопросы «почему?» и «зачем?»).

С. 138. *...тридцатилетнего нашего существования...* — Странный человек несколько раз называет именно такой срок.

...наука обосновала социализм! — Ср.: «Человеческий ум склонен к рабству. Особенно подчиняется он “общепризнанному в науке”. Ссылка на науку — это обычный приём “гипнотизёров”, которые любят держать общественную мысль в послушании» (Валентин Свенцицкий, свящ. Письма о социализме. Ч. 1 // Церковные ведомости. 1919. № 6).

...обман ловкий, со всеми внешними признаками правды... — Условно описываемая термином «социализм» пародия на христианство использует для соблазна людей его формы (от аскетизма до почитания мощей), подменяя дух на противный и создавая своих божков. Здесь ответ на недоумение странного человека об умирающих не ради личных выгод «атеистов».

...здесь говорят: верь... — «И вот, в виде суррогата, является вера в человечество, в социальные формы, в социальный прогресс и будущий земной рай материализма. Это была вера, а не убеждение, вера, хотя и перенесённая в область сравнительно ничтожную, недостойную, вера, приниженная до нашего умственного состояния» (Тихомиров Л. Начало и концы. Либералы и террористы // Критика демократии. М., 1997. С. 75).

...кушайте, мол, поровну! — О трёх искушениях Христа (Мф. 4, 1–10) Бердяев писал: «Социализм как религия, как замена хлеба небесного хлебом земным, как построение Вавилонской башни, социализм, обоготворивший ограниченное человечество, социализм позитивный и есть один из образов первого искушения» (Бердяев Н. Великий Инквизитор // О великом инквизиторе. Достоевский и последующие. М., 1991. С. 225).

...апофеоз блестящей человеческой истории ~ корона на голову царя природы! — Здесь есть и ещё один смысловой план. Ср.: «Чтобы видеть это посрамление [человеческого разума] <...> достаточно совершить прогулку на кладбище. Тут мы найдём безобразную, возмутительную пародию на все наши идеалы и формулы <...> величественный уравниватель — смерть пошла дальше самых смелых наших утопий: она сорвала с человека его царственный венец и уравнила с прахом» (Трубецкой Е. Н. Свобода и бессмертие. М., 1906. С. 10).

С. 139. *...тогда-то начнётся самое настоящее...* — Ср.: «...выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое и бесчеловечное, что всё здание рухнет, под проклятиями человечества, прежде чем будет завершено. Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов. Это аксиома» (Достоевский. 21, 132–133).

...«бытие не есть...» — Чистое бытие Г. В. Ф. Гегель считал началом философии и на этом фундаменте воздвигал титаническую систему категорий. «Но понятие чистого бытия, т. е. лишённого всяких признаков и определений, нисколько не отличается от понятия чистого ничто; так как это не есть бытие чего-нибудь (ибо тогда оно не было бы чистым бытием), то это есть бытие ничего» (Соловьев В. С. Гегель // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 8. СПб., 1892). «Чистое бытие и чистое ничто есть, следовательно, одно и то же» (Гегель. Г. В. Ф. Наука логики. СПб., 1997. С. 69). «Никогда такой страшной задачи, такого дерзкого предприятия не задавал себе человек. Вечное, самовозрождающееся творение из недр отвлечённого понятия, не имеющего в себе никакой сущности» (Хомяков А. Полное собр. соч. Т. 1. М., 1911. С. 265).

С. 140. ...отражение жизни... — Материалистическое, т. е. бездуховное понимание творчества. Концепцию искусства как отражения жизни в России разрабатывал Н. Г. Чернышевский; теорию отражения развивал Ленин. В этом аспекте марксистско-ленинская эстетика противопоставляла искусство религии. И неспроста. Мы создаем себя, поскольку наделены «творческой способностью осуществлять надлежащее» (Максим Исповедник, прп. Т. 2. М., 1994. С. 123) — не механическим мастерством «отражения» или обезьяньим артистизмом «подражания», но талантом преображения, лишившись которого стали бы безвольными, как зеркала.

Вот-с как должен рассуждать неверующий трезвый человек. — «Экзистенциализм — это не что иное, как попытка сделать все выводы из последовательного атеизма» (Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм // Сумерки богов. М., 1989. С. 344).

С. 141. ...дальше стена. — Свенцицкий во многом предвосхитил искания философии экзистенциализма, в т. ч. в «описании болезни духа» — безверия, «той болезни, у которой последнее есть смерть и смерть в которой есть последнее» (Камю. С. 24, 35). Персонажи рассказа Сартра «Стена» (1939) рассуждают о смерти: «А что будет потом? <...> Потом тебя будут жрать черви. <...> Потом ничего не будет. <...> Я материалист, могу тебе в этом поклясться, и, поверь, я в своём уме и всё же что-то у меня не сходится. <...> Неужели мы исчезнем бесследно?» Для неверующего сознания — от героев Достоевского и Л. Толстого до одноимённого альбома группы «Pink Floyd» (1979) — стена стала символом смерти, христиане же видят в ней ворота воскресения.

...вот сейчас они обязательно упрутся в стену... — Странный человек уже давно упирался в вопрос о смысле жизни, «как в глухую стену» (С. 85). Ср.: «...очевидно, стена уже перед нами и мы уже упираемся в неё, не желая только в этом сознаться» (Эрн В. Сочинения. М., 1991. С. 173).

С. 146. *Николай Родионов* — Прототип не установлен.

С. 147. *На днях я тоже еду в Македонию.* — Эрн сообщал Ельчанинову о Свенцицком: «...он на днях едет в Македонию для подачи медицинской помощи македонцам» (ВГ. № 10). В. И. Кейдан произвольно датирует письмо 12 апреля 1904 и увязывает с неким землетрясением — это явные ошибки. 20 июля 1903 на юго-западе Македонии началось Илинденское восстание против османского ига (поводом стала резня турками христианского населения), а 19 августа в восточной Фракии Преображенское восстание болгар. К ноябрю оба были подавлены, погибли тысячи повстанцев, десятки тысяч эмигрировали. В том же письме упоминается «недавний гомельский погром», произошедший 29 августа и 1 сентября 1903. Если учесть, что в предыдущих посланиях Эрна от 9 октября и 17 ноября 1903 есть факты, тесно связанные с искомым письмом, его необходимо датировать концом ноября 1903 (странный человек писал из Софии в начале декабря). При той обстановке границу было не пересечь при всём желании; тем паче мы не вправе приписывать автору художественного произведения грехи персонажа.

С. 148. *Сказал, а зачем, почему — не знаю!* — «Он действует, как повлечёт его свой нрав и сплетение внешних обстоятельств жизни, действует по движению душевно-телесных изменений и по течению окружающих событий, позволяя себе самоуправление на столько, на сколько даёт к тому сил его самолюбие» (Феофан Затворник, свт. Письма о духовной жизни. М., 1997. С. 18). Не стоит думать, что в данном случае это диавольское наущение. Нет. Так на месте странного должен был поступить любой порядочный человек.

С. 149. *Человеческая душа ~ самый возмутительный сумбур.* — «Смотрите, какое там разнообразие действий и движений! То одно, то другое, то входит, то выходит, то принимается, то отвергается, делается и переделывается. Ибо душа приснодвижна и на одном стоять не в силах. <...> Мысль сходит в архив памяти и помощью воображения перебирает там весь собравшийся хлам, переходит от истории к истории по известным законам

сплетения представлений, приплетая к бывалому небывалое, а нередко даже невозможное <...> Говорят: углубился. Углубился, но в пустоту <...> Это есть то же, что сонное мечтание, — праздномыслие и пустомыслие» (Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь... М., 1997. С. 26, 32).

С. 150. *...случалось ли и с другими что-нибудь подобное?* — То же происходит, например, в к/ф «Облако-рай» (реж. Н. Н. Досталь, 1990).

С. 151. *Это альфа и омега всего.* — В Апокалипсисе Господь четырежды называет себя так: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний» (Отк. 22, 13).

С. 157. *...возвышалась сутуловатая фигура...* — Эрн, по описанию Белого: «дылдыстый <...> казался аршином складным» (Белый А. Начало века. М., 1990. С. 298–299).

С. 159. *Инсургент* — повстанец, участник восстания.

С. 160. *...мертвецы хоронят своих мертвецов.* — Ср.: Мф. 8, 22.

С. 161. *Если есть кто-нибудь...* — Чтобы вернуть этому страстному воплю подлинный смысл, достаточно заменить одно слово: «жизнь» — на «смерть».

С. 162. *...на Рождестве ~ через год после моего возвращения из Македонии.* — Таким образом, знакомство с Марфой надо отнести к концу 1904, а борьбу с искушением, её приезд и смерть Верочки в результате уличных беспорядков — к осени 1905. Но события религиозно-общественной жизни странного человека разворачиваются в ином хронотопе.

...одним словом, гадость! — Отвращение вполне оправдано: описанный шабаш в масках имеет мало общего с благообразным празднованием Рождества Спасителя.

С. 167. *...наваждение было сильнее смерти...* — Ср. безуспешную попытку старца отвлечь от плотских искушений молодого послушника в рассказе «Песнь песней» (см. прим. к с. 587). Чистая любовь к Верочке тоже пересиливала смерть, но потом странный человек счёл её «дьявольским наваждением».

С. 170. *...чтобы придерживаться хронологического порядка...* — Для событий второго (не по значимости) плана повествования он никак не соблюдается, переходы от «сердечных дел к религиозным» обусловлены сугубо композиционными задачами.

С. 171. *Уверуешь, мол, и ничего не изменится.* — Свенцицкий выявляет очередную дьявольскую ловушку, попытку разъединить нас со Спасителем. Да, всё останется по-прежнему, если ограничиться отвлечённым суждением. Признание Бога умом,

без сердечной решимости следовать за Ним, по существу ничего не даёт: без сораспятия Христу не будет нравственной перемены. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним» (Рим. 6, 8).

Всё лето и часть осени ~ в лесной сторожке ~ «Спасался»... — И это должно отнести не к Эрну, а к Свенцицкому: именно он удалялся в свою дачу-избушку, «на лоно природы для медитаций» (*Вишняк*. С. 168). Решение «выходить на активную общественную работу» созрело у друзей осенью 1904 (годом позже она уже вовсе велась).

С. 172. *...дёрганности, нервной растерянности ~ выдают за глубину душевную.* — «В мире эта расколотовость души, создающая в человеке единоборство самых противоположных мыслей, желаний, настроений, считается почти достоинством. Это именуют “сложностью натуры”. Этим хвастаются, это выставляют напоказ. Считают неизбежным свойством “натур одарённых”. Вступающий на путь духовной жизни сразу видит, какую тяжёлую болезнь выносит он из жизни мирской — именно в виде этой восхваляемой миром “сложности”. Большая часть усилий его идёт на то, чтобы освободиться от “двоящихся мыслей”, от этой “сложности” и стать простым, т. е. цельным, ибо где духовность, там простота и цельность» (*МвМ*. 1, 69).

...неволью подчиняюсь... — Эрн писал о Свенцицком: «...в самых трудных и запутанных вопросах он разбирается легко и так уверенно, что эта уверенность передаётся и другим; сложные и самые трудные философские вопросы он уяснил себе до конца, и его мировоззрение поражает своею стройностью и цельностью даже тех, кто с ним совсем не согласен» (*ВГ*. № 6).

Главное несчастье христианского дела ~ все врозь. — Тому же ужасался после прочтения романа-исповеди Бердяев (*Наст. изд.* С. 696). Это следствие забвения соборности — одного из главных признаков Церкви.

...политическая и экономическая программа... — См.: *Свенцицкий В. «Христианское братство борьбы»* и его программа. М., 1906.

С. 173. *...пошлейших немецких «христианских социалистов».* — Свенцицкий неоднократно отрицательно высказывался об этой идеологии; напр.: «Самое понятие “христианский социализм” — такая же бессмыслица, как сухая вода или мокрый огонь» (*Валентин Свенцицкий*, свящ. Письма о социализме. Ч. 1 // *Церковные ведомости*. 1919. № 6). Все попытки наклеить подобный ярлык основаны на недостаточном знакомстве с его работами и

характерны для жандармов и либерального дилетантизма (ср.: *Достоевский*. 14, 64).

Я хочу создать «Союз христиан»... — План создания и цели ХББ, основанного Свенцицким и Эрном в начале февраля 1905, описаны точно. Важно, что после споров друзья отказались считать его партией (в отличие от задуманного Булгаковым полгода спустя «Союза христианской политики»).

С. 174. *...поддакивал я этому плану.* — Ср.: «...я лично пытался кликнуть клич на основание “Союза христианской политики”, но для этого у меня самым очевидным образом не хватало ни воли, ни умения, ни даже желания, это предпринято было, в сущности, для отписки, ради самообмана» (*Булгаков С. Тихие думы*. М., 1996. С. 335).

С. 175. *...приготовить программы ~ несколько воззваний.* — Авторство их последних редакций следует считать плодом коллективного творчества (в т. ч. о. Константина Аггеева, С. А. Аскольдова, Булгакова и др.).

С. 177. *...прокляните меня серьёзно, твёрдо, вдумчиво, как я этого заслуживаю.* — Петровская в указанной рецензии отмечала: «Свенцицкий не жалеет красок, чтобы <...> показать себя не только жалким, но и отвратительным». Другой критик предполагал: «Свенцицкий, видимо, считал такое самоуничужение необходимой частью своего духовного совершенствования» (*Фатеев В. Указ. соч. С. 382*). С. Кьеркегор по сходному поводу возвещал: «В своём падении верующий обрящет триумф». Истинное объяснение просто: «Жертва Богу дух сокрушённый (Пс. 50, 19), ибо кто возвышает себя, тот унижен будет; а кто унижает себя, тот возвысится» (Мф. 23, 12).

...искра живой жизни... — «И если полная действительность бесконечной человеческой души была осуществлена в Христе, то возможность, искра этой бесконечности и полноты существует во всякой душе человеческой» (*Соловьёв В. С. Соч. в двух томах. Т. 2. М., 1988. С. 306*). О генезисе понятия «живая жизнь» подробнее см.: *Достоевский*. 17, 286–287; *Русская речь*. 1981. № 2. С. 5–11. В значении «бессмертное, неподверженное тлению» неоднократно встречается у Ф. М. Достоевского в «Дневнике писателя» (см. прим к с. 62, 65). 27 ноября 1907 вышел первый номер затеянного Свенцицким и Эрном журнала «Живая Жизнь».

С. 180. *...чувствовать самого себя ~ прислушиваться к легиону голосов...* — Страшно, что герой приравнивает противополож-

ное (автор заостряет на этом наше внимание, выделяя курсивом местоимения). Ср.: изгнанный из человека дух нечистый отвечал Иисусу: «Легион имя мне, потому что нас много» (Мк. 5, 9).

С. 181. *...окончательно внутренне определен* ~ *цельностью господина своего*. — Ср. впечатление Эрн от Свенцицкого: «От сближения с ним я обновился и почувствовал, что во мне что-то назревавшее — назрело до конца и определилось навсегда. Ты представь себе только: ни одного противоречащего впечатления от него не было, ни одной хотя бы крохотной чёрточки. Цельность необычайная» (ВГ. № 10).

Через неделю учредительное собрание. — Оно состоялось в феврале 1905, после отказа в содействии еп. Антония (Флоренсова), еп. Сергия (Страгородского) и петербургской интеллигенции.

С. 182. *...поклоняться Добру*. — Отнюдь не христианское выражение. «Проповедь веры во Христа нельзя смешивать с проповедью “добра”. Добро — не Бог <...> отвлечённо, самочинно, и потому во внутреннем ощущении своём не нуждается во Христе и спасении Его. Оно не животворит <...> Крушение интеллигенции потому именно и произошло, что провалилась почва под понятием отвлечённого добра» (Тернавцев В. Русская Церковь пред великою задачей // ЗПРФС. С. 18). См. также прим. к с. 112.

...«подземный Рим»... — Археолог Антонио Бозио впервые дал научное описание римских катакомб в классическом труде «Подземный Рим» (Bosio A. Roma Sotteranea. 1632), ставшем образцом для схожих исследований (напр.: Aringhi P. Roma subterranea novissima. Paris, 1659). Эрн использовал выражение в работах «Христианское отношение к собственности» (1905) и «Письма о христианском Риме» (1911); в 1907 перевёл и опубликовал со своим предисловием работу Г. Буассье «Катакомбы».

...христиане воздвигнут себе новые современные катакомбы. — Предтеча идеи монастыря в миру. Ср. пророчество В. С. Соловьёва: «Я чую близость времён, когда христиане будут опять собираться на молитву в катакомбах, потому что вера будет гонима, — быть может, менее резким способом, чем в нероновские дни, но более тонким и жестоким: ложью, насмешкой, подделками, — да мало ли ещё чем! Разве ты не видишь, кто надвигается? Я вижу, давно вижу!..» (Величко В. Владимир Соловьёв. Жизнь и творения. СПб., 1904. С. 170).

С. 183. *...мишурном блеске ~ поддельной красоте*. — Ср.: «Исполнявший волю диавола человек — Ставрогин — тоже

казался своей юродивой жене чем-то великолепным (он был красив, но имел мёртвое выражение), а потом — подделкой, двойником» (*Антоний (Храповицкий)*, митр. Словарь к творениям Достоевского. М., 1998. С. 110). «...Маску красоты способны надеть и порок, и зло» (*Лехахин В.* Образ иконописца в русской литературе XI–XX веков. М., 2005. С. 165). См. также прим. к с. 41. Флоренский в 1903 указывал на «мишурную обманчиво-привлекательную личину Злого», предупреждая, что «увлечение мишурою и есть служение “богу века сего”» (*Флоренский П.* Христианство и культура. М., 2001. С. 368).

Для всех это будет образ человеческий... — Ср. диалог поклонившегося зверю и строителей новых катакомб: «“Ну какой тут Антихрист!” — отмахнулся митр. Сергей. “Но ведь дух-то Антихристов”, — настаивал профессор» (*Андреев И. М.* Историческая Петроградская делегация // Владимирский православный русский календарь на 1960. С. 43).

...большой чёрный крест... — Его описали многие гости Свенцицкого и Эрн, в т. ч. Булгаков: «И всё у меня стоит образ огромного креста в их квартире» (*ВГ. № 39*). К вопросу о действительности событий с Марфой ср.: «Это по меньшей мере преувеличение, хотя бы потому, что никакого “дома” у Свенцицкого не было: он снимал комнатуху и спал на досках» (*Вишняк. С. 128*); «Голые стены, на столах разложены издания Религиозно-общественной библиотеки, вместо кровати — нары из досок, кажется, без подушек, в углу большое распятие, рядом портрет Влад. Соловьёва и гравюра, изображающая Венеру Милосскую, и больше ничего не было» (*Русов Н.* Указ. статья).

С. 184. *...и сейчас есть носители духа Антихриста.* — В опубликованной через месяц после выхода романа-исповеди статье «Социализм и проблема свободы» Эрн писал: «...выразители социалистических или анархистических доктрин стоят на почве теоретического позитивизма. <...> Эти люди — носители духа Антихриста. <...> Поскольку социализм действует <...> в сторону самого худшего и низкого духовного рабства, — постольку социализм работает на Антихриста» (*Эрн В.* Сочинения. М., 1991. С. 159–163).

С. 185. *...обманул меня, поработил меня...* — «Произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении; обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побеждён, тот тому и раб» (2 Пет. 2, 18–19).

Я ненавижу самого себя! — Странный человек на верном пути: «...ненавидящий душу свою в мире сём сохранит её в жизнь вечную» (Ин. 12, 25). Ненавидеть надо душу именно в мире сём — обмирщённую, заражённую нечистью и носящую в себе грех, но при этом чётко разделять его и образ Божий — символ вечной жизни.

С. 187. ...*смирненно покаяться, до конца. И уж всё тогда по-новому!* — Покаяние [гр. *metanoia* перемена мыслей] ведёт к познанию истины и освобождает от уловившей в свою волю сети дьявола (2 Тим. 2, 26). Свенцицкий смог это сделать, его бывшие друзья — нет, поэтому пропагандировали теософию, благословляли войну, проповедовали национальную ненависть, превозносили католицизм, ругали Поместный Собор 1917—1918, породили ересь и никогда не простили унизившего себя в прах.

...как ещё сильно зло... — Ср. чувства Бердяева после прочтения книги (Наст. изд. С. 696).

Мы страшно греховны... — Ср.: «Мы все, один больше, другой меньше, участвуем и живем в преступлении. <...> **Мы** участвуем в продолжающемся и теперь распинании Христа. <...> **Но тогда нужно сказать: раз я погрешил и погрешаю перед всеми и виноват перед всеми, то нет на свете такого зла и такого преступления, в котором бы я не участвовал как-то, виновником которого как-то я себя не чувствовал. <...> Во всём зле жизни, во всех неправдах и преступлениях участвую как-то и я»** (Эрн В. Христианское отношение к собственности. М., 1906. С. 38–40).

...никаких «теоретических» доказательств не надо... — «Чтобы за старым Иерусалимом прозреть новый, надо отречься от надежды *доказать* Христа и как носителя Истины, и как учителя жизни. Нет, ничто Его *не доказывает!* Всё позволено. Всё можно. Только в *окончательном* отрицании — новорожденье. Вера в Христа <...> даётся победой над Антихристом» (Свенцицкий В. Мировое значение аскетического христианства // Русская мысль. 1908. № 5. С. 91). Ср.: «Всё мне позволительно, но не всё полезно» (1 Кор. 6, 12).

С. 188. ...*дана будет ему власть...* — Ср.: Отк. 13, 6–7.

Господи, что же такое “я”? — Это место цитировала в своей рецензии Гиппиус (Наст. изд. С. 696).

С. 190. ...*молиться Тому, Кому не верил, Кого я не знал.* — Не сказано «в Кого, о Ком», ибо странный человек более не сомневается в существовании Единого Бога (см. прим. к с. 171). Но

познание истины требует слияния с ней: нужно «обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу» (Еф. 4, 23–24). «Познание Христа в том и состоит, чтобы вести праведную жизнь», толкует свт. Феофан Затворник. Оттого и молимся: «Верую, Господи! помоги моему неверию» (Мк. 9, 24).

С. 191. *...из беспросветной глубины...* — Ср. рассказ опытного старца о Никифора: «Точно покрывало с сердца спало, и обратились у меня глаза внутрь, и увидел я сердце таким, какое оно есть: маленькое-маленькое, а посреди его вижу змея, тоже маленького. Пока страсти спокойны, стоишь на молитве, и змей спокойно лежит <...> как страсти просыпаются, так и он шевелится. Господи, помози! Стал молиться. <...> Однажды смотрю — нет в сердце змея! Неужто, думаю, совсем ушёл? <...> И было мне откровение этого таинства: смотрю раз и вижу его ниже сердца! Только не маленький он, как раньше, а громадный... Из сердца вышел и ниже стал жить. <...> Долгое время опять прошло. <...> Увидел новое таинство: он спустился ещё ниже и стал ещё больше! Душа человеческая беспредельна, а силы змея спускаться ниже имеют предел, потому его и можно из себя изгнать» (Свенцицкий В. Граждане неба. Моё путешествие к пустынноикам Кавказских гор. Пг., 1915. С. 71). Ср. понятие *Ungrund* у Ф. В. Й. Шеллинга.

...продолжая наблюдать за самим собою. — «“Двоящиеся мысли” в большей или меньшей степени болезнь всеобщая, и лишь большими усилиями и терпением, путём молитвенного и общежизненного подвига, по милости Божией, достигается то единство, та “простота”, которая сложные две воли в человеке превращает в одну “простую”, отданную водительству Духа Святаго» (МѳМ. 1, 72). См. также прим. к с. 204.

Аминь — истинно, воистину; народ обратил слово в существительное, разумея конец дела (*Даль*).

С. 194. *...несомненно человеческое лицо ~ почти человеческое лицо.* — Важнейшее различие для характеристики духовного состояния странного человека. Сердце провидит истинно живое в, казалось бы, давно умершем и разоблачает гнусную подделку.

С. 195. *...текут слёзы...* — Ср.: «...наступит последняя тишина ничтожества, “непроглядный чёрный мрак”, в котором Некто будет плакать над погибшим человечеством» (*Мережковский Д. В обезьяньих лапах // Акрополь. М., 1991. С. 206*).

С. 197. *...для моего спасения ~ согрешить...* — Переворот уже начался: душа возжаждала спасения. И потому враг тут же подсовывает чудовищный соблазн в виде простейшего ошибочного силлогизма. О подобном умственном казусе писал апостол Павел: «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха: как же нам жить в нём?» (Рим. 6, 1–2).

С. 200. *Comme il faut* — соответствующий правилам светского приличия (фр.).

С. 201. *...райский сад, где нет «ни печали, ни вздыхания».* — Ср.: Ис. 35, 1, 10.

...до последней точки дошёл я. — В этой жуткой борьбе за собственную душу странный человек одержал маленькую победу — удержался от греха. И лукавый немедленно порошит глаза ворохом глупостей, от обычной лжи и логических ошибок до уныния. Есть край в грехе — самоубийство (потому что его нельзя истребить исповедью), а в совершенстве предела нет, но от этого благо не лишается своей сути. И жизнь не тосклива, если веришь в цель её; а пока не утвердился в вере, надо терпеть то, чего не понимаешь. См. также прим. к с. 61.

С. 202. *...сторожа, который смотрел ~ с любовью ~ на службу пора.* — Это была весть свыше: так Бог через чистые душиставляет нас на путь правый.

С. 203. *Всякое ныне житейское отложим попечение.* — Строка из Херувимской песни на Литургии верных — третьей, самой важной части литургии.

С. 204. *...кощунственно-дико врезался откуда-то вопрос.* — «Двоящиеся мысли никогда так не страшны, как на молитве. <...> Кто-то начнёт в душе молящегося как бы смотреть со стороны на его внешние при молитве действия. Читает молитву. Крестится, кладёт поклоны. Перебирает чётки. Это один человек. Другой — наблюдает, точно совершенно посторонний, откуда-то изнутри. Наблюдает холодно. В молитве не участвует. <...> Чем слабее молитва, тем сильнее враг, который иной раз настолько овладевает душой, что заставляет наблюдающего, вопреки его воле, смеяться над молящимся, делать кощунственные замечания или просто обсуждать вопросы, ничего общего с молитвой не имеющие. Молитва становится ареной мучительной борьбы, от которой душа в смятении и не знает, куда укрыться» (МѣМ. 1, 70–72).

...враг Твой искушает меня... — «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения,

зная, что испытание вашей веры производит терпение... чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка... Бог не попустит вам быть искушаемыми сверх сил... Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении» (Иак. 1, 2–4; 1 Кор. 10, 13; Дан. 12, 10).

...не я это... — «Раздвоенность души не может не дать себя знать на молитве, но можно отдать свою душу во власть её и можно, напротив, молитву сделать одним из сильнейших орудий в борьбе с ней» (МвМ. 1, 73).

С. 205. *Ну конечно, навсегда...* — Ср. прим к с. 61.

Осанна [гр. *hosanna*] — спасение. В христианстве выражение высшей радости и благословения Богу (Мф. 21, 9).

С. 206. *Я окончательно пришёл в себя...* — Станный человек не сумел утвердиться в мысли, что не он сам, а овладевший душою бес подбрёхивает, не смог отсечь его от себя.

С. 207. *...неким Глебовым ~ С первого класса...* — Прототип не установлен. Первые три класса гимназии Свенцицкий окончил в Казани.

Санкюлоты — городская беднота, как её насмешливо называли французские аристократы XVIII в.

С. 208. *Армия спасения* — международная религиозная и благотворительная организация, ставящая целью проповедь Евангелия Иисуса Христа, духовное и нравственное возрождение, физическое восстановление всех нуждающихся. В России отделения появились в 1880-х.

С. 209. *...как разбойник воскресал.* — Распятый подле Христа злодей уверовал в Него и раскаялся в грехах. «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23, 43).

С. 210. *Я мученик.* — «Первая скорбь — от тех внутренних борений, которые предлежат всякому идущему в Царствие Божие. Ни одна человеческая страсть не сдаётся без боя, невидимая внутренняя борьба — процесс мучительный. Вот почему святые отцы эту борьбу называют мученичеством» (МвМ. 2, 214). Ср. прим. к с. 315.

Мучеником рос с детства, мучеником лягу в гроб. — «Он родился семимесячным и первое время выращивался в ватке <...> Под конец болезни страдания были невыносимыми, они пересиливали даже его громадную волю; он крепился, но иногда стонал и даже кричал, но перед самым концом стал тих и ясен — ни ропота, ни обиды, полное смирение» (Свенцицкая М. Б. Указ. соч. С. 185, 210).

С. 214. ...*лживость*... — «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8, 44). Покуда человек не перестанет лгать, не может исцелиться. Ср. зарок странного человека на молитве в храме: «Больше не буду я лгать...» См. также прим. к с. 284.

С. 215. *Прошло полгода*... — Смысл уточнения неясен. Получается, речь идёт о весне 1906, хотя роман-исповедь был дописан летом 1907.

Можно ли узнать Христа, не пережив Антихриста? — «Не испытываешь на себе действий злых козней духа злого — не узнаешь и не почтишь, как должно, благоденний, даруемых тебе Духом благим; не узнавши духа убивающего, не узнаешь и Духа Животворящего. Только по причине прямых противоположностей: добра и зла, жизни и смерти — мы узнаём ясно ту и другую; не подвергаясь бедам и опасностям смерти телесной или духовной, не узнаешь сердечно и Спасителя, Жизнодавца, избавляющего от этих бед и от духовной смерти. О, Иисус есть утешение, радость, жизнь, покой и простор наших сердец! Слава Богу, Премудрому и Всеблагому, что Он попускает духу злобы и смерти искушать и мучить нас! Иначе как бы мы стали ценить утешения благодати, утешения Духа Утешительного, Животворящего!» (Иоанн Кронштадтский, прав. Моя жизнь во Христе. Запись 111). Именно на эти слова ссылался о. Валентин в 1925, объясняя учение Святой Церкви и смысл своей книги (Наст. изд. С. 695).

...надежда... — Господь «видит искание усердное, и труд болезненный, и томление жаждущего сердца, сжаливается и подаёт чаемое благо. Почему Он так делает, Ему единому ведомо: только без этого болезненного искания никто не доходит до нормального строя. Это секрет духовной жизни...» (Феофан Затворник, свт. Письма о духовной жизни. М., 1997. С. 23).

С. 217. *...поставят меня в исключительное отношение к жизни*... — Важное свидетельство для биографии Свенцицкого: он предвидел, что будет подвергнут остракизму, т. е. осознанно на это шёл. Ср.: «Чтоб разрешить этот вопрос, необходимо прежде всего поставить свою личность в разрез со своею действительностью» (Достоевский. 15, 29).

С. 219. *Роман ~ творческое создание*. — «В наше время под словом роман разумеем историческую эпоху, развитую на

вымышленном повествовании» (Пушкин А. Полн. собр. соч. Т. 11. М., 1949. С. 92). См. также прим. к с. 223.

Среднее не-религиозное интеллигентное сознание ~ наряду с верой в домовых... — «Нужно отдать справедливость: несмотря на все свои достоинства, средний русский интеллигент в вопросах религии отличается величайшим невежеством» (Эрн В. Сочинения. М., 1991. С. 221). Ср. персонажей пьесы «Интеллигенция».

...Вл. Соловьёв... — О его предчувствии антихриста см. прим. к с. 182.

С. 220. *...во имя новых откровений ~ новой эрой...* — Выдуманная Мережковскими «религия третьего завета» предполагала новое откровение и грядущую историческую эпоху, когда язычество соединится с христианством (ср. широко разрекламированный ныне New Age, Новый век, Эру Водолея).

С. 221. *...свобода, как творческая беспричинность...* — «Свободой в настоящем смысле слова может быть названа беспричинность, некоторая возможность творческого акта, ничем не обусловленного. <...> Свобода человека <...> лучшее свидетельство его божественного происхождения и залог его бессмертия» (Свенцицкий В. Религиозный смысл «Бранда» Ибсена. СПб., 1907. С. 8–9). Понятие исследовалось Свенцицким и в других работах, итогом многолетних размышлений стал труд «Религия свободного человека».

С. 222. *...к новой земле и новым небесам, к вечной радостной жизни в Боге.* — См.: Ис. 66, 22; 35, 10.

...медленное, свободное разделение Добра и Зла. — «Я сделаю разделение между народом Моим и между народом твоим... Думаете ли вы, что Я пришёл дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение» (Исх. 8, 23; Лк. 12, 51). «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей... и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов» (Мф. 25, 31–32). И пойдут одни в муку вечную, а другие — в жизнь вечную, по делам их, совершённым при жизни (Мф. 25, 34–46). Ср.: «Прогресс — это медленная и мучительная дифференциация Добра и Зла, постепенное разграничение смешанных, разрозненных начал на две определённые, непримиримые области. С одной стороны во главе с Христом встанет то, что готово воссоединиться с Божественным началом, готовое принять высшую восстановленную гармонию; с другой стороны — всё разрозненное, самоутверждающееся в своей разрозненности,

во главе с тем, кто будет абсолютным самоутверждением, пришедшим только во имя своё, во главе с Антихристом» (Свенцицкий В. Террор и бессмертие // Вопросы религии. Вып. 2. М., 1908. С. 17).

Всё мировое зло соберётся в один сгусток... — Ср.: «Антихрист будет плодом мира, понимаемого как противоположность Богу, добру, истине и христианству, того мира, который *весь лежит во зле*, который ненавидит Бога, Христа и Его последователей. Антихрист будет результатом суммы зла, накопившегося в мире в течение тысячелетий <...> **В нём зло, живущее в человеческом роде**, достигнет вершины своего развития, подобно тому, как и в человечестве его времени зло дойдёт до таких пределов силы и распространения, до каких только оно может достигнуть в человеческом роде. И потому-то в антихристе и в современном ему человечестве зло кончится» (Беляев А. Д. О безбожии и антихристе. Сергиев Посад, 1898. Репр. М., 1996. Ч. 1. С. 193–194).

Если бы наше зрение было чисто... — «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно», потому что «исполнены любострастия и непрестанного греха» (1 Кор. 13, 12; 2 Пет. 2, 14). «Не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их... Вынь прежде бревно из твоего глаза... главною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть» (Ин. 12, 40; Мф. 7, 5; Отк. 3, 18).

...«только отблеск, только тени от незримого очами»... — Строки из стихотворения В. С. Соловьёва «Милый друг, иль ты не видишь...» (1892).

С. 223. *...«возрастает»...* — Свенцицкий заключает слово в кавычки потому, что в Новом Завете оно употребляется только по отношению к Церкви. О признаках кончины века Христос предрекал: «По причине умножения беззакония, во многих охладает любовь» (Мф. 24, 12).

Зверь ~ выйти из бездны... — Ср.: Отк. 17, 8.

Дыхание — в Ветхом Завете синоним жизни; в Новом Завете слово не употребляется.

...человек этот написал бы свою исповедь... — Ср.: «И автор записок и самые “Записки”, разумеется, вымышлены. Тем не менее такие лица <...> не только могут, но даже должны существовать в нашем обществе» (Достоевский. 5, 99).

...в настоящее время «поползает» к миру. — «Дети! последнее время. И как вы слышали, что придёт антихрист, и теперь

появилось много антихристов, то мы и познаём из того, что последнее время» (1 Ин. 2, 18).

С. 224. *...без страшного внутреннего разрыва с «прошлым», «ветхим», «мёртвым» человеком не может родиться новый... — «Ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху... Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях... и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Рим. 6, 6; Еф. 4, 22–24).*

...тип, воплощающий основные черты ~ Антихриста в данную эпоху... — Ср.: «Достоевский не о том заботился, чтобы сообщить своё учение о настоящем диаволе, а представляет в его лице то настроение, которым проникается человек, утвердившийся в дьявольском намерении» (Антоний (Храповицкий), митр. Словарь к творениям Достоевского. М., 1998. С. 110).

С. 225. *...Гаршин, вырвавший из сердца своего красный цветок... — В рассказе В. М. Гаршина «Красный цветок» (1883), герой которого чувствует себя центром борьбы с мировым злом, одни видели «душевную драму самоотвержения и героизма», другие — «голый патологический этюд» и картину «истерических припадков» (Русские писатели. Биобиблиографический словарь. Т. 1. М., 1990). Кроме того, произведения русских писателей сближает отождествление критикой обоих авторов с персонажами. Метафора Свенцицкого «подползает к миру» сродни страшной картине: «...длинными, похожими на змей, ползучими потоками извивается зло» (Гаршин В. Сочинения. М., 1984. С. 202).*

...великий страдалец за народ... — Обличителя зла и неправды мира Г. И. Успенского «мемуаристы характеризуют как человека поразительно чуткого, впечатлительного, глубоко искреннего <...> Он не терпел фальши, всякого рода “кривулк”, по его выражению, людская пошлость приносила ему страдания. Его не переставая мучила русская неурядица, нескладица общей жизни. <...> В 1892 его нервная система <...> не выдержала, и писатель попал в психиатрическую клинику» (Русские писатели. Биобиблиографический словарь. Т. 2. М., 1990).

...о «полубесноватом-полусвятом» Достоевском... — «...Самый необычайный из всех, “человек из подполья”, с губами, искривлёнными как будто вечной судорогой злости, с глазами, полными любви новой, ещё неведомой миру, “Иоанновой”, с тяжёлым

взором эпилептика, бывший петрашевец и каторжник, будущая противоестественная помесь реакционера с террористом, полубесноватый, полусвятой, Фёдор Михайлович Достоевский» (*Мережковский Д. Грядущий хам // Интеллигенция. Власть. Народ. М., 1992. С. 106*).

Смерть

М., 1909. Склад издания: книжный магазин «Труд» (Тверская, 38) *. Типография О. Л. Сомовой. 83 + 97 стр. Ц. 75 к. 3000 экз.

Издание значится в «Книжной летописи» за 7–14 апреля 1909. Обе части дилогии вышли под одной обложкой, но каждая имела свою нумерацию страниц, поэтому встречаются экземпляры и в разных переплётках. Уже 2 декабря М. М. Пришвин отмечал: «С[венцицкий], русский пастор, даже прославлен пьесой о смерти» (*Пришвин М. Ранний дневник. 1905—1913. М., 2007. С. 230*). В рецензии В. Л. Рогачевский писал: «Эти две драмы — одна симфония смерти. Нет третьей драмы, которая рассказала бы нам о превращении сказочного принца с лицом проповедника в проповедника с лицом злодея, задачей которой уже не белый сад, а тёмный лес. <...> Несмотря на мистическую тенденцию автора и этический эклектизм, драмы читаются как две поэмы. Автор несомненно поэт. Его белый яблоневый сад прекрасен даже после “Вишнёвого сада”» (*Современный мир. 1910. № 4. Отд. II. С. 134*). «Книга заслуживает полного внимания и по оригинальности темы, и по высокохудожественному исполнению. <...> Автор поставил свою задачу — нарисовать ужас смерти, чтобы заставить уразуметь всю красоту и великолепие жизни, почувствовать торжество её» (*Брихничёв И. Два пути // Московская газета-копейка. 1910. 23 ноября. № 175*). В *НЗ* (1910. № 2. Сентябрь) сообщалось: «Свенцицкий заканчивает третью часть своей драматической трилогии под названием “Пророк”» (издана не была, рукопись пока не найдена).

С. 226. *Посвящается моей матери.* — Елизавета Федосеевна Козьмина (1852—1927) родилась в Вятской губернии, «была

* В рекламном объявлении от сентября 1910 адреса указывались: Москва, Б. Никитская, кн. маг. «Наука»; Петербург, Литейный пр-т, кн. маг. Митюрникова.

ученицей Ф. И. Кони, первой в России женщиной присяжным поверенным. Практиковала недолго <...> по Высочайшему указу [Александра III] ей было запрещено выступать в суде присяжных “за красоту”. <...> Была женщиной-восьмидесятницей, далёкой от религии и церкви, хотя и православной» (Свенцицкий А. Б. Они были последними? М., 1997. С. 4).

Д’Аннунцио Габриеле (1863—1938) — итальянский поэт, прозаик, драматург, политик. Считал, что во всепоглощающей и неуправляемой страсти всегда есть нечто роковое, в драматических произведениях объединял эти темы. Героиня пьесы «Джиоконда» (1898; перевод Ю. Балтрушайтиса) жертвует своими руками ради творчества мужа.

Арнольд Реллинг — Контаминация имён действующих лиц произведений известных драматургов. Доктор Реллинг — персонаж пьесы Г. Ибсена «Дикая утка», апологет лжи; Арнольд — главный герой пьесы Г. Гауптмана «Михаил Крамер». Премьеры обеих в России прошли осенью 1901 в Московском художественном театре (реж. К. С. Станиславский).

Фанни — Обратный пример: имя героини пьесы Ибсена «Йун Габриэль Боркман» (премьера в России — московский Малый театр, осень 1904) Фанни Вильтон разложено на двух персонажей дилогии.

С. 227. *...вся залитая солнцем ~ купаясь в солнечных лучах.* — О, сколько их пало, прельщённых видением жены, облечённой в солнце... Посеребрённый век не распознал обман, увлёкшись внешним сходством, и сам стал символом подделки с духовно мёртвым естеством.

С. 228. *...призвание — это всё.* — Ср.: «Призвание, что тебя влечёт, что направляет твой полёт, так дорого тебе? БРАНД. В нём весь смысл жизни!» (Ибсен. 2, 183). Осознать призвание как долг Ибсен считал крайне важным для человека; И. Кант также полагал призвание нашей высшей обязанностью. «И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования», а «дары и призвание Божие непреложны», то Господь даёт «Духа премудрости и откровения... дабы вы познали, в чём состоит надежда призвания Его... полнота Наполняющего всё во всё» (Рим. 12, 6; 11, 29; Еф. 1, 17–23). «Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим... исполняющий волю Божию пребывает вовек» (Пс. 24, 4; 1 Ин. 2, 17).

...выразить в звуках весь ужас смерти ~ поднять жизнь на новую высоту? — Ср. воздействие сонаты Бетховена на душу

странного человека в романе-исповеди. И. П. Брихничёв считал эту мысль лейтмотивом диалогии (Указ. соч.). В тексте она изложена в форме вопроса, предполагающего однозначный ответ, но оставляющего право выбора за каждым из нас. Это один из тех «проклятых», коренных вопросов мироздания, что формулирует творческий гений в попытке постичь себя. Любопытны смысловые параллели с произведениями писателей XIX в. Принцесса Гедвига в романе Э. Т. А. Гофмана «Житейские воззрения Кота Мурра» (1820—1822) восклицает: «Я напрягала все свои силы, чтобы не слушать, не впускать в свою грудь эту дикую, адскую боль, которую Крейслер выразил в звуках со свойственным его искусству полным небрежением к нашему легкоранимому сердцу, но ни у кого не достало доброты поспешить мне на помощь». Ф. Ницше в книге «Человеческое, слишком человеческое» (1878) писал: «Без этого глубоко религиозного переворота настроения, без этой потребности выразить в звуках интимнейшие движения души музыка осталась бы учёной или оперной». В России начала XX в. был популярен романс «О, если б мог выразить в звуке» (муз. Л. Малашкин, ст. Г. Лишин) в исполнении Ф. И. Шаляпина.

С. 231. *Семисвечник* — светильник из семи ветвей на одной высокой подставке с чашечками для лампад или подсвечниками. В первые века христианства не был обязательной принадлежностью алтаря, ныне ставится в православных храмах за престолом перед горним местом. Прообраз — светильник из ветхозаветной скинии, сделанной Моисеем по повелению Господа; один из древнейших символов иудаизма.

С. 232. *...в чём же выразится вся душа женщины...* — Женщина «спасётся через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием» (1 Тим. 2, 15).

...нужно всю жизнь перестроить сверху донизу. — «Преобразовать весь мир вокруг — это не слова, а реальность, это конкретное наше призвание, то, что нам дано как задача» (Антоний Сурожский, митр. О встрече. Клин, 2000. С. 187). См. прим. к с. 19.

Земля бы наконец примирилась с небом ~ стали единым, великим целым!.. — «Верою и покаянием, приступая к Господу, получаем мы отпущение грехов и примирение обретаем. Но на этом не останавливается дело спасения, — мы идём дальше и глубже: в крещении облакаемся во Христа, в святом Причащении сподобляемся того, что Он в нас пребывает и мы в Нём, — соделываемся едино с Господом» (Феофан Затворник, свт. Толкование

Послания апостола Павла к римлянам (гл. 1–8). М., 2006. С. 405–406). «Святой Ириней Лионский <...> говорит, что в конце времён, когда вся тварь дойдёт до полноты своего существования <...> всё человечество <...> силой Святого Духа станет единокровным сыном Божиим. <...> Святой Максим Исповедник пишет, что <...> содержа в себе и вещественное, и духовное, человек может привести все созданные твари <...> к Богу. Христово воплощение <...> сродняет Его со всем космосом» (Антоний Сурожский, митр. О встрече. Клин, 2000. С. 182–184). «Да будут все едино... Я в них, и Ты во Мне» (Ин. 17, 21–23).

...разрывающей на части... — Христос пришёл дать земле не мир, но разделение (Лк. 12, 51). «Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода» (Ин. 15, 2).

Вы — проповедник. — Своему истинному призванию о. Валентин следовал неукоснительно. И даже грехи свои обратил в назидание и вдохновенную целительную проповедь.

С. 236. *Беата ~ отравилась?* — Имя выбрано неслучайно: стремясь освободить мужа, покончила самоубийством Беата в драме Ибсена «Росмерсхольм».

С. 239. *...вечной смерти.* — Ср.: «Обетование, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная... ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (1 Ин. 2, 25; Рим. 6, 23).

Её никто не знает, как я. — Ср.: «Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф. 11, 27).

Смерть звучит во всём. Прислушайся. — Ср. увещевание о. Савватия из рассказа «Песнь песней». Видеть во всём существующем маску смерти — духовная пагуба (см. прим. к с. 587). О диалектике размышлений о смерти см. прим. к с. 61.

С. 240. *И земля и небо... Всё растворилось...* — «Придёт же день Господень... воспламенённые небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают» (2 Пет. 3, 10, 12); «Прежнее небо и прежняя земля миновали... Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце» (Отк. 21, 1; Ис. 65, 17). Из библейских пророчеств одни делают вывод о торжестве жизни, другие — смерти. Человек свободен, но обязан выбирать.

...победная песнь... — Да, зверю дано будет «вести войну со святыми и победить их» (Отк. 13, 7). Но всему своё время: «...в тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей и от страха

и от тяжкого рабства... ты произнесёшь победную песнь на царя Вавилонского... И избавит тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству... пал, пал Вавилон, великая блудница!» (Ис. 14, 3–4; Евр. 2, 15; Отк. 18, 2). См. также прим. к с. 20, 316.

С. 249. *В меня вселился бес.* — Это сущая правда.

Фея — сверхъестественное существо, творящее чудеса, делающее людям добро или зло. Герой дважды называет Ванду «феей жизни». Но может ли прелюбодейка быть ангелом света?

...вся роскошь и земли и неба... — Лексема «роскошь» в Библии употребляется только с негативным оттенком, особенно резко в Апокалипсисе — великая роскошь великой блудницы Вавилонской (Отк. 18, 2–3). Ср. также: «Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона... впредь не будут называть тебя нежною и роскошною» (Ис. 47, 1).

Всё перед вами падёт ниц, как перед властной царицей. — Апокалипсическому зверю поклонятся все живущие на земле, имена которых не написаны в книге жизни, а на нём будет восседать великая блудница и говорить в сердце своём: «Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!» (Отк. 13, 8; 17, 3; 18, 7).

Ваша красота победит всё. — Обольщённый внешностью Арнольд придаёт ей божественный статус, теряя способность видеть духовное нутро. Ср.: «И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодействия её» (Отк. 17, 4).

С. 250. *...туманным призраком. Вы воплотили мечту.* — Ср. желание Бранда: «Воплотить мои мечты, в яви — призрак воссоздать!» (Ибсен. 2, 371). См. также прим. к с. 65, 263, 266.

Скрытая жизнь... — Подлинная сущность откроется чуть позже: в образе мёртвого зреющего плода.

С. 253. *...я слышу какие-то звуки.* — Сразу после прелюбодейния в Арнольде начинает звучать страшная симфония. Гедин тоже сначала слышал «лишь отдельные смутные звуки», потом смерть поглотила его.

С. 254. *...до нас никто не знал такого счастья. Мы первые ~ в обетованную землю.* — Грех лишает разума, гордыня — свойство безумных. Библейский символ только обличает помрачение падших. «Проводят дни свои в счастье и мгновенно нисходят в преисподнюю. ...Веселье незаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенна, хотя бы возросло до небес величие

его и голова касалась облаков... не устоит счастье его» (Иов 21, 13; 20, 5–6, 21).

Верю... Больше — я знаю. — «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего ещё не знает так, как должно знать» (1 Кор. 8, 2). Пока пребываем в теле, «ходим верою, а не видением», и лишь «отчасти знаем и отчасти пророчествуем» (2 Кор. 5, 7; 1 Кор. 13, 9). Вера же есть уповаемых утверждение, вещей обличение невидимых (Евр. 11, 1). Для раскрытия диалектики веры и знания важно сравнение: первая лексема отсутствует в Ветхом Завете, вторая же употребляется значительно чаще, чем в Новом. Ср. фразу Подгорного из пьесы «Интеллигенция»: «Он не знает — он верит: это выше».

С. 255. *Если бы умереть сейчас.* — Господь попустит исполнить страстное желание Ванды как воздаяние за грех и чтобы не пришёл до срока в мир тот, имя которого будет начертано на челе у поклонившихся ему.

Наш замок гордо возвысится до небес. — «Бог гордым противится... всякий возвышающий сам себя унижен будет» (Иак. 4, 6; Лк. 14, 11). Рассеялись люди, вознамеревшиеся сделать себе имя и построить башню, высотой до небес (Быт. 11), а городу дано было имя Вавилон, «мать блудницам и мерзостям земным», и ждёт его чаша вина ярости гнева Господня (Отк. 17, 5; 16, 19). За то же был наказан обольщаемый Хильдой Строитель Сольнес в одноимённой драме Ибсена.

С. 261. *И мёртвый, и как-то живой.* — «Ты носишь имя, будто жив, но ты мёртв» (Отк. 3, 1). Дьявол, имеющий державу смерти, и все поклонившиеся ему будут живыми брошены в озеро огненное; это смерть вторая (Евр. 2, 14; Отк. 20).

С. 262. *Не могу смеяться свободно...* — Очередное следствие греха — человек перестаёт владеть собой, становится рабом поселившейся в нём личинки; превращается в заводную игрушку.

С. 263. *Смерть — царица моя. Моя мечта, моя любовь ~ упоительная до безумия...* — Гедин использует те же образы и слова, что ранее Арнольд Реллинг (см. прим. к с. 249).

С. 264. *Отмщение...* — «У Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь... В пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа» (Евр. 10, 30; 2 Фес. 1, 8). Гедин почитает смерть царицей, потому относит к ней всё подобающее единому Вседержителю.

С. 265. *Не зная смерти, нельзя знать жизнь.* — «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода» (Ин. 12, 24). Никто «не оживёт, если не умрёт... как Христос воскрес из мёртвых славою Отца, так и нам ходить в обновлённой жизни» (1 Кор. 15, 36; Рим. 6, 4).

С. 266. *...молния ~ огненный меч!..* — В Библии огонь сопровождает явления Божества — Отца, Сына и Святого Духа (Исх. 3, 2; Отк. 1, 14; Деян. 2, 3), меч воплощает гнев Господень (Втор. 32, 41), молнии исходят от Него (Иов 38, 35; Отк. 4, 5). Три символа часто сопрягаются. После первородного греха Бог «изгнал Адама и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни... грозный меч, увы! сверкающий, как молния, наострённый для заклания» (Быт. 3, 24; Иез. 21, 15). В день, когда явится Сын Человеческий, прольётся с неба дождь огненный и серный и истребит всех: «Земля и все дела на ней сгорят... воспламенённые небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают»; апокалипсические зверь и лжепророк «оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою; а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его» (Лк. 17, 29–30; 2 Пет. 3, 10, 12; Отк. 19, 20–21).

Болезнь мечта не даёт вам покоя... — Парадокс и трагедия: оба мечтателя вдохновляются одной женщиной, хотя Арнольд грезит о жизни, а Гедин — о смерти.

...ту, которая на троне. — Гедин ослеплён сатаной и не видит, что низвержен древний змий, обольщающий всю вселенную (Отк. 12, 9). «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моём, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его», ибо «поглочена смерть победою... и сия есть победа, победившая мир, вера наша» (Отк. 3, 21; 1 Кор. 15, 54; 1 Ин. 5, 4).

...лицо смерти... — У смерти нет лица, ведь оно — образ Божий. А кто возомнит, что у смерти есть лицо, воистину станет её рабом. Но не навек, ибо «дал Бог покаяние в жизнь» (Деян. 11, 18).

С. 267. *Такая красота!* — Одна из важнейших характеристик персонажа: как и в прочих случаях, Карл воспринимает только внешние формы явлений.

С. 268. *А за что такая напасть на нас?* — «И если презрите Мои постановления, и если душа ваша возгнушается Моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей Моих...

наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет» (Лев. 26, 15, 25).

Пастор Реллинг

М., 1909. Склад издания: книжный магазин «Труд» (Тверская, 38). Типография О. Л. Сомовой. 83 + 97 стр. Ц. 75 к. 3000 экз.

Свенцицкий так формулировал цели и задачи пьесы: «Только один Бог знает, сколько слёз и крови вложил я в свою маленькую-маленькую книжечку. И как бы мне хотелось, чтобы слёзы мои дошли до людских сердец и чтобы они поняли, как глубоко и страшно человеческое страдание. Я ведь тоже немножко люблю людей. И мне хотелось сказать им об этом страдании, чтобы они стали мягче, отзывчивее, серьёзней смотрели на жизнь, не распинали бы друг друга» (НЗ. 1910. № 2. Сентябрь. С. 6). «Я хотел показать разрушительную силу, которая содержится в смерти. Показать живую и пламенную человеческую душу в юности, как молнией поражённую смертью. Сладострастие, охватившее эту душу, питается источником смерти. Человек должен до конца пройти свой путь. Должен умереть. На сцене драма кончается смертью. Но я предполагаю в печати изменить конец: Реллинг остаётся жив и в третьей части — “Пророк” — является воскресшим человеком, возвещающим новую правду о “свободном человеке”. Кроме того, я предполагаю издать, как бы в виде приложения к трилогии, “Проповеди пастора Реллинга” третьего периода его жизни» (Пьеса о смерти и сладострастии // Московская газета-копейка. 1910. 21 ноября. № 173). Указанные рукописи пока не найдены.

Первым постановку осуществил знаменитый актёр, мастер психологического анализа, Павел Николаевич Орленев (Орлов; 1869–1932), большой почитатель таланта Ибсена, к тому времени уже сыгравший Бранда и Строителя Сольнеса. «В самом конце моих гастролей в Саратове [конец августа 1910] В. Свенцицкий, писатель, проживавший в России нелегально, предложил мне прочесть свою пьесу “Пастор Реллинг”. Пьеса мне понравилась, и я сейчас же приступил к разработке роли. Пастор, оригинальный тип садиста со святейшими глазами, показался мне во многих сценах очень интересным, и у меня в этой роли как-то сразу начали появляться новые для самого себя детали и интонации. Я взял пьесу, обещал Свенцицкому провести её через

цензуру и поехал через Москву в Петербург. Там работал над ней <...> и скоро роль мне стала удаваться и всё больше меня захватывать. Я составил небольшой коллектив, куда вошёл также и Мгебров. Передовым в Ревель, Ригу и Либаву я послал опять Орлова для снятия помещений под спектакли “Привидения” и “Пастор Реллинг”. <...> Киселевич, мой доверенный, не сумел провести в цензуре эту пьесу под названием “Пастор Реллинг”. Мотив запрета — невозможность в таком эротическом виде выставлять духовное лицо. Разрешали пьесу только под названием “Арнольд Реллинг”. Пастор вычёркивался и был просто учителем. Вся моя работа над пастором и интерес к этой роли пропали. Острота задания исчезла. Но города уже сняты, анонсы выпущены, ехать необходимо <...> Я всё время перестраиваю оригинальную роль пастора, но в простом учителе Реллинге задуманное в пасторе моё перевоплощение было бы страшной утрировкой. Всё-таки я решился сыграть учителя Реллинга в Либаве и по-ученически с ним провалился» (*Орленев П. Жизнь и творчество русского актера Павла Орленева, описанные им самим. М.—Л., 1961. С. 235*).

Премьера состоялась в Либаве 30 сентября 1910. Местный критик А. Рижский был беспощаден: «Читая в газетах сообщения, что пьеса “Арнольд Реллинг” недели через две с П. Н. Орленевым в заглавной роли пойдёт в театре Суворина, что в Риге третьего дня эта же вещь не была поставлена потому, что, мол, г. Орленев, выступая в этой пьесе впервые, нашёл число бывших до тех пор репетиций недостаточным, можно было заинтересоваться этою новинкою. Кто знает П. Н. Орленева как артиста, тот и мысли не мог допустить, что это не будет серьёзным произведением, достойным стать соединительным звеном между “Строителем Сольнесом” и “Призраком” северного богатыря Ибсена. <...> Мне так и казалось, что публика вот-вот ждёт со сцены жгучей тоски по более счастливому будущему, развёртываемому автором пьесы, хотя бы при содействии Привидения, а вместо этого на сцене разыгралась мелодрама самого лёгкого пошиба, с невероятной завязкой и с ещё более невероятной развязкой. Для того, чтобы показать публике развратного пастора, обманывающего всех, кроме себя, лгущего на каждом шагу, в каждом случае, поддерживающего связи с десятью женщинами и в конце концов самым прозаическим образом вешающегося, право, не надо было держать публику в театре три часа: всё это можно было свободно проделать в каких-нибудь двадцать

минут. <...> И тогда, да простят меня гг. Свенцицкий и Орленев, эту, с позволения сказать, “новинку” с большим успехом можно было бы демонстрировать в любом кинематографе» (Вестник Либавы. 1910. 1 октября).

Овстрече с Орленевым и злоключениях с цензурой Свенцицкий писал: «В самом конце коридора есть дверь, за ней сидит драматический цензор. <...> Одной его подписи достаточно, чтобы самое великое произведение никогда не увидало света. И вот три дня я ходил к этому человеку. Я, видите ли, написал драму. <...> Нашёлся один замечательный русский актёр, который понял меня и решил показать в театре всё то, что я написал в книге. Я пришёл с ним в грязно-розовое здание, к человеку, от подписи которого зависит, будет ли жить или умрёт ваше произведение. И человек этот сказал: “Вы написали пьесу, где пастор, духовное лицо, делает ужасные вещи. Вы хотите чрез театр развращать народ. Я призван охранять духовные интересы народа и запрещаю пьесу”. Несколько дней я ходил к человеку, от которого мне надо было получить подпись. Наконец он подписал и разрешил пьесу играть на сцене, с условием, чтобы вместо “пастора” был просто проповедник, а в скобках было написано: “действие происходит в Норвегии”. Я шёл обрадованный и думал: “Неужели то, что я написал, в самом деле может развратить народ?” И неужели представитель государственной власти обезвредил мою книгу тем, что пастора заменил проповедником и написал в скобках, что действие происходит в Норвегии? Боже мой, как легко, оказывается, защитить народ от развращающего влияния театра! “Действие происходит в Норвегии” — и сразу злое стало добрым, вредное — полезным! Но Бог с ним! Спасибо ему...» (НЗ. 1910. № 2. С. 6—7). «На днях мне пришлось разговаривать об этом же вопросе с тем же лицом, и я вижу теперь, что понял слова его тогда совершенно неправильно. Мотивом запрещения было *исключительно* то обстоятельство, что в пьесе выставлено *духовное лицо*» (НЗ. 1910. № 9. С. 10).

За вторую постановку взялся Русский драматический театр Ф. А. Корша. Премьера спектакля «Арнольд Реллинг» в Москве состоялась 26 ноября 1910, режиссёром был Александр Леонидович Загаров (Фессинг; 1877—1941). Роли исполняли: Реллинг — Андрей Иванович Чарин (Галкин), Тора — М. Я. Свободина, Лия — Валентина Степановна Аренцвари, Молодая женщина — Головина, Терезита — Ю. Бахмачевская, Вильтон — В. Ф. Торский, Молодые люди — Полозов и Лесногорский, Гинг —

Загаров (Театр. 1910. № 751. С. 16). Пьеса выдержала три представления (в т. ч. 29 ноября и 2 декабря) и была снята с репертуара (Театр и искусство. 1910. 12 декабря. № 50. С. 964). По мнению критики, виной тому был неудачный подбор актёров. Действительно, нужно недюжинное мастерство, чтобы выдержать сценический ритм, когда «каждая следующая фраза по деспотизму автора пьесы требует другой интонации, другой мимики» (А. Рижский).

«Играют пьесу у Корша очень посредственно. Г-н Чарин — очень старался играть, как играют в Художественном театре, и, видимо, подражал г. Качалову и во внешнем облике, и в приёмах, но оставался всё тот же г. Чарин, не без темперамента умеющий читать красиво написанные монологи. Очень слабую сценическую технику обнаружила г-жа Свободина. Были отдельные фразы хорошо и искренне произнесённые, пожалуй, даже удачная внешняя фигура, но всему этому мешала — общая невыдержанность тона» (Ал. См. Пастор-соблазнитель // Театр. 1910. 28–29 ноября. № 753. С. 7–8). «Исполнение <...> местами совершенно не соответствует основному тону пьесы. В конце второго акта, например, сильно драматический по положению момент вызвал благодаря одной из исполнительниц самый весёлый смех в зале» (Е. Ф. Театр и музыка // Русские ведомости. 1910. 27 ноября. № 274). «Чарин <...> так часто повторяет слова “детка моя”, что это нежное название, в конце концов, вызывает какое-то глухое раздражение. Я думаю, что г. Чарин просто чувствует пристрастие к этим словам, так как в какой пьесе он ни играл любовную сцену, это “детка моя” сейчас же будет налицо» (Бэн [Б. В. Назаревский]. Новинки театра Корша // Московские ведомости. 1910. 8 декабря. № 283). «В центральной женской роли была выпущена выходная актриса г-жа Свободина, совершенно неопытная, робкая, не умеющая давать звука дальше огней рампы» (Театр и искусство. 1910. 12 декабря. № 50. С. 964). «Конечно, главная вина падает на режиссёра за распределение ролей, но если уж он назначает роль г-же Аренцвари, а она её совсем не понимает, и не понимает и не чувствует и всей пьесы, то режиссёр должен объяснить артистке, а если и это не помогает, то должен передать роль другой <...> Г-н Чарин — актёр слабой индивидуальности и неустойчивого тона и часто, прекрасно ведя роль, вдруг сбивается и впадает в тон своего партнёра. <...> Но пока г. Чарин вёл сцену один или даже с г-жой Свободиной, актрисой совсем неопытной

и, собственно, никак не игравшей роль Торы, она ему не мешала, и г. Чарин был хорош в сценах с ней, искренен, трогателен; но выходила г-жа Аренцвари со своими обычными приёмами игры гранд-кокет (какая пьеса, ей всё равно), и г. Чарин сейчас же впадал в её тон, начинал прибегать к приёмам первого любовника, и когда г-жа Аренцвари в нос тянула слова любви и страсти, г. Чарин в патетических любовных местах или после поцелуя прикладывал непременно руку ко лбу в знак того, что он немного обезумел. Г-жа Аренцвари вместо того, чтобы дать образ женщины, влюбляющейся в проповедника, а значит, слушающей проповедь, значит, тоже чего-то ищущей, изобразила такую, что никак не поверишь, что она может влюбиться в проповедника, а уж скорее в опереточного тенора. Г-н Загаров играл недурно и загримировался хорошо, но мне его исполнение напомнило вальсы, сочиняемые гапёрами — и мелодично, и танцевать удобно, а досадно, что испортили какую-то серьёзную, талантливую вещь» (*В. Иль [В. Н. Ильинская].* Театр Корша // Рампа и жизнь. 1910. № 49. С. 804–805). «Играют “Реллинга” у Корша неважно. Чувствуется отвычка от серьёзной работы <...> Г-н Чарин делает из своей роли всё, что можно. Образ намечен правильно и высекается с достаточным рельефом. И не его вина, если открыть все глубины и провалы психологии героя ему не дано. Тут нужен огромный проникновенный талант, чтобы восполнить автора. <...> Г-жа Свободина играет с каким-то противным кривлянием. Всё у неё чрезвычайно бледно и с каким-то дешёвым модернистским вывихом. А вот г-жа Аренцвари играет чрезвычайно уж ярко и смешивает пьесу с фарсом. Своей вульгарностью, развязностью плохого тона, приёмами смелой американской невесты из плохой английской пьесы вызывает смех в драматических местах» (*Як. Львов [Я. Л. Розенштейн].* У Корша // Новости сезона. 1910. 29 ноября. № 2085. С. 10–12). «Вдумчиво отнесясь к роли, несомненно, ощутив острую боль душевного разлада в своём герое и заразившись ею, артист раскрыл эту мятущуюся душу перед нами и дал образ того Реллинга, каким этот несчастный человек был бы в действительности, если бы автор не пытался приладить к его голове ореол непонятой натуры, ореол мученика. Осторожно, в меру своих скромных средств, и так же вдумчиво передала г-жа Свободина простой образ жены Реллинга, тепло и с любовью написанный самим автором. Жаль, что г-жа Аренцвари в роли одной из страстных поклонниц пламенного проповедника держа-

лась в каком-то вульгарном мажоре, очень резавшем глаз и ухо. Впрочем, её исполнение подчёркивает один вполне понятный вопрос: “Пристали ли вообще Театру Корша такие этико-фило-софские трактаты на сцене?” (К. О. [К. В. Орлов] «Арнольд Реллинг» // Русское слово. 1910. 27 ноября. № 274. С. 5).

«Из всех ошибок вчерашнего спектакля, — потому что был целый ряд ошибок — самой крупной и досадной является та, что “Арнольд Реллинг” поставлен был в театре Корша <...> перед той публикой, которой он вовсе и не нужен и которая остаётся после него досматривать “День денщика Душкина” *. Какой абсурд! <...> нельзя же создавать свою особенную публику на репертуаре из “Золотых свобод”, <...> рыночной публицистики гг. Рышковых и прочей дребедени <...> и преподносить вдруг, неожиданно этой публике произведение такой неизмеримой ценности, такой глубокой одухотворённости <...> Если мы бы увидели “Арнольда Реллинга” на других подмостках, пред которыми публика ждёт <...> настоящей драматургии, подлинного театра, а не развлечения, был бы тогда подлинный успех, а не эти противные жидкие хлопки людей растерянных и обалдевших...» (Черепнин А. А. Пьеса, нужная вам // Московская газета-копейка. 1910. 27 ноября. № 179). «Публика у Корша мало подготовлена к таким пьесам <...> её придётся немало перевоспитывать. <...> И всё-таки постановка пьесы должна пойти на актив театра. Дело всё-таки значительно и знаменует переход театра к серьёзному репертуару» (Розенштейн). «Во всяком случае постановку этой пьесы можно приветствовать <...> Точно в душевной комнате открыли форточку» (Ильинская).

* Билет давал доступ сразу на два спектакля. После «Арнольда Реллинга» шло указанное произведение Виктора Александровича Рышкова (1863–1926), автора псевдопроблемных пьес и бездумно-развлекательных комедий с характерными названиями (в т. ч. «Клён, барон и Агафон»). Использование приёмов грубого фарса и чувствительной мелодрамы в стремлении достичь успеха у публики заслужило иронического определения «рышковщина».

«“Золотая свобода” Ленокса — типичная пьеса “весёлого жанра”, которой место в репертуаре фарсовых групп, а не серьёзного драматического театра» (Московские ведомости. 1910. 21 ноября. № 269).

Куда больший разницей во мнениях вызвало содержание пьесы. Ориентировавшийся на печатный текст петербургский критик увидел в ней «характеристику нашего печального времени», но принял обличение за оправдание: «Как это ни странно, но философия безнравственности нашла себе приют не у Арцыбашева *, и вообще не у людей, для которых не существует преград в религии, морали и философии. А именно среди “ищущих Бога”. Сначала Григорий Распутин, который своё распутство прикрыл высокими церковно-религиозными стремлениями, аскетизмом духа. Теперь почти то же делает В. Свенцицкий. Его атмосфера — философия. В власти её он строит свой удивительный картонный домик. В. Свенцицкий известен как религиозный философ. Он выпустил несколько талантливо написанных книг. Вместе с тем он стоит в лагере “свободных”, “голгофских” христиан. Словом, формуляр его умственной жизни более чем безупречен. И вдруг самый неожиданный пассаж: голгофский христианин с удивительной откровенностью называет необузданные плотские удовольствия мученичеством. <...> Как хотите, но мы совершенно не понимаем такого “оправдания зла”, возведения его на пьедестал подвига, мученичества на манер старых “николаитов”. Мученичество там, где есть лишение, самопожертвование во имя великой идеи. Тут же налицо плотская страсть, не сдерживаемая ни требованиями морали, ни верой в Бога, ни атмосферой прекрасной, любящей жены. Половая философия г. Свенцицкого — попытка с негодными средствами. Пастор Реллинг не герой и не мученик, а простой сластолюбец» (*Панкратов А. Своеобразное мученичество // Биржевые ведомости. 1910. 15 октября. № 11970*).

Такой трактовкой автор пьесы был «положительно изумлён — ведь Санин говорит: “Развратничай потому, что это естественно, а значит, хорошо”. Реллинг же называет свою ложь и сладострастие грехом к смерти, то есть самой высшей степенью греха» (*Пьеса о смерти и сладострастии // Московская газеткопейка. 1910. 21 ноября. № 173*). В ответ на обвинения в безнравственности Свенцицкий выдвинул своё понимание обязанностей художника и творческой этики: «Если бы слушаться такой “критики”, то в русской литературе было бы, быть может, очень много добродетельных романов, но не было бы ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Достоевского, ни Толстого, ни

* См. прим. на с. 703.

Горького. Я знаю один вид безнравственности в писателях — ложь. Художественную ли, психологическую ли, идейную ли <...> Да, я считаю “Санина” безнравственным произведением <...> потому, что это ложь и клевета на женскую психологию. Арцыбашев думает, как большинство развратных мужчин, что девушка в 17 лет совершенно так же смотрит на мужчину <...> как и мужчина на женщину. И *доказывает* это, то есть *клеветает* на протяжении всего своего романа. <...> Это было для художника “преступление по должности”. Но *поричать* человеческую душу и человеческую жизнь, самую тёмную, самую падшую, изобразить сладострастные переживания с каким угодно реализмом, если это будет художественно и правдиво, — это никогда не будет безнравственно. <...> О каких бы “возвышенных” вещах писатель ни писал, если он напишет не по вдохновению, не от души, если он допустит в своё творчество *фальшь*, как бы ни было “высоконравственно” это произведение по своим задачам, оно будет всё же и вредным, и безнравственным» (НЗ. 1910. № 13. С. 11).

Как правило, отзывы о пьесе в повременных изданиях сводились к пересказу сюжета и поверхностной характеристике главного персонажа, «великого сладострастника, пламенно и грозно бичующего порок, внутри своей мятущейся души переживающего всю муку терзающих её противоречий, лгущего людям и никогда не лгущего себе и Богу» (Ал. См.). Особливо высказался близкий тогда автору Брехничёв: «Мученик страсти, увлечённый ею — он отдаётся порывам чувства со всем пылом своего огромного темперамента. Но, очнувшись от опьянения <...> произносит своё “Помилуй меня, Боже”. Это покаянный вопль великой души, живущей на высотах, — со дна падения. <...> Незадолго перед смертью В. Ф. Комиссаржевская писала: “Никогда человек не бывает так высок нравственно, как после падения, если оно свершилось вопреки его духовному я”. Пастор именно один из таких людей. Сильных — в падении. Он идёт к победе путём гибели. К жизни — путём смерти. И как он высок по сравнению с теми тысячами филистёров, что умеют жить лишь полегоньку да помаленьку. Любят по-вегетариански <...> не грешат только потому, что нет возможности грешить. Они ненавидят пастора. <...> Фарисеи — ни холодны и ни горячи. И потому путь их — путь тёпленьких душ. Без жертв, но и без заметного греха» (Брехничёв И. Два пути // Московская газета-копейка. 1910. 23 ноября. № 175). Не менее радикальную

позицию занял спрятавшийся под балаганным псевдонимом Назаревский: «Г-н Свенцицкий захотел дать нам какую-то странную апологию лицемера и пошлого негодяя. Что же получилось? Только то, что те громкие фразы, которыми его Реллинг старается защититься от вполне им заслуженного презрения, только резче подчёркивают его мерзость, только усиливают наше отвращение. <...> Герой настолько мелок и пошл, что занимать внимание публики его похождениями, по меньшей мере, странно и нелепо». Последнюю фразу должно применить к её автору, ставившему Ленокса (пресловутая «Золотая свобода») как драматурга на голову выше Свенцицкого и из всех актёров выделившему... г-жу Аренцвари. Неудивительно, что «нелепой и нудной вещи» он противопоставлял «лёгонькую комедийку, смотрящуюся без скуки и отвращения».

Глубоко проник в образ Розенштейн, выявив не только антиномию «правда—ложь», но и «свобода—рабство»: «Пастор Реллинг, пламенный проповедник на кафедре, маленький Савонарола, бичующий ложь, сладострастие, порок среди людей. Но с изнанки он раб — “антихрист”, извивающийся в конвульсиях сладострастия. И при этом не лицемер, он не ведёт игры. Он не лжёт своему Богу, он не лжёт на кафедре — на него находят ужасные приступы сладострастия, которым он не может противиться. В нём несколько человек, он — не герой, он не сверхчеловек». Но итог резко контрастировал с верными рассуждениями и обличал непонимание критиком цели пьесы: «Дать ясную психологию героя автору не удалось, а дать его апологию тем более».

Тем же отмечены и другие попытки разобраться в замысле: «Просто, схематически рассказанный сюжет драмы г. Свенцицкого изменил бы автору, предал бы его противникам, в лицо которых он бросает свой страстный памфлет. <...> Драма с таким сюжетом, — не правда ли, — могла и должна быть обличением некоторых Савонарол, жгущих своим глаголом сердца людей, а в личной жизни не только покорствующих плотскому греху, но жадно в нём купающихся. Не видевшие драмы г. Свенцицкого тем более должны подивиться тому, что страстные, пламенные монологи Реллинга автор уводит в крайние глубины субъективизма и требует, чтобы мы оправдали его героя, как он его оправдывает. Когда Реллинг с пафосом Герострата уверяет, что он правдив перед Богом, хотя изолгался перед людьми, что он целомудрен в душе, хотя и предаётся похоти те-

лом, что его блуд — это его мученичество, что это — путь смерти, которым он идёт к жизни, г. Свенцицкий требует, чтобы мы верили Реллингу, как верит автор. Чрезмерное насилие над нашей способностью верить вызывает в зрителе реакцию и невольно бросает его в сторону уродливой карикатуры на тот пафос, с которым пастор Реллинг оправдывает свою похотливость. <...> Пусть не негодует г. Свенцицкий на загрязнённое воображение зрителя, на отсутствие чуткости к надрывному крику наболевшей души. Этот крик, этот призыв к высшей правде, искренний, горячий, слышен несмотря ни на что. Без него о пьесе не стоило бы говорить. Реллинг не мученик, конечно, но и не лицемер. Он болен душой и действительно жаждет мистического исцеления, жаждет чуда, которое обратило бы его лживость в правду, его разврат — в целомудрие. И автор желает, чтобы мы поверили, что это чудо свершается на наших глазах. Ошибка здесь в самом задании. Чудо по природе своей интимно, чудеса на сцене не показывают. Однажды вынесенное на показ, чудо становится фокусом. А фокусам не верят» (Орлов).

В более поздней статье «Чудо в театре» (Записки передвижного общедоступного театра. 1917. № 5/6. С. 4) Свенцицкий дал отповедь отрицающим силу искусства: «И вот эту публику <...> надо заразить чудом. Казалось — результаты попытки очевидны. Заразить невозможно. А не заражающее чудо — должно стать смешным и жалким. Оказалось иное. Искусство обладает совершенно особенными силами и полномочиями, и театр действительно свершил вполне реальное чудо — заставив пережить неверующих ряд глубоко-религиозных моментов». Не зная о документальности сюжета, Панкратов также считал, что «содержание пьесы искусственно». Здесь уместно вспомнить пронзительную сцену из пьесы Г. И. Горина «Дом, который построил Свифт», когда герой кричит зрителям: «Но это — кровь!!! Скажите им! Это — кровь!» По авторской ремарке, безумные горожане аплодируют...

Несмотря на встречающиеся меткие суждения, критики часто впадали во внутренние противоречия, в т. ч. в вопросе о месте действия. «Это не пьеса в смысле произведения — это скорее философский трактат в лицах о борьбе духа и плоти. Есть талантливые места, много искренности, но почему-то автор подделал пьесу на скандинавский лад, и чувствуется фальшь, как в каждой имитации» (Ильинская). Розенштейн даёт верное объяснение (надо лишь прибавить соображения цензуры): «Но, конечно,

всё это только верхнее платье. Пьеса опять на ту же жгучую тему — о страстном раздвоении личности, и автор одевает своих героев в чёрный сюртук пастора или пёстрый головной убор только для того, чтобы удалить пьесу от остроты, злободневности, чтобы снова не поднимать вопроса об автобиографичности тезы, которая, очевидно, действительно для него довлеет над жизнью»; а потом снова упрекает: «И притом делу много портит скандинавщина — эти пасторы, этот сумасшедший под Герду из “Бранда” напоминают пародию на Ибсена». По-видимому, постановщик настолько переборщил с национальным колоритом, что бутафория подавила философию: «...“действительность” только заслоняет её, затемняет её вся эта жанровая и бытовая окраска. <...> Рядом с самыми реальными прихожанами, в длиннополых сюртуках, с белокурыми, растущими из шеи бородами, и женщинами в каких-то “национальных” костюмах, выводит на сцену мистико-символическую фигуру сумасшедшего Гинга» (Ал. См.).

Общие оценки также содержали взаимоисключающие моменты. «Пьеса, вообще как все подобные пьесы, очень схематична и суха, хотя в ней и есть страстность действия и сухой её скелет кое-где и одет пышной тканью» (Розенштейн). «Несмотря на отсутствие действия, пьеса смотрится с интересом» (Ильинская). «Пьеса г. Свенцицкого — как драматическое произведение не интересно, а горячо и красиво написанные монологи Реллинга — это та же исповедь, повторенная с сценических подмостков. <...> Но в рамки трёхактной драмы, в условия сценического изображения — тема не укладывается. Слишком глубока она, слишком внутренняя» (Ал. См.). «Обидное впечатление неудавшегося замысла <...> большую психологическую тему автор задумал втиснуть в рамки трёх сравнительно коротких актов» (Е. Ф.). Законное недоумение вызвал финал: герой «оказывается так малодушен, что подвигу искупления предпочитает самоубийство» (Ильинская); «Хотя этот конец не особенно убедительно мотивирован. Основная черта Реллинга — это ненасытная жажда жизни, это цепляние за жизнь ногтями и зубами» (Розенштейн). Здесь критик сопрягает разные черты характера, последняя же появилась в пасторе недавно (ср. самопожертвование при спасении мальчика на пожаре). Отчасти объясняют развязку слова Гиппиус, высказанные по иному поводу: «Искусство чаще всего говорит нам о том, что “могло бы быть” или “должно бы быть”, но чего, может быть, и нет; при от-

сутствии же искусства — или ровно ничего нет, или, в рассказанном через слова, мы ощущаем реальную подлинность бытия. Оно, может, и не должно быть, — но оно непременно было и есть, сейчас, в эту минуту. <...> Убивать ему себя, по самому ходу переживаний, нет никакой логической нужды; и это дышит жизненной непоследовательной правдой» (*Гиппиус* З. Собр. соч. Т. 7. М., 2003. С. 306).

Палитра параллелей, проводимых в отношении главного героя, сделала бы честь мастеру игры в бисер: Савонарола, Герострат, Распутин, царь Давид, пародия на Бранда, антихрист... «Пастор — самый обычный Санин» (Панкратов). «Превращения Арнольда воскрешают в памяти метаморфозу Пер Гюнта» (Рогачевский). «Внешне его различает от Тартюфа лишь то, что мольеровскому герою не повезло у доньи Эльвиры, тогда как пастор Реллинг, по его словам, не встречает отказа для своих вожделий» (Орлов). Тот же критик сравнивал его со сладострастным пустынным, одним из персонажей «Декамерона» Боккаччо, забывая об истинно пастырском отношении Реллинга к молодой прихожанке. Другой — уподоблял героям произведений «проникновенного гения Достоевского и большого мозга Мопассана» (Ал. См.).

«Если сопоставить всё, что писалось в газетах об “Арнольде Реллинге” за последние дни, получится такой противоречивый хаос, в котором невозможно да и неинтересно разбираться», — констатировал Свенцицкий. Увы, «этико-философский трактат» (Орлов, Ильинская) «об ужасном “двойнике”, живущем в душе человека» (Ал. См.), оказался не по зубам театральной критике тогдашнего «хаотического времени» (Розенштейн). «Боже, до чего спутались все понятия, все слова, все чувства! <...> Петь на сцене такие песни, от которых тошнит даже привычных ко всякой грязи, это — ничего. Для общества невредно. <...> Невредно, когда раздеваются женщины на сцене, пьют и развратничают, говорят пошлости и сальности. Для общества не приносят зла все эти сады и кафешантаны, фарсы и оперетки, где сотни женщин поют и говорят гадости, а потом продают себя пьяным посетителям. Но вредно, когда писатель расскажет о падшем человеке, в каждый миг своего падения сознающего свой грех, страдающего нечеловеческими страданиями и искупающего свои преступления ценой всей своей мученической жизни. Вредно, если человек этот пастор. Вредно, когда пастор говорит о своих кровавых слезах. Но если он, подобрав свои

длинные одежды, конканирует по сцене и поёт двусмысленные куплеты, — это не приносит зла, — и даже для спасения общественной нравственности не надо действие переносить в Норвегию» (НЗ. 1910. № 2. С. 6).

С. 270. *Действующие лица* — Персонажи автобиографической пьесы имеют прототипы: Тора — Надежда Сергеевна Багатурова (1890—1976); Торик — Надюнчик (21.07.1908—1998), дочь Свенцицкого и Багатуровой; Лия — Ольга Владимировна Шер (1888—1970); Вильтон — Сергей Николаевич Булгаков (1871—1944); два молодых человека — Василий (1883—1940) и Дмитрий Владимировичи Шер. Внешность и возраст героинь не совпадают с реальностью.

С. 271. *...на кафедре он всегда с опущенными глазами.* — Ср.: «Я говорил всегда с опущенными глазами, но я как бы видел и через веки сотни внимательных глаз и особенно это застывшее благоговение на лицах женщин» (Русов Н. Мистик // Повести. М., 1913. С. 91—92). Прототипом героя цитируемого рассказа, по свидетельству автора, был Свенцицкий. Вероятно, фраза дословно взята из пьесы, опубликованной на четыре года раньше.

С. 272. *У пастора нечиста совесть.* — Ср. упрёки герою к/ф «Дом, который построил Свифт» (реж. М. А. Захаров, 1983; в пьесе Горина отсутствуют): «Зачем вы прячете глаза? Ваша совесть нечиста!»

С. 273. *...он всякого может загипнотизировать.* — Свенцицкий имел особый дар влиять на людей и знал о нём. Некоторые считали его гипнотизёром (Белый А. Начало века. М., 1990. С. 301; Никольский Н. В., священник, «Свенцицканство» // Московские ведомости. 1906. 23 декабря. № 309; Тернавцев В. // ВРХД. 1984. № 142. С. 66), но это объяснение недобросовестно хотя бы потому, что не учитывает силу смысла его речи. Чуть точнее другое определение: «...волевой, почти гипнотический нажим на слушателей» (Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. СПб., 2000. С. 202). Правдиво же духовное изъяснение: «Когда я слушал Свенцицкого, мне всегда казалось, что он обуреваем, одержим Духом, что он не сам говорит. Даже волосы на голове его трепетали, точно насыщенные электричеством. Голос у него был слабый, но грозный и твёрдый. А главное, сила, страсть, которая исходила из самой глубины его души, каждое слово звучало выстраданным, личным, облитым слезами и молитвами» (Русов Н. Из жизни церковной Москвы // Накануне. 1922. 3 сентября.

№ 124). «Слова, которые говорю Я вам, говорю не от себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» (Ин. 14, 10). Харизма [гр. *charisma* божественный дар, благодать, милость] сущностно противоположна гипнозу [гр. *hypnos* сон], поскольку пробуждает внимающего к творческому акту, а не побуждает безвольно подчиниться кумиру. В мирском понимании часто смешиваются чудодейственные энергии, исходящие из противоборствующих центров. Дьявол — не творец, но замечательный певец наизнанку (пародист), в этом его сила. Зная, как люди поддаются обаянию, Свенцицкий не старался влиять на органы чувств: «Говорил тихим, едва слышным голосом, часто ни на кого не глядя. Но и голос, и вся его измождённая фигура, оставившийся взгляд производили огромное, я бы сказал, магнетическое впечатление» (Вишняк. С. 30). А когда измаявшийся от стеснительности друг собрался прибегнуть к помощи практикующего гипнотизёра, «решительно этому воспротивился, находя обращение в данном случае к гипнозу аморальным — подменой личного волевого усилия воздействием со стороны» (Там же. С. 70).

С. 282. *...столетия со дня рождения Геринга.* — Образ собирательный. Из дальнейшей характеристики («мыслитель, художник, богослов, публицист») можно сделать вывод, что речь идёт о А. С. Хомякове, столетний юбилей которого отмечался в 1904, но некоторые пассажи из речи пастора явно относятся к Л. Толстому.

С. 283. *...как о пророке свободной правды и обличителе всякой лжи.* — Именно так нужно говорить и об о. Валентине Свенцицком.

...все мы грешные, маленькие, слабые. — С немецкого имя Геринг (Gering) переводится как «малый, маленький» (возможно, избрано по контрасту с фамилией великого романиста).

С. 284. *Из всех пороков ложь — самый ненавистный.* — Дьявол — лжец и отец лжи, «а Господь Бог есть истина», потому «мерзость пред Господом — уста лживые» и погубит Он говорящих ложь; «Повелениями Твоими я вразумлён; потому ненавижу всякий путь лжи» (Иер. 10, 10; Пр. 12, 22; Пс. 5, 7; 118, 104).

Груда фактов — не истина. — Во всяком явлении различимы две стороны; наука изучает внешнюю, фактическую, поэтому не имеет права именоваться высшей формой человеческого знания. Смысл происходящего раскрывается только при постижении цели, а на эту область наука не претендует (см. прим. к

с. 127, 137). Необходимость веры в познании истины подробно обоснована Свенцицким в «Диалогах».

С. 293. *Оно наступает каждый день.* — Ср.: «Нечестивый мучит себя во все дни свои» (Иов 15, 20).

Я не обязан ~ Это моя тяжба... — Формально пастор прав, но суть долга не в обязанности, а в ответственности. Отчуждённость обезличивает: полный простор индивидуальным силам человека, по убеждению Свенцицкого, даёт только любовное единение свободных людей, сознающих себя сынами Божиими.

С. 295. *...мыслей твоих не слушают.* — Лия противоречит себе, тут же уверяя: стоит пастору изменить смысл проповедей, обличить свои больные страсти, и все с отвращением от него убегут (так и случилось в действительности). Значит, люди тянулись к нему именно потому, что слышали о целомудрии и в словах этих дрожала тоска любви, а не порочное вожделение. См. также прим. к с. 273.

С. 297. *Грех к смерти.* — «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится... Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех; но есть грех не к смерти» (1 Ин. 5, 16–17). Арх. Иустин (Попович) толкует, что есть два вида грехов: если человек приносит покаяние, то восстаёт от мёртвых; в нераскаянных же грехах остаётся добровольно, благодарно и непреклонно. «Если согрешит человек против человека, то помолятся о нём Богу; если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нём?» (1 Цар. 2, 25). Ср.: «Что ты не смог — тебе простится, что ты не хочешь — никогда» (Ибсен. 2, 210).

Перед людьми легче быть правдивым. — Пастор заблуждается: Бога обмануть нельзя, а человека — действительно легко, тем паче это приносит «пользу». Перед людьми не сложно казаться правдивым, тогда как в отношении Бога — бессмысленно.

...для великих дел ~ нечто из другой комедии. — Герой романа «Шагреновая кожа» (1831), входящего в эпопею «Человеческая комедия», говорит: «Я был жертвою чрезмерного честолюбия, я полагал, что рождён для великих дел» (Бальзак О. Собр. соч. Т. 13. М., 1955. С. 78).

С. 298. *...у меня есть маленькая дачка ~ шёлковый хлыст.* — Относить это к автору — по меньшей мере, преувеличение: «Была у него и дача-избушка в селе Крёкшино <...> С крошечным окном она стояла, покосившись, на краю выгона и утопала

в навозе. Внутри закоптелые брёвна и заплесневевшее одеяло на нарах. Грязь и вонь» (*Вишняк*. С. 168). Взявшись в сокрушении сердца унижать себя, Свенцицкий, как и подобает христианину, обличает не только греховные свои поступки, но и помыслы (ср.: Мф. 23, 12; 5, 28). И кто без греха, пусть первый бросит в него камень.

С. 303. *...года полтора назад...* — Следовательно, между первым действием, где говорится, что Торику 10 месяцев, и вторым проходит около полугода.

Сидит в глубокой задумчивости. — Ср. пушкинскую ремарку: «Председатель остаётся, погружённый в глубокую задумчивость» («Пир во время чумы», 1830).

С. 306. *...вы украли...* — Судя по документам из архива Эрна (ОР РГБ. Ф. 348, к. 3, ед. хр. 8), осенью 1907 Свенцицкий присвоил деньги из кассы трудовой общины собственников еженедельника «Век», членом которой состоял. Поскольку 1 ноября 1907 был уволен из ИМУ «ввиду невзноса платы за полугодие» (ЦИАМ. Ф. 418, оп. 317, д. 999), деньги действительно могли пойти на содержание ребёнка. Ср. запись Эрна от 20 августа 1908: «Он говорил обо всём прошлогоднем и сообщил мне один факт, который многое объясняет и извиняет» (*ВГ. Письмо № 99*).

С. 307. *...мы не остановимся... чтобы вас совсем стереть с лица земли!*.. — Заправлявший в «лучших» традициях партийной морали судилищем осени 1908 Булгаков до конца своих дней не простил Свенцицкого. Более того, постарался стереть память о нём, умолчав в воспоминаниях о 3,5 годах близкого знакомства и общей борьбы. Только обетом молчания объяснимо отсутствие в мемуарах Ельчанинова и Бердяева имени одного из главных героев религиозно-философской жизни того времени. Как и прочие, Эрн никогда с тех пор не упоминал бывшего друга в своих работах. Забыв заповедь Спасителя о прощении (Мф. 18, 21–22; Лк. 17,4), никто из них не помог заблудившемуся брату в самый тяжкий момент его жизни. Бог им судья.

С. 308. *...на самоубийство надо иметь право.* — Пастор повторяет слова Гедина (С. 265).

С. 312. *...маленьких бронзовых медвежат...* — Семейная реликвия хранится у потомков Багатуровой.

С. 314. *Ни одному твоему слову не верю...* — «Меня потрясло не то, что ты солгал мне, а то, что я уже больше не верю тебе» (*Нищие Ф. По ту сторону добра и зла. Гл. 4. § 183*).

С. 315. *Волшебство? Чудо?* — Это бесовское действие по поущению Божьему. «И сказал Господь сатане: вот, всё, что у него, в руке твоей» (Иов 1, 12).

Стихия — неподвластная человеку разрушительная сила. Апостол Павел говорит, что надо со Христом умереть для стихий мира (Кол. 2, 20). Свт. Феофан Затворник поясняет: «Стихии мира у него означают всё вещественное, земное, гленное, которому умирает всякий настоящий христианин <...> Это есть прямо умертвие греху <...> Все эти узы умерший во Христе <...> сбрасывает с себя, как теснящую его одежду».

Это — страшный крест. — «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: “довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи”» (2 Кор. 12, 7–9). Пастор Реллинг воспринимает крест как ношу, но не возвышается до спасительного распятия. «Вся жизнь христианина — распятие. Распятие внутреннее, ибо там мы распинаем свои страсти. Распятие нашей гордости, нашего самолюбия, себялюбия, всех наших страстей» (МвМ. 2, 414).

...кровавыми слезами молился... — Ср.: «И, находясь в борьбе, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю» (Лк. 22, 44).

Как раскалённый вихрь... — «Когда придёт на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесётся на вас... возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскалённые стрелы лукавого» (Пр. 1, 27; Еф. 6, 16).

Я сам становился рабом чьей-то дьявольской власти... — «Всякий делающий грех есть раб греха... потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю... А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех... Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» (Ин. 8, 34; Рим. 7, 15–24).

Это — венец мученический... — Двусмысленное и неудачное сравнение показывает степень гордыни персонажа; ср. как ту же мысль излагает странный человек в «Антихристе» (С. 210). Венец из терна, возложенный на голову Распятого, стал символом страдания. Но славу мучеников (венца как знака возвышенного положения) стяжают победившие грех, а испытывает мучения всякая душа живая после первородного греха.

С. 316. *...поверить торжеству смерти ~ гимн её...* — Поскольку Реллинг снова повторяет слова Гедина и признаёт нали-

чие у смерти «лица», становится ясно — он побеждён (см. прим. к с. 266). А кто кем побеждён, тот тому и раб (2 Пет. 2, 19).

И я кричал: в пустыню... — «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему» (Ис. 40, 3).

...предвечное проклятье. — За преступление Адамом заповедей земля была проклята Богом. Когда же Ной исполнил повеления, «сказал Господь в сердце Своём: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его» (Быт. 3, 17; 8, 21). «Проклятие Господне на доме нечестивого, но незаслуженное проклятие не сбудется... Проклят человек, которого сердце удаляется от Господа» (Пр. 3, 33; 26, 2; Иер. 17, 5).

...отмщение за новую жизнь... — Уподобившись Гедину, пастор забывает, в чьих руках отмщение и что бывает оно только за преступление заповедей (см. прим. к с. 264).

С. 317. *Я знаю смерть ~ как никто...* — Пастор снова повторяет слова Гедина (см. прим. к с. 239).

С. 318. *Это рок!* — «Человек не должен думать, что он один только оказывается в таком тяжёлом душевном состоянии, и потому не должен впадать в уныние, в соблазн, в маловерие; пусть ему не покажется, что перед ним поставлено какое-то единственное в своём роде препятствие, лишь ему прилежащее, преодолеть которое у него нет сил. Пусть он помнит, что это есть та преграда <...> которая всегда стоит на пути человека, желающего стяжать спасение» (МвМ. 1, 37).

...лет десять ~ в первый раз. — Если описанное знакомство имело место в действительности, то должно относиться скорее к прототипу Лии — Ольге Шер (см.: Вишняк).

С. 320. *Синий огонь надвигается...* — При гниении органики без доступа кислорода (в болоте или свежих могилах) образуется метан, пламя при его горении бесцветно, ночью же видится синим. Поверье связало такие огоньки с мытарством грешных душ в геенне огненной (ср. выражение «гореть синим огнём»). По ходу пьесы пастор ещё трижды говорит о синем угаре.

С. 321. *Ты должен принять возмездие... И жить по-новому...* — Идущие «вслед скверных похотей плоти... получают возмездие за беззаконие... Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе... Ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть

рабами греху, ибо умерший освободился от греха» (2 Пет. 2, 10, 13; Рим. 6, 23, 6–7).

С. 323. *Пастор повесился...* — «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода» (Ин. 12, 24). «Психологически, для самого себя, по всем чувствам своим, я как бы *действительно умер*. <...> Теперь я не умер, но разве от этого *факта* мои внутренние переживания меняются? <...> И я, заявив, что я скоропостижно скончался, если уж на то пошло, правду восстанавливал, внутреннюю правду между душой моей и действительностью» (Наст. изд. С. 129). «Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание... почитайте себя мёртвыми для греха... ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге... И уже не я живу, но живёт во мне Христос» (Кол. 3, 3, 5; Рим. 6, 11; Гал. 2, 20).

Интеллигенция

М.: издательство В. П. Португалова «Порывы», 1912. Склад: Б. Дмитровка, 26 *. 153 стр. Цена 1 руб.

Издание вышло из печати в марте 1912. Отрывки публиковались в *НЗ* (1911. № 10, 24), там же появилась рецензия В. М. Брихничёвой (1912. № 13/14. С. 19–20): «В книге ярко выражена вся недотыкомка русской т. н. “передовой” интеллигенции. А в лице героя пьесы Подгорного представлено всё то новое и живое, что <...> задыхаясь в затхлой атмосфере слов и фраз без внутреннего содержания, не успело погаснуть вместе с другими в пошлой будничной обстановке и потянулось к вечному, Невечернему Свету. <...> Все, кому “сильно недужится” <...> увидят, какого верного друга и руководителя приобрели они в новой книге <...> Жажду к новому и вечному вызывает она. Зовёт из Египта праздности и легкодумия». Другой критик счёл, что автор изобличает интеллигенцию на примере «компании довольно глупых людей», а «гвоздь» пьесы заключается в аллюзии на предсмертный уход из дома Л. Толстого (В. Ю. Б. // Новое время. Иллюстр. прилож. 1912. 7 апреля. № 955. С. 10).

* По этому адресу располагались: книжный магазин «Копейка», редакции одноимённой московской газеты и *НЗ*, в которых сотрудничал Свенцицкий.

В РГБИ хранится экземпляр книги с дарственной надписью Свенцицкого: «Многоуважаемому Фёдору Адамовичу Коршу, судье строгому, но справедливому, — на добрую память. 2/IV 12 г.». Театр Корша включил пьесу в свой репертуар (Московская газета-копейка. 1910. 5 декабря. № 187. С. 5), но постановка осуществлена не была из-за смены главного режиссёра. Уже 19 декабря 1910 был подписан договор с Н. Д. Красовым о вступлении в должность с 1 августа 1911. Стремившийся же к серьёзным постановкам А. Л. Загаров перешёл в Александрийский театр.

С. 324. *Титов, богатый издатель.* — Свенцицкий хорошо знал нравы газетно-книжных магнатов, поскольку тесно общался с Д. П. Ефимовым (1866—1930) и И. Д. Сытиным (1851—1934). Последний, по-видимому, и послужил главным прототипом героя (см. прим. к с. 340).

С. 328. *...интеллигенция русская выродится окончательно...* — Об этом писали Л. А. Тихомиров («Начало и концы», 1890), С. Н. Булгаков и А. С. Изгоев в сборнике «Вехи» (1909), А. А. Блок: «...интеллигенция осуждена бродить, двигаться и вырождаться в заколдованном круге» («Народ и интеллигенция», 1908).

С. 335. *«Народные думы»* — Еженедельник под таким названием выходил в Санкт-Петербурге в 1902—1903 (ред.-изд. А. Пороховщиков). Газета «Народная дума» издавалась там же в 1906—1907.

С. 337. *...просветить народ, приобщить его к мировой культуре.* — Общее место в чаяниях русской интеллигенции XIX в., «носительницы знания и света», противопоставившей себя «тёмной народной среде». Адептам просвещения не приходило в голову сначала приобщиться к национальной культуре, основу которой они потеряли. «Главное зло в том, что интеллигенция <...> старается переделать народ на свой лад и вытравить из народа то, что мешает этой переделке» (*Фудель И.* Поучительная история // Русское обозрение. 1895. № 10. С. 764).

...жизнь высшего духовного порядка ~ образованное общество... — Типичная для образованщины подмена понятий. Накопление знаний и эстетические переживания, занятия наукой и искусством относятся к душевной жизни человека. «А душа вся обращена исключительно на устройство нашего временного бытия — земного» (*Феофан Затворник*, свт. Что есть духовная жизнь... М., 1997. С. 45). Высшая сторона человеческого естества влечёт

нас к Творцу. Сила духа в вере, без неё духовная жизнь угасает. Здесь у интеллигенции явный изъян: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием» (1 Кор. 2, 14).

С. 340. *Маневич и Рукевич-Краморенко* — Популярный фельетонист Влас Михайлович Дорошевич (1865—1922) с 1902 редактировал издававшуюся Сытиним газету «Русское слово»; Гиппиус считала, что смешно даже говорить о литературных достоинствах его произведений (Жизнь и литература // Новая жизнь. 1912. № 11. С. 120). В той же газете сотрудничал плодовитейший (250 книг) писатель Василий Иванович Немирович-Данченко (1844—1936), стиль которого — «во что бы то ни стало произвести эффект» (Отечественные записки. 1877. № 3. С. 98). Сходство фамилий указывает именно на них, но подобных был легион. Например, Пётр Ашевский (Подашевский) и известный эротическими сочинениями Марк Криницкий (Михаил Самыгин; 1874—1952), отвечавший на упрёки в бульварщине: «Пошлости, как таковой, нет...». В 1920-х эти литераторы публиковались и в советской периодике, в т. ч. освещали процесс о сопротивлении изъятию церковных ценностей (Известия ВЦИК. 1922. 6 мая). «Ашевский и Криницкий тряхнули стариной, написали по поводу допроса на суде патриарха несколько хлётких фельетонов “под Дорошевича”. <...> Когда-то писали и то, что угодно было Ивану Дмитриевичу Сытину. И без сомнения, стали бы писать верноподданническое и патриарху, если бы тот сейчас был в силе» (Окунёв Н. Дневник москвича. Кн. 2. М., 1997. С. 225).

С. 344. *На башню...* — Ср.: «Башней» называли квартиру Вяч. И. Иванова, где в 1905—1912 по средам собиралась петербургская интеллигенция.

С. 346. *Всё или ничего.* — Девиз ибсеновского Бранда, любимого героя Свенцицкого. Опошлить софизмом великую идею — обычное развлечение тогдашней и нынешней образованщины.

С. 347. *Помните, у Горького пьяный...* — Выпивший Алёшка в первом акте пьесы М. Горького «На дне» (1902) восклицает: «А я такой человек, что... ничего не желаю! Ничего не хочу и — шабаш! На, возьми меня за рубль за двадцать! А я — ничего не хочу».

С. 349. *...на заседании Комиссии по народному образованию...* — С 1877 начальное образование в России постепенно переходило из ведения соответствующего министерства к местным адми-

нистрациям. Городские думы избирали комиссии по народному образованию, отвечавшие за начальную школу. Комиссия с тем же названием работала и в III Государственной думе (1908–1912).

С. 350. *Лига свободного воспитания* — основана в Париже в конце XIX в. (см.: Толстой Л. Полное собр. соч. Т. 70. М., 1954). В России действовало Общество друзей естественного воспитания, а в 1916 Ю. И. Фаусек организовала Общество свободного воспитания. Расхождение в тексте «лига/общество» должным образом характеризует героиню (см. прим. к с. 406).

С. 354. *...двадцать две ступеньки...* — В России часто делали лестницы с таким количеством ступеней (напр., в домах А. А. Ахматовой; Л. И. Кашиной, знакомой С. А. Есенина; в первом месте службы М. И. Цветаевой). Ср.: 22 ступени — посвящения в древнеегипетских мистериях; развития человека в Каббале; в картах Таро; в энгармонической гамме; к месту Вознесения Христа на Елеонской горе («Житие и хождение Даниила, игумена Русской земли»).

С. 357. *О Дружба, это ты!* — Цитата из иронического стихотворения В. А. Жуковского «Дружба» (1805).

С. 358. *А я возведу ~ аки песок морской.* — Типичный постмодернизм — пышное, но бессмысленное сопряжение крылатых библейских фраз.

...по тёмным аллеям уснувшего сада... — Ритмичная фраза не является точной цитатой. Наиболее близкие источники: «Нагулявшись до усталости по тенистым аллеям уснувшего сада» (Тютчев Ф. Ф. Беглец (Роман из пограничной жизни). СПб., 1902); «...в ночь, когда по уснувшему саду <...> ты в глубокой аллее терялся» (С. Надсон. «Если в лунную ночь...», 1884).

Addio — прощайте (ит.).

С. 364. *Гигиеническое общество* — В 1892 профессор медицинского факультета ИМУ Ф. Ф. Эрисман основал Московское гигиеническое общество, позже З. Френкель создал Всесоюзное гигиеническое общество, имевшее отделения в крупных городах России.

С. 368. *...ни во что по-настоящему не верю...* — «Чего больше всего не хватает интеллигенции? На вопрос этот, ни минуты не задумываясь, отвечаю: верь» (Свенцицкий В. Письма одинокого человека // НЗ. 1911. № 9). Указанная статья — идейный концепт пьесы, все обличительные мысли вложены в уста Подгорного.

С. 369. «Блажен, кто...» — Рим. 14, 22–23.

«Человек с дwoящимися мыслями...» — Иак. 1, 8. См. также прим. к с. 191.

...потому мы и бессильны, и нерадостны. — Ср.: «Войди в радость Господина твоего», потому что от Него исходит сила и исцеляет всех. И вы, силою Божиею через веру соблюдаемые ко спасению, о сём радуйтесь, и пусть радость ваша будет совершенна (Мф. 25, 21; Лк. 6, 19; 1 Пет. 1, 5–6; Ин. 15, 11).

С. 370. *Старый Афон* — полуостров Афон-Орос (Святая Гора) в Греции, средоточие православного монашества.

...живёт как птица небесная... — См.: Мф. 6, 26.

С. 371. ...зачем люди живут? — Цель нашей жизни — «встать на уровень с достоинством человека, каким ему подобает быть по определению Божью. <...> Смотрите на небо и всякий шаг вашей жизни так соразмеряйте, чтоб он был ступанием туда. <...> Цель настоящей жизни, всей, без изъятия, должна быть там, а не здесь» (Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь... М., 1997. С. 83–84).

Он не знает — он верит: это выше. — См. прим. к с. 254.

С. 375. *Метранпаж* — старший верстальщик.

С. 376. *И не нам её учить*. — «Немногому могут научить народ мудрецы наши. Даже, утвердительно скажу, — напротив: сами они ещё должны у него поучиться» (Достоевский. 4, 122). «Не нам надо учить народ, а самим у него учиться. <...> Нужно быть с ним сходным в основах» (Леонтьев К. Как надо понимать сближение с народом? // Интеллигенция. Власть. Народ. М., 1993. С. 61–65). См. также прим. к с. 390.

С. 378. ...высшая правда жизни. — «Явилась правда Божия чрез веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих... В Нём открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет» (Рим. 3, 22; 1, 17).

С. 380. *Разлетайка* — плащ с расходящимися, разлетающимися полами.

С. 382. ...узнавши мир бактерии, человек сразу начинает по-иному смотреть не только на землю, но и на небо. — Ср. объяснение позиции учёных, данное Л. Толстым в книге «Так что же нам делать?» (гл. 36): «...чтобы понять всё сначала, вам надо смотреть в микроскоп на движение амёб и клеточек в глистах или ещё покойнее верить во всё то, что вам будут говорить об этом люди с дипломом непогрешимости. <...> Вы должны, чтобы понять себя, изучать не только глисту, которую вы видите, но и

микроскопические существа, которых вы почти что не видите, и трансформации из одних существ в другие, которых никто никогда не видел, и вы наверно никогда не увидите».

Развлечение ~ найдётся. — «Единственное, что способно нас утешить в горестном нашем уделе, — это развлечение, и вместе с тем именно оно — горчайшая наша беда: что, как не развлечение, уводит нас от мыслей о себе и тем самым незаметно толкает к гибели? Лишённые развлечений, мы ощутили бы такую томительную тоску, что попытались бы исцелить её средством, чьё действие не столь преходяще. Но развлечение тешит нас, и мы, сами того не замечая, спешим навстречу смерти» (*Паскаль Б. Мысли.* 217). Ср. мнение митр. Владимира (Богоявленского), прототипа церковного администратора из «Второго распятия Христа»: «Православный христианин <...> так же, как и другие, нуждается <...> в развлечениях» (*Московские церковные ведомости.* 1907. № 21. С. 633).

...развлечения будут такие же разумные, как и вся жизнь... — «Ведь все эти на вид невиннейшие народные дома, библиотеки, курсы для рабочих, “разумные развлечения” — всё это фактически суть средства религиозного развращения народа. Даже когда они прямо и не направляются против церковности, однако молчаливо её подмывают одним уже пренебрежением к уставам церковным: назначить любое чтение в часы богослужения, концерт или там вечер какой-нибудь в канун большого праздника» (*Булгаков С. На пиру богов // Из глубины.* М., 1991. С. 133). Ср. также о последних людях: «Они ещё трудятся, ибо труд для них — развлечение. Но они заботятся о том, чтобы развлечение это не утомляло их чрезмерно» (*Ницше Ф. Так говорил Заратустра.* М., 1990. С. 14).

С. 384. *Всякое направление определяется...* — Ср.: «У всякой практической программы должен быть непременно конечный и окончательный идеал. Только он может дать цельность, последовательность и единство <...> действиям различных лиц, ставя и указывая им единую цель. Для Братства таким идеалом всех человеческих отношений <...> является Церковь» (*Свенцицкий В. «Христианское братство борьбы» и его программа.* М., 1906).

...каждый пишет, не подлаживаясь ~ и тогда журнал будет журналом исканий... — Ср.: «У всякого дела должен быть свой достаточный *raison d'être*. Начиная издание, необходимо хоть в кратких словах сказать, какой высшей идеей и какой практической целью осмысливается оно. Наш журнал хочет стать

органом критического сознания современности. <...> Первое условие критичности — избегать всякой односторонности. <...> Самая группа лиц, стоящих во главе издания, расходится друг с другом в очень многих и весьма коренных вопросах, и если она решается приняться за общее дело издания единого литературного органа, то только потому, что она сознаёт своё глубокое внутреннее единство. Это единство в понимании жизни как чего-то безусловно ценного и в живом признании Вечного и Абсолютного единственным животворящим началом жизни» (Живая Жизнь. 1907. № 1. С. 1–2).

С. 390. *Не механически ~ душой к душе.* — Ср.: «...польза (или даже спасение наше) — не в смешении с народом, и не в практическом каком-нибудь с ним соглашении, а в сходстве с ним, в подражании ему. <...> Спасение не в каких-нибудь деловых, юридических, земских и т. п. соглашениях, или сближениях с народом, а в развитом восстановлении его идеалов, верных и самобытных, но загрубелых в его бедных руках, и потому и нам не всегда достаточно ясных, в идеальном сближении с простолюдином нашим» (Леонтьев К. Указ. соч. С. 63–65).

Как переделать себя ~ стать таким цельным... — «Раздвоенность наша коренится в общем нашем духовно-нравственном состоянии, и освобождение от неё — дело всей жизни человека. <...> Молитва содействует уничтожению раздвоенности <...> Подвизающийся должен терпеливо идти своим путём, зная, что единство придёт к нему как желанный результат долгого труда» (МѣМ. 1, 73).

С. 391. *«Гром победы, раздавайся»* — Торжественный полонез О. А. Козловского на слова Г. Р. Державина («Хор для кадрили», 1791), неофициальный гимн Российской империи в начале XIX в. Название было метафорой восторга, радости.

...должно кончиться катастрофой ~ живём мы накануне... — О последнем в 1910–1911 Свенцицкий предупреждал неоднократно (напр.: Когда же придёт настоящий день? // НЗ. 1910. № 1), но в публицистике никогда не высказывался столь пессимистично, как Лидия Валерьяновна.

С. 393. *...всегда самого первого голоса слушай.* — «Всякий христианин <...> стоящий перед необходимостью найти в том или ином случае решение, согласное с волей Божией, внутренне отказывается от всех своих познаний, предвзятых мыслей, желаний, планов и <...> внимательно в сердце молится Богу, и первое, что рождается в душе после этой молитвы, принимает как

указание свыше» (Старец Силуан. Жизнь и поучения. Ч. 1. Гл. 4. О познании воли Божией). «Когда я говорю, надо слушать с первого слова; тогда будет послушание по воле Божией» (Преподобные Оптинские старцы Амвросий и Антоний. М., 2003. С. 21). Иеромонах Кирилл (Никаноров) рассказывал о посещении Свято-Троицкой Сергиевой Лавры: «Отец Борис [ныне владыка Вениамин] сказал мне: “Слушай первое слово старца — оно от Бога, второе — от ума, а третье — так...”» (Солёный монах // Ежедневные новости. 2000. 18 августа).

...к Божьему голосу прислушиваться ~ Богу отдаться. — «Всем нам надо учиться познавать волю Божию <...> Но чтобы достовернее услышать голос Божий в себе, человек должен совлечься своей воли и быть готовым на всякую жертву <...> подобно Самому Христу» (прп. Силуан Афонский. Указ. соч.).

С. 394. *В раю...* — Изгоня из Едемского сада согрешивших людей, Господь «жене же сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рожать детей» (Быт. 3, 16).

С. 395. *Епитимья* — духовное взыскание, наказание, исправительная кара кающегося грешника.

С. 396. *С усталку* — от усталости.

С. 397. *...остальные времена приходят.* — Остальной — последний, не покидающий за собою ничего более (*Даль*). О последних днях (временах) гнева как преддверии апокалипсиса вещали ветхозаветные пророки Исая, Иеремия, Иезекииль, Даниил, Осия, Михей.

Есть такая книга... — О ней рассказала Свенцицкому «милая и смешная, убогая старушка». Всё ею поведенное вошло в пьесу. «Не смейтесь над “народными предрассудками”! Пусть предмет вашей веры будет освещён разумом и наукой, вы *сердцу* народному научитесь. Научитесь его способности веровать» (*Свенцицкий В. Письма одинокого человека // НЗ. 1911. № 9*).

С. 398. *Батог* — посох, трость, палка для телесных наказаний.

...дом — точно ковчег завета. — «И сказал Бог Ною... с тобою я поставлю завет мой, и войдёшь в ковчег». Во время потопа в нём спасались Ной с семьёй и по паре из всех животных и от всякой плоти (Быт. 6).

С. 402. *«Домострой»* — свод житейских правил и наставлений XVI в., излагавший принципы патриархального быта.

С. 405. *Обскурант* — враг просвещения и науки, реакционер.

...написал что-то консервативное. — «Православие будет всегда на стороне наиболее консервативной политики данного исторического момента» (*Свенцицкий В. Возможно ли «либеральное православие»? // Новое вино. 1913. № 3*).

...пока не вложу пальцы свои, не поверю... — Ср.: *Ин. 20, 25*.

...на заседании Лиги... — Действовавшая с 1907 Российская лига равноправия женщин имела многочисленные отделения по всей стране. Разработала для III Государственной думы два законопроекта в отношении избирательных прав женщин. Не путать с Союзом равноправности женщин (1905), Обществом охранения прав женщин (1910) и Обществом распространения практических знаний между образованными женщинами.

С. 406. ...с секретарём Грациановым. — Николай Алексеевич Грацианов (1855—?) — доктор медицины, городской санитарный врач в Нижнем Новгороде, преподаватель Мариинского института, председатель местной секции Гигиенического общества. Печатался в центральной прессе (К вопросу о белых невольницах // *Русский медицинский вестник. 1903. № 4*). См. также прим. к с. 364.

...Общества нуждающихся официантов... — В 1902 для защиты своих интересов и помощи нуждающимся трактирные служащие создали в Москве «Общество официантов и других служащих трактирного промысла».

С. 415. ...вообще всякую веру ~ И в домовых. — Ироническая реплика Прокопенко выявляет ущербность построений Подгорного, ибо не всякая вера целительна. Ср.: «— А можно ль верить в беса, не веруя совсем в Бога? — засмеялся Ставрогин. — О, очень можно, сплошь и рядом, — поднял голову Тихон и тоже улыбнулся» (*Достоевский. 11, 10*). В России конца XX в. освободившиеся от партийного гипноза люди поспешили найти ему замену; обиходной стала фраза «ну, надо ведь во что-нибудь верить!», покрывавшая увлечение магией и «нетрадиционными» религиями. Многих сгубила неспособность увидеть разницу между призраками и бестелесными существами, а пуще — разобратся в сущности последних. «Христианин ограждает себя от опасности демоническое действие или внушение счесть за Божественное и таким образом научается не внимать духам обольстителям и учениям бесовским и не воздавать божественное поклонение демонам» (прп. Силуан Афонский. Указ. соч.).

Такая вера ~ хотя бы в безбожье ~ всегда религиозна. — И деизм, и атеизм в равной степени могут быть названы религи-

озными доктринами, поскольку определяются той или иной верой (утверждаются в невидимом). Но не всякая вера становится религией, возможна и религия при отсутствии веры (см. прим. к с. 66). «Все, и правители, и управляемые, руководствуются макиавеллевской заповедью: “Если бы не было Бога, следовало бы его выдумать”, — но <...> довольствуются либо призраком, либо каким-нибудь подобием религии. Кажется, мы дали бы самое точное определение настоящего состояния, сказав, что латинская идея *религии* превозмогла над христианской идеею *веры*, чего доселе не замечают. Мир утратил веру и хочет иметь религию, какую-нибудь; он требует религии вообще» (Хомяков А. Сочинения богословские. СПб., 1995. С. 146).

...подымает человеческую душу ~ соединяет ~ с вечностью ~ открывает ~ источник сил. — «Ведая Бога, все и совестность являют, и чтут Бога, и молятся Ему, и чают будущей жизни <...> Сила, содержащая все такие верования и убеждения, есть дух». Душа «вследствие соединения её с духом, иже от Бога <...> обнаруживает сверх того высшие стремления и восходит на одну ступень выше, являясь душою одуховленною» (Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь... М., 1997. С. 52–53). «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире» (1 Ин. 4, 1), «и бесы веруют и трепещут» (Иак. 2, 19). Подгорный выносит Бога за скобки, и в этом его ошибка. «Питаемый молоком несведущ в слове правды, потому что он младенец» (Евр. 5, 13).

А души нет. — Неудачное сравнение (не души — духа!) вновь показывает, что Подгорному предстоит ещё долгий путь духовного познания. Источник, питающий душу, преображающий её из животной в человеческую, есть Дух Божий.

С. 417. *...на русской интеллигенции надо поставить крест.* — Многозначность сродни строкам А. Н. Башлачёва: «Если ты ставишь крест на стране всех чудес, значит, ты для креста выбрал самое верное место» («Триптих»).

Всё разлетится вдребезги. — «Безбожие русской интеллигенции есть не только роковая для неё самой черта, но это есть проклятие и всей нашей жизни» (Булгаков С. На пиру богов // Из глубины. М., 1991. С. 131).

...через два-три поколения... — Ср.: «...чрез поколение, много чрез два, иссякнет наше православие» (Феофан Затворник, свт. Письма о христианской жизни. М., 1997. С. 139).

Лучше разврат... — Схожего мнения придерживался Л. Толстой: «Если мальчик ходит по скверным местам и кутит, то больше шансов, что он выберется, чем если он берётся рассуждать о Боге» (*Гусев Н.* Два года с Толстым. М., 1973. С. 70).

С. 419. *Кто ищет — находит.* — «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Мф. 7, 8).

Наследство Твердыниных

Сохранилось три машинописных экземпляра пьесы: один (с авторской подписью и пометками, касающимися пунктуации) хранится в Государственном центральном театральном музее им. А. А. Бахрушина, два других (в т. ч. с многочисленными режиссёрскими замечаниями П. П. Гайдебурова) находятся в рукописном фонде РГБИ.

27 февраля 1913 Свенцицкий писал Ф. А. Коршу: «Опять я стучусь в Ваш театр! На этот раз пьеса моя лишена всякой тенденциозности, написана в бытовых, реалистических тонах и потому, может быть, окажется более подходящей для Вашего театра». Видимо, в Москве не решились на постановку, тогда автор обратился в Общедоступный театр. Премьера состоялась 16 декабря 1913 в Санкт-Петербурге, на сцене Народного дома графини С. В. Паниной. Роли исполняли: Твердынин — Бессонов, Андрей Иванович — Золотарёв, Сима — Павел Павлович Гайдебуров, Оля — Королёва, Клавдия Антоновна — Топоркова, Пётр Петрович — Лебедев, Софья — Надежда Фёдоровна Скарская, Анна Васильевна — Мария Михайловна Марусина. Пьеса была сыграна весьма достойно и в народной аудитории имела шумный успех («автора вызывали»), тем необъяснимее, что дальнейших представлений не последовало.

Критики, как всегда, спорили и вторили друг другу, но противоречили сами себе. «Несмотря на довольно удачную в общем компоновку и свежесть некоторых штрихов, драма эта — после “Детей Ванюшина”, “Торгового дома” и других пьес, представивших в новейшей драматической литературе власть денег и ужасы семейного деспотизма в старокупеческих домах, — не является уже ни в какой степени новою и оригинальною. Минутами кажется, что автор хотел придать ей не одно только бытовое, но и какое-то иное, более общечеловеческое значение. Но нет в ней ни настоящих просветов в глубину человеческой души, ни художественно очерченных характеров, и общее впе-

чатление от неё как от литературного произведения получилось тяжёлое и тусклое. И тем не менее она смотрелась в театре легко — как что-то несочинённое, правдивое, а некоторые её сцены, где автор даёт возможность по-настоящему испытать волнение любви или обиды, возмущение, трогали и даже захватывали» (Гуревич Л. *Общедоступный театр* // Речь. 1913. 17 декабря. № 345). «В этой бытовой драме, в сущности, очень мало нового в смысле фабулы и среды. Чувствуется в молодом авторе веяние Найдёнова и даже автора “Торгового дома” Сургучёва. А основной мрачный колорит, которым проникнуты некоторые сцены, и какая-то надуманность психологических переживаний — как бы указывают на влияние Достоевского. <...> В сценическом отношении пьеса г. Свенцицкого удачна. Она экономна. В ней нет ничего лишнего. Даже некоторая примитивность в изображении характеров не вредит пьесе. Пусть не новые положения, не новые коллизии, но сама интрига развёртывается быстро, давая нарастание действия» (Пётр Ю. [П. М. Соляный] *Общедоступный театр* // Театр и искусство. 1913. № 51. С. 1048). «Автор обнаружил огромное знание законов театральности, и действие у него развёртывается с каждым актом, постепенно, давая нарастание драмы. Нельзя не отметить также экономию в средствах изображения у Свенцицкого. Эта экономия граничит даже порой с сухим примитивом. Правда, характеры действующих лиц разнообразны и ясны. Но ясность эта какая-то сухая, определённая, словно все эти лица обрисованы только штрихами, без переходов и оттенков» (Тимофеев С. *Общедоступный театр* // День. 1913. 17 декабря. № 342).

«Эффектен в театральном смысле трагический финал пьесы, когда кроткий, христиански тихий Андрей вдруг в запальчивости убивает олицетворение Сатаны — скрягу Твердынина» (Соляный). «Он сам — странная смесь Гарпагона с Грозным. Он наводит страх на всех одним своим видом. Он царь, он бесконтрольный домовладыка. <...> Эффектный финальный выстрел вызывает восторг зрителя своею неожиданностью, потому что все остальные, не менее сильные, моменты в пьесе г. Свенцицкого, увы! — предвидеть легко даже самому непосредственному зрителю!» (Тимофеев). Все рецензенты сходились, что образ Софьи «мало обоснован в психологическом плане», и дружно отмечали мастерство ведущих артистов (примечательно: Скарской и Гайдебурову было в тот момент, соответственно, 44 и 36 лет, а их героям — 22 и 19).

С. 430. *...двум господам не служат...* — «...Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть» (Мф. 6, 24).

С. 431. *Оленька* — Написание с «и» встречается только в репликах представителей старшего поколения (Клавдии Антоновны и Прокопия Романовича); у остальных персонажей — Оленька.

С. 439. *Красный Яр* — Сёла с таким названием не редкость в Поволжье: напр., в нынешних Волгоградской (два), Самарской, Астраханской обл.

С. 445. *...злая рота!* — Обычная в то время присказка-ругательство (ср. персонажа с таким именем из повести о житии блж. Матроны Московской). Ротники — ушкуйники, вольница, шайки и артели для набегов, грабежа (*Даль*).

С. 467. *Ляпушка* — ком, блин, что наляпано; цацка, неуклюже посаженное украшение; ср. «ляпка» (*Даль*).

Мигульница — кто подмигивает и перемигивается с кем, резвушка, шалунья; ср. «мигунья, мигалица» (*Даль*).

На Троицу-то, чай, всякий на бульвар выходит. — Один из самых почитаемых на Руси праздников, День Святой Троицы (50-й день после Пасхи) отмечался народными гуляниями.

ДИПЛОМ

Журнал для всех. 1901. № 12. С подзаголовком «Очерк»; подпись: Вал. Свенцицкий.

С. 478. *...кончил курс в своей сельской школе...* — Земские начальные школы в то время, как правило, были с 3-летним сроком обучения; следовательно, герою 11 лет.

Это был первый год... — Вероятно, 1900.

С. 480. *Земство* — выборный орган местного самоуправления в губернии или уезде, ведавший в т. ч. народным образованием.

С. 482. *...любимое стихотворение...* — Свенцицкий оставил нам загадку, поскольку ни в одном русском поэтическом произведении указанные образы не сопрягаются. Одним из первых олицетворение «задумчивый лес» применил М. В. Милонов («Измена Лилы», 1810); в XIX в. его использовали К. С. Аксаков («Помнишь ли ты...», 1836) и многие другие (А. Н. Плещеев, С. Я. Надсон, Д. С. Мережковский, А. А. Блок). В стихотворении И. С. Никитина «Присутствие непостижимой силы...» (1849), помимо этого образа, есть степной ураган и указание на таинс-

твенность, но ни леших, ни ведьм, как и в задумчивых стихах Е. А. Боратынского «Родина» (1821), где витает «бури грозный свист». У К. Д. Бальмонта («Ведьма»), наоборот: ведьма смеётся в задумчивом лесу, но нет и намёка на бурю, вещь не подходит по общему смыслу и тональности, да и опубликована чуть позже. Бури нет и у А. А. Коринфского в стихотворении «Поэзия задумчивых, таинственных лесов...» (1890-е), зато проникновенно описана сказочная жизнь природы, зовущей к творчеству светлые души. Заслуживает внимания и стихотворение Н. А. Энгельгардта «В таинственной глуши задумчивого леса...» (1880-е).

Назначение

Русская мысль. 1903. № 4. С подзаголовком «Очерк»; подпись: Вал. Свенцицкий.

С. 488. *Разгонистые буквы* — редкие, широко расставленные.

С. 489. *Коман сова?* (фр. comment ça va) — Как дела?

С. 490. *Подковка* — сдобная булка, очертанием похожая на подкову.

С. 496. *...ощущение чужой жизни и ~ участие в ней...* — Это собранность в действии, задача человека в бытии. Одно из главных упований Свенцицкого — преодоление самости как условие спасения и путь к нему.

С. 503. *Становой пристав* — полицейский чиновник, заведовавший частью уезда из нескольких волостей.

Солдат задумался...

Стойте в свободе! 1906. Вып. 1. 9 июля. Подпись: Омега.

2 апреля 1908 на допросе по уголовному делу об издании московской газеты «Стойте в свободе!» Свенцицкий заявил: «Все статьи без подписи принадлежат мне» (ЦИАМ. Ф. 131, оп. 92, д. 182, л. 106). В Религиозно-общественной библиотеке, издаваемой ХББ, планировалась к выпуску брошюра «Солдат задумался (три рассказа)» под тем же псевдонимом (Век. 1907. № 22. С. 348). В письме от 22 мая 1907 Свенцицкий просил Флоренского напечатать в журнале «Христианин» (Сергиев Посад), который тот редактировал, некий свой рассказ за подписью «Омега» (архив П. В. Флоренского).

Старый чорт (Святочный рассказ)

НЗ. 1910. № 15. Подпись: В. Свенцицкий. С сокращениями и подзаголовком «Сон под Новый год»: Маленькая газета. 1917. № 349. 1 января. Подпись: Далёкий Друг.

С. 513. *...близость праведника...* — Прп. Феогност писал: «Враг тогда встречает нас жестокими и страшными искушениями, когда почувет, что душа вступила в высшие меры добродетели. <...> И тогда человеконенавистник так злобно искушает, что нам приходится даже в жизни отчаиваться. Но не знает он, суетный, каких благ бывает для нас виновником, делая нас чрез терпение более опытными и светлые нам сплетая венцы» (Добротолубие. Т. 3. М., 1888. С. 433).

С. 519. *Новый святой...* — «Как же это, каким образом, объясни нам, ибо слова твои походят на загадку» (свт. Иоанн Златоуст). «Я желал бы сам быть отлучённым от Христа за братьев моих, родных мне по плоти... Прости им грех их. А если нет, то изгладь и меня из книги Твоей» (Рим. 9, 3; Исх. 32, 32). «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13).

...циркуляр ~ Вообще... — В газетном варианте между этими словами вставка: «Мы подглядели: если из жалости... если из любви к людям... не наказуется...» Далее по тексту также изменения: «<...> выпрямился Чорт. — Циркуляр?.. Каждый день новости!.. Не разберёшь... Святой! Ну, это мы ещё посмотрим... — Но вспышка прошла. И снова согнул он <...>».

Из дневника «странного человека» (Отрывок)

НЗ. 1911. № 15/16. Подпись: В. Свенцицкий.

С. 520. *Странный человек* — главный герой романа-исповеди «Антихрист».

С. 522. *Милостивый Государь* — «Все пути Господни — милость и истина... Милость превозносится над судом... Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Пс. 24, 10; Иак. 2, 13; Мф. 5, 7).

Праздникам Праздник и Торжество из Торжеств... — «Сей нареченный и святой день, един суббот Царь и Господь, праздников праздник и торжество есть торжеств: воньже благословим Христа во веки» (Пасхальный канон. Песнь 8. Ирмос).

С. 523. *Неужели я хуже разбойника?* — Да, они посчитали, что хуже. Будущие священники Булгаков, Ельчанинов, Флорен-

ский, христианские философы Бердяев, Е. Н. Трубецкой и Эрн, умевшие красиво говорить и умно писать, жили и действовали так, будто никогда не читали Евангелия и не встречали Христа. Дружно решили, что не для них писал апостол: «Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощён чрезмерною печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь» (2 Кор. 2, 7–8). Они забыли: «А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6, 15). Помилуй их Бог. См. также прим. к с. 307.

Голодная «ёлка»

НЗ. 1912. № 1/2. Подпись: В. Свенцицкий.

Христос в детской

НЗ. 1912. № 13/14. С подзаголовком «Рассказ»; подпись: В. Свенцицкий. Отдельное издание: Библиотека «Новой земли». № 3. М., 1912. 16 стр.

С. 531. *Олинька* — О чередовании в имени «е/и» см. прим. к с. 431.

Отец Яков

Новое вино. 1912. № 1. Декабрь. С подзаголовком «Очерк»; подпись: В. С-ий. Со значительными сокращениями и под названием «Последняя заутреня»: Маленькая газета. 1916. № 98. 10 апреля. Подпись: Далёкий Друг.

С. 539. *Отец Яков* — Имя отсылает к рассказу А. П. Чехова «Кошмар» (1886), где голодающий священник стесняется брать лишнюю копейку с нищих прихожан.

С. 540. *С выносом, батюшка, похоронить-то.* — Подразумеваются приход священника в дом покойника, служение там панихиды и проводы в церковь для отпевания с колокольным звоном.

С. 541. *Царские врата* — центральные, состоящие из двух створок двери в алтаре, через которые при вынесении Святых Даров на Божественной литургии проходит Царь Славы — Иисус Христос.

И как я не видал раньше-то? — «Долгие, долгие годы иной раз живёт человек, не оглядываясь на свою жизнь. Но вот разразилась

беда, оглянется человек и ужаснётся: да куда я зашёл? <...> Духовный отец, пастырь превратился в требоисполнителя. <...> Не обращаются ли к нему только тогда, когда надо крестить, венчать, хоронить или отслужить молебен и панихиду? Но разве пастырство только в этом?» (МвМ. 1, 28).

...три рубля... — Ср.: «...пастырь — Христов нищий, питающийся от “подаяния” верующих. Но это совершенно не то “подаяние”, которое укоренилось у нас при “оплате треб”, когда устанавливается и установилась ужасающая форма этой оплаты, одинаково развращающая и берущих, и дающих, когда теснейшая установилась связь между определённым священнодействием <...> даже совершением таинства, и платой, как говорится, “за труды”» (МвМ. 1, 429). О недопустимости взимания какой-либо платы за совершение таинств см. прим. к с. 16.

С. 543. *...покой потерян...* — «Слово Божье имеет силу перерождать человеческую душу. И тогда всё, что было справа, начинает казаться слева <...> Что хорошо по-Божьи, то плохо помирскому, и наоборот <...> И вот, когда упадёт семя слова Божия на добрую почву, человек мирской начинает скорбеть, ибо чувствует, как отрывается от обычной мирской жизни, мирских интересов, мирских понятий, но не может найти дороги, по которой можно идти в условиях жизни мирской, в то же время исполняя заповеди Божьи. Это создаёт в его душе как бы некий разлад, как бы некое смущение. Он уже потерял вкус к тому, что раньше манило его в жизни мирской, но и не научился ещё вполне отдаваться жизни духовной. И спрашивает такой человек: как ему жить? <...> Его смущает, что наша жизнь построена совсем не так, как учил Христос, и что невозможно даже найти приложения в жизни возгоревшейся ревности о жизни во Христе» (МвМ. 1, 20).

...вдруг усомнился... — «Скорбь великая в том, что вопрос этот основателен, сомнение понятно и что вина в том двоякая — вина мирян и пастырей. <...> Это вина вековая, глубоко коренящаяся в церковной жизни» (МвМ. 1, 28–29). «Самое страшное дело, которое мы в Православной Церкви сотворили, — мы превратили каждое таинство в товар, всё по строгому преysкуранту идёт» (Эдельштейн Г., прот. Записки сельского священника. М., 2005. С. 63).

...не умом, а всей душой своей... — Ср.: «...коли уж такой трудный путь предназначен, так сомневайся самым страшным сом-

немь» (Наст. изд. С. 187). «Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдёшь Его, если будешь искать Его всем сердцем твоим и всею душою твоею» (Втор. 4, 29).

С. 544. *Благочинный* — священник, руководству которого поручен округ или несколько церквей.

Риза — верхняя одежда священника при богослужении. Символизирует багряницу, в которую был облачён страдающий Христос.

Камилавка — головной убор священника в виде цилиндра фиолетового цвета, почётная награда.

...мы наместники Его... — Весьма странное именование. Наместником (заместителем) Иисуса Христа на земле католики считают папу римского, но и они не дерзают называть так всех священнослужителей.

...здесь, на земле, вяжем и разрешаем... — «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18, 18). Прп. Симеон Новый Богослов в «Огласительных словах» поясняет, кому даётся эта власть: «Не всем и просто священникам, но в духе смирения священнодействующим Евангелие и живущим в непорочной жизни, прежде всего представившим себя Господу в жертву, совершенную, святую, благоугодную, чистое их служение в храме их тела внутри духовно показавшим и принятым, и явившимся в горнем жертвеннике, и принесённым архиереем Христом в совершенную жертву Богу и Отцу и силою Духа Святого пересозданным и изменённым, и преображённым во Христа, умершего для нас и воскресшего во славе Божества. <...> Таковых есть власть вязать и решать, и священнодействовать, и учить, а не только получающих от людей выбор и рукоположение» (Cat. 28. 262–274, 291–299).

С. 545. *Ризница* — помещение, где хранятся ризы и церковная утварь.

С. 546. *...хочу служить Христу, в духе и истине.* — «Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе» (Ин. 4, 23). «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжём и не поступаем по истине» (1 Ин. 1, 6).

...бился залетевший голубь. — «И Дух Святой нисшёл на Него в телесном виде, как голубь» (Лк. 3, 22).

Побег

Новое вино. 1913. № 2. Январь. С подзаголовком «Рассказ»; подпись: В. С—ий.

С. 547. *...ему оставалось сидеть три месяца.* — Такую же глупость совершил герой рассказа В. М. Шукшина «Стёпка», ровно столько же не вытерпевший до освобождения.

Тёмною ночью

Новое вино. 1913. № 3. Февраль. С подзаголовком «Рассказ»; подпись: В. Свенцицкий.

С. 554. *Вентерь* — рыболовная снасть, сужающийся сетчатый кошель (матня) на обручах с крыльями.

С. 557. *...три красеньких...* — 10-рублёвые банкноты были красного цвета. Еремеич мечтает выручить за рыбу сумму, соответствующую оплате сельского работника более чем за месяц. Ср. также цену греха Иуды (Мф. 26, 15). «Услышите все сребролюбцы, страждущие болезнью Иуды, — услышите и берегитесь этой страсти», — предупреждает в толкованиях свт. Иоанн Златоуст.

На заре туманной юности

Пробуждение. 1913. № 10. С подзаголовком «Рассказ»; подпись: В. Свенцицкий (в начале публикации ошибочно: Н. Свенцицкий).

Названием послужила строка из стихотворения А. В. Кольцова «Разлука» (1840), её же, но с многоточием в конце использовал для названия рассказа В. С. Соловьёв (Русская мысль. 1892. № 5).

С. 562. *Варсонофий* (Охотин; 1830–1895) — еп. Симбирский и Сызранский с 1882; современники отмечали его простоту в общении и доступность, доброту, милосердие и пастырскую опытность (Симбирские губернские ведомости. 1895. № 63–66).

Крутояр — село на правом берегу Волги в 30 км от Симбирска (ныне Ульяновская обл., Ульяновский р-н, при границе с Республикой Татарстан).

Досифей (Протопопов; 1866–1942) — рукоположен в иерея в 1894, овдовев, принял монашеский постриг, с 1906 архимандрит.

рит, с 1909 еп. Вольский, викарий Саратовской епархии, с 1917 еп. Саратовский и Царицынский.

Консистория — епархиальное учреждение под началом архиерея, ведавшее административными и судебными церковными делами.

Урбанов Алексей Степанович (1842–1917) — протоиерей, с 1864 служил в Саратовской епархии, с 1887 ключарь Александро-Невского кафедрального собора, член консистории с 1895, награждён митрою (Саратовские епархиальные ведомости. 1915. № 1. С. 46–53). По-видимому, преодолев расстояния в 20 лет и 350 км, Свендицкий совместил колоритные фигуры знакомых священнослужителей и доброго пастыря владыки Варсонофия в едином хронотопе.

С. 564. *«Василёчек»* — Возможно, популярный тогда городской романс, текст которого со значительными искажениями заимствован из стихотворения А. Н. Апухтина *«Сумасшедший»* (1890).

Гибралтаров — Никакой выдумки: например, в Кирсанове (Тамбовская обл.) в 1937 служил иерей Владимир П. Гибралтарский (приговорён к 10 годам заключения в ИТЛ).

С. 565. *...номера, на базаре, «Приволжский»...* — Гостиница *«Приволжская»* И. Г. Баряева находилась на пересечении улиц Полицейской и Миллионной (Весь Саратов. 1911. С. 237), в 15 минутах ходьбы от архиерейского дома на Соборной площади. Но название могло встретиться в любом городе на Волге: в Царицыне, где Свендицкий жил в 1911, были на Набережной ул. *«Приволжские номера»* Бирюкова, арендуемые Лепилиным (Весь Царицын на 1911. С. 107).

С. 566. *Доримедонт Златорунов* — Род Златорунских хорошо известен в Поволжье. В 1911 Николай Васильевич Златорунский (1873–1942) стал инспектором Саратовской семинарии после убийства своего предшественника учеником и сумел, благодаря энергичной деятельности, выправить положение в духовной школе. Его брат Алексей (1862–?) с 1911 был священником в хр. прп. Сергия Радонежского (Царицын) и законоучителем в 13-м (Карастелёвском) начальном мужском училище; его дети Иван, Михаил и Александр служили псаломщиками. Всех их Свендицкий мог знать по пребыванию в обоих городах.

С. 568. *«Кружится-вертится шар голубой»* — русская народная песня, известна с последней четверти XIX в. Буква «ф» из

слова «шарф» (первоначальная редакция) к тому времени уже выпала.

С. 569. «*Димитрий Донской*» — пароход с таким названием курсировал с 1872 в среднем течении Оки (между Рязанью и Касимовым), впоследствии ходил и по Волге от Нижнего Новгорода.

С. 572. *Фисгармония* — клавишный пневматический музыкальный инструмент с мехами.

Шутка лейтенанта Гейера

Пробуждение. 1915. № 23. С подзаголовком «Рассказ»; подпись: В. Свенцицкий.

Песнь песней

Пробуждение. 1916. № 6. С подзаголовком «Рассказ»; подпись: В. Свенцицкий.

С. 581. *Послушник* — принявший обет послушания в монастыре. Монашеская лестница состоит из ступеней: послушничество, иночество, монашество, схима. «Отец» Сергей взошёл на первую — держит испытание серьёзности намерения принять постриг.

...в *Зареченском монастыре*... — Зарецкий Спасский монастырь (местные жители называли его Зареченским) находился рядом с г. Спасск-Рязанский (нынешняя Рязанская обл.) на левом берегу Оки; упразднён в 1764 (Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии. Т. 4. Рязань, 1891. С. 210; *Иловайский Д.* История Рязанского княжества. М., 1858. С. 256). Свенцицкий мог побывать там, когда ездил в Ряжск (100 км севернее) к брату Борису Павловичу.

С. 582. ...*аллегорическая картина*... — Свенцицкий видел её у ажарских пустынников (в келье о. Сергия, ученика старца о. Исаакия) и описал в книге «Граждане неба» (Пг., 1915. С. 104), но там добродетели назвал монашескими.

С. 583. ...*Господь лучше знает*... — Но Бог может послать и искушение, дабы вразумить и испытать (ср. историю непорочного и многострадального Иова).

«*Да лобзает он ~ опалило меня*...» — Песн. П. 1, 1–5.

С. 584. «*Кобылице моей ~ с серебряными блёстками*». — Песн. П. 1, 8–10.

«...ложе у нас ~ для гортани моей». — Песн. П. 2, 1–3.

«Подкрепите ~ меня». — Песн. П. 2, 5–6.

С. 585. *Молитвами святых отец...* — Начало Последования ко Святому Причащению. В монастырях творят вслух сию молитву при входе в келию.

С. 586. *Суламита* — возлюбленная царя Соломона, адресат Песни Песней (Песн. П. 7, 1).

...к земной невесте Своей... — «Сие описание жениха-брата и невесты-сестры, царя, пасущего стада, и царицы, стригущей виноград <...> есть изображение таинственного союза Мессии-Христа с Церковью, неоднократно представленного в Священном Писании под таковым символом» (*Филарет (Дроздов)*, архим. Начертание церковно-библейской истории в пользу духовного юношества. СПб., 1816).

«И возжелает Царь ~ во веки и веки»... — Пс. 44, 12–18.

Плоть наша аки одежда ветхая... — «Не Ты ли... кожей и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня? ...Ибо дух плоти и костей не имеет» (Иов 10, 10–11; Ин. 24, 39). «Создал Господь Бог человека из праха земного... Но земля обветшает, как одежда... и никто к ветхой одежде не приставляет заплат из небелённой ткани... Плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления... Всякая плоть — трава, и вся красота её, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа» (Быт. 2, 7; Ис. 51, 6; Мф. 9, 16; 1 Кор. 15, 50; Ис. 40, 6–7). «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек... Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (1 Пет. 3, 3–4; 2 Кор. 4, 16).

С. 587. *Всякая красота — в гробу смрад.* — Убеждение основывается на словах Христа: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты» (Мф. 23, 27). Но Спаситель говорит здесь не о всякой красоте, а только о кажущейся внешней или плотяной. Непрояснённая термин в христианском богословии, его антиномичность, порождает соблазнительные домыслы и внутри церковной ограды. «Может быть, тут недостаток языка человеческого» (Наст. изд. С. 127). Верный смысл открывает аналогия с вечной спутницей: Бог есть Любовь, но любить можно и

грех; важна догадка Мити Карамазова: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей» (*Достоевский*. 14, 100). «Безумная, слепая, всю душу порабащившая *страсть* посягает на светлую, чистую, радостную любовь: тёмная жажда плоти, обладания, похоти стихийно борется в душе человеческой с нетленным началом любви» (*Свенцицкий В.* Мировое значение аскетического христианства // *Русская мысль*. 1908. № 5. С. 90). Свт. Игнатий (Брянчанинов) писал: «Всякая красота, и видимая, и невидимая, должна быть помазана Духом, без этого помазания на ней печать тления» (*Русская старина*. 1900. Сентябрь. Приложение. С. 163).

Одна у нас красота нетленная... — Синодальная редакция слов ап. Петра соблазнила многих: «в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа» (1 Пет. 3, 4). В церковно-славянском же переводе читаем: «в неистлении кроткого и молчаливого духа», а греческий текст гласит: «*εν τω αφηαρτω του πραεος και ησυχιου πνευματος*» — дословно: «в нетленности кроткого и тихого (спокойного) духа». Ни о какой красоте нет и помина, практикуемый перевод второго эпитета искажает сущность Бога-Слова. Ср.: «Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы моя душа в страну молчания» (Пс. 93, 17). См. также прим. к с. 104.

Плотская красота — обольщение дьявольское... — Действительно, диавол — лжец и отец лжи (Ин. 8, 44); обольщаться — обманываться, видеть ошибочно, верить тому, чего нет (*Даль*). Остаётся доказать, что творение Божие (пусть и в падшем мире) безобразно, т. е. не сохранило отчасти первоначального совершенства. «Неразумные! не Тот же ли, Кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее?» (Лк. 11, 40). И сквозь тусклое стекло виден предвечный замысел Творца. Любоваться созданием Божиим можно и нужно, не обольщаясь и не соблазняясь обладать им.

Ты на эту красоту посмотри в гробе... Какой дух от неё пойдёт... — Совет редко спасает и отвращает от греха, что подтверждают предание и опыт автора «Записок» (см. прим. к с. 167). Но если укоренится в этой мысли человек, особенно молодой, неискушённый, последствия будут не менее тягостны. Помнить о смерти — не значит видеть её во всём, как Эдгар Гедин; царящий в душе ужас приводит странного человека к культуре смерти. Огульное применение подобной духовной практики губительно (ср. буддистские медитации). «Аскетизм

не проповедует убийства жизни, напротив, он во имя жизни стремится убить смерть, ибо власть плоти над духом есть его смерть» (Свенцицкий В. Мировое значение аскетического христианства // Русская мысль. 1908. № 5). Подробнее о различии методов борьбы с блудными помыслами см.: Кураев А. Сатанизм для интеллигенции. Т. 1. М., 1997. С. 400–403, 422–424.

С. 588. «...Цветы показались ~ лицо твоё...» — Песн. П. 2, 12–14.

«...Как лента ~ Ливана!» — Песн. П. 4, 3, 10–11.

Прекрасны ~ кисти... — Песн. П. 7, 2, 8.

Любовь

Пробуждение. 1916. № 10. С подзаголовком «Рассказ»; подпись: В. Свенцицкий.

С. 596. *...чужое лицо...* — Схожие философские проблемы исследовал Кобо Абэ в романе «Чужое лицо» (1964), где изуродованный герой, не поверивший в стойкость чувства своей жены (в России и Японии любят одинаково), надев маску, теряет и облик человеческий. В рассказе же Свенцицкого любовь торжествует.

С. 600. *...она спрашивает себя...* — Любопытная пунктуация: когда в мыслях героев пропадает «я», а местоимения, обозначающие субъект действия, идут в третьем лице, автор перед абзацем ставит многоточие; в противном случае отрывок берётся в кавычки. Ранним произведениям приём несвойственен.

«Несчастье — разлюбить человека». — Источник цитаты не установлен.

С. 601. *...разве могло быть время, когда бы она его не любила?!* — Ср. признание Арнольда Реллинга: «Я всегда любил тебя. И когда не знал, всегда любил» (С. 255).

...все его звали Семёныч... — Ср.: «Это наименование привилось и закрепилось за Орловым на десятки лет — не только в нашей, товарищеской среде, но и среди посторонних» (Вишняк. С. 28). Орлов Александр Семёнович (1882–?) — школьный приятель Свенцицкого; окончил гимназию с золотой медалью, с 1902 студент математического факультета ИМУ, товарищ министра торговли и промышленности в период Директории (осень 1917), фактический управляющий министерством.

Психология о двух концах! — Ср.: Достоевский. 15, 159, 162.

Ольга Николаевна

Ежемесячный журнал (Журнал для всех). 1917. № 2/4. С подзаголовком «Рассказ»; подпись: В. Свенцицкий.

С. 619. ...от одних этих случайностей можно всякую веру потерять... — Случайность — безотчётное и беспричинное начало, в которое веруют отвергающие провидение (*Даль*). Христиане же видят, что случает (соединяет в одно место или вообще сближает) Божий промысел, недаром «лучший» буквально значит «случившийся, выпавший на долю» (*Шанский Н.* Краткий этимологический словарь русского языка. М., 1971).

К чему? зачем? отчего? Ничего не понимаю! — Даруй, Господи, узреть волю Твою благую и помоги терпеть то, чего не понимаю.

Разговор с «чортом»

Народная газета. 1917. № 12. 26 июля. С. 2. С подзаголовком «Рассказ»; подпись: Далёкий Друг.

С. 627. *Мы умрём, сгниём, вырастет лопух...* — Ср. слова героя романа «Отцы и дети»: «А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет... да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?» (*Тургенев И.* Собр. соч. Т. 3. М., 1961. С. 218). Г-жа Хохлакова в «Братьях Карамазовых» излагает мысль именно в той форме, что представлена у Свенцицкого: «...умру и вдруг ничего нет, и только “вырастет лопух на могиле”, как прочитала я у одного писателя» (*Достоевский.* 14, 52).

Юродивый

Записки передвижного общедоступного театра. 1917. № 7/8. Подпись: В. Свенцицкий. В редакционном примечании указано: «В первый раз прочитан П. П. Гайдебуровым на концерте-митинге “Трудовиков” в оперном Зале Народного Дома 31 мая 1917 г.».

С. 629. *Тихий Бор* — деревня на берегу оз. Жижицкое (ныне Псковская обл., Куньинский р-н).

С. 631. ...*надо ударить в набат...* — «Мы звоним в малые колокола — нас не слышат! Мы зазвоним в большие! Не услышат? Мы ударим в набат — но совесть народную разбудим. Или в

Церкви иссяк Дух Божий?! Или в таинствах святых — не преподносится нам благодать Божия?! Верую — пошлёт Господь и апостолов, и пророков, и подвижников. И с помощью Божьей они совершат великое дело — возрождение Церкви и спасение России. Я знаю: гром не грянет — русский человек не перекрестится. Но гром уже грянул! Так креститесь же!..» (*Валентин Свенцицкий*, свящ. Россия — встань! (Две проповеди). Ростов н/Д, 1919. С. 14).

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Организации

- ИМУ — Императорский московский университет.
МКДП — Московский комитет по делам печати.
МРФО — Московское религиозно-философское общество памяти Владимира Соловьёва.
МСП — Московская судебная палата.
ОР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки.
ПСТГУ — Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.
РГБИ — Российская государственная библиотека по искусству.
ХББ — Христианское братство борьбы.
ЦИАМ — Центральный исторический архив г. Москвы.

Печатные источники

- ВГ* — Взыскующие града: Хроника частной жизни русских религиозных философов в письмах и дневниках / Сост., подгот. текста, вступ. ст. и комм. В. И. Кейдана. М., 1997.
Указывается номер письма по этому изданию.
Вишняк — Вишняк М. Дань прошлому. Н.-Й., 1954.
Даль — «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля.
Достоевский — Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30-ти томах. Л., 1972–1990.

- ЗПРФС* — Записки петербургских Религиозно-философских собраний (1901–1903 гг.). М., 2005.
- Ибсен* — Ибсен Г. Собрание сочинений в 4-х томах. М., 1956–1958.
- Камю* — Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.
- КЛЭ* — Краткая литературная энциклопедия.
- ЛН* — Литературное наследство.
- МвМ* — Валентин Свенцицкий, прот. Монастырь в миру. Т. 1–2. М., 1995–1996.
- НЗ* — «Новая земля» (журнал).

СОДЕРЖАНИЕ

<i>От редакции</i>	3
ВТОРОЕ РАСПЯТИЕ ХРИСТА. <i>Фантазия</i>	5
АНТИХРИСТ. <i>Записки странного человека</i>	58

Часть первая

Вместо предисловия	—
I. О самом себе	61
II. Начало конца	76
III. Идиллия	82
IV. Общественный вопрос	91
V. У Евлампия	97
VI. Антихрист. Моя теория	106
VII. У Верочки	116
VIII. Правда или ложь?	125
IX. Новое открытие	134
X. Антихрист в роли спасителя отечества	144
XI. Что такое любовь?	151
XII. Проводы	156

Часть вторая

I. Марфа	162
II. Опять он	170
III. Марфа и Верочка	175
IV. Катакомбы	180
V. Видение	191

VI. Познание Добра и Зла	196
VII. Молитва	202
VIII. Неожиданный посетитель	206
IX. Опять новая жизнь!	211
X. Конец	214
Послесловие	216

ПЬЕСЫ

Смерть. Драма в 3-х действиях	226
Пастор Реллинг. Драма в 3-х действиях.	270
Интеллигенция. Драма в 4-х действиях и 6-ти картинах	324
Наследство Твердыниных. Драма в 4-х действиях . . .	422

РАССКАЗЫ

Диплом	478
Назначение	486
Солдат задумался...	509
Старый чорт. (Святочный рассказ)	512
Из дневника «странного человека». (Отрывок).	520
Голодная «ёлка»	526
Христос в детской	531
Отец Яков	539
Побег	547
Тёмною ночью	554
На заре туманной юности	562
Шутка лейтенанта Гейера	575
Песнь песней	581
Любовь	590
Ольга Николаевна	603
Разговор с «чортом»	625
Юродивый	629
С. В. Чертков. Писатель-проповедник	632
Комментарии и толкования	662
Условные сокращения	796

протоиерей В. П. Свенцицкий

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ВТОРОЕ РАСПЯТИЕ ХРИСТА
АНТИХРИСТ
ПЬЕСЫ И РАССКАЗЫ
1901–1917

Редактор-составитель *С. В. Чертков*

Корректор *Л. В. Черткова*

Компьютерная вёрстка *С. В. Митриковой*

Технический редактор *А. Н. Ковалёва*

Оформление *Н. Л. Климовой*

Издательство «Даръ»

105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 49а

Тел.: (495)780-39-11 (многоканальный)

Подписано в печать 21.03.2008. Формат 84×108/32,

Бумага офсетная. Гарнитура «Даръ».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 33,8. Уч.-изд. л. 32,1.

Тираж 3000 экз.

Заказ №